

**РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**



**СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ  
ВОСПОМИНАНИЯ**

## РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.  
Аксаков С. Т.  
Александр III  
Александр Невский  
Алексей Михайлович  
Андрей Боголюбский  
Антоний (Храповицкий)  
Баженов В. И.  
Белов В. И.  
Бердяев Н. А.  
Болотов А. Т.  
Боровиковский В. Л.  
Булгаков С. Н.  
Бунин И. А.  
Васнецов В. М.  
Венецианов А. Г.  
Верещагин В. В.  
Гиляров-Платонов Н. П.  
Глазунов И. С.  
Глинка М. И.  
Гоголь Н. В.  
Григорьев А. А.  
Данилевский Н. Я.  
Державин Г. Р.  
Дмитрий Донской  
Достоевский Ф. М.  
Екатерина II  
Елизавета  
Жуков Г. К.  
Жуковский В. А.  
Иван Грозный

Иларион митрополит  
Ильин И. А.  
Иоанн (Снычев)  
митрополит  
Иоанн Кронштадтский  
Иосиф Волоцкий  
Кавелин К. Д.  
Казаков М. Ф.  
Катков М. Н.  
Киреевский И. В.  
Клыков В. М.  
Королев С. П.  
Кутузов М. И.  
Ламанский В. И.  
Левицкий Д. Г.  
Леонтьев К. Н.  
Лермонтов М. Ю.  
Ломоносов М. В.  
Менделеев Д. И.  
Меньшиков М. О.  
Мещерский В. П.  
Мусоргский М. П.  
Нестеров М. В.  
Николай I  
Николай II  
Никон (Рождественский)  
Нил Сорский  
Нилус С. А.  
Павел I  
Петр I  
Победоносцев К. П.

Погодин М. П.  
Проханов А. А.  
Пушкин А. С.  
Рахманинов С. В.  
Римский-Корсаков Н. А.  
Рокоссовский К. К.  
Самарин Ю. Ф.  
Семенов Тян-Шанский П. П.  
Серафим Саровский  
Скобелев М. Д.  
Собинов Л. В.  
Соловьев В. С.  
Солоневич И. Л.  
Солоухин В. А.  
Сталин И. В.  
Суворин А. С.  
Суворов А. В.  
Суриков В. И.  
Татищев В. Н.  
Тихомиров Л. А.  
Тютчев Ф. И.  
Хомяков А. С.  
Чехов А. П.  
Чижевский А. Л.  
Шалапин Ф. И.  
Шарапов С. Ф.  
Шафаревиц И. Р.  
Шишков А. С.  
Шолохов М. А.  
Шубин Ф. И.

**СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ**

**ВОСПОМИНАНИЯ**

**МОСКВА**  
**Институт русской цивилизации**  
**2016**

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-442.3  
К 91

**Станислав Куняев**

**Воспоминания** // Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 688 с.

В книге публикуются воспоминания выдающегося русского поэта, публициста, общественного деятеля и главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Юрьевича Куняева. В течение многих десятилетий его жизнь была и остается одним из ярких явлений русской патриотической культуры, а журнал «Наш современник» за эти годы превратился в духовный центр, объединяющий все лучшие духовные силы России.

В воспоминаниях Куняев рассказывает о жесточайшей битве русских патриотов с сонмом внутренних врагов России. В книге повествуется о встречах, дружбе и совместных трудах с великими деятелями русской культуры XX–XXI веков – В. Г. Распутиным, В. И. Беловым, Н. М. Рубцовым, В. В. Кожинным и другими.

ISBN 978-5-4261-0149-4

© Куняев С. Ю., 2016

© Институт русской цивилизации, 2016

*Чему, чему свидетели мы были!*

А. Пушкин

## НА БЕРЕГАХ ОКИ И ВОЛГИ

*Пишите воспоминания! Детство. Родословная. Семья. Деревня Лихуны и Карамзинская больница. Довоенное время. Жизнь в эвакуации. Пыщугская библиотека и Георгиевская церковь. Детские страсти. Записки советского врача*

Я имею честь принадлежать к той породе русских людей, о которых Аллен Даллес, изложивший в конце Второй мировой войны программу планомерного уничтожения России и русского народа, с высокомерием писал: «И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способы оболгать и объявить отбросами общества». И комплимент и приговор одновременно...

Да, многое нынче у нас на Родине вершится согласно этому плану. Но я все-таки не верю, что адский замысел – «грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа» – успешно осуществится, к радости мировой элиты. Во-первых, потому, что людей, понимающих, «что происходит» на самом деле, у нас немало. Иные из них, с которыми я прожил бок о бок чуть ли не полжизни – Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Георгий Свиридов, Юрий Селезнев, – уже совершили все, что должно было им совершить. С другими – Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожиновым, Юрием Кузнецовым – я встречаюсь и по сей день и вижу в их глазах столь понятные мне и боль, и раздумье, и свет надежды. Не может быть того, что предсказал Даллес. Не только потому, что нас много, а еще и по-

тому, что «все позволено», как говорил Достоевский, лишь при одном условии – «если Бога нет»...

В сущности, книгу этих воспоминаний и размышлений можно было назвать обычно и просто: «Русский человек», если бы я писал только о них. Ведь для чего-то, подчиняясь какому-то неясному для самого себя инстинкту, я сохранял их письма ко мне, делал какие-то записи в дневниках и блокнотах, не утрачивал и не терял фотографии, книги с дарственными надписями... Может быть, судьба выбрала меня для осмысленного дела, которое мы начинали в далекие времена. Книги воспоминаний всегда подводят итог эпохам. Как бы велика и гениальна ни была проза и поэзия XIX века – его полноту невозможно понять без герценовской эпопеи «Былое и думы». Книга Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» определила в 60–70-е годы читательское понимание 20–30-х годов. И мне бесконечно жаль, что мы понимали эту эпоху «по Эренбургу», поскольку ни Михаил Шолохов, ни Леонид Леонов, ни Алексей Толстой, ни Лев Гумилев не оставили после себя своих мемуаров!

Наши оппоненты знают силу и влияние мемуарной литературы и не жалеют времени и усилий на создание подобных книг. Как по своеобразному социальному заказу написаны книги воспоминаний В. Шкловского и В. Катаева, А. Борщаговского и К. Симонова, Л. Разгона и А. Рыбакова. И так может случиться, что о нашем времени будущий читатель станет судить по ним, потому что у нас нет воспоминаний об эпохе ни А. Твардовского, ни Я. Смелякова, ни Ф. Абрамова. Мемуары Ваншенкина и Бакланова лежат на прилавках, а где Юрий Бондарев? Михаил Алексеев? Уже изданы мемуарные книги Е. Евтушенко и А. Вознесенского, но как не хватает нам книг того же жанра, созданных Валентином Распутиным, Василием Беловым, Вадимом Кожинным, Михаилом Лобановым.

\* \* \*

Составляя в последние годы книгу своих избранных стихотворений, раздумывая над каждой главой своих воспоминаний и размыш-

лений, я часто в сомнениях отодвигал бумаги и откладывал ручку. Оставлять то или иное стихотворение? Упомянуть тот или иной факт? Публиковать ли какое-то личное письмо – свое или ко мне? Нет, не потому, что мне стыдно за какие-то стихи или письма. К власти я за все сорок лет своей, как говорят, творческой жизни не подлаживался, идеологию не обслуживал, никаких масок на лицо не напяливал. Был верен завету, который сформулировал для себя еще в 1963 году:

Пишу не чью-нибудь судьбу,  
свою от точки и до точки,  
пускай я буду в каждой строчке  
подвластен вашему суду.

.....

А все же кто-нибудь поймет,  
где грохот времени, где проза,  
где боль, где страсть, где просто поза,  
а где – свобода и полет!

Перечитываю стихи, письма, дневники и начинаю подозревать, что я счастливый человек, потому что всегда был свободен и независим как поэт. Потому что свободу я понимал не как политическое разгильдяйство и не как кухонный набор прав человека, а как меру полноты бытия, полноты ответственности, в коих я сам жил и понимал свое время.

Многие люди, с которыми я пребывал бок о бок в своей эпохе, так называемые шестидесятники, всю жизнь положившие на борьбу с идеологией и государством, никогда не были внутренне близки мне. Я всегда сторонился их, как вечно несовершеннолетних женихов революции – Пенелопы.

Кто там шумит: гражданские права?  
Кто ратует за всякие «свободы»?

Ведь сказано – «слова, слова, слова...»  
Ах, мне бы ваши жалкие заботы!

Это стихи 1975 года, когда в моей душе окончательно сложилось неприятие «мировой демократии». Но я инстинктивно не принимал ее и раньше. Стихия жизни для меня была глубже, бесконечнее, прельстительней любого самоутверждения, любой идеологии, любой политики. Те, кто был не в силах объять или хотя бы полюбить стихию жизни, на моих глазах неизбежно становились борцами, протестантами, диссидентами. Они лишь на время могли притвориться гонимыми творцами.

Я мог понять и оправдать эмиграцию Бунина, спасавшего от великой революции великий мир своих чувств, своего таланта и своей души. Вот он идет по осенней аллее провинциального французского городка:

Ветер в полыни шуршит,  
воет в пустынной аллее:  
«Тяжко без Родины жить,  
а без души – тяжелее!»

1975

Остаться на Родине или спасти душу? Выбор нелегкий, но я – с Буниным.

Однако, когда началась третья эмиграция, я, повинувшись не менее искреннему чувству, обязан был написать:

Непонятно, как можно покинуть  
эту землю и эту страну,  
душу вытряхнуть, память отринуть  
и любовь позабыть и войну.

1968



Помню, как в один из послевоенных дней, когда мне исполнилось уже лет четырнадцать-пятнадцать, я вдруг услышал впервые песню на слова Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы»... Она поразила меня, я запомнил ее сразу, уходя в школу, – а дорога тянулась чуть ли не через всю Калугу, пел ее про себя, повторял, бормотал. Отчетливо помню, как в один из осенних вечеров, глядя в холодное небо над Окой, в котором кружились перед отлетом на юг грачиные стаи, я вдруг выдохнул в осеннее пространство: «Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой». Да с таким чувством выдохнул, что горло перехватило, и слезы на глаза навернулись.

Наверное, мое неприятие «ихней» эмиграции по сравнению с бунинской заключалось в том, что ничего великого за душой у них не было: ни «Темных аллей», ни «Деревни», ни «Жизни Арсеньева», а только шумные акции в защиту прав человека да забытые ныне романы-однодневки, выходившие из-под перьев гладилиных, аксеновых, синявских. И все-таки я старался понять этих людей тоже:

И вас без нас, и нас без вас убудет,  
но, отвергая всех сомнений рать,  
я так скажу: что быть должно – да будет.  
Вам есть где жить, а нам – где умирать.

1974

Стихотворение, видимо, навеянное пушкинскими строками об «отеческих гробах». Помню, я послал его в один из ленинградских журналов, там произошел в это время какой-то скандал. Секретарь обкома, член Политбюро Романов, затребовал верстку очередного номера, наткнулся на мое стихотворение и возмутился: «Как! Этим эмигрантам с израильской визой “есть где жить”, а нам, кто никуда не уезжает, только умирать остается?»

Сознавая неполноценность людей, бросающих Родину в новую эпоху, я тем не менее не мог избавиться от предчувствия трагедии, которое, начиная с середины шестидесятых годов, все неизбежной нарастало в душе. Как бы я ни отмахивался от этого предчувствия, как бы ни гнал его из ума и сердца, оно возвращалось и воплощалось в какие-то строки. Это было предчувствием трагедии – не только личной, но и нашей общей, народной, национальной, мировой. Скорее всего, оно диктовалось не какими-то событиями и катаклизмами, а странным напряжением, жившим в народе и в каждом из нас.

Иногда эта трагедия давала о себе знать, как мысль о незаконченности русской истории, о незавершенных, неразвязанных ее узелках, источающих свои разрушительные напряжения в жизнь. И тогда наша вечная российская неуспокоенность, наша охота к перемене мест начинала казаться мне болезненной судорогой:

Не хватает нам постоянства,  
потому что версты летят,  
непрожеванные пространства,  
самоедство и святотатство  
у России в горле сидят.

1963

Иногда эта трагедия вдруг как призрак возникала в суздальском пейзаже, где в алый морозный закат свою краску вплетал язык пламени от коровы, облитой бензином и подожженной во время съемок фильма Тарковского «Андрей Рублев».

Слишком много в России чудес:  
иней на куполах золоченых,  
почерневший от времени лес,  
воплощенье идей отвлеченных...

.....

И в полнеба кровавый закат,  
и снега, как при жизни Рублева.  
1965

Тогдашняя критика оскорбилась за Тарковского, не понимая того, что «воплощение идей отвлеченных» в качестве последней жертвы потребовало еще и жизнь несчастной буренки, что Тарковский в этой эпохальной драме был всего лишь навсегда одним из ее актеров и жрецов.

Часто русская неизжитая трагедия предстала предо мной в виде обычного безымянного, живущего рядом человека.

Как много печального люда  
в суровой отчизне моей!  
Откуда он взялся, откуда,  
с каких деревень и полей?

Вглядишься в усталые лица,  
в одно и другое лицо.  
И вспомнишь – войны колесница!  
И ахнешь – времен колесо!

1972

Многие поэты, жившие рядом со мной, всю жизнь жаловались на цензуру, на то, что «притесняют», «не пушают», не дают сказать правду. Мне цензура и редакторы, за исключением двух-трех случаев, почти не мешали, потому что, когда ты владеешь всей полнотой жизненной картины, всякого рода неприемлемые для идеологии и цензуры мысли, чувства и строки становятся естественными и необходимыми, а не утрированными деталями твоего поэтического мира. (Цензоры и редакторы ужасались лишь в тех случаях, когда подобные строки торчали, как шило в мешке.) Потому-то в те времена читатель мог про-

читать в моих стихах многое, что, будучи вырванным из контекста, казалось крамольным и недопустимым.

Мчатся кони НКВД...

1964

Я один, как призрак коммунизма,  
по пустынной площади брожу.

1966

Церковь около обкома  
приютилась незаконно.

1964

В 1973 году, побывав в Карабахе, я понял, что там будет война. Ко мне, жившему в палатке возле озера Карагель, приходили то азербайджанские, то армянские вооруженные пастухи и конокрады и просили одного: чтобы в следующий раз я привез им патроны. Я впервые увидел тогда раздираемый противоречиями мир, готовящийся к войне мир,

где луч полуночной звезды  
сверлит пустынные просторы,  
а отзвук племенной вражды  
еще волнует нарсуды  
и проникает в приговоры...

Предчувствие близкой трагедии все росло и росло, заполняя мою душу, чтобы наконец выразиться в строчках из моей любимой «Калужской хроники». Однажды, гуляя в городском парке, я в который раз поглядел на гипсовую полуразрушенную скульптуру и вздрогнул: это нелепое сочетание слабого материала гипса и могучей, но ржавой ар-

матуры как бы явило передо мной всю внутреннюю сущность нашего готовящегося к катастрофе времени:

Взирая из калужской мглы  
на вехи мировой культуры,  
я вам скажу, что мне милы  
шедевры гипсовой скульптуры.  
Я вам напомню – два вождя  
сидят в провинциальном парке.  
И лебедь, темный от дождя,  
плывет, уплыл, уже на свалке.  
Я вам напомню: тяжкий бюст  
дважды Героя из Калуги...  
И столько возникает чувств  
под ропот среднерусской вьюги.  
А пионер, трубящий в горн,  
вновь побеленный к Первомаю?!  
Гляжу на них и всем нутром  
свою эпоху понимаю.  
Да будет вечен этот гипс,  
его могучая фактура...  
Вот дискобол – плечо и диск,  
а между ними арматура...

1968

Помню, как я обрадовался этому точному образу и как ужаснулся своей роковой находке! На фоне этих трагических открытий мои личные трагедии, выраженные в стихах, отзвуки которых читатель найдет в книге, могут показаться прикладными, дополнительными, незначительными по сравнению с великой катастрофой, которую я предчувствовал и которая произошла.

Но видит Бог, я боролся с ее приближением всеми силами души! Я видел еще кровотокащий, где-то заживший, а где-то еще гноившийся зазор между прошлой русской историей и советской эпохой. Я понимал, что полноценного национального будущего у нас без возвращения всего вечно живого, что было создано до революции, быть не может. Но как начать это возвращение, чтобы оно не разрушило реальную историческую жизнь последнего семидесятилетия?! Как примирить красных с белыми? Бунина с Есениным? Шолохова с Солженицыным? Русское с советским? При первом удобном случае, при любом «дуновении вдохновения» я пытался остановить эту еще сочившуюся кровь, вытереть гной, продезинфицировать рану...

Помню послевоенные церкви. Пустые, угрюмые, таинственные, величественные в своем поругании. Бог поруган не бывает... Мы с моим другом Аликом Мончинским любили лазить по их полуразрушенным сводам, разглядывать росписи на куполах, озирать городские зеленые кварталы с высоты обесчещенных колоколен. Но, право, в калужских церквях, униженных, заросших травами и кустарниками, была своеобразная страдальческая святость, которой мне не хватает в нынешних благополучных приходах с батюшками, строящими для себя особняки, с «новыми русскими», которые, переправив очередную порцию валюты за рубеж или оплатив заказное убийство, со скорбными, гладко выбритыми лицами, благоухая одеколоном, склоняют коротко стриженные затылки перед ликом Николая Угодника... Глядя на разрушенные интернационалистами первого призыва церкви родного города, я шептал, не желая быть участником приближающегося реванша:

Реставрировать церкви не надо:  
пусть стоят, как свидетели дней,  
как вместилища тары и смрада,  
в наготе и в разрухе своей.

Я страстно жаждал верить, что время почти засыпало эту трещину, что трава забвенья поросла на могилах уничтожавших когда-то друг друга русских людей, что не хватит жизненных сил у семян возмездия выбросить свежие ростки и пробиться сквозь почву, утопанную после кровопролития уже двумя поколениями.

Все равно на просторах раздольных  
ни единый из нас не поймет,  
что за песню в пустых колокольнях  
русский ветер угрюмо поет...

1975

Пусть лучше все забудут и ничего не понимают!

То, что цензура легко пропускала эти стихи, успокаивало меня: вот и у них там тоже трава забвенья шумит, мягкость нравов, никакого кровожадного тоталитаризма... Все нормально, все обойдется... Так хотелось думать. Но то, что в последнюю строку залетело пассивное слово «угрюмо» – не давало мне покоя. Хотел было как-то заменить его – не получилось, стих сопротивлялся, жил собственной жизнью, а слово это как бы призывало к действию, а действие это неизбежно должно было стать возмездием. Но я не сдавался без боя своим собственным предчувствиям и в других стихах настойчиво искал пути мирного исхода исторической драмы.

Здравствуй, русско-советский пейзаж!  
– восклицал я с надеждой:  
Здравствуй, Родина, многая лета!  
В годы мира и в годы войны  
ты всегда остаешься собою,  
и, как дети, надеемся мы,  
что играем твоею судьбою...

Как дети – и русские и советские, «играющие» в войну и ранящие тело матери-Родины. Я понимал, что другого выхода нет, кроме как:

Чтоб в зоне вечной мерзлоты,  
выдерживая перегрузки,  
жить по-советски и по-русски  
и пить и петь до хрипоты.

Всю жизнь я старался быть посредником, послом, глашатаем этого примирения во имя торжества великой общерусской идеи. Иногда мне казалось, что оно произошло, и тогда я с облегчением писал:

А недруги, что отворяли жилы для этой крови?  
Но река времен все унесла.  
Мы выжили. Мы живы.  
И вспоминать не будем их имен.

А наша кровь густая, молодая  
свернулась, извернулась, запеклась,  
и, раны полусмертные латая,  
мы поняли, что нагулялись всласть.

Что надо вспомнить о родимом доме,  
что серый пепел мировых костров  
ушел на дно, растаял в Тихом Доне...

Я как бы хотел сказать: будем помнить все, но уже исторической памятью, а не той, что призывает к реваншу, разрушению и возмездию.

Однако время показало, что я преувеличивал созидательные силы и своего народа, и свои собственные. Из тлеющих угольков провокаторский ветер нового мирового порядка и перестройки снова раздул «пла-



мя мирового костра». Первый акт трагедии завершился. И доживать нам придется в ней.

Хотелось бы надеяться, что мой опыт, выраженный в книге воспоминаний и размышлений, будет востребован новым временем. Если такое случится, моя душа обретет хотя бы относительный покой от сознания исполненного перед Россией долга.

\* \* \*

Я родился в Калуге, где прожил до двадцати лет, куда часто приезжаю и по сию пору. По материнской линии моя родня происходит из калужских деревень Лихуны и Железняки. Дед был сапожником, а бабушка – крестьянкой. Она и растила меня до войны (покамест мать с отцом учились и работали в разных концах нашей земли), то в деревенской избе на высоком зеленом берегу Лихунки, то в калужской квартире – в тихом, заросшем липами уголке старого города недалеко от Загородного сада, где жил когда-то у губернаторши Смирновой-Россет Николай Гоголь, недалеко от скромного домика, замыкавшего возле Оки мощенную булыжником Коровинскую улицу... Домика, ныне знаменитого тем, что в нем жил и работал Циолковский.

Я помню, кажется, первую годовщину со дня его смерти. Калужане толпами шли на Загородный сад к могиле ученого. В осеннем ясном небе над крутым откосом, сбегавшим к черному бору, кружил тупоносый дирижабль, из которого, как разноцветные куклы, высыпались парашютисты...

По вечерам моя неграмотная бабушка рассказывала мне сказки, а иногда и запедала песни, которые, видно, знала со времен молодости.

Выгоняйте-ка скотину  
На широкую долину,  
На попову луговину...

Гонют девки, гонют бабы,  
Гонют малые ребята...  
Гонют стары старички,  
Миреды-мужички.

Не знаю, как нынешние старухи – рассказывают они своим внукам сказки или нет, а от своей Дарьи Захарьевны несколько сказок и песен я успел услышать...

Когда были живы бабушка, матушка и тетя Дуся, я часто приезжал в Калугу, и долгими зимними вечерами мы сидели на кухне, гоняли чай и толковали о житье-бытье, о минувших временах, о деревенской жизни, о войне, а чаще всего о судьбе их старшей сестры тети Поли, семнадцать лет прожившей на Колыме.

– Иду ночью с дежурства, – рассказывает тетя Дуся, – луна светит. Тепло. Июнь. Смотрю, на каменном мосту навстречу Польшка в темной юбке и в белой шелковой блузке. Я ей: «Поль, ты куда?» А она мне: «Молчи!» – и тут же вижу: за ней двое в штатском.

Утром прихожу на работу, а мне говорят: «Ты уже уволена». На другой день муж Поли, выдвигенец, неграмотный, ничего не умеющий, но партийный, выступил по радио с отречением от жены, бывшего директора фабрики, врага народа. Я Юрку сразу к себе и взяла – отчим его выгнал. Он приходит в школу, ему сообщают: «Ты исключен из комсомола. Откажись от матери». Он возвращается и рассказывает мне обо всем. Я говорю: Юра, от матери отказываться нельзя. На том и порешили.

Ходила я к Поле в тюрьму. Выходила в три-четыре часа ночи, чтобы очередь занять для передачи – узелок с едой, записка в узелке, на узелке бирка – фамилия, номер камеры... Их столько забрали, что кормить нечем было, потому и передачи разрешили... Идешь ночью, луна светит. Тишина. Только такие же, как ты, с узелками. Молча все идут. Возле тюрьмы рассвет встретишь и стоишь в очереди до двенадцати часов, пока пройдешь. Народу! Давка. Плач. Никто ничего не знает. (Я смутно

вспоминаю, как тетя Дуся однажды взяла меня с собой – помню какую-то белую стену, ворота, народ и зеленую лужайку, на которой я сидел, пока тетя Дуся стояла в очереди.) А на работу придешь – смотришь: нет того, нет этого. За год четыре начальника дороги сменились.

– А вернулся кто-нибудь из арестованных?

– В тридцать восьмом году один вернулся. Сидели они в подвалах под управлением железной дороги. Однажды мы с Клавкой стоим возле управления, вдруг ворота открываются и выводят их – смотрю, все наши. Мы так и обалдели, пока они мимо шли. Охранники подходят к нам: «Что смотрите? Какие знаки делаете?» Мы говорим: «Ничего!» – «Как ничего?» Забрали, увели к себе и восемь часов держали.

В разговор вступает матушка.

– В сороковом году я уже после финской приехала в Москву хлопотать за Полю. Пришла во двор, вроде бы где нынешний Моссовет, дождалась очереди, вошла. Сидит следователь. Я говорю так и так, Полина Железнякова за что сидит, какова ее судьба? Он порылся в папках и говорит: «Нечего приезжать было. Сестра – враг народа. Она затоваривала фабрику продукцией». «А чем там затоваривать? – сказала я. – Шьют они ватники да стеганые брюки! Подумаешь, продукция!» – Как он вскочил, как хлопнул по столу: «Не разговаривать!» Входит солдат. «Заберите!» Ведут в какую-то комнату и закрывают. Ну, думаю, все... Хорошо, с собою пачка папирос была. Вечером слышу – отпирают. Входит солдат, выводит меня по коридору во двор и говорит: «Идите и больше никогда здесь не появляйтесь...»

Мать замолкает, а Дуся копается в памяти и вытаскивает из нее всяческие большие и малые подробности.

– Увезли Полю зимой. Я успела ей теплых вещей передать. Платок. Пальто. Кофту. Ночью погрузили в вагоны – вагон по ветке прямо к тюрьме подавали. Три дня на Фаянсовой вагон стоял – ждали другой из Киева, в котором везли жен Постышева, Косиора и всякого украинского начальства... Те были одеты по-летнему, Поля в дороге с ними делилась теплыми вещами – я много ей передала, знала, что собрать,

другие бабы как курицы растерялись: что передавать? когда увезут? – а я знала, что надо...

Матушка машет рукой:

– А как в Лихуне раскулачивали Барановых да Сидоровых – какие они кулаки? Работали всей семьей от мала до велика с утра до вечера... Дом, говорят, у них был кирпичный... Так я сама помню, как Танька, бывало, глину для кирпичей месит – ноги все аж до крови рас-трескиваются.

Моя бабка глуховата, в 1918 году переболела тифом, но время от времени порой не к месту, но вступает в разговор:

– Ты, Шурка, советскую власть не ругай, ты при ей два института кончила!

Мать действительно после рабфака окончила сначала Московский институт физкультуры (была какой-то чемпионкой по прыжкам в высоту с места!), а потом медицинский институт, чем неграмотная бабка очень гордилась.

– Мать, но я слышал, что тетя Поля сама тоже раскулачивала.

– Она в нашу деревню не ездила, – с неохотой вспоминает матушка, – она чаще бывала в Доможирове, в Каменке. Да, раскулачивала, ну ее тоже заставляли, она же партийная была. За ней мужики как-то с кольями гнались, – а она на лошади, едва-едва убежала.

Мы долго молчим, и я думаю о том, что судьба жестока, но, в конечном счете, и справедлива. Наверно, по тети-Полиной милости не одна крестьянская семья была выслана куда-нибудь в Нарым или еще дальше. С детьми и стариками. А потом и до нее очередь дошла. «Какой мерой вы судили, такой и вам отмерится...» Так, что ли, было сказано две тысячи лет тому назад?

А послали тетю Полю в лагерь по делу секретаря Калужского горкома Трейваса – латышского еврея. Он был в свое время активным сторонником Троцкого, коих в партии после изгнания их вождя оставалось еще немало, что совершенно естественно для постреволю-

ционных времен. Сталин, добивавшийся перед войной полной идеологической и организационной монолитности общества, взял курс на жестокое искоренение из партийного аппарата всех тайных и явных сторонников своего врага. Черед дошел и до Трейваса, а вместе с ним и до городского партийного бюро, членом которого была моя тетка – в молодости калужская крестьянка, потом выдвиженка и в 1937 году директорша швейной фабрики. Откуда ей было знать, что, сделав партийную карьеру, придется заплатить свободой за грехи неизвестных ей троцкистов. Лес рубят – щепки летят.

– А наша семья, – снова начинает разговор тетя Дуся, – нянька с детьми, три коровы держали, две лошади, овечки, куры. Мужиков в доме не было, одни бабы.

Разговор становится веселее, переходит на деда, на бабушку, на жизнь в родовой деревне Лихуны.

– Дед твой легкий на подъем был человек. Работать умел. Хотел всех выучить. Хотел в Америку уехать, да бабушка как гирия висела на ногах. Одевать любил нас в магазине и обувал из магазина, хотя сам был сапожник известный. Как-то Серегу-брата повел в магазин, купил ему мерлушковую шапку с красным верхом, синюю поддевку, лакированные сапоги. А Поле какое приданое дал: серебряный самовар, двенадцать серебряных рюмок, дюжину серебряных ложек столовых, дюжину чайных... А помнишь, Шура, нашу бабушку Евдоху? Шестеро детей у ней было. Все разные. Степан и нянька – черные, цыганистые, Федор – другой. Бабушка как две капли воды похожа на соседку Баранову, как близнецы, даже родинка на щеке в том же самом месте. Как пойдут в ночное лошадей пасти, так и не поймешь – кто потом от кого. А кто же согрешил? Да конечно, бабушка Евгенья. Бойкая была. С шестью детьми за церковного старосту вышла. После революции одна осталась с детьми. Приедет в город в башлыке, каленом от мороза, – как в буденовке, за что ее и звали Буденный, – дрова привезет, да нам картошки, да бутылку молока, молоко теплое – за пазухой всег-

да возила. Одна всю землю обрабатывала, что ей досталась от этого старосты. А у няньки муж был, работал пекарем в Москве. Ну красавец – белокурый, чистый Есенин.

Няньку – бабкину сестру, вырастившую и мою мать, и тетю Дусю, я видел в семидесятых годах, когда она жила в городе у своей внучки. Шел ей тогда девяносто третий год, но волосы еще были черные с проседью, а чистое лицо, обрамленное беленьким платочком, еще хранило приметы византийской иконописной красоты. Только была согнута она в пояснице и не разгибалась. Помню ее разговоры о колхозной жизни:

– Земли у меня было сорок соток. А налогу – сто рублей в год, да пятьдесят кило мяса, да триста литров молока, да шестнадцать мешков картошки. Самообложение двадцать рублей седьмого ноября сдавали, а потом еще и облигации – хошь не хошь бери. А как мяса сдать пятьдесят кило? Бывало, едем на рынок бригадой, покупаем корову и сдаем. Ненавижу я и Сталина и Ленина вашего... – И вдруг ни с того ни с сего тетя Маша с той же ненавистью вспоминала своих соседей-кулаков Барановых, Муриных, Сидоровых: – В кирпичных домах жили, мироеды!

А ведь глину-то для кирпичей кулацкие дочери месили ногами, пока кожа до крови не трескалась. Тетя Маша... Я стихи о ней когда-то написал:

А какая была молодлица,  
византийские брови дугой...  
Тете Маше ночами не спится,  
все мерещится вечный покой...

Ну откуда было знать неграмотной тете Маше о том, что ее жизнь и судьба, ее самообложение и ее налоги были определены и запрограммированы на самом высшем этаже власти, обсуждены на самом высоком партийном уровне? Ведь именно о ее тяжелой доле говорил Сталин на

пленуме ЦК в апреле 1929 года: «Кроме обычных налогов, прямых и косвенных, которые платит крестьянство государству, оно дает еще некий сверхналог в виде переплат на промтовары и в виде недополучек по линии цен на сельскохозяйственные продукты...

Можем ли мы сейчас уничтожить это сверхналог? К сожалению, не можем. Мы должны его уничтожить при первой возможности в ближайшие годы. Но мы его сейчас не можем уничтожить... Это есть “нечто вроде дани” за нашу отсталость. Этот сверхналог нужен для того, чтобы двинуть вперед развитие индустрии и покончить с нашей отсталостью... Посилен ли этот добавочный налог для крестьянства? Да, посилен. Почему? ...У крестьянина есть свое личное хозяйство, доходы от которого дают ему возможность платить добавочный налог, чего нельзя сказать о рабочем, у которого нет личного хозяйства и который, несмотря на это, отдает все свои силы на дело индустриализации».

И еще неграмотная тетя Маша не знала знаменитых слов Сталина, сказанных в то же время: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Одно утешение, что ее мясо и молоко, картошка и шерсть, ее пот и слезы легли в фундамент Магнитки и Кузнецка, а не в обрамление особняков на Канарах и вилл на Лазурном берегу... Земля ей пухом и вечная память...

А матушка все продолжает свои воспоминания о дореволюционном еще детстве...

– Приедем в ночное, бабка в тулуп, а меня лошадей пасти, чтоб овсы или рожь не потоптали. А когда дрова продавать в Калугу ездила – так обыденкой, чтобы к вечеру вернуться. У Святого Колодца всегда останавливалась напиться. Почему Святой Колодец? А когда хоронили, то кресты с покойников снимали и на деревянный крест, что у колодца стоял, вешали. Кресты в могилу не клали. Вода была хорошая, ключевая.

– А где же этот Святой Колодец?

– Да под Азаровом, где церковь Георгия на Поляне. Там и твой дед похоронен. Да ты должен помнить: от деревни как через речку перейдешь – и на горе. Церковь-то до сих пор стоит...

На другой день я поехал разыскивать Святой Колодец, поляну и могилу моего деда Никиты, помершего от тифа в тысяча девятьсот двадцатом году.

Долго я плутал по промышленной окраине Калуги, крутился в лабиринтах заводских бетонных заборов, подъездных тупиков, глотая выхлопной газ от самосвалов и цементную пыль. Наконец по раскаленной бетонке миновал переезд и выехал на старую дорогу к поселку Северному, от которого мне надо было искать кладбище. А где могила – даже мать не помнит. Вдоль пустынного когда-то большого, вымощенного булыжником, ангары, подстанции, складские помещения, железные ворота. Все горячее, пыльное, раскаленное... Я миновал бетонный завод с его корпусами, конвейерами, самосвалами, разбитой дорогой, с выбоинами, наполненными тестообразной цементной массой, с обнаженными до пояса коричневыми солдатами из строительного батальона, выехал к какому-то кафе, вышел спросить дорогу. В кафе вино продавалось в разлив. Парень в рабочем синем халате нес в руках два стакана «Солнечной осени», его толкнул кто-то из компании, встоячку привалившейся к столику, граненый стакан грохнулся об пол, выложенный выщербленными плитками, и разлетелся вдребезги. Запахло сладким спиртным...

Я проскочил территорию завода, съехал с горы и, сообразив, что церковь осталась где-то сзади, расстроился, но увидел мостик и речушку, быстро бегущую в ивовых зарослях. Да это же родная Лихунка! Не найду кладбища – хоть освежусь в родной воде, подумал я и свернул с бетонки на глинистый проселок, подъехал к реке, вылез из машины и вдруг увидел перед собой на горе, с которой я только что съехал, в зеленых кущах деревьев два просвечивавших насквозь купола. Вот он, храм Георгия на Поляне! Просто он не виден с той пыльной застроенной дачно-бетонной стороны, а отсюда, от речки, с низины,



словно бы выплыл из зеленого облака и завис над ним. Его погнутые кресты были отпечатаны в синем июньском небе.

Я успокоился и решил искупаться в водах, где купался в детстве. Не может быть, чтобы они не помогли мне и не вернули хотя бы маленькую искорку той жизненной силы, которую я когда-то черпал из этой воды целыми пригоршнями. А коли частица той свежести осталась во мне – она должна почувствовать связь с водой, с землей, откуда вышла, чтобы воплотиться в мое существо... Я вошел в ручей. Он был мне едва по колено – но песчаное дно и холодная вода успокоили меня. Я лег в воду на грудь, потом на спину и долго лежал, пока струи не сняли с меня цементную пыль и усталость, остудившись, вылез на берег, заросший сурепкой, тысячелистником и полынью. По тропинке бежало трое ребяташек. Один из них размахивал копьем, вырезанным из орешника. «Да это же я!» – пронеслось в моей голове.

А ноги-то отвыкли от засохшей глины, от травы-муравы, от землиматушки... Неуверенно по ней ступают. Бывал я в Риме, бродил по Коллизею, но, ей-Богу, говорю не лукавя, развалины этой сельской церкви были для меня более величественны и волнующи. Когда-то церковь действительно была на поляне, но сейчас обросла кустами и деревьями, даже внутри церкви росли мощные вязы. Одна стена, где, видимо, находился главный вход, была сломана, ворота и двери разбиты, от них осталась лишь кирпичная кладка – косяки, и церковь, вернее, остов ее, стоит – видимо, местные жители выбирали из нее кирпичи – на нескольких мощных останках кирпичных стен, как Эйфелева башня на подпорках, оттого она стала воздушной и кажется чудом зодчества. Однако под куполом во всех четырех углах, несмотря на ветры, снега и дожди, которые хозяйничают в каждой ее щели вот уже несколько десятилетий, сохранились силуэты святых, а над головами их еще кое-где догорает золото венценосного сияния. Но сквозь кирпичи, пройдя мощную кладку, свисают тонкие волокнистые корни берез, растущих уже не на земле, а в каменном теле. Мощные решетки еще стоят в окнах второго и третьего ярусом. На пяти-шестиметровой

высоте сохранились остатки штукатурки и росписей. Четыре золотых сияния над головами. Птицы шуршат в листве деревьев, что растут на месте, где был алтарь и царские ворота. В первом ярусе решетки выломаны из стен. Одна стена, соединяющая колокольню и алтарь, разобрана. На стенах надписи: «здесь были...», «Игорь», «Васек», «Зураб». На колокольне, если задрать голову, под куполом еще видны металлические и деревянные перекрытия, на которых висели колокола. Пол выломан. Видимо, плиты нужны были. В земле громадные ямы – копали, искали чего-то, клад какой-нибудь. Все заросло крапивой, бузиной... А рядом кладбище, где лежат те, кто строил эту церковь, и те, кто ее ломал, и где хоронят их потомков... Где тут найдешь могилу деда? Все заросло. Давно уж и крест над ним, наверное, повалился и сгнил. Новые могилы навалились на старые. Где-то рядом урчат комбайны, грохочет бетонный завод, и только река Лихунка еще бежит по тенистой влажной низине, холодная, святая, ничем пока что не тронутая, и Георгий на поляне виден только с ее берега.

Кирпич разложился, выкрошился, вот-вот горловина под куполом обломится, но железный купол с каждым годом тоже ветшает, становится легче, ржавчина осыпается с него, сдуваемая ветрами, метелями, смываемая дождями, крест и полумесяц под ним истоньшаются, тяги, идущие от креста к куполу, тоже тоньшеют, но все это еще держится, словно вычерченное черной тушью на выцветшей сини июньского неба. Один купол – из железных обручей, другой еще покрыт черным полустлевшим листовым железом. А поляна заросла клевером, пижмой, тимфеевкой, таволгой, зверобоем. Со всех сторон к церкви подступают молодые дубки и кусты бузины. И сколько я ни бродил в их зарослях, нигде не мог обнаружить никаких следов Святого Колодца.

С юга потянуло теплым ветром, и березы, растущие высоко в небе, на кирпичных карнизах, зашелестели молодой листвой.

Не найдя ни могилы деда, ни Святого Колодца, я решил пройтись по родовой деревне. Спустился в овраг и по петляющим выбитым стежкам поднялся, минуя огороды, к избам.

Вот он и знаменитый кирпичный дом кулаков Сидоровых. Наверное, какие-нибудь потомки здесь живут в летнее время, огород держат.

– Вам кого, молодой человек? – Меня окликнула еще крепкая старуха, и я решил рассказать ей, кто я такой и почему брожу по деревне.

Минуты три она слушала, потом всплеснула руками.

– Да помню я тебя мальчиком белобрысым. Из города тебя бабка на лето к няньке привозила. Ну пойдем, хоть чайком угощу...

За чаем она рассказала мне о многом, чего я уже не знал. Оказывается, у бабки было три брата – Иван, Степан и Михаил. Иван воевал на Гражданской, а когда напивался, доставал саблю и бегал по деревне. «Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня». Да нет, Сергей Александрович, много чести. В русской деревне столько крику стояло в те годы, что никто бы на лишний крик и не обернулся. В доме Марьи Васильевны Сидоровой резной буфет, дубовый шкаф, комод, старинный барометр, круглые старинные часы. Дом каменный, построен на две семьи. Одна половина на пять окон, другая на шесть. Держит корову и двух собак. Дети живут в городе.

– А войну-то помните?

– Ну как не помнить, я ведь старше твоей матери на два года. Фронт-то со Смоленска разошелся. Идут по нашей деревне трое, у одного нога клеенкой перевязана. Зашли поесть, он и говорит: «Я коммунист, и послушай меня: дойдет до вас немец, режьте скотину». Куда там!..

А твоей бабушки брата немец ранил на пороге избы, избу сожгли. Он немца обозвал сволочью, когда тот лукошко яиц у них забрал из сарая. Хотел немец его дострелить, да нянька – его сестра – на руках у немца повисла. Мы всего-то два месяца под немцем были. Велели нам старосту выбрать. Ну, мы выбрали прежнего председателя, старика Ивана Михайловича. Он мужик умный, на Соловках побывал. И народ не давал обижать. А наши пришли: кто был старостой? – забрали. Так и не вернулся.

Она проводила меня до речки Лихунки. Какая речка – ручеек! – а когда-то в ней были омута, где однажды я чуть было не утонул – вырос-

лые ребята спасли. Нахлебался. Тропинка через овраг прошла, на Доможирово, и на развилке мы попрощались. У развилки из-под камня пробивался ручей, и песчинки плясали, поддерживаемые струйкой воды, бьющей из какого-то чистейшего водоносного слоя.

– Ну, попей, попей родимой водицы, у нас вода святая, ничем не тронутая...

– Марья Васильевна, а я помню, на том склоне до войны еще какие-то развалины стояли.

– Там имение было с еловыми аллеями. Сожгли в революцию.

– А зачем сожгли?

– Да чтоб помещику не досталось...

Я иду к машине по дну влажного оврага. Кругом таволга, иванда-марья, лещина... Аж голова кружится от этого сырого дурмана. Надо еще водицы попить, пока от ручья не ушел.

Сколько всего исчезло с моей родной земли – нет ни дедовской могилы, ни еловых аллей, ни Святого Колодца, ни церкви Георгия на Поляне, и поляны скоро не будет...

Одна святая вода осталась...

Однако воспоминание о деде-сапожнике вдруг вернулось ко мне самым неожиданным образом в 1992 году, когда я уже работал в «Нашем современнике».

Покойная мать рассказала мне однажды о том, как в 1918 году, когда ей было одиннадцать лет, поздно вечером в дверь кирпичного флигеля, где они жили и где у деда была в одной из комнат сапожная мастерская, раздался стук... Бабка отворила дверь. На пороге стоял офицер, снимавший в доме напротив квартиру. (Сейчас на стене того дома висит мемориальная доска, свидетельствующая, что он принадлежал отцу Наталии Николаевны Пушкиной – Николаю Гончарову, владельцу Полотняного Завода.) Офицер настоятельно попросил деда срочно, за несколько часов, стачать ему яловые сапоги за хорошие деньги... Он вошел с отроком-сыном и с громадной овчаркой в мастерскую, дед снял с него мерку, раскроил кожу и принялся тачать

союзки. Мать с братом и сестрами с любопытством время от времени разглядывали в неплотно прикрытую дверь и усатого офицера, и красавицу собаку, и офицерского сына, который, видимо, впервые в жизни видел, как шьют сапоги...

Рано утром офицер с сыном и собакой исчезли из Калуги. Новые сапоги, наверное, были нужны нашему соседу, чтобы уйти куда подалее из советских областей, на Дон или на Украину... А донашивал он их где-нибудь в Турции или Сербии...

Но это не все. Весной 1992 года в редакции раздался телефонный звонок.

– Скажите, вы, Станислав Юрьевич, калужанин?

– Да...

– Я ваш земляк, живу в Америке, зовут меня Игорь Леонидович Новосильцев. Мне бы хотелось встретиться с вами.

...Через час благообразный, подвижный, ухоженный старик сидел в моем кабинете, мы пили чай, и он рассказывал о своей жизни.

– А до революции мы в Калуге жили в так называемом доме Гончаровых, возле Георгиевской церкви.

– Как интересно, в том же дворе жила и наша семья, дед, бабка, мать с отцом и сестрами.

– А где они жили?

– Во флигеле из красного кирпича.

– Ну, я прекрасно помню этот флигель, и жильцов его помню, и детей... Наверное, я и с вашей матушкой встречался... Какого она года рождения? Девятьсот седьмого? Ну, я немного старше...

Слово за слово, и через несколько минут я убедился, что офицер, которому мой дед шил сапоги перед бегством из Калуги – отец Игоря Леонидовича, а мальчик, сидевший в мастерской деда и при колеблющемся свете керосиновой лампы наблюдавший, как на его глазах мастер-сапожник тачает сапоги, – он сам...

Старик прослезился, обнял меня с таким чувством, как будто встретил родного человека, с которым не виделся семьдесят с лишним лет...

– Ну, знаете – это перст судьбы! Я создал в Америке общество «Сеятель». Мы зарабатываем деньги, собираем пожертвования, покупаем семена и привозим их в Россию – фермерам, колхозам, монастырям. Всем, кто в них нуждается. Вот и сейчас я везу семена в Оптину пустынь и Шамординский монастырь. Мы, русские, живущие в Америке, любим ваш журнал, выписываем, читаем. Перед отъездом читатели журнала собрали две тысячи долларов, чтобы поддержать «Наш современник» в такое трудное для патриотов время.

Тут я чуть не прослезился... Цены росли на глазах, сотрудники журнала, получавшие копеечную зарплату, были разорены гайдаровской реформой – и вдруг такая помощь!

Поистине ничего не пропадает даром. Мой дед за ночь сшил отцу Игоря Леонидовича яловые сапоги на глазах сына, а сын через семьдесят четыре года как бы возвращает долг внуку сапожника... Русские люди, земляки, снова встретились. Разорванный круг истории сомкнулся...

Мы обнялись и, не стыдясь своих слез, расцеловались.

\* \* \*

Отцовская же родня – три или четыре поколения – были в основном офицерами, земскими учителями, мелкими чиновниками государственной службы в Петрозаводске. Брат деда Алексей, работая учителем в Олонецкой губернии, писал стихи народнического, «надсоновского» толка («Впервые здесь мы о свободе держали речь и о борьбе, о нашем загнанном народе, который жизнь влачит во тьме») и вместе с ссыльными революционерами занимался просветительской работой среди крестьян в окрестностях Петрозаводска. В 1919 году Олонецкий губернский отдел народного образования издал книгу «Стихотворения народного учителя Алексея Николаевича Куняева». Петрозаводские газеты в 70-е годы в материалах, посвященных истории края, не раз вспоминали его имя. Другой брат деда, Евгений, воевал солдатом в Первой мировой войне, стал полным геор-

гиевским кавалером и был произведен в офицеры. Погиб на Великой Отечественной в звании майора. Еще один брат, Борис, ушел с белыми в эмиграцию. А мой дед, Аркадий, учился в Петербургской военно-медицинской академии, из которой после участия в студенческих волнениях 1905 года был исключен и закончил медицинское образование в Киеве. Во многих отношениях он был человеком незаурядным. Блестящий хирург, педагог, общественный деятель, дед в 1913 году построил на пожертвования нижегородцев больницу, которой заведовал вплоть до 1919 года. В этой же больнице работала врачом моя бабка – Наталья Алексеевна Покровская. Когда во время Гражданской войны в Поволжье вспыхнули очаги тифа, дед стал одним из главных организаторов борьбы с эпидемией, в конце концов заразился сам и умер, как врач, на посту. Незадолго до его смерти от тифа умерла и моя бабушка. В 60–70-е годы горьковские газеты в связи с юбилеями всякого рода медицинских учреждений несколько раз печатали портреты деда и воспоминания о нем, земском враче, профессоре медицины, потомственном русском интеллигенте, председателе суда чести врачей в Нижегородской губернии.

В 1957 году, когда я окончил филологический факультет МГУ, диплом в деканате мне выписал седенький старичок Алексей Петрович. Почерк у него был каллиграфический, дореволюционный, писал он тушью, там, где надо, – с жирным нажимом, а где – тончайшей, волосяной линией. Его и держали при деканате за это искусство. Выдавая мне диплом, он спросил:

- А доктор Куняев из Нижнего Новгорода не ваш ли родственник?
- Это мой дед! – с удивлением ответил я.

– Так вот, ваш дед сделал мне в 1915 году редчайшую операцию. У меня был остеомиелит лучевой кости. Кость гноилась. Руку уже хотели ампутировать. Но ваш дедушка выпилил у меня часть ребра и заменил им омертвевшую костную ткань руки. Вот этой рукой, – Алексей Петрович засучил рукав пиджака и показал мне едва заметные шрамы на коже, – я вам, молодой человек, с благодарностью выписываю диплом.

Оба они, дед и бабушка, были похоронены, как известные нижегородские врачи, с траурными торжествами. Некрологи, появившиеся в нижегородских газетах, стоят того, чтобы процитировать их. Студенты медицинского факультета Нижегородского университета писали об Аркадии Николаевиче самым что ни на есть «высоким стилем», объединившим гимназические навыки студентов с трогательной риторикой революционной эпохи:

«Пройдут года, и на месте убогого домика нашего теперешнего анатомического института будет выситься прекрасное грандиозное здание, оборудованное по последнему слову науки, и в нем будут учиться толпы пролетарской молодежи, прокладывая путь к знанию и искать средства спасения человечества от потрясающих его жизнь болезней и эпидемий... У открытой могилы, готовой взять дорогого нам человека, с тяжелым от скорби сердцем и глазами, полными слез, нам слышатся вещие слова Аркадия Николаевича, мертвое тело которого есть первый камень, но камень редкой благородной красоты в фундаменте дивного храма науки и жизни, которому благородные последователи дадут его имя...» (Нижегородская коммуна. 17 авг. 1920)

О смерти бабушки газеты сообщали стилем не менее возвышенным:

«Образ Натальи Алексеевны глубоко запечатлен в нашей памяти, и, взвешивая ее деятельность как врача и оценивая ее как человека, с грустью, искренне скажешь о ней теплыми словами Надсона: “Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает”» (Нижегородский листок. 6 дек. 1917).

За гробом деда шел эскадрон красных кавалеристов, два оркестра сопровождали траурную процессию, когда опускали в могилу гроб, то воинский караул произвел три прощальных залпа.

Могилы их находилась в почетном месте, возле стен Печерского монастыря, на откосе, возле слияния Оки и Волги... До 1930 года больница, основанная дедом, называлась «Больница имени доктора А. Н. Куняева», но в 1931 году это было расценено как самоуправство местных



властей, мемориальную доску со стены больницы сняли, а когда в том же году закрывали монастырь, то разорили монастырское кладбище, и я никогда уже не узнаю, где покоятся кости деда и бабушки.

Однако весной 1978 года в моей московской квартире раздался звонок из Горького – звонила Альбертина Васильевна Кессель, работник городского Общества охраны памятников:

– Станислав Юрьевич, приезжайте на открытие мемориальной доски вашему деду!

На красивейшей набережной города, застроенной купеческими ампирами особняками, откуда простирается вид на Волгу и заречные дали, во дворе уютной больницы, огороженной старинной чугунной оградой, состоялся небольшой митинг, на который пришли писатели, журналисты, врачи города, согбенные годами медсестры – некоторые из них помнили и деда и бабушку, принесли с собой старые фотографии, и наконец-то с мемориальной доски сползло белое покрывало, и я с волнением прочитал слова, вырезанные на мраморе:

*В этом здании  
с 1913 по 1919 год  
работал организатор больницы  
Красного Креста  
А. Н. Куняев*

Дело сделано, справедливость восторжествовала. Я подумал о том, что моим внукам и правнукам легче будет сохранять в жизни честь и достоинство русского интеллигента, зная о существовании этой мраморной доски на кирпичном фасаде старенькой нижегородской больницы.

Однако имя деда в 1990-е годы было увековечено еще в одном месте... В 1995 году со всеми своими тремя внуками я совершил путешествие в Арзамасский уезд. Сначала в Дивеевский монастырь, а потом в земскую Карамзинскую больницу, в арзамасский край, в места,

благословенные Серафимом Саровским. Пройдя за световой день 700 километров, автобус к ночи привез нас из Москвы к стенам Дивеевского монастыря.

Темной дождливой ночью, скользя и опираясь друг на друга, мы добрались по глинистым размытым тропам к монастырской гостинице, стоявшей в чистом поле за пределами села. Несмотря на страшную осеннюю грязь и нашествие паломников, в гостинице было тихо и чисто. Молоденькие молчаливые послушницы в белых платочках непрерывно сновали по коридорам с ведрами и тряпками, протирали полы, встречали паломников, приказывали им снимать облепленную глиной обувь в прихожей, наливали воду в бочки и умывальники, разводили нас по комнатам. В каждой из комнат на двухэтажных железных кроватях умещалось по двадцать человек. Мы с младшим внуком залезли на второй этаж, уронили свои тела и головы на серо-зеленые, но чистые солдатские простыни и наволочки и тут же заснули...

Утром я огляделся. Молодые ребята сидели у своих тумбочек, пили чай, ели постную пищу и вполголоса, чтобы не мешать спать другим, разговаривали. На тумбочках возле их кроватей лежала святоотеческая литература, на стенах висели иконки и сюжеты из Священного Писания. В воздухе витал дух смирения и добровольного аскетизма. Каждое утро они встают чуть свет, читают молитвы, завтракают и уходят на целый день. Большинство из них работает на восстановлении монастыря...

Мы с внуками умылись, пошли к монастырю, приложились к мощам святого Серафима, отстояли утреннюю службу и вышли на площадь, куда вскоре должна была подойти машина, чтобы отвезти нас в Карамзинскую больницу, километров за сорок от монастыря. В этом-то, собственно, заключалась главная и тайная цель нашего путешествия.

Карамзинскую больницу в середине прошлого века построил старший сын великого историка Александр, который, выйдя в отставку, покинул блистательный Петербург, отказался от светской карьеры и уехал с молодой женой Натальей Васильевной Оболенской в свои на-

следственные заволжские уголья, чтобы посвятить вторую половину жизни земскому обустройству в этих глухих русско-мордовских местах. Благодаря его стараниям на окраине села Рогожка вскоре вырос каменный двухэтажный корпус земской больницы, родильный дом, хозяйственные постройки, была открыта целая система прудов и разбит прекрасный парк с липовыми аллеями, благородными кустарниками, экзотическими для этих мест лиственницами и кедрами.

Вскоре после смерти Карамзина и Оболенской – а их похоронили в склепе посреди парка – заведовать больницей приехал молодой врач с молодой женой. Случилось это в 1905 году. Через семь лет деда с бабушкой, как толковых врачей и организаторов земской медицины, перевели в Нижний Новгород, а местное земство постановило, чтобы его портрет работы знаменитого нижегородского фотографа Дмитриева «вечно висел в кабинете главного врача Карамзинской больницы». Я знал, что он висит здесь вот уже восемьдесят пять лет, что на стене больницы открыта мраморная доска, повествующая о заслугах деда, и очень хотел, чтобы мои внуки прикоснулись душой, зрением, памятью к истории нашего рода...

Вскоре нынешний главный врач Олег Михайлович Бахарев после моего утреннего телефонного звонка подъехал на санитарной машине в Дивеево, и мы отправились в легендарную Карамзинскую больницу. Олег Михайлович вместе с женой Мариной Владимировной (тоже врачом – сильны-таки традиции земской медицины!) заведует больницей вот уже лет двадцать. Полноватый, с поседевшими висками, бородкой и в очках, он похож и на типичного чеховского доктора, и на моего деда со старинных коричневатых фотографий, у него доброжелательная печальная улыбка и приветливые жесты рук. Сам сидит за рулем и рассказывает по дороге о нынешней «больничной жизни».

– Зарплату в этом году получали дважды – по 200 тысяч. Тесть недавно умер, а его военной пенсией мы оплатили расходы сына на учебу: учится на врача в Нижегородском университете. Платили один миллион в год. Как теперь учить будем – не знаю. Люди в поселке и их семьи

живут впроголодь, только на пенсионные деньги, заработать негде. Совхоз развалился. А ведь раньше давал 600 тонн мяса ежегодно! Распустили, согласно немцовским реформам, отрезали каждому работнику несколько гектаров земли, которая за три года заросла кустарником и подлеском. Нам, врачам и медсестрам, тоже дали по восемь гектаров. А что с ними делать? Нам людей лечить надо!

По моей просьбе он притормозил у придорожного ларька. Я взял бутылку водки. Олег Михайлович смутился, покраснел, отвел глаза. Ему было неудобно, потому что у него, хозяина, не было десяти тысяч, чтобы купить спиртное к обеду и выпить по чарке за встречу.

Перед самой больницей, когда уже показались ровные липовые линии знаменитого парка, он заканчивал свой невеселый рассказ:

– Больница умирает. При вашем деде она была на сто коек. Сейчас осталось пятнадцать. Больше класть не можем, нет денег на содержание больных. Нет лекарств. Чтобы зря не выписывать рецепты, прямо спрашиваем: «Деньги есть?» Больные, как правило, мотают головами. Обучаемся лечить травами. На бинты собираем старые простыни, дезинфицируем. В округе снова появился сифилис, с которым ваш дед справился в начале века. Котельная в аварийном состоянии. Выйдет из строя – больница замерзнет. Гвозди рубим из проволоки. Штат врачей, медсестер и санитарок сократили вдвое. А можно и втрое. Ну посудите, в начале перестройки у нас рождалось 45–50 младенцев ежегодно. Сейчас 8–10...

...Мы вышли в парк. Между вековых лип и лиственниц еще угадывались не до конца заросшие березняком, рябиной и жимолостью аллеи, на которых фотографировались местные земские врачи, приезжавшие в гости к деду и бабке. В сером ноябрьском небе над парком кружила пара воронов.

– Сколько им лет – никто не знает. Даже местные старухи помнят это семейство с молодых лет. Вполне возможно, что они еще при Аркадии Николаевиче здесь кружили. А парк – один из лучших на

Новгородчине был. Александр Карамзин паркового архитектора и садовника содержал...

Мы прошли в сырую, пахучую черно-золотую глубь парка, дошли до холма, где когда-то стоял склеп Карамзина–Оболенской.

– Во время революции разорили, золото искали. А недавно мы обнаружили под школьными порогами в земле надгробную плиту черного гранита с именами Карамзина и Оболенской. На берегу пруда – я вам покажу – поставили крест, плиту положили... Правда, одна ее сторона сильно побита. Несколько поколений школьников стальными подшипниками ее долбили, отскакивали здорово, высоко... Вот так и живем: плиту и крест поставили, мемориальную доску вашему деду открыли, а больница умирает. Лет пять тому назад столько надежд было, столько планов! А автобус купили, хотели по Золотому кольцу – Карамзинская больница – Арзамас – Дивеево – Темниковский монастырь туристов возить, водолечебницу наладили, авторемонтный завод шефствовал над нами... А чем все кончилось? Завод лежит на боку, водолечебницу, как ненужную роскошь, прикрыли, гвозди из проволоки рубим. И вообще, мы, местные врачи, чувствуем: у губернаторской администрации появилось страстное желание избавиться от всех подобных «земских» больниц, построенных и в прошлом веке, и в советское время. Нам прямо говорят: дорого вы стоите, народные больницы, крестьянам достаточно фельдшеров и «повивальных бабок»...

Перед отъездом хозяйка пригласила нас поужинать. Поставила на стол по тарелке супа и по котлете. Извиняется:

– Холодильник открыть стыдно. А помните, как мы принимали вас в девяностом, даже в девяносто втором году? Стол ломился! Чего только не было: и мясо, и рыба, и варенья, и соленья, и пироги...

Мы проглотили по стопке водки и обнялись на прощанье. Вышли на улицу. Выгрузили коробки с книгами, которые я привез для больницы библиотеки, сели в машину.

– Погодите, – забыли детям показать портрет их пращура и дом, где он жил!

В кабинете главврача мои внуки с почтением поглядели на портрет, окаймленный коричневой дубовой рамкой с медной табличкой, привинченной к дереву, потом вышли к почерневшему от времени рубленому дому с шести комнатами со светелкой, стоявшему на берегу пруда. В светелке компания окрестных врачей частенько собиралась на чаепитие за медным самоваром. Моя бабушка садилась за рояль, врач Капустин брал в руки скрипку, дед декламировал модные в то время среди прогрессивной интеллигенции стихи:

Каменщик, каменщик в фартуке белом,  
Что ты там строишь? Кому?  
– Эй, не мешай, мы заняты делом,  
строим мы, строим тюрьму...

Играли Чайковского, читали вслух «Капитал» Маркса, влюблялись друг в друга, баловались вольномыслием, ругали Церковь, обожали Льва Толстого. В этом доме родились и прожили свое детство мой отец и дядя. Стекла выбиты, ветер качает перекосившуюся, повисшую на одной петле раму... Средний внук Алексей хмур и возмущен:

– Это же наш наследственный дом! Стану бизнесменом, заработаю денег и отремонтирую все – и дом и больницу, здесь жить буду!

Марина Владимировна улыбается и, чуть не плача, обнимает его:

– Дай тебе Бог! Только вот нас уже в живых не будет.

На прощанье Олег Михайлович со счастливой улыбкой выносит из дома книгу в обветшалом кожаном переплете, открывает пожелтевшую титульную страницу. С трудом я разбираю надпись, сделанную выцветшими чернилами: «26 августа 1879 поднесено моей милой Таше с покорнейшей просьбой не дарить другим. А. Карамзин».

Том «Истории государства Российского» 1851 года издания, подарок Александра Карамзина своей жене Наталье Оболенской, Таше!

– Откуда это у вас, Олег Михайлович?!

– Недавно старушка одна принесла. Сохранилась в ее семье еще со времен революции, когда склеп разоряли, дом барский рушили, библиотеку растаскивали... Возьмите себе на память от Карамзина, от вашего деда, от меня...

Мы обнялись на прощанье.

– А больницу спасать надо! – сдавленным голосом шепнул Олег Михайлович, горячо дыша мне в ухо...

Когда мы отъезжали от Рогожки, высоко в небе кружил ворон, хозяин здешних мест, помнящий все времена: и расцвета и разорения жизни...

\* \* \*

Может быть, гены, как оказалось, живущие в этом роду, сделали свое дело, когда я впервые, как сказал поэт, «с рифмою схлестнулся». Было это в эвакуации, в северном селе Пыщуг, затерявшемся в лесах на стыке Горьковской, Костромской и Вологодской областей, куда нас с матерью и сестрой занесло ветром войны. Сюда мы эвакуировались из Ленинграда, где оставили отца, который, будучи белобилетником по зрению, обучал ополченцев при Институте физкультуры имени Лесгафта и умер голодной смертью в феврале 1942 года.

В Пыщуге я окончил четыре класса начальной школы, и помнится, что первое стихотворение мое было «опубликовано» в школьной газете. Оно было о войне, и от него в памяти осталась только одна строчка: «чаша народного гнева полна»... С нежностью вспоминаю деревянную крашеную школу в окружении почерневших от времени берез.

Недавно я побывал на родине Рубцова в селе Николе и аж взволновался, увидев, насколько эти края похожи на мои пыщугские.

Школа моя деревянная,  
Время придет уезжать,

Речка за мною туманная  
Будет бежать и бежать...

Да это же – о моей пыщугской школе, со двора которой тянулись необъятные для глаза просторы глухого леса, болотистая кочковатая низина, пересеченная чистой холодной рекой, где мы купались и ловили бельевой корзиной юрких пескарей...

Вспоминаю школьных товарищей, деревенских ребят – Боборыкиных, Бессоновых, Хариновых. Сначала у нас, эвакуированных, с ними были жестокие стычки, но потом мы подружились. Они учили нас, как делать крестьянскую работу в поле, добывать в лесу грибы и ягоды, ловить рыбу, а мы помогали им решать задачи по арифметике, писать изложения и рассказывали, где и как мы успели увидеть войну. В летние дни все вместе мы то окучивали колхозную картошку, то собирали в лесу мох сфагнум для госпиталей, где не хватало ваты, то черные угольки спорыньи с ржаных колосьев, нужной в тех же госпиталях как кровоостанавливающее средство... А вообще – росли как трава в поле...

Там, в тихом северном селе, куда одна за другой к нам пришли похоронки о смерти отца в осажденном Ленинграде, о гибели материного младшего брата, летчика дяди Сережи, именно там я мог видеть и понять детским сердцем, что такое горе... Одну сцену из той жизни я запомнил навсегда. Однажды после звонка я помчался в школьную раздевалку, отыскал в куче рваных заношенных пальтишек свою одежду и вышел на крыльцо деревянной школы, окруженной старыми березами. Школа стояла рядом с церковью, переделанной под клуб, в центре села. Мать работала главврачом в деревенской больнице. Врачей было мало, больных много, и я не видел ее целыми днями. Она часто уезжала в дальние деревушки на санях, чтобы добыть для больницы мешок муки, кастрюлю масла или куль картошки, потому что еды в ту зиму не хватало всем – и больным, и здоровым. В редкие вечера, когда я, вернувшись



в избу из школы, заставлял мать дома, она каждый раз заставляла меня снимать рубаху, выворачивала фитиль в керосиновой лампе, чтобы она светила поярче, и начинала искать в складках рубахи крупных платяных вшей, которые с хрустом лопались под ее ногтями.

Потом я подставлял матери стриженую голову, и она очищала ее от насекомых при помощи рук и гребешка...

Тепло, струящееся от русской печки, нежные прикосновения материнских рук навевали на меня сонливость, и я, уронив голову на колени матери, иногда погружался в сладкую дремоту...

Но сегодня утром мать сказала, что уезжает на два дня в деревню Бобры, дала мне синенький клочок бумаги с печатью, по которому я должен пойти в столовую, где эвакуированным детям иногда давали дополнительное питание – тарелку щей, миску пшенной каши, по стакану сладкого чая или компота.

Дверь школы с шумом распахнулась, и на крыльцо вывалилась толпа моих одноклассников – в отцовских пиджаках по колено, в лаптях и валенках, кто с домоткаными дерюжными, кто с противогазными сумками через плечо. Мелькали руки, головы, шапки слетали с голов. Увлекая за собой меня, груда тел скатилась со школьного крыльца. Я почувствовал, как кто-то ударил меня сумкой по голове, сделал усилие, чтобы выбраться из-под Саньки Харинаова, но Санька сам был придавлен сверху сыном начальника милиции Дрожниковым, заварившим, как всегда, эту потасовку между местными и эвакуированными. На помощь Саньке скатились с крыльца братья-близнецы Бессоновы, и когда я, разъяренный тем, что пришлось, барахтаясь, набрать снега в валенки, в рукава, за шиворот и надышаться кислым запахом деревенской лопотины, наконец-то, как щенок, выкарабкался из орущей кучи, то, войдя в раж, затолкал в кучу Володьку Червякова, а заодно, ловко сделав ей подножку, и Антонину Боборыкину, которая не успела прошмыгнуть мимо нас и вскоре очутилась, слабенькая и беспомощная, в самом низу.

– Что тут творится! – раздался визгливый голос учительницы Нонны Петровны. Она была хромоножка и, входя в класс, смешно переваливалась, припадая на одну сторону, как утка, и про нее была сложена насмешливая песенка:

Нонна Петровна  
Поехала по бревнам,  
Зацепилась за пенек,  
Просидела весь денек...

– Что творится! Дрожников! Харинов! Куняев! А ну ко мне! Антонина! Как тебе не стыдно, а еще девочка!

Раскрасневшиеся, мы, тяжело дыша, выстроились перед крыльцом, ожидая наказания.

– Останетесь после уроков пилить дрова. А ты, Антонина, иди домой...

Но Антонина сидела на снегу, не в силах вылезти из сугроба. Ее заплатанное пальтишко, даже не пальтишко, а рванинка какая-то, было распахнуто настежь – пуговицы во время давки отлетели, и было видно, что на ее худеньком тельце надета всего лишь одна длинная замызганная холщовая рубаха, которая задралась выше посиневших коленок. Ее тонкие детские ноги были обернуты серыми портянками, перетянуты онучами, и небольшие, ладно сплетенные детские лапотки торчали из-под снега. Коричневый платок во время свалки слетел на снег, обнажив стриженную после тифа голову, и на истощенном темном лице были видны одни широко раскрытые глаза, в которых я увидел застывшие слезы. Я протянул девочке руку.

– Ну че ты, Тонь, вставай, мы ведь не нарочно...

Девочка поднялась, отряхнулась от снега, подняла платок, повязала голову и стала копать в сугробе красными от холода руками, разыскивая тетрадку и книги...

Мы шли по узкой протоптанной среди снежных заносов тропинке. Ранние синие сумерки быстро окутывали деревню. В редких избах кое-где зажигались огоньки, потому что люди берегли керосин и насколько возможно пытались жить в темноте.

Сумерки уже поглотили и растворили в себе далекую черную кромку леса, смягчили очертания каменной церкви, слились с дымками, тянущимися из черных труб к тускнеющему небу.

– Ну че ты, Тонь, не плачь, я не нарочно!

– Я ись хочу! – не поворачивая головы, тихим голосом сказала Тоня и повернула с тропинки к своей темной избе.

Я дошел до столовой, перестроенной из высокого поповского дома, и, не раздеваясь, сел за стол. Женщина в белом халате подошла ко мне, взяла талончик с печатью и принесла из кухни щи и не пшенную, как всегда, кашу, а тарелку картошки с мясом и стакан компота.

Я сдернул шапку, сел за желтый выскобленный стол и, чувствуя, как слюна заполняет рот, жадно опорожнил тарелку щей с серым хлебом, передохнул и взялся за горячее мясное варево, как вдруг почувствовал, что кто-то сел за стол напротив меня. Я поднял глаза. Передо мной сидел человек со слипшимися всклокоченными волосами, обросший жуткой бородой. Его лицо, казалось, все состояло из впадин. Две впадины вместо щек, впадина рта и, самое страшное, – глубоко провалившиеся в лицевых костях глазницы, в глубине которых горели глаза. Он глядел на меня так пристально, что мне расхотелось есть, и я отодвинул от себя тарелку. Тут же из-под края стола бесшумно выползла коричневая костистая рука незнакомца и придвинула тарелку к себе. Вслед за тарелкой мужчина схватил деревянную ложку, недоеденный мною кусок хлеба и, боязливо поглядывая то на меня, то на дощатую перегородку, за которой копошилась повариха, начал, безостановочно работая ложкой, заглатывать остатки еды. Я, как замороженный, не в силах оторвать от него глаз, молча провожал взглядом каждый кусок, который незнакомец проглатывал, почти

не разжевывая. Было видно, как вздувается его горло и какие усилия он делает, чтобы побыстрее проглотить пищу.

– А, ты опять тут! Поесть людям не даст! – повариха выскочила из-за перегородки, но мужчина втянул голову в плечи и замер, обхватив миску обеими руками.

– Ты, милоч, не бойсь его. Он припадочный – его и на войну не взяли. С дочкой живет, с Тонькой Боборыкиной. Мать-то у них осенью померла от тифа. Он тихий, ты его не бойсь...

Дверь скрипнула, в щель ворвалась струя морозного воздуха, а вместе с ней в столовую, как тень, прошмыгнула девочка. Громко стуча лапотками по деревянным половицам, она подошла к отцу и дернула его за рукав:

– Пошли в избу! Я печку растопила...

Мужчина оторвался от чисто вылизанной миски и молча вылез из-за стола. И тут я увидел, как они похожи друг на друга – отец и дочь – темными худыми лицами и огромными круглыми глазами.

Сумерки окончательно опустились с низких северных небес на землю. В редких избах зажглись окна. Кое-где во дворах, услышав отдаленный волчий вой, зашлись лаем собаки. Заскрипели полозья, раздалось конское ржанье, и по дороге пронеслись сани, запряженные парой громадных лошадей. В санях, застегнутый с головы до ног в черный тулуп, сидел военком, уезжавший в дальнюю лесную деревню за мужиками, которых пора отправлять на войну.

Я шел, поскрипывая подшитыми валенками, по обочине накатанной санями дороги и думать не думал о том, что проживу целую долгую жизнь, что множество лиц и взоров встретятся мне, что они будут излучать любовь, ненависть, восхищение, страх, восторг, – все равно я забуду их. Но эти два изможденных лика отца и дочери, эти два пронзительных взгляда не забуду никогда, потому что в них светило то, что без пощады, словно бы ножом освобождает нашу душу из ее утробной оболочки, – горе человеческое...

\* \* \*

В годы эвакуации, когда я учился в начальных классах школы села Пыщуг, во мне проснулась жажда чтения. А в библиотеке я засиживался еще и потому, что книги там выдавала Галя Сухарева. Гладко причесанная, с овальным лицом девушка из эвакуированных, бывшая лет на пять старше меня. Библиотека в селе была богатая, я очень хорошо помню, что в третьем-четвертом классе я прочитал, кроме нескольких романов Жюль Верна и Джека Лондона, все четыре тома «Войны и мира», «Записки охотника» и «Пошехонскую старину». Даже «Наполеона» Тарле осилил. И не скучно было – до сих пор помню радость от этого чтения. Много ли может прочитать за десять-двенадцать лет мальчик-отрок-юноша, покамест не станет взрослым мужчиной? Да если книг пятьдесят из мировой классики прочтет – вполне будет достаточно. Достоевский читал своим семилетним детям Шиллера, русские былины, кавказские поэмы Лермонтова, «Тараса Бульбу», Алексея Толстого, Вальтера Скотта, Диккенса. Потом «Историю» Карамзина. А если вспомнить Свифта, «Дон-Кихота», «Песнь о Гайавате», Чехова, Виктора Гюго, Горького, сказки-легенды и эпические сказания народов! Да что там – не более ста книг наберется из золотого фонда человеческой культуры! Даже их дитя человеческое не успеет прочитать до своего возмужания... Да, кстати, в те же годы эвакуации в деревенской рубленой избе при свете коптилки я читаю «Маугли» и наслаждаюсь вольной и высокой фантазией автора, сказочным человеко-звериным миром джунглей, начинаю любить наших «меньших братьев» любовью старшего. Грустно мне стало, когда недавно открыл собрание сочинений Маршака, изданное в 1971 году, и прочитал следующее: «Кипплинговские “джунгли” – это, конечно, не сказка. Главный стержень повести, как и почти всей западной беллетристики – это закон зверя-охотника, “закон джунглей”. Упрощенная в своей законченности философия хищника суживает, а не расширяет мир. Сказке здесь делать нечего».

Неужели ничего больше нельзя сказать об этом бессмертном шедевре, полном истинной поэзии? Вот что тот же автор пишет о трогательной и тоже прочитанной мною в годы войны повести Неверова «Ташкент – город хлебный»:

«Странно перечитывать теперь даже такую талантливую и связанную с реальностью книгу... Сколько в ней народнического “горя горького”, сколько ругани, кряхтения, “чвоканья”! А какое изобилие натуралистических подробностей! Тут и засаленные лохмотья, и вши, и гниды, и дерьмо. На протяжении всей повести тащится из Бузулука в Ташкент облепленный умирающими мужиками поезд». Какое интеллигентское еврейско-высокомерное отношение к народу выразилось, выключилось из нутра якобы великого детского писателя!

А вот мне в годы войны не странно было ее перечитывать. Она была близка военной жизни с ее эшелонами, эвакуопунктами, «горем горьким», тифом, вшами, необходимостью терпеть все, что ни пошлет судьба.

\* \* \*

Зима 1944 года в Калуге выдалась холодной, и для того чтобы нагреть комнату, где было четыре больших окна, затянутых толстым слоем желтоватого льда, требовалась охапка дров и два-три ведра каменного угля. В комнате были две печи: голландка и буржуйка. Голландка растапливалась из маленького чуланчика и нагревала кафельную стенку, выходившую в комнату. Я очень любил, прибежав с мороза, прижаться щекой, покрасневшими ладошками, всем замерзшим тельцем к глянцевым горячим изразцам, на которых синей лазурью были изображены ветвистые цветы, похожие на ландыши.

Другая печь – круглая чугунная буржуйка – стояла прямо в комнате. От нее изгибом шла жестяная ржавая труба, которую печник, выломав один изразец, вправил в кафельную стенку и замазал изломы в кафеле глиной. Когда надо было срочно согреть комнату, тогда топи-

ли буржуйку, но она так же быстро накалялась, как и остывала, и для того, чтобы тепло сохранялось до утра и чтобы хоть немного оттаяли окна, надо было с вечера растапливать голландскую печку.

Кованой кочергой бабушка выгребала из нее золу и остатки угля, из которых она, не жалея рук, отбирала самые крупные, не до конца прогоревшие куски, смачивала их водой и снова засыпала в топку на сухие полешки. Приоткрыв чугунную дверцу топки, я любил смотреть, как сначала желтым пламенем занимаются дрова, как постепенно докрасна раскаляются глыбы спекшегося старого угля и как наконец пламя начинает мелкими синими язычками пробиваться сквозь слой свежего блестящего антрацита.

Обеспечивать голландку и буржуйку каменным углем было моей обязанностью, и однажды, вернувшись из школы, я привязал к санкам старую бельевую корзинку и отправился к «Дому матери и ребенка», чтобы под покровом сгустившихся зимних сумерек отодвинуть доску в заборе и, оглядываясь по сторонам, подобраться к запорошенной снегом куче угля, нагрести его в корзину и так же бесшумно исчезнуть через свой лаз, волоча за собой отяжелевшие санки.

Я торопился, потому что вечером должен был во что бы то ни стало побывать в церкви, чтобы повидаться там с девочкой в белой пуховой шапке.

Проводить время в Георгиевской церкви меня научил Витька Волчок, который как-то, заглянув туда погреться, сообразил, что у каждой старухи, пришедшей в храм Божий, в кармане старомодного салопы или потрепанной кацавейки лежит скомканная денежная бумажка, приготовленная или на помин чьей-нибудь души, или на свечу восковую, или просто на нужды храма. Подростки шныряли в плотной толпе народа, среди старух, осенявших себя крестами и припадавших лбами к выщербленным плитам. Когда от влажного жара и спертого человеческого дыханья, от сладкого духа ладана и горелого воска у меня начинала кружиться голова, я протискивался к зарешеченному окну, откуда в церковь тянуло свежим воздухом с улицы, и разгляды-

вал икону, на которой светоликий кудрявый юноша на белом коне поражал копьём корчащегося под копытами дракона с открытой пастью и длинным красным языком...

Набрав за час-другой горсть мелких денежных бумажек, мы выбирались из церкви, сопровождаемые иногда негодующими, но приглушенными голосами, и мчались на рынок, где брали кринку топленого молока, или миску студня, или пирожков с золотистой хрустящей корочкой, начиненных мясом...

Как-то на Пасху, когда старухи сошлись на церковный двор с белыми узелками святить куличи, Витька Волчок, подойдя к паперти, толкнул меня в бок.

– Глянь, бабка!

Маленькая старушка, облокотившись на перила, держала в одной руке кулич, а в другой – старую кожаную сумку с металлической защелкой. Глаза у бабки были закрыты, – должно быть, она дремала от усталости.

– Сука буду, у ней в сумке гроши! – зашептал Волчок. – Давай, ты вырви сумку, а я тебя подожду у забора – и ходом ко мне, мы через забор и аникеевским двором слиняем...

Слыша, как у меня бьется сердце, я подошел к бабке, огляделся и, улучив мгновенье, вырвал из морщинистой руки сумку и бросился было бежать, но меня догнал истошный крик:

– Мальчик, милый, отдай, там паспорт мой!

И, должно быть, такое отчаянье было в этом крике, что, не отдавая себе отчета, зачем это делаю, я на бегу обернулся, швырнул обратно сумку и тут же взлетел на забор, за которым только что исчез мой напарник. Ну и попало мне тогда от Волчка!

Но сегодняшним морозным вечером я шел в церковь один, не для того чтобы чистить старушечьи карманы, а чтобы повидать девочку, с которой недавно познакомился во время всенощной. В тот вечер я толкался среди старух, исподлобья поглядывая на их лица и пытаюсь



поближе пристроиться к тем, что особенно страстно крестились, отбивали поклоны, шептали молитвы и слабыми голосами, вторя церковному хору, подпевали: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поми-и-и-лу-у-у-й!» Они не замечали ничего вокруг себя, лишь время от времени вытирали платочками, скомканными в руках, сочащиеся из глаз слезы и тяжело вздыхали, бормоча старческими губами ведомые только им имена.

Я пристроился к одной из таких бабок и уже стал потихоньку нащупывать широкий карман ее вытертого пальтишка, как вдруг увидел, что рядом со старухой стоит девочка моих лет, курносая, с тонким личиком, в белой пуховой шапочке, связанной так, что на ее голове возвышались как бы два маленьких мягких рожка.

– Смотри, рогатик! – шепнул мне Витька. – Она на Смоленке живет, я знаю где. Ее Ирка-рогатик зовут... Пошли на рынок... Хватит... А то гляди, как вон та тетка на нас зыркает...

– Тише вы, анчутки, прости меня, Господи, – раздался свистящий шепот за нашими спинами. – Чай, не в кино пришли! – И жесткие косяшки чьих-то пальцев ткнулись мне в лопатку...

Но сегодня я шел в церковь без Витьки, потому что смутно понимал, что Витька не нужен. Я поднялся по чугунной лестнице на паперть, где сидели знакомые нищие – юродивый Порфиша и бабка Аксинья, и протиснулся в храм, переполненный народом. Сначала я пролез к приделу, где светилась икона с юношей на коне, поражающим красноязыкого змея, но девочки там не было, и я боком стал продираться сквозь тулупы и кацавейки поближе к алтарю, на котором стоял седовласый батюшка в златотканой одежде... Дьякон прохаживался перед алтарем, помахивая кадиллом, и дым ладана синеватыми струйками плыл над обнаженными головами стариков, над коричневыми в полоску старушечьими платками.

– Господи, даруй победу воинству российскому право-сла-авному-у-у! – Голос раскатывался по всем углам храма и уходил в тем-

ный купол, отражаясь от колеблющегося паникадила, от тускло поблескивающего иконостаса, от застекленной иконы с ликом Богородицы, в котором, подрагивая, плясали язычки свечей.

– Аллилуйя-ааа!.. – Толпа опустила на колени, и я вдруг увидел белую шапочку с двумя пушистыми рожками. Ввинчивая свое худенькое тело в людскую массу, я протиснулся к девочке и остановился вплотную к ней. Чтобы не привлекать ничьего внимания, я стал делать все, что делала она, – крестился, опускался на колени, снова подымался на ноги и все время скашивал глаза, разглядывая тонкую линию лица, по которому пробегали волны света, оттого что пламя свечей, горевших перед нами на медной подставке, все время подрагивало от сквозняков и людских вздохов. Я видел рядом со своим лицом ее длинные ресницы, чуть припухшую верхнюю губу, на которой сверкали капельки пота. Она, видимо, недавно вошла в церковь, потому что на белой шапочке и на завитках волос, выбивавшихся из-под нее, еще не успели обсохнуть капли растаявшего снега.

Девочка повернула голову ко мне, и в ее темных глазах я увидел отблески свечей, печаль, недоумение, любопытство, сердце мое учащенно забилося, и я вдруг, чувствуя, что краснею от внутреннего жара, понял, что мы стоим прижатые друг к другу и что никто нас не видит – все растворены в тусклом сиянье, в клубах кадильного дыма, в пенье, несущемся откуда-то сверху.

И тогда я, затаив дыханье, вдруг нащупал рукой маленькую ладошку девочки в белой шапке и, замерев от восторга, почувствовал, как та ладошка покорно и согласно легла мне в руку. Так мы простояли до конца службы, уже не глядя друг на друга, переговариваясь между собой кончиками влажных пальцев и прикосновением горячих ладоней...

А потом этот мальчик вырос, стал мужчиной, мужем, отцом. Не раз душа его, как и положено земной душе, изнемогала под бременем страстей человеческих. Но никогда более он не испытывал чувства, подобного тому, которое посетило его в древней церкви маленького русского города лютой снежной зимой, в разгар Великой войны.

\* \* \*

Весной 1975 года моя мать тяжело заболела, я положил ее в одну из московских клиник, а чтобы ей было чем занять себя в тягостной атмосфере больничной жизни, попросил, чтобы она написала нечто вроде воспоминаний о том, как мы жили до войны, во время эвакуации и в послевоенные годы... Словом, обо всем, что я сам помню детской памятью отрывочно или смутно.

Потом я забыл о своей просьбе и лишь весной 2000 года, через пятнадцать лет после смерти матери, нашел эту тетрадь с бледно-зеленой обложкой, заполненную летучим, волевым материнским почерком, который кое-где начал портиться и меняться из-за ее болезни. Я публикую ее записи лишь для того, чтобы будущие люди, которые, надеюсь, когда-нибудь без злобы и лжи спокойно изучат советскую жизнь с ее неприхотливым бытом и будничным героизмом, с ее скромными надеждами и аскетической привычкой к сверхчеловеческим испытаниям, воздали бы должное человеку той эпохи, которая была мобилизационной по воле истории.

Итак, перед вами рукопись простой русской женщины Александры Никитичны Железняковой (1907–1985).

\* \* \*

В 1939 году, после окончания Ленинградского мединститута имени Павлова я была направлена специализироваться по хирургии в Новгород на Волхове на шесть месяцев. Когда я, переночевав на вокзале, утром явилась в больницу, главврач Шатунов очень обрадовался и распорядился, чтобы я немедленно готовилась к операции. Я ему сказала, что самостоятельно еще не оперировала, а он в ответ засмеялся и велел операционной сестре во всем мне помогать, а сам ушел в горсовет на прием, так как был депутатом.

Обливаясь потом, я стала оперировать под одобрительные реплики операционной сестры, которая все время повторяла, что у меня диплом с отличием и что я буду хорошим хирургом. После удачно законченной операции я пошла звонить твоему отцу в Ленинград. Юра в это время был уже преподавателем истории в Институте имени Лесгафта, он велел мне больше читать и чаще оперировать. Я даже не стала в Новгороде искать себе комнату, а жила в дежурке для врачей и потому участвовала во всех операциях.

Вскоре началась Финская война. Меня чуть не забрали на передовую, но тут, на мое счастье, вышел приказ Ворошилова, чтобы медработников, у которых есть дети до 8 лет, использовать только в тыловых госпиталях. В Новгородский госпиталь из Ленинграда прибыли хорошие клинические специалисты, и у нас создался дружный рабочий коллектив. По выходным дням мы ходили в Софийский собор, на старые городища, в Юрьевский монастырь, лишь иногда сильные морозы, стоявшие в ту зиму, удерживали нас от этих прогулок. Хорошо запомнилось мне, что в Софийском соборе на ночь для охраны ценных икон запирались сторожевые собаки.

В это же время, осенью и зимой 1939 года, в городе велись раскопки древнего Великого Новгорода. Улицы все были перекопаны траншеями и устланы деревянными досками.

После окончания войны я поехала с твоим отцом за тобой в Калугу, где встретила с братом Сергеем – кадровым летчиком. Он уже был награжден орденом Красного Знамени за Финскую войну. Когда мы с ним разговаривали о завтрашнем дне, он сказал мне, что скоро будет война более страшная, чем эта. Потом мы забрали тебя и вместе с Сергеем поехали в Ленинград. Летная часть дяди Сережи располагалась в Сольцах, недалеко от Ленинграда. Почти каждый выходной день он приезжал к нам в Ленинград, твой отец водил нас по городу и рассказывал о его истории. Мы с тобой уже жили в 60–70 километрах от Ленинграда в Губаницкой больнице, недалеко от Кингисеппа, куда

меня направили на работу. Нас там было трое врачей, все наши мужья работали в Ленинграде, летом они в отпуска приезжали к нам, зимой мы с тобой каждый выходной ездили в Ленинград. Юра всегда брал для тебя билеты в ТЮЗ, что на Невском проспекте, где мы смотрели «Снежную королеву», «Волшебную лампу Аладдина» и другие сказки. Это днем. А вечером мы с отцом уходили в Мариинский театр, а ты оставался дома с нашими соседями по квартире. В понедельник рано утром с Балтийского вокзала Юра провожал нас в нашу Губаницкую больницу.

В летнее время мы, когда я не была занята на работе, отправлялись гулять к заколоченным хуторам, где в садах собирали малину и яблоки. В этих хуторах до Финской войны жили чухна и финны, а после войны их куда-то переселили, подальше от границы. Было как-то страшно видеть заросшие сады, забитые окна домов, каменные колодцы, хорошо уложенные камнем дворы, одичавших кошек. Весь низший медперсонал нашей больницы были финны или эстонцы...

\* \* \*

Вот так, счастливо и спокойно, мы прожили до июня 1941 года. Рано утром 22 июня мы были разбужены страшным грохотом: рядом с нашей больницей были расположены аэродромы, и немцы в первую очередь стали бомбить их. Мне сразу же велели немедленно явиться в военкомат, начался медосмотр мобилизованных мужчин. Я взяла тебя с собой, так как боялась оставить одного, а сама уже находилась в декретном отпуске. Приехав в Волосовский военкомат, я увидела тысячную толпу людей, пришедших проводить мобилизованных. На станцию Волосово один за другим совершались налеты немецких бомбардировщиков. От дыма и пыли порой солнца не было видно. Мы с тобой остались ночевать в военкомате, а народу скапливалось все больше и больше, и я предложила военкому перевести всю медкомиссию в бли-

жайший лесок, потому что на станции мы были открыты для налетов немецкой авиации. В середине дня такой массированный налет повторился с особой силой. Немцы на бреющем полете строчили по толпе из пулеметов. Каким чудом мы с тобой уцелели, не знаю. Я со своим беременным животом низко приседала в картофельном поле и закрывала тебя полою халата. Во время этого обстрела весь мобилизационный пункт разбежался, мы пешком добрались до Гатчины, и только я хотела привести тебя и себя в порядок, отмыть грязь с одежды, рук и лица, как вновь раздался вой сирен, и на Гатчину обрушился бомбовый град. Я с тобой прижалась к стене дома и уже не пыталась прятаться, а по улицам мимо нас как лавина бежали наши отступающие войска. Потом все стихло. Мы вышли с тобой к железнодорожным путям, по которым двигались открытые платформы с солдатами и орудиями – на запад, другие, с людьми для оборонных земляных работ, – к Ленинграду. Какой-то мужчина, завидев нас, подхватил тебя и посадил на платформу, а потом помог сесть и мне. К вечеру мы приехали в Ленинград. Юра был дома и пришел в ужас от нашего вида, а самое замечательное, что я, вся испачканная, измученная, в руках держала авоську с вареной курицей, которую захватила с собой из Волосова...

В Ленинграде все было спокойно. Юра начал хлопотать о нашей эвакуации в Горький к своему брату. Люди из райсовета и районо предлагали нам отправить тебя с каким-либо детским учреждением в тыл, но я решительно отказалась и сказала, что поеду только с тобой. Через месяц, в сентябре, мы эвакуировались в Горький к дяде Коле, папа провожал нас на Московском вокзале и очень огорчился, что мы не могли взять теплые вещи: ты был еще мал, чтобы таскать чемоданы, а я готовилась к родам и захватила лишь простыню, спички, огарок свечи и кружку для питья. На станции Вишера мы опять попали под бомбежку. Целый день наш поезд маневрировал в разные стороны, и только ночью мы выехали на нужный нам путь. Ты, сынок, у меня был на редкость выдержанным парнем и, глядя на мое лицо, не задавал

лишних вопросов. Еда у нас была, а воду пили из бачка в вагоне. Дня через 3–4 мы добрались до Горького.

\* \* \*

В Горьком в начале сентября было тихо, но дядя Коля и его жена – врач, жили на казарменном положении у себя на работе. Потом начались налеты на город. В Горький понаехало много людей из Москвы, и мне с большим трудом удавалось не отпускать тебя от себя надолго, ты все время интересовался городом и уходил незнамо куда. А я решила, что мы с тобой ни в какие бомбоубежища не будем прятаться, а будем сидеть во время налетов на крыльце нашего дома. В бомбоубежищах было всегда много народа, душно и темно, и я тебя то и дело теряла в этой толпе.

Деньги наши с тобой кончились, окружение Ленинграда, по видимому, было завершено, так как от папы перестали поступать письма и переводы. Я тогда пошла в облздравотдел, предъявила свой врачебный диплом, сказала, что скоро жду второго ребенка, и мне дали направление в Пыщугский район заведовать районной больницей. И вот мы с тобой в товарном вагоне на охапке сена в углу – поехали. С питанием в пути было трудно. Хорошо, что, живя в Горьком, я засушила черных сухарей и засолила несколько кусочков сала. Единственная мысль была скорее доехать до Пыщуга, так как я боялась, что рожу в дороге и меня снимут с поезда в ближайшем населенном пункте, а тебя отправят в какой-нибудь детдом.

Ехали мы с тобой недели две. В какой-то деревне недалеко от станции Шарья я позвонила в Пыщуг, чтобы за мною прислали лошадей, так как нам еще предстояло от станции ехать 120 километров. В этой же деревне нас накормили горячей картошкой с молоком, и там же мы познакомились с каким-то ответственным работником. Он ехал с женой и сыном твоего возраста.

Узнав, что мы из Ленинграда, он угостил нас колбасой и предложил перевезти на другой берег реки Ветлуги в своей машине. Но я почему-то отказалась, и мы вышли их провожать на паром... И ты не можешь себе представить весь мой ужас: когда их машина с крутого берега стала подъезжать к парому, последний, почему-то оторвавшись от берега, поплыл по течению, а машина со всей семьей и шофером как-то сразу нырнула в воду и – все... Я загородила от тебя эту жуткую картину и, выбежав на горку, увела тебя в деревню. Деревенские уже бежали к реке с веревками и баграми на место катастрофы, но никого не спасли.

На другой день за нами пришла подвода, и мы с тобой, стоя на пароме, переехали реку, а дальше три дня тряслись на телеге по лесной дороге.

\* \* \*

Приехав в Пыщуг, я стала сразу знакомиться с работой. Оказалось, что больница обслуживает десять сельсоветов, которые разбросаны далеко друг от друга. Имеется одно здание стационара, одно – амбулатории и недостроенный родильный дом. Сарай. При больнице одна лошадь и две коровы, небольшой участок земли во дворе. В райцентре начальная школа, райком партии, райисполком, милиция, церковь, превращенная в клуб. Тротуары из досок. Есть своя электростанция, которая работает до 12 часов ночи и дает электроэнергию для больницы.

Мы жили в обыкновенной деревенской избе на территории больницы. Но, как все дома на Севере, эта изба была высотой в двухэтажный дом. Внизу двор для скотины, овец и кур. Вход в это помещение был и с улицы, и из избы, и называлось оно «голбец». Вообще на Севере существовал свой язык. Прошлый год люди называли «лонись», одежду – «оболочка», или «лопотина». Я долго не могла привыкнуть к этому языку.



И вот 16 ноября 1941 года я с завхозом поехала в ближайший колхоз выбирать телку для больницы, и там у меня начались схватки. Едва успев вернуться и добежав до роддома, я очень быстро родила Наталью. Акушерка – девчонка Нюра, только что окончившая медшколу, слушая мои указания, принимала роды. К вечеру я попросила Нюру привести тебя к нам в палату, боясь, что тебе одному будет страшно ночью. Так ты и прожил в роддоме с нами три дня, а на четвертый я уже пошла в райисполком на совещание просить дрова для больницы. Вероятно, у меня был далеко не блестящий вид, когда, едва держась на ногах, я поднималась на второй этаж, в кабинет предрайисполкома Крохичева. За мной шел секретарь райкома партии Андреев. Узнав, что я только что из роддома, он приказал Крохичеву наш больничный вопрос решить первым, после чего дал мне сопровождающего, и я с трудом дотащилась до дома. Потом, не отдохнув ни одного дня, я взялась за экстренное оборудование старого сарая под инфекционное отделение, потому что в районе начался сыпной тиф. Вместе с санитарками и сестрами мы сделали завалинку вокруг сарая, настелили пол, поставили перегородки – получилось 4 палаты, и в каждой из них сложили из кирпича печки. Среди нас работал только один мужчина – старик-конюх. Гвозди, стекло я выпросила через райком в сельпо. А эпидемия сыпняка все разрасталась. Мыла не было, эвакуированные прибывали, люди скапливались по несколько семейств в одной избе, появилась сыпная вошь, и стоило в избе заболеть одному человеку, как заражались другие, особенно слабые и истощенные. Мне, хирургу, пришлось вспомнить все инфекционные болезни, и я стала настоящим земским врачом. Разъезжая по деревням, я сталкивалась с такой завшивленностью, что волосы шевелились на голове. В некоторых избах вши обитали не только на людях, но даже в пакле, которой были проконопачены бревна. Мы с сестрами и санитарками сбились с ног, борясь со вшами, но почти две зимы сыпняк не покидал нашу больницу. А одновременно с ним свирепствовали скарлатина, дифтерия, дизентерия, коклюш.

Когда я лежала в роддоме, то позвонила на почту, чтобы послать «молнию» в Ленинград о рождении Наташи и нашем с тобой благополучии. Начальница почты долго мне доказывала, что это бессмысленно, что с Ленинградом нет связи. Но все же я ее убедила принять телеграмму. Ты отнес текст и деньги на почту, и мы с тобой через неделю получили радостное сообщение: «Целую всех троих. Юра». Это была последняя весточка от него. Больше мы уже ничего не получали.

\* \* \*

Потянулись жутко морозные дни. Мне приходилось работать буквально сутками. А по ночам Наташа очень плакала, и все время приходилось носить ее на руках. Утром, без сна, с красными глазами я шла на работу. Хорошо еще, что кормить грудью я могла, забегая домой в любое время. Наталья росла толстой здоровой девочкой, и я, невзирая на морозы, ежедневно вывозила ее на улицу гулять. Когда ты возвращался из школы, я тотчас осматривала твою одежду – нет ли на ней вшей. Каким-то чудом ни я, ни ты не заболели сыпняком.

Я впервые в жизни видела рецидив сыпняка, когда у больного после кризиса вновь подскочила температура со вторичным высыпанием сыпи. Ты этого больного должен помнить, это был фотограф – инвалид Бессонов. И все же мне удалось его спасти, а его жена Шура за это согласилась работать няней в инфекционном бараке.

Ты часто уходил на самодельных лыжах в лес, а я обычно беспокоилась, так как в наши леса, спасаясь от войны, набежало много всякого зверья, да и охотиться на них было некому. Помню, как белки шли тучами по деревьям, которые росли на больничном участке, а по ночам к окнам нашей избы подходили лоси, и я первое время не понимала, что это за громадные ветви раскачиваются у нас под окнами. Ты спал, нянька Маруся спала, а я ходила по ночам с Наташкой на руках и все это видела.

\* \* \*

Наступила весна 1942 года. Нам для больницы распорядились отдать землю под посевы овса, и вот мы с завхозом Хихлухой сделали двухметровую «шагалку» и по колено в грязи стали мерить землю. Промучились все воскресенье, но ничего из наших измерений не вышло. В понедельник я пошла в райком, там посмеялись, но дали мне землемера. Сеяли овес в сырую землю силами работников больницы.

Этой же весной я, слава Богу, избавилась от прежнего завхоза Скворцовой из Москвы. Она эвакуировалась в Пыщуг с ребенком, матерью и сестрой. Мы жили в одной избе – в разных половинах, – и я часто видела, как они жарят котлеты, пекут пироги и т.п. Оказалось, что она хорошее мясо из больничной кладовки брала себе, брала пшеничную муку и манку, а заменяла их плохим мясом, купленным на рынке, и овсяной мукой. Когда это выяснилось, секретарь райкома Андреев снял ее с работы, а вместо нее мне дали Проню Карповну Хихлуху из Конотопа. Она была очень честным работником. Часто вечерами приходила на нашу половину, мы пили чай, и она все время любовалась на Наташу, которая в распашонке ползала по кровати.

У Хихлухи в первые же дни войны погибли муж и сын, и она была вся седая. Возможно, что одиночество и привязало ее к нам.

Весной я кое-как заказала тебе сапоги и сшила сама куртку и кепку. А мне в местной мастерской из казенного одеяла пошили пальто, Наташа росла в марлевых распашонках. А зимой на чердаке нашей избы я нашла какое-то тряпье и скроила ей платье и фланелевое пальто на вате и себе сделала из холщовой юбки, которую купила у одной старухи, вполне приличное платье.

С бельем и одеждой было трудно, но меня угнетало другое: мысли о том, что Юра погибает от голода в Ленинграде, сводили мне судорогой глотку – как говорится, кусок хлеба застревал в горле, и до того я была тощая, что все поражались, глядя на меня: откуда бралась энергия у этой истощенной особы. Но я знала, что надо только так ра-

ботать в тылу, чтобы победить врага. Каждую ночь, нося Наташу на руках, я слушала сводки по радио, а вот ты, слава Богу, их не слышал и спал себе спокойно. Но после того как немцев отогнали от Москвы, мне стало полегче.

Той же весной мы с Проней Карповной развели огород, посадили картошку, лук, огурцы, морковку. В Пыщуге не было ни яблонь, ни слив или вишен. Но зато в лесу и на болотах росла дикая смородина, клюква, малина, брусника. Вот этих ягод ты за лето, бывало, наносишь столько, что нам хватало на всю зиму, особенно брусники и клюквы. А белые грибы ты порой собирал прямо на территории больницы, где росли елки.

Мои больные ко мне относились хорошо: кто принесет пару луковиц, кто яичек, кто меду. А иногда – за удачное лечение – и живую курицу. Я вначале возмущалась и не брала, так они сами заходили в сенцы нашей избы и там все оставляли. Они знали, что в больнице кроме хлеба и тарелки супа я ничего не получаю. Изредка в сельпо нам давали молоко, и, как ни странно, там на полках стояли ряды банок с крабами. Я их покупала, а ты с большим удовольствием ел.

Так что наша жизнь в Пыщуге протекала довольно сносно. Одно меня огорчало, когда я должна была с Проней Карповной ездить «побираться» по колхозам, то есть собирать продукты для больницы. На это обычно уходило воскресенье. Твердой разрядки на продукты у нас не было, и мы довольствовались добровольными пожертвованиями, кто что мог, то и давал. А я ведь кормила Наташу грудью, и мне приходилось где-нибудь в деревенской избе сцеживать молоко, грудные железы набухали, и мне было больно поднять руки. Деревенские бабы обступали меня, жалели, сочувствовали, обмазывали мне грудь и заклинали, чтобы я не простудилась, иначе начнется грудница. Такая же история повторялась, когда мне целыми днями приходилось работать в военкомате, но сюда нянька приносила Наташу, и, устроившись где-нибудь за шкафом, я кормила ее грудью, а у самой от боли лились слезы, так как молока было много, и Наташа не могла

все молоко высосать. Кормила я ее грудью целый год. Потом с нами подружился директор молокозавода Макар Виноградов. Он страдал эпилепсией и был белобилетником, у него была жена – очень добрая женщина – и двое детей. И когда я начала Наташу отнимать от груди, он иногда посылал для нее сливки.

А летом сорок второго он даже продал мне по государственной цене поросенка. Я отказывалась, потому что не знала, чем буду его кормить, а он назвал меня дурой и велел каждый день нашей няньке приходить на маслозавод за сывороткой, которая стоила 30 копеек ведро.

Мы с нянькой Марусей довольствовались скромными больничными обедами. В общем, не голодали. Плохо было лишь с мылом. Если я доставала кусочек, то берегла его для Наташи, а мы с тобой мылись щелоком, и белье Маруся стирала тоже щелоком.

Стасик, ты, наверное, помнишь, как ты однажды в «черной бане», думая ополоснуться в теплой воде, залез в бочку со щелоком и заорал благим матом. Я сразу вытащила тебя из бочки и начала обливаться холодной водой, и все кончилось благополучно. Каждую субботу одна моя больная приглашала нас с тобой в «черную баню», после которой мы шли к ней пить чай с медом и ржаными лепешками. Их называли «пряженниками». Это было целое пиршество. Алексей Бессонов и его жена Шура за то, что я спасла его от сыпного тифа, иногда приносили нам жареную щуку – он сам рыбачил. Шура почти насильно затащиwała меня к себе и угощала чем могла, охала, что я такая тощая, потому что много работаю. Милые, добрые люди! Как они старались мне помочь и скрасить нашу убогую жизнь!

И хотя ты все пышугские зимы отходил в легком самодельном пальтишке, в стареньких катанках, на которые в весеннюю распутицу надевал вместо галош мои белые теннисные туфли, мы с тобой за три года тамошней жизни ни разу ничем не болели.

А помнишь, как любовались северным сиянием?

Бывало, сидим на своем крыльце – дом стоял на горе, а внизу простиралась болотистая равнина, переходящая в лес, – и как зачарованные

смотрим на белые столбы на небе, которые переливаются голубым и зеленым светом, и в моей голове каждый раз мелькала мысль, что если немцы появятся в Пыщуге, то мы укроемся в этом лесу.

\* \* \*

На вторую зиму в Пыщуг приехал первый секретарь Горьковского обкома партии Родионов.

Пришел познакомиться в больницу. Когда за мной прибежала санитарка, я моментально надела свой тяжелый пиджак на собачьем меху, подшитые громадные валенки – дредноуты, которые нашла летом на чердаке, и побежала, но какие-то двое в штатском остановили меня в дверях и не пропускают, хотя я им показала круглую печать и назвалась главврачом. В это время из палаты вышел Родионов и, глядя на меня, ахнул: такой смешной был у меня вид, не соответствующий виду главного врача. Мы с ним прошли в мой кабинет и, несмотря на вечернее время, он по телефону вызвал секретаря райкома Андреева и председателя райисполкома Крохичева. Те быстро пришли, и Родионов в моем присутствии начал их распекать за то, что я получаю только 400 граммов хлеба при том, что кормлю грудного ребенка. Он кричал на них, что в райкоме есть 10 литерных пайков, что какая-то машинистка получает паек, а тут человек, оберегающий здоровье людей в окружности 100 километров!

Мои начальники только кряхтели и молчали, а когда Родионов увидел, что я сворачиваю из махорки «козью ножку», он совсем вышел из себя. Как ни уговаривали его Андреев и Крохичев, он не пошел ночевать к ним, а остался ночевать в моем служебном кабинете.

Через несколько дней после его отъезда меня вызвали в райком, дали какие-то талоны, и я пришла домой с папиросами, белой мукой, манной крупой, сахаром и с мануфактурой на всех трех человек.

С тех пор жизнь наша стала много легче. Я сама пошила тебе рубашку и штаны, а Наташе платьице. У нас появилось мыло. И только

мысль о том, что в Ленинграде погибает Юра, не давала мне покоя ни днем, ни ночью.

Почти каждую ночь, уложив Наташу спать, я уходила на кухню, садилась на порог и плакала, пока сон не одолевал меня...

\* \* \*

Помимо больницы мне часто приходилось работать в военкомате председателем врачебной комиссии. Однажды меня туда вызвали неожиданно, хотя там постоянно работали два местных врача. Но оказалось, что они все время давали отсрочку от призыва мужу Анфисы Бессоновой – заведующей райздравотделом. А тут Андреев заподозрил что-то неладное и вызвал меня. Я освидетельствовала призывника и дала заключение, что он годен к строевой службе. После этого начались многие мои беды. Анфиса Бессонова чуть ли не каждую неделю стала ревизовать хозяйство больницы, придирается к каждому пустяку, но так как я ничего больничного не брала, то ее ревизии не давали никакого результата. Однако меня так издергали ее придирки, что я пришла к секретарю райкома и попросила освободить меня от заведования больницей. Он резко отказал мне, Анфису вызвали на бюро, и она прекратила все свои ревизии. Жизнь снова пошла нормально.

Работая в больнице, я стала подбирать себе персонал из эвакуированных, особенно как-то хорошо относилась к ленинградцам. Не имея близких родных, я считала их своими родными.

Так, я устроила одну женщину на кухню. У нее был мальчик шести лет, и благодаря кухонной работе они не голодали. Счетоводом у меня тоже работала ленинградка Аня, к которой с фронта приехал на свидание муж – на одну неделю – и очень мне не понравился своим хвастовством. Также к нам в больницу приезжал контр-адмирал Фокин, к своей сестре врачу Фокиной, и все меня утешали, что скоро освободят Ленинград и что я увижу Юру. Но я этому не верила, так как все чаще в больницу поступали дистрофики. От них я узнавала об ужасах, которые

пережил город в первые месяцы окружения. Многие из них погибали от истощения, несмотря на назначенное им усиленное питание.

Единственно, за что я себя ругаю, – это за то, что у меня не было пункта переливания крови. Доноров я бы нашла, но определять группу крови в больнице не было возможности. А мне казалось, что если бы я это сделала, многие из них могли бы выжить. Это были живые скелеты с потухшими глазами, ничего не желавшие, впавшие в апатию, но со светлой памятью... Весной 1942 года мы с тобою узнали из письма дяди Коли, что Юра умер в своем институте, в своем кабинете. Он был непрактичный человек, верящий во все, что ему скажут, потому он не запасся продуктами на первые, самые тяжелые, месяцы блокады. А последующие были полегче, после того как открылась Дорога жизни.

В одном из писем мой брат Сергей обещал мне, что на парашюте спустится в Ленинград, чтобы спасти Юру. Но Сергей тоже погиб, сгорел на самолете вместе с пилотом и радистом. Он был штурманом эскадрильи авиации дальнего действия, мастером ночных полетов, бомбил Берлин и Кенигсберг, был за это в октябре 1941 года награжден орденом Боевого Красного Знамени... Пытались они на горящем самолете дотянуть до своего подмосковного аэродрома, но врезались в землю. Их целый день откапывали друзья-летчики и похоронили на воинском кладбище возле станции Щербинка. Не забывай, Стасик, эту могилу. И к отцу в Ленинград на Пискаревское кладбище навещайся...

У Сережи от перегрузок во время ночных полетов на Германию началась желтуха, его хотели перевести в штаб, но он категорически отказался. И писал мне, что будет бить немцев и освобождать Родину, несмотря ни на какие болезни. Он был настоящий летчик. Вечная память ему и слава.

\* \* \*

В 1943 году в Пыщуге появилась Нюшка Углова, которая сразу же напомнила мне персонаж из рассказа Лавренева – атаманшу Лёльку.



Углова была одновременно и судьей, и исполнителем приговоров. Любимое ее дело было делать налеты на сельпо, детский садик, магазин, столовую, школу, мельницу, и, заподозрив какую-либо недостачу, она сразу арестовывала подозреваемое лицо и, не вдаваясь в судебную волокиту, выносила приговор, как правило, с конфискацией имущества, а самого подсудимого отправляла по этапу в ближайший лагерь.

Однажды к нам вечером прибежала заведующая яслями, бывшая учительница, муж которой был на фронте, и умоляла меня взять ее одеяла и подушки, так как завтра у нее конфискуют все личные вещи, а ее отправят в Гороховецкий лагерь. Я, конечно же, отказалась что-либо брать, и Проня Карповна мне отсоветовала... Однако в скором времени в Пыщуге открылась какая-то аукционная лавка, где продавались конфискованные вещи.

Нюшка Углова объявляла начальную цену, стучала револьвером по столу до трех, и вещи переходили к новым владельцам. Я категорически запретила тебе к этой лавке подходить.

Углова ходила по деревянным тротуарам села, похлопывала рукой по кобуре, а люди молча с испугом глядели на нее и уступали ей дорогу.

\* \* \*

Второй год жизни в Пыщуге был легче. Я уже знала, что моя сестра Дуся вернулась из Сибири, где была в эвакуации, в Калугу, и она обещала мне прислать вызов на право проезда.

Наташа уже ходила, ты учился во втором классе, летом пропал с ребятами на речке или в лесу, а зимой вечерами мы много читали. Библиотека в селе была хорошая. Вызов пришел ко мне осенью 1943 года, и под новый сорок четвертый год мы выехали на двух санях на станцию Шарья.

Персонал больницы и больные провожали нас очень сердечно. На проводы пришли десятки бывших больных, которых я спасла, кого от сыпняка, кого от скарлатины, кого от гнойного аппендицита... Да

не счесть было за три года больных, кому я помогла и кого вернула к жизни. Думаю, что многие из них до сих пор поминают меня добрым словом.

К нашему счастью, в Пыщуге был в отпуске после ранения солдат, часть которого стояла в Калуге. Из Пыщуга, чтобы посадить нас на поезд, поехал сам начальник милиции, у которого были ключи от вагонов. Проехав за трое суток 120 километров по морозным, занесенным снегом дорогам (вы были с головой укрыты тулупами), мы остановились в Шарье в какой-то избе недалеко от вокзала. Спали не раздеваясь в ожидании поезда. На второй или третий день в четыре утра нас разбудили, и мы пошли по темным улицам к вокзалу. Наташка у меня на руках, а ты схватился за мое пальто. Мужчины несли вещи и продукты. Начальник милиции открыл первую попавшуюся дверь, впихнул нас с вещами в тамбур, сунул мне в руки проездные документы, и поезд тут же тронулся. До Москвы мы ехали три дня.

В Калуге нас с машиной встретил Дусин муж.

Поселились мы у моей матери, твоей бабушки, – жили все пятеро в одной комнате без электричества, без водопровода, без уборной, на первом этаже. Один угол в комнате всегда промерзал и был в инее. Сердобольные знакомые дали нам чугунную буржуйку, и жилье стало теплее.

2 января 1944 года я начала работать хирургом в эвакуогоспитале «14-19». Уходила в 8 утра, а возвращалась в 12 ночи. Ты рос как в поле трава, и потому однажды случилась с тобой беда. Мне позвонили и сказали, что Стасик попал под машину. Оказывается, ты катался на коньках по улице, держась за бампер автомобиля, а когда тот подпрыгнул, тебе бампером раздробило переносицу, и хорошо рядом был венерический госпиталь для военных – тебя сразу оттащили туда, остановили кровотечение, но несколько дней ты был без сознания. Мы боялись, что у тебя перелом основания черепа, но обошлось...

После операции, которую сделал лучший калужский хирург Осокин, я в течение 10 суток держала у тебя на голове пузырь со снегом...

Какой-то молодой лейтенант выгнал из палаты в коридор самых шумных венериков и стал помогать мне: ходил на улицу, приносил свежий снег... После выписки кости на лбу и переносице гноились у тебя еще несколько месяцев, но потом гниющие осколки постепенно вышли один за другим, и все зажило... Нет слов благодарности моим коллегам по госпиталю – пока я самое трудное время ухаживала за тобой, они взяли на себя все заботы о моих пациентах.

Вскоре меня назначили начальником отделения тяжелораненых. Начальник госпиталя Гладырь поглядел на меня и, узнав, что у меня в отделении три операционных дня в неделю, а раненых – 200 человек, предложил мне сдать все мои и ваши продуктовые карточки в госпиталь, чтобы мне там питаться, и распорядился, чтобы вам с Наташей на кухне отпускали обед и давали хлеб по детским карточкам.

Так мы прожили последний год войны. Ты и Наташа были сыты, а самое главное, больше не болели. Работать мне было тяжело, но, на счастье, средний и младший персонал моего отделения был очень хорошим. И вот наконец пришел день Победы. Все радовались окончанию войны, а я сидела в своей ординаторской комнатухе и горько плакала. Это была реакция на все пережитое мною во время войны.

\* \* \*

Вскоре госпитали были расформированы, и я получила направление заведовать железнодорожной больницей в городе Конотопе, где жила моя подруга по эвакуации Проня Карповна Хихлуха.

Больница была недалеко от вокзала, и в нее часто поступали раненые военнослужащие, возвращавшиеся с Запада домой. Многие из них были ранены бендеровцами, которые даже осенью сорок пятого еще нападали на наши поезда... Да и на вокзале мы часто слышали стрельбу, в городе было много бандитов, и наутро иногда к нам привозили и раненых, и убитых.

Почти весь персонал больницы – врачи, сестры, санитарки – работали у немцев во время оккупации Конотопа в течение трех лет. Каждое утро, приходя в свой кабинет, я находила кучу писем, доносов, которые друг на друга писали хохлы. Мне было очень трудно работать в такой двуличной атмосфере. Я в Пыщуге и в Калуге привыкла к честной работе и доверяла своему персоналу. А тут – доносы. Вначале я их читала, но потом, когда в моей голове все перепуталось, – кто прав, кто виноват, я решительно собрала всю эту подметную литературу, отнесла ее в НКВД и приказала персоналу больше не приносить мне пакостную писанину, чтобы я могла спокойно выполнять свои непосредственные обязанности.

В это же время в больницу вернулись хорошие врачи И. И. Пепловский и Т. А. Макунина. Но Пепловский с ранеными попал как-то в плен, и начали его, бедного, таскать ежевечерне на допросы. У него от нервного напряжения открылась язва, и пришлось мне идти в некое учреждение и просить, чтобы его оставили в покое. А с тобой все получилось неладно. Ты каждый день приходил из школы взбешенный плохими отметками, которые тебе ставили по украинскому языку и литературе.

И вот из-за этой украинской школы я все-таки решила снова вернуться в Калугу. Проня Карповна, пришедшая к нам в гости, когда я ей рассказала о персонале, о доносах, о твоей школе, тоже посоветовала мне возвращаться на родину. Да и жизнь в Конотопе была еще очень тревожной. Однажды в мое дежурство в больницу ввалились четыре летчика. Двое тащили товарища в летной форме лет двадцати. Он не мог переставлять ноги. А третий вел под пистолетом парня, который кричал: «Браты, рятуйте, мэнэ вбивають!» Оказывается, эти летчики из авиагородка имени Осипенко были на базаре, и шулер в шинели при них обыгрывал в «веревочку» доверчивых людей. Летчики сообразили, в чем дело, вырвали у него веревочку, наподдали ему, повернулись и стали уходить, и тут негодяй выстрелил одному из них

в спину. Пуля попала в позвоночник самому младшему, у него сразу отнялись ноги, и он упал.

Двое летчиков бросились к жулику, схватили и притащили его и раненого товарища в больницу. Я осмотрела раненого, красивого молодого парня, у которого отнялись ноги, и сразу поняла, что пуля перебила спинной мозг, наложила повязку, вернулась в кабинет, где на диване сидели летчики и с вынутыми револьверами стерегли негодяя. Я сказала, что их товарищ в очень тяжелом состоянии и его надо срочно на самолете доставить в нейрохирургический госпиталь в Харьков. Они мне назвали номер телефона санчасти авиагородка, и когда я стала объяснять по телефону, в чем дело, базарный аферист соскочил с дивана, юркнул за спинку моего кресла и стал крутить меня, закрываясь мной и креслом, как щитом... Я в панике закричала, чтобы летчики не стреляли, но один из них, ловко перегнувшись через стол, схватил-таки мерзавца за рукав. Они выволокли его через коридор в больничный сад и тут же пристрелили на моих глазах...

\* \* \*

В 1947 году я все-таки вернулась в Калугу, где, чтобы выучить вас, стала работать сразу на трех работах: хирургом в железнодорожной больнице, по совместительству в поликлинике и в физкультурном диспансере. Я ведь до медицинского окончила в начале тридцатых годов еще один институт – физкультуры.

Ставка врача после войны была 850 рублей, а мешок картошки на рынке стоил 550–600. А если еще вспомнить о вычетах на Госзаем, да профсоюзам, да подходящий налог...

Вот и приходилось совмещать, чтобы заработать две, а то и три ставки. Тем более что ты уже в институт поступил, и тебе каждый месяц надо было посылать 150 рублей, а Наташа кроме школы училась за плату английскому языку и музыке. В конце сороковых – начале пяти-

десятых я не знала годами ни выходных, ни праздничных дней. Брала дежурства, где только было можно, оперировала до поздней ночи, а к 9 утра бежала в поликлинику, потом домой перекусить на ходу, потом в физкультурный диспансер или в фармацевтический техникум. Не понимаю одного до сих пор – как я могла выносить такие нагрузки! Но меня в Калуге как врача любили и знали.

Помню, как летом 1953-го, после ворошиловской амнистии, ко мне в железнодорожную больницу пришел главарь какой-то базарной шайки Иван, фамилию не помню, попросил, чтобы именно я его прооперировала. Рука у него была пробита пулей, которая засела в области таза. Слепое ранение. И рана уже нагнаивалась. Дружки ждали его в приемной. Я занялась им, но пулю никак не могла найти, так как у меня в это время не было рентгенолога: дело было в майские праздники. Ванька быстро затемпературил. И вот я сказала его дружкам: может начаться заражение крови, срочно нужен пенициллин, который в то время был большой редкостью, но они принесли мне через час коробку пенициллина. Температура быстро упала, и из гноящейся раны во время одной из перевязок мне удалось извлечь пулю. Иван выписался. А я после этого в городе была окружена особой заботой. У меня ничего из карманов не вытаскивали, портфель с зарплатой не резали, каждое дежурство я находила на столе букет цветов или флакон духов. А однажды, когда я шла на очередное дежурство, в скверике Мира мне повстречался Иван и стал расспрашивать, сколько я получаю. Когда мы распрощались с ним, придя в ординаторскую, я открыла портфель, а из него посыпались сторублевки – целых пять штук. Это, конечно, было делом его рук, он сидел рядом со мной, сворачивал трубочкой каждую бумажку и засовывал в мой портфель. Сделано это было артистически. Я ничего не заметила... До сих пор с благодарностью вспоминаю о нем, потому что он понял, как тяжело было мне зарабатывать на жизнь... Я ведь до той поры, как ушла на пенсию в 1962 году, ни в одном доме отдыха, ни в одном санатории ни разу не была...

\* \* \*

На этом рукопись заканчивается. Но, может быть, подобные воспоминания хранятся во многих русских семьях. Может быть, прочитав эти бесхитростные записи, кто-либо из моих читателей вспомнит о своей жизни и о жизни своих отцов и матерей. Нам нечего надеяться на официальных историков и продажных летописцев рыночной демократии, на прикормленную в различных «институтах» и «фондах» образованщину с академическими и докторскими званиями. Будем осмысливать свою историю и великую советскую цивилизацию сами.

## НА ЗАКАТЕ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

*Школа сталинских времен. Университет. Студенты и профессора. Похороны вождя. Раздвоенность мировоззрения. «Права человека» и ход истории. «Оттепель». Ее герои и жертвы. Путевка в жизнь*

Летом 1952 года на Моховой, в левом крыле старинного университетского здания я влился в толпу юношей и девушек, приехавших со всех концов нашей страны поступать в храм науки.

Надо сказать, что те сталинские годы были временем расцвета и могущества советской школьной системы. В нашей калужской обычной школе-десятилетке нас, оказывается, подготовили к дальнейшей учебе настолько добросовестно, что из 20 выпускников моего класса 17 или 18 провинциальных юношей, у большинства из которых не было отцов, погибших на войне, а матери работали врачами, мелкими служащими, продавцами, почтальонами и даже уборщицами, выдержали конкуренцию с детьми московской элиты и с первого раза поступили в лучшие вузы страны.

Алик Мончинский и Борис Фомин поступили в Энергетический институт, Виктор Алексеев, Стасик Лысобык и Юра Ряжнов – в Институт железнодорожного транспорта, Витя Баранов и Алик Боровков – в Институт стали, Вадим Багдасарьян – в медицинский, Юра Андрианов – в Ленинградское высшее мореходное училище, Юра Никольский – в Менделеевский химический институт, Борис Горелов – в Пушно-меховой, ну а я, после того как полгода проучился в авиационном, по второму разу бесстрашно принял решение поступать на филологический факультет МГУ. И добился своего. Никуда не поступили из нашего класса лишь два-три человека, и то потому, что не захотели уезжать из дома, от родителей, и стали строить свою судьбу в родной Калуге.

Возможно ли сейчас, чтобы школьники из дальней глубинки, из поселков или даже деревень российских, из простых государственных школ, а не каких-нибудь частных, привилегированных «колледжей», смогли повторить наш путь?

А тогда на чугунных лестницах и в коридорах филфака я встретил сотни провинциальных десятиклассников, уверенно ворвавшихся в святая святых советской науки...

Аркадий Баландин из мордовской деревни, Геннадий Калинин – тоже из провинции, кажется, из Куйбышевской области, Виктор Коржев из лесного костромского села Павино, Володька Гамалей из дагестанского города Хасавюрта... Да разве всех перечислишь! По моим предположениям, более половины студентов и студенток тех сталинских лет были высокообразованными, хорошо подготовленными детьми рабочих, крестьян, скромных служащих, солдатских и офицерских вдов, учителей, врачей, а весьма часто и воспитанниками детских домов, потерявшими родителей во время войны... Именно люди этого поколения, этой системы образования через десять лет создали базу и условия для прорыва нашей страны в космос. После чего, глядя на нас и подражая нам, даже спесивые американцы вынуждены были усовершенствовать систему своего школьного образования.



Я думаю, что эта необыкновенная воля к осуществлению любых целей, выносливость и жажда успеха в любом деле, за которое мы брались, определялась самим воздухом Победы, в котором мы жили и которым мы дышали в первые послевоенные годы... Мы были не просто несчастными детьми войны, но детьми Великой Победы. Может быть, поэтому мы не унывали, хотя жили бедно. Обычной едой в те годы в нашей семье была пшенная каша да толченая картошка с молоком. Прохудившиеся кастрюли и ведра мы не выбрасывали, я чинил их, вдохновенно орудуя паяльником, оловом и соляной кислотой. О велосипеде, о часах или о коньках многие из нас могли только мечтать. Чтобы одеть, прокормить и выучить нас с сестрой, мать работала на двух, а то и на трех работах. Уходила рано утром и возвращалась к полуночи. Всю свою многотрудную жизнь мать – хирург высокой квалификации! – гордившаяся тем, что заработала себе приличную пенсию (120 рублей!), благодаря которой может быть на старости лет независимой ни от подруг, ни от детей, прожила, едва сводя концы с концами. Шить она умела и любила с детства. Но занималась, как правило, бедным шитьем: что-либо переделать, из бросовой вещи сотворить нечто сносное, перекроить старое пальто на куртку сыну или внуку, украсить стареньким, но дорогим в ее глазах кружевцом крепдешиновый («такого материала теперь не достать!») воротничок. Не жалея пальцев, без наперстка («мешает только!»), она с помощью плоскогубцев чинила цигейки, кожаные куртки, туфли, зимние сапоги, протаскивая туда-сюда толстую иголку сквозь задубевшую кожу.

После ее смерти я нашел в гардеробе несколько коробок с пуговицами, когда-то отрезанными с различных одежек и тщательно рассортированными по размерам и расцветкам. Среди этой груды пластмассы, цветного металла и перламутра, я уверен, были пуговицы, которыми я застегивался в холодную зиму сорок первого года, и пуговицы от пальтишек моей покойной сестренки, и от гимнастерки погибшего брата-летчика...

Эта бережливость и привычка «по одежке протягивать ножки» перешла по наследству и ко мне.

До сих пор я испытываю бережную нежность к недоношенным вещам, к недоеденному куску, ко всякой ерундовой вещице, в которую вложен труд человеческий. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – эти горестные слова молитвы всегда трогают и размягчают мою душу. У меня непроизвольно сжимается сердце, когда я вижу мужиков-охранников везде – в поликлинике, в школе, в театре, в магазине (сколько их по всей России – сотни тысяч!), или когда утром вытаскиваю из почтового ящика груды цветной глянцевой рекламной макулатуры, которую тут же отправляю в мусоропровод, или когда вижу доверчивых дебилов, жаждущих выиграть большие деньги в телевизионной игре «О счастливчик!», или (даже смешно признаться!) когда мне продавщица подает буханку хлеба, булку или ватрушку, обязательно упакованную в целлофановый пакетик. И я думаю: десятки миллионов этих пакетиков ежедневно засоряют наши луга и леса, нашу небогатую землю.

Не может, не должна моя нелегкая для жизни во все времена, исповедовавшая правило разумного достатка, а порой и аскетического самоограничения Родина долго выдерживать такое навязанное ей расточительство... Дождемся очередного дефолта, как наказания за то, что не удержались от соблазна.

Невозможно выдержать подобных бессмысленных нагрузок и затрат, которые навязываются нам обществом потребления. «Так нельзя. Это путь к медленной смерти», – говорит мне тихо и печально голос всей моей прошлой жизни и голос совести.

Вот, видимо, почему в 1959 году мою душу тронули стихи Бориса Слуцкого о XX веке:

Он одел меня в парусиновое,  
в ватно-стеганое одел,  
лампой слабою, керосиновой  
осветил, озарил мой удел.

Если я из ватника вылез  
и одел костюм выходной,  
значит, общий уровень вырос  
приблизительно вместе со мной.  
Вот иду я двадцатилетний,  
средний, может быть, нижесредний  
во своей, так сказать, красе.  
Кто тут крайний? Кто тут последний?  
Я желаю стоять, как все.

Это мировоззрение, перекликающееся с древней народной мудростью, живущей в поговорке «о суме и тюрьме», было и до сих пор остается заповедью моей жизни.

Я вплоть до десятого класса ходил во всем перешитом и перелицованном, и первый костюм мне справили только в университете, да и то лишь потому, что в 1954 году к нам приехала в отпуск из Магадана сестра матери тетя Поля, которая подарила мне ко дню рождения отрез серого коверкота. Я ждал, когда мне сошьют этот костюм, с чувствами не меньшими, нежели чувства героя из повести Гоголя «Шинель». Кстати, тетя Поля, отсидев свои пять лет, остальные двенадцать работала в Магадане на швейной фабрике как вольнонаемная и вернулась в 1956 году в Калугу весьма богатой по тем временам женщиной. Но как бы трудно ни жилось нам в те годы, мы были уверены в своем будущем.

Мы ходили в школу пешком за несколько километров, жили в тесных коммуналках, где трудно было учить уроки, а потому образованием занимались в читальных залах и городских библиотеках, где сидели не только над школьными учебниками, но готовили вне всяких программ доклады по теории относительности Эйнштейна и по «Слову о полку Игореве»... Из репродукторов для нас пели Лемешев и Обухова, Козловский и Русланова. У нас были такие фанатичные учителя, как учитель физики и математики Сергей Васильевич Иню-

тин, который выставлял нам переводную отметку в следующий класс лишь тогда, когда каждый из нас приносил ему сделанные своими руками электромотор, паровую машину и детекторный приемник... Ах, какая красивая паровая машина была у меня: выточенный из медной трубки блестящий цилиндр, отлитый из баббита поршень, блестящие штоки, точно просверленные отверстия для пара, котел из консервной банки... Совершенно настоящая, тщательно смазанная, сверкающая и подрагивающая во время работы, с легким шумом, она работала всего-навсего от свечки, подогревавшей воду в котле... Никакие учебники физики не могли дать больше знаний, нежели полученные нами во время, когда мы паяли, вытачивали, крепили и запускали в дело все эти волшебные механизмы.

В январе 2000 года мы похоронили в Калуге на Пятницком кладбище нашего любимого учителя литературы и русского языка Григория Ивановича Блинова. Вот уж кто умелой и железной рукой научил нас любить великую русскую литературу и сделал грамотными людьми. Именно при нем мы в 9-й железнодорожной школе начали выпускать рукописный литературный журнал, в котором я «напечатал» первые свои стихотворения. Именно Григорий Иванович в восьмом классе в первый же день знакомства с нами приказал нам написать домашнее сочинение по «Слову о полку Игореве». Через несколько дней, проверив тетради, он изрек: «Станислав Куняев!» Я встал. «Тройка!» Я огорчился, но учитель продолжил: «Всем остальным двойки!»

А увлечение спортом? Всем нам, как бы в противовес испытаниям, перегрузкам и полуголодному существованию, выпавшим на нашу долю, хотелось быть сильными, здоровыми, ловкими. Мы не думали о международных турнирах и состязаниях. Нет, наши мечты были проще и скромнее – научиться хорошо плавать, бегать, прыгать, драться, чтобы отстаивать свое достоинство в уличных схватках. А когда стали постарше, то, конечно, приглашали девочек из женской школы на волейбольные яростные бои в парк культуры, на стадион «Локомотив», где каждый из нас в присутствии желанной подружки делал все, чтобы

первому разорвать ленточку на финише или приземлиться в яме для прыжков на черте, недоступной для соперников...

Целой артелью – тогда жили и дружили даже не домами, а улицами – через весь город (общественного транспорта в Калуге тогда почти не было) мы бегали три раза в неделю зимой и летом к единственному спортивному залу в дальней 10-й школе, накачивали на брусьях бицепсы, крутили «солнышко», отработывали на коврах всяческие перевороты и сальто...

Иногда до сих пор мне снится, как я выпрыгиваю, несмотря на свой невысокий рост, над волейбольной сеткой и с четвертого номера, минуя блок, с поворотом кисти, посылаю тугий кожаный мяч, да не по первому или пятому номеру – это каждый дурак сумеет, а в центр площадки по шестому или, хорошо набежав на планку, мощно отталкиваюсь и лечу под гул стадиона над ямой для прыжков в длину, продолжая в воздухе бег, словно бы стригу его ножницами, чтобы вынести таз перед приземлением вперед и выбросить ноги в шиповках на заветную семиметровую отметку, до которой мне всего недоставало каких-то полметра!

\* \* \*

Одна из первых встреч, запомнившихся мне осенью 1952 года, когда я, счастливый студент 1-го курса, вошел в Коммунистическую аудиторию, была встреча с легендарным профессором тех лет Сергеем Михайловичем Бонди. Седовласый старик оглядел разномастный, в основном скромно и даже бедновато одетый первый курс и высоким голосом задал вопрос, озадачивший нас:

– Ну вот вы, молодые люди, решили стать филологами. А думаете, это просто? Нет, не просто. Вот разгадайте одну филологическую загадку. Вы «Капитанскую дочку» читали?

– Читали!!! – с некоторым чуть ли не возмущением выдохнула студенческая масса, и в этом выдохе слышалось: «Как можно такие

вопросы задавать! Мы тут все золотые или серебряные медалисты, или набравшие 20 баллов из двадцати – и конкурс прошедшие, в котором было пятнадцать человек на место!»

Но хитрый Бонди, как бы не замечая недовольства, продолжал дразнить нас.

– Как вы думаете, Пугачев – патриот?

– Патриот! – хором рявкнули мы.

– А капитан Миронов – патриот?

– Патриот! – не так громко и убежденно, но все-таки выдохнула аудитория.

– А теперь объясните мне: почему один патриот повесил другого патриота? – и, поглядывая на притихших и недоумевающих вчерашних десятиклассников с коварной улыбкой, Сергей Михайлович закончил: – Вот когда вы сумеете ответить на этот вопрос, тогда вы станете настоящими филологами.

Эту сцену я запомнил на всю жизнь, поскольку, став литератором, всю жизнь пытаюсь ответить именно на этот вопрос, ставший для меня в ряд с другими знаменитыми вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?»

Через несколько месяцев после нашего триумфального поступления в МГУ случилось великое событие, повергшее страну и народ в смятение. 5 марта 1953 года умер Сталин.

Я, поскольку мне не дали общежития на Стромынке, снимал тогда угол в старом доме на Рождественском бульваре и платил 150 рублей в месяц (стипендия была 290) старому еврею Максиму Семеновичу (на самом деле его звали Мордух Стихович), бывшему коммивояжеру нэповского универсама «Мюр и Мерилиз»... Маленький, лысый, красносносый старичок в пенсне, чем-то похожий на телеведущего программы «Поле чудес», живший в одной из комнат громадной многосемейной коммуналки, в первый же день похвастался мне своим гардеробом: несколькими чесучовыми костюмами – тройками палевого, песочного,

голубого цветов, которые сохранились у него с нэповских времен вместе с двумя десятками галстуков немислимых расцветок, с тростью из черного дерева, увенчанной серебряным набалдашником, и целой кучей всяческих флакончиков для духов, маникюрных приборов и шляп, возвышающихся на гардеробе в картонных коробках.

– Я ведь в Москве живу с 1903 года, – хвастался мне Мордух Стихович. – Нам, евреям, никакая черта оседлости не была страшна, с полицмейстером всегда можно было договориться! – При этом он победно разглаживал рыжие усы, и его выцветшие голубые глаза весело сверкали из-под золотого пенсне... Иногда, раза два в месяц, он просил меня не возвращаться домой раньше 11 часов вечера, и злоязычные соседки как-то объяснили мне, что в эти дни к Мордехаю приходят знакомые проститутки, племя которых, по словам тех же соседей, в районе Трубной площади, славившейся когда-то своими публичными домами, до сих пор по традиции живет и промышляет в облюбованном издавна ареале.

Так вот, 9 марта 1953 года, решив проститься со Сталиным, я вышел из нашего подъезда и повернул к Трубной площади, чтобы через Неглинку добраться до Пушкинской улицы, а по ней до Колонного зала, где лежало тело вождя. Людской поток, текущий вниз от Сре-тенки, сразу подхватил меня и властно потащил к Трубной, над которой стоял густой туман, то ли от вечернего влажного воздуха, то ли от дыхания толпы, которое я слышал все сильнее по мере приближения к площади... Водоворот человеческих тел вытолкнул меня на Трубную, и когда я, хорошо подготовленный спортсмен – легкоатлет, гимнаст, пловец – попробовал было пробиться к Неглинке, то с ужасом почувствовал, что не владею ни своим телом, ни маршрутом, ни судьбой. Зажатый со всех сторон такими же беспомощными существами, я с ужасом слышал вокруг себя стоны, сопение, сдавленные крики тех, кто уже не мог сопротивляться сверхчеловеческой силе, давящей на каждого из нас со всех сторон. (То же самое происходи-

ло через тридцать шесть лет на площади в Тбилиси, и я хорошо понимал, отчего погибли несколько грузинских женщин и что Собчак врет, будто бы их зарубили саперными лопатками.)

Локти вперед! В стороны! Лишь бы ребра не раздавили, побольше воздуха в грудь набрать надо, ведь у меня легкие почти шесть тысяч кубиков! Не может быть, чтобы я не выбрался из этой мясорубки! Отчаянно протискиваясь к Неглинке мимо запрокинутых голов, посиневших лиц, наполненных ужасом глаз, колыхаясь в толпе туда-сюда, я преодолел, может быть, за полчаса или за час несколько десятков метров и уже выполз было на угол площади и Неглинки, как вдруг толпа медленно, словно океанская волна, приподняла меня и еще нескольких бедолаг и прижала к громадному окну угловой аптеки... Ни ограждение, ни толстое стекло не выдержали – лопнули вдребезги. Каким-то чудом я, бывший в надежной куртке, избежал порезов и влетел внутрь аптеки, вскочил на ноги, перебежал к двери, выходящей на Неглинку. Под напором нескольких таких же уцелевших авантюристов, как я, засовы и замки хрустнули, дверь распахнулась, и мы вывалились на Неглинку. К нам бросились было солдаты, но мы уже нырнули под грузовики и вскоре, преодолев какие-то дворы, стены и заборы, вырвались на Пушкинскую улицу – в самый конец очереди, медленно движущейся от Столешникова к Колонному залу.

Очередь шла по тротуару, минуя кордон за кордоном из солдат и милиционеров. Но когда я уже был совсем близко от Колонного зала, то услышал за собой шум и крики и, оглянувшись, увидел, как какой-то большой чин в серой шинели, серой смушковой папахе и брюках с лампасами бежит что есть сил вниз по Пушкинской, и за ним катится толпа, где-то наверху не по своей воле, а из-за напора прибывающих людских волн прорвавшая двойную цепочку охраны... Однако в течение нескольких секунд как из-под земли возникшие чекисты бросились наперерез толпе – приняли на себя ее натиск, образовали плотину в несколько рядов и удержали поток, мчащийся во всю ширину Пушкинской, вернули его в тротуарное русло, и властно, с



криком, матом, рукоприкладством закрыли своего генерала от обезумевшей стихии.

В Колонном зале людской поток превратился в тихий, безмолвный, благоговейный ручеек, обтекавший возвышение, на котором, утопая в цветах, лежал вчерашний владыка полумира, игумен, тридцать лет правивший великим монастырем – Россией.

Эти всемирно-исторические дни похорон Сталина я вспоминаю и осмысливаю всю жизнь.

Ворота хрустнули. Скорей  
под крышу, на карниз...  
Я жил во времена царей,  
во времена гробниц.

1969

То с одной, то с другой стороны в последующие годы я разглядывал и его фигуру, и народ – толпу, и человека, которого неодолимая сила волокла попрощаться с вождем.

Когда удушье или страх  
берут тебя за горло –  
ты локоть сам поставишь так,  
что хрустнут чьи-то ребра,  
тогда ты вспоминать не рад  
о совести и чести...  
В толпе никто не виноват  
и все виновны вместе.

1976

Но в те дни я написал стихотворение о его смерти, где были строки о Зое Космодемьянской, вспомнившей Сталина перед смертью, о героях Краснодарона и о наших солдатах, чертивших своими штыками

его имя на руинах Рейхстага. Стихи были очень высокопарными, риторическими, но искренними...

К фигуре Сталина я обращался не раз, можно сказать, на каждом крутом повороте истории (как писал Борис Слуцкий: «О Сталине я думал всяко-разное, еще не скоро подведу итог»). Доклад Хрущева на XX съезде потряс меня, и я попытался несколько иначе определить свое отношение к Сталину.

Помню длинное стихотворение, в котором мне хотелось выразить и его величие, и его трагедию.

В окружении каменных стен,  
полных преданности и измен,  
ночью бродит он одинок,  
вся страна у старческих ног.

1956

Далее поэтическая мысль развивалась по шаблону: мрачному, величественному и недоступному диктатору противопоставлялся человеческий и демократический Ленин, свой парень, чуть ли не персонаж из студенческой среды:

Кепка сжата, рука за жилет,  
вождь, оратор, интеллигент.

Однако жизнь делала необходимые поправки к такого рода шаблонам. Однажды, уже после того, как Сталина вынесли из Мавзолея, я приехал в Калугу и за вечерним чаем с баранками и постным сахаром, которые я всегда привозил бабке, сразу влез в спор о Сталине, начавшийся между матерью и бабкой. Бабка в ответ на материнские нападки на Сталина резонно возражала ей, одновременно обращаясь ко мне:

– А про Сталина, золотка, все болтают! В Лихуне у Демидихи муж помер. Девять человек детей мал мала меньше остались. При-

ходят к ней противоналог брать (так бабки называли продналог), а брать-то нечего – одна корова. Демидиха на рога легла и кричит: «Не отдам!» Сняли, в сторону положили, увели корову. А Демидиху Васька Длинный научил в Москву написать. Так, золотка, и корову ей воротили, и девять тыщ ей Сталин на детей дал! Когда Сашка и Юрка начнут что про Сталина говорить – и такой он, и сякой, у меня один ответ: «Выучились вы по сталинскому приказу, а то раньше одни поповские да дворянские дети учились!» Плюнут и пойдут: «Ничего ты, мать, не понимаешь!» А Сережа мой сказывал, что когда он учился в летном училище, вся Расея была генералами разделена, и граница была назначена в Москве – только в ночь всех поарестовали – и ни слуху ни духу! Вот как Сталин делал. Если бы не он – давно бы у нас германская власть была. Вон соседей-то наших знаешь? Когда фронт со Смоленска разошелся, Женюшка, что за стеной живет, мне и говорит: «Э, бабка, гитлеровская власть сильнее сталинской!» А брата его, Вальку, помнишь? Так он в управу пошел работать, помощником бурмистра стал. Я-то, когда немец к Калуге подошел, говорю девкам: уезжайте, а я в деревню пойду, все равно вы все ко мне вернетесь. А потом при немцах уже из деревни пошла в Калугу за керосином, встретила Наталью Егоровну – мать Женькину и Валькину, она самовар поставила, сахар достала, хлеба белого... Вдруг, смотрю, немец в дом заходит. Я испугалась, говорю: «Наталья Егоровна, немец!» А она мне: «Да ты не бойся! Это наши немцы, хорошие...» А я думаю: какие они могут быть хорошие? Так мне не по себе стало, ну, думаю, не нужен мне твой чай-сахар, и ушла потихоньку. Как же Сталину со всеми хорошим быть, когда народ-то разный! Вон в деревне у нас, когда немец подходил, бригадир Федя говорит: «Надо всю колхозную скотину резать». А бабы кричат: «Придет германец – и скотинку нам отдаст! Не будем резать!» Федька с Лукерьей только и успели трех подсвинков зарезать. А пришел германец и все поел – и колхозное и наше... Вся эта жизнь, золотка, при мне делалась, и законов много правильных было. Бросили дитенки мать-старуху, подбирается, за-

берут ее, спросят, детей в суд вызовут, пенсию ей назначут... Плохо только, что не все по Сталину делали. Про Демидиху-то я тебе сказывала? Так рази корову у нее по его приказу со двора увели? А теперь, говорят, Сталина из Мавзолея выкинули? Чего ж теперь его судить! Лежит он, и воины его лежат... И мой Сережа с ними...

Интерес к Сталину еще подогревался и тем, что частенько на чугунных узорчатых лестницах и переходах филфака на Моховой я встречал рыжеватую хрупкую женщину, некрасивую, но какую-то ладную, с быстрой походкой и внимательным, сосредоточенным взглядом. Голоса ее я не помню, скорее всего потому, что Светлана Сталина была молчаливой и всегда одинокой. Она приходила на факультет, вела какие-то занятия со студентами, никогда я не видел ее окруженной друзьями или преподавателями, смеющейся и оживленной. Но что хочу засвидетельствовать: даже при жизни отца никогда она не приезжала на Моховую ни на каких машинах, не было рядом с ней никакой охраны, и любой из нас мог подыматься по чугунным лестницам рядом с нею, сидеть за одним столом в библиотеке, стоять в очереди к буфету... А кто из вас видел «вживе» какую-либо из дочерей Ельцина, кто сталкивался в общественном транспорте с сыном Лужкова или дочерью Березовского? Вот вам и материал к размышлению об «открытом обществе», о нравах при диктатуре и при демократии.

Однако стихи я писал, конечно же, не только о Сталине или о жизни в военных лагерях. Мои студенческие тетради и блокноты были буквально переполнены любовными посланиями, вздохами об уходящей молодости, рифмованными мелодрамами, приступами юношеского пессимизма, перемежающимися с ницшеанской гордыней и пророчествами о своем высоком призвании.

Да иначе и быть не могло, если вспомнить, что шедеврами любовной лирики в школьные годы я считал строчки из песенки, исполняемой Петром Лещенко, «Упали косы, душистые, густые, свою головку ты склонила мне на грудь» и «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая»...

Добром все это кончиться не могло, и к концу первого учебного года меня, единодушно избранного в начале учебы секретарем комсомольской организации (умел я внушать какое-то доверие к себе и товарищам и начальству!), за богемную жизнь на Стромынке выгнали с моей весомой, почетной по тем временам должности с большим скандалом. Но я не унывал. Нет худа без добра! Мои блокноты тех лет непрерывно пополнялись всякого рода сюжетами, крамольными размышлениями, житейскими историями (я стал уже «замахиваться» и на прозу!). Вот одна из них, отражающая ворошиловскую амнистию и атмосферу «холодного лета 1953-го...» Записано в поезде Калуга – Москва двумя годами позже.

\* \* \*

В последнем купе раздавались тихие звуки гитары, заглушаемые ходом поезда. Я заглянул – там сидел маленький сухой старичок с острым носом и густыми седовато-черными волосами.

– Интересуетесь? – он кивнул на гитару.

– Да, люблю послушать.

– Значит, любитель. Вот так и надо. Любишь – подойди, посиди в компании, послушай. – Старик вдруг заговорил со злостью, возбужденно размахивая руками: – А то подходит ко мне один дурак и говорит: «Друг, пойдем к нам в купе, поиграешь!» А что я – клоун? Я – артист, я себя уважаю.

Старик, помолчав, взял несколько аккордов, начал было какую-то плавную плясовую и, внезапно оборвав игру, повернулся ко мне:

– О, как мы играли на гастролях в Калуге! Наш цыганский струнный ансамбль! Приехали – до начала три часа, а публика валит валом! Пришлось продавать на одно место два билета, да. А потом все в «Оку», выпили хорошо. – Он понизил голос и пахнул перегаром: – Компанию составить не желаете?

– Нет, с удовольствием бы, но не могу, врачи запрещают, язва, – быстро придумал я, не желая ни пить, ни терять собеседника.

– Мда-а, жаль, у меня тоже язва и пью; как не пью – хуже!

Он был одет в старый потертый костюм, на ногах фетровые боты, засаленный галстук неряшливо съехал с шеи.

Я решил совершить благое дело и увести артиста со скользкого пути.

– А у вас, видно, старинная гитара.

– Да, гитара хороша. – Он самодовольно погладил ее, как животное, и с грустью добавил: – У меня их две, одну продать придется, денег нет. Любительская, семиструнная, одно слово – инструмент! Ведь в гитаре главное плавность, напев. Шестиструнка – что! – Старик презрительно махнул рукой. – Это ж испанская классическая, на ней трень-брень – ни аккордов, ни сочности, ни напева. Иванов-Крамской с Володькой Поляковым все спорят: у Володьки семиструнка, так он говорит, я все твое на моей сыграю, а ты не сыграешь на своей. И все играет, сукин сын, все!

...Вошел парень из моего купе. Черноволосый, широкоплечий, лихо сплясал, но цыган нам скоро надоел, и мы вернулись в свое купе. Я предложил собеседнику поужинать, он отказался:

– Не хочу, отвык, бывало, по восемь суток не ел.

Оказалось, он двенадцати лет убежал от матери на Дальний Восток на рыболовные суда, по пути встретил вора – Васю Римского, и тот уговорил пацана уйти с ним в Западную Германию. Оттуда перешли в Венгрию, Чехословакию, Польшу. Там ограбили ювелирный магазин, попались. Залезли через трубу. Как попались? Пили в ресторане, не хватило денег, пошел продать золото, тут и взяли. Судил военный трибунал. Пять лет. Исправительно-трудовые лагеря. Работал в Совгавани, Нордвике, Магадане, Тайшетлаге.

– Я вором не был. Воровал? Не всякий, кто ворует, – вор. Вор тот, кто живет по воровским законам. Законы? Всякие. Коль ты вор – должен знать других. Всегда об этом спросят. С кем воровал, где. Не

знаешь – не вор, значит, и тебя никто не знает, а за то, что назвался, зарежут или по хоботу.

Вора всегда признаешь, войдет в камеру, два слова скажет, и сразу узнают, вор или нет. Кто кричит на каждом слове – я вор, – бей того в морду, это не вор, а шпана, руб на базаре украл, «тафтовый вор». Вор не грабитель, этих сук я бы сам передушил, часы снимают! Ты укради да по воровским законам живи.

Раз сидел я в Минске. Вхожу в камеру, сажусь на нары, подходит один: «У тебя, друг, пальтишко хорошее, дай мне. Я скоро по этапу пойду».

– На, возьми!

Другой подходит: «У тебя брючата хорошие, дай мне». Ну, я ему: «Заменить-то что есть?» – «Есть». Отдал брюки. Сам все смотрю. Третий встал: «У тебя кепка новая, возьми мою».

Бросил кепку, встал, схватил лавку – одного по морде, другого, третий лавку вырвал, – я его бачком с водой – все лицо в кровь. Кричу ребятам: «Бери что хошь!»

Вечером по кружке в соседнюю камеру говорю: так-то и так-то. Ночью приходит один, спрашивает, кто я, где был, кого знаю. Я говорю, в Польше был, в Венгрии... Васю Римского знаю, Ваню Лысого. Послушал, ясно, говорит. Этот пальтишко снимал? Ножом поронул и вытащил за дверь.

А кто по воровским не живет законам – тех зовут суками. Выдал за то, чтоб срок меньше дали, – значит, ты сука. И всякий вор тебя должен резать. Война самая настоящая. Раз мы попали в сучий лагерь. 38 человек. Заперли нас в барак, отобрали ножи, у нас лом и топор. Лезут! Ну одного топором, другого ломом – а их сколько! Идут по бараку, подходят ко мне: «Вор?» Отрекешься – свои зарежут. «Вор!» – раз! – в руку, в плечо, в живот, я и сел. Два месяца лежал. А из тридцати восьми двадцать насмерть, и один только не раненый.

Есть еще в лагерях «прокуроры», – это кто за спекуляцию, за аферы, за подделку, чечня, эти за 10 рублей зарежут...

Я вором не был, воровские законы знал, жил по ним; сколько раз мне говорили: назовись вором! а я не хотел. «Я, – говорю им, – всю жизнь вором не буду, отсижу – работать пойду, погулял по глупости, и хватит».

Натерпелся, сколько другому на всю жизнь. В 20 лет – инвалид второй группы, легкое отбито, из желудка и из кишки 12 квадратных сантиметров вырезали, черный хлеб есть не могу, да и есть-то не хочется, отвык в лагерях. Раз восемь суток не кормили, сволочи. Разве так исправляют! Ходишь – голова в тумане, руками водишь. Упадешь, поднимут – встанешь, не поднимут – подохнешь. Я-то раньше думал, что в лагерях водку пьют и в карты играют. А там работают. Лес пилят. В снегу по пояс. Не выполнишь – не пожрешь, а жрать – пайка хлеба, 800 грамм, утром баланда, днем баланда и овсянка, вечером баланда. Вода мутная и две крупинки. Убежишь – два года прибавят и в штрафные лагеря, все как в общих, только кормят два раза, утром не кормят. А если в закрытую тюрьму (это за убийство или за побег), то там сидят в одиночках, на пять лет сажают. Там с ума сходят. Лучше уж 25 в общих. Пили мы лак (я в столярных мастерских работал), через ватку процедишь и пьешь.

Сами мучились, а работягам помогали. Работяги? Ну это кто случайно попал, раз украл, да неудачно. Выйти скорей они хотят, а выполнишь норму на 120 процентов – день за три. Помогали им, денег пришлют с воли – купишь маргарину, хлеба, поедят. Жалко работяг. Им посылки приходили. Раз прихожу голодный, смотрю – в тумбочке сахар, сало. Кто положил? Я, я! Ребят, не надо, ну давайте вместе! Бригадиром я был, а коль ты бригадир – умри, а чтоб зачет был у бригады 120 процентов. Если нет, не приходи в барак. Дрался счетами в бухгалтерии, чтоб зачет был, в изоляторе сидел – стены в инее, рядом человек помирал, ничем не мог помочь, снял с покойника бушлат, чтоб самому не замерзнуть. А утром прибегает бухгалтер в изолятор (я ему счетами голову разбил): «Буду, – говорит, – 120 процентов ставить».



Вор по человечности как коммунист. Вот ты мне поесть предложил, заснешь – твой чемодан сторожить буду.

Много я повидал. Бежали двое – вечером идем с работы: лежат под соломкой и снежок припорошил. Начальник лагеря выстроил: «Так, – говорит, – с каждым будет, кто побежит».

Немцев видал, работал со мной в столярной личный шофер Гитлера. Их домой отправляли – приказ вышел: кто немца фашистом назовет – год прибавят. Двое получили.

Самая тяжелая жизнь воровская. Врагу заклятому не пожелаю. В 1953 году по амнистии вышел. К матери приехал в Москву. Не прописывают. Участковый приходит каждый день, жить спокойно не дают.

Двадцать лет, а повидал – не видать бы больше. Инвалид! Начну кашлять – на полчаса. Ну что ж, пожито, похоже по белу свету, а когда и попито. Приезжаю к матери – принимай сына; помирились, да мы с нею и не ругались... Хорошая у меня мать, только вот сын непутевый...

Так что когда спустя много лет я смотрел фильм Шукшина «Калина красная», то вспоминал эту встречу, и этот разговор, и тюремные судьбы многих своих друзей.

Хотя мы жили весьма напряженной культурной жизнью – часто ходили в Третьяковку, в Консерваторию, были завсегдатаями Большого театра (куда билеты стоили всего лишь 2 рубля при нашей стипендии 290 рублей!) – словом, пользовались на полную катушку официальным лозунгом «Искусство принадлежит народу», – но одно дело пользоваться всеобщими возможностями, другое – вырабатывать личный вкус, избегая соблазнов всеядности и дополняя эстетику идеологии, окружавшую нас со всех сторон, опытом собственной судьбы.

Я подражал, как это ни смешно, двум своим кумирам сразу: Маяковскому и Есенину. Мы даже устраивали с моим сокурсником Аркадием Баландиным соревнования, кто из нас знает наизусть больше стихотворений – он читал стихотворение Есенина, я отвечал – Мая-

ковским; проигрывал тот, кто первым сознавался, что выдохся... Турниры, как правило, проходили на улицах Москвы, мы бродили по Моховой, спускались к Александровскому саду, поворачивали на набережную и, конечно же, производили странное впечатление на прохожих, оглашая стихами площади и улицы Москвы.

Особенно я любил раннего Маяковского – «Флейту-позвоночник», «Люблю», «Про это», сочинял курсовую по его лирике у входившего тогда в моду литературоведа Виктора Дмитриевича Дувакина. Будущий диссидент Дувакин хвалил меня и гордился моей работой, впрочем, как и замечательный педагог, выпивоха и, по-моему, тайный русский националист Николай Иванович Либан, у которого на первом курсе я писал сочинение об оде Гавриила Державина «На смерть князя Мещерского»... «Глагол времен, металла звон». Мы с Баландиным, а чаще с Геннадием Калиничевым или Далем Орловым бродили по Москве, я не выпускал из рук блокнота, куда записывал уличные сценки, необычные рифмы, наброски стихотворений, экспромты курсовым красавицам, в которых на ходу и ненадолго влюблялся... Мы забредали в букинистические магазины – ими была напичкана Москва тех лет, копались в книжных развалах, слушали разговоры книжников-знатоков. Именно в 1953 году в одном из букинистических на Сретенке я впервые узнал о Бунине из разговора двух стариков о его судьбе, о переписке с Телешовым, о его смерти. Они разговаривали со вкусом, подробно, ярко.

– Ну как же, конечно, он до восьмидесяти дожил. Я же помню, когда мы ему в день рождения шестьдесят пять свечей зажигали!

А я стоял как зачарованный и слушал, слушал.

Правильно развивать вкус в те годы было трудно – усилия наших лучших профессоров Радцига, Либана, Гудзия, Бонди были обращены к прошлому и не могли совладать с программой современной советской литературы, в которой, естественно, не было ни Ивана Бунина, ни Михаила Булгакова, ни Андрея Платонова, ни Осипа Мандельштама с Павлом Васильевым, ни настоящего Сергея Есенина.

О Николае Клюеве или Анне Ахматовой, естественно, и слыхом не слыхивали, а что уж говорить про Михаила Бахтина, Алексея Лосева, про Марину Цветаеву или Владислава Ходасевича...

Зато программы были просто перенасыщены именами и произведениями Александра Фадеева, Федора Панферова, Константина Симонова, Ильи Эренбурга, скучнейшего Константина Федина и так далее вплоть до Веры Пановой или даже Антонины Коптяевой... Роман «Далеко от Москвы» Василия Ажаева считался чуть ли не современной классикой.

Более или менее сообразительных и неглупых студентов, конечно, выручало то, что можно было изучать Шолохова в семинаре Льва Якименко, писать курсовые и дипломы по Горькому или, на худой конец, по Алексею Толстому... Но если где и существовала жесткая система идеологии и эстетики социалистического реализма, то, конечно, в первую очередь это соблюдалось на нашем филологическом факультете... Но меня спасало еще то обстоятельство, что я постоянно бывал на собраниях нашего литературного объединения, которое вел старик Павел Григорьевич Антокольский. Мне даже доверяли встречать его у входа на факультет – смуглого, с живыми карими глазами, со щеточкой усов, в столь необычном для тех времен черном берете, с кожаной полевой сумкой через плечо и с отполированным посохом в руке...

– Хорошее время наступает, – восторженно вещал Павел Григорьевич, – многие неизвестные имена писателей и поэтов вам, молодые люди, в ближайшее время предстоит для себя открыть – Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Бруно Ясенского, Марину Цветаеву... А из молодых читайте Александра Межирова и Семена Гудзенко!

А тут еще в общежитии у кого-то появился альманах «Литературная Москва», который стал переходить из рук в руки. Еще бы! «Рычаги» Александра Яшина, статьи Марка Щеглова, стихи Марины Цветаевой с предисловием самого Эренбурга.

Поэзия Цветаевой, конечно же, была для нас крупнейшим открытием тех лет. Со временем, правда, до меня дошло, что она представля-

ла собой редкий тип русского поэта, миры которого видоизменялись в зависимости от страстей и убеждений, сменявших друг друга в ее экзальтированной натуре. Ее стихи свидетельствуют, что она могла быть сегодня страстной юдофилкой, а завтра антисемиткой, во время Гражданской войны вдруг ощутить себя «белой монархисткой», а через десять лет, восхитившись подвигом челюскинцев, переродиться в советскую патриотку. И любую новую роль Марина Цветаева играла самозабвенно и талантливо. Но я предполагаю, что Антокольский и Эренбург вспомнили в 1956 году в первую очередь о Цветаевой еще и потому, что знали одно ее до сих пор мало известное стихотворение 1916 года.

### Евреям

Израиль! Приближается второе  
Владычество твое. За все гроши  
Вы кровью заплатили нам: Герои!  
Предатели! – Пророки! – Торгаши!

В любом из вас – хоть в том, что при огарке  
Считает золотые в узелке,  
Христос слышнее говорит, чем в Марке,  
Матфее, Иоанне и Луке.

По всей земле – от края и до края –  
Распятие и снятие с креста.  
С последним из сынов твоих, Израиль,  
Воистину мы погребем Христа...

Чего в этом стихотворении больше – преклонения перед Ветхим Заветом или отвержения Завета Нового – трудно сказать... Во всяком случае, русские поклонники поэзии Марины Ивановны, особенно православные, должны знать его.

В 1956 году произошло еще одно неожиданное литературное событие. В одном из осенних номеров «Нового мира» была опубликована повесть никому не известного писателя Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

Это было как взрыв бомбы. Журнал зачитывали до дыр, передавали друг другу на ночь, общежития на Стромынке и Ленгорах гудели, Дудинцев в две недели стал кумиром студенческой молодежи...

Повесть сейчас заслуженно забыта, как многие злободневные произведения той эпохи: «Оттепель» Эренбурга, или любой из романов Всеволода Кочетова, или «Здравствуй, Университет!» Свирского, или «Студенты» Трифонова. Но тогда!

В центре повести стоял честный изобретатель Лопаткин, которому партийно-научная бюрократия, олицетворением которой был некий Дроздов, во имя своего спокойствия и своей якобы монополии на истину не давала внедрить в жизнь какое-то изобретение, касающееся, кажется, то ли отливки труб, то ли чего-то еще. Словом, это был тот же самый производственный роман, каких штамповалось много, но в отличие от тьмы «благополучных» исходов завершившийся драматически.

Никаких духовных открытий в романе не было, и стилистика его была достаточно примитивной – всего лишь «антибубенновской» или «антикочетовской», но нам, жаждавшим в то время свежего воздуха общественных перемен, и того было достаточно. Ровно через тридцать лет подобную же роль катализатора общественного мнения сыграл, пожалуй что, ныне так же заслуженно забытый роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата»...

Филологический факультет волновался, все ждали обсуждения романа в писательской среде, назначенной на 26 октября, были среди нас и такие счастливицы, которые всеми правдами и неправдами достали приглашения в Дом литераторов. У нас с Геннадием Калиничевым приглашений не было, и мы, чтобы помочь прогрессу и честным людям в борьбе с бюрократией, сели за статью о романе Дудинцева. Несколько дней и ночей мы буквально жили ею, спорили, кляли культ

личности, присягали на верность Ленину, ругались, мирились, переписывали один черновик за другим, но наконец-то к началу октября статья, до небес возносящая Дудинцева, была готова, и мы понесли свое живое, теплое детище в журнал «Октябрь». Через несколько дней заведующая отделом критики журнала Лидия Фоменко сказала нам, что статья ей понравилась и она предложит ее в один из ближайших номеров. Называлась статья весьма многозначительно – «Чем люди живы». В ней был, конечно же, весь джентльменский набор либеральных «духовных ценностей» той эпохи: возвращение к ленинским идеалам, осуждение обывательской философии жизни – «бойтесь равнодушных!», разоблачение бюрократов и карьеристов, живущих в неприступной крепости, которая в романе называлась то «скифским городищем», то «градом Китежем».

Сегодня я понимаю, каким кощунством со стороны автора было использование самой светлой поэтической русской легенды о граде Китеже: под пером Владимира Дудинцева понятие «град Китеж» стало восприниматься как пристанище безнравственных негодяев и интриганов, как обитель социального и политического зла.

Но восторгу двух наивных студентов-дипломников с филфака не было предела.

Вот он, воздух перемен, наша грудь дышит и наслаждается им!

Восторг еще более усилился, когда мы узнали о том, как триумфально прошло обсуждение романа в Доме литераторов. Помню, как мы с Калининцевым стояли у входа в ЦДЛ, куда с улицы Воровского валом валил народ с билетами, надеясь на чудо – а вдруг и мы проскочим как-нибудь в заветный дубовый зал. Не проскочили, но терпеливо слонялись по улице несколько часов, чтобы узнать у первых выходящих счастливых – кто и что сказал о романе. А говорили о нем, до небес вознося Дудинцева, такие гиганты художественной мысли, как Всеволод Иванов, Константин Паустовский, Валентин Овечкин, Владимир Тендряков... Особенной популярностью пользовалась речь Константина Паустовского. Ее размножали, передавали из рук в руки,

восхищались смелостью популярного прозаика. Я нашел сейчас в своем архиве, перечитал эти два пожелтевших от времени листочка и был поражен, как мы в то время верили любому демократическому красноречивому! Впрочем, мне только сейчас открылось, почему эта речь стала тогда манифестом московской интеллигенции. Паустовский вспоминал в ней, как летом 1956 года он был в туристическом круизе на теплоходе «Победа». Вокруг него якобы была тьма высокопоставленных бюрократов-дроздовых, и одна фраза в речи стала ключевой, обеспечившей Паустовскому неожиданную славу и популярность: «Эти циники и мракобесы, совершенно не стесняясь и не боясь ничего на той же “Победе”, открыто вели погромные, антисемитские речи»... Но тогда я не обратил внимания на подобную мелочь, поскольку еврейский вопрос совершенно не волновал меня. Разве что однажды я столкнулся с ним во время крайне забавной сценки. Воспроизвожу эту запись из блокнота 1956 года:

«Еду в метро. Напротив меня сидит молодой офицер с женщиной – по внешнему виду еврейкой. Входит пожилой священник. Офицер встал, чтобы уступить ему место. Женщина раздосадована и громко выговаривает своему спутнику: “Тьфу! Попу место уступать!” И вдруг поп, обращаясь даже не к ней, а куда-то в пространство, спокойным голосом произносит:

– А меня с детства учили, что попов надо называть священниками, а жидов – евреями!»

...Маленькая «литературная оттепель», спровоцированная романом Дудинцева, продлилась всего лишь три месяца. В январе 1957 года «Литературная газета» вышла с отчетом об очередном писательском партийном собрании, на котором многие из тех, кто восхвалял роман в октябре, почував послевенгерские январские заморозки, заговорили по-другому.

Тон, естественно, задавали партийные функционеры с еврейскими фамилиями, вроде критика Александра Исбаха: «Роман Дудинцева следует настоящей большевистской традиции», – фрондировал

Исбах в октябре, а в январе, выполняя новый социальный заказ, уже давал задний ход: «фрондерство, нигилистические нотки, результат незнания жизни».

Словом, вернули нам наш вдохновенный трактат из «Октября» без всяких объяснений, да мы и сами уже понимали, что после венгерской трагедии время всяческой оттепели и слякоти миновало, и надолго.

– Стаська! – сказал тогда Калиничев, принимая рукопись из рук Фоменко. – Первый блин комом!

Я до сих пор с нежным чувством нет-нет, да и вспомню своего друга по Стромынке, с которым пять лет бок о бок учились в одной группе – в первой немецкой. Русского провинциального юношу, из семьи учителей, тщедушного, насмешливого, одаренного. Он, в отличие от меня, не менял от курса к курсу научных руководителей, не шархался от Державина к Маяковскому, от Маяковского к Алексею Толстому... Он с первого года взялся за «Тихий Дон» и под руководством добросовестного Льва Григорьевича Якименко все пять лет осмысливал и комментировал великий роман и мне открывал глаза на многие его загадки. Когда мы после окончания университета разъехались – я в Тайшет, а он в куйбышевскую молодежную газету, Геннадий постоянно поддерживал меня в моем сибирском одиночестве письмами, советами, планами. Он был из той породы русских идеалистов, без которых жить было бы скучно.

Из его письма от 27 октября 1957 года:

«А у меня, Стаська, в творческом смысле трудностей до черта. Главное, сейчас нужно, чтобы сердце глодала хорошая тоска по чему-то несделанному, недостигнутому, и у тебя эта тоска есть. И отлично. Творческий потолок, смерть наступает, по-моему, тогда, когда человек начинает “устраивать” себе дачку, знакомство с заведующим ателье, часами болтает по вечерам с соседями у подъезда на скамеечке о том, кто красивее – Стриженов или Рыбников... Одним словом, все в порядке, Станислав Юревич! Жизнь еще только начинается».



Но воли продолжать ее у Геннадия не хватило. Он стал пить, переезжать в поисках газетной работы из города в город, и в 1966 году я узнал, что он, работая в какой-то районной газете Новосибирской области, в зимние морозы заснул по пьяному делу на улице и не проснулся...

Далеко в земле сибирской,  
в захолустном городке  
умер мой товарищ близкий,  
и сегодня я в тоске.  
Пишут, что прилег с похмелья  
отогреться у земли –  
и сибирские метели  
юношу не пожалели,  
белым снегом замели.  
Говорят, что много пил,  
только в этом ли причина?  
Песню русскую любил:  
– Догорай, моя лучина.

1966

Гром венгерского восстания заглушил на время все остальные звуки политической жизни. Думаю, что до сих пор историки еще не написали объективную картину этого мятежа, поскольку, как свидетельствовали многие очевидцы, неизвестно, каких больше лозунгов и призывов было в Будапеште в конце октября 1956 года: антисоветских или антисемитских...

Венгерский еврей Матиаш Ракоши и его окружение стали главной ненавистной мишенью венгерского студенчества, в среде которого всегда жил дух национализма. А для меня буквально через несколько лет венгерские события обрели совершенно неожиданное продолжение. В начале 60-х годов я поехал из Москвы в Киргизию по литературным делам.

Мой друг Суюнбай Эралиев устроил мне путешествие к озеру Иссык-Куль. По дороге мы проезжали какой-то районный центр, кажется, Токмак. И я вдруг увидел среди пыльных и невзрачных домов поселка хороший особняк, окруженный высоким забором, за которым росла пышная растительность – деревья, кустарники, цветы...

– А кто же здесь живет в таком богатом и необычном доме? – спросил я у молодого чиновника, сопровождавшего нас. Тот помялся, помолчал и все-таки решился ответить:

– Ракоши, бывший генсек Венгерской компартии. На его место пришел Янош Кадар, у которого при Ракоши в тюрьме ногти вырвали... Ну, после такого Ракоши в Москве держать было неудобно, вот его и поселили в наших краях...

По истечении десятилетий все-таки становится ясным, что тип человека «оттепели» на самом деле был весьма усложнен и идеализирован писателями, журналистами и политиками той эпохи. На самом же деле в основном эта прослойка, особенно в российской провинции, состояла, как правило, из тщеславных молодых людей, полужурналистов, полуактеров, полуписателей, как правило, неудачников из местной богемы, питавшихся речами Паустовского, повестями Дудинцева и Эренбурга, стихами Евтушенко и Рождественского... Они ощущали себя будущей политической элитой России, властителями дум, а на самом деле, как правило, были кухонными заговорщиками, бесталанными протестантами, людьми тогда еще не сформировавшегося в политическую силу (поскольку не было подпитки от Запада) диссидентского движения.

Литературное объединение «Факел», возникшее в те времена в моей родной Калуге при комсомольской областной газете «Молодой ленинец», состояло в основном из подобных молодых людей. В него помимо поэтов, журналистов и художников входил и мой школьный товарищ Борис Усов, сын калужской писательницы Надежды Усовой. «Факел», просуществовавший год-полтора, был вскоре за изготовление антисоветских листовок разгромлен... Чтобы не попасть под статью,

Усов, бывший в числе «авторитетов» «Факела», симулировал психическую болезнь, полгода отлежал в дурдоме, а когда вышел на волю, то на тридцать лет погрузился в полупьяную разговорчивую жизнь, которую ему постоянно обеспечивали женщины, имевшие на него серьезные виды. Парнем он был видным, обаятельным, артистичным. Местные обыватели частенько видели его на улицах города, обвешанного всякого рода фототехникой. Он мечтал стать выдающимся хроникером-фотохудожником эпохи, и основания к тому у него были.

Однажды в середине 80-х годов я навестил его.

Мы сидели в его комнатухе, набитой радиотехникой, иконами, картинами местных художников, пустыми бутылками, западными журналами, медными крестами и складнями, увешанной фотографиями знаменитых людей, заезжавших в наш городок.

– А ты читал у академика Тураева о том, что скрижали судеб и появления богов находятся в созвездье Вега? Пока еще, извини за выражение, Иисуса Христа не было, вавилоняне молились на звезду из созвездия Вега. О друг Горацио! Нет пути человеку, нет возможности! Мог быть писателем, историком, дипломатом – стал фотографом! – На глазах у него блеснули слезы, и он постарался, чтобы я их заметил.

Он быстро запьянел, стал кричать, размахивать руками, стащил с себя синюю спортивную рубаху. Потом усталое сказал:

– Вчера заночевал у одной Наташи, – сделал паузу. – Однако с женой уже мир. Она женщина хорошая, но, – мотнул головой, – не понимает меня и воли мне не дает! Жить невозможно! Гибнет русский человек от излишней талантливости. Как я в пединституте учился! Ничего не учил, а сдавал только на пятерки!

...Странно, что при таком образе жизни он выглядел молодо. Скульптурное красивое лицо. Уверенная походка с косолапинкой.

– Жду, когда начнется действие закона об индивидуальной трудовой деятельности. Посмотрим, как и что. Кто-то прогорит, надо будет подумать – почему... У меня вторая группа инвалидности, налогов мне платить не надо. Я вообще могу подать в суд на наше правитель-

ство: двадцать лет я со своими способностями вынужден был прозябать... У меня отняли мою молодость! Вон ветераны вьетнамской войны устраивают демонстрации возле Белого Дома, требуют моральной и материальной компенсации за отнятую государством юность. Я имею право на такой же протест... Но мне нужно такое дело, чтобы давало не меньше трех тысяч в месяц... Думаю, ломаю голову, не тороплюсь... Может быть, сувенирную мастерскую, может, фотоателье суперкласса, может быть, контору по торговле иконами и всяческой стариной... Но с Уголовным кодексом считаться надо... А главный архитектор наш, видел, поставил бетонную бабу на площади Победы? – Лауреат госпремии. За что?! Баба-то краденая, такие во всех городах стоят!

Полуголый, с черными прокуренными зубами, грудь волосатая, на животе фигурный шов – недавно вырезали половину желудка, из-под брюк торчат кальсоны, в одних носках – ботинки жена спрятала, чтобы не ушел из дому...

Умер он в полном забвении несколько лет тому назад. Я хорошо знал его, считал чрезвычайно колоритным, но совершенно бесполезным для русской истории человеком, и, думаю, что по-другому прожить свою жизнь это дитя «оттепели» просто не могло.

Трещина, образовавшаяся в наших душах после 1956 года, осталась с нами на всю жизнь. Многие из нас своей молодой интуицией понимали историческую неизбежность всего пути советской эпохи и старались, как могли, соответствовать ей мыслями и поступками. Я же помню, как, когда начался суэцкий кризис и западные державы были на грани войны с пытающимся освободиться от колониальной зависимости Египтом, мы с моим товарищем по университетской спортивной жизни студентом-физиком Николаем Киселевым пошли в военкомат, чтобы нас зачислили добровольцами для защиты дружественного Советскому Союзу Египта. А ведь я уже учился на пятом курсе филфака и был женат. Мы ждали ребенка. О другом бы надо было думать! Коля же Киселев – душа-парень, блистательный спортсмен, воспитанник

белорусского детдома, человек, образцами для которого были Рахметов и Корчагин, записывал в те времена в своем дневнике (мы время от времени обменивались дневниками):

«Все-таки самая правильная политика построения социализма – наша политика. Железный порядок, единопартийная система, армия и, если надо, репрессии – это оправдало себя. Путь полной демократизации в наше время невозможен. Народ не настолько сознателен, чтобы воспользоваться им правильно. И Сталин во многом был прав. Отказ от диктатуры, многопартийная система, “полная демократия” – все это в настоящий момент привело Венгрию к катастрофе. А мы не можем вмешаться. Объявили на XX съезде политику невмешательства. Американцы – те вмешиваются. Дать полную демократию мелкобуржуазному народу, лишь десять лет, с ошибками и заблуждениями, строящему новую жизнь! Смешно, если бы мы это сделали в 1927 году, в самый разгар битвы с троцкистами. Смерть была бы всем завоеваниям социализма. В ближайшее время мы должны подкрутить гайки, иначе по морде будут нас бить все чаще и чаще. Но есть и другая сторона: мы доросли до понимания того, что не дать дорогу демократии – тоже похоже на смерть. Нужен выход. Может быть, я не прав. Эти страны нельзя равнять с нашими, их народ с нашим. Они гораздо меньше получили от революции, нежели мы»...

Вот в каких противоречиях металась душа этого мускулистого интеллектуала, в котором, честно говоря, я видел будущего любимца масс, крупного государственного деятеля, образованного, мыслящего, волевого... А как иначе мог размышлять круглый сирота, выросший в провинциальном не то гомельском, не то могилевском детдоме, которому наше общество и государство дало все, о чем мог мечтать одинокий как перст юноша? Московский университет, стипендию, стадионы, великие библиотеки, профессию, обеспеченное будущее. Вот еще одна характерная запись из его дневника, сделанная после вселения в общежитие на Ленинских горах.

«Я в отдельной комнате! Изумительные условия – душ, стол письменный с прибором и настольной лампой, стол для еды с посудой, шкафы, секретер, вентилятор и радио – все что надо. И за это за все – с меня требуется только учеба и пятнадцать рублей! Просто нет слов!» (Мы с молодой женой жили в таких же условиях, которые могут показаться сказкой для студентов сегодняшней демократической эпохи.)

Конечно же, Коля Киселев был за социализм, но не как сынок какого-нибудь «ответственного работника», генеральский или кагебешный отпрыск, а как сирота, для которого государство и общество заменили отца и мать. Сегодня путь в будущее для таких талантливых, но одиноких и обездоленных людей, как Коля Киселев, закрыт наглухо.

Помню наше посещение с ним военкомата, когда мы хотели записаться добровольцами на суэцкий фронт. Запись из моего блокнота тех дней:

«В военкомате офицеры все худые, больные, нестроевые.

Позвал нас к себе язвенного вида майор, предложил сесть и стал расспрашивать про семейное и социальное положение... Записал все наши ответы в карточку и сказал, что если нужда будет – нам сообщат. Мы вышли на улицу, и Коля с каким-то почти счастливым лицом признался: – Ну вот, все данные наши записаны, приятно, что я не мошка какая-то, а человек... Без вести и без следа уже не пропаду, сразу беспокоятся...»

Все важные, как мне казалось, вехи судьбы я в то время помечал в блокнотах, полных размышлениями, картинками жизни, поразившими меня разговорами и, конечно же, черновиками и набросками стихотворений.

Летом 1956 года я два месяца провел в военных лагерях на Волге под Калинином. Лагеря были серьезными. Нас, видимо, хотели сделать настоящими, а не бумажными младшими лейтенантами, а потому спуску не давали... Строжайшая дисциплина, железный режим, суровые и бесцеремонные старшины и сержанты, пятидесятикиломе-

тровые марш-броски, изнурительная строевая подготовка, караулы и дежурства на кухнях, беспощадные за каждое нарушение наряды и гауптвахты – все это в первый месяц, пока мы не обвыкли, – крушило наши студенческие, заболевшие либеральным вирусом души, изнуряло плоть, ломало убеждения. Тех, кто пытался сопротивляться, протестовать, качать права – наказывали вдвойне, и деваться было некуда. Без успешного окончания сборов, без лейтенантского звания и присяги – ни один из нас не мог окончить университет и получить диплом... Душа моя металась в противоречиях между естественным сопротивлением военной машине и долгом.

Из писем жене:

«Ненавижу армию. Если б ты знала, как эта организация не считается с человеком, с его привычками, настроениями, способностями, как она обстругивает каждого из нас. Есть в армии команда, очень частая: “не пререкаться!” Так вот, обычно мы на марше поем – “Тачанку” или “Гремя огнем, сверкая блеском стали” (правда, вместо Сталина произносим “Жуков”), а когда и под Киплинга маршируем – “День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке”, но вот недавно нам не хотелось петь по приказу комвзвода, шли на огневую подготовку. “Не поете? – разозлился он. – Бегом!” Сто метров в сапогах с автоматами пробежали. Опять команда: “С песней марш!” А нас зло взяло – молчим. Опять команда: “Надеть противогазы! Ползком!” А знаешь, до чего противная штука противогаз! Индивидуальная душегубка. Мы не пели и километров пять то ползли, то бежали в противогазах. Потом поняли, что наш бунт бесполезен, и сдались. Запели “Если ранят тебя в ногу, отделенному скажи...”»

Но эти два месяца были для всех нас и для меня хорошей школой. В сущности, лишь летом 1956 года я почувствовал, что нащупал какое-то необходимое понимание хода истории.

А началось это со стихотворения «Марш-бросок», которое я до сих пор включаю во все свои итоговые сборники и которое читал осенью

на вечере нашего литобъединения, когда к нам приехали никому еще не известные молодые поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина.

Рот пересох,  
шаг невысок,  
черные сосны  
да желтый песок.  
Даже пилотка  
от пота набрякла.  
Высохла глотка  
и песня иссякла.  
Раз! Два!  
Час... Два.

Стихи были о танковой колее, которую, «словно чешуйчатую змею», мы топчем солдатскими сапогами, об аскетической неизбежности службы и долга, и вся картина стихотворения входила в какое-то страшное противоречие с радужными надеждами, розовыми иллюзиями и гуманизмом, рожденными в наших душах воздухом XX съезда.

Ни сладкого сна,  
чтоб кругом тишина,  
ни отдыха праздного,  
ни легкого хлеба,  
ни солнца красного,  
ни синего неба –  
нету!  
Все защитного цвету...

Поэзия, как ни странно, боролась в моей душе с прекраснородушной гражданственностью и побеждала, заставляя понимать себя не только дитем «оттепели», но и сыном тысячелетней России.



Вот запись, которую я сделал ночью в караулке тем же летом 1956-го.

«Напряженной, фантастической жизнью, скрытой за обыденностью службы, живет армия. Страна, увязанная цепью секретных армейских телефонов, по которым летят сигналы и приказы, шифрованные сводки и донесения, и, послушный всему этому потоку воли, качается и пульсирует гигантский организм... Чьей воле подвластна военная машина? Откуда такая сила, правящая миллионами? Где корни этой фаталистической необходимости?»

Но, задавая эти вопросы самому себе, я одновременно проклинал армию, ее режим, ее бесчеловечность в негодующих письмах матери, молодой жене, друзьям, плакал и вздыхал о свободе личности, о том, что позднее стало называться «права человека», а вернувшись после службы домой в Калугу, с жадностью записывал рассказы тети Поли, только что возвратившейся из Магадана после 17 лет тюремной и ссыльной жизни.

«Прошел слух в Америке, что Магадан – город заключенных. Вызывает начальник Дальстроя меня: Полина Никитична, завтра у нас будет американская делегация. На один день нужно сделать так, чтобы наша швейная фабрика была свободной. Вы ручаетесь за своих людей?»

– За бытовиков – нет. Они нас контрой называют. За “58-ю” ручаюсь. Там все почти коммунисты.

– Бывшие коммунисты. Бушлат, шапку-ушанку, серую юбку, ботсы – на завтра отменить. Пусть каждый приходит в чем хочет, хоть в туфлях лакированных...

Пошла посоветовалась, собрала партактив. Ну что решим, бабы? Будем хоть на день свободными – нам начальство приказывает. На другой день девчата проволоку скатали, столбы из мерзлой земли выкопали и пришли кто в чем мог. Американцы прошлись по цеху, спросили, кто сколько зарабатывает. Попросили показать квартиры. Девчата повели их к вольнонаемникам. Американцы видят одну кровать: почему? Вас же двое? – А мы по разным сменам работаем и не видим

друг друга. Так и прошло. Всем по году сбавили. А мужики засыпались. Ох и неприспособленный народ мужчины! Иной доктор наук, пять языков знает, а костер не разожжет, куба дров за смену не заготовит. На лесопункте, бывало, размышляют:

– Анна Павловна, интересно, в какую сторону сосна упадет?

– Наверно, вон туда. Ветерок с севера, и ветви у нее с той стороны погуще.

Я подойду к своим девкам.

– Ну что, балаболки, у вас же норма полтора куба, надо сделать.

А они похохатывают:

– Так ведь интересно с ними, Полина Никитична!»

В результате никаким цельным мировоззрением ни моя душа, ни души моих сверстников жить не могли...

Коле Киселеву было легче. Он был сиротой, потерявшим всех родных во время войны, детдомовцем – обязанным государству всем спасительным и хорошим, что было в его судьбе.

Но в то же время я, хотя и справедливо, но несколько высокомерно недолюбливавший многих своих сокурсников из студенческого окружения за их московский снобизм, за откровенно карьеристские замашки и планы, вытекавшие, видимо, из благополучной, обеспеченной атмосферы семей, в которых они росли и жили, вдруг неожиданно для себя, когда на второй месяц сборов мне дали командовать отделением солдат, увидел, насколько лучше, надежнее, интереснее эти простые рабоче-крестьянские ребята детей партийных и государственных чиновников, отпрысков генералов и дипломатов, которые тоже учились со мною на одном курсе все пять лет.

Вот короткая запись из летнего дневника того же 1956 года:

«А все-таки мои солдаты не винтики, они достойны лучшего, нежели политбеседы.

Семенов – головастый, белобрысый, курносый парень. Умница, но играет полушутя, иногда любясь своей игрой. С Платоновым вполне

можно разговаривать серьезно и откровенно. Судаков простоват, но очень добрый.

Вчера я целые сутки провел с ними в карауле. Наговорился вдоволь. Душевные ребята! Как им хочется работать на гражданке, с каким чувством и пониманием дела они толковали о клевере, картошке, ржи, когда мы шли через колхозные поля. Их язык приводит меня в восторг, живой, сочный, правда, и солоноват, и матерком пересыпан чересчур. Но, наслушавшись их разговоров, уже никогда не удовлетворишься бледными, надуманными интеллектуальными диалогами. И при всем том в ребятах много детского. Возятся друг с другом, как щенки, грубо друг над другом подшучивают, отчаянно и заразительно смеются.

Место, где стоит наш караул, называется Желтиковым полем. Склады снарядов и патронов помещаются в подвалах полуразрушенного древнего монастыря. Я прошелся по монастырскому двору. Груды кирпича, смешанного с известью, могильные плиты с сентиментальными, но трогающими сердце надписями, могила Голенищевой-Кутузовой, урожденной Глинки. Занималась поэзией, переводила, основала Всероссийское общество добротной копейки для бедных. Словом, примерная гражданка. Как изменилось понятие “гражданина” за какие-то 80 лет!

А ветер клонит лютики, гогочут неокрепшими голосами в заросшем прудике молодые гусята. Зной. На развалинах монастыря трепещут березки в рост человека. И странно видеть на этих руинах нас, людей XX века... И мы умрем, но как утешение, призывающее наслаждаться зноем, запахами полыни и лопуха, шершавым теплом старинной кладки, вспоминаю гениальные строки Есенина:

Все мы, все мы в этом мире тленны,  
тихо льется с кленов листьев медь.  
Будь же ты вовек благословенно,  
Что пришло процвезть и умереть».

## «ЗА ДОБЛЕСТЬ В ТРУДЕ И ЗА ЧЕСТНОСТЬ»

*Люди права и люди долга. Путь на Восток. Я — журналист районного масштаба. Две правды. Первая выволочка в райкоме КПСС. Воздух воли и юности в краю ГУЛАГа. Иркутская богема. Возвращение на Запад*

Университетская жизнь завершалась, и на горизонте замаячило суровое слово «распределение». Нынешние молодые люди, наверное, уже не знают, что в те времена каждый окончивший учебу студент должен был поехать туда, где государство и общество нуждалось в нем. Сейчас это правило считается у идеологов демократии бесчеловечным изобретением тоталитарной системы, но, по моему глубокому убеждению, оно выражало не только советскую, но вековечную сущность российской истории, по крайней мере от петровских времен, истории, замешанной не столько на идеях права, сколько на осознании долга. Вот где проходил и до сих пор проходит главный водораздел между нами и людьми Запада.

То, что при советской власти судьбой каждого молодого человека, получившего образование за казенный счет, распоряжалось государство и посылало его своей волей туда, где не хватало агрономов, инженеров, учителей, лесостроителей, врачей, было всего лишь навсего естественной необходимостью, а не какой-то сверхчеловеческой злой волей. А разве Петр I не обязывал тех же дворянских сыновей учиться в Европе, а потом осваивать рудники Урала, строить корабли, ткацкие и парусные мануфактуры, открывать морские пути и новые земли для процветания государства Российского? Энергия этого долга была сильна в обществе еще в середине прошлого века, несмотря на все либеральные и прогрессивные веяния, постепенно разлагавшие ее.

Неисправимый либерал-демократ Тарас Григорьевич Шевченко, живший после освобождения из ссылки в Нижнем Новгороде, в своем дневнике от 18 февраля 1858 года сделал любопытную запись: «Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои – Волконский и Милюга. Они едут в звании медиков заслуживать казне за воспитание. Какая нелепость посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения!.. Варварство».

Лишенный государственного инстинкта (что было и всегда будет свойственно малороссийской образованной элите) украинец Шевченко не понимал, что без этой направляющей воли бесконечные русские просторы невозможно ни обжить, ни освоить, ни цивилизовать, ни «обустроить». Первой по-настоящему, пожалуй, поняла эту тяжкую закономерность Русская Церковь, которая уже со времен монгольского ига стала посылать своих миссионеров и подвижников в пространства Северо-Запада и Северо-Востока, на Валаам и Соловки, на берега Печоры и Сухоны возводить монастыри, возделывать пашни, просвещать евангельским светом души людские, кто бы они ни были по крови – русские, вепсы, пермяки, коми...

Да что говорить! В начале двадцатого века мои дед и бабушка, окончившие Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, государственной волей были направлены на работу за тысячу километров от родных онежских берегов, в глухую русско-мордовскую деревню Нижегородской губернии, поскольку надо было кому-то бороться с трахомой, сифилисом и туберкулезом, которые сейчас снова возрождаются там. Сентиментальный аскетизм, которым буквально пропитано все массовое искусство тридцатых годов нашего века, был не просто антуражем, но сутью той эпохи. Клавдия Шульженко, создавая образ женщины-товарища, мужественно прощалась с возлюбленным: «Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года!»

Леонид Утесов в популярнейшей песне о двух друзьях, которых вызвал командир и приказал: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток – другой» – демонстрировал, как надо скрывать свои чувства,

чтобы не расплакаться при расставании: «Ты мне надоел, – сказал один. – И ты мне, – сказал другой...» «Дан приказ – ему на запад, ей – в другую сторону...»

«На долгие года», «врозь», во имя высшей целесообразности, во имя аскетической идеи общественного служения, во имя пронзающей все общество, от члена Политбюро до рядового рабочего и солдата, идеи Долга. Поистине, как в петровские времена, в тридцатые годы все стали слугами государства.

Лишь через пятьдесят лет после Петра Екатерина Великая освободила дворян от обязательного служения, издав «Указ о вольности дворянства». Указа «О вольности парտработника» у нас не было. Но фактически эта «вольность» разлилась в воздухе к концу 60-х годов, когда партия уже перестала в приказном порядке бросать свои кадры на укрепление колхозов, на подъем целины, на стройки Сибири. И такое положение дел, в сущности, стало началом ее естественного перерождения...

А в тридцатые годы мои отец и мать жили врозь три четверти своей совместной жизни. Потому что аскетическое суровое время приказывало всем без исключения: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток – другой». Потому я и вырос на руках у бабки, о чем совершенно не жалею. Кстати, во второй половине пятидесятых годов система распределения стала уже достаточно мягкой, избавилась от «мобилизационных», полувоенных форм, и каждому из нас уже предлагали на выбор – одно место где-нибудь в Сибири, другое в одной из советских республик, третье в европейской части России. Я не знаю, как сейчас устраиваются на работу молодые специалисты, но мы, подписавшие согласие распределиться куда-либо, твердо знали: нас ждет гарантированная работа, обязательное и скорое – в течение нескольких месяцев – получение государственного жилья и «подъемные деньги» в размере двух-трех окладов, на которые можно было свободно доехать до места распределения и даже кое-чем обзавестись

на первых порах новой жизни. Но три года как минимум надо было отработать. Не так уж это было все плохо...

Впрочем, я мог бы устроиться на работу и в Москве, основания к тому были: жена только что родила сына и серьезно заболела, но я искал для себя другую судьбу. Ни Москва, ни родная Калуга, куда мне было попасть легче легкого, не манили меня. Я написал письма в несколько сибирских газет – в иркутскую «Советскую молодежь», в братскую многотиражку «Огни Ангары», в ангарскую газету со страстными просьбами прислать на меня запрос на филологический факультет и взять на работу. Жутко хотелось посмотреть Сибирь, побывать на сибирских стройках, испытать себя в неведомой, но властно зовущей самостоятельной жизни. Спасибо молодой жене – она печально, но спокойно выслушала меня и сказала: «Ну, если так хочешь – поезжай. А я выздоровлю и к тебе с сыном приеду...»

О том, какими мыслями и чувствами жили мы в то время, лучше всего, пожалуй, скажет письмо университетского друга Геннадия Калининцева, который к тому времени уже работал в куйбышевской газете, но был недоволен тем, что вокруг слишком много цивилизации, и тоже рвался в Сибирь:

«Живу пока в гостинице... С квартирами здесь туго. Да плевать на все. Найду какую-нибудь мансарду, да и ладно! Как было бы замечательно, если бы мы с тобой двинулись в могучие матерые края России. Я даже в снах вижу, как мы плывем по сибирским рекам, добираемся на попутках до древних деревень, до берегов Ангары, до строительных площадок... Станислав Юрьевич! Жизнь только начинается, нам бы только и бродить по земле Русской...»

В сентябре 1957 года, получив из Иркутска подъемные, я, как сто лет тому назад земляки Тараса Шевченко, приехал в столицу Восточной Сибири. Но все мои отчаянные попытки рвануть из Иркутска в Братск или Ангарск были пресечены железной волей заведующей сектором печати обкома КПСС Елены Ивановны Яковлевой.

– Что вы все, москвичи, по Братску с ума сходите, – затягиваясь «беломориной», сурово сказала Яковлева. – Партия нуждается в подъеме сельского хозяйства. Поезжай-ка в Тайшет, поработай годик-другой, покажи себя, а там поглядим... К тому ж есть у партии план – построить в следующей пятилетке недалеко от Тайшета металлургический комбинат. Проектные работы уже ведутся.

Несколько воодушевленный сведениями о комбинате, я вышел на улицу Карла Маркса, главную улицу Иркутска. Погода стояла дивная, желтые листья из синевы медленно осыпались на тротуар. Солнце освещало изукрашенный кирпичной кладкой особняк «Восточно-Сибирской правды». Напротив, чуть наискосок, я увидел вывеску «Советская молодежь», вспомнил, что еще летом получил ответ от главного редактора Алексея Кривеля, который писал, что хотя в его газете вакансий пока нет, но «Вы правильно решили поехать на работу к нам в Иркутскую область. Здесь есть где развернуться. Место всегда найдется».

«Надо поблагодарить его за добрые слова», – подумал я и открыл парадную дверь в редакцию, прошелся по коридору, заглянул в первый попавшийся кабинет. Худенький скуластый юноша, чья голова, как мне показалось, как-то высоко сидела на длинной шее над белым воротничком рубашки, поднял на меня круглые и блестящие, как вишни, глаза. Я спросил его, где найти главного редактора, он мне что-то ответил... Много позже я понял, что это был никому тогда еще не известный Валентин Распутин...

Ну что ж, Тайшет так Тайшет... Вот так я стал заведующим сельхозотделом с окладом в 900 рублей. Газета называлась «Сталинский путь». Через год ее переименовали в «Заветы Ленина».

Я сел на поезд, шедший на запад, и спустя сутки сошел на небольшой станции, где увидел деревянный вокзал, выкрашенный облупившейся желтой краской, дощатый перрон, в сквере возле вокзала памятник – две гипсовые фигуры, покрашенные серебрянкой, – сидящий на скамейке Ленин и над ним Сталин во весь рост, сверху вниз глядит на Ильича.



А к северу от Тайшета, вдоль ветки, уходящей к Лене, раскинулись бараки знаменитого Озерлага, наполовину опустевшего после недавних политических потрясений, амнистий и реабилитаций 1956 года.

Я поселился в шестиместном номере двухэтажной деревянной гостиницы, где моими соседями были геодезисты, снабженцы и заготовители древесины из южных республик. А через два-три дня поехал в свою первую командировку в поселок Юрты, к знаменитому на весь район председателю колхоза Михаилу Шевченко.

Он принял меня вечером в колхозной столовой, где, впрочем, кроме нас уже никого не было. Румяная повариха поставила на дощатый стол две громадных отбивных с жареной картошкой, бутылку водки, хлеб и два граненых стакана. Не то чтобы я в университетской жизни не пил – но стаканами? Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и вскоре председатель, быстро захмелевший с устатку, стал жаловаться захмелевшему не меньше его молодому журналисту на жизнь, на порядки, на свою полную несвободу.

– Ну посуди сам, вот сейчас идут хлебозаготовки. У меня до зернышка выгребают все фуражное зерно, хорошо еще, что в тайге есть две-три неучтенные заимки. А в марте, когда мы начнем скоту хвою запаривать, я все пороги в обкоме обобью, чтобы хоть малую часть этого моего зерна мне же в виде комбикорма вернули! Ну зачем его возить осенью из наших амбаров в Иркутск, а весной обратно! Все равно ить не позволят мне колхозных коров на мясо сдать, да и какое с них весной мясо!..

Я удивлялся, сочувствовал, охал, запоминал цифры, факты, фамилии и радовался тому, что мне во время моего первого редакционного задания попался такой откровенный и смелый собеседник.

На другой день, дождавшись, пока мои снабженцы и заготовители дрючка разойдутся по делам, я засел в гостинице и настрочил целую полосу о Шевченко, о всех его мытарствах и страданиях в дни хлебозаготовок. Когда я сдавал репортаж в типографию, мой главный редактор Александр Иосифович Москвитин был то ли в легком запое, то ли

в отъезде, никто моего сочинения не прочитал и наутро я, счастливый начинающий репортер, держал в руках свежую газету.

«Вот Елена Ивановна Яковлева будет рада», – первое, что подумалось тогда мне. Однако на другой день в редакции раздался звонок из райкома партии. Звонил секретарь райкома.

– Это ты у нас молодой специалист из Москвы? Заходи ко мне. Поговорить надо.

В секретарском кабинете я увидел моего юртинского собеседника. Шевченко сидел с газетой в руках и дочитывал репортаж. Лицо его было скорбным. А сам Шишков – худой, светловолосый, язвенного вида человек, затянутый в общепринятую форму сибирских партийных секретарей – в темно-синюю гимнастерку, в галифе и фетровые бурки, – нервно ходил по кабинету, дымя папиросой.

– А! Садись, садись! Ну, рассказывай, как вы оба решились посягнуть на святая святых – на хлебозаготовки! Из Иркутска Яковлева уже мне звонила!

Шевченко отложил газету и посмотрел на меня взглядом, полным укоризны и отчаяния:

– А я ничего подобного журналисту не говорил. Не знаю, зачем и почему он все эти глупости выдумал...

Я открыл рот, чтобы возразить, но, еще раз взглянув на сокрушенного председателя, понял, что всю вину надо брать на себя, и пробормотал какие-то жалкие слова о том, что, видимо, выпил лишнего и все перепутал, и что слушал собеседника невнимательно, да и писал репортаж второпях и что действительно кое-что, может быть, досочинил без злого умысла и вложил в уста председателя свои собственные соображения...

В конце разговора секретарь райкома сурово поглядел на меня и на прощанье сказал: «Был бы ты членом партии – не миновать бы строгого выговора с занесением в личное дело... Надо тебя в партию принимать, чтобы ответственность чувствовал...»

А выгонять меня из редакции надо было за другое. Дело в том, что мы получали все районные газеты, выходявшие в области, и свою газетку рассылали по редакциям районных газет. Однажды, просматривая то ли тулунскую, то ли алзамайскую районку, я наткнулся на заметку, напечатанную под рубрикой «В мире интересного», где сообщалось о том, что «на болотах африканских прерий растут огромные деревья, которые питаются кровью и мясом». Их якобы называют «луатомва», что на языке какого-то племени означает «дерево-людоед».

Дальше в заметке шла речь о том, как какой-то бельгийский офицер, отстав от своих солдат, подстрелил фазана, его собака рванулась за фазаном в чащу и вдруг завизжала. Офицер бросился за ней, и вдруг его обхватили какие-то ветви, похожие на хоботы слонов, и стали душить его, он закричал и выстрелил в воздух, прибежавшие солдаты едва успели освободить его от черных, гибких, как змеи, ветвей «луатомва»... «А вскоре окружающие слышали треск собачьих костей, и ветви-пиявки выбросили непригодные остатки в кустарник. Потрясенный командир приказал сжечь страшное дерево, которое при горении стало источать смрад сожженного мяса»...

Я ночью сдавал номер, в котором у меня было на четвертой полосе пустое место, и рассказ о дереве-людоеде спешно заполнил его. Утром перечитал газету и ужаснулся: Боже мой, что я натворил, вот теперь-то меня точно уволят... Но ни из обкома, ни из райкома не позвонили. Ни Яковлевой, ни Шишкову не было никакого дела до газетных глупостей такого рода. Вот хлебозаготовки – это да.

А ближе к зиме по легкому морозцу в яркий солнечный день мы с Шишковым поехали на райкомовском «газике» в село Старый Акульшет, где он вручал переходящее Красное Знамя и отрезы на платье лучшим дояркам района. Потом прямо на ферме, в красном уголке, хозяева спроворили немудреный банкет для доярок с песнями и плясками. Уже затемно мы пришли на ночевку к председателю колхоза и у него продолжили застолье. Председатель, руководивший колхозом

со дня его основания аж четверть века, стал вспоминать дела давно минувших дней:

– У нас во время коллективизации как бывало? Вызывает уполномоченный единоличника: «Садись. Пиши заявление в колхоз». Тот отказывается. «Не хочешь?» Берет телефонную трубку, набирает номер. «Москва? Мне Михал Иваныча Калинина! Михал Иваныч? Вот тут в Старом Акульшете сидит рядом со мной один сукин сын и разговоры ведет против Советской власти, в колхоз идти не хочет... Что? Плохо слышу, Михал Иваныч! Выслать? Добре, Михал Иваныч, добре. До свиданья! Ну, слышал, что Калинин говорит?» А мужик уже дрожащими пальцами тычет ручку в чернильницу, заявление пишет...

Шишков расхохотался, но потом начал шпынять старика за недостатку хлеба и вдруг растерянно развел руками:

– План выполнить не сможем. А если выполним, то оставим колхозников без семян и без фуража. Общественное животноводство хоть сейчас пускай с торгов!

Я осмелел и напомнил ему о конфузе с Шевченко. Шишков вспылил:

– Да я ли не знаю, что он прав и что он тебе все рассказал так, как ты написал... Но что делать, коль там, наверху, – он ткнул пальцем в потолок, – нас и слушать не хотят...

...Чтобы там сегодня ни говорили «о льготах и привилегиях» партийных и советских чиновников – свидетельствую: на районном уровне в конце пятидесятых годов большинство из них были людьми самоотверженными, не щадившими ради дела ни своего времени, ни здоровья, ни личной жизни. В погоду-непогоду, в ночь-полночь они бороздили необъятные земли таежного района, убеждали, ругались, просили, награждали, наказывали, лишь бы лишние машины с сосновыми и лиственничными хлыстами доползли по разбитым дорогам до нижнего склада, лишь бы зерно в вагонах текло на запад и восток к элеваторам, лишь бы до наступления холодов успеть утеплить вагон-

чки для рабочих строительно-монтажного поезда № 288, приехавших строить трассу Тайшет – Абакан. Думая о тех временах, о людях аскетического склада, людях долга, а не права, я часто вспоминаю честные и восторженные стихи Николая Рубцова:

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,  
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,  
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность  
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

Как все точно сказано и изображено в этой строфе! Именно «плясал, выбиваясь из сил», именно «требовал выпить», и не за что-нибудь, а «за доблесть в труде и за честность», и «проносил на руках» именно «как знамя»...

Это все-таки были люди общинных устоев и семейных традиций, а не какие-то винтики административно-бюрократической системы. Николай Рубцов не какой-нибудь Юрий Черниченко или Анатолий Стреляный, он не врал и не фальшивил, когда писал о праздничной скромности крестьянского бытия.

Лучшими доярками в колхозах, как правило, были литовки, лучшими трактористами и комбайнерами – немцы, лучшими животноводами – западные украинцы. Все – ссыльные военных и послевоенных лет. Дома у них были крепкие, просторные, огороды – ухоженные, скотины в стайках всегда было много, в горницах царили чистота и порядок. К таким хозяевам обычно определяли меня на постой председатели и бригадиры, когда я на редакционном мотоцикле, либо на попутках, либо даже на лыжах добирался из Тайшета до их таежных сел. А по весенней распутице на полевые станы или дальние заимки я особенно любил добираться верхом – сибирская малорослая лошадка упорно одолевает версту за верстой по лесной дороге, от вешнего духа тающей земли, смешанного с резким запахом лошадиного пота,

покруживается голова, в черемуховом распадке свистят рябчики. И стихи сами собой слагаются в голове.

Ах, по Сибири, по белому снегу  
лайка следит соболиный побег,  
а по России, по белому свету  
ищет себя молодой человек.

Однажды несколько дней я жил в Байроновке у старика с Западной Украины. Чернобородого, длинноусого, с большими печальными глазами.

Вечером, выпив медовухи, мы разговорились о прошлой жизни.

– Та, хлопчик, такого мы навидались, и хорошего и поганого – счету нема. И под поляками, и под немцами, и под русскими. Сына бандиты вбили. Ночью пришли и вбили. Придут: «Давай исты!» Как не дашь? А утром советские солдаты в дверь стучат: «Кому еду давал?» А я оружие давал, не человеку. Устал от такой жизни, потому, когда в Сибирь ссылали за помощь бандитам, с легким сердцем поехал. Здесь жить спокойнее...

Свидетельствую: понимая, что и немцы, и литовцы, и западноукраинцы ссыльные, местные власти всегда старались выделять, хвалить и награждать за трудовые успехи в первую очередь их, и советовали мне не жалеть добрых слов о немцах-трактористах, доярках-литовках. Я не жалел. О русских, с их способностью сегодня совершить трудовой подвиг, а завтра натворить такое, что хоть святых выноси, с их фаталистическим терпеньем и покорностью всему, что Господь ни пошлет, писать было труднее.

В Енисейке – древнейшей деревне района – я ночевал в избе у старухи. Утром проснулся и увидел на полу белоголовую девочку лет шести. Она играла с толстым кудлатым щенком, который потешно повизгивал и валился вдруг на спину, кверху белым тугим брюхом.

Оказалось, что это бабушкина внучка. Отец ее – сын старухи – погиб на границе в пятидесятом году. Мать бросила дочку на воспитание бабке и пошла на стройку в райцентр.

– А где сын-то погиб?

– А кто ее знает. В извещении город какой-то прописан, да я забыла...

Я с жадностью и безотказно отправлялся в дальние заимки и лесопункты, в палаточные городки, которые встречали меня гулом тракторов, ползущих по размокшим, рыжим глинистым дорогам, тротуарами, сбитыми из свежих досок, сверкающих золотыми натеками смолы, выцветшим брезентовым полотнищем полевой столовой, где под пологом за грубо сколоченными столами и на длинных лавках сидели девушки и парни, наворачивая за обе щеки, конечно же, борщ и вечную тушенку с макаронами, запивая, конечно же, компотом или мутным кофе.

А тут еще в какой-то газете прочитал стихи Смелякова, побывавшего в Братске, совсем неподалеку от Тайшета – всего в каких-то семистах верстах:

Люблю рабочие столовки,  
весь их бесхитростный уют,  
где руки сильные неловко  
из пиджака или спецовки  
рубли и трешки достают.

Тут взяв, что надо, из окошка  
отнюдь не кушают – едят,  
и гнутся слабенькие ложки  
в руках окраинных девчат.

Я танцевал с этими бетонщицами вальс «Память цветов» в клубе-временке. Клубящийся пар молодого жаркого дыхания выры-

вался через распахнутую дверь в морозное небо, на дощатой сцене лежали груды валенок и ватников, в которых сюда прибегали девушки из вагончиков, чтобы тут же переобуться в туфли. В клубе пахло креозотом, смолой, дешевыми духами, а в самом звенящем воздухе было вдоволь и кислорода, и морозной свежести, и выхлопной гари, и чего-то неведомого, что можно было назвать запахом юности, счастья и отчаянной веры в свою судьбу.

А по вечерам, воротившись со стройки в Тайшет, я шел к станции, подымался по скрипучим ступеням на виадук и со сладкой тоской глядел вслед поездам на запад, куда уходило за черную гряду леса вечернее солнце.

Я выходил на виадук,  
вставал над гранью небосклона  
и погружался в перестук  
колес ночного эшелона.

Зари вечерней полоса  
затягивалась синевою,  
и стрелочников голоса  
перекликались подо мною.

Но разом вспыхивала мгла  
и отступала с косогоров,  
когда вдоль насыпи плыла  
струя сверкающих вагонов.

И паровозные свистки,  
и запах дерева и дыма,  
и ветер, лижущий виски, –  
все было так неповторимо!



...В дождливый ветреный день августа пятьдесят восьмого на станцию Саранчет приехал из Калужской области отец погибшей Нади Зайцевой. Ее задавил тяжелый самосвал, который перевозил бетонный раствор.

Когда мы пришли в женское общежитие, маленький усатый старик, сидевший на табуретке возле закрытого гроба, быстро встал, протянул каждому из нас сухую мозолистую ладонь и сдавленным голосом отчеканил:

– Прокоп Филиппович Зайцев!

И опять сел. И добавил:

– Коль похоронили бы ее до меня – мне было бы легче. Если бы хоть больная была...

Начальник строительства Иван Лукич Чабан обнял его за плечи:

– Открывать гроб не будем. Лучше не смотреть на нее, Прокоп Филиппович!

– Да, да, не будем открывать, – прерывистым, клокочущим голосом подтвердил отец и вдруг резко пошел к двери. Подружки Нади бросились следом успокаивать его.

– Хоронить сегодня будем, Прокоп Филиппович?

– Сегодня. Чего ее держать. Мать плакала, не пускала ее в Сибирь. А Надежда говорила ей: «Все едут, а я комсомолка, и я поеду». Что я приеду, что скажу старухе? Мол, от болезни Надюшка померла. Сердце у старухи больное...

\* \* \*

К середине зимы местная власть предоставила мне казенное жилье – половину деревянного дома с одной комнаткой и маленькой кухней. Возвращаясь из поездок домой, я первым делом растапливал печку, и пока еловые дрова, разгораясь, трещали, и пламя, просвечиваясь сквозь щели между железной дверцей и кирпичами, плясало

на половицах, вскрывал банку китайской тушенки, чистил картошку и с тихой радостью думал о том, кто сегодня вечером будет моим собеседником: может быть, Пушкин, чей коричневый академический десятитомник я привез из Москвы, а может быть, любимый и зачитанный однотомник Сергея Есенина, или Александр Блок из «Большой библиотеки поэта», или маленькая книжечка в темно-сиреновом переплете Николая Заболоцкого, которую я недавно купил в привокзальном киоске... А может быть, когда печка протопится и медленное, растекающееся по комнате тепло дойдет до заиндеветших углов, я закрою трубу и, слушая шорохи и завыванье вьюги, скребущейся в ставни, потихоньку вытащу из стола свои заветные листочки и начну колдовать над ними, нашептывая рифмы и наощупь отыскивая слова. А вдруг сегодня у меня все сложится, и я перепишу набело черновики, которые с самой осени не дают мне покоя. В Тайшете – что и говорить! – я первый поэт. Я печатаюсь в «Заветах Ленина», когда моей душе угодно, я руковожу литературным объединением, в котором и наш ответственный секретарь Александр Петров – автор книги о бирюсинских партизанах, и заведующий промышленным отделом Владимир Быковский, и рабочий из геологической партии Виктор Куренной, и техник-рентгенолог из поселка Суетиха Адольф Чернявский. Недавно он был у меня дома, рассказывал про свою жизнь. Сам из Воронежа. Пробыл в Тайшетлаг на поселении 18 лет... В Воронеже работал в областной газете, куда иногда заходил какой-то ссыльный, как говорит Чернявский, замечательный поэт Осип Мандельштам. Он даже на память мне его стихи читал. Но какие-то они темные, туманные. Не то, что у Заболоцкого...

На последнее занятие литобъединения к нам пришел высокий смуглолицый человек, он с трудом передвигался, опираясь на палку.

– Бывший военный летчик Виктор Бабонаков! – отрапортовал он мне. – Стихи пишу с 1939 года, жил в Москве, был знаком с Константином Симоновым, с Михаилом Лукониным... Но выше всех поэтов ценю Сергея Есенина.

Раненный незадолго до конца войны в позвоночник, он долгое время был парализованным, потом кое-как стал ходить, уехал на родину в Сибирь, где жизнь тоже не сложилась, и в конце концов осел старший лейтенант в тайшетском доме инвалидов.

А еще мне рассказали старожилы из местной интеллигенции, что незадолго до моего приезда в Тайшет они похоронили писателя Муравьева, тоже недавно освободившегося из лагеря... Пил сильно, и однажды рвота у него началась, ею он и захлебнулся.

А известен Муравьев был еще тем, что якобы о нем Александр Твардовский в поэме «За далью даль» написал, как встретился с ним, с другом своей смоленской юности, на тайшетском перроне:

Стояли наш и встречный поезд  
В тайге на станции Тайшет.

Помню, с каким щемящим чувством боли и восторга, как будто это происходило не с Твардовским, а со мной, я перечитывал вечерами стихи о встрече поэта с освобожденным из неволи другом и поражался бесстрашию его взгляда и слова.

Я не ошибся, хоть и годы,  
И эта стеганка на нем.  
Он!  
И меня узнал он, с ходу  
Ко мне работает плечом.

Это волшебное народное «с ходу ко мне работает плечом» восхищало меня, как и многое другое: «Зубов казенных блеск унылый», «хоть непривычно без конвоя, но так ли, сяк ли, пассажир», «но что еще без папиросы могли мы делать до свистка»... Все, что я видел и слышал в тайшетской постлагерной жизни – разговоры, «казенные зубы», «стеганки», люди, похожие на отсидевшего свой срок Василия

Теркина, с отчаянными надеждами на будущую жизнь, – все каким-то образом сплавилось в одно целое с тайшетскими картинами из поэмы Твардовского, вникая в которую я естественным и незаметным образом обучался и русскому языку, и нравственному чувству, и стихосложению.

...А литературное объединение мое постепенно разрасталось, появился в нем Лева Шварц, тоже из реабилитированных, остроглазый, рыжий, веселый еврей, он у нас в редакции ремонт делал. Смотрю – в коридоре плавно машет кистью и поет: «Ты со сцены мне кинула сердце, как мячик»... Спрашиваю, откуда он в Тайшете (как почувствовал, что стихи пишет). «Я, – говорит, – был еще в “Синей блузе”, вот тогда комсомольцы были не то, что сегодня у вас...» Любил поговорить о том, что он хороший мастер и не позволяет себе плохо исполнять никакую работу. «Но у вас здесь никакого гешефта у меня не будет, потому что я уважаю редакцию». Вскоре он признался мне, что отсидел четырнадцать лет как фальшивомонетчик...

– Однако и в той сфере я работал классно! – с гордостью сказал Шварц на прощанье. К Новому году в Тайшет наконец-то приехала моя жена, хотя и без сына. Но об этом я лучше и точнее рассказал в маленькой поэме «Хроника пятидесятих годов».

Потом приехала она.  
Он бормотал слова при встрече,  
и видела одна луна,  
как обнимал ее за плечи,  
как иней на ресницах цвел,  
как шубка при луне сверкала,  
когда ее он к дому вел  
по узкой тропке от вокзала.  
Они гуляли по ночам,  
метель гуляла по застрехам,

прислушиваясь к их речам...  
Глаза и губы пахли снегом.  
В полночь город вымирал,  
как бы в средневековье раннем.  
Он руки ей отогревал  
своим прерывистым дыханьем.  
Сияли окна в блесках льда,  
сверкали звезды над Тайшетом.  
Он счастлив был. Но вся беда,  
что не подозревал об этом.

Жена стала работать в редакции вместе со мной, а вскоре ее уговорили по утрам вести короткие передачи на местном радио. Зимой ей приходилось вставать рано и затемно бежать по безлюдным, горбатым от снежных заносов улочкам к радиокомитету. И никого, и ничего мы не боялись в те времена в городе, печально знаменитом своими лагерями...

Вечерами, закончив хозяйственные дела, Галя иногда под свист метели медленно запевала что-нибудь издавна любимое нами: «Утро туманное», «Вот кто-то с горочки спустился», «Клен ты мой опавший»...

Я вступал вторым голосом, но часто фальшивил, давал «петуха», портил песню... Слух у меня скверный. Жена сердилась и по нескольку раз порой заставляла меня повторять мелодию, пока в конце концов она не начинала звучать в лад с ее голосом.

Мои стихи между тем уже печатались в иркутской молодежной газете и в солидной «Восточно-Сибирской правде». А в начале 1959 года я получил письмо из журнала «Сибирские огни». Известная сибирская поэтесса Елизавета Стюарт писала мне, что стихи, которые я послал в журнал, ей понравились и что весной они будут напечатаны в старейшем и знаменитейшем журнале Сибири.

А тут еще пришло приглашение из Иркутска на совещание молодых писателей, где будут многие мои иркутские ровесники, имена ко-

торых уже были известны мне, – Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов, Юрий Скоп, Анатолий Преловский...

На этом совещании я с успехом читал своим новым друзьям стихи из «Тайшетской тетради». С Шугаевым мы как-то сразу легко подружились и даже выбрались на утиную охоту. А с Юрием Скопом в составе веселой студенческой компании поднялись то ли на пик Черского, то ли на вершины Хамар Дабана, где провели весеннюю ночь возле костра под крупнозвездным байкальским небом, пили дешевое вино, толковали о будущем, где Юра читал мне стихи неизвестного поэта Бориса Слуцкого...

А упоительные богемные вечера на иркутских квартирах у Пети Рутского, у Жени Суворова, у Алика Стукова! Молодой, обаятельный Саня Вампилов, склонив курчавую голову к гитаре, с особым отрешенным от страстей жизни изяществом исполняет романсы на слова Федора Тютчева, Аполлона Григорьева и, конечно же, к всеобщему восторгу, свое заветное: «Когда еще я не пил слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я»... Ну разве такую жизнь найдешь в Тайшете?

А завтра меня обещали познакомить с Леонидом Кокоулиным, который работает прорабом на Иркутской ГЭС, пишет замечательные рассказы, Юру Скопа берет за поясной ремень и выжимает над головой одной рукою. Но главная легенда о нем гласит, будто бы Кокоулину после войны за его заслуги командир дивизии подарил трофейную автомашину, которая одновременно была и плавучей амфибией. Недавно хмельной Кокоулин посадил в нее кордебалет музыкального театра и, нарушая все правила движения, стал катать актрис по городу. А когда за ним погнались машины и мотоциклы ГАИ и прижали его к Ангаре, то будто бы он под негодующие крики гаишников и к восторгу обывателей махнул с визжащими от сладкого ужаса балеринами с берега в ангарскую пучину, как раз в том месте, где когда-то был расстрелян адмирал Колчак, и выплыл на другой берег аж к устью Иркутска... Только его и видели!

Нет, надобно мне переезжать в Иркутск...

Не зря я живу в Тайшете, но тесно мне здесь, уже первая книжка сложилась, и название хорошее – «Землепроходцы». Издаваться надо, пора поближе к цивилизации. Ну сколько можно в литобъединении обсуждать стихи местных поэтов? Вот вчера целый вечер погубили на разговоры о стихах местного заслуженного графомана Николая Чуркина. И человек он хороший, и поэзию любит, и не писать стихи не может, но как прочитал:

Дан стране компас, как кораблю:  
пятiletка – радость боевая.  
Жизнь светла. Я Родину люблю.  
Партию родную понимаю,

– так мы с Чернявским и повалились на столы от смеха. А Чуркин и многие другие обиделись: мол, вы не поняли поэтического пафоса стихов... Надоело уже мне все это. Надо переезжать в Иркутск!

Но в Иркутске мне осесть не удалось. Не было там для меня ни работы, ни жилья. И я окончательно решил, коли так, если уже что и завоевывать – то сразу Москву...

Холодной снежной осенью 1959 года я провел последнее заседание литобъединения. За полночь мы вышли на улицу. Низенькие крыши домов, присыпанные свежим снегом, сияли под круглой луной. Над крышами, словно продолжение ночных труб, стояли неподвижные изваяния дыма, стаи бродячих собак с урчаньем проносились по улицам.

Я обнялся с Адольфом Чернявским, рассказавшим мне о Мандельштаме. Маленький, сухонький рентгенолог в черных фетровых ботах поспешил на последний автобус, чтобы успеть домой в поселок Суетиха, где его ждала семья, которую он успел завести в Тайшете на старости лет.

Бывший военный летчик Бабонаков, гулко стуча толстым можжевельным посохом о деревянный тротуар, заковылял в свой дом инвалидов, тихо радуясь тому, что во внутреннем кармане его телогрейки приятно прилегает к сердцу плоская фляжка с коньяком.

Старый синеглазник Лева Шварц распрощался со мной и трусцой побежал куда-то на окраину города, где снимал угол для жилья.

Прощайте, друзья! – мысленно говорил я им вслед. Спасибо за кусочек жизни, прожитый вместе с вами, за вечерние разговоры, за бескорыстную любовь к стихам...

Но перед тем как распрощаться с Сибирью, надо было обязательно навестить город моей неосуществившейся мечты – Братск... Александр Твардовский не написал бы своей знаменитой поэмы, если бы не побывал на Ангаре...

А другой мой кумир, Ярослав Смеляков: «В районе большого порога сурово шумит Ангара», «на фоне тайги и метели два слова: “Даешь Ангару!”», «Устав от тряски, перепутий, совсем недавно, в сентябре, я ехал в маленькой каюте из Братска вверх по Ангаре» – стихотворение о том, как пошлая патефонная песенка о ландышах, шлягер тех лет, возмутила душу гражданского поэта:

Поэзия! Моя отрада!  
Та, что всего меня взяла  
и что дешевою эстрадой  
ни разу в жизни не была.

Еще бы! А разве не в этом же «Ангарском цикле» Ярослав Васильевич, глядя на Илимский острог, вспоминая свой интинский лагерь и аввакумовское заточение в местах, недалеких от заточения собственного, написал одно из лучших своих стихотворений о мятежном протопопе:

Ведь он оставил русской речи  
и прямоту и срамоту –  
язык мятежного предтечи,  
светящийся, как уголь, во рту...



Вот каким эхом откликнулась поездка поэта на Ангару и в Братск.

А недавно прочитанные мною стихи Владимира Соколова, тоже проехавшего мимо меня на Север к Братску: «Я не ветром, а словом “ветер”, как филолог какой, дышал» (ну это почти обо мне), «На улицах Старого Братска едва ль не последний апрель», «Где пурга обнимает у края прорана лебединую шею порталного крана» – вот ведь как еще можно писать о Братске, о стройке, о будущем, о себе самом...

Братск и Ангара в те годы были, как сейчас принято говорить, знаковыми понятиями. После Твардовского, Смелякова, Владимира Соколова туда вскоре приехал Евтушенко за своей поэмой «Братская ГЭС», Анатолий Кузнецов за повестью «Продолжение легенды»... Так что и мне самой судьбой положено повернуть по пути из Иркутска в Москву на север от Тайшета, что я и сделал. И не напрасно. Именно в Братске чуть ли не в день приезда я встретился в многотиражке «Огни Ангары» со стройным пышноволосым молодым человеком, который, протянув мне руку, отрекомендовался с улыбкой:

– Анатолий Передреев...

Но рассказ о нем пойдет в следующей главе, а сейчас я вспомню лишь о том, что недели через две, когда я сел в вагон «Лена – Москва», вместе со мной в купе с рулонами этюдов поселились трое художников, несколько месяцев живших в Братске. Изо всех троих одна фамилия запомнилась на всю жизнь. Это был Виктор Попков. Я еще не знал, что вскоре он станет знаменитым художником. Поезд наш спустился на юг, к Тайшету, и повернул на запад, я поднялся во время стоянки на виадук, чтобы в последний раз попрощаться с городом.

...Городок, где я когда-то был  
юным, опрометчивым, влюбленным,  
медленно качнулся и проплыл,  
словно призрак, за стеклом вагонным.

Покачнулись дряхлые дома,  
покачнулись люди и составы,  
словно покачнулась жизнь сама,  
постепенно уплывая вправо...

Но дыханье тлена и весны  
вновь плывет вдоль насыпи с рассветом,  
дождь шумит, и молодые сны  
до сих пор витают над Тайшетом.

\* \* \*

Через 15 лет, в 1974 году, я возвращался с охоты из Ербогачёна, с иркутских северов, где мы были вместе с Вячеславом Шугаевым, и после короткого колебания сошел на знакомый деревянный перрон. Скульптурная композиция Ленина со Сталиным еще стояла перед вокзалом, никакого Тайшетского металлургического комбината в окрестностях, конечно, и в помине не было, но дорога Тайшет – Абакан спокойно и деловито принимала поезда, идущие на юг, в Хакасию. Я заглянул в редакцию, где меня еще помнили и старые журналы, и корректор Роза Израилевна, и наборщик Павел Семенович. На другой день газета опубликовала мой портрет со стихами, к тому же два дня тому назад мы с Шугаевым выступали по иркутскому телевидению, которое и в Тайшете смотрят. Поэтому, когда я шел по главной городской улице и ко мне подбежали две девушки, сердце мое встрепенулось: сейчас скажут: «Вы Станислав Куняев? Дайте, пожалуйста, автограф!»

Но девушки схватили меня за руки:

– Дяденька, во дворе водопровод чинили и яму вырыли, в нее пьяный провалился, сам никак не вылезет... Там один милиционер справиться не может с ним, просил кого-нибудь с улицы позвать...

«Ну вот, а ты все о славе мечтаешь», – горько усмехнулся я и вошел во двор.

\* \* \*

Только я закончил свои размышления о тщете славы земной и о наших тщеславных мечтах стать когда-нибудь знаменитыми, как вдруг попалась мне на глаза одна книга, словно бы нечистая сила подсунула мне ее под руку.

Полистал, посмеялся и (такова уж судьба, видно) решил написать две-три странички на тему, честно говоря, давно уже опостылевшую мне...

\* \* \*

Дорогой читатель! Если Вас попросят назвать нескольких знаменитых англичан – кого Вы назовете?

Ну, наверное, Шекспира, Ньютона, Байрона, Черчилля, может быть, Джона Леннона.

А кто попадет в Ваш список знаменитых французов? Бьюсь об заклад, что среди прочих там могут быть Робеспьер с Наполеоном, Бальзак, Эдит Пиаф, де Голль...

А знаменитые немцы? Ну конечно, многие вспомнят Гете, Бисмарк, Марлен Дитрих, Гитлера, Вагнера...

Знаменитый человек – это не самый лучший, не самый честный, не святой, не идеальный, не самый красивый, не самый храбрый или богатый – это всего лишь навсего широко известный долгое время, известный миру, ну по крайней мере той части землян, которая читает, поглощает информацию, живет не только узко личной или семейной жизнью и не только жизнью своего племени и своего народа... Знаменитый человек в известном смысле один из всемирных символов своей нации, ее визитная карточка.

А теперь скажите мне, являются ли знаменитостями в этом смысле слова люди, носившие в прежние времена или носящие сегодня следующие фамилии: М. Анилевич, В. Аллен, И. Башевис-Зингер, Берлин Ирвинг, Э. Визель, П. Гельман, Г. Грец, Н. Закс, Э. Канетти, Б. Кац, Л. Котляр, П. Эрлих, Х. Кребс, Р. Леви-Монтальчини, Х. Риквер, М. Мидлер, Х. Сенеш, И. Фисанович, Ш. Калманович, К. Функ, Р. Хофман? Прочитали?.. Как вы думаете, чем, когда и в какой области стали знаменитыми эти люди? Если Вы не сообразили, то поможем Вам подсказкой. В этом перечне есть физико-химик, моряк-подводник, биохимик, адмирал, героиня и герой антифашистского сопротивления, биолог, разведчик, физиолог и биофизик, режиссер, бактериолог, еще один биохимик, спортсмен, историк, летчица, композитор и аж целых четыре писателя, и все четверо – лауреаты Нобелевской премии. Да, в сущности, полсписка – это все «нобели». Теперь, я думаю, когда Вам известны фамилии и профессии знаменитостей, уже не стоит никакого труда вычислить, кто есть кто. Если не получается, тогда как в телевизионной игре на деньги, которую проводит Дибров (кажется, она называется «О счастличик!»), я еще раз подсказываю Вам: Б. Кац – кто он? Из четырех вариантов один правильный: экономист? биохимик? физиолог? психиатр? Угадаете – 100 рублей Ваши. Вопрос легкий, игра только начинается. Что? И даже сейчас не угадали?

Странно. А ведь все вышеназванные фамилии взяты из книги, изданной недавно в Москве издательством «Внешсигма», которая называется «Знаменитые евреи». Знаменитых евреев не знать! Это нехорошо.

Подзаголовок книги гласит: «165 мужчин и женщин. Краткие биографии. Издание второе, дополненное и исправленное».

Впрочем, я занимаюсь ерундой, предлагая вам поставить возле каждой фамилии профессию. Главное свойство знаменитых людей таково, что в добавлении к своим именам какой-то профессии они совершенно не нуждаются. Ведь недаром мы вспоминаем – Александр Пушкин, Кузьма Минин, Дмитрий Менделеев, Андрей Рублев, Юрий Гагарин, Георгий Жуков, Валерий Чкалов, Галина Уланова, и в голо-

ву нам не приходится уточнять, кто из них химик, кто поэт, кто космонавт, а кто балерина. Даже имен не нужно. Достаточно фамилий. Чем меньше нужно дополнительных пояснений, тем выше градус знаменитости. Помните в этом смысле дерзкую эпитафию, придуманную Державиным для надгробной плиты своего знаменитого современника: «Здесь лежит Суворов». Ведь никому в голову не придет, что речь идет о каком-нибудь однофамильце полководца, или об авторе «Ледокола» и «Аквариума». Впрочем, буду справедлив: люди такого градуса знаменитости в справочнике есть – Е. Азеф, Ф. Каплан, М. Бегин, А. Дрейфус, К. Маркс, Г. Гейне, Д. Сорос, М. Ротшильд, Л. Троцкий, А. Эйнштейн; никому разьяснять не надо, кто из них политик, кто террорист, кто поэт, кто банкир, кто революционер, кто финансовый аферист.

Однако над большей частью фамилий, попавших в книгу «Знаменитые евреи», приходится голову поломать.

Каюсь, и я тоже сплеховал. Позвонил своему другу Вадиму, очень знающему человеку, я всегда его головой как справочным аппаратом или компьютером пользуюсь.

– Дима, – говорю, – не знаешь ли ты, что это за знаменитая поэтесса, лауреат Нобелевской премии Нелли Закс? Это не та ли, что к тебе в 70-е годы на литобъединение ходила? Нет? Ну вот, а я-то думал, что ты все знаешь...

Будь моя воля, я бы все-таки сократил список сомнительных знаменитостей, перечисленных мною в начале, и заменил бы их на куда более известных людей, почему-то не попавших в почетный словарь. Ну чем Мордка Богров, убийца Столыпина, менее известен миру, чем Фанни Каплан? А уж Хаим Юровский, выпустивший первую пулю в императора в Ипатьевском доме, герой нескольких фильмов и пьес о революции, за что не удостоен чести быть среди знаменитых евреев? А ведь Хаим Юровский был фигурой много крупнее, нежели несчастная полуслепая Фанни, промахнувшаяся в Ленина! Уж он-то, подобно Мордехаю Богрову, не промахнулся. А разве еще один зна-

менитый террорист Яков Блюмкин, убийца графа Мирбаха, не достоин быть в компании с Фанни Каплан? Увы. Какой-то Блюм есть, а Блюмкина нет.

Иона Якир законно присутствует в книге с портретом, две страницы биографии, а ведь рядом с ним должен быть его соратник по ленинской гвардии Генрих Ягода вместе с другими знаменитостями времен Великой Октябрьской социалистической революции – с Григорием Зиновьевым, Яковом Свердловым, Лазарем Кагановичем. А их как будто бы и не было в истории XX века!

Родной брат Свердлова, усыновленный Горьким, Зиновий Пешков почему-то попал в сонм бессмертных, хотя был всего лишь навсегда французским генералом. Но что такое французский генерал по сравнению с Яковом Свердловым, главой первого ВЦИК Советской России, чьим именем были названы улицы и площади любого мало-мальски приличного города нашей страны! Понимаю, что некоторые читатели, в том числе и евреи, вздрогнут, услышав имена Свердлова, Кагановича и Ягоды, но ведь, по-моему, сам Бен-Гурион, первый президент Израиля, сказал знаменитые слова: «Позвольте еврейскому народу иметь своих негодяев» (цитирую по памяти). А чем Парвус незначительнее какого-нибудь Шаботая Калмановича, о котором сказано, что родился он в 1947 году в Каунасе, уехал в Израиль, был там в 1987 году осужден на 9 лет как советский шпион, вернулся в 1993 году в Россию, построил в Москве Тишинский и Щелковский торговые центры, а также серию аптечных киосков? И все. Разве можно сравнить размах «бизнесмена и филантропа» Калмановича с размахом Парвуса, финансировавшего чуть ли не всю русскую революцию?

Калманович среди знаменитых евреев есть, а Парвуса нет. Несправедливо. Так же несправедливо, как и отсутствие в книге первого мэра Москвы советской эпохи Льва Борисовича Каменева. Подумать только, Владимир Ресин, всего лишь навсегда один из многих заместителей Лужкова, есть, а Каменева – нет! Да покойный Гриша Горин один на-

много знаменитей нескольких вместе взятых драматургов, сценаристов и прочих «нобелей», чьих портреты украшают уникальную книгу. Искал я Григория на ее страницах и не нашел.

Проблема «знаменитостей» не так проста, как кажется. Так, например, создатель автомата Михаил Калашников, который вооружил весь мир, знаменит всемирно. Даже иные американские обыватели, которые слыхом не слыхивали о нобелевских лауреатах биохимике Функе или о писателе Визеле (оба жили и померли в Америке), знают слово «Калашников»... Сравниваю его славу с известностью другого выдающегося изобретателя оружия Александра Нудельмана. Составитель сборника считает, что Нудельман знаменит. Но известен ли он Вам, читатель? Нет, не спору, пользы нашей Родине он принес немало, во время войны его пушки работали как надо, а после пушек были ракетные комплексы и танковое вооружение. Но не знаменит, поскольку жил и помер засекреченным. Кстати, он был дважды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и пяти государственных, то бишь Сталинских, премий. Столько государственных премий, сколько Нудельман, получил лишь кинорежиссер Михаил Ромм. Очень ценно, что в биографических справках есть информация о премиях, званиях и наградах советских евреев. А то ведь многое уже забывается. Ну кто, к примеру, помнит, что физик Лев Ландау, авиаконструктор Семен Лавочкин были не только Героями Социалистического Труда (Лавочкин дважды), но и четырежды лауреатами Ленинских и Сталинских премий. Их обогнал разве что Самуил Маршак, у которого этих премий было аж пять. Он их получал с 1942-го по 1951 год. Каждые два-три года. Трижды лауреатами были актриса Фаина Раневская, оперный певец Марк Рейзен, историк Евгений Тарле. А физик Юлий Харитон стал трижды Героем Социалистического Труда. Такие же звезды того же труда носили на лацканах и Аркадий Райкин, и Майя Плисецкая, и Исаак Дунаевский. И все это совершалось в основном в 30–50-е годы, когда в стране якобы господствовал «государственный антисе-

митизм». Представьте себе, сколько у них было бы премий и наград, если бы они жили и творили в другую, «неантисемитскую» эпоху! Самосвала бы не хватило...

А все же порой, листая уникальный справочник и задумываясь над некоторыми именами, нет-нет, да и вспомнишь крылатую фразу одного из нобелевских лауреатов, попавших в книгу: «Быть знаменитым некрасиво...», особенно когда ты безнадежно не знаменит или знаменит как Гусинский или Бабицкий, которые живут, по словам Наума Коржавина, «не отличая славы от позора».

## «ОБРАЗ ПРЕКРАСНОГО МИРА»

*Наше знакомство с Николаем Рубцовым. Его письма ко мне. Открытие памятника в Тотьме. Переписка с поклонницей Рубцова Нифонтовой. Драка в Доме литераторов. Рубцов прощен при помощи Слуцкого и Яшина. Слуцкий о Рубцове. Сегодняшние попытки оболгать Рубцова и его друзей. Мои письма Рубцову, найденные через 36 лет*

### 1

Хлопотная работа – заведовать отделом поэзии в печатном органе: больно много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей – что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадочку, любовно переплетенную, куда каллигра-



фическим почерком вписаны откровения души, и в пылающих глазах его явственно читаешь: «А ты сам кто такой?!»

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму, где действуют Эйнштейн и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем, – ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил грудку измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, с последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то смутно становится на душе и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского «Как делать стихи», ни на книжку Исаковского «О поэтическом мастерстве»...

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала «Знамя».

С Тверского бульвара в низкое окно врываются людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносащихся к Никитским воротам машин. В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять за день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались:

– К тебе!

Кстати, если не ошибаюсь, этим же летом в редакцию зашел рыжеволосый, нервный молодой человек, отрекомендовался – «Иосиф Бродский, из Ленинграда», пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочесть его стихи. Собственно говоря, это были не стихи, а длинная поэма. Мне кажется, что она называлась чуть ли не «Белые ночи»... Я при авторе прочитал ее, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов, и с этой стороны

у меня к нему нет никаких претензий, но поэма по интонации явно несамостоятельна – подражание «Спекторскому» Бориса Пастернака настолько очевидно, что я не советую автору никогда публиковать ее.

Бродский ушел огорченный, но тем не менее я нигде, ни в одной из его книг, изданных и при жизни и посмертно, не видел, чтобы эта юношеская поэма была опубликована...

Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба – коллективное письмо читателей, на которое по приказанию главного редактора мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком «Гимн женщине», и вскоре в редакцию стали поступать гневные письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

«Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере “Знамени” стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана “зеленая улица” на страницах СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?»

Когда пред высокой стоишь красотой,  
ощущаешь себя ничтожеством.

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?»

Я перечитывал письмо, горя о своей судьбе, но не мог ничего «дипломатичного» придумать в ответ этим яростным читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка, неглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в

дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помогала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

– Здравствуйте! – сказал он со стеснительным достоинством. – Я стихи хочу вам показать.

«Час от часу не легче!» – подумал я.

– Садитесь. Я сейчас письмо дочитаю...

Но стон твой горячий кровинкой вина  
ее обожжет! В этом главное.  
Иначе не женщиной будет она.  
Обожаемая. Богоравная.

И чего они прицепились к этим стихам? Ну несколько высокопарные, и только...

«Да как у Вас, Сельвинский, язык повернулся сравнить наших прекрасных трудолюбивых женщин, строящих новую жизнь, с витающим в облаках несуществующим бездельником господом богом...»

Я в изнеможении отшвырнул письмо. Лучше уж с очередным графоманом поговорю. Все-таки живое дело...

– Давайте ваши стихи!

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную – опытные авторы так не печатают – его вирши. Я начал читать.

Я запомнил, как диво,  
Тот лесной хуторок,  
Задремавший счастливо  
Меж звериных дорог.

Я сразу же забыл о Сельвинском, о письме пенсионеров, о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно

бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет: зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на полгода вперед вороха поэтических подборок.

С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь.

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие мохнатые глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

– Как вас зовут?

– Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в «Знамя» заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

– Смотри-ка! А я слышу – Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку... Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

– Станислав – ты? Это Василий Белов. – Он с трудом выговаривал слова. – Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в «Литературку»...

\* \* \*

«18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!» Письмо написано четким ученическим почерком. Видимо, с удовольствием и не торопясь сочинялось оно. С крестьянской обстоятельностью или с обстоятельностью человека, у которого много времени впереди – це-

лый осенний вечер. А почерк ученический – таким я научился писать в эвакуации в деревне Пыщуг Шарьинского района, что недалеко от тотемских мест. Да разучился уже давно, оттого что в последующей жизни пришлось слишком много написать суетного и торопливого. А Рубцов – сохранил свой школьный почерк, на котором лежит печать старательных уроков чистописания в сельской школе.

Первые же слова этого письма, некогда полученного мной назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал «Добрый день», и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски, хохотнув от неожиданной мысли, дописал «или вечер». Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогавшее ему неожиданно, по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял:

– Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!

Очень забавляло его то, что «среди упорной борьбы и труда» (сама неграмотность этой фразы – «среди труда», «среди борьбы» казалась ему почти трогательной) можно «петь и смеяться, как дети».

«18.XI.64...

Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропадаю целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, – в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т.к. нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват

и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (а что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины – почти невыполнимое дело), повторяю: мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо...»

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним, – не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных с затылка на лоб, и, рванув мехи, начинал не петь, а выть, равномерно раскачиваясь:

По-о-тону-ула во мгле  
Отдале-о-онная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изливалась в этом вое под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась  
Темнота закоулков.  
И архангельский дождик  
Надо мной моросил.

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измороженное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную

истину: душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный вой достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На болотной земле  
В этом городе мгlistом  
Я по-прежнему добрый,  
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение. Однако возвращаюсь к его письму.

«Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сижу возле нее – и очень доволен этим, и все забываю».

Вспоминаются его стихи:

Со мною книги и гармонь  
И друг поэзии нетленной –  
В печи березовый огонь!

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии! Много надо испытать лишений и надсады, чтобы в подобных мелочах жизни находить истинную радость.

«Я проклиная этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклиная молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после не-

скольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка – выпить и побалагурить?»

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова – он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: «Я уеду из этой деревни...»

В первоначальном варианте стихотворение содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

Ты не знаешь, как ночью по тропам  
За спиною, куда ни пойду,  
Чей-то злой настигающий топот  
Все мне слышится, словно в бреду...

Топот его «черного человека».

Ко времени, когда мы сблизились с ним, психика поэта (а ему еще не было и тридцати) была уже весьма изношена. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он редко выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и щедушный Рубцов мог послать куда-нибудь подальше какого-нибудь администратора, сделавшего ему обидное замечание, за что впоследствии клял и корил самого себя.

Вот так и жил он в свой «московский период» – то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской, одиночеством и безденежьем из милого, но опостылевшего захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор «не верит слезам». Как писал в те годы в одном из лучших своих стихотворений друг Рубцова Анатолий Передрев:



И в потоке его многоликом,  
В равномерном вращенье колес,  
В равнодушном движенье великом  
Нелегко удержаться от слез...

Однажды – о чем до сих пор вспоминают старожилы Литинститута – с лестничных площадок общежития исчезли портреты Лермонтова, Некрасова, Пушкина. Сбившийся с ног в поисках комендант общежития случайно заглянул в комнату Рубцова и ахнул: тот сидел на стуле со стаканом в руке в компании портретов, прислоненных к стене.

– Не с кем поговорить было, – оправдывался наутро Рубцов.

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что «паче гордыни».

Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его «дачным» поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского...

Еще в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы «Националь»), я купил изящное старое издание стихотворений Тютчева в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин (как казалось тогда многим) был любимым поэтом Рубцова. Знал он его наизусть и часто читал вслух. А стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне» даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и, глядя на него, уходящего в осеннюю тьму, мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов с его безбытностью в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею. В январе 1996 года, когда мы праздновали открытие рубцовского музея в Николе, Виктор Коротаев торжественно

вернул мне мой подарок, который я тут же передал в музей. Перед тем как окончательно расстаться с книгой, поглядел на титульную страницу, где было написано моей рукой: «Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали». Помню, как он по-детски радовался, как в ответ достал из своего старенького чемоданчика только что вышедшую «Звезду полей» и написал на титульном листе рядом со своей фотографией, где он в берете и шарфике:

«Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память.

Н. Рубцов.

1.XII.1968 г.,

г. Москва. Теплая зимняя погода».

\* \* \*

Со дня нашего знакомства Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня – да и не только меня – в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и вместо того чтобы приехать к нему, в 1964 году я написал стихи, вошедшие в книгу «Метель заходит в город».

Если жизнь начать сначала,  
В тот же день уеду я  
С Ярославского вокзала  
В вологодские края.

Перееду через реку,  
Через тысячу ручьев  
Прямо в гости к человеку  
По фамилии Рубцов.

Если он еще не помер,  
Он меня переживет,  
Если он ума не пропил –  
Значит, вовсе не пропьет.

Я скажу, мол, нет покою,  
Разве что с тобой одним.  
Я скажу, давай с тобою  
Помолчим-поговорим...

С тихим светом на лице  
Он меня приветит взглядом,  
Сядем рядом на крыльце,  
Полюбujemy закатом.

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер – ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом.

«Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами, и вот написал на них ответ. Желая тебе здоровья и всех радостей.

С приветом, Коля!»

Дальше шло его шутовское посланье.

**Ответ Куняеву  
(некоторые соображения на тему  
«если жизнь начать сначала»)**

Если жизнь начать сначала,  
Все равно напьюсь бухой

И отправлюсь от причала  
Вологодчины лихой.  
Знайτε наших разгильдяев!  
Ваших, так сказать, коллег!  
– Где, – спрошу я, – человек  
По фамилии Куняев?  
И тотчас ответят хором:  
– Он в Москве! Туда катись! –  
И внушат, пугая взором:  
– Там нельзя греметь запором  
И шуметь по коридорам;  
Он описывает жизнь! –  
И еще меня с укором  
Оглядят: – Опасный вид! –  
Мол, начнет греметь запором  
Да шуметь по коридорам,  
То-то будет срам и стыд!..  
Гнев во мне заговорит!  
И, нагнувшись над забором,  
Сам покрою их позором,  
Перед тем спросив с задором:  
– Кто тут матом не покрыт?  
Кроя наших краснобаев,  
Всю их веру и родню,  
– Нужен мне, – скажу, – Куняев,  
Вас не нужно – не ценю! –  
Он меня приветит взглядом,  
И с вопросом на лице  
В цедээловском дворце  
Помолчим... с буфетом рядом!

Я помню, как он жаловался на своих земляков-вологжан, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его... Впрочем, эту его обиду я уловил и в строках шутивного стихотворения, присланного мне в 1964 году:

Кроя наших краснобаев,  
Всю их веру и родню,  
– Нужен мне, – скажу, – Куняев,  
Вас не нужно – не ценю.

Написано в шутейном, несколько ерническом стиле, присущем «раннему» Рубцову.

«18.XI.64.

Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно знать, как они там где-то проживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, – вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) – что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что, пока не знаю, я не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые, вообще, зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожинову.

До свиданья! С приветом и любовью Н. Рубцов.

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне».

2

Теплоход «Александр Клубов» шел по Сухоне. Стояли солнечные чистые дни сентября 1985 года, и крутые берега врезались в синее небо тремя разноцветными ярусами деревьев – сначала у самой воды тянулась лента желтого ивняка, чуть повыше – зеленой ольхи, а на пабереге стояла белая стена берез...

Мы плыли на родину Николая Рубцова. Теплоход шел медленно, и навстречу ему так же неторопливо двигались по берегам редкие деревни, коровьи стада, копешки сена.

В Усть-Толшме мы пересели на автобус и вскоре прибыли в старинное село Никольское. Наконец-то! Через двадцать с лишним лет после нашей шуточной переписки...

Я шел по живой строящейся деревне и на каждом шагу радовался тому, что все здесь мне знакомо: куда бы я ни глянул – везде меня окружали образы и приметы рубцовского мира.

Школа моя деревянная,  
Время придет уезжать –  
Речка за мною туманная  
Будет бежать и бежать...

И хотя в деревне – слава Богу! – новая каменная школа, но «речка туманная» все та же – вон она под угором вьется в зарослях ивняка. А за нею, глазом не окинешь, до окоема – луга, пастбища, перелески, зубчатая кромка старого леса, словом, «тот же зеленый простор» – аж дух захватывает!

А вот и кладбище – кресты, ограды, венки... Видно, и Рубцов не раз глядел на него отсюда, прежде чем написать:

Село стоит на правом берегу,  
А кладбище на левом берегу...

Вдоль косогора до самой Толшмы чернеют баньки, вьются узкие тропинки, тянутся изгороди, а на зеленом заливном лугу за рекой, словно бы возникшая из стихов Рубцова, пасется белая лошадь. «Лошадь белая в поле темном вскинет голову и заржет».

На краю села «купол церковной обители», который «яркой травой порос». Четыре мощные кирпичные опоры держат проломленный в центре купол, под сводами которого еще можно разглядеть фигуры евангелистов в синих хитонах. Однако с той поры, когда Рубцов писал эти строки, кое-что изменилось: уже не просто яркая трава растет на куполе, а настоящие молодые березки. К церкви пристроен придел из старого церковного кирпича, в приделе вкусно пахнет свежим хлебом, опарой, дрожжами – там пекарня. Две молодые девахи в белых фартуках и цветных косынках вытаскивают из печи одну за другой буханки горячего хлеба.

– Попробовать можно?

– Пожалуйста! – озорно блеснули белые зубы.

Я отломил от душистого хлеба румяную корочку, не торопясь разжевал ее, думая о том, что хлеб выпекается в бывшей церкви и потому сегодня при желании его можно считать поминальным...

А в Доме культуры между тем начался литературный вечер. Зал был полон народу – больше женщинами и детьми. Сердце радовалось, что детей было много, что они бойкие, розовощекие, хорошо одетые... Может быть, оклемаемся от всех эпохальных бед и разрух, подрастет подлесок, не даст пропасть народному корню на древних северных землях.

А с трибуны слышался глуховатый, взволнованный голос Василия Белова:

– В стихах Коли Рубцова много живой природы – и лес, и ветер, и болота, и поле, но чаще всего он вспоминает наши реки – Сухону, Тотьму, Двину, Толшму... Наши предки селились на реках и жизнь свою без них не мыслили. Пароход, пристань, паром, берег, река, лодка – любимые слова Николая Рубцова. «Много серой воды, много серого неба и немного пологой, родимой земли».

Но сейчас люди, равнодушные к нашей земле и нашим рекам, не знающие, как мы их любим и как без них жить не можем, разрабатывают всяческие проекты, чтобы повернуть северную светлую воду на юг. Пойменные земли заболотятся, обжитые веками берега пропадут, оставшиеся деревни исчезнут, память о прошлой жизни выветрится, и станем мы и наши дети похожими на перекати-поле... Давайте вспомним любовь Коли Рубцова к родным рекам, пусть она поможет нам в борьбе за их жизнь...

Белов говорил с народом не как пророк или проповедник, а как сельский учитель, как родной каждому сидящему в зале человек. А я вглядывался в румяные детские мордашки и думал о том, что лет через десять–пятнадцать из этих детей вырастут колхозники, агрономы, учителя, врачи, и святое дело делает Василий Белов, зароняя в детские души зерна тревоги за родную землю, семена истины и любви. Николай Рубцов делал, в сущности, то же самое, но по-своему.

Тина теперь да болотина  
Там, где купаться любил...  
Тихая моя родина,  
Я ничего не забыл...

Он писал стихи «неоскорбляемой частью души». Не потому ли в его поэзии нет ничего желчного, фельетонного, правдиво-крикливого, чем так грешат многие из нас. Он исповедовал главную истину: душа поэта на то ему и дана, чтобы высветлять и очищать жизнь, принимать на себя несовершенство мира. Не потому ли слово «душа» одно из самых любимых им слов: «душа хранит», «душа свои не помнит годы, так по-младенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы», «до конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста...» Мысли мои вновь были прерваны голосом Белова, который продолжал с трибуны никольского Дома культуры воспитание душ человеческих иными средствами, нежели его покойный друг.



– Коля Рубцов, как вы все знаете, вырос в детском доме. Но тогда шла война и сирот было много по понятным причинам. А сейчас почему у нас столь много детских домов? Дети при живых матерях-отцах живут сиротами. Сколько у нас лишенных родительских прав, сколько спившихся родителей, сколько детей, от которых матери уже в родильных домах отказываются! В стихах Коли Рубцова есть и горечь сиротская, и одиночество. Пусть же его поэзия помогает нам изживать искусственное сиротство, которого на Руси никогда ранее не было...

Старухи, женщины и дети, затаив дыханье, слушали каждое слово своего знаменитого земляка, а я думал о том, что поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт – не по званию, а по сути – выплачивает сыновний долг народу, как выплачивал бы его престарелым родителям, своеобразной заботой и уходом за народной душой, высветляя ее и поддерживая в трудные времена, когда она шатается, болеет, теряет опору. Тогда приходит он и говорит:

С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь...

И какой-нибудь отрок вдруг содрогнется от поэтической искры этих строк и тем самым сознательно и на всю жизнь обнаружит в себе ту же «самую жгучую», «самую смертную», которая до последнего часа будет жизнетворческой силой в его судьбе.

Между тем на эстраде возник неожиданный спор. Кто-то из выступавших искренне стал восхищаться: каким образом местная природа, скромная и невзрачная, «серенькая», родила такого яркого поэта...

– Это же чудо! – развел руками оратор.

Я услышал, как сидевший рядом Белов что-то буркнул в бороду, встрепенулся Анатолий Передреев и, дождавшись, когда оратор закончит свою речь, вышел к трибуне:

– Я всегда любовался вашей землей – ее долинами, реками, лесами. Почему, с чьей легкой руки ее называют «скромной», невзрачной? Наоборот, она яркая, многоцветная, ваша северная природа. Несколько раз в году она меняет свой лик и свой наряд – не то что где-нибудь на юге, где круглый год стоит цветущее однообразие...

Если бы не Рубцов, и на Вологодчине мне не пришлось бы побывать. Раззадорил он меня рассказами о Сухоне, Тотьме, Николе, и приехал я как-то в ваши края, и попал в деревню к Василию Белову. Давно это было. А стихи о той поездке я написал недавно...

Медленно отчеканивая каждое слово, Передреев начал читать:

Хоть много чего сохранить не смогла,  
Но душу деревня свою сберегла.

Раз детская чья-то головка одна  
С таким любопытством глядит из окна.

Раз может еще так глазами сиять  
Анфиса Ивановна, Васина мать...

И сразу просторы исполнились смысла,  
И небо иначе над ними нависло.

И дали, что с новой встречаются далью,  
Уже не дышали такою печалью.

Все сделалось радостней, стало прочней –  
Земля при деревне, и небо при ней!

Доколе копить ей в полях своих грусть,  
Пора собирать деревенскую Русь!

Так думало поле, и речка, и лес,  
И даль, что смыкается с далью небес...

А все, что в душе и в судьбе наболело, –  
Привычное дело, привычное дело.

И так оно все случилось к месту и ко времени, что, когда поэт кончил читать, и зал, и президиум долго благодарили его, не жалея ладоней...

В фойе клуба был выставлен стенд с фотографиями Рубцова, сделанный приехавшими в Ни́колу ленинградцами. Некоторые из них я увидел впервые, стал вглядываться – и маленькая тревога запала в душу. Почему в стихотворении, ему посвященном, я написал о «тяжелом взгляде», об «угрюмстве», о «прищуре»? Да нет же! Вот он молодой, с друзьями в матросских робах разламывает пополам гармошку, смеется; вот сидит с маленькой дочкой – и лицо светится; вот склонил голову, усталый, но все равно улыбается, хотя и грустно. У него высокий лоб, живой доверчивый взгляд... Нет в молодом Рубцове никакого угрюмства! Конечно же, от природы он был добрым, веселым и светлым человеком, с душой, распахнутой для жизни, любви и дружбы. И как бы судьба ни выколачивала из него эти свойства, он не сдавался ей.

Я по-прежнему добрый,  
неплохой человек.

Разве что в Москве взгляд его тяжелел, и свет в глазах прятался куда-то в самую их глубь. Но если бы я в те времена приехал в Ни́колу, то, конечно, запомнил бы его иным...

Уже смеркалось, когда мы выехали на автобусе обратно к теплоходу и по пути отвернули в сторону, чтобы поглядеть на старую дорогу, по которой Коля Рубцов, возвращаясь из странствий, ходил пешком от Усть-Толшмы до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, мимо заброшенных починков. Есть время подумать о многом. Сколько раз, пока дойдешь, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной опушке, то возле древнего погоста. Я представляю его себе летним днем, усталого, с чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он идет, а вокруг «зной звенит во все звонки», цветут белые ромашки, и куда ни глянь, все волнует душу – и «филин властелин», и верховые, как три богатыря, проскакавшие где-то у горизонта, и тишина... Старая дорога...

Здесь каждый славен, мертвый и живой,  
и потому, в любви своей не каюсь,  
душа звенит, как лист, перекликаясь  
со всей звенящей солнечной листвой.  
Перекликаясь с теми, кто прошел,  
перекликаясь с теми, кто проходит...  
Здесь русский дух в веках произошел  
и больше ничего не происходит!  
Но этот дух пройдет через века...

Бывало, что редкий грузовик догонит студента, шофер высунется из кабины и спросит: далеко идешь?

Я шел, свои ноги калеча,  
глаза свои мучая тьмой...  
– Куда ты?  
– В деревню Предтеча.  
– Откуда?  
– Из Тотьмы самой!

Он садится в машину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зеленому простору. А потому, не доезжая несколько километров до родного села, просит удивленного шофера притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле  
сошел и пошел пешком.

Вот о чем мы разговариваем с Вадимом Кожиновым и Василием Беловым, когда стоим в сумерках на старой, уже позаросшей муравой дороге, пересыпанной строчками поэта, столько раз проходившего ее туда и обратно.

Вечером следующего дня на высоком берегу Сухоны в Тотьме открывался памятник Николаю Рубцову. Это событие как бы венчало трехдневные народные празднества в его честь. Не часто земляки балуют русских поэтов таким высоким образом. Вспомним хотя бы, что первый памятник Есенину в Рязани был воздвигнут лишь через полвека после его смерти. Как тут не поклониться вологжанам и тотьмичам!

Несмотря на дождь, людей собралось множество, и, пока организаторы торжества заканчивали последние приготовления, море зонтиков, шалей, беретов сгрудилось вокруг монумента, затянутого белой простыней.

Когда настало время открытия, мы с Передреевым вышли из толпы, я потянул за шнур, покрывало медленно поползло вниз, обнажая голову и плечи уже не Коли Рубцова, а кого-то другого, отделившегося от нас и ушедшего в царство русской поэзии.... Он сидел на скамье, в пальтишке, накинутом на плечи, нога на ногу, руки со скрещенными пальцами покоились на колене...

Глубокие глазницы, высокий воротник грубого свитера, в котором часто ходил Рубцов, высокий лоб, задумчивый наклон головы – от

всего образа веяло духом отрешенности от соблазнов мира сего, внутренней сосредоточенностью, чувством собственного достоинства и неузвизимости от внешних обстоятельств жизни.

В отдалении от холма, на котором стоял памятник, виднелись поставленные в свое время лихими тотемскими землепроходцами, возвращавшимися из рискованных походов, полуразрушенные церкви, как бы иллюстрируя пронзительные стихи Николая Рубцова:

И храм старины, удивительный, белоколонный,  
Пропал, как виденье меж этих померкших полей,  
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,  
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

...В послевоенное время в моей зеленой полуразрушенной Калуге недалеко от нашего дома находилась скульптурная фабрика. Размещалась она в ограде бывшей церкви, и я по пути на реку, к золотым окским пляжам, всегда останавливался возле нее. С чувством некоего таинственного приобщения к особому миру фигур, загромаждавших церковный двор, я глядел на мощные торсы дискоболов, на гипсовые фигурки пионеров, на очень изящные, как мне тогда казалось, статуи женщин с веслами или с подойниками в каменных руках... Все они потом расселялись по районным центрам, вырастали в нашем Центральном парке культуры и отдыха, в маленьких городских скверах и на площадях небольшого города... Теперь я понимаю, что это, конечно же, были весьма аляповатые цементные времянки, но, даже понимая это, я хочу сказать несколько слов в их защиту. Каждому времени – свои песни, свои книги и своя скульптура. В этих убогих стандартных фигурах жила помимо халтуры и однообразия и некая глубина и правда нашего времени, осознававшего свое величие и спешившего кое-как, наспех хотя бы, это величие зафиксировать. И вот сейчас, глядя на полуразрушенные скульптуры, установленные в те годы, на потемневшие подтеки на цементе и гипсе, на куски желез-

ной арматуры, торчащие из какой-нибудь культи, я думал: все-таки от этих рудиментарных и стандартных останков массового искусства той эпохи веет еще и аскетизмом, и бедностью, и целомудренностью, и непрехотливостью, и даже мысли о каких-то общественных идеалах, искаженных и не до конца осуществленных, возникают у меня при виде этих рассыпающихся от времени статуй. Нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Я понимаю и условность и правду этого афоризма. Да, цемент разваливается. Но идеи, грубо воплощенные в нем, наверное, останутся вечными. Вот почему в начале 70-х годов я написал:

Да будет вечен этот гипс,  
его могучая фактура!  
Вот дискобол: плечо и диск,  
а между ними арматура...

В те аскетические довоенные и послевоенные времена наша скульптура выражала как бы общие идеи и потому была столь однообразна. Тогда она играла либо украшательско-прикладную роль, либо монументально-идеологическую. Мы не могли позволить себе – и средств не хватало, да и самосознания такого еще не было, – чтобы какой-нибудь маленький городок решил бы поставить памятник своему знатному земляку, герою, воину, поэту, то есть украсить себя ликом или фигурой, присущими только этому городку, этой малой родине знаменитого человека. Такое время наступило лишь через несколько десятилетий, и лишь поэтому стало возможным создание памятника Николаю Рубцову в маленьком северном городке Тотьма на высоком берегу реки Сухоны...

У Николая Рубцова есть два пророчества: «Я умру в крещенские морозы» и «Мне поставят памятник на селе»... Оба они оправдались.

– Больше стало на Руси еще одним святым местом! – сказал, выступая у памятника, его создатель, скульптор Вячеслав Клыков.

Это было правдой, потому что вечером, во время литературного праздника, учительница Тотемской средней школы, где учился Рубцов, рассказала, что в Тотьму и Николу уже много лет люди приезжают «к Рубцову», спрашивают земляков о нем, записывают воспоминания, оставляют их в местном музее, пишут картины, снимают любительские кинофильмы о родине поэта.

А профессор Литературного института Михаил Павлович Еремин, у которого двадцать лет назад учился Рубцов, произнес такие слова, от которых зал загудел и взорвался рукоплесканиями:

– Думая о Рубцове, глядя на его памятник, побывав в его деревне, вспоминая его стихи, я сегодня испытываю чувство, которое давно уже не приходило ко мне: я горжусь, что я русский!

Поздно вечером под проливным дождем мы возвращались к теплоходу, чтобы отправиться обратно в Вологду.

Я нес в руках целую охапку цветов, подаренных школьниками, да еще друзья прибавили свои букеты, чтобы положить их к подножию монумента, мимо которого мы проходили на пути к пристани... В дождливой тьме, то и дело оступаясь в лужи, я прошел по дорожке, усыпанной песком, к Рубцову. Огляделся. Под обрывом призрачным сиянием светилась река, над которой угадывалось движение темных дождевых облаков. На их фоне с трех сторон, окружая памятник, чернели силуэты церквей. Вокруг не было ни души... Увязая в мокром тяжелом песке, я поднялся на земляную насыпь к скульптуре и хотел было опустить цветы к подножию – на землю, но почему-то передумал, выпрямился, вложил их в холодные бронзовые руки и, почувствовав металлический холод, поднял взгляд: на меня из глубоких глазниц смотрел не Коля Рубцов, а кто-то иной, уже легендарный, от прикосновения к которому тревога затекала в душу. «Ну ладно тебе, – одернул я себя. – Это же не Медный Всадник, не Статуя Командора – это твой друг, он сам приглашал тебя двадцать с лишним лет тому назад на свою родину, вот ты и приехал...»

– Здравствуй...



3

В конце 1971 года я получил письмо из далекого Барнаула от доселе неизвестной мне медицинской сестры Евгении Нифонтовны Кошелевой. Письмо положило начало нашей долгой переписке. Медсестра была, как я теперь понимаю, из той породы читателей, которая образовалась за два-три послевоенных десятилетия. Возникновение этой породы было чудом советской цивилизации. Размышляя о людях такого склада сегодня, я убеждаюсь, что ничего в нашей истории не прошло даром: ни культурная революция, ни коллективизация, ни строительство домн, комбинатов и городов, ни жертвы великой войны. Михаил Пришвин однажды пронизательно заметил: «Наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла, как победа, когда стальной узел необходимости был развязан...» Вот и появление умного, наивного, страстного, ревнивого, живущего поэзией читателя было обусловлено тем, что после войны мы, в очередной раз перенапрягая народные силы, развязали «узел материальной необходимости». «Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».

Из первого письма Кошелевой – «Нифонтовны», – как она позднее стала называть себя в письмах.

«Я читательница, кстати, не просто придирчивая, но свирепая даже, если в поисках истинной поэзии натыкаюсь на бесцветные стихи или нерадиво оформленную книжку».

Какое слово нашла – «свирепая»! Именно такими – ревнивыми, взыскующими истину, влюбленными в нас, поэтов, но не прощающими нам ни малейшей лжи, слабости или фальши, были наши читатели 60–80-х годов. Они читали всё, что выходило из-под пера их кумиров, вступали в споры со злыми завистливыми критиками, поносившими нас, засыпали редакции газет и журналов письмами, протестами, восторгами, искали нам единомышленников на необъятных просторах страны, воодушевлялись нашими удачами и победами, печалились и

скорбели во время наших болезней и житейских невзгод. Мы были их личной жизнью, чуть ли не собственностью, но зато обязаны были соответствовать идеалу, рожденному в их душах. Их любовь не только согревала, но могла обжечь или даже испепелить дотла.

Из письма Нифонтовны:

«А вот книжечка Вл. Соколова “Снег этого года” мне так и не попала, сколько я ее ни искала. Хирею, чахну без нее. Вы помните, как догорает свеча? Вот и я так же. Беру книжечку А. Передреева – посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Беру Вашу книгу – посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Утаскиваю ее к себе, уединяюсь с ней и... с тех пор тоска и тревога уже не отпускают меня. А тревога смутная, такого же свойства, что и раньше завладевала мной, как предчувствие беды для кого-нибудь из близких мне людей, даже если они были очень далеко от меня...»

Таких читателей (а их было много, с ними моя переписка длилась десятилетиями) не было в мировой истории ни в одну эпоху, ни в одной стране. Только в Советской России. Ну подумайте: в руки Нифонтовны попадает моя книга «Ночное пространство». Она пишет мне письмо, наполненное строфами и отрывками из моих же стихотворений, поразивших ее, признается, что очень любит ночь, звездное небо, полночную тишину, и вдруг эта медицинская сестра из далекого провинциального Барнаула, с Кооперативной улицы, как само собой разумеющееся, цитирует: «И только две вещи неизменно наполняют душу изумлением: ночное небо надо мной – и нравственный закон во мне». Иммануил Кант! А первое письмо от нее, пересланное мне из «Литературной газеты» (Нифонтовна не знала моего адреса), заканчивалось словами: «Где бы услышать старинную русскую песню, забытую накрепко: “Ты гори, гори, моя лучина, догорю с тобой и я”. Хорошо бы стих написать с такой вот интонацией, может, полегчает?»

Боже мой, как легко и свободно парила в ночном пространстве душа Нифонтовны – от великих слов Канта до бессмертной русской

песни! Какого читателя мы вырастили, какую жизнь с ним прожили и... какого читателя мы потеряли! Мы лечили его душу, мы помогали ему жить в нашем суровом мире, а он ободрял нас, укреплял наш мятущийся дух, нашу веру в Россию, в добро, справедливость, красоту... Мы прощали ему его свирепость, его порой невыносимо требовательную любовь, его безмерную ревность, а он писал нам письма, о которых Блок говорил, что «они помогают жить»...

...Однако сейчас, разбирая в заснеженной деревне папки с читательскими письмами, я погрузился в послания Нифонтовны лишь для того, чтобы разыскать в них страницы о Николае Рубцове. Они в то время поразили меня.

Он был любимым ее поэтом, и мне она написала лишь потому, что от кого-то узнала: у Станислава Куняева есть стихотворение, посвященное Рубцову.

Из письма от 4 июля 1972 года:

«У Вас есть один стих, посвященный Рубцову, но мне он не встречался нигде. Если бы Вы могли мне его прислать. Просьба моя кажется дерзкая, наглая, но я серьезно давно уже – таю про себя такое страстное желание... Стихи Ваши в “Литгазете” встревожили меня упоминанием о хирургии и понтаноне и... портрет Ваш. Что-то новое, непривычное в облике. Это тревожит. “Но в наши годы плакать невозможно, и, каждый раз себя преодолевая, мы говорим: всё будет хорошо”, это из “Осенних этюдов” Рубцова. – Напишите мне – как он погиб».

Не помню, что я ответил ей. К сожалению, в те годы, отвечая на письма, я обычно не оставлял никаких вторых экземпляров, потому что письма, как правило, писал от руки.

Я ни разу не встречался с Нифонтовной, не знаю, как сложилась ее жизнь. Лет через пять после первого письма наша переписка прекратилась. Сейчас я думаю, что, может быть, весь душевный накал ее писем, их предельная искренность и какая-то сверхчувствительность – свойство болезненной и экзальтированной натуры? Но откуда тогда удиви-

тельная эстетическая пронизательность, растворение в ткани и сущности стиха, искрящийся читательский талант, которого не хватало и не хватает многим модным критикам прошлых и нынешних времен?

Из письма Нифонтовны от 22 декабря 1973 года:

«И вдруг наткнулась на Ваше стихотворение “Памяти поэта”. И с первых строк пока еще поверить не смела, что это о нем-таки, а ни о ком другом. Жар подыматься стал во мне, подкатываясь к горлу. Вообще – последнее время как-то все горлом чувствую. Вся кровь приливает к горлу, и оно пылает огнем. Это лучший стих о Рубцове, ибо он изнутри написан. Лучший из всех ему посвященных стихов. Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57-м году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке, на закате. Я вышла из лесу, увидела его и тотчас пошла прямо на него. Как увидела – так прямо и пошла. Свернула со своей дороги. Мне было 19, ему 21. Я по замыслу природы рыжая вся как есть, а в детстве меня за это преследовали, проходу не давали, что я чувствовала себя глубоко несчастной и даже не человеком вообще. Так ведь диавол подсказал мне в тот июль в жгуче-черный цвет волосы окрасить, то есть, вернее, даже сжечь их краской – они стали жгуче-черными. Вот я выскочила из лесу на опушку и сразу увидела черную маленькую фигурку на холме. Против закатных лучей она выглядела совершенно черной. И я тотчас свернула со своей дороги и пошла прямо на него, как черная ворона, а потом он пошел за мной. “Не в сторону, а напрямик”. У него и тогда уже был “тяжелый” – тяжелый взгляд. Но нет, это не то слово. Это был взгляд неотступно сверлящий, пытаящий. (От слова “пытка”). Он мне показался совсем черным. Волосы черные, брови прямые, глаза карие, золотистые на свету. Мамочки мои, золотистые! Но это уже в минуту относительного покоя. Все верно у вас о нем. Именно так: в момент относительного покоя, ибо никакого покоя с ним быть не может. Он меня и после гибели не отпускает, держит словно мощным магнитом – оттуда! Под этим взглядом было в высшей степени неуютно. Может, он и стал со временем

именно “тяжелый”, но тогда в нем была еще страстная надежда на жизнь. Страстная! На-деж-да. На – жизнь.

Мы с ним встретились и не узнали друг друга, то есть не поняли, что нам надо непременно дружить. Не упускать друг друга из виду. Впрочем, он-то все же догадался, хотя и сказал с сомнением: “Но ты ведь не станешь со мной дружить! Я рабочий, а ты в институте учишься”. “Почему это я не стану с рабочим дружить?!” – спросила я почти грозно. (Мне-то и в самом деле нужен был друг.) Но больше я его не увидела. Но я его не обманула. Я стала ему подругой уже после гибели его. И даже день его гибели чуяла на расстоянии. Я тогда жила в деревне на Псковщине... Да, я его забыла через три дня и на шестнадцать лет. И нынче все вспомнила. Меня все время тянуло на запад. Всю жизнь. На северо-запад. Дело в том, что я никогда не любила детство свое и юность. Моя жизнь – только молодость и зрелые годы, и потому я активно забыла все, что связано с Барнаулом. Только любимых учителей мединститута помнила тепло и с благодарностью. Все остальное вытеснила из своей памяти, и его заодно.

Уехала из Барнаула и десять лет скиталась на западе Союза. И все вокруг Вологодчины кружила, сама не отдавая в том отчета. Это земля моих дедов. Еще отец там жил в нищей деревушке глухоманной. Забыла все намертво, что связано с Барнаулом, так, что едва-едва с великим трудом его нынче вспомнила, встречу в сосновом бору на закате. Он говорил: “Я тебя пожалел, я не хотел тебя опозорить”. Вот так сказал. Пожалел! “Когда заря смеркается и брезжит... мне жаль ее”. Я же была черная, как ворона:

Увижу ворона  
И в тот же миг  
Пойду не в сторону,  
А напрямик.

Возможно, возможно...

В его прищуре открывалась мне  
Печаль по бесконечному раздолью.

Печаль? Эту Вашу строчку почему-то не воспринимаю. У него бунт в самой гармонии. Он шел к тихой ярости. У Лермонтова мысль в лоб высказана. У Рубцова нет мыслей “в лоб”. Но бунт в самой гармонии. В звукописи.

“Крещенские морозы” его – изумительная звукопись, призванная к нагнетанию трагического.

“По безнадежно брошенной земле” – а вот это очень точно. Это я чувствую.

И не дышал его угрюмый стих  
надеждою на них,  
хоть самой малой.

Здесь Вы сказали очень точно! Потому-то он и стал гениальным поэтом. Ни одна женщина не окликала его для любви. Любимое слово мое “угрюмый”. И звукопись в этом слове: сдвоенное “у-ю”. Краснофиолетовая нота. У-У-У!.. Ю-Ю-Ю! Любимые гласные.

Истоскую ночь глухую,  
чую голос ветровой.  
На беду его лихую  
Кину жребий золотой!

У-У-Ю-Ю! Какая звукопись, Стасик! Какая звукопись! Это же волчье завыванье!

Размер Вашего стиха “Памяти поэта” – ведь в нем дыханье Ваше. Это размер волновой, волнами: подъем – спад. Прилив – отлив. Кстати, занимательно, что единственный стих, написанный таким размером у Вас, – это посвященный Николаю Рубцову.

19 января три года со дня его гибели. Хочу письмо от Рубцова... Я слушаю гармонию сфер и пытаюсь уловить, что дух Николая Рубцова мне внушает. И потом идеи эти рубцовские внушаю современникам живущим. Это вот и значит: быть ему подругой и после гибели его».

«...Потянуло опять к “Вечной спутнице” Вашей: “Он выглядел, как захудалый сын”. Как точно! Помните его такого? В “Сосен шум” его портрет... Серенький, скромненький, как мышка... робкая надежда на жизнь еще теплится в нем. А вот портрет из “Зеленых цветов” – уже ничего человеческого. Он уже миру иному принадлежит. Это, вероятно, последний его портрет? А? Чем больше в поэте человеческого, тем меньше гения. Чем больше гения, тем опасней это, тем смертельней для жалкой земной оболочки его, в которой огонь священный горит. Таковы жестокие законы искусства. Рубцов та же кукушка. Крамольная птица. Гнезда не вьет. Детей не воспитывает. Но в голосе ее – все возможности поэзии».

И еще отрывок из последнего письма, помеченного декабрем семьдесят пятого года, после которого русская вещунья, сивилла, гадалка, кукушка, пророчица, ворожея, знахарка Нифонтовна навсегда исчезла из моей жизни:

«Я, конечно, понимаю, что плевать Вам на всех русских читателей Ваших, тем более провинциальных, тем более женского рода. Все это понятно. Вот выйдет из тюрьмы Людка Дербина – я ее заставлю писать стихи гениаль-ные-е... раз уж теперь нет Николая Рубцова. Книга Рубцова “Последний пароход” выпущена из рук вон паскудно, испохабили книгу нашего русского гения! Художественное оформление – это стилизация под народное, то есть пошлость, тираж мизерный, словно Рубцов какой-то начинающий. Нет ему жизни и после гибели. Нет ему жизни в этом еврейском литературно-коммерческом мире... Во всей России не могу найти ни одного русского поэта... Словно вымерло все вокруг. Есть советские поэты, а русских нет. Пустынь, пустынь, как в мире дописьменном. Был единственный русский поэт, и того задушили... учтите, Стасик, следующая очередь, возможно, ваша.

От злости безмерной принялась за Вашу “Вечную спутницу” и попалась я, бедная, на крючок, как те простодушные форельки, которым Вы любили жабры вспарывать. (Садист Вы, конечно, Стасик, но это так, к слову.) Я Вас включила в генетическое ядро современной поэзии. Вы поэт русский были и есть. И я Вас живьем не выпущу с этого света.

С Новым годом.

Нифонтовна».

...Сижу перед заиндевелым окошком своей деревенской избы, подымаюсь из-за стола, иду по скрипучим, изъеденным шашелем половицам к печке, подбрасываю пару березовых полешек – береста с треском сворачивается, занимается языками пламени, невольно вспоминаю рубцовское «и друг поэзии священной – в печи березовый огонь» – возвращаюсь к столу и, словно карты в пасьянсе, снова перебираю письма... Есть ли смысл ворошить прошлое, беседовать с тенями, осмысливать опыт, может быть, совершенно ненужный завтрашнему дню? По телевизору с утра до вечера празднуют шестидесятилетие Владимира Высоцкого. А вот, кстати, один из редких, сделанных под копирку моих ответов читателю Геннадию Ивановичу из Орла. Это 1981 год. В своем письме он приравнял судьбу Высоцкого к судьбе Рубцова – мол, оба были не поняты и гонимы и властью и обществом, оба продолжали список поэтов-изгоев русской истории – Лермонтова, Есенина, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака... Перечитываю через 16 лет с лишним мой ответ ему:

«Вы сравниваете две несравнимые судьбы. Одна – бешеная, пускай вначале полуподпольная, но потом во многом организованная слава, куча поклонников, театр, пресса, “мерседесы”, сладкие, ядовитые блага массовой культуры, открытая виза, залы Франции и Америки, пляжи Таити, деньги, репортеры, поклонники, отравление даже не водкой, а наркотической славой – или просто наркотиками, толпы на Ваганьковском кладбище, эфросы, вознесенские, рязановы, любовы, шемякины, влады – словом, весь могущественный клан людей



западной ориентации, мировой антрепризы с деньгами, связями, влиянием аж до самого-самого верха...

И другая жизнь – сиротство, детдом, одиночество, бедность, тралфлот, Кировский завод, обшарпанная гармошка, маленький круг друзей (несколько человек!), бескорыстное, подвижническое, монашеское служение поэзии (“душа хранит”), три тощеньких книжонки, изданные при жизни, бездомность, последнее письмо к секретарю обкома с просьбой, чтобы хоть комнатку какую-нибудь дали. Нет, не звали его к себе “большие люди”, чтоб он им пел “охоту на волков”. Но и на могилу его на новом жутком вологодском кладбище к нему приходят только те, кто чужую могилу рядом не затопчет... И на надгробье у него не рекламно-пропагандистские лозунги Вознесенского (“О златоустом блатаре рыдай, Россия!”), а свои собственные, для своей души сказанные: “Россия, Русь, храни себя, храни!” Вот и все. Совершенно разные жизни. Общее только одно – пили и умерли молодыми. Во всем остальном – ничто не объединяет этих поэтов. На том и стою.

Ваш Ст. Куняев  
6.11.81 г.»

...По телевидению закончились дни Высоцкого и началась неделя Бродского. Открылась она программой «Старая квартира», которую ведет некий Гурвич, очень похожий на бывшего партийного функционера, позже посла России в Израиле Александра Бовина. И ведущий, и все собравшиеся в зале поклонники Бродского стенают и плачут о том, в каких невыносимых условиях жил прекрасный Иосиф, высланный на полтора года в одну из архангельских деревень. Да Николай Рубцов в подобной же деревне Никола полжизни прожил, свои лучшие стихи об этой жизни написал, счастливым чувствовал себя не раз под своим северным небом на «тихой родине», на высоком берегу речушки Толшмы. Был я там в последний раз в январе 1996 года, когда, как сегодня у Высоцкого, у Рубцова праздновали шестидесятилетие.

Собралось человек двести жителей Николы и соседних деревень, открыли музей Рубцова в деревянной школе, выпили, повспоминали. Ни одного человека ни с одной программы Центрального телевидения не было. И у Высоцкого и у Рубцова как все при жизни сложилось, так продолжается и после смерти.

#### 4

Борис Слуцкий внимательно присматривался к творчеству молодых русских поэтов начала шестидесятых годов. Анатолия Передреева он уговорил поехать на Братскую ГЭС «изучать жизнь», сам вызвался быть редактором моей первой московской книги «Звено», высоко ценил поэзию ленинградского геолога Леонида Агеева, ратовал за прием в Союз писателей Юрия Кузнецова. Недаром же мы в нашем московском кругу звали его весьма дружелюбно: Абрамыч.

Но недавно молодой исследователь Г. Агатов обнаружил в одном из архивов (РГАЛИ) неизвестное доселе письмо Николая Рубцова к Борису Слуцкому, рецензию Слуцкого на рукопись книги Рубцова «Звезда полей» и те его стихи, присланные Слуцкому вместе с письмом, в которых есть существенные разночтения по сравнению с известными всем каноническими текстами тех же стихотворений.

На моей памяти Борис Слуцкий еще раз принял участие в судьбе Николая Рубцова. Однажды в Центральном доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала одна окололитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок:

– А эта б...ь чего вмешивается в наш разговор! – произнес он на весь пестрый зал. Франтоватый выложенный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь

своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой, кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самым скверным в тот вечер: не успели мы одеться и слинять, как к дверям нашего дворца подкатил «воронок»... Протокол, свидетели, короче говоря, все, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку с вызовом в суд. Я позвонил Александру Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман. Николай Рубцов, кажется что в валенках, в замурзанной ушанке и стареньком пальто, битый час сидел в темном коридоре, пока мы вчетвером уговаривали судью простить, замять и отпустить. Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрощались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку отметить его освобождение, поскольку вход в Центральный дом литераторов был закрыт ему надолго.

Слуцкий не случайно взялся помочь Николаю Рубцову. В июньском номере «Нашего современника» за 1999 год опубликовано единственное письмо Николая Рубцова Борису Слуцкому. Г. Агатов сделал к публикации небольшой комментарий:

«Письмо Рубцова с пятью приложенными к нему стихотворениями хранится в РГАЛИ, в фонде Б. А. Слуцкого. Писем Рубцова сохранилось немного, со времени его смерти опубликовано около 40, в их числе нет ни одного письма Слуцкому. Об отношениях Рубцова и Слуцкого мы вообще мало что знаем. Известно, что Слуцкий хлопотал за Рубцова после скандала в ЦДЛ в декабре 1963 года, грозившего

Рубцову большими неприятностями. Наталия Яшина, публикуя в “Нашем современнике” письма Рубцова к своему отцу, в связи с этим инцидентом писала: “Поэт Станислав Куняев позвонил Яшину и Слуцкому. Слуцкий лично Рубцова не знал, но слышал о нем от поэтов. Его позвали на помощь, надеясь на сильный характер и внушительно-важный вид”» (Наш современник. 1988. № 7. С. 183). Теперь выясняется, что к тому времени Слуцкий уже несколько знал Рубцова, по семинару Н. Сидоренко, быть может, ответил и на его письмо.

В фонде же Слуцкого в РГАЛИ находится и рецензия Слуцкого на сборник Рубцова «Звезда полей». Рецензия не закончена и никогда не публиковалась. Вот ее полный текст:

«Первая книга поэта\*.

Это – стандартный заголовок, примелькавшийся, ничего не выражавший. Каждое из его слов надо мотивировать заново. Попробую сделать это в применении к первой книге поэта Николая Рубцова.

Первая книга часто бывает сборником юношеских упражнений, доказательством энергии автора и жалостливости редакторов.

Первая книга в подлинном смысле этих слов – обязательно пропущенная через ямбы и дольники судьба, новый человек, новая, доселе не бывшая живая душа.

Узколицый человек в берете и непонятном шарфе, глядящий на нас с приложенного к книге портрета – такую живую душу в поэзию принес.

Вехи его недлинной биографии – детство, юность в северной деревне, матросская служба на северных же морях и реках, Москва с ее Литературным институтом.

Особый строй души – элегическая грусть, сочетаемая с любовным приятием жизни. Особая манера письма, с первого взгляда связанная скорее с XIX веком нашей поэзии, чем с двадцатым, а по сути дела вполне современная, потому что и чувства и мысли нынешней периферии, глубинки, выражены Рубцовым совершенно точно.

---

\* «Звезда полей» была вторым сборником Рубцова. – *Здесь и далее примечания автора.*

Все это вместе и складывается в облик книги. Она называется “Звезда полей” – по одному из лучших стихотворений книги. Это название – неслучайное.

Критика сейчас хвалит почти все, и сказать о книге Рубцова, что это хорошая книга, – значит ничего о ней не сказать.

Поэтому применю старинный способ сравнения: наряду с первой книгой С. Липкина, “Звезда полей” – одна из среди наиболее значительных книг последних лет» (РГАЛИ. Ф. 3101. № 100. С. 57–58).

Но вот текст и самого письма:

«Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Лит. институте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара – Рубцов Николай.

У меня к Вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, на городского, спрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам – может быть, прочитаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом – уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину. На небе все время тучи.

Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...

До свиданья, Борис Абрамович.

От души, всего Вам доброго.

Буду теперь ждать от Вас ответа.

Мои стихи пока нигде не печатают. Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях.

Мой адрес:

Вологодская область,

Тотемский район,

Никольский сельсовет,

село Никольское.

Рубцову Николаю.

Салют Вашему дому!

5/VII – 63 г.»

Николай Рубцов, конечно же, не случайно написал Слуцкому письмо с просьбой о помощи.

Бывая в нашем московском кругу, он не раз, видимо, слышал от меня, от Передреева, от Кожинова, что Борис Слуцкий безотказно и поделовому относится и к просьбам подобного рода.

Но в этих двух документах – в рецензии и письме – меня особенно заинтересовало одно обстоятельство: как ярко и выпукло отразились в них характеры обоих людей. Четкая и одновременно достаточно глубокая и содержательная манера Слуцкого. Не случайно сопоставление книги Рубцова с книгой Липкина: Слуцкий, словно стратег, похозяйски, двумя-тремя фразами как бы пытается освежить картину поэзии тех лет, выдвинуть сразу два имени, казалось бы, с противо-

положных флангов ее... Рецензия не дописана, но я помню свой короткий разговор со Слуцким о Рубцове. Я прочитал ему стихотворение «Журавли», он задумался. И хотя стихи (было видно) произвели на него впечатление, однако форма их показалась ему, воспитанному на Маяковском, Хлебникове, раннем Заболоцком, чересчур архаичной (недаром он любил говорить, что каждый поэт должен летать на самолете собственной конструкции), Абрамыч произнес что-то о балломонтовщине и есенинщине, о некоей формальной «несовременности» стихотворения... так что, думаю, Рубцова до конца он понять и не мог. Но, между прочим, и русские поэты, особенно земляки Рубцова, не сразу поняли и приняли его.

Я помню, как он жаловался на них, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его.

Помню свои горячие стычки с Сергеем Поделковым, уверявшим всех, что рубцовские «Журавли» – сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: «Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...»

Помню, как непросто было нам убедить Егора Исаева, который тогда заведовал поэтической редакцией в издательстве «Советский писатель», что книга «Звезда полей» – событие и что издать ее нужно как можно скорее.

Но вернусь к письму Рубцова Слуцкому. В нем есть несколько наивных, лукавых и одновременно дерзких интонаций, которые всегда были свойственны Рубцову, когда он попадал в круг неизвестных людей или обращался с чем-то личным к малознакомому человеку. Ситуация щепетильная. Он просит двадцать рублей в долг у человека, который почти не знает его. В письме есть застенчивые фразы, которые он писал, как бы борясь с самим собой. «Некоторые стихи посылаю Вам – может быть, прочитаете?» «Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях» (он,

не будучи уверен, что его стихи понравятся Слуцкому, как бы обещает написать в будущем что-то более значительное). Одновременно, желая смягчить впечатление от своей «дерзкой» просьбы, он делится со Слуцким некоторыми тайными сторонами своего внутреннего душевного мира («А какие здесь хорошие люди!» «Младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно»). Рубцов рискует, но все-таки надеется, что его поймут. А уж в конце письма он совершенно «дал петуха», выкликнув панибратское «Салют Вашему дому!» – видимо, устал от своей же собственной застенчивости и робости.

Такие переходы в настроении от целомудренной стеснительности до внезапных приступов дерзости мы замечали за Рубцовым не раз. Однажды небольшая компания, уже порядочно разогретая, но желавшая погулять еще, по предложению Вадима Кожинова поехала к его армянским друзьям, жившим на Садовом кольце. Вадим, чтобы заинтересовать хозяев в набеге, позвонил им и сказал, что с нами Рубцов и что он будет петь.

Армянская семья жила по тем временам богато. Поэты вошли в просторную многокомнатную квартиру, где в гостиной на столе стояли дорогие коньяки, пол был покрыт толстым цветным ковром и в креслах сидели хозяева и гости, среди которых был какой-то немецкий ученый-филолог, жаждавший послушать песни Рубцова.

Николай, в своем заношенном костюмчике, в грязной рубашке, с обшарпанной гитарой в руках, обалдел от этого великолепия и, видимо, от смущения сразу же выпил чуть ли не полный стакан коньяка, который ему поднесли тут же, с одновременной настойчивой просьбой что-либо «исполнить»... Но произошел неожиданный конфуз. Наверное, оттого, что гости уже приехали, мягко говоря, не совсем трезвыми, коньяк, судорожно проглоченный тщедушным поэтом, сразу же вырвался обратно из его чрева на роскошный, украшенный цветами восточный ковер... Все замерли в ужасе, хозяйка бросилась на кухню, вернулась с ведром и тряпкой и стала спасать ковер... Однако воспи-



танный немец бросился к ней, потребовал, чтобы тряпку отдали ему, и, наклонившись, стал вытирать блевотину... Был он, этот немец, неизмеримо толстым, зад его, с натянутыми на ягодицах брюками, колыхался перед нетвердо стоявшим на ногах Рубцовым, который от ужаса и смущения смог исторгнуть из себя лишь одну фразу: «Еще и жопу выставил, немчура проклятая!». Все от этой неожиданной фразы захотали, и обстановка разрядилась, как воздух после удара молнии...

А в завершение хочу сказать лишь об одном: Николай Рубцов просит двадцать рублей у Бориса Слуцкого... Как горько мне сегодня думать об этом.

А летом 1998 года я побывал на открытии памятника Рубцову уже в самой Вологде, в центре города, на берегу реки. Друзья поэта подарили мне копию неизвестного доселе письма Николая Рубцова, написанного за четыре года до смерти.

*«В Вологодский обком КПСС  
от члена вологодского отделения  
Союза писателей РСФСР  
Рубцова Н. М.*

### З а я в л е н и е

Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в г. Вологде.

Родители мои проживали в Вологде. Я также родом здешний.

Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т.е. 1–2 месяца в год.

Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.

Я автор двух поэтических книжек (книжка «Звезда полей» вышла в Москве, в издательстве «Советский писатель», «Лирика» – в Северо-Западном книжном издательстве), а также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.

В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала бы и радовала жизнь и работа в г. Вологда.

15.VII.67 г.

*Н. Рубцов».*

Дали ему-таки комнатку, где он прожил последние три года жизни, а уж вечную прописку Николай Рубцов получил на вологодском кладбище, «в кругу берез любимых и печальных», где постепенно собрал вокруг себя своих друзей-земляков – Сергея Чухина, Виктора Коротаева, Владимира Ширикова...

Но почему, почему после смерти Рубцова возник и продолжает жить до сих пор настоящий русский, трепетный культ его судьбы и его поэзии? Ведь никогда не был он модным, не стремился к известности, не рвался на эстрадные подмостки – ни на отечественные, ни на международные. Нет ни одной записи, ни одного кадра Рубцова на нашем телевидении, сохранилась лишь одна короткая радиозапись голоса, и все равно его поэзия каким-то чудом – естественно, постепенно и властно, без саморекламы, прессы, скандалов, конной милиции, антрепренеров, вопреки глобальной экспансии массовой культуры – выжила, укоренилась и проводит благодатную работу по просветлению душ человеческих... Почему? Да, видимо, потому, что, как бы ни соблазнялась человеческая натура потребительством, развлекаловкой, кайфом, – все равно ее лучшая часть, пусть иногда бессознательно, но жаждет идеала, гармонии, цельности, света. А ведь именно этими жизнерождающими стихиями живет поэзия Рубцова,

и в этом его редчайшее значение для нашего времени, полного «тревог великих и разбоя». Несмотря на свою тяжелую, полную лишений жизнь, он писал неоскорбляемой частью души и думал всегда о высоком. Его муза никогда не впадала, по словам Блока, в публицистическое разгильдяйство, не соблазнялась модными темами сиюминутной фельетонности, мертво громыхающей гражданственности, картинами социального и бытового распада. Он никогда не потрафлял низменным инстинктам публики, не ласкал ее потребительские страсти. Вглядываясь в свою душу, он пытался понять душу человеческую, душу русскую, с ее извечной добротой, широтой, милосердием, и несовременное слово «душа», вобравшее в себя как бы суть рубцовской поэзии, вдруг обратило к нему сердца и взоры современников. Иногда кажется, что цель иных современных поэтов – разложить душу и в буквальном и в переносном смысле слова. Для Рубцова же душа, как бы ни давила на нее жизнь, как бы ни старалась превратить ее в «свмещенный санузел», цельна и неразложима.

Ну что ж? Моя грустная лира,  
Я тоже простой человек,  
Сей образ прекрасного мира  
Мы тоже оставим навек.

Русский образ прекрасного мира, который мы создавали веками и который сегодня позволяем разрушать.

Как это перекликается с заветом Александра Блока: «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен». Случайные черты никогда не затмевали для Рубцова красоту мира.

«Самоуважение нужно нам, а не самооплевание» – вот одна из последних записей Достоевского в дневнике. И, наверное, Николай Рубцов становится с каждым годом все дороже и нужнее нам, потому что растит в нас то самоуважение к себе, к Русской земле, русской душе,

русской истории, то самоуважение, без которого не может жить ни один великий народ...

Открывали мы в январе 1996 года в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школе-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что «де, мы-то его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!...» Своя у них правда...

*Р. С.* Как это ни печально, но в последние несколько лет о Николае Рубцове, о его жизни и посмертной судьбе, о его друзьях и недругах написано много глупостей, продиктованных когда невежеством, а когда и прямой злобой. Профессор В. Новиков (литературовед со стажем) наконец-то, через тридцать лет после смерти поэта, додумался до того, что Николай Рубцов – это «Смердяков русской поэзии».

Недавно в Санкт-Петербурге вышла антология «100 русских поэтов» (издательство «Алетейя», 1997 г., составитель В. Ф. Марков). Профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского университета делает в антологии такое примечание к стихам Николая Рубцова: «Кумир “деревенщиков”, Рубцов умер от того, что жена прокусила ему шейную артерию...». Просто сцена из американского фильма ужасов о вампирах.

Поэт Лев Котюков в своих мемуарах «Демоны и бесы Николая Рубцова» из кожи вон лезет, стараясь переписать прошлое. «Не надо Кожинову уверять публику, что он открыл нам поэта при жизни». А зачем Кожинову уверять публику? Та публика, которая помнит шестидесятые годы, и без всяких уверений знает, как Вадим Валерьянович ценил Рубцова и любил его поэзию при жизни поэта. Стоит лишь вспомнить его выступления тех лет да заглянуть в его статьи.

А вот еще один домисел Льва Котюкова. Он пишет о Передрееве, который, пожалев для Рубцова рубль займы, мысленно произносит: «В арбатский дом, например, к Кожиновым, дальше прихожей тебе хода нет...» Я свидетельствую, что Рубцов не раз бывал и в кожиновском, и в моем доме. Более того, однажды Передреев, Кожинов и Рубцов приехали за полчаса до наступления Нового года к отцу Кожинова. Были они уже в праздничном состоянии, и более всех Рубцов. Когда же отец Вадима сказал сыну: «Ну Передреев, Бог с ним, а этот чересчур выпивший – нельзя ли без него?» – Кожинов поругался с отцом, хлопнул дверью, и вся компания поехала встречать Новый год в общагу.

Как снежный ком с каждым годом нарастает кампания по ревизии судьбы и жизни Рубцова. Вот и Виктор Астафьев к ней подключился и меня помянул недобрим словом в февральском номере «Нового мира» за 2000 год.

«Друзья, объявившиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставляющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг».

Зря Виктор Петрович разбрызгивает свою желчь. Лучше бы написал о том, как он однажды Коле Рубцову не дал переступить порог своей квартиры и, больше того, «помог» ему с лестницы спуститься. Раньше Астафьев об этом охотно и со смехом рассказывал, что многие вологодские литераторы помнят. Сейчас, держа нос по модному ветру «культы Рубцова», помалкивает. Не буду подробно вспоминать, почему я не приехал в Вологду на похороны. Известие о смерти – дело всегда тяжелое, обессиливающее, надрывное. Не надо бы Астафьеву глумиться над моими чувствами тех печальных январских дней. Откуда ему было знать, что я думал и как переживал нашу общую утрату. Скажу только, что не «посторонними делами занимался», а некролог

по просьбе Белова в «Литературную газету» писал. Собирал подписи друзей и добивался того, чтобы в номер его поставили. А что же касается ядовитой реплики Астафьева о друзьях, «объявившихся ныне во множестве», куда он и меня зачисляет, то добавлю только следующее. Недавно я, будучи в Вологде, с радостью обнаружил в вологодском архиве мои три письма Николаю Рубцову. А я-то думал, что они пропали. Нет, сберег их Николай Михайлович, несмотря на свою безбытную жизнь. Видимо, дорожил ими. Вот они, эти письма как свидетельство наших отношений.

«Здравствуй, дорогой Коля!

Как тебе живется в твоём прекрасном далеке? Скоро ли приедешь к нам, порадуешь нас?

Пишу тебе не только по велению души, но и по делу. Книжку твою я сдал уже давно в издательство “Молодая гвардия”. Но пока ничего определенного они мне не говорят. В “Знамени” все стоит на месте. Я, видимо, заберу оттуда стихи и отнесу или в “Огонек”, или в “Литературную Россию”. Но я хочу, чтобы ты прислал мне еще стихов. Хотя бы из сборника “Душа хранит”, чтобы у меня их было побольше.

Толя уехал в Грозный вместе с Шемой. Игорь завоевывает Москву.

Пиши. Привет тебе от Гали.

Пьем мало, ибо нет ни денег, ни настроения.

Твой Стасик».

«2 сентября 1964 г.

Здравствуй, милый Коля!

Несказанно был рад твоему письму и спешу тебе ответить. Успокойся, никаких последствий наше поведение\* в ЦДЛ не имело, так как оно затмилось совершенно невероятным фактом: в тот же вечер какой-то крепкоголовый поэт разбил головой писсуар в уборной Дома

\* Речь шла о каком-то очередном скандале в ЦДЛ, в котором участвовали и Николай Рубцов, и я, и Анатолий Передреев.

литераторов. Так что ты остался студентом, и Передреев так же цел. Со стихами в “Знамени” еще нет ясности. Как только она будет – я тебе напишу.

Все мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Я даже сочинил несколько стихов. Вот один из них (Далее следовал текст стихотворения “Если жизнь начать сначала”. – *Ст. К.*).

Обнимаю тебя.

Станислав».

«Здравствуй, милый мой отшельник!

Поздравляю тебя с Новым годом. Рукопись на днях куда-нибудь отнесу. Она мне очень пришлась по сердцу. Дай Бог тебе в Новом году новых радостей. Поклон от Гали.

Обнимаю.

Стасик».

Все письма написаны Николаю Рубцову, еще неизвестному России поэту, в 1964 году. С Виктором Астафьевым он познакомился лишь через пять лет. Так что не следовало бы красноярскому классику язвить по поводу наших отношений. Лучше бы подумал о том, что в памяти вологжан еще живут слова Николая Рубцова о нем, об Астафьеве: «обкомовский прихвостень». Впрочем, в новомировских воспоминаниях есть немало точных и душевных размышлений о судьбе и поэзии Николая Рубцова, а также страстные монологи о Владимире Высоцком и нынешнем Останкино, под которыми я и сам готов подписаться. Но там же и столько глупостей наворочено о советской эпохе, о скульпторе Вячеславе Клыкове, который своего Сергея Радонежского «скоммуниздил у древних ваятелей», о «чудовищном государстве под звериным названием Эс Эс Эс Эр», о «нынешних коммуняхках», что поневоле подумаешь: «Куда там Новодворской или Сванидзе до Виктора Петровича! Поистине “широк русский человек!”»

## НАШ ПЕРВЫЙ БУНТ

*Русские патриоты и диссиденты. Еврейские откровения последних лет. Мои дневники семидесятых годов. Подготовка к дискуссии «Классика и мы». Мое выступление с трибуны. Жребий брошен. Зал и ораторы. Публичные схватки на сцене. Отзывы и легенды мировой прессы и дискуссия. ЦК и КГБ в ужасе. Меня изгоняют в отпуск*

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60–80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читаешь Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: «антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм».

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о «Метрополе», о Тарсисе, о бегстве Анатолия Кузнецова за рубеж, могу положить руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-нееврейцам: Виктору Некрасову, Владимиру Максимову, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в



XX веке, строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на Русской земле, когда рушится государство, как могли бороться с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т.д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и еврей-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты – еврейскими националистами, радетели «советской общности людей» эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60–80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья...».

«Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, – пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. – Как ее определить – право, не знаю. Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм, Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов. Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского...»

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрываемые от мира в те времена.

А если кто-то из нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу «взявшихся за руки», и, не дай Бог, открыто говорил или писал об этом,

какой ор, какой возмущенный вопль исторгался из недр еврейской компании! Всё сразу вспоминали их адвокаты – и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов – святая святых нашего общества, и что нечего «разделять людей по национальному признаку».

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

«В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: “Почему, Лева?” Он: “Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. – *Ст. К.*) Но как бы тебе это поточнее... Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю...”»

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Батюшкову, написанном аж в 1909 году: «Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал “извините”, побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и когда его клиент очоленел от изумления, Фигаро спокойно объяснил: – Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с. Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид, со своим грядущим Сионом...»

Вот эти слова «все равно завтра переезжаем-с» глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин – все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети пламенных революционеров, пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва Збарского балламитовал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окончательно породниться, потому что их «русское диссидентство» по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного «лобби» на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения. Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и наш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть нашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу, и это резко отделяло нас от «русской национальной диссидентуры».

Мы хотели, чтобы наши взгляды распространялись на Родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути «подполья», по которым шли журнал «Вече» или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, «хельсинкских групп», Солженицынского фонда и т.п.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку «мирового сообщества», нагнело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупоэта, полупублициста Б. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

«Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскуделые и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских».

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

«Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интеллигенции в 20–30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т.д.! – *См. К.*), евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями».

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того чтобы показать, как созревало мое национальное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

«16.01.1971 г.

В сегодняшней “Правде” статья о Солженицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант – приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходится жить в той России, которая есть и будет, думать о ее будущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых наше могучее государство не может ни замолчать, ни посадить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать, – необыкновенно интересное свидетельство нынешнего нашего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?»

«18.01.1974 г.

Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно просвета в его болезнях. Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высываться до конца дней своих?»

«25.01.1974 г.

То, что Блок, будучи по существу антисемитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) – не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся.

Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувство – значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя забывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тщательным образом все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков, – уничтожил. Но антиеврейские страницы оставил. В этом тоже есть какая-то тайна и какой-то завет».

«26.01.1974 г.

Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой – от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготовленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет».

«15.02.1974 г.

Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т.д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге.) Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности, это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно – варягам, татарам, немцам, почему бы в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: “Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-о-рвало-о-сь! Что-о-о же дела-а-ть?!”»

«29. 02.1976 г.

Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 5 лет: “Лица человеческого жажду. Коржев приезжал – нет уже на нем лица. Надо встретиться.

Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого”.

...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве».

«9.08.1976 г.

Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00.

– Хочу Вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: “Я падал вверх”».

«15 мая 1977 г.

Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда “антисемитизм Станислава” – от Достоевского или Палиевского – наивно: от русофобства 20–30-х годов, от национального чувства, уязвленного массовой эмиграцией еврейства после 67-го года, после арабо-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов».

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей – не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и русским государственным.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай – и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, – все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно». Потому в конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилось сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу «Воспоминания о Багрицком», в которой авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором «Слова о полку Игореве», Ильей Муромцем, называя «гением», «классиком», «великим лириком», вошедшим в историю «советской и мировой литературы». Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все «русские» журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, – меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился и рутинной работой, и правилами игры, которые должен был соблюдать.



Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в «Новый мир» к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда «Брестской крепости», будучи уже смертельно больным человеком, недолго думая предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался «вольным охотником», авантюристом и независимым человеком. «Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот», – подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда – русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены «задами тяжкими татар»!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-Заде, Давид Кугультинов, Зульфийа, Наби Хазри, Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов – Хелемского и Козловского, Юлии Нейман,

Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков, думал я, можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с «национальными классиками» многих замечательных русских писателей и поэтов 50–80-х годов – Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки «в черном теле». Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей – по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать–тридцать лет литературной жизни... По 3–4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: «Да, восстание против гипертрофированного засилья “националов” дело необходимое, но... не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-руссофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками...»

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся – от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, – я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии «Классика и мы» была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на приглательном билете: А. Борщаговский, Е. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек – Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на нашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперники же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с «Метрополем», в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немислимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы действовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: «Иду на вы!»

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи:

*Е. Сидоров:* А сейчас слово имеет поэт Станислав Куняев. Приготовиться Анатолию Васильевичу Эфросу.

*Ст. Куняев:* Для того чтобы мое выступление заняло меньше времени, я его написал, и к тому же мне придется много цитировать, я просто его читаю.

Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии, если бы однажды не прочитал объемистую книгу – «Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников». «Советский писатель», 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое – спорным, многие выводы – надуманными. После ее прочтения я взял однотомник поэта, чтобы сопоставить то, что пишет он сам, и то, что пишут о нем. Подвигнуло меня к этому и то, что буквально в это же время в статье, посвященной 80-летию Багрицкого, «Литературная газета» писала:

«Мы для того, чтобы утвердить высокие категории на сегодня и на года вперед, признаем классиками лишь несколько советских поэтов, открывая список именами Маяковского, Блока, Есенина. В этом живом и почетном списке – Эдуард Багрицкий».

Книга «Воспоминания о Багрицком» подчинена той же цели – доказать, что его творчество продолжает классическую традицию русской поэзии в советскую эпоху. Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого издания. Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

«По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, – Тургеневу, Фету, Бунину». «Пускай Незнакомка Багрицкого (речь идет о гимназистке из поэмы «Февраль») так же, как когда-то Незнакомка другого великого лирика (имеется в виду Блок. – *Ст. К.*), прозаически ударилась о грубую, оскорбительную в своей низости землю» (Антокольский).

«Я считаю, что лучшее из того, что написал Багрицкий, есть поэма “Последняя ночь”. Эту гениальную поэму оставил Багрицкий как памятник своему поколению» (Юрий Олеша).

«Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор “Слова о полку Игореве”» (Марк Тарловский).

«В поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво, неизменно вызывала образ Пушкина, Багрицкий преданно любил Пушкина – как подбавляет русскому поэту» (Лидия Гинзбург).

«Недавно я снова прочитал поэму “Человек предместья”... эта поэма, и с нею “Последняя ночь” и “Смерть пионерки”, составляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, была запущена в историю советской и мировой литературы...» (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добыванию хлеба насущного, приятие относительно устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...» Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приехавший в родную деревню как иностранец – в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преобразался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача –  
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,  
Пахарю, чтоб плуг его и кляча  
Доставали хлеба на года...

Словом, вот такой подход к этой теме – один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Вот в центре поэмы «Человек предместья», которая, по словам одного из мемуаристов, была запущена как ракета в историю совет-

ской и мировой литературы, маленький обыватель, заурядный человек, не значительнее чиновника Евгения из «Медного всадника», «станционного смотрителя» или какого-нибудь мещанина из рассказов Бунина, а то и Андрея Платонова или Ивана Африкановича из повести Белова. Но наши классики могли увидеть в этой заурядной человеческой особи всегда что-то значительное. И в этом – одна из гуманистических традиций русской литературы. Багрицкий же, как говорится, всеми фибрами души не принимал вчерашнего крестьянина за то, что тот, ушедший от земли, служа стрелочником на железной дороге, умудряется еще по старой памяти и пчел развести, и плотничать, и сена накосить корове, и молоко продать: «Жена расставляет отряды крынок – туда в больницу, сюда – на рынок». Самые естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто, требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения.

Недаром учили: клади на плечи,  
За пазуху суй – к себе таща,  
В закут овечий,  
В дом человеческий,  
В капустную благодать борща.

В другом программном стихотворении эта ненависть вообще приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать на счет лирического героя.

Он вздыбился из гущины кровей,  
Матерый желудочный быт земли.  
Трави его трактором. Песней бей.  
Лопатой взнуздай, киркой проколи!  
Он вздыбился над головой твоей –  
Прими на рогатину и повали.

Мемуаристы пишут, что по чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, от автора «Слова» до Фета и Бунина. Но ведь это не совсем так. Если перейти к школьной терминологии, то каждый русский поэт всегда представлял нечто целое с природой, в которой он рос. Есенинские пейзажи Рязанщины или некрасовская Ярославщина были необходимой частью их поэтического мира. Эти пейзажи могли быть радостными или грустными, но враждебными – никогда. Багрицкому же природа, с ее деревьями, травами, зноем и дождем, в лучшем случае служила материалом для литературной ситуации, а вообще была совершенно чужда.

Вот цитирую просто подряд то, что можно, открыв книгу, выбрать: «Трава до оскомины зелена, дороги до скрежета белы», «Пыль по ноздрям – лошади ржут», «Кошкам на ужин в помойный ров заря разливает компотный сок», «Под окошком двор в колючих кошках, в мертвой траве», «Сад ерзал костями пустыми», «Над миром, надтреснутым от нагрева, ни ветра, ни голоса петухов».

У Афанасия Фета была та же болезнь, что у Багрицкого, – астма. Но физические страдания не заставили его ненавидеть «все, что душу облекает в плоть». Наоборот, обостренное чувство скоротечности жизни рождало и питало весь пантеизм Фета. Все его творчество как бы молитва прекрасному земному бытию и благодарность за радость жизни.

Не жизни жаль с томительным дыханьем (имеется  
в виду астма. – *Ст. К.*), –  
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем,  
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Так что не в человеческих недугах суть, когда речь идет о поэзии.  
Дело в ощущении мира...

Стихотворение Багрицкого «Папиросный коробок» является, вернее, кончается завещанием поэта сыну:

Прими ж завещанье. Когда я уйду  
От песен, от ветра, от родины –  
Ты начисто вырубь сосны в саду,  
Ты выкорчуй куст смородины!..

При чем тут сосны? Да при том, что прекрасные сосны в прекрасном ночном саду в воображении поэта ассоциируются с виселицами николаевской эпохи.

Баратынский, один из самых пессимистических русских поэтов, человек эсхатологического, что ли, склада души, когда писал стихи «На посев леса», не мог себе представить, что ровно через век придет другой поэт и русским языком скажет своему сыну: «ты начисто вырубь сосны в саду». Баратынский в простом земном деянии находил утешение своей измученной раздумьями душе, не ожидая приветов от будущих поколений, сам посылая им привет:

Ответа нет! Отвергнул струны я,  
Да хрящ другой мне будет плодоносен!  
И вот ему несет рука моя  
Зародыши елей, дубов и сосен.

Но вернемся к ключевой теме, с которой я начал свой разговор, – к «человеку предместья». Что же в своем горячечном бреде поэт предлагает взамен мира, который он хотел разрушить? Он созывает своих друзей, «веселых людей своих стихов».

Чекисты, механики, рыбоводы,  
Взойдите на струганое крыльцо.



Настала пора – и мы снова вместе!  
Опять горизонт в боевом дыму!  
Смотри же сюда, человек предместий:  
– Мы здесь! мы пируем в твоём доме!

Так и хочется спросить – а продукты откуда? Да, наверное, оттуда же, откуда у Иосифа Когана из «Думы про Опанаса», который ужинает в хате «житняком и медом», отобранном у мужиков, и этих же самых мужиков смущает речами:

Сколько в волости окрестной  
Варят самогона?  
Что посевы? Как налоги?  
Падают ли овцы?..

Кстати, какое-то почти мистическое, странное совпадение, что Зинаида Шишова в этой же книге «Багрицкий. Воспоминания современников», например, пишет: «Багрицкий пришел в революцию, как в родной дом. Бездомный бродяга и романтик, он пришел, сел, бросил кепку и спросил хлеба и сала. (Шум.) Это было самое прекрасное сердце, какое только билось для революции».

А поэт беседует в доме человека предместья со своими друзьями, у которых «пылью мира (но не пылью работы! – *Ст. К.*) покрылись походные сапоги». Прямо конквистадоры какие-то!

Вокруг них на пепелище, где когда-то жили обычные, не безгрешные люди, в поту добывающие хлеб насущный, воют романтические ветры, «в блеск половиц, в промытую содой и щелоком горницу (цитирую. – *Ст. К.*) врывается время сутуловатое, как я, презревшее отдых и вдохновением потрясено».

Дальше начинаются совершенно апокалипсические картины разрушения жизни: «Вперед ногами, мало-помалу, сползает на пол твоя

жена!» Человек предместья, как некая нечисть под крик петуха из гоголевского «Вия», бросается в окно. Лоб его «сиянием окровавит востока студеной полоса», и он слышит, «как время славит наши солдатские голоса».

Вот что написано в одна тысяча девятьсот тридцать втором году одним из талантливых советских поэтов тех лет. Читая эти стихи сейчас, я думаю о том, как все-таки изменилась жизнь за три десятилетия или четыре. Как много надо переоценить, поставить в связь с сегодняшним днем. Поистине – большое видится на расстоянии.

Лев Славин в статье «Поэзия как страсть», говоря об атмосфере южного города, где формировался яркий талант Багрицкого, пишет следующее в той же книге «Воспоминаний»: «Под этим плотным, вечно синим небом жили чрезвычайно земные люди, которые для того, чтобы понять что-нибудь, должны были “это” ощупать, взять на зуб. Заезжие мистики из северных губерний вызывали здесь смех. В Одессе никогда не увлекались Достоевским. Любили Толстого, но без его философии».

Мне не хочется доказывать разницу количественную и качественную масштабов жизнелюбия автора «Казаков» и «Хаджи-Мурата» и создателя поэмы «Февраль». Это поставило бы меня в неловкое положение. Но любопытно то, что Багрицкий, обладавший, по свидетельству современников, неисчерпаемым знанием мировой литературы, способный в любое время дня и ночи прочитать на память страницы Стивенсона, Луи Буссенара, Киплинга и так далее, не любил Толстого.

Дальше цитирую: «И когда МХАТ поставил “Воскресение” Толстого, Багрицкий возмущался. Я спросил его: “Читал ли ты этот роман?” Он ответил: “Нет! И читать не стану!” Одно это название, “Воскресение”, в годы юности оттолкнуло Багрицкого» (из воспоминаний М. Колосова).

В стихотворении «ТВЦ» есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика.

Оглянешься – а вокруг враги;  
Руки протянешь – и нет друзей;  
Но если он (век имеется в виду. – *Ст. К.*)  
Скажет: «Солги», – солги.  
Но если он скажет: «Убей», – убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облакает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,  
Над ними захлопывались рвы,  
И подпись на приговоре вилась  
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно – поэт вроде бы почти разделяет эту радость. (*Шум. Аплодисменты.*) Так бесконечно...

*Е. Сидоров:* Так, Станислав Юрьевич. Товарищи! Я не понимаю этого выступления. Мы не обсуждаем творчество Багрицкого. (*Аплодисменты.*) И мне кажется, что Ваше выступление немножко не на тему сегодняшней дискуссии. (*Шум. Аплодисменты.*)

*Ст. Куняев:* Одну минуточку. Наша тема – «Классика и мы». А то, что в самом начале я говорил о понимании Багрицкого как классика, подразумевает и мое истолкование, и мое понимание этой проблемы. (*Выкрики.*) У меня осталось еще на пять минут.

*Е. Сидоров:* Пожалуйста, пожалуйста, Станислав Юрьевич! У нас дискуссия. Я тоже могу высказать свое мнение.

*Ст. Куняев:* Это все весьма далеко от пушкинского, что в «мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заболоцкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, обронил:

Не злодей я и не грабил лесом,  
Не расстреливал несчастных по темницам...

Кстати, недаром эти строки очень нравились Мандельштаму, который вообще прохладно относился к творчеству Есенина. И потому уместно вспомнить, что в ту же эпоху неоклассик, как его иногда называют, Мандельштам, отстаивая за поэзией право на гуманизм, писал:

Мне на плечи бросается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей,  
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав  
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,  
Ни кровавых костей в колесе,  
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы  
Мне в своей первородной красе.

Поразительно, что совпадение текста у обоих поэтов почти буквальное. У Багрицкого – «век-часовой», у Мандельштама – «век-волкодав». У Багрицкого – «их нежные кости сосала грязь», у Мандельштама – «чтоб

не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». Как будто бы... (*Выкрики. Аплодисменты.*)

*Е. Сидоров:* Товарищи! Нет-нет, нет ничего неожиданного. Пожалуйста, не надо!

*Ст. Куняев:* Будьте добры, аплодировать будете потом. Дайте мне договорить, пожалуйста!

*Е. Сидоров:* Я прошу...

*Ст. Куняев:* Как будто бы Мандельштам вслед за Есениным, спасая гуманистическую честь русской классики, сознательно полемизирует с автором поэмы «Февраль». Обратимся же (вот сейчас я сниму те возражения, которые мне сделал наш председатель) – к нашим более близким временам, обратимся к поэзии Ярослава Смелякова. Он не раз упоминал Багрицкого в числе своих учителей. Но в одной из последних книг «День России» опубликовал стихотворение «Сосед», которое написано как будто бы, как мне кажется, чтобы изложить свой взгляд на человека из предместья.

Здравствуй, давний мой приятель,  
гражданин преклонных лет,  
неприметный обыватель,  
поселковый мой сосед...

Тридцать лет. Целая эпоха прошла между этими произведениями. За эти годы человек из предместья выжил, заставил себя уважать, что очень хорошо понял Ярослав Смеляков.

Захожу я без оглядки  
в твой дощатый малый дом.  
Я люблю четыре грядки  
и рябину под окном.

Смеяков внешне спокойно и добродушно, но с внутренней твердостью защищает этого человека. Недаром, говоря о своем соседе, он вдруг резко смешивает высокий и низкий стиль:

Персонаж для щелкоперов,  
Мосэстрады анекдот,  
жизни главная опора,  
человечества оплот.

А поругивают его – уже не так страшно, как во времена Багрицкого. За что?

Пусть тебя за то ругают,  
перестроиться веля,  
что твоя не пропадает,  
а шевелится земля.

Ругают – это просто по инерции, а по существу давным-давно стало понятно, что человек из предместья – это рядовой войны и жизни, который в меру своих сил защищает, строит ее для себя, для своих детей, а значит, и для будущего. А когда остается время, то и цветы посадит, и наличники вырежет, и дом украсит.

Это все весьма умело,  
не спеша, поставил ты  
для житейской пользы дела  
и еще – для красоты.

Была у Багрицкого еще одна причина (кроме нездоровья) ненавидеть человека из предместья. Она, так сказать, мировоззренческая. Со страшной последовательностью и пафосом он отрекался не только от быта вообще, от быта, чуждого ему, но даже и от родной ему по проис-

хождению местечковости. Он произнес по ее адресу такие проклятья, до которых, пожалуй, ни один мракобес бы не додумался.

Еврейские павлины на обивке,  
Еврейские скисающие сливки,  
Костыль отца и матери чепец –  
Все бормотало мне:  
– Подлец! Подлец!

Мещанство? Когда говорят о мещанстве, я вспоминаю рассказ Платонова «Фро», когда дочь жалуется отцу, что вроде боится она, что ее оставит жених, потому что она считает себя мещанкой. А отец послушал-послушал ее и говорит: «Мещанкой считают тебя? Да какая ты мещанка! Вот твоя мать была мещанка, а тебе до мещанки еще расти и расти надо».

Поэт остался верен неприятию вечных форм жизни, с бесстрашием жестокости отрекаясь от своего происхождения.

Любовь?  
Но съеденные вшами косы;  
Ключица, выпирающая косо;  
Прыщи; обмазанный селедкой рот  
Да шеи лошадиный поворот.

Эта совершенно физиологическая злоба по отношению к близким удручающа. Она не просто не в традиции русской классики, но и вообще литературы. Как будто не было в мире трогательных и печальных героев Шолом-Алейхема, как будто не у кого было поучиться поэту кровной любви и духовному чувству, роднящему нас с каждым, и в первую очередь с нашими близкими.

Уж на что Есенин поездил по всему миру, всего посмотрелся, а разве можно себе представить его порывающим со своим бедным, но доро-

гим сердцу бытом, с убогой крестьянской избой, не всегда радостными воспоминаниями о деревне и детстве. Наверное, потому в этом авангардистском бунте Багрицкого против своего родного быта нет ничего трагического, то есть очистительного, а есть только злоба.

Родители?  
Но в сумраке старея,  
Горбаты, узловаты и дики,  
В меня кидают ржавые евреи  
Обросшие щетиной кулаки.

Я покидаю старую кровать:  
– Уйти?  
Уйду!  
Тем лучше!  
Наплевать!

Никакой боли не испытывает герой, уходя из отчего дома, как будто не здесь зачали его, вскормили материнским молоком, как будто подменили ему человеческое сердце волчьим. И уходит он с родного порога, огрызнувшись по-волчьи. Это не юношеский максимализм. «Происхождение» написано незадолго до смерти. Такого комплекса в русской поэзии не было и быть не могло.

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме «Февраль», являющейся, так сказать, его завещанием. Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделяются эпитетами – «гениальная, эпохальная», не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. «Маленький мальчик», «ротный ловчила», на котором неуклюже сидит военная форма, которому неу-



ютно в этом мире, который мечтает «о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин». Мир, полный романтического комфорта, – вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: «кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку». Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в округе вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость цела,  
Как струна, натянутая до отказа.  
Я много дал бы, чтобы мой пращур  
В длиннополом халате и лисьей шапке...  
Чтоб этот пращур признал потомка  
В детине, стоящем подобно башне  
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок  
Был мой век, за то, что я застенчив,  
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере.

*Е. Сидоров:* Так. Все! Пять минут...

*Ст. Куняев:* Все! Последняя страница! (*Шум.*) Вот последняя страница! И больше не будет.

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны. Размышляя на эту тему, мне все время приходилось помнить, что нельзя путать понятия личности поэта и лирического героя. Я думаю, что Бабель, статья которого есть в книге «Воспоминания о Багрицком», имел полное право искренне написать следующее: «По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других. Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай, будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого, из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти. Какими легкими соседями будем тогда мы окружены, как неутомительна и плодотворна будет жизнь».

Но одно дело – оценка человека, другое – оценка творчества. Я могу понять Бабеля, но мне трудно согласиться, допустим, с Любимовым, который пишет: «Поэзия Багрицкого отлично помнит свое родство с русской классической поэзией». Или с Сельвинским, безапелляционно заявившим в этих воспоминаниях: «Поэт Эдуард Багрицкий. Классик».

Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов – гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историей, природой – поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции.

Бессмысленно смотреть на его творчество через эту призму, что пытаются сделать многие наши критики, литературоведы, мемуаристы. Мало любить Пушкина, мало обладать даже таким большим талантом, какой был у Багрицкого. Традиции русской поэтической классики требуют большего. (*Аплодисменты.*)

*Е. Сидоров:* Я прошу у зала полномочий через пятнадцать минут, вне зависимости от содержания выступления, стаскивать человека с

трибуны. *(Шум.)* Времени у нас мало. Мы ограничены условиями природными... Вот... *(Смех.)* Слово имеет Анатолий Васильевич Эфрос.

*А. В. Эфрос:* Товарищи, я очень волнуюсь, скажу вам, потому что я очень редко бываю в этой аудитории и совсем не знаю ее состава, не представляю, как товарищи относятся к театру, к моим спектаклям. Может быть, меня настолько терпеть не могут, что меня ошикают через три минуты, я попаду в глупое положение. Я очень вас прошу терпеливо выслушать то, что я скажу, хотя скажу я, может быть, не так гладко, сумбурно.

Хоть я пришел сюда, я стоял в списке, я подумал, что я выступать не буду, послушаю, кто что скажет. Но начиная с первого выступления меня начинает что-то трясти, и я не могу не выйти. *(Аплодисменты.)* Хотя должен вам сказать, что я всегда потом думаю, что совершаю глупость. *(Смех.)* Вы понимаете, мне кажется, что второе выступление есть прямое продолжение первого выступления. *(С места: «Правильно!» Аплодисменты.)* И если эту линию немножечко не прервать, то третье будет выступление чудовищное. *(Смех. Аплодисменты.)*

Вы понимаете, извините меня, пожалуйста, за неизящное выражение, но тут приводится пример с Шукшиным насчет черта (об этом говорил Петр Палиевский. – *Ст. К.*). Так вот, кто эти черти? *(Смех. Аплодисменты. С места: «Это вы!»)* Совсем не те, на кого намекает этот товарищ. *(Аплодисменты.)* А может быть, совсем в противоположной стороне стоящие. Вы понимаете, товарищи, я что хочу сказать. Опасно, опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время, что оно перестало играть такими вещами. Не начинайте сначала!

Скажите, пожалуйста, вот только один вопрос. Ну не стану даже касаться такого вопроса – зачем вдруг сейчас с корабля современности сбрасывать Багрицкого? Или я не знаю... Я не понимаю. Ну, допустим, ладно. Скажите, пожалуйста, зачем нужно противопоставлять и стравливать давно ушедших Булгакова и Мейерхольда? (Оценка их творчества была в выступлении Палиевского. – *Ст. К.*) Скажите, пожалуйста, разве нам всем неизвестна судьба Мейерхольда? Что он сделал для ис-

кусства, что он сделал для будущего и чем он закончил? Разве нам неизвестна судьба Булгакова? Они равны. (*Выкрики.*) Только один – деятель театра, он сделал для искусства театрального так много, как другой сделал для литературы. (*С места: «Кто это сказал?»*)

Вы спрашиваете, кто это сказал? В данном случае сказал это я. Если вы со мной не согласны, это не значит, что вы правы.

Для меня, для театрального деятеля, для многих любителей искусства Мейерхольд – фигура удивительная. Зачем их стравливать?! (*С места: «Их сравнивали.»*)

Зачем их сравнивать в том смысле, что один нуждается в одном, а другой – в другом? Ну а, допустим, Вишневский нуждался в Мейерхольде. Ну и что? А Мейерхольд нуждался в Вишневском. (*Шум.*) В данном случае Булгаков был воспитанник совсем другой школы, но почему говорить, что мы сосем кого-то, а нас, допустим, никто не сосет?! (*Смех. Аплодисменты. С места: «Невкусно!»*)

Для вас невкусно, а для других – вкусно. Это реплика – невкусно, потому что... Грубо! (*Шум.*) Грубо!

Вы знаете, я хочу вот что сказать. Я не знаю, может быть, для вашей аудитории это вещи естественные. Не нужно враждебности! Мы, слава Богу, ее пережили! (*Аплодисменты.*) Ваша воинственность на чем-то замешана не очень хорошо. (*С места: «На Багрицком», «А ваша воинственность?»*)

*Е. Сидоров:* Товарищи!..

*А. Эфрос:* А моя на том, что я работаю, ставлю спектакли, но они почему-то подвергаются сомнению, говорят, что я сосу Тургенева.

*Е. Сидоров:* Анатолий Васильевич!.. Разрешите мне, пожалуйста!..

*А. Эфрос:* Между тем как это совсем не так. (*Шум.*)

*Е. Сидоров:* Анатолий Васильевич, подождите, я поговорю с залом.

*А. Эфрос:* Товарищи, я вас предупредал...

*Е. Сидоров:* Перестаньте, я вас прошу, кричать! Будьте толерантны, уважайте себя! Слушайте оратора! Это же стыдно кричать, вести себя как на стадионе.

*А. Эфрос:* Теперь вы знаете...

*Е. Сидоров:* Здесь не «Спартак» играет, здесь происходит совершенно другое.

*А. Эфрос:* Ничего, все нормально.

*Е. Сидоров:* Нет, я думаю, что ненормально! Дискуссия идет...

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кошунственных для других. Но вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновение теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне – полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне – выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его атмосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве – толпясь в переполненном фойе – одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне

записку со словами: «От русских художников за отвагу в неравном бою...» Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина «До третьих петухов» о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря – чертей. «Бей их!» – закричал вдруг один монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса. Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова – руководителя московских писателей, – она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: «Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью», «почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно», «если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?»

На самом деле, хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патриотический Талейран сразу понял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался: «Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кожинным и Палиевским копаете под меня...»

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

– Вы же поэт! Ну и пишите стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: «Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?! Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты – и Мандельштам и Багрицкий, но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого?»

Думаю, что сейчас Евтушенко многое бы отдал за то, чтобы эти его слова не сохранились в истории, а потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что «патриотизм – это последнее прибежище негодяев», ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе – человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: «Линия Маяковского не может быть совместима в русской литературе с линией Есенина», «тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование (*Выкрики.*)», «Любимова мучит комплекс демиурга – он должен создавать, творить, быть исполнителем ему не по нутру... Но если он творец-режиссер, то он обязан подчиняться! А если он просто творец – пусть пишет сам (*Шум, аплодисменты*)».

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом. Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбило некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважа-

ли... В годы перестройки ренегатская логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь, а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: «Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: “Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним...” Это не просто личное невежество поэта».

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: «Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим...»

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи на трибуну вышел Вадим Кожинов и заявил, что он, «если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась».

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали:

«Вадим Валерьянович! (*Шум.*) Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было! (*Выкрики, аплодисменты.*)



*В. Кожин:* Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана (*Шум*), написана совершенно в провокационных целях... (*Шум, аплодисменты.*) Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою, так сказать, какую-то антисемитскую позицию...»

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

*Ф. Кузнецов:* Прошу...

*В. Кожин:* Он именно хотел возбудить страсти.

*Ф. Кузнецов:* Я прошу вернуться к теме дискуссии.

*В. Кожин:* Правильно, я о том же.

*Ф. Кузнецов:* И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей.

*В. Кожин:* Правильно, но я...

*Ф. Кузнецов:* Слава Богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...

*В. Кожин:* Совершенно верно, Феликс, но не я же...

*Ф. Кузнецов:* Зачем же возвращаться...

*В. Кожин:* Не я же эти страсти возбудил...

*Ф. Кузнецов:* Что значит «не я же»...

*В. Кожин:* Но я действительно свое...

*Ф. Кузнецов:* Я прошу перевести разговор в русло литературы. (*Шум, выкрики.*)

*В. Кожин:* Все правильно, я про то и говорю.

*Ф. Кузнецов:* А ты свое...

*В. Кожин:* А чего «свое»? (*Шум, крики.*) Ну знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...

*Ф. Кузнецов:* Вот именно...

Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи

нервы сдали у опытного аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожин сошел с трибуны, «Пупсик» Сидоров (как мы его звали) сошелся на фальцет:

– Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упреки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

– Но ведь Чехов тоже помер, – пошутил я, – и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им «Вишневого сада» или «Трех сестер»...

Весьма достойно выступила Инна Бенционовна Роднянская. Но после дискуссии она призналась Вадиму Кожину, что сказала не все, что хотела поговорить о «главном кровопийце», измывавшемся над классикой в 20–30-е годы, о Сергее Эйзенштейне, но атмосфера зала настолько напугала ее, что пришлось от этой мысли отказаться.

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаюсь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

– Волк! – бросилась ко мне навстречу Татьяна. – Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес: «Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем».

Мои карманы были набиты записками, которые я получил за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух: «Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо – сильно, ярко ты выступил о Багрицком – с каждым словом твоим

согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии – и классической и современной. 21-ХП-77 г. Анатолий Жигулин».

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть «Черные камни», в которой оболжет своих «подельников», станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расхотелись с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу – о счастье! – нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы «не раскачивать лодку», запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали пространные отклики на нее.

Из белградской газеты «Политика» от 15.01.1978 года: «Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников».

«Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за “космополитизм”) обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. “Вы говорите, что ‘Тихий Дон’ – лучший роман XX века, но кто это доказал, – спросил критик”».

«Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. “Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе”».

«Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он “в кругу семьи” и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: “А вы что, не знаете Россию?” Смысл этой фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным».

Парижская газета «Монд» опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием «Неосталинистское наступление в Союзе писателей».

«Собрание, организованное сторонниками “неосталинистской” фракции в Союзе писателей, прошло под знаком откровенно анти-семитских выступлений и прославления “подлинно русского” искусства сталинской эпохи».

«Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили».

Израильский журнал «22» посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер. Из статьи В. Богуславского «В защиту Куняева»: «Главарями Октябрьской революции были авантюристы, полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и “экстерны”, духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией – “солдатами революции” – стало откровенное быдло... Новый класс – это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры... Задача Куняева – отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, “заменяв” вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным», «В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон – “сионистском”) обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!..»

Из статьи Шимона Маркиша «Еще раз о ненависти к самому себе»: его друг «хорошо знал Куняева, дружил с ним и всегда говорил

о нем одно хорошее... вроде бы карьеры он не сделал, в начальники не пробился и не пролез. Значит, к его словам можно относиться серьезно. Это не лозунги, окупающиеся и оплачиваемые без промедления (как у хитрейшего ловкача Ильи Глазунова)».

«“Мандельштам – это жидовский нарост на чистом теле тютчевской поэзии...” Слова приписываются Петру Палиевскому... Эта отчаянная ненависть, по-моему, менее оскорбительна для Мандельштама, чем снисходительное похлопывание по плечу, которого удостаивает его Куняев».

«Никто не убедит и не принудит меня отказаться от своей еврейской точки зрения, – пожертвовать своими, еврейскими интересами ради универсальной идеи – будь то “пролетарский интернационализм”, “великая Россия”, “торжество христианства”, “благо всего человечества” и т.п. И если нет другого выбора, кроме как: погромщик-антикоммунист или коммунист, спасающий еврейские жизни, – я (вместе с Багрицким) выбираю второго».

Комментарий М. Хейфица из «22» назывался так: «Эдуард Багрицкий – растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Куняева». Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь «своих негодяев». Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, – от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор\*.

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным «радиоголосам», появились и публикации искаженных стенограмм в «самиздатских» журналах, сопровождаемые статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в «возрождении сталинизма», в «призыве к погромам», а других – в трусости и неумении дать достойный отпор «зарвавшимся черносотенцам» и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

---

\* Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге «На том стою», изданной лишь в 1991 году. «Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи – однако, как еврейка, я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди».

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позже запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР  
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР РАБОТНИКОВ,  
ИНЖЕНЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА имени тов. СТАЛИНА

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича – зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича – начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давыдовича – начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

4. ФИРИНА Семена Григорьевича – начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. ЖУКА Сергея Яковлевича – зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича – пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича – зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР

*М. КАЛИНИН*

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР

*А. ЕНУКИДЗЕ*

*Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.*

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин, Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества? Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидит пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка, среди других народов или как страх?»

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации – кощунственно, но Бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

«Если бы Палиевский, Куняев, Кожин и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так:

“Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т.п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году – и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру ‘инородцы’”».

«Куняев наиболее откровенно отбросил “литературные тонкости”, которыми драпировались другие, – и в его выступлении наиболее “грубо, зримо” проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности – в противовес неосуществившемуся интернационализму 20-х годов».



Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха – так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

«Но “инстанции” и “почвенники” очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, – лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души “инстанции”, как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду “зрелого социализма” и “развитой советской демократии”. И они по-своему правы». «Дискуссия в ЦДЛ была своего рода “разведка боем”, пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии».

«Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных, способных выработать новую национальную идеологию».

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, «образованные, способные, интеллигентные» русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех «в одну ночь» взять можно, а вот русские националисты представляют собой действительно серьезную опасность... Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960–1970-х годах она числила себя по отчеству «Петровной», как и Межиров, в годы перестройки ставший Пинхусовичем) в газете «Русское слово» (1990 г., 17 июля) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так: «Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия “Классика и мы”... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого».

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовой слышался даже в его смягченном пересказе.

– С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, – заявил он мне. – Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

– Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, «Пупсик» Сидоров, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, «что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко», утверждал, что «лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий», требовал «не забывать о классовых критериях нашей культуры» (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря – день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,  
Слиняли Палиевский и Куняев.  
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!  
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И «Феликс» был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим «интернационалистам» можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией «Классика и мы» сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с «победителями» не хватает «чаадаевской» прививки, «капли гамлетизма», что «победители», по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

«...Чего-чего, а “презирать своих” (что Вы советуете) мы умеем как никто. Допрезирались. Сто лет баловались “чаадаевщиной”, столь милой Вам, и докатились до полного самоуничужения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели – горим...

Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О “победителях”. На мой взгляд, “победители” делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им – одинаково обогащало побежденных. К таким победителям я отношусь, “как аттический солдат, в своего врага влюбленный”... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал “Скифы”, а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. Победителям – страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого “победители” боятся как черт лаdana. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмешительстве может идти речь... Все это стало достоянием гласности – не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но слава Богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет. Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное.

Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю “гамлетизма” согласиться можно было бы, но беда в том, что русский человек на капле не остановится».

«Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь [...] непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели благородными, талантливыми, гонимыми, и, ей-Богу, в глубине души были благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеешься. На меня они злы, потому что я нарушил правила игры, заключавшиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по традиции обязан поддержать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал.

Их ненависть – замешана на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид, – впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию, – что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради Бога – нельзя впадать в отчаянье, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. “Нам только в битвах выпадает жребий”... Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им повод торжествовать. Всем этим “порядочным людям”. И “приличным” тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: “Все приличные люди отвернутся от Вас”, я ответил ему: “Дорогой А. П.\* Ну что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь”. Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает

---

\* А. П. Межиров.

наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями.

О Господи! Вызов брошен. Мятеж\* состоялся. Со славой он закончится или без славы – нам знать не дано. Но одно я знаю точно: “все миновалось, молодость прошла”. На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами\*\*, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые конфорки».

### **Записи из дневника после дискуссии «Классика и мы»**

*25 декабря 1977 г.*

На экстренном и чрезвычайном секретариате после дискуссии Феликс втолковывал мне что-то о «ролевом сознании». Вадим уверяет меня, что мы победили. Евреи, сидящие в зале, по свидетельству близких мне очевидцев, говорили о погромных настроениях. Дураки. Они не понимают, что, выговорившись, русский человек от сознания исполненного долга успокаивается и добреет. Он воюет с идеями, а не с людьми, и воюет для понимания, а не для победы любой ценой. Победивший русский никогда не пляшет на костях побежденных, а, наоборот, начинает жалеть их.

---

\* Речь шла о моем письме в ЦК КПСС.

\*\* «Еноты» и «вепсы» – наши шуточные наши прозвища евреев и русских.

Звонил наш куратор из «Детского мира»\*, стал расспрашивать, как прошел секретариат по итогам дискуссии. Я начал было излагать, но потом, чтобы не запутаться, сказал: «Я лучше Вам прочитаю свою речь на секретариате». Он буркнул: «Подождите», – и на минуту в трубке воцарилось молчание. Потом он снова подошел к телефону.

– Что, запись наладили? – спросил я.

– Да! – грустным голосом ответил он.

– Но ведь есть же стенограмма!

– Стенограмма есть, да времени нет. А мне завтра в 9.00 надо докладывать.

И я начал ему читать.

*26.12.1977 г.*

Пришла Мар. Ч.: «По Москве распространяются слухи, что Куняев еврей, и поскольку дело в широком смысле идет к погромам, то он заранее решил обезопасить себя».

*27.12.1977 г.*

С вечера взялся за Гейне и понял, что начало современных диссидентских форм жизни и сознания идет от него. Он первый, опьяненный воздухом посленаполеоновской свободы, явил миру требования сформировавшегося европейского еврейства с его портативной родиной – «библией», как пишет он сам.

Все другие народы создавали родину мечом, плугом, трудом. Евреи – только религиозным чувством и словом. С такой «портативной родиной» можно жить где угодно. Гейне первый, кто это сформулировал и выдал миру как откровение, подтвердив его своей судьбой. И, конечно же, правы немцы, которые, независимо от их политических убеждений, не считают Гейне немецким поэтом.

---

\* Так мы называли КГБ.

*11.01.1978 г.*

Написал я письмо в партком с просьбой пригласить на партком кроме меня Генриха Гофмана, Борщаговского и Марка Галлая\*, которые на всяких собраниях клеветуют на меня, приписывают мне призывы к погромам и т.д.

На другой день звонок от Феликса Кузнецова.

– Стасик! Забери письмо из парткома. Я говорил полтора часа с Марковым. Везде одно мнение – никаких разговоров на эту тему, национальный вопрос – неприкасаемый.

– Но Феликс, на меня же клеветуют!

– А ты что думал?! Это – расплата. Вы позволили себе неслыханную роскошь – дискуссию такого рода. А за роскошь надо платить.

*1 декабря 1980 г.*

Наконец-то я свободен, и даже увенчан ореолом гонимого властью литератора.

Ездили осенью прошлого года с Феликсом на поле Куликово. В машине я сказал ему, что рабочим секретарем оставаться не хочу, чтобы не осложнять ему жизнь, но в секретариате меня следует оставить. Он пообещал. Однако, когда перед конференцией начались всякие партгруппы и кадровая возня, когда горком и ЦК стала осаждать орда функционеров (Сахнин, Галлай, Мориц, Евгений Сидоров, Елизар Мальцев)

---

\* После публикации этой главы в 4-м номере «Нашего современника» за 1999 год я получил следующее любопытное письмо:

«Уважаемый господин Куняев!

С большим интересом я прочел три последних номера “Нашего современника”, в частности, Вашу публикацию “Поэзия. Судьба. Россия”...

Посылаю Вам выдержки из письма моего командира, писателя, заслуженного летчика-испытателя, инструктора первых космонавтов, Героя Советского Союза, чудесного человека Марка Лазаревича Галлая (из письма 1989 г.): “Выступал я на эту тему и в Московском горкоме партии. Результат был довольно частный: не рекомендовали (и не выбрали) в секретариат Московской писательской организации поэта Куняева, известного своими антисемитскими настроениями. Как говорится, пустячок, но приятно. Или – правильнее: приятно, но... пустячок”.

А. Яковлев, г. Херсон».



с требованием снять меня со всех постов, угрожая скандалами, то и Феликс и горкомовцы дрогнули. Заведующий отделом горкома КПСС Глинский вел партгруппу и трижды устраивал переголосование, дабы провалить предложение Михаила Алексеева о том, чтобы я остался в секретариате. После всего я подошел к Глинскому и сказал:

– Поздравляю... Партия уступила мафии...

Но когда все кончилось, мы с Галей уехали на Мезень, на Сояну, жили в избушке возле заброшенного рыбзавода, я ловил хариусов, а по вечерам на Воздвиженской неделе мы садились на лавочку под березами и слушали, как лоси, занятые гоном, фырчали в соседнем овраге и как на черной ели возле ручья ухаёт филин.

## РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК СТЕПАН ФАРКОВ

*Вячеслав Шугаев и Александр Вампилов. Письма Шугаева ко мне. Жизнь в зимовье на Нижней Тунгуске. Ночные беседы со Степаном Романычем. «Репрессия потом пошла». С ружьем и собаками по тайге. Степан Фарков – узник Маутхаузена. Добываю первого соболя. Ербогачёнские судьбы. Любовные страсти таежного села. Письма Степана Романыча. Смерть ястреба-тетеревятника*

В первый раз на берега Нижней Тунгуски я попал благодаря моему сибирскому другу Вячеславу Шугаеву.

В 1965 году Шугаев и Вампилов приехали в Москву из Иркутска, чтобы завоевать столицу. Вампилов искал любви и понимания в театральных кругах, а Шугаев как-то сразу попал в «салон Вадима Кожина», потом стал наезжать в гости ко мне и однажды попросил меня прочитать его повесть «Бегу и возвращаюсь». Повесть чрезвычайно

пришлась мне по душе молодой волей к жизни, искренностью, талантливостью речи. К тому же она была о Сибири, откуда я недавно уехал...

Надо было помочь Шугаеву напечатать повесть в Москве, и я пошел к Василию Аксенову, любимцу главного редактора журнала «Юность», – и попросил прочитать повесть. У нас с Аксеновым тогда были вполне товарищеские отношения. Аксенову повесть понравилась, он ее отнес в «Юность», и через несколько месяцев счастливый Шугаев уже держал в руках заветный журнал. С этого и началась наша дружба, закрепленная его приглашением съездить поохотиться на далекий север Иркутской области в село Ербогачён, что мы вскоре и осуществили.

Много раз я приезжал к нему в его деревенский дом в деревне Добролет, неподалеку от Иркутска, вместе с ним и писателями-иркутянами мы открывали памятник на могиле Александра Вампилова, а уж сколько дней бок о бок прожили на берегах черных ербогачёнских рек, на таежных калтусах и в осенних, алых черемуховых наволоках – и не сосчитать... Именно ему, безвременно умершему в 1995 году, я посвятил одно из самых любимых своих стихотворений.

Ты заметил – сменились ветра,  
первым холодом издали тянет,  
и моя золотая пора  
со дня на день серебряной станет.  
Дунет ветер,  
взметнется листва,  
с нежным шелестом дрогнет рябина,  
и сверкнет над хребтом синева –  
даже глазу глядеть нестерпимо.  
Милый мой,  
попрощаемся, что ль,  
и, предчувствуя скорую вьюгу,  
сдержим в сердце взаимную боль,

пожелаем удачи друг другу...  
Даже рябчик,  
и тот, ошалев  
от простора, что ветер очистил,  
ослепленный, летит меж дерев  
и, конечно же, прямо на выстрел...

Из писем Вячеслава Шугаева:

14.2.75

Стас, милый мой, не грусти. Впрочем, грусти, но больше всего об уходящей золотой поре, о затерявшихся в дали рассветах. А какие были рассветы! Тесно, жарко, счастливо, в полотняных занавесках бьется ранняя пчела, бесстыдно прекрасный запах молодого пота, первых, воистину сладких грехов. Воспоминания об этом, уверяю тебя, очень скрашивают неизбежное грядущее одиночество. Но, милый, сам сказал о душе: «во всем виновата сама», потому все же не печалься особенно. Представь, что будут еще утиные перелеты, лиственничная хвоя будет осыпаться в лывы, и Добролет еще стоит. Мир не так уж плох, как нам бы хотелось.

Собираюсь на день оленевода в Ербогачён, в конце марта. Может быть, вырвешься? Какая-то неделя. Столько их уходит просто так – в дым, в чад, в смрад. Конечно, и в Ербогачёне все просто так, и все-таки все по-другому.

Олени, солнце, белейший снег, тихие белые излучины, строганина среди хороших и естественных людей. А? По-моему, просто необходимо это сделать.

Обнимаю и жду. В. Шугаев.

Наезжая в Москву, он жил у одного своего приятеля на Николиной горе, часто встречался там с Твардовским...

*27 сентября 1975 года*

Здравствуй, дорогой мой!

Над хребтом синева. Жаль, что ты нынче не приехал. Дни золотые, рябчиков тьма. Почти весь сентябрь просидел здесь. Выезжал только провести книжную лавку по телевидению. Знакомил публику с твоей книгой. Читал «А Курбский, а Герцен?».

Говорил, что пространство у тебя – философская категория, что книга исполнена серьезного и смелого патриотизма. Книга, милый, замечательна, безоглядная, кровоточащая. Я ее тут каждый день листаю. Ты уже достиг той степени матерости, что можешь бить сплеча. Разбираться уже нечего. Все ясно.

Собираюсь в Ербогачён. Ухвачу до снега деньков пять, и ладно. Хочу с собаками сходить на глухаря.

Пишу сейчас о Твардовском. Пишется медленно – собственная молодость, оказывается, нелегкий хлеб для воспоминаний. Перечитываю, разумеется, Твардовского – большие заблуждения испытывал наш национальный поэт.

Все время апеллировал ко времени, т.е. к свидетелю, а не к судье. Знал, что свидетель – существо безвольное и податливое, какие хочешь показания даст. И Родина в его стихах зачастую выглядит лучезарно-безлично. Но точила его боль, ох, как точила. Ладно, всего не напишешь.

Обнимаю. В. Шугаев.

Стас, дорогой, спасибо за книгу. Люблю уже ее внимательнейшим образом. Книга – слава Богу. А от «мои золотые холмы» я очень и очень расчувствовался.

Жуть какая с Рубцовым-то, а? Поминали тут и пили не приведи Бог. Я твои стихи все перечитывал «по фамилии Рубцов». Что делается, что делается! Вот и уходим понемногу.

Целую тебя. В. Шугаев.

Последние годы его жизни в Москве были печальны и поучительны. Он вел популярную телевизионную программу, которая съедала его душу и его жизнь. Ничего не писал и, видимо, страдал оттого, что пережил надолго свою молодую писательскую судьбу. Умер как-то незаметно, как умирают люди в наше время. Как будто куда-то уехал и никому ничего не сказал. Даже о его смерти мы узнали лишь через несколько дней после кремации.

Но в моей памяти он навсегда останется таким, каким я его помню возле костра на берегу Нижней Тунгуски, молодым, смуглолицым, с татарским разрезом глаз, с сигаретой во рту и двустволкой, в облегающей его ладную фигуру телогрейке, то и дело смеющимся от неизбывной жажды жизни. Благодаря ему я прожил несколько охотничьих сезонов на Угрюм-реке и написал записки о русском бытии и о русских людях на таких широтах и в таких условиях, где, по представлениям цивилизованных европейцев и американцев, жизнь невозможна.

Дед Степан недавно помер, после всей нелегкой жизни, войны, плена, раковой болезни в возрасте 89 лет и похоронен на кладбище Ербогачёна, старого таежного села, в судьбе которого, как в капле воды, отразилась судьба России в двадцатом веке.

## 1

Часа в три ночи я проснулся от жажды, босыми ногами нащупал под ногами кеды, набросил на плечи меховую куртку, распахнул дверь зимовья и вышел на морозный воздух.

На востоке над заледеневшим озером, словно вырезанные из черной бумаги и наклеенные на небо, торчали вершины сосен. Полная луна в мерцающем кольце не то сиреневого, не то дымчатого облака заливала холодным светом округу.

Над западным берегом Тунгуски сверкал Марс. Карун – или услышав мои шаги, или что-то ему приснилось – жалобно повизгивал в конуре. От лабаза тянуло вонью, особенно различимой в морозном

воздухе: старик квасит мелко нарубленные тушки ондатры – приманку для соболя.

Я взял с лабаза железный ковш, разбил в ведре ледяную корку, зачерпнул воды с мелкими льдинками и не торопясь, маленькими глотками, с наслаждением напился.

Возвращаться сразу же в душное зимовье не хотелось, и по тропинке, проложенной сквозь заросли заиндевшего кустарника, я подошел к речному обрыву.

От глубокого русла, наполненного тьмой и влажным дыханием реки, исходило какое-то шуршанье, медленные хрусты, неясное шевеленье живой и тяжелой силы.

«Шуга образуется», – догадался я, представив себе, как там, внизу, во тьме кромешной, соприкасаясь с ледяным воздухом, медленно сгущается черная тунгусская вода, превращаясь в иголки, кристаллы, блестки, как к ее сгустившимся, но еще не затвердевшим частицам прилипают снежинки, и вся эта масса уже начинает издавать хлюпающие звуки, говорящие о том, что река вот-вот станет.

Я постоял несколько минут на берегу, пока ноги в резиновых кедах не заоченели, вернулся к зимовью, отворил дверь и, устраиваясь на нарах, громыхнул в темноте железным чайником.

– Славка! Чего бродишь – не спишь? Небось без шапки, гляди, ознобишь голову...

Дед пошарил рукой по столу, нащупал спички, запалил керосиновую лампу.

– Да попить вышел.

– А мне тоже чтой-то не спится... Сны снятся все про старое время. Как в Игарку плоты сплавляли. Ох, голова человеческая! Хитро устроена. Помнит все! Людей вспомнил – давно уж покойники...

Степан Романыч свесил с нар ноги в армейских кальсонах, охая, подошел к железной печке, нащепал охотничьим ножом сухой лучины, разжег ее, сверху натолкал листовенничных полешек, и через несколь-

ко минут зимовье наполнилось ровным шумом огня. Тепло волной поползло от печи. Я расправил на нарах шерстистую собачью парку и поудобнее улегся, чтобы послушать, как мой старик сплавлял плоты от своей маленькой деревушки Непы по Тунгуске и дальше по многоводному Енисею – аж до самого Ледовитого океана.

– Ну вот, Слава, как пришла на нашу деревню в тридцать первом году разверстка, так и стали мы валить лес по реке. Зимой валили... Какие бензопилы! Все руками – пила да топор... А как река вскрылась – плоты пошли вязать еловыми висами. А висы, Слава, так делали. Молодые елки нарубишь, на костре разогреешь – они и мягчают... Тогда их вокруг дерева и закручивай. Обруч получается – им баланы и увязываешь, а потом кольями затянешь... А не то – разнесет в щепки! Тунгуска, потом Енисей – вода гремучая! Потом две тыщи километров плыть-то надо было! Сдавали плоты в Туруханске, а потом гнали их в Игарку на пароходы. Как щас помню – «Ян Рудзутак» пароход и «Косиор»... Были вожди такие... Потом слышал я, что кончили их...

Трещат смолистые поленья в печке, колышется язычок пламени в керосиновой лампе, глаза Романыча, оживленные воспоминаниями молодости, сверкают в глубоких глазницах выдубленного жизнью скуластого лица...

– Ну а обратный путь у нас до Красноярска был веселый! В Минусинске – расчет. Я в первый год получил триста восемьдесят рублей! Много или мало, спрашиваешь? Бутылка пшеничной стоила двадцать копеек, вот и считай! Калач – три копейки, такой, хоть надевай на голову! С Красноярска на Иркутск, оттуда до Усть-Кута на лошадях, с Усть-Кута по Лене до Киренска на шитиках, с Киренска до Чечуйска на лодке, а напоследок тридцать верст опять лошаадьми на свою Угрюм-реку...

В зимовье уже настоящая баня, я почти не слышу, что говорит мой старик, глаза сами собой закрываются, и я бормочу:

– Поспим, что ли, еще, Степан Романыч...

– А время-то сколько, Слава? – Старик снимает часы с гвоздика. – Четыре... Рано мы с тобой раскуковались. Давай ишшо отдохнем.

Дед набрасывает в печку пару поленьев, зеваает, охает, с шумом задувает лампу.

\* \* \*

На рассвете мы разогрели вчерашнюю уху, напились крепкого чаю, и каждый пошел в свою сторону – старик сел в шитик и поплыл трясти сети, а я забросил ружьишко за спину и побежал по заиндевевшей хрустящей тропе на хребет за рябчиками.

Нет, наверное, более счастливых минут в жизни, чем те, в которые, осторожно разводя руками черные лапы елей и красные ветви черемухи, ты крадешься по запорошенной снегом траве к заветному можжевеловому кусту, куда только что со сладостным для сердца трепетом крыльев, сбивая снег с рябиновых веток, сел вырвавшийся у тебя из-под ног рябчик. Шаг... Еще шаг... Теперь надо замереть: он совсем рядом – то ли в тени этой елки, то ли в корнях лиственницы, недавно рухнувшей и взметнувшей к небу гигантское корневище, облепленное белым ягелем и рыжей глиной. Ну конечно, человек терпеливее птицы. Она – любопытнее: не выдержала и дернула головой, обозначив себя. Ружье плавно взлетело к плечу – и сотня дробинок с грохотом вылетела из вороненого ствола...

Ну, теперь спешить некуда. Можно закурить, глядя, как краснобровый красавец лежит на желтой лиственничной хвое, вмерзшей в льдистую корку ручья. В воздухе еще кружатся несколько серых пушинок, и ноздри щекочет крепкий запах порохового дыма. Редкие снежинки падают с неба на красные листья черемухи, на прихваченные морозом горьковатые гроздья рябины, на безлистые кусты шиповника, усыпанные мясистыми переспелыми ягодами, с прохладной сладостью тающими во рту. Кормовитое, как его называет Романыч, озеро, где он добывает капканами ондатру, уже замерзло. Утренний



ветерок сдул с него снежную крупку, и оно, окаймленное по берегам острыми, вмерзшими в лед стеблями осоки, тускло светится, как потемневшее от времени зеркало.

Я засунул еще теплого рябчика за отворот куртки и побрел через густой чапыжник по ручью к старой мельнице, возле которой было мое привычное кострище, припорошенное снегом. На мельницу эту я набрел еще в прошлом году. Она уже покосилась, нижние венцы от времени сгнили, однако когда я пробрался через узкий лаз внутрь, то увидел там и хорошо сохранившийся желоб, и мотовило, и два отсыревших ларя, от которых, казалось, до сих пор пахнет затхлой мукой, молотой здесь в последний раз, наверное, лет сорок тому назад.

Я наломал сушняка, разжег костерок, вытащил из сумки закопченную консервную банку, набил ее свежим снегом и подвесил на проволоке над огнем.

Молоденькая темно-бурая белка зацокала над головой – я оглянулся. Она взлетела с земли на сосенку и, подрагивая от любопытства, уселась в развилке, крутя мордочкой и цокая язычком: что это, мол, за существо и чего ему надо в моих владениях! Шерстка ее уже потемнела, из «горявки» белка превратилась в «подполь», так что, подумал я, быть скоро твоей шкурке на международном ленинградском аукционе или на шапке у иркутского вертолетчика.

С краю зеркального озера на колу, вмерзшем в лед, сидела громадная круглоголовая полярная сова и, вращая глазами, удивленно глядела на меня. Потом мощно и бесшумно взмахнула метровыми в размахе крылами и понеслась надо льдом к дальнему берегу, откуда вдруг послышался жалобный собачий лай. Непохоже, чтобы белку или соболя облаивал... Я шел прямо через озеро по льду, по мягкому тонкослойному снегу, вышел к зарослям в наволок и вдруг увидел незнакомую собаку – молодого кобеля, попавшего передней лапой в соболиный капкан. Я разжал пружину, и кобель, жалобно скуля, стал тереться о мои ноги, крутиться вокруг, благодарить... А день солнечный! Снег блестит, Тунгуска лежит перед глазами – слепя-

щая, с черными лоскутами промоин. Мышь-землеройка копошится, роется в снегу возле зимовья. Я ее трогаю пальцем, а она настолько занята добыванием пищи, что не обращает на меня внимания. Пробежала мимо чужого, только что освобожденного из капкана кобеля, тот клацнул зубами, но, к счастью для землеройки, промахнулся, а та, ничего не слыша, копошится, топчется розовыми мохнатыми лапками по снегу.

\* \* \*

Вечером, когда я вернулся с тремя рябчиками к зимовью, дед уже хлопотал у костра. На рожнах над угольями торчали запеченные хариусы и сижки, а чуть сбоку в котелке остывала утиная похлебка.

– Садись, Слава, поедим. Человека питание держит.

Я знаю, почему Романыч любит поговорить о питании. Два с лишним года судьба мотала его по немецким лагерям, и он хорошо знает горькую цену куску хлеба.

– Хуже всего, паря, голод, – рассуждал он как-то в один из долгих осенних вечеров. – В лагере, то ли «пятнадцать А», то ли «пятнадцать Б», лежишь, бывало, на нарах – и не шевелишься. Шинельку растелешь – одну под себя, вдвоем лежим, чтобы теплее было, другой укроемся – и ждем, когда птюха покажется на горизонте. Птюха – это по-лагерному хлеб. А ежели какой вредный немец дежурит – придет, глянет, где параша, – не дай бог, кто обмочил вокруг: «Никс дисциплин! Никс брот!..» Значит, нет порядка – не будет хлеба.

Адреса где-то у меня до сей поры сохранились. Николая Иванова да Константина Бугрова. Москвичи обое были. Бугров, тот хотел у немца ножичком сумку с хлебом срезать. Голоду совсем не мог терпеть. Так его отвели за барак и – тюк! – Романыч показал пальцем на висок. – Вот мне от него память! – Дед засучивает рукав. На запястье три наколки: «С. Р. Ф.» – Степан Романыч Фарков – когда в «Бэсемнадцатом» сидели, Костя мне наколол...

Да ить и в лагере по-всякому жили. Помню, рядом с нами французский барак стоял, – они на простынях спали! Им Красный Крест помогал... В этот самый... – Дед замахал руками над головой. «В волейбол», – подсказал я. – Ну да, в волейбол играли... А мы в Красный Крест не входили...

После хариусов и сигов мы перешли к чаю. Каждый наломался за день, поту много вышло. Выпили по одной кружке, налили по второй. Старик разговорился про свою лагерную жизнь, от которой у него, видно, навсегда остались осунувшиеся щеки, впалые глаза и половина зубов во рту.

– Как-то приходит хороший австриец в барак, пальцем манит. Пошли потихоньку на поле, принесли два мешка. Ох, потом и прятали мы эту картошку! Найдут, докопаются, кто дал, и его же, австрийца, к стенке! Они, австрийцы, много душевней немцев. На заводе мы с имя вместе работали. Так глядишь, то хлебца кусочек тебе сует, то картошечку, то смальцем поделится. А сами на пайке жили. Когда война кончалась, австрийцы нам стали толковать: «Гитлер капут. Русс – лауфен», – мол, бежать надо, а то немцы порешат... так не оставят. Собралось нас девять человек. Мирошниченко Николай, моряк, все пел «Моя седая мать», Голованов – подполковник, Никишин – старшина, он еще в Первую мировую в этом же бараке сидел... Надо было кому-то остаться и на работу не ходить – проволоку подрезать. Утром нас выстраивают на работу, а я говорю: «Кранке хабен», – мол, больной у нас есть. Мирошниченко больным сделался, а я, фельдшер, «арц» по-ихнему, с ним остался. Наших увели. Мы с Мирошниченко проволоку быстро надкусили, чтобы ночью снять сразу... Ночью ушли, сбили колодки, цепи сняли, километра два отошли – слышим стрельбу: видно, за нами кто-то полез, да неудачно. Ну мы – кто в тапочках, кто в тряпках, лишь бы уйти подальше в горы. Первую ночь в лесу заночевали. Тепло! Апрель месяц... След табаком посыпали – специально табак собирали. А вторую ночь – усталые – в сарай забились, утром слышим: у ворот собаки дышат... Построили нас в лагере. Переводчик

вышел, приговор объявляет. У меня окурок. Закурил. Стою вторым. А Мирошниченко говорит: «Тридцать», – значит, дай курнуть, и ко мне становится так, что я с краю уже третий... Выходит гестаповец с черепом на фуражке, и переводчик переводит: каждого второго расстрелять – «шиссен!», и вместо меня – «ейнцвай!» – выводит Мирошниченко и еще трех. Тут же командует: «Лиген!» – ложись, значит, и из карабина в затылок...

Голос у деда прервался, он закрыл лицо, заскрипел зубами...

– Ох... Славка! Сколько раз друг другу говорили, кто живым останется, остальных не забывай!.. А потом еще офицер прошел и каждому в висок из пистолета... – Дед смахивает слезу, тянет руку к бутылке, разливает спирт по железным кружкам, бормочет скороговоркой: – Ну, давай, Славк, до конца... Токо не оставляй...

Несколько минут мы сидим каждый в своей задумчивости.

– Американцы нас освободили. Накормили, обмундировали, подлечили кого надо, и вместе с имя мы на австрийские города пошли: на Сантенбах и Сенмартин. Они русских вперед пускали: мы, говорят, знаем – вам мстить надо! А когда наши пришли, союзники нас им передали... Капитан Дьяконов выстроил всех – и скомандовал: «Форму союзных армий снять!..» Сняли. Разделись. Аккуратно к ногам сложили. Стоим. – В голосе деда появляется воодушевление: – «Форму Советской Армии надеть!» Свое надели – друг друга не узнаем! Американцы на память каждому по ящичку дали – там курево, выпивка, одеколон. А когда демобилизовали, Мищенко, старшина, румынского коньяку принес, он ничего не стоил... Шесть звездочек! Там ему каждый год по звезде прибавляют!.. Перед демобилизацией последние дни-то покою не было. Ну, думаю, приеду – и бельчить в тайгу сразу, рябчика поджарю... Медсестра со мной ехала до Москвы в одном вагоне. Чистая женщина, красивая... Москвичка. Прямо сказать – сватала меня. Оставайся, мол... А я говорю: отца-мать повидать надо, лишь бы отбояриться... Хорошо у нас, Славк! Весной на калтусе уток сядешь караулить – ветерок с хребта подует, такой аромат – не надышишь-

ся. Пчелы гудят, птицы поют... Мужики моторы выключат и плывут с песнями, выпившие... А раньше-то на берестянках ходили по шестьдесят да по семьдесят верст на веслах да на шестах, так пить-то некогда было!.. В лодке лягу, ветерок набежит, цветами пахнет... Ондатр на лодку залезет... Утки кричат... Дух идет такой, – дед делает рукой волнообразные движения, – тайга цветет, не надышишься! Сетку поставишь – карасей натрясешь – жирные, потрошистые!

\* \* \*

Деда мобилизовали третьего июля.

– Прибежал Федька с почты: «Немцы напали!» На другой день посыльный всех обошел – в сельсовет явиться. Там сидит военный, вот как ты. «Степан Романыч, будьте наготове: две смены белья, ложка, кружка...» Сначала шли на лошадях верхами до Чечуйска, потом на лодках от Чечуйска до Киренска, потом на пароходе до Иркутска, потом эшелон до Мальты. В Мальте обучали нас... Ох, питание плохое было – чечевицу черную ели... Потом в эшелон – и на запад! В Красноярске стояли трое суток. Помню, парень один – сам из Красноярска – плакал: «Командир, пусти с матерью проститься!» – Дед поджимает губы – ему нравится, что он свидетель и участник великого дела, когда долг был превыше человеческих просьб, – поджимает губы, делает начальственное лицо и показывает жестом, как командир отказывает новобранцу – нельзя! Дед и солдату сочувствует, и командиром восхищается, что тот чувствам волю не дал!

– А дезертиры-то с ваших деревень были? – перебиваю я.

– Один был. Я его семью знаю. Он такой же, как отец, пройдоха, такой же ростом... – Дед пренебрежительно машет рукой. – Под Рязанью в лагере нам приказ, в лыжный отвлекающий батальон. Пошли к Москве. Стоим в лесу. Чуем – земля трясется. Политрук говорит: слышите – Москва сражается! Вошли в населенный пункт – трупы мерзлые лежат, лошади, машины разбитые, а мы голодные – кухни

с нами нет. НЗ – кусок хлеба и половину горбуши соленой – съели... Вошли в избу – женщина с ребенком, котелок картошки на загнетке. Я говорю, дай нам поесть! Она: «Поешьте, токо не всю...» Как очистил я штук пять картох, да с солью!

А ночью поползли к оврагу – лыжи сбросили, немцы на той стороне. Со мной земляк рядом – из Бура – ну, на фронте, считай, как брат родной – с одного района. Я у их до войны борова вылаживал. Лежим в снегу, просит: «Роман, дай хлеба!» Я говорю: «Лежи, не подымай голову, убьют!» Отломил, протянул ему, слышу – ест. Потом спичек попросил. Прикуривать стал – и носом в снег, – дед сверху вниз машет рукой, – готов! Медальон я с него снял...

Потом на Калугу нас бросили – там бои были жесто-окие! Двое суток за вокзал воевали. Взяли в плен двести пятьдесят эсэсовцев. Тут же на путях и порешили. Некогда с имя было возиться... В Калуге, я помню, сказал ребятам: давайте обстрогаем доску да напишем, когда и кто за этот вокзал погиб, а кто жив остался, карандашом или финкой вырежем... Да, говорят, чего писать-то, сегодня жив, завтра нет...

Вспомнив про калужский вокзал, дед оживился:

– Прошлой зимой меня в Непу послали – остатки сымать – сено там разворовали. Ну, снял я, акт составил, в бригаде выступил... Ночевать где-то надо. Повели к леснику – новый, говорят, у нас лесник оформился, фронтовик, с Запада приехал. Ну, бутылку взяли, пришли. Сели за стол, разговорились... «Где воевал?» – «На Центральном фронте». – «А ты?» – «И я на Центральном...» – «Какая армия?» – «Тридцать восьмая». – «Калугу брал?» – «Брал». – «А вокзал помнишь?» – «Ну как же, я чай там варил на вокзале!» – «А не ты ли у нас котелок с кипятком опрокинул?» – «Я». – «Фарков?» – «Фарков!» Тут Остапенко обымает меня, целует и – по полной кружке за победу!

А когда полк держал оборону под Севастополем, то крымские татары по только им известным горным тропам вывели в тыл наш немецких егерей и после рукопашной схватки в окопах контуженый рядовой Степан Романыч Фарков очутился в плену.

– Что, Слава, о лагерях вспоминать. Всего я нагляделся. Видел, как люди хуже зверей становятся. Зверь хоть только с голоду на человека пойдет. А человек... – Романыч махнул рукой. – Горя видел много. В госпитале после ранения санитаром работал, выхожу раз в коридор – стонет раненый. Смотрю, у него нет одной руки до локтя, другой до кисти и ног нету выше колена. Просит что-то, губами тянет. Я понял: покурить... Дал ему затынуться. Сделал он две затыжки – смотрю, слеза по щеке покатила. Таких «самоварами» звали. Вроде был приказ Сталина усыплять их: да потом, говорят, отменили... Ну а немцев тоже скоко мог положил. Глаза-то хорошие были. Сейчас еще метров на пятьдесят по белке из малопульки не промахнусь. Помню, под Москвой немецкий пулеметчик нам пройти не давал. Приказ получили – ликвидировать без шума. Ну, скрадывать – дело привычное, охотничье. Поползли. Метров на десять подпустил сзади – не слышал. Бросился я к нему – он оглянулся, как закричит – и голову в плечи. Я его в шею охотничьим ножом... Смотрю – он в ботинках и соломенные валенки на ботинках. Они же в Москву хотели до холодов пройти. А мы под Москвой добро одевались: валенки, теплое белье, полушубки, шапки-ушанки, маскхалаты...

Тьма медленно сгущается, наплывает из елового наволока на берег, лесная тьма постепенно смешивается с речной. Птичьи голоса замолкают, лишь изредка еще свистнет в уреме какой-нибудь беспокойный рябчик да Карун вдруг с лаем бросится в кусты, почуяв мышшь или бурундука.

\* \* \*

– А что за мельница стоит у ручья в распадке, Степан Романыч? – спросил я у старика, чтобы отвлечь его от невеселых лагерных воспоминаний.

– А ты, Слава, в прошлый раз, когда за глухарем бегал, видал поляну? Хлеб там раньше сеяли. Три избы стояло. Это сейчас бросили

хлеб сеять по Тунгуске – все нам возят, и муку, и консервы, и масло. А раньше-то все свое было. Взять нашу семью – девять душ, семеро детей, а взрослых мужиков – двое: отец да брат старшой. Прокормить всех надо. Четыре коровы имели, четыре лошади, кроме жеребят. Пятнадцать овец. Пахали сохой. Плугом-то начали в двадцать шестом или седьмом году. Хлеб, масло, шерсть – все было свое. Бабы пряли, вязали носки да чулки шерстяные, лечились не порошками да таблетками, а только травами. Помню, Иннокентий Ильич ревматизмом заболел. С пятнадцати лет пахал, и ноги стали к двадцати годам отыматься. Так чем его старуха Игнатова подняла? Велела березовых почек, когда они молодые, липкие, набрать мешок. Баб у него в избе было много – пятеро сестер. Набрали этих почек два мешка, русскую печь затопят, мешок на ночь на печь, и ноги в нем держи, сколько терпеть можно. Так и ожили ноги-то у него через месяц. До сих пор – а уже ему семьдесят лет – рыбачит.

Я тоже с тринадцати лет за соху встал. Ну и хлеб у нас был зато пшеничный! А бывало, бабы анису наберут, намелют и в муку добавят... Ох и хлеб! В тайгу возьмешь с собой два ярушника, лопать от такой отпластаешь, домашнего масла с палец намажешь, чаю сварить – и бегай за соболями хоть до самой ночи!

...Над черным хребтом уже засверкало созвездие Большой Медведицы, белая луна выкатилась на верхушки елей в морозном сиреновом облаке, и мир осветился зыбким сиянием, которое вдруг отделило травы и деревья от их теней, и наступила такая тишина, которую я давным-давно уже не слышал. Однако дед не дает мне впасть в сонливое созерцание.

– Да, репрессия потом пошла... Гавриила Ильича взяли, – дед загибает пальцы, – Иннокентия Ильича и Глеба Ильича... Три брата их было. Семья – двадцать пять человек. Сбруя вся блестящая! Батраков не держали... Сами краси-и-вые, труженики были! Свою стенгазету имели! Я у их две вёсны навоз возил... Вдруг слышали – коллективизация. Сразу они разделились – мужики всё умные! Потом окулачива-



ние пошло. А у Иннокентия – золото было, ён торговал помаленьку. Не показал поперво он про золото. А потом его в район в нэкэвэдэ повезли, там покарали, он приехал и золото показал... А брат его – Гаврила – заплакал: «От кого ты таил золото, брат!» Потом их окулачили, потом простили, в колхоз приняли... Сыновья у их в Братске живут...

– А кто раскулачивал-то?

– Да кто – и полномочные приезжали, и свои... Ты Алешку Огонька видел – так вот он колхозы строил... Гулять любил, гармонист был знатный! Бывало, напьется, идет по деревне с гармошкой – и кричит: «Дайте волю Алешке Огоньку!»

...Алешку Огонька мы встретили несколько дней тому назад возле его зимовья. Подслеповатый старик, заросший седой щетиной, в замызганных ватных брюках, с трудом признал деда.

– Ты, что ли, Степа?

– Я, Алеша... что, не признал?

– Глаза слабые, видеть я стал плохо.

– Бражку пить надо для зренья, ты бражкой-то нас угостишь?

– Вчера всю выпили, а новую только утром затерли.

– Ну, расскажи москвичу, как колхозы строил.

– А кто москвич-то?

– Да он поэт.

– Поёт – ну это хорошо, коль поёт, я тоже петь любил, когда колхозы строил. А теперь ни голоса, ни волоса. Был Огонек, а стал пепелок...

Мы не зашли к нему в зимовье: грязно у него больно, сказал дед, и Алешка Огонек, сощуриив больные глаза, долго провожал нас взглядом со своего угора. Старый, маленький, пьяноватый, заросший седой щетиной...

– Сын у него ушел в зимовье как-то и застрелился из мелкашки. Семь раз в себя выстрелил, – с ужасом и восхищением говорит дед. – Какую волю надо иметь! Себя мучил...

– А почему?

– Да жена у него была пьяница...

Возле зимовья тени. Полосы лунного света. Ночная синь. В паутине березовых ветвей мерцают крупные звезды. Ниже – стена черного леса. Еще ниже – белая долина Тунгуски. Снег. Сиянье.

Дед лежит на нарах, бормочет, закинув руки за голову:

– Наши милиционеры свои мужики-то, звери! Приказ придет: «Гражданин – вы арестованы! В дом не входить!» Жена плачет... Поись в дорогу чего собрать хочет, – «не сметь, передачи запрещены!».

В голове у меня мелькает мысль: власть над людьми для таких простых людей все равно что водка для ранее не пивших народов.

– Все говорят: Сталин, Сталин! Да к ему Берия вошел в доверие. При Сталине порядка много больше было! Мы до чего дожили – кур завели, а чем кормить? Из Чечуйска два куля зерна Марусин брат прислал. Мы, старики, торговую базу сторожим – товару там скоко! – на молодых надёжи нету – разворуют. Молодых взяли сторожей – так они пьют в сторожке, а склады-то центральные! Сигнализацию проводят... Две собаки у нас... Старики помрут – кто стеречь будет? Народ разбаловался. У Михаила в зимовье на той неделе хлеб, сахар да масло утащили... Раньше эвенк приходил неграмотный – ну, поест, лишнего ничего не тронет... А энти хлеб-то у Мишки взяли, поели и объедки на пол побросали! Белый хлеб – помню, на фронте поделишь по кусочку – он как мед в глотку катится, а теперича у меня его собаки не едят. Советская власть не то что людей – собак избаловала... Однако спать пора, Слава. Набегался ты с непривычки за целый день. Я уже и рыбу из сетей вытряс, распотрошил, засолил. Заплот починил, бересты с того берега привез – река станет, чулманы начну мастерить, – а тебя все нету... Ну, думаю, надо хлёбово варить – утку ощипал... Тут и Карун залаял. Идет мой москвич...

\* \* \*

Утром, когда я открыл глаза, старика уже не было. Боясь, что вот-вот пойдет шуга, он поплыл на своем утлом шитике снимать сети.

Я вышел из зимовья, плеснул в лицо пригоршню ледяной воды, утерся.

День занимался хмурый. Тяжелые тучи, наполненные снегом, тянулись с северо-запада, едва не задевая за хребты. Знобящий холодок струился вдоль русла реки. От воды подымался пар. У того берега под кустами я увидел шитик. Старик снимал сети. Я представлял, как-то ему сейчас распутывать их, выкорчевывать из ячей хариусов да щук. От ледяной воды деревенеют руки, а сетей целых пять. Старик знает, что надо торопиться: ночью, похоже, пойдет шуга. Ну, рыбы, слава Богу, хватит и себе со старухой, и сыну. А у сына трое детей. Сын пьяница – сам себе добыть ничего не может. Да в Усолье брату надо на праздники рыбки послать, да сестре в Иркутск на именины. Да племяннице на свадьбу... Нахлебался мой старик в жизни всего – и лагерной баланды, и унижений, и смерть его к земле не раз пригибала, а душу живую не растерял, людей не разлюбил и мир не проклял. Верит в свои руки, в крестьянскую и охотничью хватку, сам себя кормит да еще и другим помогает. Да и от мира не отгородился. Газет ему, правда, читать некогда, но чуть выпадет свободная минута, сядет рыбу чистить или «морды» латать, тут же транзистор с ним рядом. Дед с интересом слушает, что творится на беспокойной земле, и тут же, сверкая молодыми глазами, комментирует события:

– Никсона сняли... Вот империалисты!

Транзистор сообщает о том, что Луис Корвалан еще в тюрьме. Романыч сочувствует ему, словно соседу по нарам:

– Бедный! Что там от него осталось!

Посол чей-то приехал в Москву, и в его честь дается обед.

– Ой-ёй! Сколько в Москву народу приезжает! И все ись хотят! Всех накормить надо!

С той поры, как в сорок пятом году старик вернулся на свою Угрюм-реку, он только однажды съездил к брату в Усолье, а вернувшись, долго негодовал.

– Как вечер – садятся, ноги в тапочки домашние, и что делать? – телевизор смотреть. Целый вечер сидят. Да как же это можно высидеть? Погостил я три дня и говорю: прощайте!

Я рассказываю ему, что творится в Москве во время футбольных матчей.

– О господи, да я бы пешком убежал!

Насмотрелся дед за годы войны и плена городов – от Иркутска до Вены – и решил для себя, что жизнь эта ему не интересна. Не любит и не понимает он никакой праздности, безделья и развлечений.

– В Иркутске, когда на операцию ездил, я намучился. В трамвае висят на ремнях, качаются... Одни сходят, другие входят, друг на друга лезут, и бегут всё, и бегут! А куды бечь-то? Идет одна старая, вся накрашенная. Старик-то у ей есть? Куда он смотрит? У нас в поселке тоже краситься стали. Так ведь Ербогачён не город, мы и так знаем, какая ты есть.

Я рассказываю ему о матери, которая, когда гостит у меня в Москве, не может спать от уличного шума ночных машин. Дед принимает ее страдания близко к сердцу.

– Бедная! Да ты ее отправь к нам, хоть тут отоспится...

Тут действительно можно отоспаться под шум лиственниц, под шуршанье дождя, под тяжелое шевеленье тунгусской воды.

Я налаживаю удочку. Дед с любопытством ощупывает ее – из чего сделана.

Из стеклопластика, западногерманская... Романыч проверяет удище на гибкость, на прочность. Оно нравится ему.

– Головастые мужики! Да все равно мы их побили.

## 2

Поеживаясь от знойного хиуса, я оглядываю зимовье. Все в нем и внутри и снаружи сработано для ума и для дела. Сложено оно из сосновых бревен, обшито досками. Под потолком над каждой нарой – полка

для патронов, фонарика, стреляных гильз, ножниц, лечебных снадобий. На столе керосиновая лампа, сахар, соль, чай, хлеб в целлофане. Главный хлеб – несколько буханок – висит в рюкзаке на воздухе под навесом, чтобы не плесневеть и не сохнуть. На дощатом полу чурбан, чтобы, сидя на нарах, ставить на него натруженные за день ноги. Под нарами сухие наколотые дрова – сразу встать морозной ночью и подтопить печку. Там же сапоги, опорки, маленькая скамеечка – старик ставит ее на нары, когда чинит сети, – так светлее и удобнее. На стенах изнутри несколько любопытных надписей о том, что случилось примечательного с зимовьем и с ним за последние годы.

«Зимовье рубили 22.8.1966. Фарков С. Р., Юрьев В. П.»

«4.09.73. Был град».

«1974, 22 авг. 3 часа дня. Была гроза. Угадала в ель сухую расщепила бросила между зимовьем и лабазом. А меня волной к двери прижало. Вот так».

Записей немного, потому что и писать-то особенно негде: всего несколько светлых досок. Поэтому записи короткие, как на стенах лагерного барака.

«1974 г. 15 января. Температура была 10 градусов».

«16 января 1974 года 58 градусов». Видимо, такое резкое похолодание поразило старика, и он счел нужным запомнить его.

«13.1.73 г. было очень тепло». Вырезано ножом. Грамота у Романыча небольшая – кончил он всего два класса, и отец взял его из школы со словами: «Работать надо. Я неграмотный всю жизнь прожил».

«1 января 1972 г. температура была ночью 23 градуса, днем 13 градусов». Думаю, что Романыч сделал эту запись, чтобы подчеркнуть, что, пока в поселке родные да знакомые пьянствуют да похмеляются по случаю Нового года, он делом занят – ловушки на соболя ставит, приваду меняет и не травит себя водкой, а дышит сухим и морозным воздухом.

– Я, Слава, праздников не люблю. Как можно день, другой, а то и третий без труда жить? Ну, приедешь, в баню сходишь, вечером выпьешь со старухой, а утром в лодку да к зимовью! Вот в ноябре мне

шестьдесят пять стукнет – так я в зимовье буду. Пускай они там за мое здоровье выпивают. А мне зимние сети трясти надо – самый налим пойдет...

«18 сентября 1973 года. Была гроза».

Думаю, что была не просто гроза, а буря, стихия, ежели старик счел нужным упомянуть о ней...

Над железной печкой висят две палки на веревках – сушить портянки, носки, рубахи. Под печкой пол земляной, чтобы не загорелся. На гвозде, вбитом в стену у изголовья, висят большие карманные часы. Изнутри дверь обита старым одеялом, под которым уложен слой сухой травы.

Снаружи зимовье невзрачное – есть на этих берегах и получше. Но все сделано прочно и удобно. На двери надпись – углем: «Приходили к тебе два охотника. Не застали. Пинигин». Над дверью маленькое надкрылье – ружье, патронташ да куртку какую повесить от дождя. Дверь смотрит на восток. С северной стороны под самой стеной вырыта траншея. В ней стоят бочки с рыбой, укрытые клеенкой. Крыша с этой стороны удлинена, чтобы дождевая вода с досок не скатывалась в бочки. Пять бочек, и все уже полные. Под крышей на уровне груди длинная доска на проволочных петлях. На ней берестяной чулман с солью. В зимовье только одно окошко – на Тунгуску. Люди, если подойдут, только с этой стороны – от воды. На одной из бочек надпись: «Фосфат. Не допускается хранение в одном помещении с пищевыми продуктами. Осторожно – яд!» А бочка ладная, с металлической окантовкой. Чего добру пропадать. К зимовью с южной стороны прилепились собачьи будки. В одной живет Музгар – могучий белогрудый кобель. В другой – Карун – помоложе, рыжий, выхолощенный. Потому и далеко от зимовья не уходит. А Музгар нет-нет, да и сбегает за сорок километров в поселок. Когда он возвращается – истасканный, с боевыми ранами на морде, дед ворчит и грозит, что наточит нож и на него. Перед дверью – лабаз: настил на четырех комлях, покрытый одереветневшим, жестким, как кровельное железо, еловым корьем. На лабазе

в ведре киснет селитра, лежат рябчики в пере; желтоватые тушки лесных мышей с шелковистыми рыжими спинками, седыми брюшками и розовыми лапками – привада для соболя, для горносталя.

Здесь же кастрюли, сковородки, капканы на ондатру и соболя. Ближе к кострищу еще один небольшой навес. Под ним всякая справа для разделки рыбы: низкий столик, скамейка с ведром, лоток с солью, сухая береста для растопки. Под крышей на сучках и гвоздиках кастрюльки, банки, бечевки, куски проволоки – словом, все, что когда-нибудь да обязательно сгодится в хозяйстве Романыча. Под навесом, надежно схороненные от дождя, лежат напильник, молоток и гвозди. Вдоль тропинки, ведущей к берегу, торчит несколько березовых шестов – сушить сети.

...Из-под обрыва показался мой старик с ведром, полным мелкой рыбы.

– Слава! Давай чай пить. Я сегодня поране встал, что-то захолодало: ну, думаю, снег пойдет, дай поскорее сети встрясу да сниму. А ведь пойдет... Моторку слышал? Зять Александра Степаныча надумал сохатить. За двести верст, говорит, пойду. «Мороз хватит, – я ему говорю, – шуга тронется, что с мотором станет?» Семейный, а дурак. С утра выпивши. Народ какой-то шибутной пошел, Слава. Помню, сколько черемухи по берегам было! Муку из ягод мололи, пироги пекли. Чтобы кто срубил черемуху – старики проходу не дадут. Крючья делали – накинута на верхушку, согнута и обирают. А теперь поедет какой-нибудь пьяница, топором ахнет под корень, оберет ягоду, и всё тут. Живут одним часом!

\* \* \*

Солнце. Синее небо. Снег слепит глаза. Неделя, как река стала. Вся в торосах. Лицо горит от плывущего навстречу потока остуженного воздуха. Черные хребты, исполинские листовенницы по берегам с корнями, торчащими из обрывов. Гроздь мороженой красной смородины. Алые

восковые ягоды шиповника. Хрустящая на зубах голубика – сочная, привядшая, сладковатая, любимый корм тетеревов, рябчика, глухаря, соболя... Ощущение чистого, ничем не окисленного счастья.

Мы идем по заснеженному аргишу проверить капканы. На нас брюки из шинельного сукна, телогрейки; дед в ичигах, я в анчурах из лосиного камуса – обувь легкая, теплая, удобная. Капканы у деда на земле под навесиками, чтобы снег не заваливал, привязаны к толстым палкам. К дереву привязывать нельзя: соболю, пытаюсь освободиться, «изобьет» шкуру. Он должен таскать палку с капканом, пока не измается... Собаки наши недовольно фырчат: соболю путает след, пересекает аргиш то вверх, то вниз, да и след ночной, не свежий. Музгар бежит свободно, а Каруна дед ведет на веревочке, его отпустят лишь тогда, когда выйдем на свежий следок, а то будет кружить, облаивать белку, птицу, сбивать с толку.

За спиной у деда поняга – дощечка с сыромятными ремешками, своеобразный эвенкийский рюкзак. Кобели волнуются, повизгивают, крутят мордами. Музгар натаскан в основном на соболя, белку лает неохотно, не «вязко», на птицу тоже не отвлекается, и дед сразу спускает его с поводка: «Всем ты хорош, токо ноги слабые, нежен больно...» Действительно, лодыжки у Музгара ободраны до сухожилий, время от времени он ложится на снег, зализывает ошметки кожи, обгрызает кровавые сосульки, торчащие между пальцев. Музгара дед снисходительно гладит по голове: «Остарел кобелишко... Ну ишшо год-два побегает...»

Недавно мы лечили его. На собачьей свадьбе в поселке конкуренты разорвали кобелю щеку. Рана загноилась. Развели марганцовку, позвали из соседнего зимовья Михаила Сафьянникова – двоим не управиться, – повалили Музгара на снег. Кобель стал молча вырываться.

– Да ты, Степан Романыч, силу ему покажи, навались, морду веревкой замотай, да не жалеи! Животному – хоть лошадь возьми – силу показать надо, тогда слушать будет!

Сухонький дед едва-едва удерживал кобеля, навалившись на него всем телом, пока я высвечивал рану фонариком, а Михаил из сприн-



цовки тугой струей промывал разорванную в клочья щеку... Кобель сначала подергался, потом затих и даже вытянул шею, чтобы нам было удобнее работать. Свежий снег под его мордой подтаял от собачьего тепла, крови и марганцовки.

...Собаки хватают ноздрями воздух и уходят от нас по аргишу. Мы бредем вслед за ними, не торопясь, с перекурами и разговорами о прератностях охотничьей судьбы.

– Белки в гойнах спят парочками, – рассуждает дед. – Увидишь гойно, стукнешь палкой – не вылезет, не-е-ет! Потихоньку поскресть надоть по дереву – она подумат: хищник какой или птица, колонок аль соболь, – выскочат обе и смотрят: в наволоке они гойна любят делать... Тут их и бьешь. Белка разная бывает. Губница, которая грибы сушит. Чует, что шишка не родится. Поест – три-четыре дня из гойна не выходит. А когда шишка родится – то белка лужбит ее каждый день, такая белка для охотника лучше. Да молодежь пьет сейчас помногу. А чего не охотиться? Как мы охотились! Какие охотники были – Михаил Алексеевич, Илья Степанович! По пятьсот белок добывали за зиму. Ондатров, соболишек сдавали...

Дед насторожился, замер, снял солдатскую ушанку, покрутил головой: «Однако кого-то лают...»

Я прислушался – ничего, кроме шуршащей морозной тишины. Открыл рот, напряг уши. Откуда-то издали уловил текучий, сливающийся в одно целое звон.

– На гряде лают! – оживился дед. Мы повернули лыжи и стали подниматься по мелколесью на гряде. Дед прибавил шагу, ему под семьдесят, а я едва поспеваю за ним. По пути он разглядывает цепочки соболиных следов, быстро отличая свежий следок от вчерашнего. Собачий лай все явственней, уже различаешь голоса: грубая редкая лайка – матерый Музгар, высокая, звонкая, с подвываньем – молодой горячий Карун... Я уже взмок, а лай все ближе, дед почти бежит бегом, я стараюсь не отставать, выкатываемся к собакам в распадок – они беснуются под желтой лиственницей, на вершине которой застыл ко-

ричневый комочек – соболь! Увидев нас, собаки перешли на сплошной визг, ошестинив холки, бросились к дереву, уперлись в него передними лапами, а Карун, как мне показалось, чуть ли не сделал попытку влезть по чешуйчатому стволу.

– На, стреляй ты, Славка. – Дед, отдышавшись, снял с плеча мелкашку. – А я собак придержу, а то шкуру попортят!

Зверек распластался на ветке, наблюдая за нашими движениями. Я, привалившись плечом к березе, становлюсь поустойчивее, унимаю дрожь в теле, идущую от сердцебиения, ловлю на мушку круглую ушастую голову, но пуля обламывает ветку – и соболь, словно кошка, растопырив лапы и хвост, летит на снег. Собаки бросаются к нему, он, однако, успевает подскочить к дереву и снова взлетает на вершину. Я стреляю, но чувствую, как от волнения и усталости дрожат ноги. Дрожь передается через руку стволу, мажу, стреляю снова, соболь опять рушится вниз, пытаюсь уцепиться за ветки. Карун сбивает с ног деда, рвется к зверьку. Соболь, у которого отбита нижняя челюсть, завинчивается в снег, но дед с внезапной прытью опережает собаку, наваливается на соболя телом, ловит его руками. Соболь впивается предсмертной судорогой в суконную рукавицу, но челюсть у него разбита, зубы раскрошены пулей, глаза светятся зеленоватым, медленно тускнеющим светом...

Дед подымается и за яростную верную службу дает кобелям лизнуть окровавленную соболью морду. Собаки по очереди подходят, обнюхивают поверженного врага, лижут кровь, свирепо ворчат и, удовлетворенные, калачиком сворачиваются на снегу...

Конечно, соболь – самый совершенный хищник животного царства. Куница и глухарь, заяц и хорь, белка и горностаи, и даже мелкая косуля, – все трепещут его. Если бы наш соболь смог вырасти до размера льва и они бы встретились, я уверен, что от царя зверей и хвоста бы не осталось...

На обратном пути мы сворачиваем на реку проверить вентеря, дробим в квадратной проруби прозрачную ледовую корку, сплавления

ем крошево по течению под толстый лед, вытаскиваем «морду», вытряхиваем из нее мелкоглазых черных налимов, синеватых хариусов, крупных брусчатых пескарей... Ерши сразу растопыриваются всеми колючками, замерзая на льду. Последними окоченевают живучие налимы. Дед веткой глушит их по головам, «чтобы макс не выбыгала», – оказывается, налим, если его не оглушить, на воздухе как-то продлеват свою жизнь за счет печени, и она уменьшается – «выбыгает» в размерах... Налимы молотят черными хвостами по льду, раздувают жабры, затихают...

Вечером дед в зимовье обдирал соболя. Драгоценный мех сползал с красного мускулистого тела, оплетенного сухожилиями, уснащенного белыми изогнутыми клыками и короткими лапами с веером стальных коготков. Облик хищной смерти, особенно когда тушка лежит на лабазе замороженная, оскаленная, с остекленевшими глазами и когтистыми лапами... Дед натянул шкурку на пяло, ссадил, прибил мелкими гвоздочками и любовно погладил блестящий ворс задубевшей ладонью:

– Тайга-матушка ишшо кормит...

\* \* \*

Ночь. Звезды. Тишина. Тени на снегу. Синева. Призрачный густой свет. Трещат деревья. Вспыхивают метеориты. Сверкающая мгла плывет в русле Тунгуски. В такие ночи зайцы носятся по своим вытоптаным тропам, обезумев от лунного сияния. Вот тогда-то они и попадают в проволочные петли, где задыхаются, по-детски крича. А коварный соболь в светлые ночи обходит ловушки. Надо ждать, когда месяц пойдет на ущерб. Торосы, наледи, наст – все искрится. Засветло я не успел выйти к зимовью, а сейчас не пойму, где сворачивать на тропу, чтобы не пробежать две березы на высоком берегу, за которыми стоит дедовская избушка. Ночное пространство заполнено светящимся туманом, обволакивающим предметы. Впереди по ле-

вому берегу замерцала какая-то искра. Напрягаю глаза – пропадает. Расслабляю – вроде бы видно снова. Чудится – нет ли? Иду минуту, другую. Искра становится устойчивее. Конечно, это соседнее зимовье наискосок от дедовского! Скоро пора на заберег, искать тропу... Я замедлил шаг, неуверенно повернул направо и почувствовал под ногами твердый, утопанный снег. Может быть, это зимовье какого-то приезжего татарина? Кто он, откуда – никто не знает. Приехал, поселился в брошенной, старой избушке, не охотится, только рыбу ловит. Стою, всматриваюсь в тьму, смешанную с морозным туманом, – деревья, берег, угоры – все слилось в сплошное морево. И вдруг откуда-то сверху – рычанье собаки и человеческий голос: «Кто тут блукает? Ты, что ли, москвич? Заходи, почаёвничаем!»

Слава богу, это наш сосед Володя Юрьев! Сидим в его просторном зимовье, пьем чай, разговариваем. Все о том же: сколько кому пришлось пережить на своем веку.

Володя мой ровесник. Вырос без отца, которого вместе с соседом по Ербогачёну посадили в тридцать седьмом за намерение взорвать мост через Тунгуску. Когда Володя вырос, то узнал, что моста такого и в помине не было, а был донос. Сосед Иван Михайлович выжил, вернулся и рассказывал Володе, как в иркутской тюрьме Володин отец после трех допросов шепнул Ивану Михайловичу: «Четвертого допроса я не выдержу... Надо, Иван, сознаваться, а то живым не оставят...» «Сознались». Отправили их сначала в Ванино, а потом в Магадан.

– Письмо мы получили, и так вышло, что начальником ихнего лагеря был наш общий сродственник. Ну, родные собрались да написали сродственнику, мол, дядя твой у тебя в лагере, разыщи да помоги. А тот как помог – скорее отделаться чтобы, отправил моего отца в другой лагерь. Отец там оголодал, дизентерией заболел, на работу перестал выходить, а пайку давали только тому, кто норму выполнял. Отощал совсем и говорит: «Я тут на нарах помру. Лучше на работу выйду». Вышел в котлован на земляные работы. Там, сказывают, и упал.

3

Утром мы с дедом идем ставить «пасти» на зайцев. По натопанной тропе медленно уходим в тайгу, заснеженную и такую беззвучную, что даже слышно, как ворон, летящий высоко над вековыми лиственницами, машет крыльями – ф-р-р! ф-р-р-р!

По дороге продолжаем нашу извечную тему: какая жизнь была лучше – та, что раньше, или та, что сейчас.

– Что говорить, Славк! Сахар ели только по праздникам! А работали с темна до темна. Взять коноплю одну. Посей ее, собери – руками рвали! – обмолоти, потом осотью в вязки увяжи, потом мочи ее три недели, потом у прясла поставишь – чтоб до марта выbygала, потом на мялке мнешь, чешешь. Потом бабы с лучиной красна ткут, веревки вяют, нитку на сети прядут, сети вяжут... А на рубахи да на портки холст – все из конопли ткали! Купить-то негде было, да и не на что! Чирки простые сшить из сохатины аль из коровьей кожи – простое дело вроде, а ить пока эту кожу выдубишь, в мялке изомнешь – ох! – руки отвалятся! Но зато и чирки были! Легкие, прочные. А бабам покрасивше делали – чернили пылью из-под точила...

Собаки наши заволновались – дед, прикрикнув на них, прибавил шаг:

– От он, красавец. Цыц, Музгар!

Мы разом остановились, с восторгом поглядывая друг на друга. Под сосной, свернувшись в окаменевший клубок, лежал черный соболь с капканом на передней лапе. Видно, долго метался, бедолага: мерзлая земля у корней дерева была вырыта его стальными коготками аж на полметра, но проволочная сталь, что удерживала капкан, оказалась прочнее когтей и зубов. Дед разомкнул пружину, вытащил зверька, поглядел на его оскаленную мордочку, дунул на ворс, бросил добычу в мешок.

Вечером в натопленном зимовье за распаренным чаем мы подробно продолжаем разговор о прошлой жизни.

– Я два класса кончил, чагой на бересте писал. Писать выучился – отец сказал: «Хватит» – и послал меня белочить. А сейчас: учишься – не хочу! Я в интернате завхозом работал – так они там кашу рисовую не едят, конфеты шоколадные кидают. Три раза их в день кормят, да еще полдень какой-то дают... Ох, Славка, портится народ от хорошей жизни! Я ероплан-то в первый раз в тридцать шестом году увидел. Вышли мы на угор – дед Петрован, Николай Евлампич и я. Летит! Дед Петрован стал бородой в небо, перекрестился и сказал: «Ну, слава Богу, Еруслана сподобило увидеть...»

Конечно, лодочные моторы, сапоги резиновые теперь есть, зато пьяниц и бездельников стало больше, зато ружья стали хуже – помню, были гековские... А капканы нынешние... Двадцать штук новых ондатровых поставил – утром гляжу, на шести пружины полетели. Ну, правду сказать – все есть у нас: и хлеб, и мука, и сахар, и мануфактура, и забота есть о нас, фронтовиках. Тридцать лет Победы как душевно справили! По кисету каждому из ветеранов пионеры сшили, перед райкомом вроде бы кухню полевую сделали – ох и смех! – каждому из нас по миске каши дали, как на фронте. Да по сто грамм, а где сто, там и двести! – Дед смущенно заулыбался, замахал рукой, объятый сладостными воспоминаниями. Он вообще любит с людьми потеряться, пошутить, потолковать где бы ни было – в клубе, в бане, в магазине. Намолчится в своем зимовье, и тянет его к разговору, к теплу. К товариществу, истоки которого то ли в мирской крестьянской жизни, то ли во фронтовом братстве.

– Телевизоры к нам привезли. Так Маруся не слезает – давай купим! А на что он мне? Включишь – да и смотри один, как филин. Я лучше в клуб схожу, в кино, там хоть народ рядом...

– Ну а народ-то стал лучше или хуже? – все вытягиваю я из деда какой-то исчерпывающий ответ, хотя сам прекрасно знаю, что такого быть не может. Но дед не теряет:

- Жизнь стала лучше, а народ хуже...
- А как же так быть может?

– А так и может! Жизнь-то совсем другая стала! Вот смекай сам: укрупнили колхозы, скоко деревень пропало – пальцев не хватит загибать. – Дед яростно загибает пальцы: – Потемино нету! Лужков нету! Гаженки нету! Логашино нету! Данилова нету! А ведь по сто коров дойного скота было в каждой! Хлеб сеяли; мясо-молоко сдавали, да и самим оставалось... Это я тебе токо по Тунгуске насчитал. А по Непе? Аяна – нету! Вольпана – нету! Далькана – нету! Все разъехались... Разве нынешнюю жись со вчерашней можно равнять? В деревне недружно жить нельзя было. Там не то что в нашем поселке – всем известно, кто хороший человек, кто плохой. Хотя, конечно, и выпивали, но дружнее жили, дружнее! Конечно, дурость-то в народе всегда есть. Вон Егор Кладовиков молодой был, влюбился в соседскую девку Матрену – да родители не сговорились. За другого ее выдали. Через сорок лет, после войны уже, узнал, что она овдовела, бросил семью, сел в лодку-берестянку, поплыл за пятьсот километров. Стал жить с нею. А она, видно, уже разбаловалась. Весной на Троице в лесу он ее с мужиком и приметил. Вернулась она домой, картошку стала чистить, а он ружье в горнице зарядил, подошел к ей, навел ружье и говорит: «Прощайся с жизнью!» – При этих словах глаза у деда засверкали – он показывает, как Егор наводит ружье, переживает, выставляет ногу вперед, воображаемое ружье прижато к плечу, дышит часто. – Матрена за ствол хватъ, а он курок и спустил, пуля ногу ей пробила да о подоконник – и рикошетом в окно на ту сторону реки, где пахали на лошади, – в дугу ударила... Тогда она, видно, за печку бросилась да вокруг печки хотела обежать да в дверь, а ён с другой стороны ее встрел, она упала – ён ей под затылок второй жакан – скрозь позвоночник прошел и в кофточке белой запутался. Когда ее подымали – глядят, что-то из кофточки упало, покатилося – жакан... Я слышу выстрелы – побежал к ихней калитке, отчаянный был, – соседи кричат: «Егор Трофимыч тетю Мотю убивает!» Я калитку рванул – гляжу, Егор навстречу мне выходит из избы, шатается, увидел меня, ружье на себя наставил – и... – Дед махнул рукой, за-

жмурился и отвернулся. – А тут и брат Матренин прибежал, кричит: «Я его на куски разрублю». А я, – дед принимает официально строгий вид, как служитель закона, – ему говорю: «Трупа не трогать! Токо милиция труп имеет право трогать!» Подошли мы к Егору, а он руками вот так... – Дед протянул перед собой ладони, стал то растопыривать, то сжимать пальцы.

А рядом с имя совсем другие люди жили: Агафья Ивановна да Иван Тихоныч. Двенадцать детей растили – одиннадцать сыновей да одну дочь. Дня им не хватало – по ночам, бывало, сидит Агафья, ичиги чинит, лопатину шьет... На жарят рыбы семейную сковороду – детей накормят, что останется – сами поедят. Когда умерла она в пятьдесят третьем году – одиннадцать сынов и дочь у гроба стояли. Сестра моя стала имя готовить, да шить, да обхаживать – колхоз ей полный трудовень платил...

Слушаю – ужасаюсь и радуюсь. Но ведь не может пройти даром, исчезнуть, следа в памяти двенадцати детей не оставить то, что сестра Степана Романыча не за трудовень, конечно, – какой там «полный трудовень» был в пятьдесят третьем году! – а по совести крестьянской и человеческой пошла в дом, где остался вдовец с двенадцатью детьми, и, хошь не хошь, стала им вместо матери? Не может быть, чтобы не помнили эти сейчас уже взрослые люди добро, чтобы не проросло оно в их душах, а если проросло – то не удержишь его в душе – в мир выпускать его надо... А коли так, то не должны быть сегодняшние люди хуже вчерашних...

– Однако заговорились мы с тобой. Славка! Завтра нам опять ловушки глядеть, сети сымать пора – кабы не примерзли. Да и в Ербога-чён собираться будем, баня нас заждалася!

Дед шумно задувает лампу и, бормоча, погружается в сон, оставляя меня наедине с ярко-синей от мороза звездой, струящей свет в маленькое окошко зимовья, и неразрешимым раздумьем о том, какой же стала жизнь наша: хуже или лучше, лучше или хуже?..



\* \* \*

Из писем Степана Романыча разных лет.

«Я Вас поджидал к открытию охоты, но не дождался. Пришлось прослушать по радио Ваши стихи о нашей встрече. После этих стихов все заходят – “Слышали, Степан Романыч, про Вас пропели стихи с Москвы”. Очень, конечно, благодарны и очень всем присутствующим пондравилось. А поэтому, просим вас посетить наш район. Стретим, как брата».

«Наша жизнь идет помаленьку. Со мной случилось 22 мая, как раз пошла Угрюм-река. Ну, думаю через сутки лед пройдет и поеду в зимовье уток стрелять. И вдруг кольнуло в правый пах и я чуть сознание не потерял. Меня в больницу и в Иркутск. Спасибо был московский профессор и 27 мая я лег уже на стол. Ну думаю конец. Больше мне не жить. Но перенес. Операция тяжкая, Слава. В 1941 г. под Москвой меня ранило. Осколочное ранение. Большие осколки выпали, а два очень маленькие, их затянуло, и просидели глубоко 39 лет. Изнутри пошла злокачественная опухоль и вот, дай Бог этому врачу, сделал операцию и я пролежал в Иркутске два с половиной месяца, проходил облучение и вернулся домой... План пушнины в этом году, наверно, провалим: осень очень плохая была, дожди, а потом заморозило, собаки ноги ободрали. Вот так. Ну, дорогой, приезжай на день оленевода...»

«Жду тебя на свой юбилей – 70 лет, 14 октября. Ну пока. Еду к зимовью. Дома не могу жить. Тянет матушка-тайга».

«Наша жизнь идет по-старому. Стоят морозы с Нового года 52–62, дневные 45. Тяжело, но привыкли. Хожу по лоушкам, но за капкан иматься равносильно как за раскаленное железо. Новостей больших

нет. Но наше поколение отмирает. Уже в январе в моих годах и постарше скончались трое. У Ивана Кладовикова скоростижно скончался отец Митрофан Иванович. Приехал с охоты 5 января, зашел в дом, а старуха говорит, ой, что так долго, скучно стало, все передумала. А он отвечает: ничего, старуха, все хорошо. Там на нарте лежит два куля с рыбой, иди закинь. А она ему отвечает: у меня все нажарено, вчера тебе на встречу купила бутылку спирту. И сама вышла в огород. Ну она всего провела 3–4 минуты, вернулась, дверь открыта, а он лежит у дверей, где переобувался. Она схватила, закричала, народ прибежал, а он уже мертвый лежит. Хоронить приехали пять сыновей и четыре дочери. Скончался семидесяти шести годов...»

«Жизнь идет потихоньку. Опять летал в Иркутск на проверку, сдавал анализы, врачи сказали, что пока анализы в хорошую сторону. В июле опять велют приехать. Что делать, придется ехать, жить охота, рыбачить, охотиться, и еще охота тебя увидеть и за стречу выпить хорошо...»

#### 4

После бани, краснолицые и благостные, мы сели к столу. Дед в майке, на предплечье у него наколота синей тушью грудастая женщина и под ней надпись: «Шура». Он перехватывает мой взгляд:

– Это первая жена. Сирота. В детдоме росла... Семь лет с нею жил. Она хотя и эвенка, так-то ее не забракуешь... Ушел на войну, пропал без вести, повестку она получила... Вернулся – живет с председателем. Уходи, говорю. Она: «Прости, Степа, война, все бывает...» – «Нет, уходи!» – Дед поджимает губы, и я вижу, что он может быть очень своенравным, – делает решительно взмах рукой по направлению дверей: – «Уходи!» Уехала... Бабы собрались, сестры, и говорят: «Рома, женись на Дусе из пекарни, женщина чистая, работающая. С дитем она – ну с кем не бывает? Обманули ее...»

Дуся гремит возле печки кастрюлями, разливает по мискам похлебку, но жадно слушает каждое наше слово и тут же вступает в разговор:

– Я могла трех человек переплясать. А петь любила! Всякую песню как услышу – тут же повторю. Тата, когда помирал, просил: «Дуня, ты помнишь песни, которые я играл? Спой, говорит мне, напоследок...» А ить меня чуть не увез в двадцатом году Иннокентий Кузаков – офицер! Ехал в Гаженку на лошади в мундире с погонами... Проезжал наш хутор, увидел меня и говорит отцу: «Павел Иваныч, а Павел Иваныч! Отдай мне девчонку, я ее с собой возьму... Я ее выучу...» А вить он в Китай ушел... – Голос Дуси звенит от восторга при воспоминании о том, какова могла быть ее жизнь. – Как сейчас помню: четверо их едут на конях! В погонах. Все вооруженные... Я красивая была, бойкая, из меня артистка могла выйти!

Дед, который слышал эту историю много раз и уже давно ненавидит своего вечно счастливого соперника, офицера Иннокентия Кузакова, хмурится и перебивает старуху:

– Сука, Родине изменил!

Но Дуся, увлеченная несбывшейся сказкой, уже и не слышит его:

– Кузаков говорит отцу: «Павел Иннокентьевич, отдай дочку-то, я ее выучу», – а тата ему отвечает: «Авдотью я свою никому не отдам!» – Дуся делает яростные глаза, свирепо выпячивает челюсть, изображая отца, который не уступил дочку колчаковскому офицеру Иннокентию... Неожиданно на хмельных покрасневших глазках Евдокии появляются слезы: – А я бы выучилась! Я такая была плясунья, такая певунья! Мне учиться хотелось! Богатые-то своих детей учили. А я подушку слезами омочила! Я бы артисткой стала! А голосище какой был. Степа, я ведь при тебе пела! Степа, дай спою. – Дуся затягивает хриплым старушечьим голоском:

Ох, бедна, бедна девица  
На свет я рождена...

Дед, облокотившись на стол, снисходительно слушает Евдокию, которая старательно выговаривает каждое слово песни, строит неведомо кому глазки, улыбается беззубым ртом, худенькая, красноносая, обутая в громадные валенки, из которых торчат ее тонкие ножки, обтянутые зелеными рейтузами.

Не ветер занавесточкой  
Тихонько шевелит,  
Мой милый под окошечком  
Секретно говорит.

Она покачивает плечиками и рассказывает песню так, как будто все, о чем говорится в песне, происходило или даже вот сейчас происходит не с кем-то, а с ней, с Евдокией.

Не плачь, не плачь, красавица,  
Не лей горячих слез,  
Наплачешься в неволюшке,  
Тогда будешь моя.

Дуся поет с ошибками, как запомнила когда-то, полсотни с лишним лет тому назад. Печка в доме прогорела, от двери тянет холодом, на дверном косяке сверкает иней. Усталый дед отвалился на никелированную кровать. Внезапно гаснет электричество, и слабым источником света становится синий прямоугольник окна, но Дуся не обращает внимания на тьму, начинает маршировать:

Раз! Два!  
Чище ровняйся!  
Грудью подайся!  
Только не вешать голов!

На Тунгуске дымятся полыньи, дед уже похрапывает, я зажигаю керосиновую лампу, а Евдокия марширует, сбивая громадными валенками домотканые половики.

Он выкован железной кузницей,  
Он сын свободного труда,  
Глаза у его орлино-серые,  
А сердце пламенно, как шлак.  
Его заветы – это зна-а-мя!  
Весь мир в Коммуну превратим!

– Дуся, да посиди, отдохни! Расскажи лучше, откуда ты эту песню знаешь. У вас ведь от деревни до деревни по триста верст!

– Ох я и петь люблю, Слава, вот слушаю телевизор и подпеваю. Ну, конечно, они слова исказят! А ишло мы про Ильича пели! – Дуся становится по стойке «смирно», выбрасывает руку в пионерском салюте ко лбу и опять вскидывает вверх тощие ножки в валенках:

Ты умир сигодня на славном посту,  
Видя на борьбу миллио-о-ны-ы!  
Ты умир, Ильич, над могилой твоей  
Склоняем мы наши знамё-о-ны-ы!

Громадная тень от маленькой старушки мечется по стене, а Дуся хрипит, не устая:

Ты долго, Ильич, пролетарской звездой  
Горел пролетарской России!

Тяжело дыша, она опускается на табуретку:

– Четырнадцать лет мне было... В Гаженке по праздникам пели...

Я выхожу во двор. Ледяные звезды от холода чуть слышно потрескивают в небе. В курятнике ворочаются сонные куры. Струйка дыма тянется из трубы, никуда не отклоняясь, словно застыв на воздухе; из-за неплотно прикрытой двери долетают слова:

Он выкован  
В железной кузнице.

Дед оторвал голову от подушки – видно, решил, что хватит, надо бы и свое спеть:

– Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина!

– Да заткнись ты, только и знаешь «За Сталина!».

– Ты, ты Сталина не тронь, к нему Берия вошел в доверие. А меня не перебивай, меня люди уважают! На той неделе в столовой свадьба, – дед уже обращается ко мне, – дочь среднего брата замуж выходит, машину прислали, просят, Иван Романыч, поехали. А я говорю – на что я вам, старый? Рюмку-другую выпью – и пьяный! На торжественное заседание в клуб приглашали – не пошел! Со старухой бутылку раздавили, телевизор включили и целый вечер просидели вдвоем, как молодые.

Дуся, видя внимание деда, начинает кокетничать, опять выходит, покачивая плечами, на середину комнаты:

Мине милый изменяет,  
Я ему наоборот,  
Меня новый провожает  
Каждый вечер у ворот.

Дед машет рукой, бессильно хохочет, жмурится, а Евдокия входит в раж:

Сыпала, посыпала  
Погодка сыроватая,

Сама девчонка ничего,  
Любила треповатого.

Деду все это не по душе – молодое, легкомысленное, забытое. Он пытается перехватить инициативу, затягивает, напрягая тощую морщинистую шею:

Ой да ты, Сибирь, Сибирь моя родная...

Но с бабкой уже нет сладу:

Как же Степу не любить,  
Степа чисто ходит,  
У Степы чубчик на боку,  
Дусю с ума сводит.

Видно, эти самые частушки она пела Степану Романычу сорок лет назад. Но дед не сдаётся, хватает Евдокию за фартук и тянет свое, старуха кричит на него: «Ты петь не умеешь! Всегда песню разбавляешь!» Но дед не слушает Евдокию и выводит протяжное, бесконечное:

– Пришла весна, я встретился с тобою...

– Степа, замолчи! Ты и так всю жизнь говоришь! Дай мне! У меня коса, сына, такая была – я садилась на нее. Как пойду – за мной табун всегда. А как плясала да пела! Конечно, мой талант пропал. Зачем за Степу пошла? – ни спеть, ни сплясать не давал. Здешние бабы спрашивают: где петь научилась – со Степой? А я им отвечаю: с этим иродом не спляшешь, а научилась с Ильей, от которого у меня Колька... Кадриль играли. Как приду на вечерку – все меня приглашают... Ты меня всю погубил, Степа! По голове пинал, а сам бегал, кобель, по девкам да по бабам. А нынче сама убилась. Пошла к печке – как меня леший бросит головой об угол... А за что бил? Я ему родить не могла, надорвалась, кули с мукой в пекарне таскала, гузёнка стала выпадать.

Мать мне судьбу-то отдала. Ее отец тоже бил. Все петлю себе готовила, да я от нее ни на шаг. Бывало, веревку возьмет, а я тут как тут. «Ой, Дуска, – бывало, скажет, – ты мне покою не даешь». А в последний раз она меня омманула, говорит: «Доча, коровушка телится, сходи, погляди в стайку... Я сходила, вертаюсь, слышу, ногами колотит. Как закричала: «Тата! С мамой неладно!»

– А, твою мать, опять представляется! – едва успел вставить в сплошной поток Дусиных слов дед, но Дуся уже никого не слышит:

– Отравилась! Мы ей зубы разжать не могли, а Кеша маленький подползает и титьку сосет! – Последние слова Дуся договаривает сквозь слезы. – Потом его на фронте убили! – Она с плача переходит на крик и внезапно, утерев глаза, снова переключается на деда: – Ну знала я, что ён к Анне Павловне – сестре моей – ходит. Ну зачем меня-то бить? Пришла из больницы, постель стелю, смотрю: труссы-то Нюркины. Я говорю мачехе: «Труссы-то Нюркины!» А мачеха мне: «Молчи. Я их выстираю да носить буду...» Во какая мачеха у меня была... Что пережито – конем не объехать.

Ой, впереди веду-у-т мата-а-ню,  
Сзади выблядка-а несущ-у-т.

Но дед не слушает ее излияний и тянет с кровати свое:

Прошла весна, краса моя увяла,  
Ты разлюбил и сделался чужой...

Дуся потихоньку начинает вторить ему, потом с упреком глядит на деда: мол, разлюбил и сделался чужой – «ить про тебя это, ирод»...

Дед, понимая, что нужно совершить какое-то дело, чтобы избежать упреков в разбитой жизни, спускает ноги в кальсонах на пол и властно приказывает:

– Тащи бутылку!



Евдокия лезет в гардероб, достает заветную бутылку «Агдама» и, отмякнув после стопки, снова начинает вспоминать детство и девичество, уже не придираясь к деду:

– А тата петь любил «Ухаря купца»: «Пей, пропивай, ишшо наживем...» Тата по-хохляцки пел, по-русски говорил плохо. Бабушка деду дядю Александра и дядю Сергея привела. У нее они нажитые были. Сергея в армии убили. Потом другой Сергей родился. Ты не спорь! Я лучше знаю! Это другой Сергей! Как он на тальянке песни играл!

Молчанье... Только слышно, как на Тунгуске, ухая, опускается лед.

После усталого затишья разговор начинается снова – и все о том же:

– Кольку-то я нажила, а больше родить не могла. В пекарне работала, мешки таскала... Степа меня и взял с ребенком... А что?! У других по два, по три набеганы, и то замуж выходят! В Непе я жила одна. Руки отнялись в пекарне. Врач Петухова уколы делала. Хорошая женщина была, потом пить стала, с партии ее исключили. Я говорю: «Везите меня в Гаженку к родным. Руки, ноги не владеют, а мне пекарню принимать надо». – Дед чего-то поправляет Евдокию. Она кричит на него: – Не ври! Не мешайся, Рома! Я в сорок шестом туда приехала; булочки тебе стряпала! Руки, ноги отнялись. На холоде работала. Дорошенко меня на ручках носил, с ложечки кормил... Рассолу бочку навели и в бочку меня сажали, восемь ванн сделала...

– А сын-то его?

– Нет, от другого... Я за Степу вышла, а Дорошенко пишет и пишет родным: если, мол, Дуся не вышла замуж, сообщите, я приеду, – победоносно взглядывает на деда, как будто мифический Дорошенко, если она захочет, хоть завтра сможет приехать... – Ох, какой хорошей был мужчина, уважительный. Он меня на ручках носил. Не то что ты! – Глаза у Евдокии сверкнули, седые космы вылезли из-под платка, сухонькая ручонка взлетела к дедовскому подбородку. – Он мне не писал, родным писал, раз пришла к сестре – смотрю, письмо на лампе лежит...

Дед очнулся, поднял голову:

– Хватит тебе... Ты у меня как Польша!

Дуся аж взвизгнула:

– У меня никого не было! Я одного нажила! А люди по два, по три наживают! И отец мой не поляк, а самый настоящий хохол! Тата за всех меня любил! – Евдокия начинает подвывать, вытирая слезы концами кашемирового платка.

Я, чтобы отвлечь ее от печальных воспоминаний, опять перевожу разговор на песню:

– Дуся, давай мою любимую. – Стараюсь выводить красиво и правильно: «Позарастали стежки-дорожки...» Ну конечно же, сейчас она вспомнит, подхватит, обмякнет голосом и сердцем, ведь пели же они эту вечную песню, сейчас вторить начнет; нет, слов не помнит! Дед в кальсонах, приподнявшись на кровати, из последних сил командует своей старухой:

– Да погоди ты, балаболка! Спой старинную песню, онкульскую, которую Лазарь Михайлович любил.

Евдокия не помнит онкульской песни, дед сбил ее с настроя и перехватил вожжи разговора на какое-то время в свои руки.

– Лазарь Михайлович, годок мой, утонул. Выпимши сел в лодку да по большой воде по верховке поплыл на тот берег – там у его на озерах сети. На берегу еще постоял и запел старинную онкульскую песню, – все ты забыла, старая, сел в лодку да и ушел за поворот... И с концами. Видать, лодка перевернулась, там кряжи, а вода – бешеная, верховая, на них и нанесло. Искали целую неделю, водолазов вызывали из Иркутска, а я сразу сказал – вода спадет, у Курьи искать надо. Так и вышло. Федька-моторист – месяц уже прошел – шпарит на моторе, глядь, у Курьи утопленник. Он и есть, Лазарь Михайлович, Царство ему Небесное, славный был мужик, фронтовик, но выпивать любил – ой любил! Всю Европу прошел, Чехословакию вызволял, Венгрию. Два ордена Славы! К третьему был представлен. Да по ранению в госпитале не нашли... Утоп... – Дед машет рукой, мол, жизнь – жистянка, поджимает губы. – Старинную онкульскую

песню запел перед смертью, как в лодку сесть. Плохо дочери отца держали. Штаны оденет, грязи пулей не пробьешь. Не было ему никакого присмотру...

Дуся, чувствуя себя виноватой, что ничего не помнит – ни онкульской песни, ни «Стежки-дорожки», в конце концов заявляет нам, что одну старинную она знает. Опять выходит на середину избы, поправляет платок, вытягивает руки по швам.

Командир герой, герой отря-а-да-а,  
Сам он ехал впереди-и!  
Он командовал своим отрядом,  
Веселил своих ребя-а-т!

Поет Дуся, закрыв глаза, а перед глазами, на пляшущей с ноги на ногу рыжей лошади то ли колчаковский офицер Иннокентий Кузаков с золотыми погонами, в ладном приталенном мундире, то ли – глаза слезами застит, не разберешь – безымянный красный командир в шапке-богатырке, в длинной шинели, – словом, кто бы он ни был – он тот, кто увезет ее куда-то далеко-далеко от угрюмого отца, копошащихся на печке братьев и сестер, от остроглазой мачехи...

Все ребята едут, веселятся,  
Все спешат скорей домо-ой,  
Но один боец был невеселым,  
Был он круглым сирото-о-й!

...увезет далеко-далеко, где она плясунья, песельница из глухой сибирской заимки, станет актрисой! Хватит ей подушку мочить слезами, хватит своим сиротством захлебываться. А он, тот, кто, то ли в офицерской фуражке, то ли в шлеме со звездой, – тоже ведь сирота, как и она, словно брат ейный!

Знал бы я, да не-е поехал  
Я на родину свою.  
Лучше б, лучше б я сражался  
В чистом поле со враго-о-м!

– Сиротой он был, чего ему на родине делать, – печально комментирует Евдокия. А потом она опять в который раз заводит свою любимую: «Не сплю, лежу, все думаю, как милого забыть» – тут и офицер в мундире с погонами, который чуть не увез Дусю в Китай, и Зарукин, который «омманул», и Дорошенко, что на ручках носил и с ложечки кормил, и Степка, который бил «и стулом и поленом», но все равно Дуся ждала его на берегу, по целым ночам выстаивала. Так ей хочется приключения, интриги, бегства с милым, что, может быть, и не зря порой дед поколачивал плясунью и певунью.

– Да, сколько раз на меня с ружьем наскакивал. Я бы тоже бегать могла, я по ночам работала, как квашонка подойдет – в пекарню ночью итти надоть, а Степка ревнует... Я вот ночью лежу дак и пою про себя, и рассказываю. Осталась неграмотная, вышла за такого гада – не спой, не спляши. Прошлый год приехал с больницы, месяц тихий был, потом опять на-скакивает, я, мол, тут без него с армяном бегала и со строителем. – Дуся снова, как будто продолжая речь, переходит с разговора на песню:

Куда девался тот цветочек,  
Котор долину украшал?  
Куда девался тот дружок,  
Котор словами улещал.

Тяжелый храп прерывает ее – дед завалился на подушки, худая рука свисает с кровати, рот у деда открылся, и в нем тускло светятся стальные зубы, ко лбу приклеились остатки когда-то густого чубчика... Евдокия с нежностью глядит на старика. «Он хоть и бегал от меня, хоть и бил, а изменять не изменял. Так вот мы с им и живем, со Степой-то».

Я, засыпая, слышу, как она поправляет ему подушки, укрывает одеялом, ворочается, уstraиваясь рядом с ним на металлической кровати с панцирной сеткой и никелированными шарами...

\* \* \*

На другую осень болотистой прибрежной тропой я добрался до соседнего зимовья, срубленного на Кучёме. Кучёму можно было перейти вброд. Но я знал, какая она бывает весной. Когда мужики после половодья приехали в зимовье, то увидели, что оно, крепко сбитое осенью из листвяков, все перекосылось, потому что мутная полая вода, вышедшая из берегов, приподняла зимовье, словно спичечный коробок, и, уходя обратно в русло, оставила их избушку совсем не там, где они рубили ее, а на другом конце поляны.

Услышав с реки звук мотора, я вышел по тропинке, протоптанной сквозь кусты жимолости и черемухи. Эвенкийское низкое небо нависало над берегом. Железная лодка, подняв коричневую волну, заскрежетала по гальке и аж на полкорпуса вылетела на глинистый берег.

Миша Сафьянников, темнолицый мужик, с разрезом глаз, выдававшим примесь эвенкийской крови, перескочил через борт. Волна накренила лодку, и я увидел с высокого берега, что она забита черно-белыми связями, длинноклювыми чирками, сверкающими селезнями.

– Штук двадцать, наверно!

Я с завистью поглядел на разноцветную пушистую окровавленную грудку крыльев, голов и хвостов.

– Давно надо было мне на дальние калтуса заглянуть! – Миша Сафьянников наклонился над лодкой и осторожно приподнял за концы крыльев крупную пестро-рыжую птицу. – Тетеревятник! Влет сшиб, когда к реке вышли!

Ястреб ворочал по сторонам головой, судорожно сучил лапами, но сделать ничего не мог, потому что Михаил держал его за оба крыла, заломленные сверху.

– Смотрю, с листвяка поднялся и пошел вдоль реки, ну я его влет и ударил.

Он бросил птицу в траву. Тетеревятник, царапая землю когтями, хотел было рвануться в сторону от людей, но, видно, его раны были тяжелы и движение не приносило ему пользы. Ястреб замер, с холодной ненавистью в круглых желтых глазах глядя на страшных существ, обступивших его.

– Зачем он тебе нужен был? – Я постарался, чтобы вопрос прозвучал равнодушно.

– Да ведь тетерок дерет, рябчиков... Ишь ты! – Михаил замахнулся на ощерившуюся птицу. – Из лодки все хотел выскочить, сапог когтями ободрал... Пришлось палкой приглушить...

Из зимовья вышли трое подростков – сын Михаила, Володька, с двумя товарищами. Они уже втянулись в охотничье дело и кое-что понимали в нем. Вчера, засыпая на полатах, застланных жаркой медвежьей шкурой, я слышал, как ребята делились впечатлениями от вечерней зорьки. То ли под их разговор, то ли от выпитой водки, утиного супа и ровного жара, исходящего от смолистых стен зимовья, но спалось, может быть, самым крепким сном в жизни.

– Пап! А что с ним делать? – спросил Михаила сын и осторожно шевельнул забывшуюся птицу палкой. Тетеревятник вздрогнул, белесая пленка сползла с его глаз, он вцепился обеими лапами в сосновый сук, растопырил пестрые крылья и ощерил клюв, показав окровавленный острый язык.

– Все равно подойдет! Давай поглядим, кто из вас первый стрелок. Ну-ка, отнеси его на пень!

Мальчик поднял сук с ястребом, висевшим вниз головой, и пошел к замшелому еловому пню. Тетеревятник волочился по траве и зорко следил за каждым движением своего врага, словно бы выжидая, когда можно будет рвануть его лапой или ударить железным клювом. Но когда Володька поднес его к пню – он сделал короткое движение крыльями, вспрыгнул на пень, опустил перебитое крыло к земле, потрянул взлохмаченной головой и неподвижно уставился желтыми зрачками на людей, стоявших метрах в двадцати от него.

– Принеси мелкашку! – сказал Михаил сыну. – Стрелять будете только в голову.

От реки с полными ведрами поднялась жена Михаила, Ольга Ивановна, с краснощекой дочкой лет шести.

– Мам! Смотри, Вовка ястреба стреляет! – с восторгом и страхом закричала девочка.

– Пошли, доченька! Пошли! Нам картошку надо чистить, уху варить.

Ольга Ивановна взяла девочку за руку, и по лицу ее видно было, что не хочется ей смотреть, как ее сын будет сейчас стрелять в птицу, застывшую на пне, словно египетское изваяние. Ольга Ивановна была не из местных. Лет пятнадцать тому назад занесла ее судьба, молоденькую учительницу из Ленинграда, в таежное село, где в первую же весну закрутил ей голову смуглолицый красавец, жестковолосый метис Михаил Сафьянников...

Мальчик поднял ружье. Долго выцеливался – не хотелось ему, видно, ударить лицом в грязь перед Михаилом. Мы напряженно и молча ждали выстрела. Выстрел грянул. Но пуля, должно быть, едва скользнула на волосок от головы тетеревятника – он дернул головой, обожженной горячим воздухом, переступил с ноги на ногу и опять застыл, глядя на нас неподвижным желтым взором.

– Эх ты! – сказал Михаил. – Ну-ка отдай мелкашку Игорю.

Игорь тоже выцеливался долго, но выстрелил еще хуже, и ястреб ни единым движением не ответил на выстрел.

Третьим винтовку взял паренек в очках. Он был несколько косоглазым, потому и носил какие-то специальные очки. Но я знал, что именно этот хилый светловолосый подросток вчера вечером принес уток больше, чем его товарищи.

«Все равно ястреб подохнет!» – вспомнились слова Михаила, и я закурил сигарету, зная, что птицу сейчас убьют и что сделать что-либо уже невозможно и невозможно уйти, не досмотрев до конца, как это все произойдет.

«Ну зачем он поворачивает голову? Ведь так же в него попасть легче!»

В эту секунду щелкнул выстрел. Хищник слетел с пня, ребята наперегонки бросились к нему, и косоглазый мальчик с молчаливой гордостью приволок птицу к ногам Михаила. Пуля, потому что ястреб повернулся в профиль, прошла оба глаза, и птичья голова была раздроблена вдребезги...

На закате солнца, похлебав ухи из карасей, все уезжали в райцентр. А мне захотелось еще денек-другой побродить с ружьишком по тайге, поглядеть на чахлые эвенкийские сосны, на темную воду Кучемы, поест с кустов синие матовые ягоды горьковатой жимолости. В глубине души жила надежда нарваться на краснобрового глухаря, но я старался об этом не думать, чтобы не дразнить охотничье счастье.

Моторку, груженную дичью, скарбом и людьми, Михаил с трудом столкнул с берега и, чуть не набрав воды в высокие охотничьи сапоги, перевалился в лодку, рванул стартер и, махнув на прощанье рукой, дал газу...

Я постоял на берегу, докурил сигарету, потом раздвинул руками густую траву и поглядел на ястреба. Его раздробленную, с засохшей кровью голову уже густо облепили зеленые мухи.

Я взял птицу за жесткое крыло, подошел к обрыву, размахнулся и бросил ястреба в черную воду. Плавное течение сначала медленно развернуло распластанное на воде рыжее птичье тело, потом птицу понесло все быстрее и быстрее по коричневой струе в окружении желтой пены, потом она, делая круги, доплыла до поворота, чуть было задержавшись на перекате, вышла на стрежень и, следуя за поворотом реки, пропала из виду.

\* \* \*

Утром за мной должна была прийти моторка. Я встал пораньше – пробежался по ельничку: глядишь, и повезет напоследок. Подходя к мельнице, подумал: надо потише. У ручья должен сидеть! И тут же, страхнув с куста облачко снега, от ручья взлетел рябчик и, как мишень,



сел на край замшелой мельничной крыши... Когда рыжий Карун, оставший от меня, подбежал к птице, обнюхал ее и поднял голову, я прочитал в его глазах одобрение за удачный выстрел, полез в сумку, достал ломоть хлеба и кусок сахару. Хлеб Карун проглотил, от сахара гордо отказался, подбежал к ручью, пробил лапой тонкий лед и, часто работая розовым языком, напился.

А снег, редкий и медленный, все сыплет, связывая небо с землей, укрывая мои следы, медленно перекрашивая черные ели, и золотистые от лиственничной хвои муравейники, и зеленые заросли медвежьей ягоды косицы, и алые лохмотья черемухи в белый цвет, еще непривычный для глаз. Потому-то они так щурятся во время снегопада, хотя вроде и солнца не видать, и мягкий белый сумрак разостлался по всему наволоку.

Пожевать напоследок хрустящей подмороженной рябины, сорвать с куста алую ягоду шиповника, чтобы во рту надолго остался вкус горечи и сладости...

*1978–1998 гг.*

## РУССКО-ЕВРЕЙСКОЕ БОРОДИНО

*Провокация «Метрополя» и мое письмо в ЦК КПСС. Русский и еврейский фланги в советской культуре. Наши кровные шабесгои. На ковре у Альберта Беяева. Чаковский воспитывает меня. Мифы о государственном антисемитизме. Моя «эмиграция». Простодушный народ и коварная элита. Мой «биологический» патриотизм. Судьба Мишани*

Для тех, кто забыл, что такое «Метрополь», напомним, что это был альманах двадцати трех московских писателей, изданный ими за границей в 1979 году.

Организатором и вдохновителем альманаха стал В. Аксенов, сжигавший корабли и готовивший свой отъезд на Запад. Акция была продуманная и очень эффектная. Издание уже составленного альманаха его создатели подзадержали, чтобы не помешать получить Вознесенскому осенью 1978 года Государственную премию. Когда дело с премией прошло благополучно – козырная карта «Метрополя» была брошена на стол. События развивались прямо-таки по детективному сюжету: по Москве объявлялись слухи о пресс-конференциях редколлегии альманаха, места конференции переносились то на переделкинские дачи, то, в целях широкопропагандистских, в различные городские кафе, власти сбивались с ног, не успевая закрывать намеченные для подобных акций кафе на срочные «ремонт». Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, с поразительной осведомленностью толпой появлялись у закрытых дверей «Лиры» или «Аэлиты» с табличкой «Санитарный день» и тут же отстукивали в свои газеты информацию о гонениях на метропольцев. Отдел культуры ЦК и руководство Союза писателей сбивались с ног, не зная, что делать: уговаривали, грозили, сулили дополнительные блага – хватались то за кнут, то за пряник... А слухи, разговоры, репортажи в мировой прессе нарастали как снежный ком, создавая невиданный ореол гонимому В. Аксенову, уже принявшему окончательное решение...

Листаю газеты тех жарких лет, дискуссии и стенограммы обсуждений и не вижу там в числе гонителей «Метрополя» никаких одиозных фамилий, «певцов застоя», «реакционеров», редакторов «антиперестроечных» журналов... Ни С. Викулов, ни М. Алексеев, ни В. Белов, ни В. Астафьев, ни П. Проскурин, ни Н. Грибачев, ни В. Кожин, ни Ю. Бондарев, ни М. Лобанов, ни Ан. Иванов, ни В. Чивилихин, ни Ю. Селезнев, ни В. Распутин ни слова не сказали в печати о «Метрополе»... В печати. В частных разговорах, да, помню, говорили приблизительно следующее, сходясь на одной мысли: этих метропольцев чиновники из ЦК КПСС и из руководства Союза опекали весьма усердно, многие из них из «загранки» не вылезали, никаких

отказов им не было. Америка? – Америка! Япония? – Япония! Зал в Лужниках? – Получите! Телевидение? – Ради бога! «Избранное»? – Пожалуйста! Ну и пусть сами наши идеологи, создавшие такую элиту, несут ответственность за неприятности, которые причинила им элита со своим «Метрополем». А мы за это не отвечаем и просто брезгуем заниматься грязным делом...

Так говорили писатели между собой, и так игнорировали призывы чиновников из ЦК КПСС – Зимянина, Шауро, Беляева, Долгова и других – «пожурить» избалованных литературных инфантов... Дело все-таки было серьезным. И чтобы его «закрыть», надо было провести хоть какое-то формальное осуждение, хотя бы для спасения чести идеологии, ее брежневско-сусловского застойного лица, вдруг искажившегося от пчелиного укула метропольского жала... Как ни крутились, а обсуждение альманаха пришлось устроить. Поговорили, видимо, с другими людьми, чего-то пообещали им, организовали ораторов. Кто же стали этими ораторами? Только не удивляйся, дорогой читатель: метропольцев, то есть будущих «прорабов перестройки», осудили другие будущие прорабы той же перестройки. И те и другие сейчас стоят в одном ряду и, забыв старые разногласия, печатаются в одних органах, нахваливают друг друга, и фотографии их в обнимку часто украшают страницы наших популярных изданий.

Но в 1979 году нынешние друзья «Метрополя» отзывались об альманахе так, как должно отзываться людям, живущим по принципу «чего изволите?». Я не сужу их: они такими родились – сегодня обслуживают одну идеологическую ситуацию, завтра – другую, послезавтра обслуживают третью. Но назовем фамилии «гонителей и преследователей». Что говорил о «диссидентах» десять лет тому назад будущий главный редактор журнала «Знамя» и распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов?

«Не могу себе представить американского читателя, который бы по доброй воле прочел весь этот альманах. Я этого сделать не смог,

так как художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уж не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе».

А вот отзыв будущей перестройщицы Р. Казаковой:

«Налицо невероятная безнравственность поведения. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Здесь сексопатология. Это литература частного лавочника. Этого мы не должны допустить. Для этого надо ехать в Америку».

А вот что писал пропагандист творчества А. Вознесенского, Ф. Искандера, А. Битова, Б. Ахмадулиной и других метропольцев будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров:

«Он («Метрополь». – *Ст. К.*) заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не по джентльменским правилам».

Автор книг и статей о Н. И. Бухарине, о Н. И. Вавилове, известный прозаик перестроечной волны, ныне покойный и забытый В. Амлинский:

«“Мутное щегольство словами” есть в этом альманахе, который в целом ряде сочинений составляет впечатление тягостное».

Член-корреспондент АН СССР П. Николаев, тот, который в своих литературоведческих интервью последнего десятилетия защищал любую свободу творчества и клял эпоху застоя с ее давлением на художников слова:

«Авторы сборника сделали нечто такое, что является задворками западноевропейской культуры... Конкретное содержание и форма материала сборника – вне вековых традиций нашей культуры и, по существу, враждебны ей... За серьезных, вернее, одаренных писателей, принявших участие в этом сборнике, стыдно. Сама же идея подобного издания не может не быть нравственно и профессионально осуждена».

Один из самых боевых и прогрессивных критиков и ораторов последнего двадцатипятилетия, пострадавший во время гонений на «космополитов» А. Борщаговский:

«У нашей литературы всегда был нравственный порог, которого достигала жизнь и за нею литература, нравственный порог, о котором забывать нельзя, ибо, если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех “Метрополя” – в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой».

Популярный детский писатель, громко ратовавший против всякого рода остатков сталинизма и диктата над волей писателя, ныне живущий в Израиле А. Алексин:

«Дело с альманахом достойно презрения, потому что замешено на лжи и подлежит всеобщему осуждению...»

Были в числе судей «Метрополя» и Б. Полевой, и С. Залыгин, и В. Карпов. Руководил кампанией первый секретарь Московской писательской организации Ф. Кузнецов. По должности и по приказу свыше, так сказать. Остальные «гонители» были «вольнонаемные». Все они страстно, убежденно, со знанием дела – что самое пикантное, на мой взгляд! – по существу, справедливо критиковали альманах. Одного только не рассчитали, что изменится время, «Метрополь» снова будет «прославлен» на гребне перестройки, а они, находящиеся на том же гребне, будут вынуждены сделать вид, что не имеют никакого отношения к судьбе альманаха, или, подмигнув метропольцам, должны будут намекнуть: «Оцените, какую неблагодарную, черную, но нужную работу мы сделали тогда, прорабатывая вас, мы фактически спасли вас от оргвыводов идеологии, сыграли роль громоотводов. А эти гордецы-консерваторы – всякие Алексеевы, Ивановы, Викуловы, Кожинины, Беловы, Чивилихины, – истинные-то ваши враги, не помогли вам в трудную минуту, не спустили щекотливое дело на тормозах, не вняли просьбам Большой Идеологии, в позу встали, консервативно-патриотическую, и до сих пор стоят в ней, за что и осуждала и осуждает их Большая Идеология и в метропольские времена, и в наши тоже... Ишь, чистенькими быть захотели в грязное время! Уже тогда они показали свою негибкость, свою якобы принципиальность, словом, свою неспособность к перестройке... А мы-

то хоть и клевали вас, да все равно, как родных, любя клевали! Так что не обижайтесь! Кто старое вспомнит...»

Аз же, грешный, в те годы, видя растерянность наших чиновников, вынужденных одной рукой наказывать метропольцев, а другой спасать их, решил воспользоваться ситуацией и написал свое размышление о «Метрополе», о сочинениях, помещенных в нем, о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха, о двуличии и двоедушии цековских чиновников – и пустил свое сочинение по белому свету.

Мысль моя в то время работала так: «Пользуясь или слабостью власти, или тайной ее благосклонностью, эти ребята крупно подставились. Еврейское лобби в ЦК растеряно, нельзя давать ему передышки. Надо или надолго лишить его инициативы, или...» О другом «или» думать не хотелось. Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги.

После выступления в конце 1977 года на дискуссии «Классика и мы», когда меня все-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой.

Я сел за стол, вооружился своими давними рабочими заготовками и за один день написал 12 страниц, которые озаглавил очень просто: «Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха “Метрополь”».

Я процитирую несколько основных положений письма, но скажу предварительно лишь о том, что, сочиняя его, я не мог обойтись без некоторых штампов и разрешенных идеологией той эпохи формулировок. Слишком велик был риск: ведь если бы меня за это письмо тогда смяла партийная машина, я не смог бы в отличие от, допустим, Аксенова, Войновича, Гладилина уйти из-под ее давления на Запад, хотя бы потому, что бросал в письме вызов антирусской прозападной части партийной верхушки. На Западе мне житья не было бы.

Выступая против еврейского засилья в культуре и идеологии, я не мог говорить прямо: «еврейская воля к власти», «еврейское засилье», «агенты влияния», а потому мне приходилось использовать обкатанные штампы, в которых основным термином было слово «сионизм».

Но умные люди, конечно же, понимали, что смысл моего письма гораздо глубже и гораздо опаснее, нежели заключающийся в этом к тому времени уже истрепанном клише. И к тому же, дабы партийные черберы (а я знал, что попаду на проработки к ним) меня не сожрали, я не мог не упомянуть в письме знаковое имя «Ленин». «Пусть видит око, да зуб неймет» – так приблизительно думал я, сочиняя письмо. Кстати, всем нам, русским государственнымникам, за годы перестройки за наши действия и слова 60–80-х годов все косточки перемыли. А моего письма всерьез никто не коснулся. Лишь Аксенов один глухо, сквозь зубы упомянул о нем в «Огоньке» конца восьмидесятых, как о «политическом доносе», и молчок. Хотя борьба со мной, как с главным редактором «Нашего современника», велась на полное уничтожение. Ничем не брезговали. Подробно клеветали в прессе и по телевизору, что я чемоданы барахла из Америки привез, что был пойман рыбнадзором за «ловлю семги сетями на северной реке», что на какой-то тусовке хватал за груди Галину Волчек, что по происхождению я «татарский еврей» и т.д. Словом, все было мобилизовано. А о письме в ЦК, казалось бы, о главной улике – молчок. Значит, понимали, что этого касаться им невыгодно.

Конечно же (к чему лукавить!), мне не было дела до того, что печатают в «Метрополе» Белла Ахмадулина или Инна Лисянская, Арканов или Розовский, а тем более Попов с Ерофеевым. Но я решил, воспользовавшись их авантюрным ходом, нарушившим правила игры и, возможно, задуманным ими как реванш за дискуссию «Классика и мы», ударить по высшим идеологическим чиновникам ЦК, которых вольно или невольно подставили их любимчики. Я рисковал, но надеялся: а вдруг мне на этот раз все-таки удастся раздвинуть границы нашей «культурной резервации», жизнью которой руководили Зимянин и Шауро, Беляев и Севрук, во имя наших русских национальных интересов? Конечно же, мое письмо было крупным актом борьбы за позиции в русско-еврейской борьбе. Сделав хотя бы часть этой борьбы гласной, я рассчитывал ошеломить недосыгаемых чиновников из

ЦК, помочь нашему общему русскому делу в борьбе за влияние на их мозги, на их решения, на их политику. Я прекрасно сознавал, что в моем письме наряду с неопровержимыми фактами и исторической правдой были элементы рискованной политической игры, но я знал, с кем имею дело, и знал, что разговор именно на этом языке для людей такого рода, как Михаил Зимьянин или Альберт Беляев, будет понятнее, чем на любом другом. Я хотел добиться некоторый успех, которого год тому назад мы достигли на дискуссии «Классика и мы». А главное, я решил воспользоваться приемом наших врагов: сделать это письмо достоянием Самиздата, пустить его по рукам. А иначе они бы объявили его «доносом», «кагэбэшной акцией» и т.д. Никаких забот о личной карьере в голове у меня не было. Зачем она мне? Я любил свободу и жизнь поэта и вольного художника.

Вот несколько основных положений этого письма.

«В альманахе “Метрополь”, кроме открытых антисоветчиков, диссидентов и полудиссидентов, выступили весьма известные советские писатели – Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лисянская, Арканов, Розовский... Зададимся вопросом: а чем же вызвано их участие в альманахе, их, чьи книги издаются и переиздаются, чьи имена не обделены вниманием критики, кому предоставляются для выступлений самые громадные залы. Кто чаще других говорит, якобы от имени советской литературы, в зарубежных аудиториях».

«Семен Липкин опубликовал в “Метрополе” стихотворение “В пустыне”, об очередном еврейском исходе.

Идем туда, где мы когда-то были,  
чтоб наши праотческие были  
преображали правнуки в мечты.  
Нам кажется, что мы на месте бродим,  
однако земли новые находим,  
не думая достичь меты.



Не думаю, чтобы удел “исхода” и смены родины соответствовал сущности советского патриотизма. Однако удивляться нечему, все логично, потому что Липкин еще десять лет назад опубликовал в советской прессе стихотворение “Союз И”. Я хорошо помню его главный рефрен: “Человечество быть не сумеет без народа по имени И”... Приведу выдержку из инструкции Министерства просвещения Израиля: “Педагогический секретариат. Отдел основного общественного воспитания: ‘Евреи в Советском Союзе и мы’” (материал для общественного часа).

Вопрос: Что олицетворяет чувство принадлежности к еврейству?  
Ответ: Сборы у синагог... слушание передач ‘Голос Сиона’ в диаспоре. Призыв к протестам, письмам... Урок заканчивается декламацией ‘Союза И’ С. Липкина на иврите...”

Когда в конце прошлого года я выступал на вечере поэзии в Государственном музее Маяковского, мне пришло в форме записок от учителей средних школ несколько вопросов, среди них были и такие: “В свою прошлую поездку по Соединенным Штатам поэт А. Вознесенский с успехом выступал в организациях американской сионистской молодежи, за что даже получил звание почетного гражданина Лос-Анжелеса. Считаете ли вы этически возможным для советского поэта выступления в подобных аудиториях?” Андрей Вознесенский не раз декларировал суть искусства, независимую от отечества. В стихотворении “Васильки Шагала” он прямо пишет: “Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек”. В этом же стихотворении, обращаясь к Шагалу, Вознесенский, весьма двусмысленно играя словами, призывает художника: “Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет...” И словно бы услышав этот призыв, Шагал нарисовал “непобедимо синий завет”: расписал кнессет – парламент в Тель-Авиве.

Одним из авторов альманаха “Метрополь” является стихотворец Генрих Сапгир. Стихи его в начале шестидесятых годов широко были представлены в разного рода диссидентских “синтаксисах”, потом –

и до сих пор – он регулярно печатался и печатается на Западе в откровенно антисоветских изданиях. А у нас этот литератор благополучно издает книги для детей в издательстве “Детская литература” и является одним из составителей “Букваря”, изданного миллионными тиражами, “Букваря”, уникального в том смысле, что в нем есть немало стихов Сапгира и впервые в истории нашего школьного дела нет стихов Александра Пушкина. А ведь до войны были! Как же можно такому человеку доверять дело, с которого начинается познание Родины и родной русской литературы!

Надо сказать, что за последнее время вообще немало исторических, литературоведческих и филологических изысканий выходит в свет с идеями, родными и близкими сионизму в самом широком смысле слова. Печально известны в этом смысле исторические “исследования” поэта Олжаса Сулейменова, с его постоянным определением еврейского народа как “главного народа”... Это ли не льет воду на мельницу тех, кто говорит о мессианской роли Израиля в судьбах человечества! Надо сказать, что Сулейменов последователен в пропаганде аналогичных взглядов. В одной книге его стихотворений есть поэма “От января до апреля”, вроде бы о Ленине, хотя большая часть ее посвящена страданиям еврейского народа, несмотря на то что в последние десятилетия после того, как сионизм показал свои зубы, разговор об этих страданиях становится бестактным по отношению к народу Палестины. Повествование ведется Сулейменовым на таком примитивном “литературно-историческом” уровне:

Евреи злые, евреи знали,  
что не евреи Христа распяли!  
Скрывали, хитрые, все принимали,  
все понимая, миру давали  
взамен Христа других богов,  
а им за тех богов – Голгофу!

Не буду говорить об этой поэме подробно – в ней много политически наивного и поэтически беспомощного, процитирую только отрывок, в котором речь идет о Ленине. Вот каким изображает Ленина Сулейменов:

Его таким нарисовал Андреев –  
его один бы бог не сотворил.  
Арийцы принимали за еврея  
его, когда с трибуны говорил.  
Он знал, он видел, оставляя нас,  
что мир курчавится, картавит и смуглеет (? – это что,  
мир становится семитским, что ли? – *Ст. К.*).

Мир был совсем иным в последний час,  
в последний час  
короткой жизни Ленина.  
Приходится порой простые мысли  
доказывать всерьез, как теоремы.  
Он, гладкое поглаживая темя,  
смеется хитро, щуря глаз калмыцкий.  
Разрез косой ему прибавил зренья,  
он видел человечество евреев...

Изобразить Ленина в образе вождя, поддерживающего сионистские идеи о “человечестве евреев”, – это уж слишком! Нет, не таков был он, страстный борец против Бунда и всякого национализма, в том числе и еврейского, сторонник естественной исторической ассимиляции евреев в тех народах, где они живут.

В 1977 году в большой серии «Библиотеки поэта» – популярном издании – вышла книга стихотворений Эренбурга. Эренбург – поэт сложный, много раз менявший свои убеждения и написавший за свою

долгую жизнь много всего разного. Не все из того, что он написал, конечно, заслуживает переиздания. Особенно стихи, продиктованные поэту его сионистскими иллюзиями и убеждениями. Так зачем же в таком случае составителю Б. Сарнову надо было включать в книгу, а издательству издавать следующее стихотворение Эренбурга, написанное в 1922 г.?

Когда замолкнет суесловье,  
В босые тихие часы,  
Ты подыми у изголовья  
Свои библейские весы.  
Запомни только, сын Давидов,  
Филистимлян я не прощу.  
Скорей свои цимбалы выдам,  
Но не разящую пращу.  
Ты стой и мерь глухие смеси,  
Учи неистовству, пока  
Не обозначит равновесья  
Твоя державная рука...

Стихи, полные сионистской фразеологии, сознания избранничества, гордыни и религиозного национализма, настолько близкого шовинизму, что их вполне можно, допустим, рекомендовать для чтения в частях нынешней израильской армии, “сыновей Давида”, которые “учатся неистовству”!

А давайте заглянем в сборник “Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников”, изданный “Советским писателем” в 1973 г. и щедро нафаршированный всякого рода размышлениями об “избранничестве”. “Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Были это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, “интеллектуальное пиршество” фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно ста-

ли “управителями”, “победителями”, владетелями шестой части земли... Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей» (А. Адалис). Странно, что классом победителей здесь названы не рабочие и крестьяне – а фармацевты и маклеры!

В этой же книге есть воспоминания Бабеля, в которых говорится следующее:

“Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого. Из верных, умных, веселых товарищей, лишенных корысти. Какими легкими соседями будем мы тогда окружены, как неумолима и плодотворна будет жизнь”.

Неважно, что все эти весьма тенденциозные рассуждения написаны в тридцатые годы, – важно, что они переизданы в семидесятые, что это кому-то было нужно – рассуждения о “коммунистическом рае из одесситов” и о победе на шестой части земли “маклеров и фармацевтов”. Нельзя в наше время в новых исторических условиях вытаскивать на свет эти уже обветшавшие идеи, так же, пожалуй, как нецелесообразно уже автоматически перепечатывать кое-что в книгах самого Багрицкого, отдавшего, при всей своей революционности и таланте, щедрую дань сионистским заблуждениям. Разве можно сейчас читать без недоумения следующие, допустим, строфы из поэмы “Февраль”?

Моя иудейская гордость пела,  
Как струна, натянутая до отказа...  
Я много бы дал, чтобы мой пращур  
В длиннополом халате и лисьей шапке,  
Из-под которой седой спиралью  
Спадают пейсы и перхоть тучей  
Взлетает над бородой квадратной,  
Чтоб этот пращур признал потомка  
В детине, стоящем подобно башне  
Над летящими фарами и штыками.

Не бескорыстной интернациональной радостью – за первые демократические победы революции, а хмельной националистической гордыней обуреваем герой этой поэмы, проповедующей насилие и буржуазный истерический анархизм.

Поэму Багрицкого напечатали за полвека миллионными тиражами! Так же как и его стихи, оправдывающие любой террор и в корне противоречащие гуманистической традиции русской классики: “Оглянешься – а кругом враги, руку протянешь – и нет друзей, но если век скажет: солги! – солги. Но если век скажет: убей! – убей”.

Кстати, я написал статью об идейной борьбе в поэзии двадцатых годов, где поднимаю все вышеизложенные проблемы, – и вот уже несколько лет не могу ее опубликовать, так же как не могу опубликовать антиссионистские стихи, написанные после поездок на съезд писателей Палестины, в Ирак и в Египет».

«Да что говорить о нашей прессе, о наших издательствах, о наших статьях и стихах! Достоевского полного собрания сочинений издать не можем – дошли до семнадцатого тома несколько лет тому назад и остановились в недоумении перед “Дневником писателя”, в котором гениальный Достоевский уже фактически сто лет тому назад разглядел цели и суть тогда еще нарождающегося сионизма и писал, глубоко проникая в тайну его могущества: “А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, – о, конечно, все это было и прежде и всегда, но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, недаром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же и властители всей международной политики»...

«Издание собрания сочинений задержано, и нет особенной надежды, что возобновится, если принимать в расчет нашу уступчивость по отношению к сионизму в области литературы. А о собрании сочинений Блока – я уж и не говорю. Все предыдущие собрания выходили с

купюрами, там где Блок касался проблем еврейства и русофобства, – купюр этих около полусотни. Совершенно уверен в том, что собрание сочинений, готовящееся к столетнему юбилею Блока, появится в том же обрезанном виде. А что же появляется у нас в необрезанном виде? Размышления Гейне, работающие на идею мессианства, на прославление “избранного” народа, на националистическое высокомерие. Вот несколько мыслей из собрания сочинений (М., 1959 г.).

“Еврейство – Аристократия, единый бог сотворил мир и правит им, все люди – его дети, но евреи – его любимцы и их страна – его избранный удел. Он монарх, евреи его дворянство и Палестина – экзархат божий”.

Или: “Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку...” Или: “...В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием”... Что это такое, как не националистически-религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне – крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков – тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а пронизательные размышления Достоевского по этому поводу (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые работали бы в борьбе с сионизмом на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?

О многом еще можно было бы написать: о русофобстве как о форме сионизма – примеров более чем достаточно, о том, что в самые сложные и трудные, казалось бы, капиталистические страны чаще всего наш Союз писателей посылает людей, кокетничающих с диссидентством, что и подтвердилось фактом появления “Метрополя”, о том, что эти люди заботятся не столько о пропаганде советской литературы, сколько

о собственной рекламе, о собственных изданиях, о собственной популярности, а за все это приходится платить уступками в самом главном – в сознании своего патриотического долга перед Родиной.

*Ст. Куняев,  
февраль 1979 г.»*

Надо сказать (о чем никто не знает), что это было уже второе мое письмо. Первое, более краткое и более мягкое, я сначала послал на имя Сулова. Но, прождав месяца два ответа и ничего не дождавшись, понял: цековские лицемеры ничего не ответят мне, сделают вид, что ничего не получали, подумают, что я сдался и больше не буду «подымать волну»... Ах так?! Нет, не на того напали! И я написал второй, окончательный, расширенный вариант и продумал, как сделать, чтобы письмо не кануло в небытие в глухих цековских архивах. Суловское ведомство не хочет отвечать мне – напишу на конверте просто «ЦК КПСС», а что делать дальше – придумаю...

...Как сейчас помню: подъехал я к экспедиции ЦК КПСС в переулок возле Старой площади, постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приемном окошке возьмет у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнется неведомая жизнь с неведомыми последствиями... Но вспомнил еще раз погибшего недавно моего друга Эрнста Портнягина, еще раз подумал: «А вдруг и со мной какой-нибудь несчастный случай!» – и... протянул письмо в окошко.

В этот же день мы вместе с Вячеславом Шугаевым уехали на электричке в Загорск, чтобы поискать в окрестных деревнях крестьянские дома, которые мы хотели каким-нибудь образом купить, чтобы жить рядом и обладать хоть какой-то долей независимости от опостылевшей нам обоим московской жизни. По дороге я читал ему второй экземпляр письма, мы выходили в заиндевший тамбур, курили, мечтали, спорили, думали о последствиях моего шага, который он одобрял, но боялся, как бы со мной не расправились по-настоящему



(Шугаев обмолвился, кстати, что он тоже пишет размышления на те же темы и называться они будут «Глазами гоя»). Впрочем, за несколько дней до окончательного своего решения я уже предпринял кое-какие меры безопасности. Во-первых, я посетил нескольких директоров издательств, на книги которых ссылался в письме. Каждому из них я вручил по экземпляру письма. «Пусть знают – все буду делать гласно и открыто, это единственный путь, чтобы не попасть на Лубянку», – так думал я.

Помню весьма любопытное посещение председателя Российского комитета по делам издательств Николая Васильевича Свиридова. Просидев битый час в его приемной, я все-таки дождался приема и, когда секретарша сказала мне: «Николай Васильевич ждет вас», вошел в кабинет и вместо того, чтобы попросить министра о включении в планы какой-нибудь своей книги (что делали девяносто девять из ста посещавших его писателей), протянул ему письмо на двенадцати страницах и попросил прочитать при мне.

Надо было видеть испуг и смятение этого хорошего русского человека, прошедшего войну, награжденного орденами, участника Парада Победы. Когда он, прочитав письмо, после минуты молчания поднял глаза, в них была сплошная мука. Взгляд его говорил: «Ну зачем мне это знать! Зачем ты ко мне пришел! Я же тебя совсем не знаю. А вдруг ты – провокатор!» После долгого, становившегося просто неприличным, молчания министр выдал из себя только одну фразу: «Да, с сионизмом надо бороться...» Я поблагодарил его, вышел из кабинета, убедившись, что у людей этого уровня поддержки не найти, что они боятся, а от страха смогут и осудить и предать... И лишь после этой мысли я понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все выглядит как моя забота о судьбе культуры, идеологии и государства, чтобы не «сгореть дотла», пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня проработают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают – пусть пись-

мо расходится по руслам и ручейкам патриотического Самиздата. Я уже знал, что, в отличие от диссидентско-западного, существовал и Самиздат такого рода.

В эти дни вдруг ко мне, секретарю московской писательской организации, зашел наш куратор из Комитета госбезопасности, он и раньше заглядывал в организацию, чаще к первому ее секретарю Феликсу Кузнецову или к Юрию Верченко, иногда заходил и к нам, рабочим секретарям, для того, чтобы выяснить настроения, узнать, кто что натворил, кто собирается уезжать. По многим признакам можно было понять, что это человек русский, государственный, не чуждый патриотических мыслей и чувств. Я, в частности, вспоминаю, как за год-полтора до моего письма, когда гроза нависла над Сергеем Семановым, тогда главным редактором журнала «Человек и закон», за хранение в служебных столах какой-то патриотической эмигрантской литературы, этот сотрудник как бы случайно на ходу встретился со мной и попросил передать Семанову, чтобы тот предпринял все возможные меры для своей защиты.

А в эту нашу встречу перед своим окончательным решением о передаче письма в ЦК я прямо спросил его – правильно ли я поступаю.

– Сколько экземпляров Вы уже раздали? – спросил он.

– Пять, – ответил я.

– Запомните: нельзя, чтобы было больше восьми. Это как бы для служебного пользования. А если копий будет больше восьми, то, по нашим инструкциям, Вы будете обвинены в распространении... Это уже другая статья, куда более опасная.

Я спросил его:

– Где будут со мной разговаривать после того, как письмо будет отправлено, – в ЦК или КГБ?

– Видимо, в ЦК. Но если Вас будут вызывать на Лубянку, я постараюсь, чтобы Вы попали в русские, а не еврейские руки. (В октябре 1993 года я встретил этого человека в окруженном оминовцами Верховном Совете. Он был одним из организаторов обороны.)

Мой начальник Феликс Кузнецов ничего не знал о моих коварных планах. Во-первых, поскольку я ему ничего не сказал, чтобы не подставлять его. А во-вторых, я понимал: покажу – он сделает все, чтобы я не отсылал письма, запретит. Срочно уйдет за границу. Что-нибудь пообещает, в чем я нуждаюсь. Соблазнит... В-третьих, все время, пока я работал с ним, меня точила мысль о том, что несколько абзацев из его статьи «Советская литература и духовные ценности», опубликованной в ноябрьском номере журнала «Нации и религии» за 1972 год, чуть ли не буквально были повторены в знаменитом русофобском сочинении А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», появившемся в свет буквально в те же самые дни. Не хотелось думать, что Феликс участвовал в создании яковлевского документа, но «все же, все же, все же...» Нет, всю ответственность я должен взять на себя одного. Одному – легче...

Официальный гром грянуть не замедлил: такое неожиданное толкование и такое несанкционированное обсуждение «Метрополя» крайне раздражило чиновников из ЦК. К тому же вслед за моим письмом в русском Самиздате стало гулять по рукам письмо некоего Василия Рязанова (конечно, это был псевдоним), в котором автор пошел много дальше меня: «Это происходит потому, – писал Рязанов, – что в аппарате ЦК КПСС существует могущественное сионистское лобби, покрывающее неблаговидную деятельность антисоветской агентуры и не позволяющее ее пресекать под тем благовидным предлогом, что это, дескать, вызовет обвинение в антисемитизме, отрицательную реакцию “мирового общественного мнения” и нанесет ущерб разрядке... Можно назвать и конкретных лиц в аппарате ЦК, прикрывающих деятельность сионистско-диссидентских групп, это прежде всего Севрук Владимир Николаевич, зам. зав. отделом пропаганды ЦК, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры... Чехословацкие события не должны повториться в нашей стране».

Письмо Рязанова пошло по рукам, стало широко известным, и этой «нелегалщины» наши цековские покровители вынести не смог-

ли. Но они сделали паузу в два месяца, ожидая, видимо, откликнутся ли на мое письмо крупнейшие литературные вожди так называемой «русской партии» – Леонид Леонов, Анатолий Софронов, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Чивилихин, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Егор Исаев... Но из них не откликнулся никто.

Прочное литературное и общественное положение, менталитет патриотических генералов от литературы, сознание своего влияния и благополучия, опасение потерять немалые материальные возможности, просто житейская и человеческая осторожность, видимо, не позволили им открыто поддержать меня. Думаю, что когда во время перестройки их творчество, их имена, их репутации были безжалостно осмеяны и оболганы, многие из них пожалели о том, что в свое время не помогли мне. Как и мой прямой начальник Феликс Кузнецов, который сказал мне в те дни историческую, врезавшуюся в мою память фразу: «Ты, Стасик, нарушил законы ролевого поведения, и за это придется заплатить». «Ролевого» – от слова «роль». Но я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена.

\* \* \*

В литературно-идеологической жизни 60–70-х годов для характеристики скрытного русско-еврейского противостояния бытовал термин «групповщина». Так сложилось, что с одной стороны ее возглавляли «официально правые», с другой – «официально левые». Официально правыми считались, к примеру, Александр Прокофьев, Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев. Лагерь официально левых возглавляли Константин Симонов, Даниил Гранин, Александр Чаковский, Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев...

Попасть в обойму «официальных» было почетно и денежно: гарантированные издания, премии, загранкомандировки, квартиры. Их не клевала, за редчайшими исключениями, критика, они были неприкасаемыми авторитетами, давшими обязательство за все эти блага обеспечивать идеологическое равновесие в литературе. С годами к лагерю официально правых потянулись Владимир Фирсов, Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин, а официально левые укрепили свои ряды именами Евтушенко, Вознесенского, Коротича.

Мы ясно ощущали и понимали такое положение дел, демонстративно сторонились официально левых, брезговали ими и не раз публично высказывали свое отношение к ним.

Официально правые были нам ближе – все-таки свои, русские! Но сблизиться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок, подчиниться своеобразной групповой дисциплине, и мы не желали этого.

Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Ланшиков, Михаил Лобанов... Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным, с Юрием Кузнецовым.

Верхушку официально правых не случайно совершенно не тронула скандальная статья А. Яковлева «Против антиисторизма». Она была скорее направлена против «второго эшелона» русских писателей, то есть против нас. Грозным предупреждением для правых стали дела «русских националистов» Бородина – Огурцова и Осипова. Этими делами власть как бы поставила предел нам: эту границу переходить нельзя! Левым же граница их идеологических поисков была поставлена высылкой за границу Иосифа Бродского и процессом Даниэля и Синявского...

Помню, как по окончании одного из писательских съездов, во время банкета заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро – худой, высокий, седоволосый старик, демонстрируя «единство партии и народа», пошел вдоль ряда столов, уставленных водкой и закусками. Писатели отмечали в Кремлевском Дворце окончание

съезда. Он шел молча с бокалом в руках, кивками головы поздравлял писателей с успешным окончанием работы, прихлебывал время от времени из бокала за их здоровье, но не говоря никому ни слова, словно бы оправдывая прозвище, которое укрепилось за ним: «великий немой». И вдруг ни с того ни с сего остановился возле меня и Бориса Романова. Мы встали, чтобы чокнуться, и «великой немой» вдруг заговорил, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышали все остальные:

– Политика партии в том, чтобы в разумных пределах поддерживать все группировки писателей. Мы не можем выделять особо ни одну из них. Качели не могут качаться в одну сторону. Выдержать равновесие – вот наша задача с вами. За это и выпьем...

Мы выпили, и он пошел дальше, продолжая молчаливый обход писательских рядов.

Впрочем, интересы еврейского лобби в 60–80-е годы, к сожалению, обслуживала и целая прослойка функционеров-литераторов русского происхождения: Анатолий Ананьев, Вадим Кожевников, Сергей Наровчатов, Сергей Баруздин, Михаил Колосов, Савва Дангулов – главные редакторы крупнейших литературных изданий, видные чиновники. Скорее всего потому, что благодаря поддержке или, в лучшем случае, лояльности еврейских кругов можно было рассчитывать на то, что ЦК утвердит тебя на каком-либо значительном посту. А сколько было именитых литераторов, посвятивших свои перья службе этой касты! На сем славном поприще рьяно подвизались и нынешний академик-литературовед Петр Николаев, с лекций которого в МГУ мы сбегали по причине их непроходимой бездарности и скуки, и другой академик – Дмитрий Лихачев, и членкор Вас. Вас. Новиков, и редактор сегодняшнего «Знамени» Сергей Чупринин, да и цэкушник Альберт Беляев тоже ведь был писателем. Что говорить, если это «русское крыло» возглавлялось Георгием Марковым и Сергеем Михалковым, вскормившим целое войско «классиков детской литературы» – и ее критиков и никому не нужных исследователей. Но ничто не проходит бесследно. Как правило, русские люди, пошед-

шие в услугу к еврейскому лобби, были или совершенно бесталанными литераторами, или очень быстро (Наровчатов, Михалков, Дудин, Луконин), истратив все свои способности в молодые годы, во вторую половину жизни становились всего лишь навсегда высокопоставленными представителями обслуживающего персонала, которых в душе презирали и настоящие русские и умные евреи.

Да, эти шабесгои были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:

«С евреями ведя дела, чувствуешь, что все “идет по маслу”, все стало “на масло”, и идет “ходко” и “легко”, в высшей степени “приятно”. <...> Едва вы начали “тереться” около него, и он “маслится” около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все “по маслу” течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться “в себе” и “один”, остаться “без масла”, – вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспоженное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с “маслом” и евреем, – и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас – пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирнен и повторяется везде – в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности – б е з ь я ч н ы й, он присасывается “пустым мешком себя” к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен “удивительными сокровищами в вас”, которых сам действительно не имеет:

и начиная всему этому “имитировать”, всему этому “подражать” – все искажает “пустым мешком в себе”, свою космогоническую б е з з ъ я - и ч н о с т ь ю и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию – поддельною поэзией, вашу философию – философической риторикой и пошлостью <...>

И так – везде.

И так – навечно» (Розанов В. Опавшие листья. III короб. 21.11.1914).

Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь – не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в «высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо»... А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Как это ни грустно признать, но не раз в нашей русской среде я сталкивался (даже в минуты роковых обстоятельств!) с равнодушием, апатией, трусливой осторожностью. Словом, «моя хата с краю». Помню, как в начале 80-х годов, когда андроповское КГБ начало охоту на русских националистов, внезапно был снят с должности главного редактора журнала «Человек и закон» мой товарищ Сергей Семанов. Его кабинет подвергся обыску, во время которого были найдены запрещенные книги и журналы...

Семанов остался без работы, без средств к существованию, без возможности каких-либо публикаций. Я знал, что в таких случаях делает еврейская общественность. Как она тайно и явно начинает защищать своих гонимых, составляет коллективные письма, собирает деньги на поддержку семьи и т.д. Я предложил друзьям Семанова воспользоваться тем же опытом. Первым, с кем я поделился своими соображениями, был старинный друг Семанова, один из патриархов русского сопротивления Виктор Чалмаев. Но что вышло в итоге из моего плана, видно по письму, которое вскоре я был вынужден написать Виктору Чалмаеву.



«Виктор!

Ты мог спокойно отказаться от моего предложения помочь деньгами нашему другу – и я бы понял тебя: мало ли какие соображения – нет денег, не любишь ты его и т.д.

Ты мог бы сказать мне: Стасик, не стоит затевать это дружеское дело – вдруг узнают недоброжелатели, как бы нам не повредить тому, кому мы хотим помочь... И я бы тебя понял тоже.

Но ты поступил совершенно непонятным образом. Согласившись участвовать в общем деле, стал на всех перекрестках разносить весть: что это задумал Куняев – собирать деньги по подписному листу, да ведь он окончательно погубит несчастного!

Несколько человек, повстречав меня, передали мне все это с ссылкой на тебя и отговаривая от всяческих действий.

В результате я понял, что вместо благородного дружеского дела получается сплошной позор и, конечно, от всего отказался. Но твои действия я понять не могу – как можно было, ответив согласием на мое предложение, вроде бы искренне заботясь о друге, тем не менее раззвонить обо всем на весь белый свет? Поставить меня в совершенно дурацкое положение? Ну да будет эта история мне наукой... Даже подписной лист ты выдумал – стыдись...

Станислав Куняев».

Вот почему мы проиграли нашу борьбу. Вернее, и поэтому тоже.

Правда, Василий Белов, которому я послал два своих «политических документа» – статью о Багрицком с просьбой помочь опубликовать в журнале «Север» и письмо в ЦК о «Метрополе», ответил мне умным и заботливым письмом:

«Дорогой Станислав!

Твоя статья превосходна, хотя, как я думаю, и не стоило на Багрицкого тратить (у меня теория: мы сами воздаем честь и приподымаем всякую мразь, когда вступаем с нею в теоретический спор). Думаю, что Гусаров не опубликует эту статью – у него жена, по слухам, не русская.

Надо бы нажать на С. В. Викулова, пускай бы он собрал все свое небогатое мужество и напечатал. Это единственный шанс. Или напиши еще две таких по объему, чтобы получилась книжка. Теперь книжку легче пробить, чем журнальную публикацию.

Есть ли ответ на письмо? Не вздумай теперь горячиться или (упаси Боже) тянуть горькую. Я согласен с тобой во всем. Теперь, наверно, всем нам надо разделиться, чтобы объединиться. Надо сделать что-то такое, что сразу бы всех поставило на свои места и сразу бы стало ясно, кто есть кто. У нас вот приняли в СП графомана Хачатряна благодаря странной заинтересованности В. Астафьева.

Береги себя. Обнимаю. В. Белов. 12.10.79».

Вместе с письмом Василий Иванович прислал мне свою замечательную книгу «Лад». На титульном листе книги четким и стремительным беловским почерком было написано короткое стихотворение, которое чудесным образом выражало все мои чувства, тревоги и надежды тех дней:

О Родина, душа моя болит!  
Она скорбит по вырубленным сечам,  
По выкачанным недрам, по названиям  
Засохших рек и выморочных сел.  
Болит душа... Как странен отголосок  
Душевной боли – мой веселый смех  
Среди друзей, среди живых и павших,  
Сплоченных снова вражеским кольцом.

*Тимониха*

В сущности, из русских писателей ободрил меня в те дни лишь Василий Белов! На Анатолия Передреева, Вадима Кожина, Юрия Селезнева, Вячеслава Шугаева я и не рассчитывал: они были просто моими друзьями, с которыми власть могла совершенно не считаться.

Я ходил в те дни на работу и чувствовал на себе настороженные взгляды людей, всегда радушно относившихся ко мне.

Осмысливая первые впечатления такого рода, я написал в те дни стихотворение и впоследствии посвятил его памяти Юрия Селезнева, который, как Сергей Семанов или как я, был вскоре оставлен и даже предан в тяжелые для него минуты жизни многими друзьями:

Вызываю огонь на себя,  
Потому что, уверен, друзья  
Через час подойдут на подмогу,  
Потому что, собираясь в дорогу,  
Я об этом друзей попросил:  
С адским пламенем трудно сражаться.  
Вызываю друзей... Продержаться  
До победы хватило бы сил.  
Где друзья? Почему не спешат?  
Неужели с похмелья лежат?  
Сроки вышли, должны подойти...  
Неужель заблудились в пути?  
Плюнул. Выстоял. Дух закалил.  
Затоптал адский пламень ногами...  
Ну, маленько лицо опалил,  
Словом, вышло «добро с кулаками».  
Я иду, победитель огня,  
Предвкушаю: дружина моя  
От восторга и радости ахнет...  
Но шарахнулась вдруг от меня,  
Адским пламенем, шепчутся, пахнет!

Через два месяца после передачи письма я был приглашен «на ковер» в апартаменты ЦК КПСС.

За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

– Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С Вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли Вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? – Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...

...В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух- или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно – именно он будет исключать меня из партии.

Беляев сразу начал проработку.

– Письмо ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это – нарушение партийной дисциплины!

Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного комитета России по печати.

Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:

– На основе вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!

– Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, – отпарировал я.

– Но как вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! – сорвался на фальцет Беляев. – Мы издали антиссионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова... В загра-

ничных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов...

В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, «добрый следователь» – Владимир Севрук:

– Стихотворение о народе по имени «И» Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира, – это безобразие, но вот мы издали новый букварь, – Севрук показал его мне, – где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне – то я против подобных его рассуждений... Да, вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской...

Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях, и это позволило мне еще раз перебить его:

– «Литературная газета» Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клеветает на Шолохова: «Один роман украл – не смог украсть другой». А его «непобедимо синий завет» – что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги, – разве это нормально?..

Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:

– Да, практика поездок по вызову порочна, но вам лишь кажется, что вы боретесь с сионизмом, на самом деле вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.

В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:

– Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь... Он положил трубку: – Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение.

В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:

– Собрание сочинений Гейне, как вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена... Тогда же издали 9-й антисоветский том Бунина с его «Алешкой третьим» и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слащова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине – лютом антисоветчике – монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!

...Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала... Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмоционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.

– Вот вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.

Я быстро нашелся:

– Да, вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!

– Багрицкий – революционный поэт! – сорвался на крик Беляев.

– Да, но поэма «Февраль» и революционная и сионистская одновременно.

– Опять двадцать пять! – уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.

Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в

котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе, за которую его приняли в Союз писателей... А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.

Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.

– Альберт Андреевич! Можно вас на минуту?

Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:

– У меня нет времени!

– Да я по поводу своей статьи в «Литературной газете»...

Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:

– Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! – И столько было в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел...

А в конце 80-х, когда ему, учившему меня бороться с сионизмом на благо советской власти, за заслуги в деле ее разрушения дали пост главного редактора газеты «Советская культура», он, всю жизнь учивший нас партийности и социализму, сразу сделал газету и антисоветской, и антикоммунистической, и еврейской, и бульварной.

Забавное продолжение истории с моим письмом в ЦК последовало через несколько месяцев, когда летом я уехал на Рижское взморье поработать в писательском Доме творчества. Рядом со мной на этаже жил главный редактор «Литературной газеты» Александр Чаковский. Он курил сигары, и вонючий запах, выползавший из-под двери его номера, означал, что в эти часы Чаковский трудится над очередным томом очередной эпопеи.

Однажды мы с ним встретились в коридоре, и он неожиданно предложил мне:

– Станислав Юрьевич, зайдите ко мне, надо поговорить.

Оказывается, Чаковский, занимавший в идеологической иерархии при Брежневе приблизительно то же место, что Эренбург при Сталине, захотел объясниться со мною по поводу моего письма. Расспросив меня о моем национальном и социальном происхождении, он задумался, раскурил свою сигару и, усевшись в кресло, начал свой монолог.

– Я по натуре своей чекист. Хорошо, что мы с вами беседуем вот в такой мирной обстановке. А то ведь могло бы случиться, что разговор у нас с вами сложился бы приблизительно так: вы, гражданин Куняев, наслушались западного радио о близкой смерти Брежнева, решили спровоцировать, когда это произойдет, еврейские погромы, чтобы на этой волне сделать себе карьеру. Уведите арестованного! Вот вы пишете в письме, что боретесь с сионизмом. А на самом деле настоящий борец с сионизмом – это я. Я уже в 16–17 лет ездил организовывать в Поволжье колхозы и сражался в Саратове с сионистами. Они тогда уже начали уезжать в землю обетованную, пока Сталин гайки не закрутил. Но я был против их отъезда, я хотел, чтобы евреи строили свою социалистическую родину... Станислав, Вы не отдаете себе отчета, сколько пришлось пережить и перестрадать евреям.

Дальше я цитирую наш разговор по записи из моего дневника от 23.8.1979 г.

«*Чаковский*: Когда началась война, Сталин увидел, что все интернациональные идеи, все разговоры о солидарности с германским рабочим классом и международным пролетариатом – фикция. Он решил сделать ставку на единственно реальную карту – на национальное чувство русского народа. Постепенно из армии убрали всех евреев – политруков, пропаганда наша всячески стала использовать имена русских полководцев, верхи стали заигрывать с Церковью, а после победы Сталин произнес знаменитый тост за русский народ. Но расплатиться с русским народом за его жертвы было нечем, оставалось лишь



одно – объявить его самым великим, самым талантливым. И в угоду этому началась кампания против космополитов, дело врачей, разгон еврейского комитета. Что было! Люди бежали из больниц, натягивали на себя одеяла, когда к ним подходили врачи-евреи. А когда наступил 56-й год и пошли всяческие реабилитации, то среди этих реабилитаций не были реабилитированы евреи, пострадавшие в антисемитских кампаниях. А теперь объясните какому-нибудь рядовому Хаиму, почему этого не произошло. Он живет с обидой в душе, и на эту обиду очень легко ложится всяческая сионистская пропаганда, и Хаим подает заявление на выезд в Израиль...

– Александр Борисович! – возразил я ему. – Если говорить о всякого рода реабилитациях, давайте отвечем от узкоеврейской точки зрения. Что такое “дело врачей” или борьба с космополитизмом по сравнению с трагедией раскулачивания? Пустяк, ерунда сущая, не имеющая значения для жизни народа.

Раскулачивание, Соловки, Нарым, Волго-Балт, лесоповалы – вот что потрясло Россию до основания, подточило ее здоровье и устойчивую хозяйственную мощь.

А кто руководил этими процессами?

Вы же сами сказали мне, что в шестнадцать с половиной лет вы, сын богатого еврейского нэпмана, в своей Самарской губернии создавали колхозы. Что вы могли в этом возрасте знать о жизни, которая здесь складывалась столетиями и которую вы нещадно ломали?

Почему вы не говорите о том, что нужно было бы реабилитировать несправедливо сосланных на севера, закопанных на Волго-Балте, сгнивших на Соловках?

Почему в том же 1956 году им, кто остался в живых, или их потомкам не объявить, что они были сосланы или уничтожены несправедливо, чтобы не было пятна осуждения на этих людях или их потомках? Я отвечу почему.

Во-первых, потому, что их судьбы вас не интересуют, вас тревожит лишь обида Хаима, сын которого не смог поступить в Институт

международных отношений, а поступил всего лишь навсего в пушно-меховой или мясомолочный.

А во-вторых, потому что надо было обнародовать имена всех ответственных за эти деяния руководителей ГУЛАГов больших и малых, что действительно могло бы привести к погромам.

Чаковский переменялся в лице:

– Ах вот как вы ставите вопрос!..

Но во гневе сдержался, решив не продолжать разговор на эту тему, перешел на литературу.

– Станислав! Будьте центристом! Я ничего не понимаю в поэзии, я политик. В политике мало быть правым, надо убедить всех в своей правоте. Мне нравится ваш “Карл Двенадцатый”, острая мысль о парадоксе власти. Но все эти ручейки, травки, березовые рощи – на этом имени не сделаете.

Вот вы пишете о Бунине – “тяжко без родины жить, а без души тяжелее”. Сказано афористично, но нельзя забывать о том, что Бунин был большой сволочью. А что вы пишете о каких-то “евреях в Пентагоне”? Их там нет, они есть в Конгрессе. Не возражайте мне, что это, мол, условно, символически, обобщенно, такие политические формулировки должны быть точными.

Спорили мы с ним целый вечер, и ушел я от него, сопровождаемый заверениями, что он-то и есть настоящий борец с сионизмом».

Вечером на прогулке ко мне подошел прозаик Елизар Мальцев, известный шабесгой из русских. Он, видимо, уже узнал о моем разговоре с Чаковским.

– Мне вас жалко, Станислав, вас больше никуда не выберут! И вообще я натерпелся от русских куда больше, чем от евреев. Евреи мне всегда помогали, а сам я из раскольников, из семейских, сейчас пишу историю своего рода.

Но все же при советском еврее-государственнике Александре Чаковском невозможно было представить себе потоки зловонной русофобии, в которой стала просто купаться «послечаковская» «Лите-

ратурная газета», на чьих страницах русская история стала изображаться так: «Облачившись в державный зипун и затолкав под лавку прокисшие портянки, объявить русский дух самым духовитым во всей вселенной», «дыша перегаром, державник начинает неторопливо разматывать портянки, сладострастно ожидая моменты, когда можно будет закричать: “Наших бьют!”», «казенного патриотизма, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества, Россия нахлебалась вдоволь», «и петровские, и сталинские методы индустриализации России оказались на поверку бамбуковыми суррогатами» и т.д. и т.п. (ЛГ. № 28. 1995). Это – журналист Б. Туманов, всю жизнь проработавший за границей и всю жизнь, видимо, «сладострастно» лелеявший в своей душонке ненависть к России. А я-то по наивности 20 лет тому назад думал, что худшего русофоба, нежели А. Чаковский, у нас найти невозможно. Однако в скором времени после разговора с ним мне попала в руки западная газета, в которой бывший сотрудник «Литературки», уехавший в Америку, писал о своем главном редакторе и нравах «Литгазеты»: «В “Литгазете” еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки – еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значил этот загадочный филосемитизм?

...То, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все» (Перельман Д. ...И снова иллюзии. Русская мысль. 14 ноября 1974).

Вот вам и государственный антисемитизм 70-х годов... Да что говорить о семидесятых!

«Государственный антисемитизм в СССР, – пишет, к примеру, историк Борис Фрезинский в «Русской мысли» от 2 апреля 1997 года, –

как раз в пору 1948–1953 годов достиг накала, чреватого “окончательным решением еврейского вопроса”».

В 1952 году я поступил на филологический факультет Московского университета.

Последний год царствования Иосифа Сталина. Но что бы ни говорили об этой эпохе нынешние продажные борзописцы – свидетельствую: наше школьное образование было таким, что мы – дети врачей, учителей, итээровцев, послевоенных вдов и матерей-одинок, и даже крестьян-колхозников из провинциальных областных и районных городков и сел России, приехав в Москву, «замахнувшись» на лучшие вузы страны, без всякого блата, без мохнатых рук, без взяток на равных выдерживали состязание за право учиться на Моховой, в МВТУ, в МАИ, в Энергетическом и Медицинском с сыновьями партийных работников, дипломатов, генералов – словом, с любыми отпрысками столичной элиты. Вот какие знания получали мы в любых, самых отдаленных от Москвы уголках, вот какую универсальную и справедливую мощь таила в себе поистине народная, демократическая школьная система советской эпохи. Но воспоминания мои – о другом. Я смотрю на громадное казенное фото нашего выпускного курса 1957 года, где каждый из нас в овальной рамочке, над нами несколько фотопортретов наших лучших преподавателей, в центре ректор МГУ Петровский, – смотрю, читаю фамилии, вглядываюсь в молодые студенческие лица и понимаю, что не менее сорока студентов из двухсот двадцати, поступивших на первый курс филфака, были нашими советскими евреями. И это – в период между 1949-м и 1953 годами, между кампанией против космополитов и «делом врачей»!

Судя по сегодняшним стенаниям борщаговских и рыбаковых, в те годы государственный антисемитизм якобы достиг такого накала, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, нежели бедному еврейскому отпрыску войти под своды главного храма науки... А тут почти двадцать процентов – еврейские юноши и девушки! Эх вы, летописцы, мемуаристы, лжесвидетели...

А если вспомнить о сталинских тридцатых годах, то не обойтись без объективного свидетельства Эммы Герштейн (не самой большой русофилки), которая несколько лет тому назад писала в «Новом мире»: «Моя мать, совершенно неприспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма...»

А где же, по наблюдениям Эммы Герштейн, в те годы гнезился антисемитизм? Оказывается, в буржуазной «цивилизованной» Латвии!

«Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного. С собой он привел писателя, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии... рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи – для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах.»

Да, далеко было нашему советскому «государственному антисемитизму» до антисемитизма западного, гуманного, культурного!

Беда патриотов – идеологов русской партии, да и моя беда, заключалась в том, что мы в борьбе с агрессивным внутрисоветским еврейством взяли на вооружение официальный термин «сионизм» и ничтоже сумняшеся употребляли его часто не к месту, искажая и запутывая смысл происходящих процессов. А надо было говорить просто о засилье еврейства, о еврейской воле к власти, о мощном групповом инстинкте этой касты, о ее влиянии на партийную верхушку. Мы же, опасаясь прямых репрессий, прикрывали свои взгляды формулировкой из официального идеологического арсенала и попадали в ложное положение, а партийные чиновники типа Беляева и Севрука ловко пользовались нашей непоследовательностью. Но и они тоже были обескуражены.

Сионизм считался официальным врагом советской системы, с ним надо было бороться. Я – тоже поставил их в ложное положение.

Им очень не нравилось содержание моего письма, но это раздражение приходилось изливать по поводу форм его обнаружения.

– Надо быть умнее сионистов, – поучал меня Беляев, – и не давать им поводов для провокаций. Вы же действуете точно так, как Солженицын: пишете письмо якобы в ЦК, а на самом деле пускаете его по рукам!

Опытные партийные функционеры сразу же разгадали наивный план моих действий, но тем не менее ничего серьезного сделать со мной не могли. Я защищался достаточно умело, да и в письме было много неоспоримых фактов, с которыми соглашался Севрук:

– Да, поэма Сулейменова о Ленине – плохая поэма.

– Говенная! – добавил Беляев.

– И стихи Вознесенского – тоже плохие стихи, – продолжал Севрук, – слабые...

– Говенные! – в сердцах повторил Беляев.

Несмотря на драматичность сцены, я не мог удержаться от смеха, а Севрук, видимо, обязанный «отмазать» свой отдел пропаганды и доказать, как он борется с антисоветчиками, – неодобрительно глянув на меня, высыпал целую грудку фактов, свидетельствующих о его бдительности:

– Журнал «Аврора» опубликовал монархические стихи, – мы редактора журнала сняли, редакцию укрепили, мы сняли главного редактора журнала «Простор» в Казахстане за политически сомнительный детектив. Мы убрали с должности нескольких цензоров.

Он перечислял свои заслуги с такой интонацией, как будто перед ним сидел не я, а Суслов или Зимянин, из чего я заключил, что разговор со мной – своеобразная репетиция для разговора с высшим начальством о принятых мерах. Прорабатывая меня, они оба как бы искали материалы и формулировки для своего спасения и для своей защиты. Им было за что меня ненавидеть. Я понял это и даже пожалел их, сказав на прощанье примирительным тоном:

– Я не шовинист, Альберт Андреевич, я перевел несколько книг лучших наших поэтов из республик. Может быть, в моем письме и во всем, что получилось вокруг него, есть какие-то неточности и сомнительные моменты, но я ведь вижу, что по существу вы согласны со мной!

Беляев открыл рот, пораженный моей наглостью, но сообразив, видимо, что дискуссия затянулась и что начинать все сначала смешно, просверлил меня своими ледяными глазами, и мы распрощались...

Когда на другой день я встретился с Феликсом Кузнецовым, он, уже знавший о разговоре, коротко сказал мне:

- Ну, получил ответ на свое письмо?
- Получил.
- А теперь уходи, Стасик, в отпуск.
- А можно месяца на два?
- Ты шутишь? Уходи на полгода...

Я с облегчением вздохнул и поехал рыбачить на Север, к берегам холодного Белого моря. Эмигрировал – в Россию.

Перед отъездом меня по какому-то пустяковому поводу пригласил к себе опытнейший чиновник, руководитель всего нашего Союза писателей Георгий Мокеевич Марков и в конце разговора, как бы случайно вспомнив нечто из своей жизни, сказал:

– Меня, Станислав, в свое время пригласили работать в Союз писателей секретарем парткома. Я был молодой, горячий, ну как ты. Приехал в Москву, познакомился с писательской жизнью и стал поднимать в разговорах те же проблемы, что и ты сегодня. Тогда Федин меня вызвал и говорит: «Ты, Гоша, землю копать умеешь?» – «Умею». – «Так вот, возьми лопату, выкопай яму поглубже, свали в нее все свои еврейские вопросы и землей засыпь. И сверху камень привали, чтобы не вылезали». Вы поняли, Станислав, что я вам хочу сказать?..

А чего еще тут было понимать? Все и так яснее ясного...

А с режиссером всей этой проработки, секретарем ЦК Михаилом Васильевичем Зимяниным, лицом к лицу я столкнулся через несколько лет на очередном съезде российских писателей.

По окончании съезда в необъятном банкетном зале Кремля происходил традиционный прием. За моим столом сидел Юван Шесталов, мансийский поэт. Рангом поменьше Гамзатова и Кугультинова, но все же «живой классик». Человек, любящий выпить. Но то ли водки было мало, то ли братья-писатели пили энергично, но напиток за нашим столом быстро кончился... Шесталов вознегодовал: «Пойдем к столу почетного президиума (он стоял на некотором возвышении), у них водки навалом!» Удержать его не было возможности, и мы оба рванулись к столу, во главе которого сидел Зимянин. Очутившись прямо напротив него, Шесталов, поддерживаемый мной, в отчаянье закричал, простирая пустой фужер к Зимянину:

– Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазками, устало сказал:

– А – это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

– Я только этим и занимаюсь в последние годы, – печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский – вечный партийный функционер еврейского лобби – на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК: «Мы ведь люди с исторической памятью (Мы тоже. – *Ст. К.*). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав Куняев не откажется публично от грязного печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационалисту позиции, которую он, к слову ска-



зять, подтвердил в публичной дискуссии “Классика и мы”, нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа социализма, человек, который не затрудняясь вытрет ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза...» (9.04.1986. Цитирую по стенограмме).

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и «дал петуха», ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет «сольет» столь дорогой для его сердца «дух социализма» в книге «Обвиняется кровь».

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию – Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедеэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку – два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман. Гофману, который только о том и думал, как бы ему выпить и закусить, кто-то подсунул мою книжечку «Свиток», где было такое стихотворение:

Любовь и дружба... Вечная вражда  
двух равных сил терзает наши души.  
Настал октябрь. Холодная звезда  
взошла из мглы и отразилась в луже.

Обоим чувствам отдавая дань,  
я жил и не просил у них пощады,  
но обе силы преступали грань  
так, что сжималось сердце от надсады.

Настал октябрь. Черемуховый куст  
ронял листву, а память вспоминала,  
как из соцветья самых светлых чувств  
так много темных дел произрастало.

Сбрендивший Гофман забегал по чиновничьим кабинетам, по цедеэловским столикам, доказывал всем встречным-поперечным, что это стихи против Октябрьской революции («Настал октябрь», «Звезда... отразилась в луже», «Темные дела»). Пришлось мне поговорить с его неглупым сыном Витей, чтобы он успокоил своего невежественного отца, невесть как ставшего членом Союза писателей.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холемному лицу надменное выражение и отчеканил:

– Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! – И победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ – Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

– Баба с возу – кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках... Словом, и смех и слезы... А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина, написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовых пособий.

...Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК – вспомнить прошлое, вы-

пить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев... Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

– Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом...

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными участниками которой мы с ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

«Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы троим – Жигулин, Куняев и я – вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. “А тебе, наверно, не надо подавать руки?” – “Я ее и не пожму”, – ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал “доносительством” и “карьеризмом”, Станислав говорил о его “продажности” и “делячестве”. Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: – Ну, а ты что скажешь? – то последовал ответ: – А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили. Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании», и дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

«Сломленный человек, – сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции. Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК – эксперимент на себе: уволят или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма – слишком много безнадежных настроений».

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей, особенно старшего поколения, с 20–30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандрёнков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И, однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота – его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!) Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял их всех. Я уже был известным поэтом, и Кандрёнков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет случайных прохожих, Кандрёнков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

– Ну как там евреи в Москве? Лютуют? – И такой страх прозвучал в этом вопросе бывшего крестьянина, ставшего одним из крупнейших партийных чиновников страны...

\* \* \*

В брежневские годы, когда ради общественного государственного спокойствия шла нешуточная борьба с живой «раскачивающей лодку» мыслью, под негласным, но крепким гнетом цензуры, партийно-государственных правил и инструкций, творческие натуры, не выносящие этого давления, эмигрировали, но в разные стороны: кто за границу, кто в самого себя, кто в пьянство, кто в иронию... Но были и такие, кто «эмигрировал» в свою страну, в ее глубины, в ее почву, куда не доходило обжигающее жизнь дыхание власти. Впрочем, в истории России такое было не раз – Гоголь «эмигрировал в Россию», проездился по ней, записывая на листочках «Выбранные места из переписки с друзьями»; Достоевский – в Оптину пустынь, в стихию «Братьев Карамазовых»; Андрей Платонов – в фантазмагорический мир «Котлована» и «Чевенгура».

Разные есть пути эмиграции для русского интеллигента, и определяются они запасом патриотизма в его душе.

Итак, в застойные времена я время от времени «эмигрировал», но не куда-нибудь, а в свою страну. Подружился с геологами и несколько сезонов прожил в работе на Тяньшанских горах и в долинах Гиссара, среди вечных льдов, альпийских лугов, громокипящих голубых рек, среди поднебесных, сверкающих голубыми молниями гроз, рычащих бурых селевых потоков, среди бедных, но гордых и трогательных в своем нищем гостеприимстве жителей высокогорных кишлаков и пастбищ, среди орущей, мускулистой, загорелой, не жалеющей себя ни в гульбе, ни в работе геологической, студенческой, шоферской вольницы... Либо месяцами я пропадаю в эвенкийской тайге, добираясь туда через маленькие дощатые сибирские аэропорты на «аннушках», на вертолетах, разглядывая сверху дикие просторы – сопки, усеянные редколесной тайгой, распадки, черные реки, медленными змеями впадающие в Нижнюю Тунгуску, на берегу которой стояло

зимовье рядом с двумя березами и овальным калтусом, затянутым в октябре сверкающим льдом.

Меня встречал дед – Роман Иванович, два кобеля, Рыжий и Музгар, мы обнимались – от деда терпко пахло ондатровыми шкурами, рыбой, солью... Он тащил меня в зимовье, где на столе уже дымилась уха, поблескивали мороженые сижки и хариусы да еще что-то тускло светилось в зеленоватой бутылке, и начинались разговоры о соседях, о внуках, о тайге, о звере... Каждый день с утра мы бороздили тайгу по путикам и аргишам, задыхаясь от азарта, мчались на лыжах к далеким лиственницам, куда наши собаки загоняли соболя или белку. А в иные дни красными, словно вареные раки, руками проверяли сети, вытряхивали на лед золотистых карасей и снова опускали снасти в лунки, наполненные темной озерной водой... А вечерами – долгими зимними вечерами при патриархальном свете керосиновой лампы текли нескончаемые наши разговоры о крестьянской жизни в 20-е годы, о раскулачивании, о репрессиях, о войне, о плене, словом, обо всем мы толковали в нашем жарко натопленном зимовье с раскаленной печуркой, сваренной из железной бочки, под звонкие разрывы древесных стволов – от пятидесятиградусного мороза лопались у нашего зимовья березы...

А в другие времена я уезжал на черную ледниковую реку Мегру, шумно впадающую в Белое море, подымался с жителями бывшей старообрядческой деревни – Виктором Кулаковым либо Леонидом Хардаминовым – на карбасе к истокам реки, к необъятным Мегорским озерам ловить запрещенную семгу, неделями жить в палатках и зимовьях либо под громадными шатровыми непромокающими елями и опять же слушать бесконечные разговоры о том, как их предки добирались сюда по хребтам и рекам, как ставили в устьях поморские деревушки, рубили из листвяка церкви, как старухи уходили на шестах в глубь тайги, возводили там свои монастырские кельи, как в 30-е годы уполномоченные НКВД раскатывали и жгли их лиственничные церкви – ссылать отсюда, с края света, было некуда, – как

добирались огепеушники и до старушечьих келий, а там, как на грех, незнакомые мужики, беглые, которыми наводнены были в те времена архангельские пристани, – ждали переправы на Соловки, а кто смел да удал – уходил из-под вохровских взглядов, бежал навстречу восходящему солнцу на восток, добредал до деревень и до Мегры, где мужики советовали скитальцу: иди по реке в старушечьи скиты, там надежнее... Но и там их находили... А скиты рушили огнем, как во времена Аввакума.

Сидим на берегу Мегры, толкуем... Гуси, прорезая полосу северного сияния, летят с Канина Носа. Их рыдающий крик стелется над болотами и озерами, а самих птиц не видно, пока их извилистый клин не попадет в струю дрожащего зеленовато-лилового сполоха – северного сияния... Темные трехметровые обетные кресты, поставленные на берегу обрыва, под которым шумит вода, – словно врезаны в тусклое вечернее северное небо...

– Рыбу нам иметь не дают, – жалуется Виктор Кулаков, двухметровый потомственный помор, поигрывая на коленях кулаками, каждый из которых величиной со средний арбуз. – Деды и прадеды наши на этой рыбе выросли... А нам – запрет. Перегородят реку к июню, пригонят вертолет с цинковыми ящиками – да и давай семгу отбирать, что в ловушки зашла, какая покрупнее – начальству... Нас же и заставляют укладывать, солью пересыпать да грузить... Улетели, а с нами рыбнадзор остался. За каждую рыбину пойманную – штраф. Зато магазин у нас в Мегре полон ящиками с водкой да с бормотухой. А ишшо что? Килька в томате да баба в халате... Школу – закрыли, медпункт закрыли, строиться не дают. Всех нас, вольных поморов, хотят в райцентр согнать, чтобы мы там бетон месили да бормотуху жрали... Кто послабее – тот уехал. А мы – лучше тут порем...

А Мегра все шумит и шумит, а гуси все кричат и кричат в темном небе, то заходя в светлую полосу северного сияния, то исчезая из нее...

Да, как время обмануло нас! Жизнь, которая описана у меня строчкой выше, – это жизнь семидесятых годов, мы были недоволь-

ны ею: фрондировали, осуждали, возмущались, не понимая того, что в наших условиях, на наших северных широтах, в стране, прижатой к Ледовитому океану, на земле, где снег сковывает поля и леса на семь месяцев в году, где на каждый килограмм возвращенного зерна или мяса нужно потратить втрое больше сил, нежели во Франции или Германии, человек, чтобы выжить, должен за короткое лето запасти на зиму дрова и сено, восстановить разорванные морозом за зиму дороги, постоянно расчищая их от метелей и снегопадов – руками, лопатами, грейдерами, тракторами, тратя на эту работу чуть ли не половину горючего, выкачанного из вечной мерзлоты Уренгоя и Нижневартовска. Мы, обживая нашу суровую землю, данную нам Богом, захотели жить так, как живет теплая и уютная, омытая незамерзающими морями Мирового океана Европа или Америка... Мы бросились разрушать нашу аскетическую русскую жизнь, чтобы создать на ее руинах жизнь европейскую, и чем завершился этот утопический порыв на моем Беломорском Севере, я увидел в 1995 году, когда снова приехал, после нескольких лет отлучки, на берега Мегры... Но об этом чуть позже.

Да не было у нас никакой зависти к диссидентам и никакой особой ненависти лично к Аксенову или Гладилину, к Алешковскому или Синявскому. И «еврейство» или «нееврейство» здесь ни при чем. Дело в некоторых свойствах моей натуры.

Во мне всегда было некое объединительное, дружелюбное, спокойно-доброжелательное свойство, которое не отпугивало ни смуглых, ни узкоглазых, ни курчавых людей. Они как бы чувствовали, что я никогда не поставлю отношения между нами в прямую зависимость от того, сколько примеси и какой крови у кого в жилах; что для меня главное – ощущает ли себя носитель той или иной крови русским человеком или, в крайнем случае, лояльно ли относится к русской натуре и русской истории.

С университетских времен я помнил замечательные слова «полукровки» Александра Герцена о русских людях: «Мы выше зоологиче-



ской щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами.

Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения».

Наличие татарских, грузинских, армянских «примесей» в русских людях я вообще не придавал никакого значения. С еврейскими генами было сложнее. Я ощущал их особую силу и старался быть с их носителями внимательнее и осторожнее, доверяя в этих размышлениях не столько себе, сколько проницательным и честным мыслителям из самой еврейской среды:

«Они, еврейские ассимилянты, очень любят быть космополитами... они нигде и всюду дома. Они очень любят быть радикалами и самыми передовыми из передовых. Они очень любят быть нигилистами, обесценивателями и разрушителями... Они часто мутят источники чужой культуры, опошляя ее, хотя кажется, что они проникают все глубже... Поэтому – святая обязанность народов стоять на страже границ своей национальной индивидуальности. Они вредны и тому народу, в который они хотят войти для властвования над ним» (из книги Якова Клацкина «Проблемы современного еврейства», изданной в 1930 году в догитлеровской Германии).

«Для властвования над ним»... Стоит задуматься над этими словами сегодня, потому что не со слов Макашова началась вся наша русско-еврейская историческая распря, которая и впредь будет время от времени то затихать, то снова вспыхивать и разгораться. А потому, чтобы правильно действовать в этих условиях, надо правильно понимать цели и суть этой распри. Самое главное: ни в коем случае ее нельзя обсуждать в обычном плане так называемых «межнациональных отношений», «межнациональной розни», «разжигания межнациональных страстей». Президенты Шаймиев и Аушев, а также

искренняя женщина Мизулина, осуждая Макашова, вписали возникший конфликт в межнациональный контекст, но это тупиковый для понимания сути дела путь, на котором вольно или невольно затушевывается особенность рокового противостояния.

Дело в том, что:

русско-еврейский вопрос сегодня – это не вопрос борьбы за гражданские права, чем, допустим, озабочены русские в Прибалтике или Казахстане (все евреи в России имеют равные права с русскими);

русско-еврейский вопрос сегодня – это не вопрос суверенитета, чем озабочены татары, якуты, дагестанцы, народы Севера в своих отношениях с Москвой (евреям не нужны ни суверенитет, ни разграничение полномочий и т.д.);

русско-еврейский вопрос – это тем более не вопрос каких-либо территориальных претензий, принадлежности нефтяных районов, пастбищ, шельфов, границ, чем, к примеру, обусловлена рознь между осетинами и ингушами, грузинами и абхазами, чеченцами и русскими Ставрополя (евреям не нужна в России ни своя территория, если только не считать за таковую Еврейскую АО, ни тем более отдельная государственность);

русско-еврейский вопрос лежит вне споров о защите культуры, о количестве национальных школ, о культурной автономии или ассимиляции, вне религиозных столкновений, вне борьбы за сохранение родного языка и т.д. (евреи в России обладают полной свободой – на каком языке говорить, в каких школах учиться, в какого Бога верить и т.д.).

Так в чем же суть ярости, предельного накала борьбы, готовности идти на крайние меры, что продемонстрировало еврейское лобби вкупе с подчиненными ему электронными СМИ во время психической атаки на Макашова, на компартию, на общественное мнение?

Дело в том, что еврейские ставки гораздо выше территориальных, культурных, правовых, религиозных проблем, в которых барахтаются другие национальности – русские, чеченцы, латыши, грузины или чук-

чи. Еврейская элита борется не за частные национальные привилегии, а за ВЛАСТЬ в самом глубоком и широком смысле слова.

Вопрос в этой борьбе стоит так: кому по главным параметрам властвовать в России – государствообразующему русскому народу или небольшой, но крепко организованной, политически и экономически мощной еврейской прослойке? Вопрос о «квотах» и «национальных представительствах» во власти только запутывает и маскирует суть дела. Поэтому русско-еврейский вопрос надо всегда выводить за скобки законопроектов о национальных отношениях, ибо такая постановка нарочито уравнивает евреев с чеченцами, татарами, якутами и лишь уводит от понимания главного – между русскими и евреями идет борьба за власть в России.

Я уважал Бориса Абрамовича Слуцкого за многое, но и не в последнюю очередь за то, что он в отличие от многих своих соплеменников хорошо понимал изъяны еврейской натуры:

Стало быть, получается вот как:  
слишком часто мелькаете в сводках  
новостей,  
слишком долгих рыданий  
алчут перечни ваших страданий.  
Надоели эмоции нации вашей,  
как и ее махинации.  
Средствам массовой информации  
надоели все ваши сенсации.

Я до последних дней жизни Слуцкого дружил с ним. После всех моих писем в ЦК и речей о Багрицком и Мандельштаме, уже ослабевший и больной, он часто звонил мне, спрашивал, как дела, молчал в трубку, вздыхал, я как мог утешал его, одинокого и несчастного, навещал в психиатрической больнице...

Однажды, как мне помнится, мы приехали к нему с Игорем Шкляревским, вывели его из палаты на улицу, посидели с ним на лавочке, постарались развлечь всяческими пустяковыми разговорами. Когда прощались, он неожиданно сказал мне, что я один из самых умных людей моего поколения, которые встречались ему. Я удивился, но был, естественно, польщен и растроган. Позже понял: он сказал это, потому что я остался самим собой, несмотря на тотальный террор среды.

До последнего времени мы радушно встречались с Давидом Самойловым, читали друг другу стихи, писали письма. Вот одно из его писем, полученных мною из Пярну, где он жил в последние годы.

«Дорогой Стасик!

Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдет. Просто по российской привычке все путать мы путаем мировоззрение и нравственность. Может быть нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не мировоззренческого. А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много ее пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий. Кровь ничего не искупает. Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства.

*Твой Д. Самойлов»*

Чтобы подробно не спорить с мыслями этого письма, скажу только то, что Христос Своей кровью искупил все грехи человечества.

Добрую рецензию на мою книгу «Метель заходит в город» написал Михаил Светлов, искренние письма об этой же книге, да и о других я получал от Владимира Лифшица и Григория Левина. Да что говорить! В молодости моими приятелями были Михаил Демин и Дмитрий Стариков, а одним из лучших друзей по жизни – поэт Эрнст Портнягин. Все они были полукровками, но, видимо, чувствовали, что для меня это не имеет никакого значения. Уже обозначив все свои

общественные позиции, я получал радушные письма от Юрия Трифонова, Сергея Иоффе, Яна Вассермана и многих других писателей и читателей – евреев или полукровок по рождению. Но... (Увы, без этого разделительного союза мне не обойтись.) Но мы инстинктом русских людей, чьи предки целое тысячелетие строили государство, понимали, что оно – результат тысячелетнего строительства – есть высшая ценность, фундамент нашей жизни и цивилизации, что без него не будет ни хлеба, ни песни, ни библиотеки в дальнем селе, ни газа в московской квартире... А потому мы не могли закрывать глаза на то, что у всех поэтов еврейского происхождения, даже тех, кого не без основания можно считать русскими поэтами, явственна любовь к русской культуре и к русской природе, и даже к православию, но одновременно неизбежно неприятие русской государственности, вне которой не могли в полной мере жить и развиваться ни культура, ни религия. У Давида Самойлова есть замечательные стихи о Пушкине и Державине, но одновременно он пишет уничижительные стихотворные инвективы в адрес Ивана Грозного. Наум Коржавин преклоняется перед церковью Покрова на Нерли, но Иван Калита для него коварный и жестокий властитель. Даже Мандельштам, написавший пленительные стихи о Батюшкове и кремлевских соборах, в страхе опускал очи перед «миром державным» и «на гвардейцев глядел исподлобья», как бы втайне сопротивляясь Пушкину, который любил «пехотных ратей и коней однообразную красоту».

Так что, может быть, вопрос о государственности нашей и есть самый главный водораздел, определяющий степень «русскости» того или иного поэта. Ярчайший пример такого рода из новейшего времени – поэзия Иосифа Бродского с фрейдистской ненавистью к Риму, к маршалу Жукову, к имперским штандартам.

Но это я говорю о серьезных поэтах. К прямым же и откровенным диссидентам мы всегда относились настороженно, если не враждебно. Мы, которым в отличие от них некуда и незачем было уезжать, иначе не могли относиться ко всем их деяниям, от которых исходил дух

разрушения: история с Даниэлем и Синявским, провокация «Метрополя», правозащитная шумиха, эффектные отъезды на Запад Галича, Коржавина, Владимирова, бегство балерунов, балерин и дирижеров, пена вокруг Таганки. Все это было – не наше, все это было нам чуждо, противно, враждебно. «Бог терпел и нам велел». Мы лучше их знали, что такое наш народ и что такое русский человек. Но мы и сами виноваты тоже. Порой и мы, как попугаи, повторяли вслед за профессиональными провокаторами «тоталитаризм!», «тоталитаризм!», не понимая того, что загоняем сами себя в ловушку.

Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил. Это подчинение личной воли – народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и культурной жизни. Это ограничения права во имя долга. Вообще вся русская жизнь – это не жизнь права, а жизнь долга.

Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как «пламя в снегах», и его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «тоталитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без «тоталитарной прививки» к нашему историческому древу мы не могли бы существовать. Отсюда и плановое хозяйство, и административная система, и власть центра со всеми их достоинствами и недостатками.

Но, как говорится, по одежке протягивай ножки, не жили богато – нечего начинать, помирать собрался, а рожь сей... Забыли мы эти народные истины. Забыли в жажде перемен, что Советская власть – это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане... Это еще и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов пользуемые не элитой, а всем народом простые,

но необходимые для него блага, – без которых невозможно скромное и надежное благополучие народа и его воспроизводство: бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступный каждому самому небогатому человеку поезд и самолет... А о бесплатных медицине, образовании, спорте, детсадах и яслях и говорить нечего... А бесплатное жилье, бесплатные шесть соток земли, почти дармовые книги, почти бесплатный хлеб.

– Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? – как говорил один из героев фильма «Белое солнце пустыни».

Да разве можно было алчной части нашей и мировой элиты мириться с тем, что все эти богатства принадлежат не им?

Помню, в ту эпоху я часто работал зимой в домах творчества – в Дубултах, в Малеевке, в Ялте... Дома писателями не заполнялись, а потому отдыхать туда приезжали шахтеры, думаю, что в среднем они были не беднее писателей, ибо наши дома сотрясались от веселья и разгула этих денежных, крепких, умеющих работать и гулять людей...

Никогда ни один народ в истории не владел и уже никогда не будет владеть этими простейшими и необходимейшими благами цивилизации в той степени, в какой ими владел советский народ, работавший на себя и плохо понимавший, какими богатствами он располагает.

«Вот чего вы добились, вот чему мы не смогли помешать», – подумал я через несколько лет разрушительной перестройки на своих уже ставших мне родными берегах Русского Севера...

Широкий плес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусничкой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров окаймлен желтыми кувшинками – яркой золотой лентой. Его огибают две шумящих струи, сливаются и в едином потоке текут дальше на север. Там – море. Высоко над нами кружит коршун – он, конечно же, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем – розовым, колеблющимся, видимо, от потоков воздуха, что исходит от морского лона.

Мы с внуком сидим на обрыве, не в силах сдвинуться с места... Запах травы, набирающей зеленую сочную плоть, мелкого березового листа, исторгнувшего из себя капельки горьковатого клея, иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и горях... Кукует кукушка.

Три недели тому назад сюда, в глубь беломорской тайги, мы залетели попутным вертолетом из архангельского аэропорта Васьково. Аэропорт, откуда в прежние времена то и дело взмывали в бледное северное небо «аннушки», «яки», «восьмерки», «четверки» то в Мезень, то в Долгощелье, то в Сояну, был выморочен и безмолвен. А какая жизнь кипела здесь всего-то семь-восемь лет тому назад! Яблоку негде было упасть. Рыбаки в заскорузных робах, геологи в штормовках, бородатые бичи с лицами кирпичного цвета, поморские женки с белобрысыми детенышами, старухи в бархатных довоенных кацавейках! Кто на лавках, кто на полу, кто в буфете. Ящики, груженные тушенкой и сгущенкой, картонные коробки с яйцами, охотничьи лайки, привязанные к вылинявшим рюкзакам, оцинкованные ведра, груды резиновых сапог – все это богатство двигалось, шуршало, звенело, грузилось, чтобы долететь до морских деревень, до рыбооповских магазинов, до буровых точек с их вековечными деревянными бытовками и армейскими палатками. В воздухе непрерывно стоял рев моторов, от которого позвякивали и вздрагивали стекла.

А теперь тишина. Пустота. Чистый кафель. Буфет закрыт. Никаких очередей. Только в кассе зачем-то сидит, скучая, красавица, да охранники, покуривая, устроились на стульях возле сооружения, которое обнаруживает металлические предметы при выходе на летное поле. Но никто не выходит. Ни одного пассажира. Ни одного рейса. На табло горит саркастическая надпись: «Васьково – Нью-Йорк». У северян нет денег на дорогу. Дай Бог, если набирается пассажиров на один-два рейса в месяц! Как в допетровские времена, прибрежные деревни отрезаны от России и снова учатся выживать по законам никоновской эпохи. В предвыборные дни 1996 года президент побывал в Архангельске и произнес,



как пишут досужие местные журналисты, роковые слова: «Север легче вывезти, нежели прокормить». Да и вообще контрольный пакет акций «Североалмаза» – бывшего хозяина здешних мест – уже принадлежит мировой компании «Де Бирс», которая решила, что разработка архангельских алмазов будет ей выгодна лишь лет через десять. Вот почему разрушаются и обезлюживаются некогда могучие поселки Амдерма, Варандей, Светлое, отвоеванные за десятилетия геологами и нефтяниками у тайги и тундры. Вот и по Мегре, куда я приезжал чуть ли не ежегодно в последние двадцать лет, за две недели, пока мы живем с внуком на берегу в палатке, не прошло ни одной моторки. У мужиков из деревни, что стоит в устье Мегры, нет денег ни на бензин, ни на запчасти к моторам. А ведь, бывало, за день две, три моторки обязательно промчатся вверх к озерам за щукой, за сигом, и обязательно то Витька Кулаков, то Ленька Хардаминов подымутся к нашему костру чайком побаловаться, водочкой согреться перед дальней дорогой по холодной реке...

Сидим с внуком, ждем лодку с друзьями-геологами – она должна прийти за нами с озер. Все сроки прошли. У нас и хлеб кончился, и сахар. Одна рыба осталась, от которой внук Алешка уже воротит нос.

– Дед, погляди, что это там? – Из-за поворота на Большом пороге показалась лодка, которую за бечеву тащил между камнями какой-то человек. Издалека не разглядишь кто. Он осторожно выбирал путь между округлых валунов, но, зайдя в протоку, остановился, не в силах проташить тяжелую лодку против сильного течения.

– Пойдем поможем!

Минут через десять мы подошли к нему, подняли бродни, влезли в воду.

– Здорово! Как звать?

– Игорь!

Поднавалились втроем, сдвинули лодку с камней, вывели в чистую воду. Впрыгнули. Игорь рванул стартер, и через минуту-другую лодка ткнулась носом в подножье нашего горелого холма.

Сидим, как в прежние времена, у костра, пьем чай, Игорь вытащил из рюкзака хлеб, заварку, пироги с рыбой.

– До озер иду. Щуку надо запасти на зиму. А иначе помрем... – В его карбасе несколько бочек для рыбы, гряда сеток, канистры с горючим (всю зиму на него деньги копил!). Сам он жилистый, скуластый, загорелый, в мокрой робе, в заплатанных рыбацких штанах, поворачивается к огню то одним, то другим боком, сушится. До озер ему идти еще километров сто двадцать.

– Как деревня живет, Игорь?

– Какая жизнь! Я вот лесник, зарплата 200 тысяч, и ту не получал с октября прошлого года. Колхоз развалился, рыбокооп развалился. Вся торговля в руках трех-четырех местных прохиндеев. Дерут с нас три шкуры. Буханка хлеба – шесть тысяч. Кило сахара – восемь, а то и десять. Бутылка водки, самой плохой, – двадцать... (цены лета 1997 г.)

А ведь еще 10–12 лет тому назад по всем зимовьюшкам вдоль Мегры на столах лежали пачки сахара, тюбики чая, мешочки с солью, на стенах висели кульки с крупами и вермишелью, сухарями. Заходи, живи... Игорь махнул рукой:

– Забудь о тех временах! Ну, мне пора. Вот банку сахара вам оставляю, хлеба две буханки, а то еще когда лодка за вами придет!

У Игоря двое малых детей. Хорошо еще, что жена поваром в интернате работает...

Мой тринадцатилетний внук с восхищением смотрит на Игоря. Впервые в жизни он видит человека, который делится с чужими, только что встретившимися ему людьми последним. Да и человек-то почти нищий. Сам этот сахар и этот хлеб в долг выпрашивает у местных «новых русских».

В молчанье сидим, прислушиваемся к шорохам жизни.

Глухари и тетерева токуют. Всю ночь за болотом, там, где горит полоса тусклого сияния, несется к небу улюлюкающий стон тетеревиного токовища; длинноклювый бекас, хоркая, тянет вдоль бора; лебединые стаи белыми клиньями режут ослепительную синь – их путь

на Канин Нос; все – и вода, и земля – прогревается солнцем, отходит от стужи, шуршит, дышит, скрипит, постанывает, переливаясь друг в друга. «Шлеп, шлеп, шлеп», – слышится где-то: оживают лягушки... Длинноклювые самцы-турухтаны, кто в белом, кто в темно-синем, кто в глянцевиито-черном, кто в коричневом воротничке, слетаются на сухие травянистые угоры и начинают поединки в честь невзрачных серых самочек, равнодушно взирающих на то, как их будущие повелители, раздувая перышки и перебирая тонкими лапками, насакаивают друг на друга. Ветер несет вдоль русла горьковатый дух черемухи. Она уже отцветает – и особенно сильные порывы ветра осыпают появившийся белый цвет на черную речную гладь.

– Ну, мне пора!

Игорь встал, оправил штормовку, погрел напоследок руки над огнем. Пока он завязывал рюкзачок, я сбегал в палатку.

– Игорь! Не обижайся, возьми денег, вернешься в деревню – они тебе пригодятся.

Игорь деликатно отклонил мою руку.

– В тайге да на реке не пропаду, а денег не надо. Авось еще встретимся.

Он с шумом зашел в воду, оттолкнул лодку, перевалился через борт на мешки с сетями, внезапно обронил в воду шапку-ушанку, но ловко успел выхватить ее из воды и нахлобучить на жесткие черные волосы. По его лицу потекли струйки воды. Я сорвал с головы свою:

– Возьми сухую! А то на ходу в мокрой замерзнешь!

Но Игорь помотал головой:

– На ветру быстрее просохнет!

...Лодка сначала медленно, потом все быстрее и быстрее пошла по черной промоине вдоль берега, вырвалась на плес, где Игорь прибавил газу и вскоре скрылся за мглистым поворотом.

Алешка с открытым ртом глядел ему вслед:

– Вот это настоящий супермен! Не какой-нибудь Шварценеггер или Сталлоне. Я думаю, дед, они здесь, на Мегре, как мухи бы околе-

ли. Какой человек! У самого ничего нет, а он нам половину еды отдал и денег не взял!

С того дня прошло два года, но внук, растерянное дитя «страшных лет России», время от времени до сих пор вспоминает:

– Какой человек! Последнее отдал...

\* \* \*

Будучи недавно в Китае на Днях русской культуры, я встретился с главным редактором журнала «Знамя», моим давнишним знакомым по 60–80-м годам Сергеем Чуприниным.

Когда-то он писал предисловие к однотомнику моих стихов (1979 г.), вполне патриотичное и эмоциональное, потом постепенно перешел в лагерь будущих прорабов перестройки, возглавил журнал, где несколько лет подряд журналисты, писатели, политики разрушали наш Союз и наш образ жизни, и вдруг в Китае мрачно пожаловался мне, что все, мол, получилось не так, как предполагалось ему. Что журнал «Знамя» дышит на ладан, культура гибнет, писатели-демократы в отчаянье.

– На что жаловаться, Сережа, – ответил я ему. – Ваше положение хуже нашего. Мы честно боролись, но у нас не хватило сил в борьбе за Россию. Мы – побежденные, а вы – обманутые. Вам тяжелее, вас просто кинули. Как и положено на воровском рынке. Использовали и кинули...

А ведь целое десятилетие журнал «Знамя» героизировал и прославлял имена диссидентов 70–80-х годов – Галича и Аксенова, Ростроповича и Эрнста Неизвестного, Любимова и Бродского, Войновича и Алешковского. Помнится, как Майя Плисецкая, выступая по телевидению, в то время сказала о деятелях культуры третьей эмиграции:

– Они уехали потому, что им было плохо. Если бы им было хорошо, они бы не уехали.

А Рубцову хорошо было жить в нищете, сидеть свои последние дни в комнатке вологодской коммуналки, петь, склоняясь над гармош-

кой: «Я в ту ночь полюбил все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ!»

А Шукшину легко было пробиваться со своими кровоточащими рассказами и фильмами сквозь строй чиновничьего равнодушия?

А Варламу Шаламову, отсидевшему в лагерном аду двадцать с лишним лет, легко было вспоминать Колыму и в своем убогом доме престарелых наносить на бумагу события и судьбы, от одного описания которых кровь застывает в жилах?

А покойному Владимиру Чивилихину, чью книгу «Земля в беде» рассыпала цензура, – легко ли было?

А Михаилу Алексееву легко ли и хорошо ли было вспоминать, писать и печатать и провлакивать сквозь цензуру первую в нашей истории книгу о голоде 30-х годов, который пережил он, крестьянский мальчик, чтобы рассказать, как обезлюдело от геноцида русское Поволжье?

Барышникову, Макаровой, Нуриеву, Крамарову, Ал. Глезеру, Корчному было плохо... Почему? Их не учили танцевать? Или плохо выучили играть роли? Или не давали зарабатывать на жизнь бездарными переводами?

А зачем оставались на Западе наши дирижеры, фигуристы, виолончелисты, певицы, политики, дипломаты, летчики? Что, им тут, на Родине, Бетховена играть не давали? Выступать в чемпионатах страны запрещали? Танцевать в Большом театре или в Мариинке отказывали? Петь арию Розины не позволяли? Нет, все гораздо проще и сложнее. Проще, потому что – будем глядеть правде в глаза – эти профессионалы высокого класса ценили себя гораздо дороже, нежели общество могло им платить. Так что причины для «плохо», будем откровенны, были. Они, много поездив по миру, поглядев на образ жизни себе подобных, на машины, виллы, особняки великих артистов мира, справедливо сочтя себя не менее талантливыми и не менее заслуживающими не меньших благ, пришли к естественному выводу. Неопределенное понятие «им было плохо» отлилось в точную формулу: «Нам мало платят. Не по нашему таланту. Живя на Западе, мы

можем в этом отношении стоять вровень с ними». И те, кто уехал, по своему были справедливы в своих претензиях. Мы платили им мало. Что делать! Опять начнем скучные подсчеты: пять миллионов жертв в Гражданской войне, два всенародных голода, репрессии Красного террора, геноцид, расказачивание, индустриализация, колхозы, Великая Отечественная, разруха, и снова в который раз возрождение жизни. Когда умерла моя мать – хирург высокой квалификации, всю жизнь работавшая на нескольких работах, на сберкнижке у нее были деньги лишь на похороны (правда, была уже хорошая квартира и нормальная пенсия). Как мог советский зритель, вынырнувший из этого гигантского котла, перекипевший в нем всю войну, все послевоенное лихо, живший в растяжку жил человеческих, как мог этот средний советский человек, едва-едва обросший кожей с середины 60-х годов, платить за билет в какой-нибудь Большой или Мариинский театр, или в цирк, или Консерваторию, сумму, эквивалентную сотням долларов, а именно такова стоимость билетов на концерты актеров подобного уровня на Западе, стоимость, лежащая в основе их банковских счетов, вилл, яхт, путешествий, стоимость, говорящая о том, что они едут туда обслуживать западную элиту.

Да, мы были бедны, чтобы оплачивать все амбиции и запросы талантов нашего времени. Мало они получали от бедного народа. И ясно видели, что больше в ближайшее время не получат. Оттого-то, по их словам, «им было плохо». Ибо они не могли взять больше, чем мы могли им дать. А мелкие подачки государства – компенсации в виде Государственных премий, орденов, званий – уже всерьез никого к концу 60-х годов не интересовали...

Значит, надо жить там, где хорошо. Но те современные русские писатели, которым было «плохо» здесь, но кому и в голову не приходила мысль, чтобы из-за этого куда-то эмигрировать, понимали и понимают призвание писателя – гражданское, по-пушкински, а не поддиссидентски («но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество»).

Кто-то уехал потому, что не мог в наших условиях удовлетворить жажду политической деятельности, и это понятно. Кто-то, чтобы остаток жизни попить пиво в парижских бистро и властью потреться с друзьями, наезжающими из Союза. Ей-богу, не могу осуждать за подобную слабость! Кто-то мир посмотреть, пошляться по городам. Кто-то вволю порусофобствовать... Но больше всего мне были смешны наши чиновники, ахавшие при этом: «Ну такому-то имярек чего надо было? И лауреат, и народный, и дача есть, и ордена, и почет! Чего же еще надо? Все у него было!» И не понимали своими мозгами наши администраторы, что это «все у него было» – лишь по нашим очень скромным масштабам. А там масштабы и счета другие. Вот он, идеал, тот самый, о котором как о коммунистическом будущем мечтал Евтушенко в романе «Ягодные места», когда изображал диалог сибирского лесоруба со своей женой:

– А что, Маш, не махнуть ли нам в отпуск на Гавайи? В Швейцарии мы в прошлом году были, надоела Европа, давай на Гавайи!

Вот такими картинками словоблуд со станции Зима соблазнял в те времена ныне забытых Богом и людьми сибирских лесорубов.

А что касается людей вроде Василия Белова, Валентина Распутина, Юрия Кузнецова, Дмитрия Балашова, то их несчастье (или счастье?) заключалось в том, что они были людьми такой породы, что и протоиерей отец Сергей Булгаков, который в автобиографических заметках писал: «Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землей и со всем Божиим творением... Моя родина, носящая для меня имя Ливны, небольшой городок Орловской губернии, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все мое оттуда...»

Вот где собака зарыта. Все очень просто. Там деньги и свобода. Здесь вера и любовь.

Ибо ни Бродский, ни кто-либо другой из третьей эмиграции ничего похожего тому, что сказал о себе С. Булгаков, сказать не мог. В его словах воплотилась глубинная суть русского патриотизма, запрещенного официальной идеологией уже в начале 20-х годов. Так чувствовали Бунин и Зайцев, Соколов-Микитов и Шмелев, Шаляпин и Цветаева. Такой же связью родины и души жили Николай Рубцов, Владимир Солоухин, Анатолий Передреев, ею жили и живут многие сегодняшние русские писатели – Лихоносов, Личутин, Лобанов, Крупин... У их антиподов чувства иные. Погибла Россия или не погибла, пропадает или возрождается – это их мало интересует. Их не отягощают такие «предрассудки» сегодняшнего мироощущения, как патриотизм, ностальгия, лоно матери. Именно такой вывод можно сделать, читая книги этих писателей, изданные на Западе после «выезда».

Бунин, Куприн, Цветаева, Шаляпин, Шульгин, Рахманинов покинули Россию потому, что, по их убеждению, в те времена их Россия – погибала и погибла. Они не примерялись заранее к такой судьбе, не налаживали во время «творческих командировок» связей, не подстилали соломки, не заключали предусмотрительно ради аванса (хоть что-нибудь урвать!) договоров в советских издательствах, не давали предварительных интервью всяческого рода западным корреспондентам, не надеялись на счета в швейцарском или иных банках, заранее открытые. Наши диссиденты долго торговались с идеологическим аппаратом – уезжать или не уезжать. И на каких условиях. Их уговаривали, удерживали, покупали... Но дать всего, что они просили, даже всесильные чиновники того времени не могли.

\* \* \*

Однажды в конце 70-х годов, разговаривая с умным и достаточно ироничным человеком Сергеем Наровчатовым, я спросил его: «Поче-



му наша идеологическая система, всячески заигрывая до определенного предела с деятелями культуры “западной ориентации”, снимая их недовольство всяческими льготами, зарубежными поездками, тиражами, госпремиями, дачами, внеплановыми изданиями, – почему одновременно она как к чужим относится к людям патриотического склада?» (Как раз в то время громился роман Пикуля «У последней черты», партийная и литературная пресса разносила статьи и книги В. Крупина, В. Кожина, М. Лобанова, Ю. Лощица, «Коммунист» пером комсомольско-партийного карьериста Юрия Афанасьева осуждал издание беловского «Лада» и т.д.) Сергей Наровчатов посмотрел на меня мутными, когда-то голубыми глазами и без раздумья образно сформулировал суть идеологического парадокса: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению власть относится, словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется: ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется... Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями прочными за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь – так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где, дорогой Станислав, собака зарыта!»

Но бывали в те времена и эмигрантские судьбы с неожиданными поворотами.

Я вернулся в Москву из Тайшета в 1960 году и начал работать в журнале «Смена». Там и познакомился с Мишей Деминым, Мишаней, – сутуловатым, рано полысевшим человеком, с замашками профессионального блатного, у которого за пазухой был целый ворох смешных, скабрёзных и печальных историй, связанных с воровской жизнью, с пересыльными пунктами Сибири и Востока, с Норильском и Тайшетлагом. Еще работая в Тайшете, я знал, что где-то в Абакане, на другом конце строящейся магистрали Тайшет – Абакан, живет поэт с загадочной и романтической судьбой: мы тогда уже начинали

печататься в сибирской прессе, слышали друг о друге еще до встречи в Москве и встретились как старые знакомые в коридорах столичного журнала, куда устроился работать и Мишаня... Был он человеком открытым, контактным и бесцеремонным.

– Старичок, привет! Слыхал я о тебе в Абакане, ну, пошли куда-нибудь, за родную Сибирь-матушку примем по сто пятьдесят!

Мишаня приходился двоюродным братом известному писателю Юрию Трифонову – отцы их, донские казаки, были родными братьями, и оба, как весьма заметные военачальники времен Гражданской войны, занимали высокие посты в сталинское время, оба женились на еврейках... В 1937 году одного расстреляли, другой умер от инфаркта.

Целеустремленный Юрий Трифонов в послевоенное время выбился в писатели, стал одним из самых молодых лауреатов Сталинской премии за роман «Студенты» – сын «врага народа!» – а бродяга и авантюрист Мишаня пошел по «блатной линии», но пристрастился в лагерях к стихотворчеству, и потому мы встретились в «Смене». Несколько лет подряд мы жили обычной жизнью провинциальных поэтов в Москве, самоутверждались, бражничали, дружили, словом, жили как люди... Но вдруг обнаружилось, что у Мишани то ли по казачьей, то ли по материнской линии кузина в Париже. С помощью Юрия Трифонова, поручившегося за него, Мишаня съездил во Францию. Вернулся каким-то другим: обалдевшим, молчаливым, замкнутым. Через год-два поехал к кузине во второй раз... и не вернулся! Это, пожалуй, был первый «невозвращенец» из писательского клана. Его невозвращенство совпало с победоносной войной Израиля против арабов и с первой неожиданной для всех советских народов волной еврейской эмиграции. Я переживал утрату Мишани как личную драму, и помню, что осенью 1968 года, возвращаясь из Иркутска в Москву, остановился на несколько дней в Тайшете, где под грузом нахлынувших воспоминаний написал первое стихотворение на тему, впоследствии надолго въевшуюся в меня.

Непонятно, как можно покинуть  
эту землю и эту страну,  
душу вытряхнуть, память отринуть,  
все забыть – и любовь и войну.

Нет, не то чтобы я образцовый  
гражданин, коммунист, патриот,  
просто призрачный сад на Садовой,  
темный берег, да сумрак лиловый,  
да какой-нибудь шрам пустяковый –  
это все лишь со мною уйдет.

Все, что было отмечено сердцем,  
ни за что не подвластно уму:  
кто-то скажет – а Курбский? а Герцен?  
Вам понятно, а я не пойму.

Я люблю эту странную участь,  
от которой сжимается грудь:  
даже здесь бессловесностью мучусь,  
а не то чтобы там, где-нибудь.

Синий холод осеннего неба  
столько раз растворялся в крови –  
не оставил в ней места для гнева –  
лишь для горечи и для любви.

Это стихотворение я писал со странным чувством, никого не осуждая, разбираясь в своей собственной душе, отвечая самому себе на вопрос: почему для меня такой исход невозможен?

«Кто-то скажет: а Курбский? а Герцен?» – это было внутренней полемикой со стихотворением Олега Чухонцева о Курбском, напеча-

танным в те времена и вызвавшим на голову автора немало невзгод (Чухонцев оправдывал шаг Курбского, изображал его как Федора Раскольниковца своей эпохи). Я ценил поэзию Олега Чухонцева – но восхищаться ни Курбским, ни Раскольниковым не мог. Я любил прозу Герцена, но его эмигрантство всегда было занозой в моей душе. Много лет спустя жжение от этой занозы затихло, когда я прочитал у Достоевского, что «Герцен вовсе не стал эмигрантом, он просто им родился»...

«Вам понятно, а я не пойму» – вот главное, что я хотел сказать предавшему мои чувства Мишане. Не пойму – и все. Сердце у меня, что ли, другое? Ну как я без моей Оки, от которой поднимается тяжелый осенний пар перед заморозками, без древнего бора, где мне родная каждая тропка и каждая мочажина, без моих калужских таинственных переулков, в которых свистят февральские вьюги, а летом кружится тополиный пух? Без моего дальнего зимовья на черной ледниковой реке, возле которого я сижу два раза в году, слушаю шум прибывающей воды или ропот сосен, или пронзающий грудь нежный клекот гусиной стаи, идущей в сером небе от Канина Носа на юг? Или без могилы матери, где я стою неподвижно, что-то шепчу виноватое, а потом открываю ограду, сгребаю жухлые листья и опавшие ветки, зажигаю на дорожке маленький костерок и вдыхаю сладкий дым забвения, тлена и вечной памяти и оглядываюсь на соседние надгробья: бабушка Дарья Захарьевна, тетя Поля, тетя Дуся – все тут, все рядом... Может быть, и мне посчастливится когда-нибудь лечь рядом с ними. Старомодно? Сентиментально? Ну что делать – иначе не могу. Те, кто могут, – они из какого-то другого, неведомого мне материала сделаны. Многое они могут, но вот только такую книгу, как «Последний поклон» или «Прощание с Матёрой», им написать не удастся. А я на том стою и стоять буду. На чувствах, подтверждение которым, когда я оскорблен и унижен системой, чиновниками, идеологией, всегда нахожу в письме Пушкина Чаадаеву: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, как литератора – меня раздражает, как человек

с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Сентиментальный Александр Сергеевич! Как вы старомодны!

А «сатирики» – не сентиментальны. Осмеять, вывернуть наизнанку, унижить – это у них получается само собой. Оно, конечно, легче, нежели мучиться, любить, страдать. Тут другой дар нужен. Да какой там дар – просто другое сердце и другая душа: русская... Диссиденты любили козырять именем Ахматовой, как козырной картой. А эта мужественная женщина ведь даже на Бунина или Шаяпина как свысока посмотрела, вырезав словно алмазом по стеклу:

Не с теми я, кто бросил землю  
На растерзание врагам.  
Их грубой лести я не внемлю,  
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,  
Как заключенный, как больной!  
Темна твоя дорога, странник,  
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара,  
Остаток юности губя,  
Мы ни единого удара  
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней  
Оправдан будет каждый час...  
Но в мире нет людей бесслезней,  
Надменнее и проще нас.

1922

Многих эмигрантов-писателей той эпохи уязвила она своей сверхчеловеческой гордыней – ничего не получив взамен от общества и системы за свой монолитный патриотизм, который в раздражении Роман Гуль даже назвал «надменным» («но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас»). Ни строчки, начиная с двадцать третьего по 1940 год, не напечатала Анна Ахматова – черпая силу и веру в чувстве Отчизны, которое было настолько цельным, что тревожило совесть великой первой эмиграции:

В кругу кровавом день и ночь –  
Долит жестокая истома.  
Никто нам не хотел помочь  
За то, что мы остались дома.

За то, что город свой любя,  
А не крылатую свободу,  
Мы сохранили для себя  
Его дворцы, огонь и воду...

А уж как выглядели рядом с этим несокрушимым чувством литературно-бизнесменские импульсы последней волны диссидентства – говорить не приходится... Ошиблась Ахматова: хлеб Ростроповича и Аксенова пахнул не полынью, а пресс-конференциями, шампанским, черной икрой...

Но я отвлекся от первоначального сюжета.

В 1980 году, через тринадцать лет после расставания с Мишаней, я приехал туристом в Париж... Как-то получилось, что вся вторая половина дня была у нас свободной. Я вышел в холл гостиницы, не зная, чем заняться, и на глаза мне попала толстенная телефонная книга... «А нет ли в ней Миши Демина?!» – внезапно мелькнуло в моей голове. Я начал листать гроссбух и – о чудо! – смотрю, фамилия моего Мишани латинскими буквами напечатана. И телефон! Оглянувшись по сторонам, я на-

брал прямо из вестибюля номер. «Алло!» – раздался хриловатый, прокуренный, знакомый голос с вальяжной приклатненной интонацией.

– Мишаня! Ты, что ли!

– Ну я, а кому это я нужен?

Через полчаса, взяв такси, я уже ехал по адресу, а Мишаня вместе со своей женой-француженкой накрывал на стол...

Несколько часов за «Смирновской» и всяческой пикантной закуской («Старичок, отведай – это печень кабана, а это паштет из оленины») мы просидели в маленькой однокомнатной квартирке Демина с уголком для сна, отгороженным ширмой, предаваясь воспоминаниям. Его жена – милая женщина, заведующая маленьким машинописным бюро, старательно обслуживала нас, почти ничего не понимая по-русски, разве что кроме крепких общенародных и одновременно лагерных словосочетаний, которыми Миша по привычке расцвечивал свою речь.

Но перед тем как выпить последнюю рюмку, он попросил меня внимательно выслушать его:

– Старик! Ты же знаешь меня – никакой я не антисоветчик! На радиостанциях я не блядовал, приехал к кухне – ну влюбился в бабу, промотал ее «быстро», выгнала она меня, ну нахлебался я говна из параша! Я ведь не политик, а уголовник. И в привокзальных гостиницах мыкался, и блефовал, ну в конце концов накропал два романа (представляю, как это нелегко было Мишане с его патологической ленью!), «Блатной» и «Перекрестки судеб» в двух частях. – Мишаня ослабилась во всю блестящую стальную гармошку зубов на смуглом лице. – Одна часть «Тайна сибирских алмазов» и другая «Пять бутылок водки» – ты представляешь, как я об этом могу написать! Ну, давай за встречу! – Он опрокинул рюмку, закусил «мануфактурой» и продолжал: – Словом, из нужды я выбился без помощи всяких этих аксеновых, гладилиных, «континентов», сам себе издателей нашел, сам на ноги встал... Но не в этом дело. Слушай сюда. Антисоветчиком я никогда не был, и ваше КГБ знает это лучше нас с тобой. Просто мне захотелось по белу свету перед смертью пошляться! Ну, ты же меня понимаешь?! По бардакам

походить, хорошей водочки попить, закусить тем, чего душа желает... Но Родина! – Мишаня выпятил вперед и без того громоздкую челюсть и помотал головой. – Я вреда ей никакого не принес. Майку, жену мою московскую, обидел? Да! Кузину разорил? Да! Но Родине жизнь моя убытка не принесла... А потому – ты же начальник, я слышал, – поговори сам знаешь с кем: вдруг разрешат Мишане вернуться на Родину... Жизнь дожить и помереть там хочу, а не здесь...

Железный, закаленный на сибирских ветрах, Мишаня внезапно для нас обоих прослезился, мазнул ладонью по лицу и налил по «самой последней».

– Поговори, прошу тебя, с кем надо...

Вернувшись в Москву – а был это восьмидесятый год, – я выяснил, с кем надо поговорить, встретился с каким-то средним чином. Чин все выслушал, что-то записал и сказал мне, что они будут думать. Не знаю уж, что они там надумали, но года через три я встретил на улице Герцена прежнюю московскую жену Мишани Майку, перед которой он «был виноват», и она рассказала мне, что несколько дней тому назад раздался телефонный звонок из Парижа и какая-то женщина на смеси французского и русского языка сообщила, что Мишаня вчера сел на табуреточку, стал зашнуровывать ботинок, но вдруг ткнулся головой вперед, в пол, и не поднялся... Француженка просила Майю срочно приехать на похороны, не понимая, что простому человеку в три дня из нашего государства невозможно выехать ни под каким предлогом.

Помер Мишаня. И похоронен не там, где хотел бы лежать, и на могилку прийти некому. Но если бы он не помер, у него хватило бы совести и своеобразного профессионального достоинства «вора в законе», вернувшись на Родину (если бы он вернулся), не кричать о тяжести режима, выпихнувшего его во времена застоя за кордон, и не претендовать на роль разведчика перестройки, ее предтечи, вышедшего на борьбу слишком рано и оттого пострадавшего сверх меры. Он – бывший честный уголовник, я уверен, вел бы себя достойно. Зашел бы в Центральный дом литераторов, заказал бы у стойки свои сто пятьде-



сят – чтобы забрало сразу... Увидев меня, подмигнул бы: «Ну что? За встречу!» А я бы, наверное, сказал ему: «Здравствуй, Мишаня!» И мы, ей-богу, искренне обнялись бы с ним...

1978–1998

## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В НЕБЕСНЫХ ГОРАХ

*Счастливые годы дружбы с Эрнстом Портнягиным. Паром через Каспий. Под черным небом Каракумов. Русские люди в Средней Азии. Первые маршруты. Заболоцкий и Пушкин о сотворении мира. Поэзия и геология. Тяньшаньские грезы. Товарищ Быков и товарищ Юсупов. Предчувствие вечной разлуки. Эпистолярный роман. Попытка вернуться в прошлое*

На стене моей квартиры среди книжных полок висит любительская фотография. Два молодых человека, положив руки на плечи друг другу, едут на лошадях по долине реки Каниз. На горизонте в голубой дымке тают горы – отроги Гиссарского хребта. А лошади шагают рядом, так что их вытянутые шеи соприкасаются и нежно трутся одна о другую. Долина – цветет. Громадные лисьи хвосты, мощные медвежьи дудки, зеленые ворохи ядовитой, но прекрасной юган-травы тянутся к холодному сверкающему небу справа и слева от тропинки, по которой медленным шагом едут два всадника. Один из них я. Другой – Эрнст. Я – на белой лошади. Эрнст – на черной.

Он, нелепо погибший в своем последнем маршруте, во время своего, как он считал, последнего полевого сезона, был одним из самых ярких людей, с которыми мне посчастливилось пройти бок о бок часть жизни.

Он умел блистательно делать все, за что брался: объезжал лошадей, читал по-французски лекции в Гренобльском университете, в двадцать

три года железной рукой диктовал свою волю геологической вольнице в дебрях амурской тайги, выкладывался в многочасовых маршрутах по ледникам и горным тропам Памира, по первому зову приходил на помощь другу, попавшему в беду... Словно бы предчувствуя сроки своей жизни, Эрнст торопил время, брал его, словно лошадь в шенкеля, чтобы успеть сделать все, что возможно. Будучи уже известным геологом, он разделил сердце между двумя стихиями – наукой и поэзией. Но с каждым годом поэзия занимала в этом сердце все большее и большее место. И не только две талантливые книги, выпущенные им, были подтверждением тому. Уважение, которое образовалось в нашем кругу вокруг его личности, тоже чего-нибудь да стоило. Он одновременно был ученым, поэтом, рабочим, интеллигентом – да всего не перечислишь. Родина и любовь, дружба и работа: «бремя страстей человеческих» и бремя человеческого долга, который каждый из нас несет добровольно, – вот чем была наполнена его жизнь.

Первой юношеской любовью Портнягина, которой он оставался верен до конца, стал Таджикистан. Он говорил о реках, хребтах и кишлаках Гиссара или Тянь-Шаня с таким чувством, словно родился и вырос на этой земле. Местные люди, уроженцы Оби-Гарма и Пенджикента, Джиргиталия и Рамида знали и любили веселого человека Эрнста Портнягина. Им было приятно, что русский геолог и поэт из года в год приезжает работать в их края, что жизнь его навсегда связана с землей их предков. Подъезжая в Душанбе на стареньком «газике» к развилке двух дорог, одна из которых вела к Союзу писателей Таджикистана, а другая к Геологическому управлению, Эрнст иногда шутил: «Вот эта развилка и есть моя судьба...»

Спасибо уральской породе  
За первопроходческий путь,  
За свойство – в далеком народе  
Открыть его добрую суть.

И как бы судьба ни сложилась  
В мельканье просторов и стран –  
Душа отовсюду стремилась  
В край юности – Таджикистан.

Вот что я прочитал в черновиках, найденных после гибели Эрнста в командирской палатке...

«Спасибо уральской породе» – не случайная фраза. В последние годы тяга к малой родине – Зауралью, где прошли его детские годы, приобрела характер ностальгии. Он только и думал о том, когда вырвется из круга дел и забот на уральскую землю. После первого посещения ее Эрнст целыми днями рассказывал мне о родных, с которыми встретился в Свердловске и в родовых деревнях – Кобылино и Стариково, о лесах и озерах Зауралья, о семейных преданиях, о долгожданном и всепоглощающем чувстве родины, овладевшем его душой.

– На следующий год, летом обязательно поедем вместе, все тебе покажу! И до озера Портнягино на Таймыре доберемся... Ведь мой предок имя ему дал!..

Но я так и не смог поехать вместе с ним, а он, вернувшись, прочитал мне чуть ли не целую книгу новых стихотворений. В одном из них было сказано, что в последний миг земной жизни ему вспомнятся «отмытые холодом звезды Урала».

Вот оно, обновление духа,  
Вот одно, перед чем я в долгу.  
Я вошел в эти двери без стука,  
Я – родной в пятистенном дому.

На его стихи, казавшиеся мне порой несовершенными, после смерти вдруг легла тень подлинной значительности.

В моей памяти его облик останется неизменным: на черной лошади, с чуть небрежной молодцеватой посадкой – одно плечо немного ско-

шено вперед, бородатый, кареглазый, с широкой улыбкой, в линялой штормовке, – а вокруг снеговые хребты, орлиная чета над ними, да сурки свистят на зеленых склонах, да шумит в мраморном ложе ледяная вода Ягноба. Как сама вечность...

В этих воспоминаниях о нем и нашей жизни, написанных в доперестроечное время, я сегодня не изменил ни строчки. Я не хочу подлаживаться к нынешним фальсификаторам и переписчикам истории. Я хочу, чтобы мои страницы были честным свидетельством, голосом из нашего времени, из той жизни, когда мы все были сыновьями и гражданами одной великой державы. Все, о чем я пишу, было и прошло. Но я дерзаю воскресить прошлое.

\* \* \*

Лето 1967 года. Западный ветер кружит над Каспием, срывает пену с гребешков, и ноздреватая пена, превращаясь в стелющиеся нити белой пряжи, со свистом летит над зеленой пучиной, как поземка.

Паром «Советский Азербайджан» медленно ползет от Баку к Красноводску. В его громадном железном чреве, устланном рельсами, лежащими в бетонных подушках, – целый железнодорожный состав, десятки автомашин и автобусов, груды контейнеров, словом, вся та материальная мощь, которая, как по сообщающимся сосудам, перетекает по земле из густонаселенных городов в еще существующие пустыни, леса, горы.

Уже много раз казалось мне, что я насытился пространством, что нет ничего лучшего, как сидеть дома, читать хорошие книги, встречаться с друзьями, растить сына, а выпадет счастливое мгновение – и самому что-то написать... ан нет, проходит год-полтора, и снова «охота к перемене мест» начинает смущать душу.

Пучина каспийская глухо  
О плиты бетонные бьет.

И древнее слово «разлука»,  
Как в юности, спать не дает...

Нет, я еще все-таки молод,  
Как прежде, желанна земля,  
Поскольку жара или холод  
Равно хороши для меня.

...И этот солдат непутевый,  
И этот безумный старик.

Внизу шумит плохо различимое в тумане море, вдали в белесом рассвете мерцает обозначенная электрическими огнями подкова Красноводска. Мы подплываем к восточному берегу Каспия, и пассажиры медленно скопляются на палубе – посмотреть, куда же они прибыли.

А вот и «безумный старик»... Сутулый, почти двухметрового роста человек в старой фетровой шляпе с грязными подтеками, в порывавших от старости яловых сапогах, седобородый, желтоглазый. Вечера, запахнувшись в рваный кашемировый плащ, он собрал вокруг себя толпу любопытных, открыл фанерный чемодан и, достав затрепанную Библию, медленно и громко начал читать: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу...» Я заметил его еще на пристани в Баку. Он стоял на пирсе с чемоданом в руке, на крышке которого белой масляной краской были выведены слова: «Мир Божий на земле и разоружение». А на потертой кирзовой сумке – еще лозунг: «Свобода народу. Земля крестьянам». Должно быть, из арсенала партии эсеров.

Глядя на него, я вспомнил калужских юродивых– немого Славку, припадочного Порфишу; как мы гонялись за ними по еще зеленым, незаасфальтированным улицам Калуги, как дразнили этих убогих и, весело визжа, бросались в бегство, когда блаженный Порфиша с крас-

ными глазами и перекошенным ртом бросался за нами в погоню, как за назойливой мошкаррой. Юродивые или блаженные были как бы последним осколком не России, а – Руси. Култ блаженных, мистический страх перед их словом, жалость к ним и мысль о том, что они ближе к святости – всего лишь несколько десятилетий назад выветрились из народного сознания. До революции в Калуге, насчитывавшей 70 тысяч жителей, было тридцать восемь церквей. При каждой из них кормились свои немые, припадочные, калеки. Еще Пушкин, как само собой разумеющееся, вкладывает слово истины и правды в уста человека не от мира сего, который произносит приговор царю-убийце: «Не буду, Борис, за тебя молиться. Богородица не велит!»

Вот какие мысли пронеслись в моей голове, пока я смотрел на его сгорбленную спину, на грязную седую бороду, под которой болтались и тяжело звенели несколько серебряных и медных крестов.

А старик, не теряя времени даром, уже заговорил с пафосом проповедника, клеймя пороки современного мира:

– Нет правды! Ложь-победительница опутала нас! Лжефашисты...

Народ, безмолвствуя, смотрел на него по-разному: кто враждебно, кто с брезгливым любопытством, кто равнодушно. А молодой солдат, так картинно и хмельно прощавшийся на бакинском пирсе с невестой, ослабившись, спросил:

– Дед! А кто такие лжефашисты?

Старик сразу как будто бы на землю с небес спустился, полез в карман изношенных милицейских брюк и достал старые кировские часы.

– В Тбилиси пошел починить к греку. Заплатил два рубля. Утром починил, а к вечеру стали. Прихожу к греку опять, а он говорит: «Не знаю, не помню ни тебя, ни часов!» Шпионы и лжефашисты! Ложь-победительница!

Людям скоро наскучила эта проповедь. Один за другим они стали расходиться. Старик печально огляделся и, обратившись ко мне, последнему его слушателю, вдруг задал совершенно нормальный вопрос:

– А вы на палубе или в каюте?

Не помню, что я ему ответил, думая о том, шизофреник он, или просто мелкий проходимец, или не от мира сего человек, или и то, и другое, и третье... Что гонит его по свету? Зачем ему нужно в Среднюю Азию, где почти нету церквей русских, возле которых еще может прокормиться этот один из последних юродивых?

\* \* \*

Красноводск встретил нас зябким ветром. До полуденной жары было еще далеко, и город с пустынными чистыми улицами, домами из белого ракушечника и красноватого теплого камня, с палисадниками, наполненными мальвой, был похож на Гурзуф или Феодосию.

Мы выгрузились на набережную. Редкие прохожие останавливались возле нашего «газика», иронически поглядывая, как мы пытаемся втиснуть в небольшую машину необъятное количество геологического имущества: рюкзаков, спальников, палаток, выючных сум, молотков и прочего барахла. А путь наш лежал через Каракумы от Красноводска до Ашхабада.

Споря и соглашаясь, мы постепенно увязывали тюки, укладывали продукты, когда к нам подошел светловолосый юноша в больших темных очках с обожженным лицом, розовым от шрамов. Он держал в руке воблу, и ему очень хотелось поговорить с нами.

– Далеко собрались, ребята?

Портнягин, не любивший разговаривать во время авральных работ на посторонние темы, пробурчал что-то негостеприимное. Юноша вздохнул, не надеясь на продолжение разговора. А когда я с удовольствием разогнул спину и отошел от «газика», он как-то сразу за двумя сигаретами рассказал мне о своей судьбе военного летчика.

Два месяца назад на учениях он взлетел на реактивном истребителе и, когда вышел на заданную высоту, почувствовал, что кабина наполняется дымом. Через минуту, когда в кабине уже плескались языки пламени, принял приказ с земли – садиться на аварийную полосу.

Но плексиглас скафандра начал плавиться, и в последнюю секунду летчик рванул рычаг катапульты. Нашли его в песках, лежащим без сознания с обгоревшим лицом и руками...

Мы шли с ним по приморской улице, и он, покалеченное дитя своего времени, жаловался мне, что его хотят демобилизовать, а он еще не налетался.

– На комиссию предлагают...

Солнце поднималось из пустыни, и с каждой минутой все явственней ощущалось дыханье горячих пространств, лежащих рядом с городом.

– А лет-то сколько тебе?

– Двадцать четыре.

В черных очках, прикрывающих половину спекшегося лица, в цветной тенниске, джинсах и сандалиях, он был совсем мальчиком, худым, белобрысым.

Взлет... Короткое замыкание... Пожар... Госпиталь... Демобилизация...

Мы вернулись к машине, где, недовольные моим отсутствием, ребята уже закончили погрузку и, рассевшись прямо на бортике тротуара, пили пиво.

Юноша протянул Портнягину воблу.

– Вот вам к пиву, геологи. Вы на земле, а я на небе. Хорошее дело земля.

\* \* \*

– Вот и пустыня, – сказал Эрнст.

Я крутил головой, но не видел ни желтых барханов, ни песчаных бурь, ни зеленых оазисов, ни голубых миражей. Вокруг машины простиралось ровное, как паркетный пол, пространство, словно выложенное крупными глиняными плитками. Это был знаменитый такыр, растрескавшееся от солнца плато. Кое-где серая полынь, тусклый блеск солонцов, а на горизонте черная линия Копетдага. Но кто радовался этой дороге – так наш шофер Миша Громов. Он почувствовал, что нет



ГАИ, нет встречного движения, нет запрещающих знаков, сигналов, поворотов, а есть только идеальная поверхность такыра. Третья скорость! Полный газ и стрелка спидометра, дрожащая на цифре 90!

Все, что видит поэт, может показаться ему или удивительным, или никаким... Я думаю об этом, глядя из машины на однообразные пространства такыра, на редкие юрты, возле которых с удивлением в глазах стоят черноголовые малыши в цветастых одеждах. Возле юрт лежат линияющие верблюды с клочковатыми боками и так же, как дети, провожают громадными и печальными глазами навсегда непонятное для них гремящее железное существо.

Возле каждой юрты дымится тандыр – глиняная печь для приготовления лепешек. Над тандыром хлопочет женщина в неизменном красном, почти огненном, платье. А где-то рядом, у края такыра, начинается асфальтовая или бетонная дорога первой категории, и горьковатый дымок почти библейского очага соседствует с отблесками ракетодромного пламени.

А я под шум колес, под храп утомленных товарищей думаю о том, что для поэта не имеет никакого значения, роскошный или убогий мир окружает его. Потому что в любом случае его долг – одухотворить и сцементировать своим дыханьем весь этот обильный или бедный беспорядок, это мельканье людей, земель, телеграфных столбов, скромных очагов и поворачивающихся, как настороженные уши, локаторов. И если твою душу мучит немота и неизреченность, значит, в тебе самом еще не затеплился тот огонек, который тускло или ярко, но осветит внешний мир и даст тень каждому предмету и явлению...

Все спят. Шофер курит сигарету за сигаретой. Машина мчится за пучком света, исходящего из фар. А справа и слева – тьма кромешная. Только крупные звезды над головой.

Каждый раз, когда я гляжу в звездное небо, я думаю, что давно уже надо узнать имена и место созвездий, чтобы, глядя на них, повторять прекрасные слова: «Стрелец», «Скорпион», «Овен»... Каждый раз мне доставляет истинную радость найти Большую Медведицу,

ухватиться глазом за две крайних звезды по прямой, протянуть через них пять отрезков, – и тогда взгляд обнаружит Полярную звезду – ось нашей Вселенной. Там – север.

А звезды над Каракумами ярче и крупнее, чем в России.

\* \* \*

Как ни старался Миша, к вечеру нам стало ясно, что до районного центра Кызыл-Арвата мы не доедем – мгла в пустыне опускается мгновенно, на такыре сотни следов и ни одной накатанной дороги. Видимо, вторую ночь нам придется заночевать в пустыне... Так бы и вышло, если бы мы не встретились в каком-то поселке возле бензозаправки с начальником пятого дорожного участка Жуковым. Он предложил нам, чтобы не заблудиться, держаться за его «газиком». Нашему Михаилу пришлось крутить баранку не жалея ни себя, ни нас, чтобы не отстать от человека, знающего это бездорожье как свои пять пальцев.

В Кызыл-Арват мы приехали поздно ночью и остановились у двухэтажного дома с палисадником.

– Здесь и спать ляжете, – сказал хозяин, показывая на палисадник. – Умывайтесь – и прошу отужинать.

Мы устроились в уютной кухне за столом, накрытым в этот поздний час чем бог послал. Кто-то из наших львовян вытащил из сумы пару бутылок украинского первача, и языки, несмотря на усталость и ночь, развязались весьма скоро. Жуков, которого я не рассмотрел в темноте, оказался крепким двадцативосьмилетним человеком – архангельским мужиком, «с небольшой, но ухватистой силой». Он сам добился своего положения. Он гордился своими дорогами, своей квартирой, палисадником, водопроводом, возможностью принять и угостить случайных знакомых. Немного захмелев, он страстно заговорил о главном деле своей жизни – о работе.

– Конечно, плохо мы еще строим дороги. Бетонку или асфальт настоящий только во сне видим! Всё как в семье натягиваем: что ку-

пить – пальто или телевизор? Так и мы. Проложить пятьдесят километров бетонки или триста битумного покрытия? Подумаешь, подумаешь и скажешь: не до жиру – быть бы живу! Техники не хватает! Привезут щебенку – навалим на дорогу, тут бы и битумную смесь класть, а ее нет. Или укладчик сломался. А машины идут, гравий разбивают! Пока смеси дождешься – снова полотно ровный, лишние деньги выбрасывай!

Он пригорюнился, словно эти деньги его собственные. Самогона становилось все меньше, разговор – все оживленнее. В конце концов дошли и до стихов. В ответ на мои стихи начальник участка прочитал свои, которые он писал еще в автодорожном техникуме. Потом, конечно же, дошли до Есенина и, пугая полуночную южную тишину, запели: «Ты жива еще, моя старушка...» и «Вечер черные брови насопил». А когда под всеобщее одобрение я подарил Жукову свою книгу, ему пришла в голову авантюрная мысль:

– Хочу к юбилею закончить дорогу Кызыл-Арват – нужно мне позарез сорок тысяч тонн битумной смеси!

Он говорил с такой страстью, что я видел: любит Жуков свои дороги и свою чернобитумную смесь и будет любить, пока хватит у него энергии, чтобы избороздить пустыню тонкими красными линиями, обозначающими на картах автомобильные шоссе.

А начальник пятого дорожного участка продолжал, веруя в могущество писательского слова:

– Будете в Ашхабаде – умоляю, зайдите к замминистра Шутову. Он хороший человек – из рабочих. Попросите у него для меня сорок тысяч тонн смеси!

Я расслабился и дал слово зайти к Шутову. Да и кто бы отказался на моем месте?

Через два дня я сидел в кабинете замминистра... Бедный Жуков! Энергичный начальник пятого участка! Я постарался выполнить твою просьбу. Как дипломат, я начал разговор издали. Хочет, мол, московский писатель отразить трудовые будни строителей дорог...

Замминистра поднял седые брови, нависшие над красным от ветра и солнца лицом, и тут же предложил мне:

– Добре! Поезжайте в хорошее место – Барса-Гельмес. По-туркменски – «пойдешь – не вернешься». Есть там люди. В сплошных песках работают, в вагончиках живут...

Я робко попытался перехватить инициативу: по дороге от Красноводска видел я образцовое дорожное хозяйство, где начальником Жуков – молодой, энергичный специалист! Показалось мне, что о нем вот хорошо бы написать...

Брови у замминистра задержались.

– Ну, нашли чего, Кызыл-Арват – курорт! Жуков бойкий, можно и его поднять... но часто делает не то, что нужно. Не по закону действует! Власть превышает!

И тут я совершил роковую ошибку: сказал, что нужно тебе, Жуков, сорок тысяч тонн смеси и тогда можно будет всерьез написать о трудовых победах пятого дорожного участка.

Шутов, прошедший всю суровую школу служебной лестницы снизу доверху, сразу раскрыл все наши карты:

– Ясно... Напел вам Жуков. Поезжайте-ка в Барса-Гельмес, а с Жуковым я поговорю...

И если поговорил – то поверьте мне, что я сделал все, что мог. Просто мы переоценили возможности прессы и недооценили проницательности заместителя министра, недаром же он из рабочих.

\* \* \*

Делового строителя дорог Жукова я еще не раз вспоминал в скитаниях по Средней Азии, чаще всего думая о судьбе русского человека на Востоке...

Однажды наш «газик» перед тем, как выкатиться из душного Шахрисабза, пристал на окраине города к чайхане, откуда местный

люди выносили в тяжелых кружках мутноватое, но, видимо, холодное, а потому прекрасное шахрисабзское пиво...

– На дорожку! По паре кружек!

«Газик», подымая пыль, съехал на обочину, и мы, загорелые, в рубахах, узлами завязанных на мускулистых животах, ввалились в чайхану, с грохотом сдвинули два столика на алюминиевых ножках и загремели пивными кружками.

– Командир! – раздался хриплый голос за спиной Портнягина. – Командир, угости пивом!

Я поднял глаза. Перед нами стоял человек с выгоревшими до белизны волосами, с лицом, должно быть, навсегда и не только от солнца приобретшим кирпичный цвет. В глазах у него зияли тоска и жажда... Ну, словом, это был настоящий «самарский» – так в Средней Азии со времен повожского голода, когда в «Ташкент, город хлебный», в сытую Азию хлынул, спасаясь от голодной смерти, повожский люд, стали называть всякого, кто не прижился на чужбине, не нашел своего места под новым солнцем, кто оказался выброшенным из родного лона, оторванным от отчей земли, и кто поэтому опустился, не выдержав нужды, одиночества, чуждого ему быта. Много ли надо человеку, чтобы пасть духом, сдаться на милость судьбы? Вот так и появилось с той поры в Средней Азии слово «самарский», звучащее как «никчемный», «пропащий»...

Он и стоял перед нами – в заношенной майке, в сандалиях на босу ногу, в линялых спортивных шароварах.

– Командир! Угости пивом...

«Самарские» не раз встречались нам на азиатских тропах, и потому Эрнст досадливо отмахнулся: отойди, мол, друг, дай спокойно посидеть... Однако «самарский», видимо, был телепатом, а иначе он бы не сообразил, как найти путь к сердцу командира.

– Угостите пивом, ребята, а я вам Есенина стихи почитаю...

– А что ты знаешь? – встрепенулся Эрнст.

– Что пожелаете – хоть «Письмо к матери», хоть «Черного человека»... – «Самарский» оперся на гнутую спинку ширпотребовского стула:

Друг мой, друг мой,  
Я очень и очень болен.  
Сам не знаю, откуда взялась эта боль...

Минут через пять он уже по-хозяйски сидел за столом и, осушая очередную кружку, излагал сказочную историю судьбы, в которой присутствовал и генерал Ватутин, и правительственные награды, которые его не нашли в госпиталях, и уголовник Петя Римский, и всенародно известная после войны киноактриса, из-за которой, собственно, и сломалась его молодая жизнь...

А я глядел в его выцветшие желтые глаза и думал... О чем же?..

О том, как легко русский человек сходится с другими народами, как охотно роднится с ними, принимая в свою жизнь их быт, нравы, обычаи. Может быть, потому, что громадные азийские просторы лесов и пустынь государственной волей освоить было невозможно – а где государство, там больше насилия, железа, крови, диктата, – русский человек сумел сам распространиться на восток мягко и естественно, ужиться и с якутом, и с бурятом, и с киргизом. Помнится, как на Тунгуске дед Роман Фарков, в смуглоте и разрезе глаз которого были явственны приметы какого-то сибирского племени, размышляя о своем годке-соседе, обмолвился: «Да ён, хоть у него мать эвенка, наш, преобращенский, русский...»

Не надеясь на государство, русский человек искал, как ему по своему рассудку ужиться с племенами Востока, и сумел сделать это за несколько столетий ладно, прочно, естественно. «Ён русский, только мать у него эвенка»... Впрочем, дело не только в том, что «уживание» было как бы частной задачей человека. Американцы тоже осваивали Дикий Запад во времена, когда отдельные семьи, частные отряды энергичных авантюристов, словом, различных представителей народа и общества,

без особой поддержки государства – скорее оно шло за ними – с кольтами и винчестерами двинулись к Тихому океану, предавая на своем пути огню и мечу индейцев и бизонов. Так что дело в национальном складе, в натуре народной. Культ и ореол хищной романтики над лихими головами шерифов, ковбоев, конквистадоров у нас не сложился, хотя осваивали мы просторы несравненно большие... Русские и Восток – с одной стороны, американцы и Дикий Запад, англичане и Индия, французы и Африка – с другой. Вот два пути рождения многонациональных общин человеческих. Не потому ли от избытка насилия, законов и крови индейцы существуют в нынешней жизни Америки как миф? Не потому ли развалилась Британская империя? Не потому ли арабская Африка выгнала французов обратно за море в Европу? А русский человек, начав несколько веков тому назад незаметную работу по созданию величайшего в мире государства с семьюдесятью семью народами, достиг в мировой истории невиданного...

Однажды вечером в каком-то райцентре Зеравшанской долины я вдруг услышал слова незнакомой мне песни, сложенной, видимо, во времена этой исторической работы. Пелась песня протяжно, с долгими вздохами и выдохами – словом, по-народному:

Эх, не дое-е-ехал я до до-о-ому-у-у!  
Затерялся-а где-то в кишлаке-е-е!

Разве мог деловой англичанин затеряться, раствориться где-нибудь в негритянской деревне или энергичный американец – в индейской общине? А русский человек не только смог, но даже песню об этом сложил...

Вот о чем думалось мне за кружкой пива в чайхане на окраине Шахрисабза. И еще о том, насколько необъятна слава Есенина, который может владеть сердцами самых разных людей – и рафинированного столичного интеллигента, и волевого дорожника Жукова, и неизвестного, не до конца истрепанного жизнью «самарского»...

\* \* \*

Я сопровождаю от Мары до Ашхабада нашу технику – две автомашины и всякую хурду-мурду. Ребята поехали пассажирским поездом. Синь. Жара. Раскаленная железная платформа. Станционные тупики, на которых часами ждет своей очереди наш товарняк. От солнца я спасаюсь, залезая под «газик». На ходу – еще терпимо. Я взял с собой ящик местного пива. Обматываю пиво в мокрую тряпку, выставляю на встречный ветер – и оно как-никак охлаждается. Сбиваю с бутылки о борт платформы железную пробку и глотаю желтое, пузырящееся, вылезавшее из бутылки пиво... Все-таки легче.

Рядом с моей платформой – еще одна. На ней трясутся два змеелова. Два русских человека, в жизни не ловившие змей. Только по воле судьбы занявшиеся этим странным делом.

Илья – толстый, уже пожилой мужик родом из Смоленщины. Всю жизнь он враждовал с колхозным начальством, работать в деревне не хотел, был настоящим «летуном», вербовался каждый год то шурфы долбить в Якутию, то рыбу ловить на Сахалин, то шабашничать куда-нибудь на Север. А прошлой осенью новый председатель колхоза, человек крайних действий, приказал отобрать у Ильи, как у бесполезного элемента, приусадебный участок. Всю зиму Илья сомневался: а может, зажить оседлой жизнью да помириться с колхозом? Но как только пригрело апрельское солнце – вспомнил, что лежит у него за бабкиной иконой письмецо от случайного друга из города Фрунзе, в котором друг пишет, что есть еще на этой земле калымное дело – ловля змей в каракумских песках... И через три дня Илья уже дышал жарким воздухом, смешанным с духом железнодорожной гари.

Напарником Илье в пустыню дали бывшего московского таксиста Андрея. Во время мартовского гололеда не вывернул он баранку у трех вокзалов и разбил вдребезги новую машину. Все бы ничего, да экспертиза подтвердила состояние легкого опьянения... И подался Андрей на заработки в Каракумы.



Полтора месяца два неудачника на «газоне» бороздили пустыню. Где ловить этих проклятых змей – кобру, за которую платят четвертной, и песчаную эфу, чья голова оценена в тридцатку, они знали очень плохо и возвращались во Фрунзе с двумя щитомордниками да несколькими пятирублевыми гадюками. Но чем была набита деревянная клетка в их «газоне» – так это степными черепахами.

Проснешься утром где-то на станции и грустно думаешь, что, пока твой состав будут переформировывать и с грохотом гонять по путям, отцепляя и прицепляя платформы, – пройдет несколько часов под беспощадным солнцем. А Илья с Андрюшей в это время заняты делом. Накладывают в мешок черепах и становятся в ряд с бабами, торгующими яблоками да виноградом. Со свистом прибывает на станцию экспресс «Москва – Ашхабад – Ташкент»... Эйркондишен... Ресторан... Мягкие вагоны... Пассажиры высыпают на перрон. Кто к орехам, кто к винограду, кто к помидорам... А большинство к моим змееловам, печально держащим в руках древнейших животных земли, молчаливо шевелящих когтистыми лапками.

– Сколько стоит?

– Рубль!

Ну как же не купить за рубль такое чудо? Свисток электровоза, лязг буферов... Пассажиры с черепахами несутся к вагонам, а Илья с Андрюшей – к единственному на станции раскаленному от зноя ларьку и берут бутылку «Московской» ашхабадского разлива.

– Где ты, геолог? Иди, согреемся! – слышится с платформы...

\* \* \*

К вечеру я проснулся с легкой головной болью от грохота и лязга – товарняк медленно одолевал пустыню. Мои машины поскрипывали и пытались прокатиться по платформе, но их удерживали проволочные связки и чурки, забитые под колеса. В голове, как продолжение сна, теснились звонкие строки:

В пустыне чахлой и скупой,  
На почве, зноем раскаленной,  
Анчар, как грозный часовой,  
Стоит – один во всей вселенной.

Мимо проплывали барханы. Кое-где над ними возникали и тут же пропадали песчаные смерчи. Вдали светилась саксауловая роща – искривленные зноем и жаждой жизни деревца без единого листика... Нет, не растет в пустыне анчар. Нет такого дерева здесь – есть песчаная акация с многометровыми корнями, ищущими в глубине влагу, есть тяжелое дерево саксаул – его древесина тонет в воде и горит, словно каменный уголь, оставляя после себя серебристую золу; есть полынь... Анчара – нет. Это дерево рождено гением Пушкина.

Природа жаждущих степей  
Его в день гнева породила  
И зелень мертвую ветвей  
И корни ядом напоила.

Школьные учебники уродовали мой вкус, уныло утверждая, что стихотворение «Анчар» образец «вольнoлюбивой лирики» Пушкина, что анчар – это отвратительное самовластье... Или нет, не анчар, а тот князь, который посылает бедного слугу к анчару за ядовитым зельем.

Но человека человек  
Послал к анчару властным взглядом,  
И тот послушно в путь потек  
И к утру возвратился с ядом.

Игра мировых сил, величие власти и страстей, притягательность добра и зла, их извечная борьба, составляющая содержание жизни,

наслаждение царственным жестом... Все это несколько больше, чем «вольнлюбивые мотивы».

Принес – и ослабел и лег  
Под сводом шалаша на лыки,  
И умер бедный раб у ног  
Непобедимого владыки.

Разве не напоминает эта смерть сумасшествие бедного Евгения, загнанного «кумиром на бронзовом коне»?

\* \* \*

Три дня подряд шли дожди. Как ни толково выбирали мы место для лагеря, к вечеру третьего дня мутные ручьи стали подбираться к палаткам. Пришлось окапываться, чтобы нас не залило. Обычно синяя, со сверкающими гребнями белой пены, Майхура превратилась в ревущий мутный поток, по дну которого с грохотом катятся каменные глыбы. Ночью проснулись от оглушительного треска, выскочили из спальников, откинули полог... Уж не землетрясение ли? Или, может быть, отломилась часть вершины Сангинавишта и покатилась в ущелье Вардзоба? Но это всего-навсего была гроза. Голубые ножи, распарывая черное небо, взлетали над хребтом Османтала, мертвенным светом высвечивая снеговую линию, – и тут же погружались в кромешную мглу, а вслед за вспышками следовали удары грома, от которых сотрясалась палатка и гранитные глыбы срывались с размокших от трехдневного дождя древних палеозойских склонов.

Жутко и весело было дышать воздухом, в котором скопилось столько электричества, и мне почудилось, будто я вижу во тьме голубой венчик, пляшущий над головой Эрнста.

Однако он был озабочен.

– Не дай бог сель пойдет! Раздавит – и не поймешь, в чем дело... Из палатки выскочить не успеем. А на улице дежурить под таким ливнем – тоже глупо... Ладно, друг, пошли в палатку. Оденемся на всякий случай, а в спальники залезать не будем...

Эрнст зажег свечу, стоявшую у нас в головах на плоском камне, достал походную пикетажку, чего-то забормотал. Тень его со всклокоченными волосами закачалась на полотне. А я свернулся калачиком – и погрузился в дрему...

Эрнст сочиняет стихи. Два года тому назад он пришел ко мне во львовскую гостиницу «Интурист». Я в тот вечер был недоволен собой и потому мрачно начал «вещать»:

– Да у тебя профессиональная болезнь геологов – жажда рифмовать и неистребимая любовь к Гумилеву. Зачем тебе это? Ты человек бывалый, но одного не знаешь, какая это отравка! Сколько людей я видел, искалеченных ею, сколько сломанных судеб... И за что? За слова, за рифмы, за любовь к искусству, которая съедает тебя как ржавчина, ничего не обещая взамен... Разве что одиночество, потому что человек, признавший над собой власть искусства, – не принадлежит себе. Потому-то его жизненные связи с близкими ненадежны, что не хозяин он сам себе. Не он управляет судьбой, а судьба им!

Эрнст слушал меня молча и жадно. В конце длинного разговора спросил: «А не поздно в тридцать лет все начать сначала?» Я понял, что решение принято им, и полюбил его за это.

Стихи он писал с каждым годом все лучше и лучше, все больше правды и свободы обретали его слова, все значительней и серьезней становились суждения о поэзии. Я хвалил его – но сдержанно: он уже заслуживал большего.

Ничего, не сломается, говорил мне какой-то педагогический инстинкт. Человек с характером и талантом. Коль решился в зрелом возрасте переломить судьбу, то лучше на первых порах недохвалить, пусть набирает запас прочности. Главное – самому в себя поверить, а не с чьих-то слов...

...Гроза чуть-чуть утихла, и я заснул под шум дождя, барабанищего в полог. Мне снится мой первый маршрут, в который мы ходили с Эрнстом неделю тому назад. Нам нужно выйти на коренные обнажения по ту сторону хребта. Идем медленно – с непривычки, и дышится тяжело, но хочется к тому же не торопясь насладиться простором, поновому открывающимся с каждого возвышения.

Семенов-Тянь-Шанский, один из первых исследователей Высокой Азии, писал: «Ни одна из вершин, как бы она ни была трудна, не бывает неблагодарной. Она ответит путнику за его пот и слезы фантастическим простором, открывающимся с ее высоты, и вернет человеку чувство достоинства и величия».

Мы с остановками поднимаемся сначала по тропе вдоль Майхуры, потом берем круче, проходим полосу горных трав и выходим на снежник. Всю долгую зиму на склоне горных распадков – в Средней Азии их называют саями – падает снег, а летом его полуледяные спрессованные кристаллические массы, дымясь от зноя и давая пищу сотням талых ручьев, медленно оседают. Это снежники. В длину они могут достигать нескольких километров, в толщину – десятков метров цементированного снега и льда. От ледников отличаются тем, что неподвижны. Цвет поверхности снежника зависит от окружающих его горных пород: буро-розовые подтеки образует красная известковая пыль или слои, насыщенные окислами железа; грязно-зеленые оттенки дает сланцевая крошка; угольные шлейфы на слепящем фирне – следы черных известняков. Идешь по хрустящей зернистой массе и слышишь, как где-то глубоко под тобой на дне сая грохочет река, пропилившая русло в ледяной толще. А там, где снежники разрезаны в поперечном сечении, взору предстает льдистый свод, словно виадук, опирающийся о стены террасы, а из-под основания виадука, как поезд из туннеля, вылетает дышащий холодом бешеный поток... Такой снежник, образующий арочный мост над рекой, называется по-местному «тарма». В жаркие дни с ее источенного зноем свода сыплются блистающие капли ледяного душа.

Солнце жжет обнаженные спины. А снизу тянет холодом, свежестью – там, в глубинах, вечная мерзлота. Снежник усеян камнями – черные камни с матовой поверхностью прогреваются сильнее, чем снег, и постепенно погружаются в него, образуя глубокие стаканы, а светлые плоские сланцевые плиты или куски сверкающего на изломах мрамора отражают солнечные лучи, снег вокруг них тает быстрее, и они возвышаются как фантастические грибы на ножках, образуя нам «столы» и «стулья» для отдыха и обеда во время маршрутов.

На снегу кое-где лежат куски дерна, из которых выглядывают эдельвейсы и примула. А там, где снежный покров смыкается с зеленой террасой, сквозь почти истаявший тонкий слой рыхлого снега пробиваются мясистые, изогнутые, как бивни, нежные побеги щавеля и лисьих хвостов. Они долго ждали своего часа и наконец розовыми фонтанчиками брызнули из почвы, насыщенной влагой и семенами. Они растут на глазах. Им надо наверстать потерянное время и за короткое, усеченное для них лето созреть и уронить в землю свое потомство.

Чуть выше начинаются непроходимые заросли медвежьей дудки – вдвое выше человеческого роста, пахучей, похожей на кусты гигантского укропа, юган-травы; охалки белого и желтого шиповника, колеблющиеся как облака; фиолетовые соцветья альпийского горошка... А из затвердевшего селевого потока, разломав грязевую корку, торчат венчики белого ириса. Там, где почва помягче, алеют пионы. Рядом я нахожу странное растение: сочный упругий стебель, увенчанный мохнатым фиолетовым шаром величиной с кулак. Нюхаю, разглядываю, пробую на язык – да это же дикий лук! А в тенистых влажных местах мелькают желтые звездочки болотных фиалок. Цветы высокогорья благоухают, особенно после дождя, так, что голова идет кругом. В них много эфирных масел, и прошлогодние, шуршащие на ветру сухие стебли эфирносов, если поднести к ним спичку, вспыхивают как порох.

Сурочий свист стоит над этой зеленой волей, и, словно бы прислушиваясь к нему, на белом фоне гиссарских вечных снегов в слепящей синеве, скользя на потоках горячего и холодного воздуха, медленно кружатся орлы...

Сквозь сон я слышу, как Эрик тушит сигарету, закуривает снова, достает из-под спальника ножницы, обрезает нагар со свечи...

– Друг, ты спишь?

– Да так, дремлю. Сон только что снился, как мы с тобой ходили в маршрут...

– Я стихотворение написал. Вот послушай...

Как забыт и как снова глубок  
Сон у края глубокой стремнины,  
Где судьбой управляет Ягноб,  
Безразличный к законам равнины.

Слишком воздух насыщен грозой,  
Слишком дороги сны молодые,  
Слишком рано архангел трубой  
Призывает нас в дали иные.

Он читает, а я радуюсь за него – в стихотворении есть воздух, свобода, ощущение судьбы.

Я обнимаю кудлатую голову тридцатипятилетнего бородатого ребенка, пропахшего табачным дымом, лицо которого обожжено солнцем Гиссара и душа поражена высокой болезнью.

– Молодец, Эра! Стихи настоящие! Только прошу об одном: какую бы ты книгу ни написал – не бросай геологии. Я буду бродить с тобой всю жизнь!

Он радостно смеется.

– Что ты! Как ее бросишь. Наступает весна – и покоя себе не нахожу. Все просится в горы – и тело, и душа. Это в крови – двадцатый

сезон в поле! Вся молодость прошла в маршрутах... Ну что, поспим до рассвета? Авось селя не будет. Да будет – так от судьбы не уйдешь...

Мы гасим свечу и слушаем равномерный шум дождя.

\* \* \*

Позавтракав, ребята уходят в маршруты, а я остаюсь за повара. Тушенка надоела, макароны с хлопковым маслом в рот не лезут, надо порадовать друзей, когда вернутся к ужину, жареной картошкой, луку побольше навалить, салат из последних помидоров нарезать, алычи набрать для компота, сварить целое эмалированное ведро – и в ледяную воду, ох как он пьется, когда, разморенные жарой, работой и дорогой, в рубахах, загрубевших от соли, мы возвращаемся к лагерю: зараз по три-четыре кружки с холодной кислинкой!

Я набрал в кастрюлю картошки и побрел к реке. Наклонившись над водой, вдруг увидел, что на песке в заводи лежит, поблескивая, тонкая полоска золотистого песка. Осторожно, стараясь не замутить воду, зачерпнул полоску железной эмалированной миской. Вода все равно помутнела, и золотистый песок в тарелке оказался смешанным с обычным песком и всякой дрянью. Я взболтал смесь, слил мутную воду из тарелки – концентрация золотистого вещества стала на глазах погуще... Сердце мое радостно екнуло: тяжелая порода, не смывается, неужели золото? Я знал по разговорам, что в здешних реках оно бывает, но чтобы вот так найти золотоносную струю случайно, рядом с лагерем?! Ох и будет сюрприз моим ребятам, когда они вернутся из маршрутов!

Работая железной миской, как лотком, я стал промывать песок, ползая по берегу взад-вперед, ссылая отмытое золото в кружку. Солнце жгло мои плечи и голову, время катилось к вечеру, тени удлинялись, но я лихорадочно работал, ничего не замечая, от восторга позабыв и о жареной картошке, и о салате, и о компоте из алычи...

Очнулся я только тогда, когда услышал на тропинке голоса. Возвращаются! Ну сейчас я им покажу!



Опытный Портнягин заглянул в кружку, потом остановил взор на холодном очаге и понял все сразу. «Золото мыл?» Я радостно кивнул головой. «Типичная ошибка студента-первокурсника на полевой практике! Желтая слюда!.. Ну да ладно, на первый раз прощается... Давай варить макароны...»

Я засыпал, а голова у меня – видимо, оттого, что целый день работал, склонившись над бегущей водой, – кружилась, и во сне я до утра работал лотком, мыл золото, не какую-то желтую слюду, а настоящее, принесенное рекой из мощных рудных жил с вершин Гиссара...

\* \* \*

С утра у нас неувязка. Маршрут задерживается. Гнедой мерин Шарабан стоит невеселый. Конюх-таджик говорит, что мерин второй день ничего не ест. Эрнст понимает толк в лошадях. Он умеет подойти к лошади, погладить ее, потрепать по холке, что-то сказать, а когда надо – и прикрикнуть, и животные быстро проникаются послушанием. Ездит он как настоящий горец, с киргизской посадкой – плечо немного вперед; лошади доверяют его командам – легко понимая, чего он хочет от них. Он научил меня в прижимах – там, где тропа одной стороной лепится к отвесной скале, а с другой бушует река, – или на узких тропах, где лучше не смотреть по сторонам, потому что закружится голова, когда ты увидишь глубоко под собой серебряную ленту потока, – доверять лошадям, не брать их в шенкеля, не работать уздой; животное само сообразит, куда, на какой надежный кусочек земли поставить копыто. А в сумерках лошадь куда лучше человека чувствует край тропы, кромку обрыва, препятствие... Однажды моя чалая кобыла, которую я, торопясь к лагерю, жестко послал вперед, скользнула на повороте по отполированному гладкому камню, и я с ужасом почувствовал, что ее задние ноги повисли над пропастью и что мы лишь чудом держимся на краю осыпи. Тело ее задрожало, словно бы отзываясь на дрожь мелких камней, сыпавшихся из-под копыт.

«Ну, милая, выноси!» – молча взмолился я, понимая, что не смогу разом выдернуть ноги в трикони из стремян и что я не должен ничего делать, кроме как не мешать ей. Я склонился к ее потной холке и, отпустив узду, обнял лошадиную шею, перенеся центр тяжести немного вперед... Кобыла за два-три мгновения, показавшихся мне бесконечными, нащупала наилучшее положение своему мускулистому телу, ее грудные мышцы и сухожилия напряглись – и она, тяжело дыша, усилием одних передних ног вытянула себя и меня на тропу... Похолодев, я услышал, как с ее заднего копыта со скрежетом слетела подкова и, звеня о камни, понеслась, набирая скорость, в синюю реку Кафандар...

Весь этот сезон я работал с ней. Я привык к тому, что она – моя лошадь, и что-то сердечное было в этом чувстве собственности. У нее был жеребенок – тонконогий, большеголовый. Я брал с собой в маршруты несколько лишних кусков сахара и на привалах подкармливал и мать, и сына. На каждой остановке жеребенок подлезал под кобылу и жадно присасывался к ее маленькому вымени. Мне жалко лишать его радости, я жду, не погоняю лошадь, отстаю от ребят, и каждый раз приходится догонять их. Жеребенок обычно убежал по тропам вперед, но возле опасных мест всегда ожидал мать, подзывая ее тревожным ржаньем. А она ржаньем успокаивала его. Вообще когда они теряли друг друга из виду, то время от времени перекликались...

Однако гнедой мерин Шарабан стоял невеселый. Эрнст подошел к нему, погладил холку. Наклонился – потребовал поднять ногу. Шарабан послушался. Все четыре копыта были здоровыми. Может быть, наелся ядовитой юган-травы? У нас был такой случай, когда мы всю ночь гоняли начавшую биться в конвульсиях кобылу – конюх недосмотрел за ней, и она полдня паслась в роскошных зарослях этой травы, похожей на гигантские кусты укропа... Да нет, последние два дня Шарабан не отлучался от лагеря. Тогда Эрнст взял мерина за морду и рукой попытался открыть ему пасть. Шарабан, к нашему удивлению, сам охотно распахнул ее.

– Ну, конечно, пиявки...

Мы заглянули в пасть Шарабану. Эрнст отвернул ему язык. Под языком чернели клубки извивающихся червей. Оказывается, в некоторых застойных лужах и водоемах живут мелкие горные пиявки. И когда лошадь пьет воду – то личинки их остаются во рту, со временем начинают жить и размножаться на нёбе и под языком, и лошадь перестает есть. Эрнсту было это знакомо.

– Путы на ноги Шарабану! Плоскогубцы мне! Спирт из палатки! – скомандовал он и, засучив рукава, принялся за операцию. Мы держали Шарабана за седло и подпругу, но он и сам стоял спокойно, тяжело работая боками, пока Эрнст выгребал у него из пасти комки членистоногих, разбухших от темной крови. Они тут же лопались, и руки у Эрнста были окровавлены по локоть. У Шарабана из его громадных, отливающих нефтяной пленкой глаз текли слезы, но он, благодарный, терпел боль, переминаясь с ноги на ногу. Наконец полость рта была очищена, смазана спиртом, Шарабан сразу же повеселел, напился ледяной воды из Кафирнигана и потянул свою волосатую губу к зеленой траве.

– По коням! – кричит Эрнст. – По маршрутам!

Перед тем как сесть в седла, мы рассматриваем топоснову. Это приятное занятие. Отрадно видеть, что зеленые альпийские луга, коричневые возвышения, голубые ленточки рек и ручьев – все отмечено на бумаге, кем-то уже изучено. Обозначены высоты хребтов и цифры на голубых полосках рек – скорость их течения. Даже отдельная горная арча – видимо, старая и могучая – удостоилась чести быть нанесенной на карту. Даже развалины древнего кишлака... Интересно, сохранились ли они еще? Изучение топосновы рождает в душе какое-то надежное чувство: это не просто бумага – а карта, на которой все точно, надежно, и если уж указано озеро, то, когда мы перевалим хребет – оно конечно же там и будет.

\* \* \*

После двух месяцев изнурительного поля мы скатываемся с гор в Душанбе, на базу. Мишаня Громов, вцепившись в баранку, гонит

наш потрепанный «газик» по пыльному серпантину вдоль мутного Вахша. В машину неведомо как – на палатки, выючные сумы, ящики с образцами – буквально втиснуты аж под самый тент наши коричневые тела. Жми, Мишаня! В город – с его шумными базарами, с роскошными алыми арбузами, с грудями помидоров, с шашлыками, с газированной водой! В город – с его гомоном, многолюдьем, соблазнами, разноцветными женщинами! В город – с его почтамтом, где в окошке с надписью «до востребования» лежат для каждого из нас груды писем – от родных и друзей! В город – с его прохладными арками, с шелестящими листвой бульварами, с искрящимися фонтанами! В город – с его... банями!

И мы с Эриком пошли в баню, чтобы выйти оттуда – блистая отмытыми до позолоты атлетическими телами, благоухая после бритья и компресса самым дорогим одеколоном, в белых рубашках с индийскими агатовыми запонками, в наглаженных парусиновых брюках и в желтых сандалиях...

От пара, от горячей воды, от радости возвращения, от избытка кислорода в низине – наши головы пошли кругом.

– Эра, лови! – Я выплескиваю на него шайку ледяной воды! Он, поджарый, мускулистый, с животом, расчерченным на квадраты, с торсом, вылепленным из мышц, сухожилий и связок – ни единой капли городского жира, заливается дионисийским смехом. Бородатый и захмелевший, как сатир с древнегреческой вазы... Мы идем в парную, хлещем друг друга вениками, трем свои задубелые шкуры мочалками – и хохочем, хохочем! Я бросаю шайку под кран, открываю воду – не соображаю, что из крана льется крутой кипяток. Эрнст кричит мне что-то смешное, я захожусь смехом... и опрокидываю воду на стопу. Через несколько секунд мы молча наблюдаем, как кожа на моей драгоценной легкоатлетической ноге сморщивается, словно бумага, и начинает сползать, обнажая розовое мясо... Вот тебе и пир плоти! А через два дня, за которые мы хотели успеть насладиться всеми благами цивилизации, надо выкатываться снова в поле.

Грустные, сидим на базе и молча тянем домашнее вино – угощение нашей хозяйки Натальи Сергеевны. Она намазала мою ногу каким-то зельем от ожогов и успокаивает меня, что недели через две «новая кожа нарастет, ишшо лучше прежней». Наталья Сергеевна вообще философски относится к жизни.

– И что ты грустишь! Хужей бывает. Вот пока вы там по горам лазили, сосед наш себя из ружья застрелил. Вчера пошла его поминать, а батюшка велел из поминанья имя-то вычеркнуть. Сам на себя руки наложил – все равно помин не дойдет. В милиции работал, Алексеем звали. А хоронили тихо, в штатском, как негодного элемента... Я покойников не боюсь. Обмываю... И ни один никто не снился. А вот Алексея третьего дня видела. Словно бы пришел, а я виноград собираю. Он и говорит: «Дай, кума, винограду». Я бросаю ему, а все мимо рук. Так и ушел без ягодки. Значит, правильно батюшка сказал, что помин не дойдет...

Наталья Сергеевна вообще профессор по всем делам, касающимся похоронного ритуала, загробной жизни; сама она поет на клиресе в местной церкви, отец настоятель иногда заходит к ней чайку попить, а то и винца домашнего попробовать. Дом у нее полная чаша. А ведь были времена – лучше не вспоминать. Однако Наталья Сергеевна вспоминает все: хорошее и плохое – видно, вся нынешняя жизнь ее питается одними воспоминаниями.

– Первый-то муж мой с одной деревни, с-под Саратова. Когда голод начался в тридцать втором году, мы сюда и побегли. Так ён тут быстро спился. В кибитке жили, спали на полу, детей трое. Однажды привел таджика-железнодорожника, бутылку принесли, сели, он мне и шепчет: «Ты с него двести рублей проси!» А я говорю: «Креста на тебе нет! Телом моим, вишь ты, начал торговать!» Он на меня с кулаками, а таджик тот и спрашивает: «А вы, гражданка, кто ему будете?» Я говорю: «Жана!» А он: «Какая ты мне жена!» Ну, таджик смутился: «Извините, гражданка, я не думал». И за порог. А мой-то бить меня: «Ты что от двести рублей отказалась!» Ну, война началась – слава Богу,

взяли его сразу. Прислал письмо, мол, ранен под Новочеркасском. А потом пропал без вести. Видно, где-то лупанули. Ну и хорошо, чтобы такой никому не достался. Как-то приходит ко мне Маруся-соседка: «Твой благоверный снился мне: говорит, мол, чтой-то Наталья свечку на меня жалеет...» Ну, пошла в церковь, в помин его записала, свечку за рубль купила. Пусть успокоится. А то будет по ночам тревожить, будто в жизни я от него мало натерпелась...

Наталья Сергеевна замолчала, а губы сами чего-то шепчут, а пальцы шевелятся, словно она все продолжает какие-то споры, седая, с гладко зачесанными волосами, грузная, в стеганой безрукавке, очень похожая на мою родную бабку Дарью Захарьевну. Мы сидим во дворе ее дома за дощатым самодельным столом. Над нашими головами густая зеленая крыша из ветвей виноградной лозы, в которой шебуршат, склевывая ягоды, азиатские скворцы – майнушки. В редких просветах между листьями, ветвями и тяжелыми гроздьями сизого винограда кое-где на черном небе остро поблескивают ранние звезды. Этот дом, и этот виноградник, и маленькие цементные арыки для полива, и беседка со столом и лавками – все дело рук ее второго и тоже покойного мужа Петра Савельича.

– Стал ко мне свататься Петр Савельич. А я, как ирод-то мой пропал без вести, так думаю, лет десять замуж не пойду, пока детей не выращу. Ну, сестра меня уговорила: «Смотри, мужчина тверезый, самостоятельный...»

Пришел он свататься. Давай, мол, распишемся, детей я усыновлю, дом построим, а ты свою кибитку продай. А я ему отвечаю: «Ну, Николай пропал вроде без вести, а никак придет? Ить он все-таки отец детям?» Тогда Петр Савельич и говорит: «Давай сделаем все, как я думаю. Коль Николай вернется, то отдадим ему полдома. А ты живи тогда, как сердце тебе подскажет, хоть с им, хоть со мной...»

Наталья Сергеевна поднимает с колен тяжелые опухшие руки с выпуклыми венами, чтобы налить нам из графинчика по стакану мутнова-

того терпкого вина, которое еще в прошлом году перед самой смертью успел заготовить Петр Савельич.

– А мы ведь с им семнадцать лет как брат с сестрой жили! – И, перехватив мой недоумевающий взгляд, Наталья Сергеевна бесстрастно продолжает: – Ему внучка как-то родинку скovyрнула под глазом, загноилась. То пройдет – то снова нарывает. К врачам пошли. Говорят, рак. И моего Савельича под рентген. Три раза облучали. С той поры он как мушщина и стал инвалидом. А я-то не понимаю ничего. Смотрю, сестра к ему ходит, уколы масляные делает, болезненные. Я у ей спрашиваю: «Зина, ты от чего деда колешь?» – а она говорит: «Ты сама его спроси...» Затопили мы баню, моемся, тут я деда и спрашиваю: «Дедуль, а от чего тебя колют?» Заплакал мой дед и все мне рассказал. «Я, – говорит, – Наташ, вешаться хотел...» А я ему и отвечаю: «Дурак ты, дедка! Если бы ты от дурной болести мужскую способность потерял – дело другое. У нас, не забывай, трое детей – на кого мы их оставим...» А перед операцией пришла я к ему. Сижу, плачу. «Петр, – спрашиваю, – ну как же мне жить?» А он и говорит: «Крыша над головой у тебя есть, пенсия, хоть маленькая, – есть, было бы тебе лет пятьдесят, я бы сказал: найди себе старичка. Так ведь ты седьмой десяток разменяла... А потому живи как живется». Думала, что раньше его помру: я же старше. Все ему говорила: «Ты гроб мне материей не обивай, шушелью да лачком пройдишь, и хватит, обойдусь...» А он мне так всегда отвечал: «Нет, мать, ты меня раньше на горку проводишь». Вчера приснился. Смотрю, стоит в дверях – и ко мне, ко мне на кровать садится. «Наташ, говорит, подвинься». А я ему: «Да куда же ты лезешь, ты же помер...» Смотрю – снова в двери и уходит, как бы тает, и – пропал. Они, мертвые, недолго ходят – полгода, от силы год. А весной соседку Евдокию еще живую во сне видела. Стоит она будто с Петром Савельичем рядом. А я им венки плету да в подоле ношу. А Петр Савельич меня хвалит – мол, молодец, Наташа, на сто рублей мы уж твоих венков продали... Проснулась и думаю: сон не к добру,

со мной что-то случится или с Евдокией. Вроде она ближе к Петру Савельичу стояла, чем я. Ну а через неделю ее в больницу положили – муж избил, сотрясение мозга сделал да четыре ребра сломал да позвонок, да на ляжках мясо от костей отошло. Пять ден всего пожила. Мать ее навестила, а Дуся ей ни слова не сказала, только пальцем под глазом провела: мол, помру – плакать не надо... Всю ночь плелось: как глаза закрою, одни упокойники снятся. Да много их. Ждут, наверно...

– Наталья Сергеевна, – желая увести старуху от невеселых мыслей, я попытался поменять разговор, – а внуки-то как живут?

– Письмо недавно получила, сейчас покажу. – Старуха тяжело поднялась и пошла в дом. Я знаю, что у нее две внучки в Германии: старший сын Костя женился после войны на поволжской немке, которая лет пять назад разыскала где-то под Штутгартом своих родственников, развелась с пьяницей-мужем и уехала, видимо, навсегда и увезла с собою двух бабкиных любимых внучек.

– Во, гляди-ка, фотографию Светланка прислала, замуж вышла.

Я гляжу на цветные фотографии – как из кирхи выходит разноцветная веселая толпа молодежи, невеста в белом платье, жених – блондин, скуластый красавец, настоящий Зигфрид в черном костюме, а вот он крупным планом с невестой, белокурый, голубоглазый, и она – круглолицая, с чуть-чуть раскосым, как у бабки, разрезом глаз, с такими же гладкими, блестящими волосами, счастливая, породистая, румяная.

На обороте фотографии дарственная надпись: «Дарагой бабушки от Светланы и Фрица в день когда свадьба». Грамоту уже маленько забыла...

– А отец-то ее как – пишет дочерям?

– Да какие ему дочери. Звонят недавно с вырезвителя: бабушка, у вас сын или внук есть? Ну, думаю, нечистая сила, есть, говорю. «Так мы его привезти можем?» – «Ну, привозите». – «А денежки у тебя есть, бабка?» – «Скоко надоть?» – «Да двадцать пять рублей!» А ён недавно мне аккурат четвертной дал на харчи. «Есть, – говорю, – везите». Привезли



моего Костю... Хоть бы женился. Да разве его теперь женишь! – Наталья Сергеевна сокрушенно машет рукой...

Когда мы выезжали в поле, я, как пострадавший, сидел на командирском месте, вытянув вперед закутанную белыми бинтами ногу.

На высоте, где в воздухе почти нет болезнетворных бактерий, нога заживает быстро. На третий день я уже снял бинты, но в маршруты ходить еще не могу и работаю кухонным мужиком под началом поварахи Евдокии.

Мы сидим у костра и чистим картошку. Скоро ребята возвратятся к ужину. Вечереет. От становища исходят запахи дыма, баранины, лекарственных трав – Евдокия сушит их на зиму. На склонах сая, куда ни глянь, растут шелковица, алыча и дикий виноград, из которых мы каждый день варим по ведру компота.

Коричневые склоны, покрытые лессовыми подтеками, к вечеру источают ровное тепло, накопленное за день, словно истопленные громадные печи.

Начистить на восемь мужиков картошки – дело нудное, и Евдокия начинает мне рассказывать про свою жизнь.

Она женщина славная, но потрепанная жизнью. Маленькая, худая, скуластая. Всегда в темном платочке и выцветшем жакете. Муж у нее совершил недавно аварию – дали пять лет, и, чтобы свести кое-как концы с концами, она нанялась к нам поварихой подзаработать на жизнь. Все-таки полевые да высокогорные... Мы уже привыкли к тому, что каждое утро она барабанит палкой по пустому ведру и кричит: «Подъем! Кушать! Вставайте, окаянные!» А сегодня она разговорилась, и я узнал, что наша Евдокия чуть ли не девчонкой прошла всю войну от первого до последнего дня.

– Сначала работала в пункте питания. А потом перевели на прожектор, да не просто перевели, а с «губы»! Да, и на «губе» сидела, – перехватив мой вопросительный взгляд, продолжает она. – Комвзвода табуреткой ударила! Под Наро-Фоминском жду комиссию, стол

белой скатертью накрыла, а он ввалился, на скатерти насвинячил, да еще и лапать меня полез... Пьяный! Я ему так заехала, что со стула повалился. На «губу» меня упек! А ночью сам не справился с обстановкой. Приехал генерал Бескровный (до сих пор боюсь!). «Где комсорг?» – «На “губе”». – «За что?» Вызывают меня. Я рапортую, как и что. Ну, взводного в штрафную, а меня – на прожектор. Первым номером. Луч на немецкие самолеты наводила... да ты слушай-слушай, а про картошку-то не забывай!

Второй день мы с надеждой поворачиваем уши к вершинам хребта, откуда за нами должен прилететь вертолет. Время от времени в синем пространстве раздается гул моторов, но ухо Евдокии Дмитриевны, со времен войны научившееся различать марки самолетов, по звуку безошибочно определяет: это местная «аннушка», это «Як-40»...

А между тем вчера приходили чабаны и принесли тревожные вести. Километрах в пятнадцати выше по течению в русло реки рухнула тарма, громадная масса спрессованного снега, под которым протекала река. Вода, конечно, пробивается сквозь завал, но часть ее накапливается за этой плотиной. И накопилось уже много. Чем шайтан не шутит, – еще день-другой – прорвет вода плотину, и тогда вздувшийся поток за десять минут докатится до нашего лагеря. А мы стоим на пологом месте. Если ночью хлынет – то будут большие неприятности... Поплывут наши шмотки, палатки, пикетажки, кружки, ложки в Кафирниган.

Евдокия заохала, уложила паспорт, трудовую книжку и деньги в целлофановый мешочек и уговаривает нас ночевать на склоне. Портнягин шутит: «Кто в Бога верует, тот не пропадет!» Повариха ворчит, обижаясь на него за суетное упоминание о Боге.

Но на всякий случай глубокой ночью мы встаем, чтобы посмотреть, каков уровень воды. Из-за черной двуглавой вершины Кызылычмека выплывает белая луна – и все вокруг преобразается. Засверкали мощные листья конского щавеля, заблестели камни в реке, дрожащий свет луны смешался с черно-глянцевыми струями ревущего, как поезд, потока.

В эти часы взоры миллионов людей были прикованы к мертвому спутнику Земли: по ее поверхности бродили американские астронавты. Случись что с ними – весь мир захлебнется от радиоволн, газетных заголовков, речей и соболезнований. А если нас накроет паводок – ни одна собака не узнает... Обидно как-то.

Мы приглядываемся к реке, видим, что уровень воды не подымается, и, успокоенные, залезаем в палатку досыпать. Утром нас будит ликующий крик Евдокии:

– Вставайте, окаянные! Вертолет!

\* \* \*

Сегодня камеральный день. Мы разложили на траве образцы пород, сортируем их, наклеиваем на камни кусочки пластыря с обозначением маршрутов, укладываем в маленькие полотняные мешочки, потом во вьючные ящики.

Наша тематическая партия каждый год отправляется в поле, чтобы зимой в лабораториях можно было определить по остаткам древней фауны и флоры возраст пород. С определением их возраста и состава постепенно год за годом на геологической карте Тянь-Шаня наши маленькие маршруты обозначат очертания гигантского глубинного разлома, всколыхнувшего Гиссарский хребет в давние геологические эпохи.

Лагерь разбит на берегу реки Хонако. Две тысячи метров над уровнем моря. Вокруг невысокие желтые горы, кое-где поросшие арчой. Вдоль реки кусты темного можжевельника, тугая, миндального дерева; кое-где семьями растут березы, мало похожие на своих среднерусских родственниц. Потому что каменистая почва, горный воздух, вечнохолодные воды, омывающие круглый год корни, изменили их привычный облик. По несколько корявых – видимо, скрученных ветрами, снегами и каменными осыпями – стволов растут из каждого корневища: а кора у них тонкая, как папиросная бумага, бледно-желтого цвета, свисающая нежными клочьями...

Однообразная камеральная работа утомила нас, и Эрнст начинает популярно рассказывать мне и нашему радисту Грузинкину о том, как образуются горы.

– Спроси об этом несведущего человека – что он скажет? Какая-то сила сморщила поверхность Земли – так ведь? А скорее всего было по-другому. Сила, конечно, была, но выдавливала она не хребты, собранные в гармонику, а округлую выпуклость... Ну, к примеру, помнишь, после войны из резины клеили футбольные камеры? Так, бывало, когда надуваешь ее, там, где резина потоньше, – вдруг вздувается пузырь... А потом миллионы лет – работа воздуха, воды, солнца... Более слабые породы разрушаются, на поверхности пузыря образуются морщины, в морщинах каждую весну начинают бушевать реки. Каменные глыбы во время половодья углубляют русла... И так продолжается миллионы лет!

Грузинкин, открыв рот, слушает популярную лекцию, а я заползаю в палатку и разыскиваю в рюкзаке томик Заболоцкого:

– Эрик, а вот послушай, как поэты представляют себе горообразование:

В огне и буре плавала Сибирь,  
Европа двигала свое большое тело,  
И солнце, как огромный нетопырь,  
Сквозь желтый пар таинственно глядело.

И вдруг, подобно льдинам в ледоход,  
Материки столкнулись. В небосвод  
Метнулся камень, образуя скалы;  
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы  
И трещины пород...

И мой друг, кандидат геолого-минералогических наук, и радист Грузинкин, ни разу в жизни не слыхавший о Заболоцком, отложили ме-

шочки с образцами и слушают меня, открыв рты. А мой голос крепнет, и, впадая в актерский пафос, я начинаю декламировать:

...подземные пары,  
Как змеи, извивались меж камнями,  
Пустоты скал наполнили огнями  
Чудесных самоцветов. Все дары  
Блистательной таблицы элементов  
Здесь улеглись для наших инструментов  
И затвердели. Так возник Урал.

Эрнст взволнован. Он не знал этих стихов Заболоцкого.

– Какая смелость! «Расплавы звонких руд вонзились в интервалы» – да это же картина образования интрузий! Он что – геологию изучал?

Я сказал, что, может быть, и работал Николай Алексеевич в геологических партиях, но не по своей воле и не больше чем простым рабочим.

– Но ведь как точно все изображено! Да я на лекциях своих буду пользоваться этими стихами. Ну конечно же, друг, поэзия на один порядок выше науки!

Я – не спорю. Я рад за поэзию, что она не подвела. Мы снова садимся завязывать мешочки. Солнце стоит прямо над головами. Предметы почти не отбрасывают теней. Наши темные, уже, казалось бы, лишённые лишней влаги тела постепенно начинают блестеть.

– Грузинкин! Да сними ты рубаху, чего паришься!

Радист стаскивает рубаху. На груди у него от одной подмышки до другой выколот силуэт военного корабля с клубами дыма, уходящего к плечу через левую ключицу.

– А это что такое, Толя?

– Кто же тебе такую красоту изобразил?

– Да один мой матрос. Был я старшиной второй статьи при орудии на спардеке. Уговорил я его: сделай наколку. Он большой мастер был! Ну, колоть начали в двенадцать. До четырех я терпел. Осталось

пустяки – только дым и флаг. «Не могу, – говорю, – перекурить надо!» А он мне отвечает, что, мол, надо кончать дело без перерыва. Иначе – не выдержишь... А курить – нет мочи как охота. «Перекурим! – я ему приказываю. – Вытерплю. Грудь все равно задубела». Перекурили. Снова начинаем. Я лег. Он садится на грудь – и за работу. А дверь не закрыли. Хлоп – входит командир. «Что такое?» Пятнадцать суток мне строгого. Горячее – раз в неделю. Ему – двадцать суток простого...

Мы с Эрнстом хохочем.

– Ну Грузинкин, ну артист!

– А названия у корабля почему нет?

– А названия и не было. Корабль-то военный. Номер был. Но если бы номер выколоть – так не пятнадцать суток, а трибунал!

Грузинкин рассказывает спокойно, деловито, поглядывает на грудь, через которую плывет двухтрубный современный крейсер. Скопив глаза, он показывает пальцем на левый сосок:

– Мое оружие как раз вот тут было, на спардеке... – Мы катаемся по траве от хохота, а со стороны кухни уже подает голос Евдокия:

– Мальчики! Обедать!

В палатке на высоте две тысячи метров сны снятся совсем другие, нежели в домашней постели, то ли от горного воздуха, плывущего над землей, то ли от духа горных трав-эфироносков, то ли от прекрасной, развинтившей все тело, каждую косточку и каждую жилочку усталости, которая к утру обернется упругой походкой, свежестью и способностью к работе. Сны резкие, яркие, которые долго помнятся после пробуждения. Но перед сном надо выкурить из палатки мокреца. Разводим дымокур, ломаем сучья турая, потом сухие арчовые ветки, источающие смолистый дух, а сверху наваливаем охапку растения, похожего на нашу белену, от которого исходит едкий белесоватый сок, которым местные люди травят в реках форель. Я засыпаю, а шофер Миша Громов, страстно желающий рассказать мне о своей службе в армии, не замечает, что мои глаза закрылись, что я уже слышу его голос из туманного далека:

– Армия моя родная! Я такой: пять раз одно дело сделаю, а пойму до конца – всю машину разберу по винтикам...

Мишаня живет в Ашхабаде, куда приехал из Подмосковья. Женится. Родил сына. Посадил две грядки огурцов – на каждую грядку поставил по чучелу. Сложил цементную «бассейку», в которой, пошевеливая плавниками, важно ходят семь сазанчиков. По вечерам в тенистом дворе раздается голос его жены Анюты: «Миша! Иди Юрку укладывать, я замучилась!»

...Снится Ирина. Конечно, это было в Калуге. Будто бы я прихожу вечером в наш старый дом, открываю дверь – меня встречают растерянные мать и жена. Я вхожу и вижу Иру, толстую, румяную, с глазами-щелочками, с гладкими, зачесанными назад волосами. Жена удивленно смотрит на нас, а мы пытаемся поцеловаться, но и во сне у нас ничего не получается – что-то детское, неуклюжее; Ира собирается уходить, и я хочу проводить ее, а сам думаю о том, что мы с ней пойдём по темным калужским улицам и там я где-нибудь поцелую ее, но тут же с ужасом вспоминаю, что ел лук и рот мой пахнет луком. Судорожно бросаюсь к нашему алюминиевому умывальнику и, к всеобщему недоумению, начинаю чистить зубы... Боже мой, ведь все это было четверть века тому назад! В горах вообще чаще, чем обычно, снятся женщины...

Светло-коричневые склоны, арча, дикий виноград, ежевика. В ноздри бьет усилившийся к вечеру запах горной полыни...

Повариха соседней геологической партии – яркие накрашенные губы, черные брови, синие глаза. В легком ситцевом халатике. Она сидела под тентом и аккуратно резала лук. А когда мы подошли, нежнейшим голосом предложила: «Мальчики, а не хотите ли холодного какао!» Мы, обалдев от счастья, пили холодное какао, говорили ей комплименты, за что вскоре были награждены горячими пирожками с повидлом... Потом мы закурили, и она закурила с такой грацией, что кто-то из нас не выдержал: «Мы вас украдем...» Она захохотала, демонстрируя белые зубы, и не без умысла поведала нам, что прошлой ночью какой-то дикий зверь с наружной стороны палатки ткнул ее в бок...

Долина Коняска. Голубая дымка над хребтами. Табуны лошадей в зеленых зарослях. Заброшенный полуразвалившийся кишлак. Тропа, угадываемая по медвежьему следу.

Целый день, пока я продвигался вдоль реки по ущелью, передо мной все время летела, то садясь на камни, то бесшумно поднимаясь в воздух, какая-то крупная черная птица.

Я вдруг почувствовал, что зыбкое равновесие жизни и смерти во мне нарушилось в сторону жизни. Я ощущаю себя здоровым и спокойным существом, инстинктивно сторонюсь всего, что может вывести меня из этого состояния в другое, плодотворное, но разрушительное и тревожное.

...К утру мне явился Николай Рубцов, худой, лысый, плохо одетый. В каких-то коридорах издательских или журнальных мы встретились.

«Коля! Ты живой?» – изумленно спросил его я. «Да вроде бы живой», – застеснявшись и помолчав, тихо ответил Коля. «А где же ты был до сих пор?» – «Жил в деревне Карасевке...» – «Так ты и выпить можешь?» – «Могу, но лучше не надо...»

В руках у него была стеклянная книга: Бернс в переводах Маршака.

Бормочу названия рек, гор, хребтов и вслушиваюсь в звуки: Чильдухтар, Туполанг, Кызылычмек, Риваляйляк, Гурт-куйлюк... Все звучное, сочное, многогласное, цокающее...

Утро. Короткая прохлада. Над палаткой щебечут сизоворонки, в пожелтевших горных березах шуршит ветер, в двух шагах от палатки шумит река. Обрывки снов тают в сознании... Пора просыпаться... Скорее в ледяную воду – и в путь.

Не доезжая Оби-Гарма, мы свернули на грунтовку и через час-полтора вышли на берег реки Хомарово, несущей прозрачные ледяные воды с Каратегинского хребта, чей гребень просвечивался тонкой снежной полоской сквозь толщу осеннего воздуха.

Голубая вода несла вдоль берегов узкие желтые листья ивняка, от хребта тянуло холодом, наступала пора последних маршрутов.



Но не успели мы разгрузить машину и поставить палатки, как на берегу появились два человека на лошадях.

- Кто такие? Зачем приехали?
- Геологи; работать здесь будем.
- Нельзя работать...
- Почему?
- Заповедник! Тут товарищ Ибрагимов отдыхает и охотится.
- А кто такой товарищ Ибрагимов?

Егеря-таджики из оби-гармского лесхоза изумились: как, мы не знаем товарища Ибрагимова? А еще из Москвы! Нет, сейчас же соберитесь и уезжайте, откуда приехали!.. В бесплодных разговорах о всякого рода правах мы провели часа два, покамест я не сказал, что поеду в районный центр и попытаюсь все утрясти с местным начальством.

Ребята остались разбивать лагерь. Мишаня, чертыхаясь, завел «газик», и мы поползли обратно к Оби-Гарму.

Директор лесхоза, толстый человек в синем френче, в галифе, в цветной тюбетейке и полотняных сапогах оказался несговорчивым.

– Нэ магу я пустить вас в заповедник! Ты панимаишь! Из Москвы?.. Ну и что! Москва далэко, а товарищ Ибрагимов близко! Он балшой чэловэк! Атдыхаит тут. Ахотитца... Как я магу вас в заповедник пустить? Вот тэлэфон, звани товарищу Ибрагимову... Нэт, иди на почту, закажи междугородний разговор. Разрешит товарищ Ибрагимов в заповеднике работать – пусть телеграмму дадут на мое имя, заверенную афициально...

Чертыхаясь, я вышел на улицу, поклонялся по пыльной площади, зашел на почту, где узнал, что междугородная связь повреждена. И, совсем обалдев от полуденной жары, стекшейся со всех сторон к Оби-Гарму, вдруг заметил на обширном деревянном строении вывеску «Райисполком». Я прошелся по прохладным коридорам и поглядел на таблички инструкторов, заводелов, заместителей и, прочитав на одной из дверей простую фамилию «Быков», постучался....

Быков, широкоплечий крупноголовый человек, внимательно и устало выслушал меня.

– Да, конечно, дело непростое, но сейчас чего-нибудь придумаем. – Он набрал номер телефона. – Юсупов? Здравствуй, зайди ко мне, пожалуйста, разговор есть!

Через полминуты дверь отворилась, и директор лесхоза Юсупов с необычной для такого тяжелого тела грацией, кланяясь и улыбаясь, вошел в кабинет.

– Садись, Юсупов!

– Благодарю, товарищ Быков, я постою!

– Да нет, ты уж садись, разговор у нас долгий.

Юсупов вежливо и бесшумно присел на краешек стула, с опаской поглядывая на меня.

Быков покопался в бумагах, что-то переложил из одного ящика в другой, сделал довольно длинную запись в календаре и, внезапно подняв лицо от стола, резко спросил:

– Ты кроликов государству почему до сих пор не сдал?

Юсупов встрепенулся было встать, но Быков взглядом оставил его на стуле.

– Товарищ Быков, – неожиданным для такого крупного тела жалостным и высоким голосом заверещал Юсупов, – падеж у кроликов! Эпидемия! Падохла многа, как план выполнишь?

– Ну конечно, развели антисанитарию! А нам теперь ломай голову, чем детдомовцев кормить...

– Товарищ Быков...

– Ну ладно, ладно, – досадливо отмахнулся Быков, – ты об этом еще на райисполкоме докладывать будешь...

Он опять погрузился в бумаги, вызвал секретаршу и передал ей конверт – словом, вроде бы отвлекся от Юсупова, который вытащил из синих галифе с вытертыми добела швами носовой платок и убрал пот со лба. Быков опять поднял голову:

– У тебя, товарищ Юсупов, какие-нибудь вопросы есть ко мне?

– Никаких, товариш Быков, вопросов нет, никаких.

– Ну тогда до свидания!

Юсупов облегченно вздохнул и заторопился к двери, но не успел дойти до нее.

– погоди, товарищ Юсупов... А что у тебя со строительством дома для рабочих?

– Рабочих рук нэ хватает, товариш Быков, – опять заголосил директор лесхоза еще жалостней, чем в первый раз. – Страительных матерьялов нэ хватает, цэмэнта...

– То-то у твоего заместителя цементные дорожки во дворе появились... Может быть, ты сообщишь, откуда, из какого цемента?

– Товариш Быков, спасибо, что сказали! Все проверю, вам доложу, – скороговоркой забормотал Юсупов.

– Ну хорошо, иди работай! – Быков откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор на сегодня окончен. Юсупов встал и задом начал медленно пятиться к двери, комкая платок в руках. Но когда он самой тяжелой частью тела уже отворял дверь и в последний раз кивнул головой, перед тем как пропасть в коридоре, Быков вдруг, словно бы вспомнив что-то, энергично поманил его ладонью обратно в кабинет. Юсупов на полусогнутых ногах подошел к столу, но сесть уже не решился.

– Люцерну скосил?

– Скасыл, товариш Быков, скасыл! – оживился Юсупов. Но радость его была недолгой.

– А почему не полили, перед тем как скосить? Что, тебя учить надо, как люцерну косить?

Убитый горем Юсупов уже ничего не отвечал и даже не вытирал пот, блестящий на его темном круглом лице. Он только тяжело дышал и умоляюще смотрел на Быкова.

– Ну хорошо, иди, товарищ Юсупов, придется о тебе вопрос все-таки ставить. Не хотелось, а придется...

Юсупов тяжело вздохнул и в третий раз потащился к двери, но, когда он переступил порог, безжалостный Быков в третий раз окликнул его:

– Юсупов!

Тот обернулся, но к столу уже не пошел, видно, сил у него не было.

– Ты почему людям работать не даешь?! – Быков кивнул в мою сторону.

– Так ведь, дарагой товариш Быков! Сами знаете... Запавэдник... Товарищ Ибрагимов... Ахотитца... Атдыхает... А вдруг товарищи фарэль паймают или кабана убьют? Кто отвечать будит?

– Как кто? – удивился Быков. – Конечно, ты! Ну-ка пиши записку своим егерям, чтобы не мешали работать товарищам геологам. Вот тебе бумага, вот чернила...

Трясущейся рукой бедный товарищ Юсупов нацарапал несколько слов, передал мне бумажку и умоляюще посмотрел на Быкова.

– Можно идти, товариш Быков?

– Можно, товарищ Юсупов!

Когда за директором лесхоза захлопнулась дверь, Быков печально улыбнулся и развел руками:

– Видите, как трудно работать! Ну, слава богу, у вас все в порядке! По-езжайте заниматься своей съемкой. Будет время, я к вам загляну на чай...

Я поблагодарил его, развернул записку с несколькими корявыми словами и спросил у Быкова на прощанье:

– А скажите мне, что хоть наш товарищ Юсупов здесь написал?

Быков поглядел в записку и расхохотался:

– Ну, конечно, он не поверил, что вы работать приехали, и дал такое распоряжение своим егерям: «Пусть дорогие гости хорошо отдыхают!..» Что делать, привычка!

\* \* \*

Я – коллектор Портнягина. Мы ходим с ним в маршруты – в одной связке. Мои обязанности – подготовиться с вечера к маршруту. Прове-

рить снаряжение – тяжелые геологические ботинки с зубцами – «трико-ни», геологические молотки, положить в рюкзак пикетажные книжки, пластырь, мешочки для образцов; не забыть котелок для чая, заварку, две кружки, хлеб, соль, сахар, огурцы, помидоры. Все должно быть с вечера уложено, пригнуто, затянуто. Из лагеря уходим рано, чтобы успеть до жары выйти на маршрутные отметки – а порой это километров за пять от лагеря, да еще превышение километр-полтора – и начать по утренней прохладе работу. Эрнст ходит в маршруте легко. Четко замеряет углы залегания пород, записывает их характеристики, а я в это время выбиваю из обнажений образцы, обколачиваю грани, наклеиваю на свежий излом кусочек пластыря, пишу на нем номер маршрута.

К полудню килограммов пятнадцать камней уже оттягивают мои плечи... А еще маршрутить километра три, покамест выйдем на берег Сардай Мианы. Фляга чая, взятая в маршрут, уже выпита во время первого перекура. Пот заливает глаза. Рубаха пропиталась солью – чувствуешь спиной, как она задубела... И нет большего наслаждения, чем услышать в эти минуты бульканье родника! Эрнст пьет расчетливее, скупее и подсмеивается над моей ненасытностью:

– Ты знаешь, как Александр Македонский создал свою гвардию? В каком-то походе на Восток его войско одолевало пустыню и чуть не обезумело от жажды. Из последних сил вышли к воде. Солдаты бросили щиты, мечи, копья и, оттесняя друг друга, рванулись в реку, падали в нее, пили, пускали пузыри, кричали... Словом, вели себя, как... ты. Только немногие из них переждали, пока все стадо напьется, отложили оружие, сняли бронзовые шлемы, умыли руки, лицо и лишь после этого с достоинством утолили жажду. Вот из них-то Александр и сформировал гвардию. Кстати, он напился последним...

Я восторгаюсь, мне нравится рассказ, но у очередного ручья виновато оглядываюсь на Эрнста, сбрасываю с плеч рюкзак и припадаю к влаге потрескавшимся ртом.

Высокогорная вода! Холодная, снежная, ледяная, прозрачная, разламывающая зубы, синяя, обжигающая, сладчайшая, пенящаяся, ле-

тящая серебряными нитями водопадов, журчащая в мраморных трещинах, – я пил ее везде, где бы ни встречал. Уже не хотелось, но от одного взгляда на эту воду жажда вновь вспыхивала в горле. Я знал, что много пить нельзя, что потом будет тяжело идти, но глаза – жаждали. Я каждый раз с сожалением уходил от ручья – все равно всю не выпьешь! Но встречался следующий ручей, и я останавливался, снимал с затекшей спины груз и не торопясь выбирал удобное место, опускался на колени или ложился всем телом на влажную траву, на холодные камни, на отполированную яшмовую глыбу, погружая сначала воспаленные губы, а потом все лицо в освежающую струю, и, хмелея, начинал пить медленными маленькими глотками. Потом делал большой глоток, потом, чтобы не утолить жажду чересчур быстро, втягивал влагу сквозь зубы, пробовал ее вкус на язык и с сожалением отправлял в горло. Напившись досыта, я любил посидеть рядом с водой, слушая ее искрящийся шум, ощущая прохладу, исходящую от нее. В эти минуты, глядя на красные, белые и зеленые камни, светящиеся на дне, я чувствовал связь синего холода и воздушной свежести со своей судьбой, с присутствием в душе и в теле вечно молодой силы. Только боги и звери достойны пить эту воду.

К середине дня мы вышли к водопаду. Крутизна двухсотметрового плато, сложенного из коричневых пластов мезокайнозоя, была такова, что поток не скатывался по обрыву, а от верхнего края его и до глубокой выдолбленной чаши на уровне нашей тропы сверкающим жгутом висел в воздухе. Сердце заныло: а что там наверху – ручей, или громадное озеро, или какой-нибудь затерянный мир, где еще не ступала нога человека?

- Эрик? Подыдемся!
- А зачем?
- Да посмотреть, что там...

Он улыбается улыбкой человека, прошедшего через такие детские искушения:

– Я тебе, чтобы не тратить полдня на подъем, скажу: там то же, что и здесь...

Уже четвертый час пополудни. Эрнст делает последнюю запись в пикетажке, и мы выходим на каменную осыпь, внизу голубой лентой вьется Сардай Миена.

– Что-то старею, друг! – грустно усмехается Эрик. – Бывало, такой маршрут я за полдня делал. Один делал, без коллектора. Сколько можно маршрутить? Сорок лет скоро! А все по горам прыгаю... Ну, поехали к реке, чаю сварим, да ты, глядишь, и форелью накормишь начальника. Пошли! Голеностоп держи плотнее!

Мы прыгаем с тропы в «живую» сланцевую осыпь, и она, медленно шурша, начинает ползти по склону, а вместе с ней, удерживая равновесие и перенося центр тяжести с одной ноги на другую, мы скачем вниз, опережая мощную шевелящуюся массу.

– Эрик! – в восторге кричу я. – Сма-а-три!

Эхо скачет по скалам к вершинам хребтов, обложенных розовой дымкой.

На берегу с наслаждением сбрасываем рюкзаки, расшнуровываем тяжелые трикони и спускаем намятые, черные от сланцевой пыли ноги в ледяную синюю воду.

Пока Эрнст разводит костер в тени столетнего орехового дерева, я налаживаю удочку...

Ловля форели – нечто среднее между рыбалкой и охотой. Осторожно, чтобы не спугнуть рыб, прячась между кустами и камнями, я подхожу к берегу. Небольшой водопад, kloкочущий чуть выше меня, впадает в глубокий базальтовый бассейн. На корточках подползаю к воде, переворачиваю камень – ага! Вот он, букаш, любимое блюдо форели. Беру самого крупного, нанизываю на крючок. Делаю бесшумный взмах удилицем – гибкий фибerglass легко посылает грузило и наживку под водопад. Мерными движениями, чтобы не зацепить грузило за камни, начинаю подтягивать леску к себе... Удар! Я знаю, что

в эту секунду хищница с разгона схватила букаша вместе с крючком и рванулась обратно под камень. В ту же секунду я рву удилище на себя – форель не язь и не плотва: чуть замешкаешься – и она, разрывая себе рот, сорвется с крючка, – ее надо сразу выдергивать из воды, пока не опомнилась. Фибerglassовый конец сгибается в крутую дугу, в следующее мгновение кончик распрямляется, выбрасывая из синей стремнины что-то трепещущее и разноцветное, рыба с глухим шмяканьем ударяется о гранитную стенку за спиной, слетает с крючка на тропу и, отпрыгнув от нее, летит обратно к воде! Вслед за ней, словно доставая безнадежный мяч на волейбольной площадке, летит мое тело – я падаю на все локти и колени, пытаюсь прижать собой этот извивающийся упругий и холодный кусок жизни! Вырвалась?! Нет! Вот она! Держу! Все... Можно передохнуть и разглядеть свою добычу.

...Золотистый чай заваривается в котелке. Ореховые ветви уже прогорели. Я разгребаю угли ровным слоем, кладу по обе стороны кострища два ряда камней, на них – параллельно друг другу несколько сырых веток и на ветки осторожно укладываю одна к другой четыре крупных форели, натертых солью. Через две минуты они начинают томиться, дергаться от жара, как живые, их спинки снизу покрываются коричневой корочкой, я переворачиваю рыбу, сок с нее каплет на угли, и аромат благоуханных испарений щекочет наши ноздри.

Я обрываю с ореха несколько крупных листьев, кладу на них огурцы, помидоры, хлеб – и на два подогретых листа отдельно – царскую рыбу, испеченную в собственном соку.

– Обед готов, начальник!

Портнягин ест с жадностью, чмокая и постанывая от удовольствия. А я смакую форель не торопясь, чтобы не испортить себе впечатление от рыбалки; вспоминаю, как я подсек ее, как она рванула леску, соблюдаю достоинство добытчика и веду себя как гвардеец Александра Македонского. Словом, роли наши – поменялись.

А потом по кружке золотого чая! Да по сигарете! И развалиться на мягкой траве, разбросать по траве руки и ноги, бессмысленно глядя в



бездонное небо. Так и заснули мы на земле. Я – в рваной красной футболке, Эрнст – в линялой выношенной штормовке, оба в заплатанных джинсах, босые, счастливые, и проснулись на вечерней прохладе. Заходящее солнце уже очертило длинные синие тени от нашего ореха. Костер догорел. Угли покрылись серым пеплом, и только еле заметная струйка дыма уходила в потемневшее небо...

Но почему во всех моих стихотворениях, где хоть как-то присутствует его образ, закладывалась мысль о смерти или предчувствие ее?

...Расстаемся с ним у истоков Ягноба: часть партии отправляется к югу, мы с Валентином Павловым – на лошадях к северу. Склоняясь над топографической основой, уточняем место, где встретимся через несколько дней, – в устье Каниза...

Помню, что я начал писать это стихотворение в седле, когда ехал к устью по долине, заросшей сочными травами, в которых бродили табуны необъезженных трехлеток. Справа и слева, постепенно уходя к небу и тая в рассеянной утренней дымке, виднелись горные складки. Стихи сами собой слагались под мерный шаг лошади, под ее шумное дыханье, под скрип седла:

Где встретимся? В устье Каниза.  
Там, в матовом свете луны,  
Склоняясь над травами низко,  
Разгуливают табуны.

.....  
Где встретимся? Слушай, не много ль  
Таких расставаний и встреч?  
Смотри, как потупился тополь,  
Услышав столь дерзкую речь!

Еще бы! Есть высшие цели  
И планы на этой земле.  
Сегодня на водоразделе,

А завтра на смертной постели,  
В наполненной звездами мгле.

Он жил так широко – так безжалостно и щедро раздавая себя друзьям, работе, женщинам, науке, поэзии, что тревожно становилось на душе, глядя на эту щедрость. Словно бы человек чувствовал, что недолго жить ему на этом свете, что немного у него времени, как у того розового стебля, пробившего от нетерпения снег, чтобы успеть за короткое высокогорное лето совершить все, что предназначено природой... Да еще и цыганка однажды в поезде, когда он ехал к себе, на родину своих прадедов в Зауралье, в холодном ночном тамбуре, куда он вышел покурить, нагадала, что проживет он сорок лет. У Заболоцкого сказано: «ведь каждое сердце предчувствует час, когда оно канет на дно»... Предчувствия, исходящие от него, становились как бы и моими прозрениями:

Мой друг! Под проливным дождем,  
Под синим азиатским зноем,  
Мы начинаем наш подъем,  
Необходимый нам обоим.

От временных привалов дым  
Летит и в поднебесье тает  
И над твоим виском седым  
Как венчик голубой витает.

Послушай, в мире высоты  
Немного проку исподлобья  
Глядеть, как будто ищешь ты  
Хороший камень для надгробья...

Стихи написаны после маршрута, когда мы, опьянев от высоты, от дыхания вечных снегов, от ощущения силы и вольности, вдруг начали,

весело кощунствуя, выбирать себе среди глыб красного гранита, белого мрамора и черного базальта надгробные камни.

Он всегда тревожился за меня, когда я уходил в маршруты без него, или когда отправлялся вдоль рек и распадков за форелью, или на охоту за куропатками. Я иногда не рассчитывал время и возвращался в темноте. Хорошо еще, если луна, повиснув на краю черной скалы, озаряла мою тропу, а вдали, отражая ее мертвый свет, сияла призрачная гряда снеговых вершин Гиссара. Не раз, возвращаясь в лагерь, я по огоньку сигареты угадывал: Эрнст вышел на тропу – встречает своего неопытного друга.

К опасной работе приучен давно,  
Я знаю: привычка надежней отваги.  
За друга тревожусь. В долине темно,  
Луна задыхается в облачной вате.

А я задыхаюсь в табачном дыму:  
Неужто в потемках он сбился с дороги?  
Курю и гляжу в непроглядную тьму  
И скоро отряд подниму по тревоге.

Других не найти – он единственный друг.  
Храните поэта, Небесные горы.  
Он первый заметил, как сузился круг,  
Такой необъятный в недавние годы.

\* \* \*

В день твоей смерти я жил на берегу северной реки Мегры. Вечером, вернувшись после неудачной охоты к нашей палатке, я залез в спальник и от усталости сразу заснул под шум мелкого осеннего дождя. Но внезапно глубокой ночью ни с того ни с сего проснулся и,

пока приходил в себя, сделал попытку избавиться от тяжелого чувства, навеянного сном, приснившимся мне, видимо, перед самым пробуждением. Со временем я забываю почти все свои сны. Но этот помню. Мне снилось, что я встречаю в каком-то многолюдном и ослепительном аэропорту самолет, на котором прилетает мой сын. Но вдруг по ожидающей самолет толпе, словно ветер, проносится глухая весть о том, что самолет разбился. Люди начинают вполголоса переговариваться, что-то бормотать, шушукаться, волноваться. Тревога в зале ожидания нарастает, и вдруг по радио раздается нежный женский голос, называющий мою фамилию и вслед за этим говорящий, что «ваш сын погиб во время воздушной катастрофы при изыщнейших обстоятельствах». Страхивая с себя наваждение, я попытался заснуть снова, но сосущая боль не оставляла душу. Я вылез из палатки. Предрассветный ветер разогнал тучи. Дождь перестал. В черном небе чуть ли не прямо над головой сверкала Полярная звезда. В темноте под обрывом шумела река. Из-под полога время от времени доносился скулеж собаки, которой тоже снились какие-то сны. А в это время твое, уже холодное, тело лежало, укрытое брезентом, за несколько тысяч километров от меня на берегу горной речки... Может быть, когда ты упал на галечный берег, прижимая руки к груди, развороченной зарядом картечи, видения прошедшей жизни на прощанье пронеслись перед тобой, всё ускоряя свой бег, чтобы в конце концов слиться в сплошное крутящееся пятно. Может быть, в какую-то секунду перед твоим внутренним взором промелькнул и мой лик, чтобы навсегда исчезнуть. Может быть, ты сделал слабое усилие что-то сказать мне, но был уже не властен этого сделать... Может быть, я, находящийся на другом краю земли, проснулся именно в эти минуты... Может быть...

Кто знает? В известном смысле я вырастил тебя, и потому сон о сыне был сном о тебе.

Наши тропы, костры, пепелища, сборы, лошади, маршруты, реки, стихи, женщины, – всё, всё, всё, словно бы со свистом втянутое гигантским сквозняком, черным ветром, вырвавшимся из-под взреве-

шего лайнера, понеслось черт-те знает куда, в какую-то дыру, в туннель, в темное пространство, и ты делаешь последние усилия устоять на ногах, а волосы, плащ, одежда, руки уже тянутся вслед за вихрем, всасывающим тебя в громадную воронку.

\* \* \*

Наша последняя с ним стоянка была в устье Хонако. Река вошла в обычное русло. Там, где летом шумели потоки, в их пересохшем ложе, занесенном плодородным илом, разноцветной галькой и семенами растений, – горели алые острова дикого мака.

\* \* \*

*Из писем Эрнста Портнягина любимой женщине.*

Я долго сомневался: стоит ли публиковать? Но прочитал их несколько раз и подумал: без этих писем облик его будет недорисован, а к тому же нынешнему молодому поколению небесполезно будет прочитать их. Вдруг кто-нибудь и вспомнит после чтения пушкинские строки «да, он любил, как в наши лета уже не любят...».

«21.12.75

Ты знаешь, моя милая, розы, которые я тебе подарил, до сих пор стоят в вазе с надписью: “За нашу победу!” – и ни один лепесток с них не облетел. Мне даже начинает казаться, что это знаменье, и я смотрю на них с суеверным ужасом и восторгом... Давно я не предавался такому эпистолярному разгулу – то ли виной твои письма, отчаянные, открытые и прекрасные – по два письма подряд! – это заставило бы содрогнуться всех, кто меня знает, – не по-портнягински!

С трудом прихожу в себя после хворобы, не помню, чтобы в последние годы меня так сбивало с ног. Работы – тьма! И я в нее погружаюсь. Неприятности одна за другой.

В здешний обком и университет пришло письмо из ЦК КПУ с тщательной хулой поэмы о Федорове (великорусский шовинизм и антиукраинские настроения). Да тут еще в Югославии является рецензия на ту поэму, где меня именуют “панславистом” и “русским националистом”. В понедельник сражение на идеологической комиссии – вызван для ответа.

Детка моя милая, солнышко мое ненаглядное, пойми меня правильно – дороже тебя из женщин у меня, наверно, сейчас никого нет! Видишь, какие слова исторгнул я из своей груди! Чего ты хочешь, радость моя, чтобы я, седой, лысый старый сатир и бродяга, думал только о тебе? Если бы это было так, я бы тебя давно сгреб в охапку и никуда бы не выпустил. Но я никогда не был смешным и не смогу быть.

Я – русский дворянин, как это ни странно звучит в наш демократический век. Ведь понятия о чести и достоинстве у меня болезненно живут в крови. Я счастлив тем, что твоя, может быть, первая серьезная любовь – это я. Ты счастлива тем, что любишь меня. Зачем это омрачать и губить. Ведь если у тебя это пройдет, ты сможешь еще (дай-то Бог!) от этого излечиться, а для меня это будет последняя трагедия.

Моя нежность глубже, ибо она печальней и радостней, чем твоя, вдвое или втрое. Так отличается кипение в пучинах от пара на поверхности. Пиши еще. Пиши как можно чаще. Целую, целую...

Твой Э. П.»

«12.12.76

Слушай, милая, когда ты отвыкнешь от таких слов, как “уродство”, “гад”, “ужасный” и т.п.? Впечатление от твоих писем таково, будто ты живешь в каком-то фильме ужасов – все и вся преувеличено до крайности... Мир нужно любить – такова наша, литераторов, судьба – и людей тоже. Ты должна относиться к ним, как царица и богиня, то есть прощая, но не приближая к себе. Все мещане злы, ибо самодовольны и высокомерны. Помни об этом. Ты ведь у меня добрее и му-

дрее, а ты теряешь чувство юмора – вместо веселого и трагического взгляда на окружение у тебя вырабатывается издевательски-унылый.

Даже если кто-то говорит правду обо мне – какое его собачье дело. Жалко: собаку обидел! А я их очень люблю, и лошадей, и тебя.

Мой отец – прекрасный наездник и лошадиник – объяснялся маме в любви и говорил: “Ты знаешь, какие у тебя красивые ноги? Ну как, ну как у... лошади”. Он за это схлопотал, но не понял, за что. Ибо это у него было высшим мерилom красоты. И у меня тоже. Наследственность.

Обязательно прочти альманах “Поэзия”, № 15, 1975 г. Там любопытная рецензия на Андрея Вознесенского. Какой-то мальчишка разнес его основательно. В еврейско-либеральных кругах паника. Катаев лезет на стенку. Ведь Андрюша рупор “свободы” (а по совместительству и ЦК, но чернь этого не знает).

Твой вопрос: человек ли я, очень уместен. Я сам нередко его задаю. Вероятно, нет. Я поэт, стареющий, но цельный, полюбивший на закате сумбурную деваху. Я существо решительное, но кроме дурного глаза в жизни боюсь одного – быть или стать смешным.

Я должен быть уверен в твоей (не знаю даже, как это назвать – задумался) жертвенности, что ли, или в умении понимать меня всегда, везде и во всем... И верности (как это ни банально!) до гроба! Представь себе: через десять лет мне 50, а тебе 30. Вдумайся в эти цифры. Сможешь ли, сможешь ли, сможешь ли! Ибо спутница поэта – это подвиг самозабвенный. Довела все-таки такого мужика до крика!

Твой. Целую. Э. П.

Пиши. Пиши. Пиши. Твои письма прекрасны».

«15.12.75

“Учитесь властвовать собою...” “Смирйя себя молитвой и постом...”

Все оттуда же: от Бога!

Ну что ты, милый мой, сходишь там с ума! Бесишься, психуешь, грызешь себя, обижаешься на какую-то чушь и нечисть! Что это за пи-

жонство: стакан водки с твоей бедной головкой! Ты извозчик или Божий человек поэтесса?! Царица или совинститутка? Любимая Цезаря вне подозрений, а ты забыла? Прокляну!

В моих мыслях не уместается: как ты можешь любить меня и выделять такое. Может быть, я внушаю тебе склонность к пороку? Тогда прискорбно... Твоя любовь должна подвигать тебя на творчество – иначе ты просто баба. Прости меня, любимая, за резкость, но выбираю самые тяжелые слова, чтобы вернуть тебя на стезю горную и истинную. Не могу думать о тебе без волнения, понимаю, что разбудил в тебе прекрасную женщину, радуюсь тому до печенок, но печалюсь, что разлуку так выносишь не крепко, а ведь это спутница любви. Со мной, бродягой, придется привыкнуть к этому. Прости мои сентенции, но я живу в мире напряженном и постоянно требующем предела воли и веры. Урываю свободные минуты для Достоевского и Константина Леонтьева, великого византийца и русопета.

Тоскую по тебе, может быть, сильнее тебя, но не дергаюсь, ибо я мужик и мне нельзя. Очень хочу тебя всю, всю, всю... Вот! Письма мои все сжигай, если к кому-то попадут – не переживу и тебя прибуду.

Целую. Люблю. Пиши все время, кстати, чем откровенней, тем лучше, дороже.

Эрнст.

P.S. В слезах перечитал “Братья Карамазовы”, “Подросток”. Выше этого в мировой литературе нет ничего. “Пора приниматься за дело, за старинное дело свое”... Тоже забыла? Эх ты, сибаритка!»

«Ось Гиссара. 17 июля

Радость моя!

Прилетел вертолет и привез твою нерадостную весточку. Все, что с тобой происходит, конечно, горько и трудно невыносимо. Но ты опять впадаешь в крайности, как ребенок.



Ты взрослая женщина и, мне бы хотелось верить, достойная и разумная. Я пережил трагедию развода и знаю только одно: чем сдержанней и корректней ведут себя люди при разрыве, тем впоследствии будет легче им всем троим. Тут очень много зависит, конечно, от мужика, но я думаю, что и матушка твоя не даст все это низвести на базарный измененный уровень, на котором идут многие разводы. Тебе ее нужно поддерживать не истеричностью, свойственной, к сожалению, тебе, а твердостью и гордостью женской, ей, конечно, сейчас хуже всех, ты это должна понимать и забудь о своем эгоцентризме. Помни, что она от отчаянья сейчас теряет голову, о чем потом будет жалеть.

Каким бы ни был твой отец, называть его так, как ты называешь, – ты не имеешь никакого права. Ты его плоть от плоти.

Проклиная его, ты унижаешь себя. Они зрелые люди, и мать и отец. Но не забывай о том, что они мужчина и женщина еще достаточно молодые. Не берись быть судьей в этой неразгаданной стихии – отношениях двух миров духовных, сексуальных и т.д. Это бесконечно сложно, и суждения типа “он – негодяй, она – ангел!” и наоборот свойственны мещанскому и крайне ограниченному способу мысли.

Ты хочешь быть художником, поэтессой, посягаешь на высшее понимание судеб и душ человеческих – и если это так, то не будь же судьей и прокурором. Помоги матери, но не топчи отца. Отец и мать любили друг друга, и ты их детище. Все, что было, – все прекрасно, все это ваше, только не нужно все это в горячке поспешно затапывать в грязь...

Акклиматизация в горах была мучительной. Первые четыре дня какой-то удар, едва оклемался. Потом начал маршрутить, вошел в форму, голова прояснилась, скоро, Бог даст, начну писать. Пока вертолет заходит на посадку, дописываю письмо, сейчас он перебросит нас на Ягноб, а мое письмо увезет к тебе. Высокогорье – спасение и возрождение мое. Дай Бог тебе взрослости и разума. Целую.

Твой Эрик».

«Солнышко мое!

Вторую неделю хандрю, потому что не пишу – не пишется. Не пишется потому, что хандрю. Причина и следствие сошлись в одном лице и терзают друг друга. Тот самый “кафар” – “необъяснимая восточная тоска”. У меня редко бывают такие депрессии – обычно от усталости. Вероятно, сказалось длительное двухмесячное напряжение – студенты, отчет по глубинам Азии, научные и литературные бои. Ночами бессонница. После Достоевского перечитал рыцарский роман 16 века, потом по-французски Бальзака и еще за ночь какой-то бред про киношников в “Иностранной литературе”. Пиши. Твои письма прекрасны, но глуповаты. Ты – лучше их, а я хуже тебя. Люблю.

Твой Э. П.»

«21.1.76 г.

“Нам пора обратно ехать в Русь!”

Через 10 дней еду в Москву. И теперь уже не знаю, когда вернусь в Западный Город. Вот уже месяц гоним карту Памиро-Гиссара (глубины). Это – результат моей десятилетней геотектоники. От этой карты зависит судьба всей моей команды (четыре диссертации) – кроме меня, никто сделать не может основного – продумать! Нарисовать! Материалов – гора. Зрение сдает. Кончаем каждый рабочий день в двенадцать ночи. Прихожу, падаю мордой вниз и отключаюсь. Стихи не пишутся – это меня угнетает.

Черпаю силы в том, что прижимаю тебя к груди своей. И целую как никто, никогда, никого... Но что же ты молчишь? Мне начинает казаться, что пропасть между влюбленной девчонкой и любящей женщиной ты не сможешь преодолеть никогда. Быть одной из твоих влюбленностей я не могу и не хочу. Любящая женщина знает о вольном стрелке все, все понимает и принимает. Решенья у нее свои собственные и судьба тоже. Она пишет письма, звонит и ничего не может забыть. Она одна, она может быть навеки.

Влюбленная девочка готова на все в какое-то мгновение. Она пишет на стене “Я люблю Портнягина” (на наших невымытых стенах эта надпись уцелела до сих пор), терзается еще неделю, а потом, “стиснув зубы”, все забывает и на первое слово якобы возлюбленного недовольным тоном отвечает – вопрошая: “Что случилось!” Она папенькина дочка. (Это прекрасно, когда есть понимающие и помогающие родители. Я с юности был этого лишен. Все решал и делал сам.) Ведь все, что было и есть у нас, – это только и только наше. Ну зачем мне говорить о наших отношениях с твоим умным батей? Ведь ты, зная мой характер, могла бы сообразить, что такой разговор может погубить все. Я начинаю думать, что ты просто этого хочешь...

Мое мнение о твоих последних стихах не изменилось: лучше, чем все, что до этого. Постарайся вытянуть всю книжку на такой уровень. Беспощадность в нашем деле нужнее, нежели сопливое “все хорошо”. От первой книги в твоей судьбе зависит очень многое.

Все. Целую.

Твой Эрик».

«Львов. 14 октября

Радость моя!

После твоего звонка я, как и во всех разговорах с тобой, тебя не слышал, не слышал ни сердца твоего биения, ни биения души. Ты словно немеешь и каменеешь, хихикаешь или молчишь.

Я очень суров с тобой при встречах – что поделаешь! Во-первых, это мой бродяжий характер, а во-вторых, я хочу, чтобы ты точно знала, с кем имеешь дело: мужик довольно угрюмый. Не хочу создавать иллюзий – только в открытую, только правду. Даже беспощадную.

А правда в том, что мне 40, а тебе двадцать, чтобы у нас что-то могло выйти. Твоя влюбленность – а это именно она, не спорь! – должна стать любовью единственной, верной, страстной и жертвенной. А в твоей зыбкой и неустоявшейся душе все еще может измениться, причем за короткий срок.

Человек я очень гордый, никакого кокетства твоего провинциального не принимаю и не понимаю. Пойми, что я не тот, кого можно этим увлечь: слишком искушен. Признаний наслушался от баб, в том числе и от твоих ровесниц. Только чистота и высокая любовь (я не боюсь этих слов) меня еще могут задеть за живое.

К тебе я отношусь очень нежно. То, что происходит у нас с тобой, прекрасно и неповторимо. Не могу вспоминать о тебе без волнения. Мне иногда кажется, что все это было возможно лишь в “золотом” веке. Боже, как редко я в своей жизни пишу письма и как это трудно! Теперь самое главное.

“Служенье муз не терпит суеты”. Ты много суетишься. Стихи твои пока очень слабы по форме. Они разваливаются на слова и строки. Для поэтессы ты безобразно мало читаешь. Если ты думаешь, что у тебя впереди много времени, ты глубоко заблуждаешься. Все нужно делать сейчас! Разболтанность и лень могут быть допустимы лишь после очень напряженной работы. Иначе ничего не выйдет. И тогда моя вера в тебя напрасна! Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, Заболоцкого, Ахматову нужно читать не один раз, а всю жизнь. Так же как и русскую прозу.

Перешли мне готовую рукопись. По возможности отредактирую. Обнимаю.

Эрнст».

\* \* \*

Ровно через пять лет после его гибели, чтобы избавиться наконец-то от постоянно сочащейся печали о нем, чтобы заживить ее и сделать просто далеким воспоминанием о далеком, почти сказочном молодом времени, я, возродив прошлые геологические знакомства, приехал на берег Хомарово, где когда-то стояли наши палатки. Место нашего тогдашнего лагеря я, конечно, не нашел, потому что несколько мощных весенних паводков с Каратегинских хребтов нанесли в долину столько обкатанной гальки, да

и сама река столько раз поменяла свое подвижное русло и столько новых ивовых рощ на ее берегах! Словом, столько воды утекло...

Я приехал проститься с тобой –  
Страшно вымолвить слово – навеки,  
Потому что нельзя, чтобы боль  
Слишком долго жила в человеке.

Я люблю эту теплую дрожь,  
Что в пространстве под вечер струится,  
Но ты видишь, серебряный ковш  
Над хребтами бесшумно кренится!

Видишь сам – побелели хребты,  
Предвещая ненастье и стужу,  
Я не знаю, что чувствуешь ты,  
Но прошу: отпусти мою душу,

Чтобы воспоминанья не жгли,  
А бесшумно и медленно плыли,  
Поднимаясь от влажной земли  
К звездной стуже, к искрящейся пыли.

Вечером одиннадцатого сентября, в пятилетнюю годовщину его смерти, я оставался один в нашем лагере – к восьми часам вечера еще никто не вернулся из маршрутов. Я достал бутылку водки, зажег в палатке свечу, разлил бутылку на две кружки, выпил залпом свою долю и заснул до утра крепким сном без сновидений. Утром проснулся с легкостью в душе и в теле, собрал снасти и решил уйти по реке как можно дальше, потому что к середине сентября форель уже уходит к подножию хребтов на нерест.

...Возвращался я уже затемно – не рассчитал время – с целым мешком рыбы, холодящим спину. Тропа была вроде бы широкая, но луна

еще не выкатилась из-за горы, и потому идти приходилось почти наугад, осторожно ощупывая ногами каждый камень: в темноте да на узких прижимах ведь все может случиться. Однако я был как никогда уверен в себе, да и какая-то ночная птица постоянно летела впереди меня, присаживаясь на тропу, со свистом поднимаясь в воздух, когда я подходил близко к ней, словно бы указывая мне дорогу в крошечной горной тьме. Когда я проходил мимо спящей чабанской отары, почуяв ноздрями овечьий запах и услышав шумное дыхание овец, я тут же с тоской подумал: «Ну держись, сейчас собаки порвут тебе шкуру!» И они действительно вырвались с отвратительным лаем откуда-то из тьмы, покружились в нескольких метрах рядом со мной, но, вопреки своим привычкам, не решились пустить в дело зубы и, глухо ворча, вскоре побежали обратно к овцам. Окончательно измотанный от ночной ходьбы, я увидел наконец-то вдаль огонек и подумал, что это наш лагерь. Но вышел к кишлаку, который был километра за два в стороне, повернул обратно и кое-как по контурам речного берега, чуть-чуть засветившимся от восходящей луны, угадал, где стоят наши палатки. «Спят, обормоты, – подумал я. – Хотя бы кто догадался “летучую мышь” на столе оставить для ориентира. Ведь знают, что не все еще вернулись. А Эрнст, бывало, не дождав-шись меня, выходил в сумерках на тропу, и я издали видел нервно плавающий во тьме огонек его сигареты...»

Ночью я проснулся – может быть, оттого, что почувствовал на своих веках свет от костра, пробившийся сквозь желтую ткань палатки. Я вылез из спальника. Вокруг костра сидело несколько человек, которым тоже не спалось. Геолог Пашка Хоботов, громадный, как медведь, вологодский мужик, заросший гривой сивых волос, грея у костра руки, медленно читал вслух:

Стояла зима. Дул ветер из степи,  
И холодно было Младенцу в вертепе  
На склоне холма...

Пламя высвечивало из тьмы его большую голову, лицо девушки-практикантки, уронившей подбородок на колена, черную фигуру таджика-конюха, очертанья близко подступивших к лагерю горных берез, за которыми находился древний мазар, обнесенный изгородью с шестом посередине, увенчанным витыми рогами архара. А Пашка Хоботов, протянув руки к пламени, словно бы обращаясь к нему, читал, погрузившись во тьму, в свет, в самого себя:

Его согревало дыхание вола...

1978–1982

## «ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, САТАНА!»

*Мое сопротивление «перестройке». 19 августа 1991 года. Захват Евтушенко и К<sup>о</sup> кабинетов Большого Союза. Маразм победителей. Женщины Великой Криминальной. Схватка на Комсомольском проспекте. Нашла коса на камень. Зализываю раны на берегах Мегры. Облава. Русскоязычные наследники культуры, «цестные еврейчики и прочая шволочь» (А. Чехов). Мы с Прохановым в краю Серафима Саровского*

Надо сказать, что мы, поколение русских литераторов, вошедших в писательскую среду в начале шестидесятых, серьезнее и точнее ощущали все опасности, надвигающиеся уже в то время на нашу жизнь, нежели поколение наших отцов и старших братьев.

Все они, по-своему незаурядные и популярные, а иные и талантливые писатели, Герои Соцтруда, лауреаты, формально обладавшие большой властью, на деле были людьми осторожными, расчетливыми,

чересчур бережливыми по отношению к себе и своему литературному имени, чересчур зависимыми и от воли каждого идеологического чиновника той эпохи, и от привычек ко «льготам и привилегиям», которыми они пользовались за верную службу...

Во многих делах они шли на сомнительные компромиссы с властью, трепетно оберегая свои репутации, собрания сочинений и гонорары, иногда поступаясь в судьбоносные минуты и национальными интересами, и честью, и правдой...

Помню, как они «сдали» идеологам из ЦК Юрия Селезнева. Один Проскурин разве что на секретариате пытался защитить его...

В отличие от многих своих литературных соратников я, сделавший ставку в своей судьбе на независимость, старался никогда ничего ни у кого не просить. Я понимал, что писатель, если он хочет обладать свободой выбора, не должен «продавать душу» ни государству, ни литературным чиновникам. А потому, когда мне понадобилась квартира, я заработал денег и купил кооперативное жилье, появилась нужда в даче – поездил по Подмоскovie, нашел и приобрел деревенскую избу.

Но зато я всегда имел право с безгливой усмешкой глядеть на Межирова, Шкляревского, Преловского, часами сидящих перед кабинетами Маркова, Михалкова, Селихова, дабы получить квартирку либо дачку в Переделкино, урвать лишнее изданиице либо престижную командировочку в «капстрану».

А мне было интересней съездить туда, куда никто не жаждал ехать: в Афганистан, либо на Кубу, либо на съезд палестинских писателей... Даже своим любимым поэтам я не позволял вторгаться в сферу моей независимости. Помню, как послал куда подальше Ярослава Смелякова, который с хамской бесцеремонностью попытался учить меня умному. А со Слуцким у нас вышла настоящая ссора, когда он за мою жесткую статью о творчестве Окуджавы начал было воспитывать меня, что я, мол, «борюсь не с теми, с кем следует».

Помню, как я буквально заставил секретариат Союза писателей России в 1990 году выслушать прочитанную вслух мою статью «Об-



служивающий персонал» об Александре Яковлеве, только что введенном Горбачевым в Политбюро. По тем временам статья была предельно резкой и стала откровением для наших литературных генералов. Под одобрительный их ропот по моей подсказке было принято решение опубликовать ее в «Литературной России», что было бы чувствительным ударом для «архитектора перестройки». Статью набрали, и я со дня на день ожидал ее выхода в свет.

Но, увы, время шло, а статья в газете не появлялась. Эрнст Сафонов – честный, но послушный человек – при встрече со мной отводил глаза и лишь спустя года полтора признался, что ему позвонил Юрий Бондарев и отсоветовал печатать... И это Бондарев – самый смелый из писателей военного поколения, произнесший незадолго до этого знаменитые фразы об «украденном фонаре гласности» и о самолете, поднимавшемся во время перестройки с аэродрома без обозначения маршрута и места посадки. Видимо, он еще надеялся на какие-то разумные соглашения с властью, на чем я уже поставил крест.

Произносить на съездах и пленумах эффектные фразы в то время было легче, нежели организовать сопротивление высокопоставленным ренегатам.

Ореол популярности, тепличный климат государственного внимания и лести в условиях перестроечного дискомфорта часто «выбивал из седла» наших русских советских классиков. Я помню, каким ударом для Бондарева было то, что его, постоянного депутата многих созывов Верховного Совета СССР, вдруг в 1990-м не выбрали в высший орган власти... Да где?! На Сталинградской земле, его, автора бессмертных повестей «Горячий снег» и «Батальоны просят огня»... Его, знаменитого фронтовика, променяли на какого-то мальчишку-демагога, молокососа, комсомольского работника! Как тогда торжествовал «Огонек», смакуя поражение русского писателя. Конечно, никто сейчас и не помнит фамилию бондаревского конкурента, и никто знать не знает, куда он делся, но и Бондарев тогда сам был виноват в происшедшем. Он, понадеявшись на свое имя, в той избирательной

кампании не вышел в народ, не убедил людей в своей правоте, не понял, что эпоха бесстыдной демагогии требует полного напряжения сил, чтобы не проиграть евтушенкам и коротичам, ставшим нардепами и властителями дум последнего съезда Советов... Их агрессивная наглость, помноженная на энергию нового поколения политиков типа Бурбулиса, Гайдара, Шахрая, Собчака (ну не имена, а клички собачьи!), тогда восторжествовала над здоровым консерватизмом, привычкой к дисциплине, растерянностью и политической робостью многих казавшихся сильными и влиятельными русских людей. К тому же крыша у нашего избирателя-обывателя к 1991 году от ежедневного мощного промывания мозгов поехала окончательно. Я понял это в один из своих приездов в Калугу в тот страшный год...

Мой старый калужский товарищ задрал небритый седой подбородок так, что напряглась морщинистая, исхудавшая шея, и в несколько глотков засосал полстакана домашнего дурного самогона, осторожно поставил стакан на липкую клеенку и, выдержав долгую паузу, ни с того ни с сего произнес, как бы продолжая с кем-то невидимый давний спор:

– Нет, что ни говори, а Сталин – тиран!

Я смотрел на него – худого, старого, одетого в какую-то рванину. Один ботинок лопнул, и сквозь трещину торчат грязные скособоченные пальцы – носков почему-то нету. Смотрел и думал о том, что всего лишь несколько лет тому назад он был весьма преуспевающим инженером на своем заводе, но началась смута, он заразился ее вирусом, бросился в политические споры, демократические тусовки и даже не понял, как случилось, что его завод начал медленно разваливаться, – и в один прекрасный день мой правдоискатель очутился за воротами проходной... Вот тогда-то я впервые с ним, уже безработным, попытался поговорить о тайных целях перестройки. Он молча и недоверчиво слушал, а когда я закончил, то ни с того ни с сего выпалил:

– Нет, что ни говори, а Сталин – тиран!

Его жена, властная, практичная женщина, отправила его, почти старика, на заработки в Карелию – строить дороги. Целый год он мучился там в общаге бок о бок с бомжами и вчерашними зеками, не выдержал, сбежал и сейчас сидел на дачном хозяйстве, в щелястом деревянном домике, окучивал картошку, кормил кур, гнал самогонку... И когда я говорил ему: посмотри на себя в зеркало – как ты, вчерашний инженер, опустился, перестал бриться, в чем ты ходишь, тебе даже не с кем здесь поговорить, живешь, как батрак на выселках, о такой ли жизни ты мечтал на старости лет, – когда я говорил ему это, он недоверчиво слушал, его «компьютер» медленно обобщал все сказанное мною, – и вдруг выдавал нечто такое, что заталкивалось во все клеточки его существа в последние годы:

– Нет, что бы ты ни говорил, а Сталин – тиран!

И довольный, он ухмылялся, словно бы в очередной раз победил меня в тяжелейшем споре.

Когда таких несчастных роботов в нашем государстве стало большинство, демократическая власть пошла ва-банк.

### **Из дневника тех времен**

Удручает непроходимая пошлость нынешней политической и идеологической жизни. На экране Шеварднадзе. Мямлит на ломаном русском языке нечто общечеловеческое; что, мол, готов способствовать демократическим реформам где угодно, куда бы ни пригласили: в Тбилиси, в ООН, в любой американский университет, в фонд имени Горбачева, произносит слова «цивилизованный мир», «рыночные отношения», а я вспоминаю запись из дневника Александра Блока, который в голодном Петрограде 1918 года приходит в свою вымерзшую квартиру, слышит за стеной громкий голос какого-то благополучного дельца, проникающий с нечеловеческой энергией пошлости сквозь стену, и несчастный, уже предчувствующий свою гибель великий поэт шепчет в мировое про-

странство: «Отойди от меня, Сатана! отойди от меня, буржуа. Только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана».

Выхожу на улицу. Голодные орды великих стариков и старух, победителей фашизма, уныло толпятся у магазина, в Карабахе только что рухнул на землю и сгорел вертолет с детьми и женщинами, у моего знакомого взломали дверь в квартиру и унесли все, что попало под руку, но Александр Яковлев, только что вслед за Шеварднадзе возникший на экране, опять вальяжно размышлял про общечеловеческие ценности. А вслед за ним даже астрологи – вроде бы по звездам читающие судьбу Земли – толкуют о том, что завтрашний день будет благоприятным для коммерческих сделок лишь до обеда... «Звездное небо работает на “Менатеп” и “Экскарамбус”!» Отойди от меня, Сатана!

Неужели народу непонятно, что «демократические свободы» для населения неизбежно связаны с резней в Карабахе, с обугленными телами в Фергане, с растерзанными русскими юношами в Андижане. «Порвалась цепь великая»... На одном конце цепи освободившаяся мафия и продавшаяся ей так называемая творческая интеллигенция, пьющая из хрустальных фужеров на сходках предпринимателей шампанское, а на другом – обугленные тела с перерезанными глотками, без принесения в жертву которых не было бы возможности вещать по российскому телевидению дурными голосами: «Рэмбо! Вас раздевают, но мы вас оденем!»

\* \* \*

...19 августа в Калуге меня разбудил телефонный звонок моего друга Алексея Золотина.

– Станислав! В Москве переворот... Горбачев отстранен от власти... Говорят, по болезни...

Я умылся, прыгнул в машину и помчался в Москву. После Малоярославца вклинился в танковую колонну (лишь бы случайно не раз-

давили!). Я махал рукой из машины танкистам, по пояс торчавшим из люков, они улыбались, жестикулировали и тоже что-то кричали мне. На душе было и радостно (неужели кончается горбачевское гнилое время?!) и тревожно... Зачем такая громада стальных чудовищ?

Знают ли они, зачем движутся в Москву? Все чаще и чаще на шоссе встречались заглохшие танки и бэтээры, съехавшие в кюветы, выполняющие на шоссе с помощью других машин. На душе от этой неразберихи по мере приближения к столице становилось все надсаднее.

20 августа 1991 года собрался секретариат Союза писателей СССР. Он стал последним секретариатом, поскольку на него явился человек из окружения Янаева – поэт Сергей Бобков и потребовал, чтобы писательская верхушка поддержала ГКЧП...

Сергей Бобков был сыном Филиппа Денисовича Бобкова, одного из самых влиятельных чиновников КГБ, со времен Андропова ведавшего отделом по «работе с интеллигенцией», первого заместителя министра КГБ.

Стыдно было смотреть, как этого бездарного стихотворца-авангардиста, носившего на себе все признаки физического вырождения – узкогрудого и мутноглазого, соперничая друг с другом, обхаживали вожди и лидеры двух номенклатурных кланов – русского и еврейского.

С одной стороны в поисках пути к сердцу Бобкова-старшего под его сынка подбивал клинья крупный функционер московского литературного еврейства – драматург Михаил Шатров. Он даже свой революционный этюд «Синие кони на красной траве» написал в соавторстве с Бобковым-младшим.

Однако наши русские умельцы тоже не дремали: в середине восьмидесятых годов Сережа Бобков вдруг стал человеком, близким Анатолию Иванову и Владимиру Фирсову, книги его одна за другой начали выходить в главном комсомольском издательстве, фамилия сразу появилась в списке редакционных коллегий «Молодой гвардии» и русско-болгарского журнала «Дружба». И вообще о нем начали заговаривать как о крупном явлении русской поэзии то Игорь Шкляревский,

то Олег Шестинский, то Егор Исаев... Об этих страницах нашей литературной жизни можно вспоминать лишь со стыдом, особенно отдавая себе отчет в том, что Филипп Бобков ныне один из главных советников Гусинского в Мост-банке, а имя его сына-литератора, «как струйка дыма», навсегда растаяло в постперестроечном воздухе.

Тем не менее 20 августа умудренные жизнью секретари Большого Союза – Сергей Михалков, Феликс Кузнецов, Николай Горбачев, Юрий Грибов не клюнули на провокацию Бобкова-младшего. Опытные функционеры, как им показалось, нашли выход из щекотливого положения. Они заявили эмиссару Янаева, что ситуация с ГКЧП еще не ясна и надо какое-то время подождать, присмотреться к событиям – словом, не торопиться...

Однако дело было сделано. «Малая провокация», заключавшаяся в том, что троянский жеребенок проник в кабинет Маркова и вел какие-никакие, но все-таки переговоры с писательским ареопагом, была зафиксирована апрелевцами, жаждущими власти.

23 августа они (Евтушенко, Черниченко, Бакланов, Евг. Сидоров, Адамович, Карякин, Оскоцкий, Ананьев и другие, ну и, конечно же, соавтор Сергея Бобкова Михаил Шатров!) съехались на ул. Воровского и постановили:

«Рабочий секретариат СП СССР в течение длительного времени поддерживал антидемократические тенденции в Союзе писателей и в дни переворота 20 августа вел недопустимые переговоры на своем заседании с С. Бобковым – представителем главы заговора Янаева – и не выразил в этот решающий момент своего осуждения действий хунты». (Формулировки по своему фарисейству и демагогии достойны того, чтобы остаться в истории!)

Далее литературные ренегаты, захватившие коридоры власти, естественно, приняли решение «отстранить от работы секретарей Союза писателей С. Колова и Н. Горбачева за недостойное поведение во время путча», а «секретарям правления СП СССР Ю. Грибову,

Ф. Кузнецову, Ю. Верченко предложить подать в отставку за их двусмысленное (! – С. К.) поведение».

Второй пункт постановления был также замечателен по накалу чекистской злобы и литературной зависти, которыми дышала каждая буква эпохального документа: «Расценить публикацию “Слова к народу”, подписанного Ю. Бондаревым, В. Распутиным, А. Прохановым, как идейное обеспечение антигосударственного заговора и потребовать подать в отставку с постов секретарей правления СП СССР и СП РСФСР».

Третий пункт был доносом и одновременно малограмотным заверением в своей лакейской преданности новому нарождающемуся режиму:

«Расценить идейную направленность газеты “День”, “Литературная Россия” и журналов “Наш современник” и “Молодая гвардия” как проповедь национальной розни, как призыв к антидемократическим действиям...»

Тут же временщики «в связи с чрезвычайными обстоятельствами» ввели в секретариат А. Рыбакова, Ю. Карякина, А. Нуйкина, А. Приставкина, ну и, конечно же, Виктора Астафьева, с радостью принявшего почетное предложение. Наконец-то осуществилась мечта его жизни и он стал литературным генералом!

С садизмом победителей они зафиксировали слабодушие и жалкую жажду самосохранения у некоторых членов прежнего секретариата, дезертировавших или сдавшихся на их милость:

«Удовлетворить просьбу Ю. Грибова об освобождении его от обязанностей секретаря правления СП СССР», «принять к сведению заявления секретарей СП СССР гг. Суровцева Ю. П. и Скворцова К. В. в том, что они не присутствовали на заседании рабочего секретариата СП СССР 20 августа 1991 г. и факт переговоров с представителем Янаева С. Бобковым осуждают», «осудить бегство от столь ответственного секретариата С. Колова, Н. Горбачева и считать их выбывшими из секретариата»...

Снисходительно отнеслись лишь к одному Михалкову. Дело в том, что в это время шла подготовка к 9-му съезду писателей, но для захвата власти и имущества надо было сломать жизнь Союза и его структуру, похоронить съезд, чему и помог «дядя Степа»: «поддержавший эту идею С. Михалков добровольно сложил с себя обязанности председателя Оргкомитета по подготовке 9-го съезда», – с удовлетворением отметила услужливость Михалкова евтушенковская хунта...

Дни могучей организации, созданной по воле Иосифа Сталина и Максима Горького, были сочтены.

### **Из дневника тех времен**

«Эмигрируют лучшие умы, уезжает техническая, культурная, научная элита, утекают мозги!..» Эти панические комментарии то и дело вспыхивают на страницах самых разных газет. Чаще всего «элита, мозги, ум, честь и совесть» населения идентифицируются с еврейской эмиграцией, журналистские перья посылают проклятья обществу, выталкивающему своих «наиболее талантливых и образованных сыновей», которые вместо того, чтобы внести решающий вклад в возрождение Отечества, едут черт-те знает куда продавать свои знания и свой гений за доллары, марки, фунты стерлингов.

Одновременно эти же органы печати и эти же журналистские перья клеймят наше государство, нашу систему и русский народ – которые вечно притесняли евреев, не давали им развиваться, ограничивали их возможности и таланты.

Однако если журналистские перья правы в обоих случаях – и насчет «утечки мозгов», и насчет всякого рода «притеснений и ограничений», то дело заходит в тупик. Как же при традиционном русском государственном, имперском, а потом сталинском, а потом бюрократически брежневском государственном антисемитизме, при якобы жесточайших ограничениях по приему в вузы, при бдительных кадровиках, «бывших кэгэбэшниках», не спускавших глаз с преслову-



того пятого пункта, – как при всем этом сформировался мощнейший слой технической, научной, культурной и управленческой элиты, целый океан мозгов, настолько громадный и масштабный, что их нынешняя утечка становится чуть ли не катастрофой во всех областях знания? Дорогие мои коллеги из «Огонька», «Московских новостей», «Литературной газеты», объясните мне, как случилось, что если еврейская интеллигенция эмигрирует, то страна, как вы утверждаете, останется без специалистов чуть ли не во всех областях современного цивилизованного производства? Я-то, наивный человек, читая ваши размышления о том, что бедному еврейскому мальчику из интеллигентной семьи было в сталинские или брежневские времена получить высшее образование столь же трудно, как верблюду пролезть в игольное ушко, а потом столь же трудно устроиться на работу, одно время поверил в то, что они были забиты и подвержены такой же дискриминации, как индейцы в XIX веке в США, или как пуэрториканцы сегодня, или как темнокожие в ЮАР, или, в лучшем случае, как осетины в независимой Грузии... Ан вдруг вы же сами мне объяснили, что ваши угнетенные – это океан мозгов! Так ответьте мне прямо: «мозги» уезжают или несчастные, вымирающие от бедности люди второго сорта, не получившие ни знаний, ни дипломов, ни научных званий, забитые, оттесненные могущественными антисемитскими силами на задворки жизни? Достал я недавно коллективную фотографию нашего первого курса филологического факультета Московского университета. 1951 год. Как раз в период между двумя сильными «кампаниями против евреев» – борьбой с космополитизмом (1949 год) и «делом врачей» (1953 год). Ну, думаю, может, «Огонек» действительно прав, уж в такое-то зверское время государственный антисемитизм достиг, видимо, высшей точки, и, наверное, прием евреев в университет был сведен до нуля. Гляжу на фотографию: молодые красивые лица в овальных рамочках, под каждым изображением – фамилия. Читаю: Владимир Блаунштейн, Сергей Будковский, Леонид Кацев, Арон Подольский, Фаня Малкина, Даль Орлов... Так и насчитал из двухсот двадцати

первокурсников – около сорока еврейских юношей и девушек... Двадцать процентов! 1951 год.

Вот вам и государственный антисемитизм в разгар сталинизма.

\* \* \*

По приезде в Москву из Калуги в ночь с 19-го на 20 августа меня разбудил телефонный звонок.

– Станислав Юрьевич! Вам звонит корреспондент «Независимой газеты» Юлия Горячева. Извините за позднее время, но нам хотелось бы знать, как вы относитесь к тому, что указом ГКЧП закрывается ряд газет и тем самым ограничивается свобода слова, насколько вы находите действия ГКЧП конституционными? – Чертыхнувшись про себя, я взглянул на часы: была половина третьего ночи. Конечно, если бы меня разбудил мужской голос, я бы послал интервьюера куда подальше, но голос был женский, молодой, привлекательный...

– Знаете, Юля, я хочу видеть свою Родину единой, неделимой и независимой, я хочу, чтобы наша жизнь была надежной и прочной, как в прежние времена. Горбачевская смута разрушила устойчивость жизни. Ее надо вернуть или, по крайней мере, остановить сползание к окончательной разрухе. Счастье Родины – говоря высоким слогом – для меня дороже, чем свобода печати или даже свобода творчества. Если ради борьбы с горбачевщиной моя свобода будет в чем-то ограничена – я приму это как должное. А что касается «конституционности», то действия ГКЧП не менее конституционны или антиконституционны, нежели указ Ельцина о департизации. Он так же ущемляет мою свободу...

С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции «Свобода», и я ответил им приблизительно теми же словами...

В течение нескольких последующих дней после «подавления путча» яростные шавки демократической прессы, сладострастно урча, обгладывали мои откровения, демонстративно злорадствова-

ли: «наконец-то, мол, проговорился», «пойман за руку», «вот они, его подлинные тоталитарные взгляды»...

Но через три месяца, за несколько дней до Беловежской катастрофы, в самый разгар охоты на ведьм в большом интервью, данном той же «Независимой газете» и той же Юле Горячевой, я еще раз, стиснув зубы, подтвердил, что убеждений своих, несмотря ни на что, – не меняю: «...Если бы мне предложили подписать “Слово к народу”, считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его... Не думаю, чтобы Валентин Распутин был глупее мальчиков, шедших защищать Белый дом». «Это была попытка спасти Союз от хаоса, анархии, развала. А если смотреть глубже – то произошло столкновение двух сил в высшем эшелоне власти – национал-государственников с космополитической, компрадорской кастой».

И еще один отрывок из того же интервью: «Слова об “идеологическом обеспечении” путча провокационны и демагогичны. С тем же успехом Сахаров, который выступал за отделение Карабаха, “идеологически обеспечивал” карабахскую резню. Собчак, который заключением своей комиссии способствовал приходу Гамсахурдиа к власти, “идеологически обеспечивал” сегодняшнюю тиранию в Грузии, Шеварднадзе, который выработал унижительные условия исхода наших войск из ГДР, “идеологически обеспечил” недовольство армии против нынешней государственной власти».

Так думал не один я. Мой друг Александр Проханов в те же дни высказался в интервью «Комсомолке» не менее прямо и резко: «Если выбирать между свободой и государственной идеей – то все мы отречемся от личной свободы. Пропади она пропадом, эта свобода: либо невыход иных газет – либо спасенное государство!»

В моем архиве сохранились краткие информации ТАСС тех дней. Некоторые из них весьма любопытны.

«22 августа. Заявление Высшего совета Либерально-демократической партии от 19 августа 1991 года, в котором было за-

явлено о полной поддержке Высшим Советом перехода всех полномочий власти в руки ГКЧП, рассмотрено Министерством юстиции СССР. В этой связи председатель ЛДП Владимир Жириновский был приглашен в Минюст. Министр юстиции СССР Сергей Луциков вынес Высшему совету ЛДП предупреждение».

Забавно, что когда Жириновский днем 19 августа рискнул появиться у Белого дома, то, увидев его, с утра поддерживавшего ГКЧП, возбужденная толпа с криками «фашист!» обратила будущего непримиримого борца с коммунистами и советской властью в позорное бегство. Но ЛДПР не закрыли, справедливо рассчитав, что Жириновский теперь «на крючке» и еще пригодится режиму в будущем. Попытались закрыть компартию, которая, ошеломленная предательством Горбачева, ничем по существу не поддержала ГКЧП. Самое большое ее преступление в эти дни состояло в том, что, по словам Гавриила Попова, в ходе путча (цитирую тассовцев): «аппарат московской организации компартии занимался антиконституционной деятельностью, отказавшись осудить заговорщиков». (Ситуация, как мы видим, в горькоме была такой же, как и в Союзе писателей.)

Мэр призвал создать комиссию, «которая должна решить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности, привлечении к уголовной ответственности, а возможно, и немедленном аресте виновных, так как сейчас ими уничтожаются компрометирующие их документы».

Тассовка по Ленинграду сообщила, что на своей пресс-конференции 22 августа мэр города Собчак подчеркнул, что «в нынешней ситуации необходимо ускорение процессов приватизации и разгосударствления собственности». Собчак, надо сказать, уже глядел орлиным алчным взором далеко вперед, и его соратник, тогда еще никому не известный Чубайс, уже, видимо, разрабатывал экономический план «великой криминальной революции».

На второй день после возвращения из Калуги я решил все-таки сходить к Белому дому, чтобы поглядеть своими глазами на вакханалию победившей демократии. Оставив дураков, демагогов и пре-

краснодушных демократов митинговать на площади Свободы, ее подлинные творцы расхватывали кабинеты, министерские портфели, ордена, звания, должности.

Гавриил Попов даже предложил дать Ельцину звание Героя Советского Союза. Сам Ельцин, как пишет в воспоминаниях Коржаков, войдя в Кремль со своим помощником Львом Сухановым, в ответ на восторженное восклицание Суханова «смотрите, Борис Николаевич! Какой мы кабинет отхватили!» – деловито уточнил:

– Да не только кабинет – смотри, какую мы отхватили страну.

За несколько дней демократическая номенклатура отхватила все, к чему стремилась годами, а может быть, и десятилетиями.

Маршалу Ахромееву невыносимо было глядеть на этот шабаш. Он не был замешан в заговоре против Горбачева, имя его нигде не фигурировало, но честный служака понял, что случилось, и написал, перед тем как наложить на себя руки: «Рушится все, чему я отдал всю свою жизнь...»

На сороковой день после его смерти, когда родные и друзья пришли на Троекуровское кладбище, то увидели посреди разрытой и оскверненной могилы тело маршала, выброшенное из гроба. Маршальский мундир, в котором его похоронили, был украден.

Вот так начиналась историческая жизнь нового режима – мародерством и расправой руками наемных киллеров с мертвым Героем Советского Союза, солдатом Великой Отечественной...

На площади Свободы, видимо, только что наступила передышка в стихии непрерывного митинга, на котором, как мне рассказали, выступали среди прочих и Елена Боннэр, и Геннадий Хазанов. Возбужденная их речами толпа шумела, выпивала, брэнчала на гитарах, пела демократический гимн на слова Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья», слушала рок-музыку. Под ногами то и дело хрустели жестяные банки из-под пива, несколько молодых жизнерадостных мародеров в обнимку раскачивались и весело кощунствовали:

– Забил заряд я в тушку Пуго! – Видимо, только что узнали о самоубийстве (или убийстве?) министра МВД Советского Союза Б. К. Пуго,

человека присяги и долга... Несчастный Борис Карлович, бедный Михаил Юрьевич! Я аж сплюнул на асфальт площади Свободы от брезгливости и отвращения.

Какой-то ряженный солдат в бронежилете, надетом на голое тело, вздымая к небу руки, орал:

– Я горжусь тем, что я, простой солдат, стоял здесь, на этой площади, рядом с президентом России, где выступали такие великие люди, как Боннэр, Ельцин и Хазанов!

...С Еленой Боннэр я был знаком чуть ли не с середины 60-х годов. В то время я увлекался игрой в «пирамиду» и часто пропадал в нашей клубной бильярдной. Заглядывал туда и поэт Семен Сорин, которого, как правило, сопровождала немолодая, черноволосая, похожая на ворону женщина. Пока Семен, изгибаясь над зеленым сукном своим длинным телом, спасал или проигрывал очередную партию, его подруга, сидя в прокуренной бильярдной, терпеливо ждала окончания игры. Иногда мы с ней выходили в соседний зал скоротать время за чашкой кофе и в болтовне о всяческих пустяках.

Ленка Боннэр... Все, в том числе и я, запанибратски называли ее именно так. В конце концов то ли она сообразила, что выпивоха и бильярдист Сеня не подходит для желанной роли мужа, то ли вообще разочаровалась в поэтах (до войны она была женой сына Эдуарда Багрицкого Всеволода), но через какое-то время исчезла. Я забыл бы о ней навсегда, если бы лет через десять мне не попала в руки книга антисоветчика и советолога Ричарда Пайпса с демонстративным названием – «Русские». В книге было множество фотографий всяческих диссидентов в различных позах и компаниях (русских, кстати, среди них почти что не было) – и вдруг я набрел на фотографию, где был изображен академик Сахаров в кругу семьи и друзей. О Сахарове в те годы я уже что-то слышал по «голосам», но, взглядевшись в лицо жены, стоявшей рядом с ним, ахнул: «Да это же Ленка Боннэр! Так, значит, она, исчезнув из бильярдной, рассталась с литературной средой ради среды научной!»

Эх, Семен, Семен, вел бы ты себя в те бильярдные годы более разумно и ответственно, – глядишь, и у Сахарова судьба сложилась бы иначе, а может быть, и держава не развалилась бы...

### **Из дневника тех времен**

Не думал я, что на свете есть силы, которые могут проиграть меня, как крепостного в карты. А именно так и проиграли. Старая государственно-коммунистическая бюрократия проиграла меня новой бюрократии – космополитически международной. Горбачев, Яковлев, Буш и Тэтчер оказались более ловкими игроками, нежели Язов и Крючков. А я попал из огня да в полымя.

Настоящий заговор и настоящий военный переворот были совершены в Тбилиси. Именно на дымном кровавом фоне горящего Дома Правительства, на фоне круглосуточного его расстрела в упор из танков и орудий, на фоне десятков погибших и сотен раненых стала очевидна фарсовая изнанка августовского путча со всеми его главными действующими лицами. Бедный Гамсахурдиа, я бы посочувствовал тебе, если бы не воспоминание о том, что в апреле 1990 года ты фактически выиграл борьбу за власть только потому, что комиссия Собчака и средства массовой информации сфабриковали подлую ложь о шестнадцати мирных гражданах Грузии, «искромсанных саперными лопатками»... А ведь их раздавила обезумевшая и не владеющая собой толпа... Ты ведь это знал, Звиад Гамсахурдиа, но такая ложь была выгодна и, более того, необходима тебе... Армия и Россия были оклеветаны с головы до ног. Но, видимо, все-таки есть Божий Суд. Режим, утвердившийся на великой лжи, оказался непрочным, а потому ты заслужил такой юридически сомнительный, но по существу справедливый конец своей карьеры. Более удачливый и более расчетливый соперник смахнул тебя с исторической сцены и даже спасибо тебе не сказал за то, что ты проложил ему дорогу к власти.

\* \* \*

Зимой 1991 года, собираясь засесть за работу над книгой о Есенине, я написал несколько писем в КГБ. Суть их состояла в том, что мне необходимо ознакомиться с несколькими десятками уголовных дел, заведенных в свое время на родных, друзей, поэтических соратников, литературных и политических врагов поэта, репрессированных, расстрелянных и отсидевших свои сроки в 20–30-е годы. Дело Алексея Ганина, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Якова Блюмкина, сына поэта Юрия, сестры Екатерины, жены Зинаиды Райх... Знал я также, что и на самого Сергея Есенина в те годы были заведены дела, которых в глаза не видел ни один исследователь творчества поэта.

Несколько месяцев я терпеливо ждал ответа на свои запросы, но, потеряв терпение, приехал в Союз писателей, сел за «вертушку» и позвонил в секретариат шефа КГБ Крючкова.

– Можно мне поговорить с кем-нибудь из помощников Владимира Александровича?

– А в чем дело и кто со мной разговаривает?

Я рассказал, в чем дело, представился и в ответ услышал:

– С вами говорит Крючков. Я распоряжусь, и вы на днях получите разрешение работать в наших архивах.

Спасибо Крючкову. Наконец-то в просторном зале для заседаний на длинном столе полковник Сергей Федорович Васильев, интеллигентный и знающий дело, разложил передо мной груды папок, ко многим из которых не прикасалась рука ни одного историка литературы.

Месяца два мы с сыном, которого, видя невероятный объем работы, я взял себе в помощники и соавторы, приезжали в архив, листали папки с грифами «Совершенно секретно», делали выписки, но, понимая, что переписать от руки две или три тысячи нужных нам страниц невозможно, оставляли в делах закладки, договорившись с Васильевым, что по окончании работы нам сделают ксерокопии страниц, необходимых для будущей книги о Есенине.



Но тут грянул август 1991 года. Приехав на Лубянку, мы не обнаружили на площади аскетическую чугунную фигуру легендарного Феликса, а еще через несколько дней любезный полковник со смущенной улыбкой сказал мне:

– Станислав Юрьевич! В вашем распоряжении осталась всего неделя. Мы вынуждены сдать дела обратно в архив. Перепишите за эти дни все, что возможно, архивы вновь будут заперты, и, видимо, надолго.

Мы с сыном впали в отчаянье, но потом выход все же нашли. На другой день принесли с собой магнитофон и всю оставшуюся неделю с утра до вечера надиктовывали драматические истории из уникальных дел ЧК – ОГПУ – НКВД на пленку.

Всего получилось около тридцати кассет разного объема – 40 или 45 часов записанного в скоростном режиме текста. Последнее дело было закрыто – и на другой день захлопнулись свободно открытые доселе двери архивов.

«Весна демократии» отцвела за какие-то две недели.

В дни работы на Лубянке мы волей-неволей обживали ее, забежали в буфеты перекусить, шли по коридорам в курилку, заходили в кабинеты к Васильеву и его сослуживцам. Атмосфера в грозном некогда комитете была чрезвычайно любопытной. Всякого рода новые чиновники, журналисты, иностранные корреспонденты вели себя там как подлинные хозяева, надменно, а порой и скандально обращались с вежливыми и тактичными офицерами КГБ.

Помню, как уходили офицерские головы в плечи, когда они сопровождали по своим апартаментам по-хозяйски надменную Беллу Куркову, бесчинствовавшую в ту эпоху на телевидении в «Пятом колесе», либо какую-нибудь, говоря словами Лермонтова, «жидовку младую», похожую на Евгению Альбац.

Вообще женщины августовской революции – прелюбопытнейшая тема. Глядя на них, невозможно было не вспомнить великую мысль Достоевского о том, что «красота спасет мир». С каким прокурорским апломбом появлялись в те годы на экране Куркова или ее демокра-

тические соратницы – Валерия Новодворская, Елена Боннэр, Ирина Хакамада, Алла Гербер, Марина Салье, Галина Старовойтова – одна другой интереснее.

Видимо, не случайно образы женщин Великой криминальной революции как бы подчеркивали всю ее антирусскую и безобразную пошлость. Символами Великой Октябрьской все-таки были иные женские лица, если вспомнить Ларису Рейснер, Инессу Арманд, Александру Коллонтай. Недаром Борис Леонидович Пастернак в поэме «Девятьсот пятый год» так очертил такое женское лицо т о й революции:

В нашу прозу с ее безобразьем  
С октября забредает зима.  
Небеса опускаются наземь,  
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,  
Еще чуток и жуток, как весть,  
В неземной новизне этих суток,  
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,  
Каторжанка в вождах, ты из тех,  
Что бросались в житейский колодец,  
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,  
Секла свет, как из груды огнив,  
Ты рыдала, лицом василиска  
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,  
Оживающих там вдалеке,

Ты огни в отчужденье колеблешь,  
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных  
Тот же гордый, уклончивый жест:  
Как собой недовольный художник,  
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,  
Ты рассеянье ищешь в ходьбе,  
Ты бежишь не одних толстосумов:  
Все ничтожное мерзко тебе.

Это, конечно, лицо эсерки и террористки, но с каким вдохновением Борис Леонидович обессмертил ее в своей революционной поэме! А стихотворение Ярослава Смелякова, который словно бы кистью Петрова-Водкина изобразил свой, более народный, нежели у Пастернака, но не менее величественный женский лик революции:

Сносились мужские ботинки,  
Армейское вышло белье,  
Но красное пламя косынки  
Всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,  
Как средство от всех неудач,  
Кусочек октябрьского флага –  
Осеннего вихря кумач.

Да, у той революции были великие поэты, и не только поэты: и композиторы, и прозаики, и скульпторы, и художники, если вспомнить Мухину, Булгакова, Коненкова, Шолохова, Шостаковича, Петрова-

Водкина. В этом смысле ельцинская революция столь же бесплодна, как и гитлеровская. Впрочем, августовскую революцию пытались увековечить в стихах, но поскольку не нашлось у них ни Блока с Есениным и ни Маяковского с Пастернаком, то журнал «Новый мир» в одном из осенних номеров 1991 года напечатал стихи некой Анны Наль, сделавшей попытку превратить фарс в высокую трагедию:

Белый дом в баррикадном  
Терновом венце,  
и накатом  
в предместья  
поверх головы  
катакомбное «Эхо Москвы».  
Девять суток вослед  
поминальный пикет  
из туннеля – на свет,  
как преграда убийцам.  
И Давида звезда (! – С. К.) –  
словно в пепле гнезда  
шестикрылая птица.

Словом, вылупился под косноязычную радость новомировской местечковой музыки с благословения главного редактора Сергея Залыгина чудовищный шестикрылый птеродактиль. Эх, Сергей Павлович, Сергей Павлович, большой русский писатель...

\* \* \*

Через неделю после грязных трех дней августа начался чрезвычайный пленум писателей России. Мы заседали на Комсомольском проспекте, когда в здание Союза буквально ворвалась группа юнцов и потребовала к себе «начальство». Вышедшему к ним тогдашнему

оргсекретарю СП РСФСР Геннадию Гусеву было сказано буквально следующее: «Мы – 267-й батальон московской национальной гвардии (?! – С. К.)». Затем двери зала распахнулись, и трое политических шпаненков, посланных из префектуры Центрального округа с бумагой за подписью префекта Музыкантского, заявили о том, что Союз писателей России как бы закрывается. Юрий Бондарев тут же бросился к правительственной вертушке звонить в префектуру. Дозвонился. Музыкантский иезуитски согласился с ним, что юридических оснований для закрытия Союза писателей нет, но «есть общественное мнение, что некоторые российские писатели идеологически подготовили выступления путчистов».

Несколько позже мы узнали, чье это было «общественное мнение». Оказалось, что Евгений Евтушенко, захвативший власть в Большом Союзе на Воровского, тут же настроил мэру Москвы Гавриилу Попову донос, в котором Бондарев, Распутин и Проханов, подписавшие «Слово к народу», назывались «государственными преступниками», заодно потребовав закрытия нашего Союза. А за услугу властям попросил отдать писательский дом на Комсомольском новому секретариату во главе с ним, с Евтушенко.

У самозванных «национал-гвардейцев» оказалась и печать СП СССР, которую надлежало «приложить» к бумажным пломбам на дверях нашего здания. Забавно, что среди пришедших забирать для Евтушенко наш дом был даже какой-то бездарный стихотворец, игравший роль полицейского с особым рвением.

Президиум, где заседали Бондарев, Феликс Кузнецов, Петр Проскурин, Василий Белов, в первые секунды оцепенел, потом в зале начался шум, писатели были разгневаны и растеряны, вскочили со стульев, курили, спорили, кричали, не зная, что делать. Юрий Васильевич Бондарев был тверд и немногословен:

- Я отсюда уйду только в наручниках!
- Не уйдем, – воззвал к народу Геннадий Гусев. – Если нас арестуют – пойдем под арест!

Я подошел к «чекистской» троице.

– Покажите мне документы, удостоверяющие вашу личность! – Демократический отморозок по фамилии Харчев с неохотой, но все-таки протянул мне ксерокопированную бумажку, на которой типографским способом было отпечатано:

«Следственный комитет  
по антиконституционной деятельности

#### Мандат

По предъявлении сего мандата тов. (ф. и. о) предоставляется право участвовать в рассмотрении антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту.

*А. Бабушкин».*

– А теперь покажите-ка мне документ, по которому вы хотите опечатать наш дом.

Я взял в руки послание префекта, прочитал его вслух:

«30.08.91. № 31. О взятии под охрану здания Союза писателей РСФСР.

Учитывая имеющиеся данные об идеологическом обеспечении путча и прямой поддержке руководителями Союза писателей РСФСР действий контрреволюционных антиконституционных сил в период с 19-го по 21 августа 1991 г. и учитывая постановления Союза писателей СССР и Московского отделения Союза писателей, временно до выяснения степени участия в подготовке и проведении путча приостановить деятельность правления Союза писателей РСФСР и опечатать помещение. Комендантом здания назначить тов. Дуськина.

*А. И. Музыкантский».*

Холодная ярость, всегда помогавшая мне справляться в уличных драках с более сильными соперниками и никогда не позволявшая отступать или сдаваться во время литературных рукопашных схваток во

враждебных аудиториях, овладела мной. И в приступе справедливого и безотчетного гнева я совершил некое движение. Через секунду разорванный пополам листок трепыхался на паркете.

Дуськин и Харчев остолбенели. Вечный гений компромисса Феликс Кузнецов в отчаянье всплеснул руками и бросился ко мне:

– Стасик, что ты наделал!

Но Василий Белов, оказавшийся расторопнее всех, наклонился, подобрал обе смятые половинки документа и помчался на проходящее в этот день заседание Верховного Совета, где, с трудом пробившись к микрофону, зачитал полицейское распоряжение Музыкантского и обратился к депутатам с просьбой защитить Союз писателей. Его партизанский рейд подействовал, но депутатам было уже не до нас. Силы, разрушавшие державу, выходили на финишную прямую. До конца жизни великого государства оставалось три месяца. А на бумажке Музыкантского, факсимильно воспроизведенной «Литературной Россией» в сентябре 1991 года, так и остался черный зигзаг, располовинивший ее сверху донизу...

В эту ночь и в несколько последующих мы, забаррикадировавшись, не покидали наш Дом писателей России и не позволили захватить его. Не хочу, как некоторые мемуаристы, героизировать эту осаду. Нас не собирались брать штурмом – просто припугнули, но мы не испугались. Если бы члены КПСС в своих обкомах и райкомах поступили бы, как писатели, то возможно, что история державы пошла бы по другому пути.

### **Из дневника тех времен**

Да и коммунисты хороши. «Мы не виноваты! Не замешаны ни в чем! Конституцию не нарушали!» – скулят нынешние ивашки и дзасоховы. Да лучше вы были бы во всем виноваты, лучше, если бы вы сидели в «Матросской Тишине» или Петропавловской крепости! Да лучше, чтобы вы были рядом с Варенниковым, Шениным и Баклановым или

с авторами воззвания «Слово к народу»!.. Хоть было бы за что предстать перед судом... А то ни за что – и судят! Вот в чем позор..

Нашли чем гордиться: ни в чем не участвовали. Тьфу! Нет бы с гордостью сказать: мы сделали все, чтобы спасти страну от гибели, позора и разложения. Но у нас, преданных кликой Горбачева, не хватило сил... Судите нас, победители. Мы сядем в ваши тюрьмы и лагеря, но завтрашняя история оправдает нас, и завтрашние русские люди склонят свои головы перед нами, побежденными коварством!

А ведь ваши генетические предшественники, какими бы авантюристами по сравнению с вами они ни были, заслуживают куда большего уважения. В безвыходном положении они с яростью кричали: «Есть такая партия!» – и брали ответственность на себя за кровь, за будущее государства, за все великие потрясения, превращая судебные процессы в победоносные пропагандистские шоу... А вы в звездный час (он мог бы быть вашим) прошептали: «Нет такой партии! Ни к чему не причастны! Ни в чем не виноваты!»

Как в сказке – «крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились». Конечно, на этом фоне и Ельцин глядится чуть ли не героем...

Да, с гордостью признайтесь, что рождалась партия, как подпольная организация фанатиков, готовых идти на эшафоты, в тюрьмы и ссылки за свои убеждения.

Гражданская война украсила чело партии кровавым и героическим венком. Индустриализация, коллективизация, Отечественная война – эпоха предельного риска, поиска, самопожертвования и жертвоприношений. Целина, двадцатипятидесятники, аскетизм, партийный долг – вечное неконституционное напряжение всех сил, вечное чрезвычайное положение... А вы забыли от страха свою историю, сложили лапки и бормочете, что мы, мол, самые что ни на есть послушные холопы Конституции.

Когда шел XXVIII съезд КПСС и небольшая, лучшая часть съезда заподозрила Горбачева в целенаправленном разрушении партии и



державы, генсек, понимая, что он еще не до конца разрушил организацию, пошел на риск – и с актерским возмущением (не доверяют, мол!) заявил, что готов подать в отставку.

Тут законопослушный съезд дрогнул: ну как мы без генсека, без отца родного, без «социалистического выбора», и все дружно бросились уговаривать Михаила Сергеевича не делать этого.

Когда я увидел эту сцену, то вспомнил о том, что северные таежные охотники, чтобы не кормить старых, уже не работающих охотничьих собак, – пристреливают их, отслуживших службу. Дряхлая собака тянется к хозяину, с которым она охотилась всю жизнь, пытается лизнуть ему руку, а он уже поднимает свою двустволку...

Жалко мне было эту партию, которая когда-то подымала своих солдат на смерть и победу возгласом «Коммунисты, вперед!» – а в дни своего последнего съезда в последний раз попыталась неуклюже лизнуть руку замыслившего убийство хозяина...

Эх, законопослушники... не виноватые ни в чем, ничего не замышлявшие. Да воздастся вам по вере вашей.

\* \* \*

31 августа на последнем пленуме Союза писателей СССР в Центральном доме литераторов мы встретились лицом к лицу с нашими жалкими врагами – евтушенковским «спецназом», захватившим власть в особняке Ростовых. Я сознательно по истечении многих лет подчеркиваю – «жалкими», потому как ну кто они такие – Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Валентин Оскоцкий, Анатолий Приставкин, Юрий Карякин, Михаил Шатров, Евгений Сидоров, Андрей Нуйкин? Ну, сейчас страсти поулеглись, живем мы словно бы в разных государствах, они не читают нас, мы не читаем их (хотя у них и читать-то нечего). Слава Богу, история оформила наш развод навсегда. Но я хочу спросить самого себя, своих друзей, которые еще помнят прежние времена, читателей, которые тоже еще не забыли эти

фамилии: вы что-нибудь помните из написанного целым десятком литераторов, которых я перечислил несколькими строчками выше? Бесплодные, бесталанные, «безъязычные», как сказал бы Василий Васильевич Розанов, они всю свою жизнь были обречены со скрежетом зубовным завидовать таланту и заслуженной славе Валентина Распутина, Василия Белова, Юрия Бондарева, Юрия Кузнецова, Вадима Кожинова... Так что окончательный раскол между нами – развод между литературой и пустотой – был неизбежен. Он и произошел, когда после нескольких жестоких словесных схваток делегация Союза писателей России ушла из зала, оставив их наедине с их вечными комплексами вечной неполноценности.

Но, по правде говоря, и мы себя чувствовали скверно. В полной надсаде и растерянности, не зная, что нам делать, на кого опереться, где найти сочувствие, поддержку, а может быть, и помощь, ночью 31 августа мы с Володей Бондаренко поехали в гостиницу «Россия».

Дело в том, что в дни августовского переворота в Москве проходил Всемирный русский конгресс, куда съехались многие русские люди – старики из первой эмиграции либо их дети, бывшие власовцы и энтээсовцы, дипийцы, о судьбах которых не раз писал Володя, а главное, многие из них были читателями, поклонниками и даже авторами «Нашего современника» и газеты «День». Мы полагали, что, симпатизируя нашим изданиям, зная и любя творчество Валентина Распутина и Василия Белова, Владимира Солоухина и митрополита Санкт-Петербургского Иоанна, Игоря Шафаревича и Леонида Бородина, эти люди помогут нам связаться с газетами, журналами, радиостанциями Запада, чтобы рассказать о первых русофобских шагах нового режима, увидевшего в русских писателях-патриотах одну из главных опасностей для идеологов и практиков августовского переворота.

Наивные люди! Загнанные в угол, мы невольно закрыли глаза на то, что наши зарубежные соплеменники с восторгом встретили «преображенскую революцию», что «кричали женщины “ура!” и в воздух чепчики бросали». Никому из них и в голову не пришло, что она, эта ре-

волюция – начало расчленения «великого и неделимого» государства, за идею которого умирали их отцы и деды.

В номере одного из лидеров НТС Романа Редлиха нас встретили с плохо скрытым высокомерием и начали поучать, как побежденных:

– Поздно вы, патриоты, спохватились! Надо было раньше возглавить восстание против коммунистов!

Номер выглядел роскошно, блистал зеркалами, шелковой обивкой кресел, красным деревом, хозяин с хозяйкой были, несмотря на наш поздний визит, одеты изысканно – он в костюме с иголки, в галстук с золотой заколкой, выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, его жена в европейском вечернем туалете, сверкающая кольцами, серьгами.

А тут мы после бессонной ночи на Комсомольском, небритые, в измятых куртках, в изношенных кроссовках, с отчаянием в глазах.

Нет, мы не туда попали, здесь нас не поймут... Отец Александр Киселев, духовник власовской армии, благообразный, аскетического обличь старик с белой бородой, вышел на наш стук в коридор.

– Тихе, тихе, чада, матушка спит...

Мы отошли в конец коридора к громадному окну, из которого как на ладони был виден собор Василия Блаженного, Спасская башня, брусчатка Васильевского спуска.

Слушая наши негодующие и сбивчивые речи, отец Александр молчал, теребил бороду, опускал глаза. На прощанье сказал:

– Оставьте надежду на Запад. Он не поймет вас и ничем вам, русским патриотам, не поможет. Да хранит вас Господь! – и осенил нас крестным знаменем.

\* \* \*

К осени 1991 года давление на очаги патриотического сопротивления достигло предела. Опричники и особисты демократии отслеживали каждый наш шаг, разглядывали в лупу каждую статью, каждое стихот-

ворение, публичное выступление, включали все механизмы своей пропагандистской машины, чтобы подавить, обескровить, измотать...

Борьба эта, впрочем, длилась всегда, но особенно бесчестные формы она приняла после августа. Но довести до отчаяния им меня не удавалось, поскольку каждый раз, доходя до предела усталости, я уезжал на пару недель в беломорскую или североуральскую тайгу на охоту и на рыбалку, а возвращался похудевший, надышавшийся таежным воздухом, облученный незакатным северным солнцем, как будто заново рожденный для борьбы.

– Что они могут сделать со мной, эти изможденные от злости демократические крысеныта, сидящие в кабинетах, в телестудиях, в приемных своих крестных отцов, когда меня сама мать сыра земля насыщает здоровьем?!

Однако я не знал всей меры их коварства, когда осенью 1991 года высадился из Ан-2 на берег Белого моря в поселке Ручьи. А добираться мне надо было до устья Мегры – на восток еще верст тридцать. Море штормило, и я не мог выехать на моторке. Пришлось полегче одеться и пешком идти вдоль берега. Береговая дуга гигантским изгибом уходила к востоку, и лишь где-то далеко-далеко в дымке на горизонте чуть брезжили очертания мыса; не верилось, что туда можно пойти к вечеру.

Я шел не торопясь то по высокому берегу, круто обрывавшемуся к морю, то по накатному плотному песку, откуда утром сошла большая вода. Каждые час-полтора останавливался в пустых рыбацких избушках – кипятил кружку крепкого чая, отдыхал, глядя с берега на белую шипящую кромку прибоя, на косяки гусей, которые уже тянулись в синем небе с Канина Носа к югу, на громадные глыбы берега, рухнувшие вниз, оттого что море в конце концов подмыло их.

Вот так и надо упорно, размеренно, рассчитывая силы, идти к цели, не боясь ничего. Пускай она так далеко, что кажется, и пойти до нее невозможно. А ты иди. Видишь: очертания мыса уже темнее,

он уже не плавает в тумане, уже видно, что он вырастает из земли... Только не сбейся с шага, не нарушай ритма дыхания, не сбавляя шага, расслабляйся на ходу и береги себя, чтобы всегда прибавить ходу, если понадобится...

Часа через четыре я дошел до Вазицы. Передо мной шумела река, поуже Мегры, но перейти которую было невозможно. Я поднялся чуть выше по течению, увязал обрывками металлического троса в плот три сухих бревна и, пихаясь шестом, начал переправу. Чуть-чуть не доплыл до берега – развалился мой плот, и я с броднями, полными ледяной воды, вылез на песок, снял сапоги, вылил воду, выжал шерстяные носки, попил пригоршней воды из реки и пошел дальше. До Мегры я добрался лишь к вечеру, когда солнце за спиной прикоснулось алым краем к морю. Мыс, который издали казался мне висящим в воздухе, стоял передо мной, как черная гора. От усталости хотелось спать, и в ожидании какой-нибудь попутной рыбацкой лодки я прилег на песок.

Устье. Шум впадающей в море реки. Ветер поет в пустых прожжавевших бочках из-под солярки. На откосах черного мыса языки первого снега. Из-под них к морю тянутся ниточки ручейков. На песке бревна, щепка, сучья, куски дерева – все сухое, серебристое, серое, изглаженное волнами, песком, ветром.

Рядом со мной стремительно, с ровным шумом река вливается в море, словно время стекает в бесконечную жизнь, в вечность.

...На Мегре меня уже ждали, мы поставили палатку, развернули спальники, натаскали дров, развели костер и выпили по первой за последние крупницы счастья, еще доступные нам...

Однако вода была высокая, что ни день, шли дожди, и в первые несколько дней мы едва-едва добывали себе на уху...

Холодным солнечным утром мы вылезли из спальных мешков, искупались в ледяной воде, позавтракали кашей с тушенкой и пошли к берегу, к нашей байдарке. Тропинка петляла среди зарослей желто-

листоного низкорослого березняка, и когда мы уже выходили к реке – вдруг из прибрежных кустов, как по команде, поднялись три человека и пошли к нам навстречу, на головах у них были фуражки инспекторов рыбнадзора.

К счастью, ни одной пойманной семги у нас не было, лишь под пологом палатки в целлофановом мешке инспекторы обнаружили трех подсоленных харьюзков да двух щучек.

Один из инспекторов – Эдуард – был давно знаком мне, я даже не раз выпивал с ним в Архангельске, и, улучив минуту, отвел его в сторону:

– Эдуард! Ну зачем все эти протоколы, засады, санкции?.. Ты же нас знаешь, еще неделю отдышимся – и домой. У нас же ни сетей, ни моторов, одна байдарка да спиннинги.

– Станислав Юрьевич! Я человек подневольный. Нам приказ из Москвы пришел – поймать тебя, целый план наш новый начальник выработал. Специальный вертолет заказали. Чтобы не спугнуть вас, мы на озерах высадились и сплавлялись на лодке, бесшумно, просматриваем каждый километр берега. Целую неделю плывем. Дело-то серьезное, а мы люди подчиненные... Кто-то из Москвы на вас стукнул.

Бригадир группы захвата составил протокол, я расписался, что готов заплатить штраф за двух щурят и трех хариусов, допили с ребятами на прощанье последнюю бутылку, проводили их до резиновой надувной лодки и распрощались...

Вроде бы пустяковое дело. Но когда я вернулся в Москву и в один из осенних дней (27 октября) включил информационную программу, то ушам не поверил, услышав, как Юрий Ростов по попцовским «Вестям» докладывает всей стране, что главный редактор «Нашего современника» «ставил на реке Мегра сети на семгу и был пойман с поличным».

Через час, в 21.00, во «Времени» то же сообщение повторил Александр Гурнов: «Ловили семгу сетями...» Дальше началась целая вакханалия в столичной и провинциальной прессе. «Северный комсомолец» от 26.10.91: «Наши ребята к Куняеву приглядывались уж давно...

На этот раз решили действовать наверняка. Правда, семги на этот раз не оказалось. Наложили штраф 69 руб. 90 копеек».

«Литгазета», 30.10.91: «Главный редактор журнала “Наш современник” проводил незаконный лов рыбы...»

«Губернский вестник» (Самара), 8.11.91: «Известные русские шовинисты – главный редактор “Нашего современника” Станислав Куняев, его сын Сергей и писатель Игорь Печенев были пойманы на том, что ловили семгу... Борцам за русскую державность и природу захотелось семужки. Если судьи не будут столь же беспринципными, как “русские патриоты”, нашим литераторам придется сменить писательское поприще на физический труд в местах заключения».

Ленинградская «Смена», 29.10.91: «Лидеры СП РСФСР уже не первый год браконьерствуют на мезеньских реках. Проводником их был уроженец здешних мест, тоже писатель, Владимир Личутин, без труда получавший в обкоме КПСС лицензии на отлов семги».

(Личутина с нами вообще не было, а порога Архангельского обкома КПСС, да еще за лицензиями «на отлов семги», он в жизни не переступал.)

А одна из провинциальных газет придумала такое: что Куняев и компания «ловили осетров, и рыбы туши выбрасывали», – не понимая того, что осетры в архангельских реках не водятся.

К кампании тут же подключились демократы из моей родной Калуги. Они, правда, уже писали в молодежной газете не о сетях, а о том, как в послевоенное время на яченском лугу «юный Станислав гонялся с лопатой за лягушками и с наслаждением рубил их в куски, если успевал догнать».

«Утку» о «сетях и семге» передала из Мюнхена «Свобода», два или три раза с комментариями на ту же тему выступило российское радио, «Комсомолка» тоже не преминула отметить.

Словом, технология массированной клеветы и одновременной, как по приказу, мобилизации всех СМИ отрабатывалась еще до появления в нашей жизни Сванидзе, Доренко, Киселева.

Я даже ельцинскому Геббельсу Олегу Попцову позвонил и пристыдил его:

– Олег! Я понимаю, что мы враги, но нельзя же так бессовестно врать!

Попцов, с которым раньше мы вместе работали в Союзе писателей, оправдывался тем, что не может проследить за всеми передачами, обещал разобраться.

Я понимал, в чем дело. У «Нашего современника» тогда был гигантский тираж – более 300 тысяч, и читали его несколько миллионов. Шла подписная кампания – и демократам во что бы то ни стало надо было унижить и оболгать главного редактора в глазах читателей.

Однако они добились совершенно противоположного результата. Письма в мою поддержку посыпались в редакцию со всех сторон России. Вот одно из них, которое очень понравилось мне по стилю.

«Искренне уважаемый С. Ю. Куняев (к сожалению, не знаю Ваше отчество). Я решила написать Вам о том, что написала в передачу “Вести”. Вот что я им написала:

Да вы что?! Совсем обабились!!! Так не врут даже женщины, а вот именно бабы. Базарные! У Куняева промысел что ли рыбный, чтобы на всю страну говорить? Это что – 150 миллиардов матерого мошенника Фильшина, с которым вы умильно разговариваете на телевиденье? Или Т. Заславская с погубленными с ее помощью деревнями? Или Илья Заславский с его квартирными махинациями?

Да будьте вы прокляты, русофобы!

Вы думаете, измените наше отношение к истинным защитникам русского народа? Вы думаете, мы изменим отношение к захваченным вами радио, телевидению, передачи которых в основном настолько чужды, враждебны, даже противоестественны каждой русской душе, что никакие “русские шапки” (русские названия и пр.) не обманут нас.

Этот ведущий (забыла его фамилию), у него еще рот, будто прорезанный осокой, Куняева почему-то назвал Сергеем. Забрехались,



запутались, помню, как вы, этикие живчики, лающие какой-то агрессивной скороговоркой, смельчаки в базарно-безопасных масштабах, захлебывающиеся от сознания своего, дорвались. – Как вы клеветали на Талькова (“во время перестрелки”, “из-за выхода на сцену”). Из-за выхода на сцену не убивают.

Неужели вас женщины любят? Баб? Мелких базарных вруш?

*Р. С.* Даже если что-то там случилось (допустим) во время рыбалки – это так все смехотворно по сравнению с тем крошечным и оголтелым русофобством, которое так и прет изо всех щелей, даже когда вы маскируетесь.

Да воздастся вам по заслугам!

Запомните это».

Впрочем, моя шкура и мои нервы в то время уже научились переносить даже такое массированное давление.

В течение нескольких доавгустовских лет «Наш современник» и его главный редактор были постоянными мишенями издевательства, клеветы и насмешек центрального телевидения. Особенно часто безнаказанно изгалялись над нами Любимов и Политковский из «Взгляда», сатирик Александр Иванов, ведавший программой «Вокруг смеха», да и комментаторы даже из информационных программ от них не отставали. Доходило до смешного. Так, незадолго до сюжета с браконьерством Татьяна Миткова в программе «Ночные новости» сообщила, что жители Москвы протестуют против того, что ресторан «Якорь» переносится с улицы Горького в Трехпрудный переулок, что инициаторы этого переноса русские писатели, «любящие рестораны», и вдруг ни с того ни с сего Миткова заявила, что в Моссовете есть на этот счет письменное ходатайство писателей, инициатором которого был главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев. Конечно, никакого такого письма русские писатели не писали, я даже в этом пресловутом «Якоре» ни разу не бывал. Но что было делать? Судиться с этой целлулоидной лгуньей?

\* \* \*

Широкий лес. Высокий песчаный берег. Обрыв, заросший брусничкой, ягелем, мелким березняком. Внизу черно-синяя река, разделенная на два рукава островом с песчаными отмелями. Остров огибают две шумящие струи – сливаются и единым потоком текут дальше на Север. Там море. Высоко надо мной кружит коршун – он, наверное, видит море. Над морем облака сияют особым сияньем, розовым, колеблющимся, – видимо, от потоков воздуха, что исходят от морского лона. Я сижу на обрыве, не в силах сдвинуться с места. Может быть, это самое красивое место в мире... Запах привядшей травы, дикой смородины, бурых зарослей иван-чая, буйно взошедшего на пепелищах и горях от лесных пожаров...

Однако пора сплывать. Лодка готова. Все уложено. Что остается? Опуститься на колени и неожиданно для себя, почувствовав слезы на глазах, неловко ткнуться лицом в эту землю, пока в умиротворенной памяти, то уходя из нее на мгновенье, то вновь возвращаясь, живут строчки Николая Рубцова:

Я воздавал своей земле  
Почти молитвенным обрядом...

Неловко прикладываю лицо и губы к жесткой траве, к замуравелой тропинке, к песчаной почве, в ноздри ударяет дух земного чрева, брусничного листа, привядшей хвои...

Почти молитвенным обрядом...

А Мегра шумит, растворяя в Белом море свою черную воду, и слышится в ее шуме неизбежное, вечное, жестокое: «Попрощался – и хватит, от жизни и от борьбы не убежишь, пора тебе в дорогу...»

\* \* \*

Помню, как в середине 70-х годов я увидел в каком-то зарубежном издании исповедь литератора Б. Хазанова, эмигрировавшего куда-то в Европу. Он изливал печаль об утрате России в таких словах: «Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть скудные и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских».

В начале девяностых, когда накал русофобии на страницах демократической прессы стал чуть ли не обязательным признаком хорошего тона и достиг пика, заявления такого рода о языке посыпались как град: «Многие из тех, что нынче объявили себя российскими патриотами, в знании какого-нибудь языка вообще не нуждаются. Я знал патриота, который слово “Россия” писал через одно “с”, зато слово “Русь” через два. У патриотов грамота не в чести». Это из статьи В. Войновича «Заговор патриотов», дважды прочитанной им в 1990 году по «Свободе», а потом перепечатанной во многих российских газетах.

Валентин Распутин, Василий Белов, Игорь Шафаревич – вот главные мишени статьи Войновича, сердцевинный пафос которой он выразил в следующих словах: «Между прочим, слово “патриот” я употребляю только в негативном смысле, потому что позитивного смысла оно вообще не имеет... Это чувство, как правильно сказал, кажется, Б. Окуджава, доступно и кошке».

Честно говоря, читая такое, я всегда приходил в ярость. А потом подумал: стоит ли обращать внимание на хамство всяческих хазановых – тем более что его настоящая фамилия Файбисович? Однако в 1991 году, когда я приехал в Нижний Новгород, чтобы провести литературный вечер журнала, мне пришлось поневоле вспомнить о «наследниках рухнувшей культуры». Нижегородская земля дорога мне

хотя бы потому, что здесь до революции работали врачами мой дед с бабушкой, что имя деда увековечено на фасадах двух знаменитых нижегородских больниц. Тем более я был уязвлен, когда прочитал в местной газете «Ленинская смена» интервью с актером Зиновием Гердтом, посетившим Нижний Новгород приблизительно в одно время со мной. Очередной «наследник», подобно Хазанову, также ратовал за чистоту и величие русского языка: «Я думаю, ну что такое этот Куняев и весь этот “Наш современник”... Бондарев, Куняев, Проскурин и Алексеев... А как они разговаривают по-русски? Какая темная безграмотная речь. Я когда что-то читаю куняевское, то думаю: “Господи, хоть бы создали какую-то межпланетную комиссию, очень независимую, по русскому языку. И дали бы нам диктант и изложение. Куняеву и мне. И я посмотрел бы, где был бы этот Куняев». Словом, я получил вызов на поединок от тогда еще живого Зиновия Гердта. Но поскольку противника, перед тем как согласиться на дуэль, надо все-таки знать, мне пришлось тщательно прочитать его громадное, чуть ли не на газетную полосу, интервью. Русский язык Зямы, как и следовало ожидать, был весьма своеобразен. Вот как наш отличник рассуждал о декабристах: «Понимаете, им было отвратительно что-то есть, зная, что народ живет худо» («есть» в смысле питаться. – С. К.).

Очень печалился наш отличник-грамотей о том, что зритель плохо знает все его актерские возможности: «Я должен сломать стереотип восприятия меня как комика. С этим покончено, хотя внутри обязательно должно быть смешно».

Не всеми ролями, которые ему предлагались в те времена, он был доволен: «Вот недавно я снимался в пустой роли, не совсем пустой, конечно, там есть вещи, куда можно приложить душевные усилия». И т.д. и т.п. Не удержусь, впрочем, от соблазна процитировать еще один отрывок из интервью киноактера, полный красоты, стиля и темперамента: «Борис Николаевич умен, абсолютно совестлив

(это безусловно), обаятелен... Я однажды провел час в его обществе и влюбился в этого человека. А главное – у него есть колоссальный козырь! Я хочу, чтобы весь народ этой огромной трехсотмиллионной страны увидел его жену. Залюбят Ельцина, просто падут ниц перед этой немислимой потрясающей женщиной...» После этого стоит ли удивляться, что похороны Зиновия Гердта и сопутствующие им траурные дни, организованные телевидением, проходили так, как будто мы прощались с величайшим русским актером двадцатого века.

А я, прочитав интервью-исповедь Зиновия в нижегородской газете, с печалью подумал: куда мне состязаться в знании русского языка с ним! К тому же и корреспондент по фамилии Кропман (тоже, видимо, «наследник»), бравший интервью у актера, с пиететом писал в своем маленьком предисловии: «Зиновий Гердт. Добрые умные глаза, изысканно-красивая речь».

В третий раз я столкнулся с блистательными изысками в русской речи, вышедшими из-под пера еще одного наследника (ох, сколько наследители!) русской культуры Марка Розовского. Он опубликовал летом 1993 года в русскоязычной газете «Новое русское слово», которая выходит в Нью-Йорке, сочинение, озаглавленное им «Письмо в гозету “Зафтра”». Вот его текст:

«В свези с тем, шта руский еззык нуждаица в риформе рускаво езыка приделагаю слово “карова” писать через “ю”, а букву “г” отменить вобче как недостойную рускавава езыка па причине ея нехарошаго запаха. Ва всем винаваты цегане и явреи каторым руский еззык не великий не могучий. Ани иго не уважают пусть уизжают в свой израэль и там гаварят на своем радном езыке а наш езык аставьте нам штобы мы магли на ем писать разгаворивать.

Мы есть патриоты Росии и не дадим всяким жидам и масонам. Мы им врежем штобы знали и не магли. Ани хатят апоганить и опарочить нашу культуру и историю но мы будим на страже бить им па роже.

Расея должна принадлежать только руским и то многа сичас развелось лицов кавказской национальности и других чукчей на нашу голову. Рускому езыку нада помоч. А кто яму поможид есля ня мы. Кто ишчто им будет хронить в нашем обществе память о языке пушкино и Дастаевского, Талстово и Тургеньева, Гогля и Проханова, а не этих Патернюка и Манделштурма, Булдакова и Плутонова.

Пастаянный читатель вашей газеты –

(Подпись неразборчива)»

Ну вот, а еще за грека себя выдавал!

Володя Бондаренко через газету «Завтра» ответил тогда театральному режиссеру и актеру Розовскому (что-то все время именно людей театра тянет затевать дискуссии о языке), но чересчур раздраженно и серьезно. А надо было, на мой взгляд, просто продолжить лингвистические изыски Марка несколькими чеховскими пассажами, исполненными в том же стиле. Я даже подозреваю, что Розовский, как театральный человек, хорошо знающий наследие Чехова, сочиняя «песьмо в гозету “Зафтра”», вольно или невольно пытался переплюнуть своего кумира Антона Павловича. Ну посмотрите сами, как слабо по сравнению с Розовским писал Чехов в 1887 году, осуждая антисуворинскую кампанию в прессе: *«Но никто так не шипит, как фармацевты, цестные еврейчики и прочая шволочь».*

А вот поглядите, каким беспомощным (не то что у Розовского!) стилем написано письмо братьев Чеховых сестре, в котором Ал. Чехов как бы выпендривается и в то же время просит рекомендацию в журнал «Курьер» к неким Коновицерам: «Я послал бы и сам, но они мне, как Седого (псевдоним Ал. Чехова)... не жнають и могут пожнакомить моево рукопись з/подпольного корзина. А ежели Вы пошлете и шкажете, кто такова Седой, тогда я въеду в “Курьер” ни через кухню, и чирез параднава дверь, как будто из банкирского контора».

Однако невозможно выдерживать постоянно столь изощренную стилистику, и Чехов, уступая в этом отношении Хазанову, Гердту и Розовскому, частенько переходит в своих «песнях» на более примитивный и безыскусный язык:

«На такой же точно желтой бумаге, как у Ваш пишет ко мне один очень недоедливый шмуль, и его письма я читаю не тотчас, а погода денька три и Ваше письмо я отложил в сторону, подумав, что это от шмуля».

А вот Антон Павлович как бы упрекает Володю Бондаренко, вступившего в полемику с Розовским, да и меня заодно, за то, что выясняю отношения с покойным Зиновием («Зямой», как называли его ласково в народе) Гердтом: «Не печатай, пожалуйста, опровержения в газетах... опровергать газетчиков все равно, что дергать черта за хвост... и шмули, особенно одесские, нарочно будут задираить тебя, чтобы ты только присылал им опровержения».

А напоследок из письма Чехова к Щеглову: «Засядьте писать повесть или пьесу из русской жизни, да и вообще нашей жизни, которая дается только один раз и тратить которую на обличение шмулей, право, нет расчета».

Спасибо Антону Павловичу за науку...

### **Из дневника тех времен**

В декабре получил письмо от своего однокурсника Виктора Старостина. Работает учителем в Тульской области. Филфак МГУ вместе кончали, литературу преподает, мои стихи любит. Пишет в письме: «читал ученикам твои “Русские сны”. Какая сердечная боль в главе о внуках! Читал вслух и сам чуть не разревелся... Через литературу пытаюсь объяснить детям то, что сейчас происходит в обществе. Куда пришли? К чему идем? Дело не только и не столько в пустых полках магазинов. Меня страшит другое – пустые души. У меня трое

внуков, и они лишены даже того, что естественно было в детстве их пап и мам... Скоро Новый год, но жаль, что нет шампанского, впервые такое. На КПСС надели намордник. Да, это победа. Но рабская психология в крови людей. По-прежнему всего боятся. Сегодня Ельцин, а если завтра Лигачев?

Бедный Виктор! недавно он помер, так и не поняв коварства времени, поймавшего его в капкан. Сам же писал о том, что его внуки лишены всего, что имели их отцы и матери в 50–60-х годах, когда на КПСС еще не «надели намордник». Бедный запутавшийся русский человек! Почему даже на склоне жизни ему не стало ясно, что мы, люди из простонародья, дети учителей, врачей, служащих и даже уборщиц, могли достойно существовать и учиться в лучшем вузе страны – в Московском университете – лишь потому, что были защищены от всех мировых рыночных ветров «железным занавесом» советской власти?..

\* \* \*

В конце страшного года, в сумрачном декабре, я, раздавленный расчленением страны, уговорил Сашу Проханова хоть на несколько дней уехать в Заволжье, в Арзамасский уезд, в глухие русско-мордовские леса, где в начале века работали земскими врачами в Карамзинской больнице мои дед с бабкой и где на берегу холодного, чистого Сатиса протекала в молитвенном подвиге жизнь преподобного Серафима Саровского...

Морозной ночью мы добрались до больницы, где нас встретила хлебосольная семья земских врачей – Олег Михайлович Бахарев с женой Мариной Владимировной.

Мы обнялись, расцеловались, сели за стол, поужинали, за разговором отмякли душой, а наутро Олег Михайлович предложил нам поехать не в Дивеево и не в Саров, а в лесную глушь. Часа два или три



сряду наш «газик» пробивался сквозь заснеженные, заросшие березняком и осинником дороги. Тихий снегопад струился с небес, склоненные над лесными дорогами деревья время от времени не выдерживали снежной тяжести, с глухим шумом выпрямлялись, снег сухой шелестящей тучей осыпал меня и Александра, в очередной раз толкавших забуксовавшую машину. Сороки, негодуя на то, что мы нарушили их покой, с верещаньем кружились над нашими головами, а красногрудые снегири, молча и степенно покачиваясь на кустах жимолости, разглядывали нежданных пришельцев.

– А вот и Дальняя пустынька наконец-то! – с облегчением сказал Олег Михайлович. – Я грешным делом сомневался, думал, что заблудились...

В Дальней пустыньке протекли несколько лет одинокого затворничества русского народного Святого. Здесь он отмаливал у Бога грехи мира сего, здесь совершал подвиг смирения и аскетической жизни. Небольшая поляна посреди соснового бора, легкий дощатый навес над головой. Когда-то здесь, видимо, стоял шалаш или крохотная землянка... На почве лежат два плоских камня с углублениями, оставшимися от колен святого Серафима: сотни ночей и дней простоял он в молитвах на этих гладких, отполированных глыбах песчаника.

Саша вытащил две свечи – поставил их на камни, Олег Михайлович достал спички, свечи вспыхнули, но под легким ветром, несущим над землей снежинки, заколебались, затрепетали – и вдруг погасли. Мы с Александром огорченно и молча переглянулись, но, словно бы в укор нашему сомнению, порыв ветра тут же затих, и язычки пламени сами по себе снова возникли над желтыми восковыми свечами...

«Отойди от меня, Сатана!»

«Я воздавал своей земле почти молитвенным обрядом».

«Да воздастся нам по вере нашей».

## ВОЗДУХ ПОРАЖЕНИЯ

*Открытие памятника Достоевскому 1 октября 1993 года. Кто бесы? — спор с Юрием Карякиным. Ночь со 2 на 3 октября. Москва рекламная. День рождения Есенина. О событиях в Останкино моими глазами. Непроизнесенное слово. Михаил Барсуков во время октябрьской бойни. Он же через полтора года. Размышления о русских шабесгоях. Опозорившиеся писатели: Окуджава, Нагибин, Черниченко. Защитники «демократии от Куняева». Воспоминания о Городне. Знакомство с будущим Патриархом. Великодушные гаишников. Карьера ренегата*

*– Действуйте, Борис Николаевич!*

М. Чудакова

Первое октября 1993 года. Поздняя, но еще золотая осень. Синее чистое небо. Желтые березы, липы, клены – любимые есенинские деревья – нехотя роняют листья на еще теплую рязанскую землю... Сотни людей на поляне неподалеку от села Даровое. Открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому в его родовом имении...

А в покинутой нами Москве кипят страсти – противостояние Кремля и Белого дома достигло предела. О, если бы это была схватка двух кланов в борьбе за власть! – Нет, дело пострашнее и посерьезнее: за каждым из этих властных кланов так или иначе стоят надежды, страхи, воля, корысть, гнев, жажда справедливости и возмездия не то чтобы сотен тысяч – миллионов граждан! И если вспыхнет война – то и называться она будет гражданской...

Однако меня приглашают выступить. Я оглядел поляну, разноцветную толпу, оглянулся на своих писателей и собратьев, и недругов, вдохнул полной грудью холодный, настоящий на привядшей листве

осенний воздух и, словно бы почувствовав еще раз горячую волну людского раздора, долетевшую от Москвы до Рязанской земли, поднялся на трибуну:

– Поистине в роковые дни мы открываем памятник Достоевскому: бесы правят бал в сердце России – Москве, и в сердце Москвы – Кремле. Святое место! Но именно туда их тянет, поближе к святости!

Я сделал паузу, поднял глаза и увидел пылающее гневом лицо Юрия Карякина, вспомнил, что некогда он написал любопытную книгу о Достоевском, и втиснул свои мысли в единственно возможное в эти дни русло:

– Достоевский проклял бесов революции, но лишь после того, как прошел через социалистические соблазны. Соблазны же капитализма, рынка и демократической антихристианской власти денег для него были настолько ничтожны и омерзительны, что он в них никогда даже и не впадал. Тайна Достоевского – это тайна русской народной души, русской истории, русского Бога, которых всегда страшился и ненавидел Запад. И тот, кто сегодня пытается подчинить Россию западной рыночной воле, – тот враг Достоевского и слуга Великого Инквизитора.

Ах, Федор Михалыч, ты видишь, как бесы  
уже оседлали свои «мерседесы»,  
чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой  
рвануться за славою и за валютой!

...Я сходил с трибуны, а навстречу мне с горящими глазами уже рвался Юрий Карякин. Он стал выкрикивать в толпу слова о том, что я не прав, что настоящие бесы сидят не в Кремле, а в Белом доме, но мне все это уже было неинтересно, потому что я и говорил, и думал о чем-то другом... Когда Карякин сошел с трибуны – мы оказались рядом, и каждый из нас сказал друг другу еще несколько «ласковых» слов.

После шумного и многолюдного банкета мы возвращались на «Икарус» по ночному шоссе в Москву, без обычного в подобных случаях

бестолкового веселья, скорее угрюмо и почти молча. Завтрашний день по всем предчувствиям не сулил никому из нас ничего хорошего.

*Из литературного дневника тех времен*

«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»... Тысячи раз слышал я эту гордую патриотическую наивную похвальбу! Да, наша история доказала, что так оно и есть на самом деле. Ну а если не с мечом? Если с деньгами, с дипломатией, с хитростью и коварством, приемы которых отработаны в веках? А если с лестью, с гуманитарной помощью, с кредитами, с долговой удавкой, с тайными соглашениями?.. Если с советниками, которых Россия перевидала неисчислимые множества, начиная от жидовствующих проповедников до петровских немцев, от Бирона и маркиза де Кюстина до нынешних протестантских ораторов и Джеффри Сакса? Богаты приемы и возможности мировой закулисы, а мы все талдычим: «Иду на вы», «Вот ежели с мечом, то дело серьезное, а без меча нам не страшно!»... И хвалится в стихах поэт Феликс Чуев, что «обмануть нас можно, но победить нельзя!» А разве обман, дипломатические ловушки, непосильные долги, международное ростовщичество не есть победа над нами? Может быть, хватит уповать на князя Святослава и князя Александра Невского и пора бы не только за меч, но и за ум браться, а то так и останемся храбрыми, доверчивыми, наивными и обманутыми аборигенами в холодном и жестоком мире грядущей мировой истории?

\* \* \*

Вечером второго октября я вышел из метро «Краснопресненская» и пошел по мокрой, холодной брусчатке к тыльной стороне Белого дома... Я подошел к зловеще поблескивающей паутине «спирали Бруно», окружившей молчаливое здание. Возле прохода сквозь проволоку толпились мордатые омоновцы, в бушлатах, бронежилетах и тяжелых ботинках, с автоматами наперевес.

– К Белому дому нельзя! Не нужны мне ваши документы, я и смотреть их не буду! – отрезал старший из них в ответ на мою просьбу.

– Я представитель Конституционного собрания! – раздался чей-то голос у меня за спиной. – Чинить мне препятствия вы не имеете права!

Я оглянулся. За мной стоял высокий худой человек в очках, в легком светлом плаще, он поеживался от холодного ветра и протягивал омовцу какое-то удостоверение. «Да это же Олег Румянцев!» – взглядевшись в него, сообразил я.

– Мне приказано внутрь заграждения не пропускать! – отрезал омовец.

– Ну вот, Олег Александрович! – обратился я к Румянцеву. – Где она, ваша Конституция?

Румянцев беспомощно и демонстративно развел руками, и мы, повернувшись, отправились обратно к метро...

Но спустаться в чрево метрополитена мне расхотелось, и я решил добраться до дома через «Белорусскую» и «Динамо» пешком.

Я шел по пустынным, притихшим в ожидании близкой беды улицам и вглядывался в Москву, за два года ставшую чужой и непонятной. Я остановился, рассматривая рекламные щиты, вчитывался в тексты, пытаюсь понять время, врасплох окружившее меня, раздумывал, делал какие-то записи в блокноте, фиксируя все язвы и метастазы новой эпохи...

Всякий общественный строй волей, верой, коллективным разумом вырабатывает свою идеологию. Она живет в речах и книгах, выявляется в действиях и поведении политиков. Но политики имеют дело с массами, и для них правящая элита всегда стряпает выжимки, концентраты, сгустки из своих политических программ и своего мировоззрения.

Помните лозунги советской эпохи? «Мир народам! Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим!», или «Пятилетку в четыре года!», или «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Они, эти лозунги и клише, были в свое время необходимы и полны живого биения общественной крови.

Потом их сменили казенные, лишенные энергии формулы, от которых никому не было ни холодно ни жарко: «Экономика должна быть экономной», «Народ и партия едины», «Храните деньги в сберегательной кассе».

Сегодняшнее время также тужится сочинить свои идеологемы.

Это даже не плакат, а скорее громадный экран: путана с томным взглядом предлагает новому русскому: «Поедем в Сохо!» Для широкого читателя поясним, что Сохо – это известный злачными местами, игорными и прочими сомнительными домами район Лондона...

А что стоит перл философско-рыночного агитпропа возле стадиона «Динамо»: «Если хочешь быть счастливым – будь им» – нарисованы мужчина с женщиной, в руках у мужчины пачка каких-то американских сигарет. Но рекламируются не только сигареты, рекламируется идея, что в этом мире все зависит от тебя самого. Текст по холодному цинизму напоминает изречения, висевшие в Освенциме: «Труд делает человека свободным». Вершина рыночно-демократической идеологии.

А как целенаправленно и подло на уличных и площадных стендах и на телеэкранах выхолащивается священный смысл высоких («сакральных») слов и понятий. Обратите внимание: чуть ли не в любой рекламе есть хотя бы одно высокое и близкое душе любого человека слово: «Колготки Сан-Пелегрино прочные, как истинные чувства». «Магги – вкус к творчеству», «Страсть как люблю казино Шатильон»... «новая эра напитков». Ну «эра» – и ничуть не меньше! У Белорусского передо мной возник Илья Муромец, распрямивший на фоне ночного неба мощные плечи, раскинувший крепкие руки лишь для того, чтобы произнести: «Богатырский шоколад, а цена все та же!» Слово «богатырский» осквернено, выпотрошено, использовано на потребу. Все как в повести Шукшина «До третьих петухов», когда черти, осадившие монастырь, предлагают монахам такие условия мира: «А вы вместо ликов своих святых – наши рожи на иконах намалуйте, и кланяйтесь им, и молитесь!»

Случайностей в этой коварной системе выхолащивания высокого смысла слов нет. «Это для м у ж е с т в е н н ы х мужчин, с и л ь н ы х д у х о м» – три сакральных слова ради рекламы какого-то паршивого одеколона.

А как не повезло слову «с о в е р ш е н с т в о!»! Передо мной на металлических опорах щит, на котором изображены сначала обезьяна, потом питекантроп, потом современный человек в обнимку с бутылкой какого-то немецкого пива, и все украшено надписью: «Путь к с о - в е р ш е н с т в у».

Поистине, в такого рода сюжетах дьявол хихикает и потирает руки, видя, как со свистом выходит дух святости из слов, который копился в них всю историю человечества, поскольку власти денег могли противостоять лишь святость, мужество, самоотверженность. Но этого мало. С особенным рвением мелкие бесы, ненавидящие все величественное, сводят счеты с советской историей.

Вот он – у часового завода – громадный квадрат; на фоне синего неба летят куриные тушки, а над их вереницей строка из гимна авиаторов 30-х годов: «Все выше, и выше и выше стремим мы полет наших птиц».

А такой шедевр вам не встречался? – Бритоголовый молодой толстячок с накачанными бицепсами в спортивной форме. «30 часов в сутки спорт» – и дальше фраза, в которой выплеснулась вся лакейская ненависть торгашей к героям: «Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Плевков в роман «Как закалялась сталь». Мародеры и импотенты издеваются над эпохой Чкалова, Водопьянова, Стаханова, Николая Островского...

Да, чтобы понять, что случилось с Россией, надо, сосредоточившись, пройти по пустынной ночной Москве. «Рабочий и колхозница» – поддерживавшие некогда, как атланты, равновесие мировой жизни, ныне вздымают на своих мускулистых руках какую-то ничтожную пачку сигарет. Скульптура гениальной Мухиной, словно

огненный сгусток расплавленного металла, вырвавшийся из жерла Магнитки и Кузбасса и застывший в холодном воздухе вечности!

А что дальше? Поскольку на водочных этикетках, на сигаретных пачках и в рекламных клипах давно уже мелькают лики Пушкина и Чайковского, Есенина и Гагарина – людей с духовным ореолом, – то остается только ждать, что скоро в рыночно-рекламный обиход врага рода человеческого внедрит лики Спасителя, Богородицы, Николая Угодника.

А как подло-продуманно оскорбляется женское естество рекламой пресловутых прокладок. Дело тут даже не в прямом натуралистическом комментарии к интимнейшим сторонам жизни женской природы. Если бы только это!..

Раз в месяц, согласно таинственным законам естества и лунного календаря, разработанного и утвержденного Создателем, женщина готовится к мистическому акту зачатия жизни. Се – тяжелый подвиг, требующий внутренней собранности, почти молитвенной сосредоточенности, целомудренной самоуглубленности... А на экранах TV – подобное состояние изображается как пустяковый, досадный и почти постыдный недуг, вроде инфекции или насморка, мешающего прыгать, танцевать, «оттягиваться»... Это и есть десакрализация самых что ни на есть священных для всех народов и религий глубин жизни. Расстреливать людей за то, что они не желают жить под властью тотальной «рыночной тирании»?! А Иисус Христос, Который за всю Свою земную жизнь, глядя на различные грехи, пороки и слабости людские, лишь однажды испытал чувство ярости: когда столкнулся с рыночным чудовищем, вторгшимся даже в храмы. И тогда он «начал выгонять продающих и покупающих в храме»; и «столы меновщиков (обменные пункты. – *Ст. К.*) опрокинул», «и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех» (Евангелие от Иоанна 2, 21).

Поистине – «вначале было слово», и потому сатанинский рынок в первую очередь пытается уничтожить его святость.



...Вот о чем я думал, когда брел по Москве сквозь строй рыночного агитпропа в холодную, пустую, чреватую бедой ночь второго октября 1993 года.

А осенью 1999 года – ровно через шесть лет – я убедился, насколько за эти годы жизнь приблизилась к апокалипсису, когда увидел на Зубовской площади – над фасадом десятиэтажного жилого дома – необъятный, занимающий полнеба стенд, который мог бы украшать какую-нибудь центральную площадь Содома или Гоморры: громадная рожа декольтированного существа, украшенная дебильной улыбкой, выпученные глаза, вывалившийся язык и текст: «Оргия гуманизма в гостинице “Редиссон-Славянская”. Ежедневно с 24 часов. Дети до 16 лет не допускаются»...

Ну как тут не возненавидеть «гуманизм» вместе с «мужеством», «совершенством», «богатством» и «творчеством»!

В октябре 93-го на берегу Москвы-реки был расстрелян не просто парламент...

\* \* \*

Третьего октября в шесть часов вечера я на своей машине подъехал к телевизионному центру «Останкино».

В восемнадцать тридцать в передаче «Русский дом» должен был начаться наш разговор с ведущим Александром Крутовым и поэтессой Ниной Карташевой о Сергее Есенине, разговор, приуроченный ко дню рождения поэта – четвертому октября.

Я вышел из машины, проверил, со мной ли несколько четвертушек бумаги – мои размышления о Есенине, которые я обдумывал последние два дня и очень дорожил ими, считая, что сделал некоторые открытия, и двинулся к центральному входу... Мелькнула беглая мысль: почему-то перед центральным входом нет машин – обычно тут бывает трудно припарковаться. На ходу отметив подобную странность, я толкнул

вертящуюся стеклянную дверь и попытался войти в вестибюль. Но не тут-то было. Два человека в пятнистой форме с автоматами на груди перегородили мне дорогу:

– Телецентр закрыт!

– Как закрыт? У меня через полчаса передача, меня ждет Александр Крутов.

– Ничего не знаем. Все сотрудники отпущены уже в четыре часа. Бюро пропусков закрыто. Уходите. Только поворачивайте сразу налево. А то если пойдете направо, вас могут обстрелять...

Совершенно ошеломленный, я вышел из вестибюля и огляделся: пустынная площадь, лишь возле углового входа, близкого к концертному залу, стояла небольшая толпа – несколько десятков человек – и слушала какого-то оратора. От нечего делать я подошел к кучке людей, сгрудившихся на ступеньках наглухо закрытого бокового вестибюля. Человек с мегафоном что-то говорил о преступлениях режима, о фашиствующем ОМОНе, рядом, вдоль стены, сливаясь с серым камнем, стояла цепочка солдат, к которым время от времени подходили женщины и уговаривали солдатиков-дзержинцев не ввязываться в борьбу с народом. Солдаты молчали, слушали, не спорили.

– Да здравствует наша народная армия, которая никогда не станет стрелять в народ! – провозгласил человек с мегафоном. – Ура-а!!! – Его возглас подхватили люди, стоящие на ступенях. Солдаты молча и растерянно переглядывались, крутили головами, явно чувствуя себя не в своей тарелке...

– Читайте списки палачей России! – раздался голос у меня за спиной. Я оглянулся: желтоволосый паренек в замызганной голубой куртке торговал какими-то тощенькими брошюрками.

– Что у тебя?

– Списки палачей России 1919–1939 годов.

Я перелистал брошюрку с фамильными списками ЦК, Комиссариата иностранных дел, ЧК, ОГПУ, НКВД... Ягода, Агранов, Френкель, Гамарник, Берман, Фриновский, Якир...

– Спасибо, я все это знаю.

– Все знать невозможно!

Паренек отвернулся от меня и замахал брошюрой:

– Читайте списки палачей России!

А между тем народ стал прибывать со стороны ВДНХ, как вода во время половодья. Повалили сразу толпами, какие-то автобусы подъезжали с людьми – возбужденными, разгоряченными, только что, как я потом выяснил, прошедшими горячий путь от Крымского моста к мэрии и Белому дому.

– Мэрия наша!

– Белый дом освобожден!

– Блокада прорвана!

– Ура баркашовцам!

Я оглядывал снующих взад-вперед людей – в куртках, в сапогах, в телогрейках, безоружных (лишь у некоторых, вновь прибывших на автобусе и пытавшихся ровным строем войти в ворота перед вестибюлем, были щиты, видимо отобранные у омоновцев). Но на лица было радостно смотреть – живые, возбужденные, одухотворенные, с горящими от победного восторга глазами.

– Мэрию взяли – даешь «Останкино»!

«Вот так же пугачевцы взяли Белогорскую крепость и закричали: “Даешь Оренбург!”» – подумалось мне.

Неожиданно в клубящейся толпе я столкнулся лицом к лицу с журналистом, когда-то работавшим в «Останкино»:

– И чего они шумят, кругами ходят? Если брать «Останкино», то надо брать вон то маленькое здание, где технические службы. А тут делать нечего...

– Ну скажи им об этом!

– А кому сказать-то? – Он поглядел на меня выпученными глазами. – Я только что от мэрии! Ну, баркашовцы молодцы, бесстрашные ребята. Заместителя Лужкова Брагинского захватили, главного мафиози!

Чтобы унять волнение, мы отошли в сторону, закурили.

– А где твоя машина? – спросил он. Я показал ему на моего одинокого «жигуленка», стоявшего перед центральным входом.

– Слушай, дело серьезное, тут кровью пахнет, ты бы его отогнал куда-нибудь в переулок.

Я послушал его, отогнал машину в торец техцентра и вернулся обратно. Интересно, чем все-таки все закончится. История на глазах творится!

...Холодный осенний закат освещал волнующуюся и все увеличивающуюся толпу, не знающую, что ей делать дальше, и какое-то внутреннее напряжение от этого незнания нарастало в воздухе с каждой минутой. Время от времени некие авторитетные лидеры, стоявшие на ступеньках возле микрофона, выбегали на проезжую часть и из-под ладони вглядывались в приближающиеся машины и автобусы:

– Наши едут или не наши?

Машины приближались, и вздох облегчения вырывался из глоток:

– Наши!

Вдруг меня осенила мысль: а почему бы не пробиться к мегафону и не прочитать две странички из моих размышлений о Есенине? Ведь в них идет речь об освобождении России, а это освобождение вершится сейчас на моих глазах. К тому же не худо напомнить мятущейся толпе о том, что завтра день рождения ее великого поэта. Подавши плечо вперед, я стал протискиваться по ступенькам к человеку с мегафоном, но через несколько шагов уперся в плотную людскую массу.

– Куда лезешь?

– Я слово хочу сказать!

– Какое слово, кто ты такой?

– Я редактор журнала «Наш современник», должен был выступить сегодня по телевидению, у меня есть небольшое слово о Есенине...

– Ну, мы Есенина уважаем и ваш журнал тоже, но разве не видите, что творится? Народное восстание, конец оккупационному режиму! Вот возьмем «Останкино», тогда и расскажешь о Есенине... А сейчас смотри, народ к техцентру двинулся, пошли!

Мы перетекли через дорогу и расположились возле бордюра, обрамлявшего подземный переход. Вечерело. Осенние сумерки наваливались на Москву, лишь алая полоса заката со стороны Ботанического сада освещала море людей, отсвечивалась в стеклянных стенах техцентра, где на втором этаже можно было видеть сквозь щели в шторах какое-то движение, перемещение фигур, не предвещавшее всем стоявшим внизу ничего хорошего.

– Какая сволочь Ельцин! – выругался кто-то за моим плечом. – До чего довел народ – до бунта. Ну, теперь все рухнет... Анархия... Пугачевщина!

Я оглянулся. Трое молодых людей, упакованных в дорогие модные пальто и кожаные куртки, стояли за мной и нервно всматривались в стеклянную громаду телецентра. Один из них узнал меня:

– Здравствуйте, а мы из «Коммерсант дейли». Ну, скажите честно, если вы придете к власти, вы наше издание не закроете?

– Ну что вы, – как можно радушнее улыбнулся я. – Вот у нас-то и будет настоящая демократия!

...А людское половодье все прибывало и разливалось все шире, захватив широкий тротуар и проезжую часть перед телецентром. Резкий октябрьский ветер трепал в наступающих сумерках и красные, и черно-золотые монархические флаги; московские гавроши, как галки, торчали на деревьях, вглядываясь в группу людей, пытающихся пройти через центральный вестибюль в осажденное здание.

– Макашов приехал, Макашов! – зашелестело в толпе, и как будто в ответ на этот шелест мелькание теней на втором этаже стало более быстрым и лихорадочным.

Я обратился к «дейликоммерсантам»:

– Давайте-ка, ребята, поближе к бордюру, в крайнем случае, когда что-либо начнется, укроемся.

– А начнется? – со страхом спросил меня один из них.

– Конечно же, начнется...

И как бы в подтверждение моих слов из сумерек, раздвигая толпу, словно громадный звероящер, выполз то ли «КрАЗ», то ли «КамАЗ», развернулся и уставился своим рылом в застекленную дверь центрального входа. У меня сжалось сердце: идиоты, неужели будут таранить двери? Ведь для того чтобы войти в вестибюль, достаточно взять длинные водопроводные трубы, которые грудой были навалены на тротуаре вдоль всего застекленного первого этажа, выбить стекла, и через пять минут хоть сто, хоть тысяча человек гуляла бы по коридорам и аппаратным техцентра. Но кому-то захотелось эффектного зрелища, которое потом сотни раз тиражировалось на экране!

Почти уже в полной темноте металлический звероящер подполз к входу, чуть разогнался и с ревом ударил в стеклянную дверь своим тупым рылом. Зазвенели стекла, толпа взвыла от ужаса и восторга. Звероящер дал задний ход и опять с разгона попытался въехать в вестибюль, но его высокая кабина не пролезала под перекрытие, и машина, вонзив рыло в дверной проем, застряла. Водитель, видимо, ошалев от ярости, снова включил задний ход, снова разогнался вперед, пытаясь протиснуть машину в чрево здания, и снова она загрохотала, застонала, заскрежетала и не пролезла под бетонное перекрытие первого этажа. Во тьме ревел на холостом ходу мотор, с криками колыхались туда-сюда людские массы, звенели стекла, и мы, как оглушенные, смотрели на эту отчаянную попытку взять бастион четвертой власти в конце двадцатого века пугачевским нахрапом... «КрАЗ» снова дал задний ход, и вдруг от вестибюля донеслись угрожающие крики:

– Отойдите! Отойдите от дверей как можно дальше!

Толпа, видимо, узрев что-то недоступное моему взору, – мы все-таки стояли метрах в пятидесяти от входа – подалась, и вдруг меня ослепил блеск пламени и оглушил грохот.

«Гранатомет!» – мелькнуло у меня в сознании, и в следующий миг над нашими головами раздались автоматные очереди со второго этажа, оттуда, где все время мелькали какие-то тени. Гильзы звонко зацокали о бетонные плиты, и мы рухнули за спасительный гранитный бор-

дюр, прижимаясь друг к другу... Когда через несколько минут стрельба ослабла, я поднял голову, увидел в темноте лежащих, встающих, шевелящихся, начинающих передвигаться людей и сам короткими перебежками, почти на четвереньках, выбрался, как мне показалось, в «мертвую», непростреливаемую зону в направлении цоколя и побежал к моей одиноко стоявшей машине. Несколько автомобилей, возле которых я поставил свой, уже на тротуаре не было...

По дороге я вдруг заметил лежащего за фонарным бетонным столбом паренька в голубой куртке, рядом с ним валялись разбросанные, шевелящиеся от ветра брошюрки. Одну из них, наклонившись, я схватил на память об этом дне: «Списки палачей России 1919–1939 годов». 3 и 4 октября эти списки щедро пополнились...

Вечером, возбужденно и судорожно рассказывая дома обо всем, что видел, я вдруг нащупал в кармане и эту брошюрку, и мои несколько листочков-четвертушек – записей о Сергее Есенине, которые мне не удалось прочитать ни на «Русском доме», ни на улице... Вот они, эти странички. Не пропадать же им.

«Если бы сегодня Сергей Есенин поглядел на нашу воровскую приватизацию, на нашу Москву, облепленную вульгарными иностранными ярлыками, на наше пошлейшее рекламно-телевизионное безобразие, поглядел бы на псов-рыцарей, защищающих режим на Пресне со щитами, касками и дубинками, он, конечно, повторил бы свою бессмертную строчку: “В своей стране я словно иностранец” и снова бы вспомнил: “Страна негодяев”... Иностранцем можно быть только в стране негодяев. Я думаю о сегодняшнем противостоянии сил и вспоминаю отрывки из мемуаров Галины Бениславской. Во время работы над “Страной негодяев” однажды ночью хмельной Есенин сказал ей: “Это им не простится. За меня отомстят. Пусть лучше не трогают. Посадят – пусть сажают. Еще хуже будет. Мы злые, когда нас озлобят. Лучше не трожь. Не надо”. Слова, записанные Галиной Бениславской в одну из московских роковых ночей 1924 года. В этих словах – пророчество. Троицкий, Ягода, Зиновьев, Свердлов, Агранов... Действительно,

Есенин жил в стране негодяев. А что, сейчас в стране Чубайса, Гайдара, Бурбулиса – лучше? Но меня могут спросить: если Есенин думал о России как о стране негодяев, чувствовал себя то иностранцем, то пасынком, то как же это совмещается с его признаниями в любви к Родине, с желанием быть гражданином в “великих штатах СССР”? И вообще, советский или антисоветский поэт Сергей Александрович Есенин? В приговорах 1937 года, вынесенных его друзьям, он проходит как поэт “антисоветский”. Из дела Петра Орешина: “Материалами следствия установлено, что еще в 1923 году обвиняемый Орешин являлся участником антисоветской группы реакционных поэтов С. Есенина, С. Клычкова, Н. Клюева, вместе с которыми в 1923 году за активные антисоветские действия привлекался к уголовной ответственности”. В сущности, антисоветским поэтом объявил Сергея Есенина главный идеолог эпохи 20-х годов Николай Бухарин в “Злых заметках”. Да и сам поэт не раз давал к тому прямые поводы: “Перестая понимать, к какой революции я принадлежал” (1923 г.), или “какую-то хреновину в сем мире большевики нарочно завели”... Да примеров много! Но можно и возразить: как же так! Есенин не раз признавался в любви к революции и книги свои называл “Русь советская”, “Страна советская”, клялся в том, что “отдам всю душу октябрю и маю...” Да. При желании можно доказать, что Пушкин – поэт свободы, а можно доказать и другое, что Пушкин – поэт империи. Можно убедительно изобразить Есенина и певцом советской власти, и, если очень захотеть, – стихийным противником коммунистического режима. И то, и другое будет справедливым. Все дело в двойственной природе нашей революции. Есенин, так же как Блок и Клюев, как легендарный казак Миронов или Нестор Махно, принял революцию как надежду на возрождение и расцвет России, как выход России к народовластию, к русской народной демократии, идущей на смену бюрократическому имперскому государству. Говоря современным языком, он был “национал-патриотом”. Вспомним “Анну Снегину”. Ее герои Прон Оглоблин, Лабутя – люди с большими изъянами, комбедовцы, голытьба, своего рода деревенские шариковы, и все же они куда



ближе и роднее Есенину, чем комиссар Чекистов из “Страны негодяев” или Карл Маркс, которого “ни при какой погоде” Есенин, по собственному признанию, “не читал”. А его земляки – вожди низов, деревенской черни, родственные Хлопуше, – люди русского народовластия. Но это народовластие чаще всего сосредотачивалось не где-нибудь, а именно в Советах, и объективно противостояло интернационально-масонскому криминальному братству партийной и чекистской верхушки, которая в борьбе за власть оказалась куда более подготовленной и изощренной, нежели русские национал-патриоты. И Прона Оглоблина, и Лабутю, и Замарашкина, и Номаха гораздо естественнее можно представить себе в антоновских дружинах, нежели в кремлевских кабинетах. Есть много свидетельств того, что Есенин как никто другой ощущал борьбу двух этих сил, волею судьбы запряженных в одну систему, но и в ней продолжавших бороться друг с другом.

Противостояние еврейского функционера Чекистова-Лейбмана и русского революционера-технократа Рассветова из “Страны негодяев”, в голоса которых вливается голос поэта, четко обозначает борьбу национального и космополитического в недрах режима той эпохи:

Еще не изжит вопрос,  
Кто ляжет в борьбе из нас.  
Честолюбивый росс  
Отчизны своей не продаст.  
Интернациональный дух  
Прет его на рожон.  
Мужик, если гневен не вслух,  
То завтра придет с ножом...

Это мысли то ли Есенина, то ли Рассветова... Но все продолжается, как было в начале 20-х годов. Снова, но в другом обличье, “интернациональный дух”, на этот раз не коммунистический, а буржуазный, “прет на русский рожон”...

Есенин понимал антирусскую природу верхушки большевистской компартии (она обрусела лишь через двадцать лет после сталинских чисток), когда писал в стихотворении о Ленине: “Ведь собранная с разных стран, вся партия – его матросы”...

Так что советский или антисоветский поэт Есенин – решайте сами. Русское движение к демократии и к народовластию он принимал. Антирусскую деятельность всемирного интернационала – “граждан из Веймара” – отвергал с брезгливостью и ужасом. Но драма поэта была в том, что и та, и другая силы жили под вывеской одной идеологии и одного режима. И Есенину в конечном счете оставалось одно – поставить свое призвание выше всех политических пристрастий. Что он и сделал: “Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам...”

А потому он и великий русский поэт».

\* \* \*

Пятого октября ко мне в редакцию пришел пожилой человек, небритый, с землистым лицом и безумным взглядом.

– Вы знаете, что вчера творилось в Останкино? На моих глазах две женщины, хорошо одетые, прогуливались в роще за прудом с собачками... Дорогими, породистыми... Бэтээры начали стрельбу по деревьям, под которые убегали от телецентра люди. Одну женщину с собачкой ранило в плечо, а другой пуля разбила голову. И я видел, как собачка-такса бегала вокруг мертвой хозяйки и скулила!

В тот же день в газете «Известия» было опубликовано позорное письмо 42 писателей, озаглавленное так: «Писатели требуют от правительства решительных действий». Судить, сажать, закрывать газеты, арестовывать. Ну, с Черниченко и Оскоцкого взятки гладки, они поистине бешеные. Но каково было читать, что это письмо подписали Ахмадулина, Левитанский, Кушнер, Таня Бек... Тонкие лирики, сердцеведы, поклонники Мандельштама. Помнится, что Мандельштаму очень нра-

вились строчки Есенина: «не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам». Да и сам Осип Эмильевич исповедовался эпохе: «не волк я по крови своей»; «чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе». А этим, якобы любящим Мандельштама, нашим поэтам хочется «решительных действий», они жаждут увидеть «кровавые кости в колесе», они «волки» по своей крови, до сих пор носившие для маскировки овечьи шкурки. Впрочем, Кушнер иногда проговаривался и раньше: «Дымок от папиросы да ветреный канал, чтоб злые наши слезы никто не увидал».

Немного времени прошло, а из этого списка призывавших к репрессиям многих уже нет с нами: Адамовича, Анфиногенова, Ал. Иванова, Нагибина, Лихачева (да, да, «совести» русской литературы! – *Ст. К.*), Савельева, Окуджавы, Разгона, Рождественского, Селюнина, Левитанского, Дудина, Иодковского... Они жаждали людского суда над своими коллегами, а не все случилось иначе. Поистине вспомнишь вещие слова русского поэта: «Но есть, есть Божий суд»...

*Из литературного дневника тех дней*

«Раздавите гадину!» – заклинал с пеной у рта один из сорока двух подписантов, Юрий Черниченко, компанию молодых ребят, встретившихся ему на вечерней московской улице в кровавые октябрьские дни. Тут же рядом с Черниченко каким-то образом оказался телеоператор, записавший на пленку каннибальские призывы летописца брежневской эпохи. Откуда молодым людям было знать, что перед ними брызжет слюной не просто рассерженный пожилой человек, а один из главных певцов целины, автор киносценария о косноязычном генсеке, придворный журналист одного из самых могущественнейших и криминальных секретарей обкомов КПСС – краснодарского князька Медунова? Если он под «гадиной» подразумевал коммунистическую партию, то надо признаться, что он очень хорошо обслуживал ее в свое время. Но дело уже не в политическом лакействе, а в позорном невежестве писателя. Забыл он, должно быть (а может, и

никогда не знал), что призыв идеолога кровавой Французской революции Вольтера «раздавите гадину» относился к католической Церкви Франции и что этим призывом воспользовались палачи-якобинцы. Воплощая в жизнь безумный лозунг Вольтера, они жгли и грабили по всей Франции монастыри и церкви, вспарывали животы провинциальным священникам, топили их в Сене и Луаре сотнями, насиловали монахинь и справляли атеистические шабаши по всей несчастной стране, предвосхищая деяния нашего антицерковного чекиста Губельмана-Ярославского, который тоже призывал «раздавить гадину» – Русскую Православную Церковь.

Если бы молодые люди, перед коими у ночного костра на московской улице выступал Черниченко, знали, чем закончился призыв «раздавите гадину» во Франции, – они бы отшатнулись в ужасе от полуночного агитатора, как от зачумленного. А именно таким он остался на телевизионной пленке: сумасшедшие, выкатившиеся из орбит глаза с кровавыми отблесками в них ночного пламени, лысый, сверкающий от бликов, потный, крупный, почти ленинский череп, искаженное, перекошенное от ярости и страха лицо, оскаленный рот с кариесными зубами, из которого несетя утробное «раздавите-е!».

...Возле стадиона «Авангард», что на Красной Пресне, стоит Крест, окруженный временной оградой, у Креста горят свечи, лежат цветы, шевелятся под ветром траурные ленты... На стене стадиона имена погибших, стихи, проклятья палачам, фотографии погибших и пропавших без вести. На том месте, где стоит Крест, погиб в октябрьские дни украинский священник. Когда из бронетранспортера лихие таманцы полоснули по толпе свинцом, отец Виктор бросился навстречу машине в священническом одеянии с крестом, поднятым над головой. Он надеялся, что стрелок, сидящий за пулеметом, прекратит стрельбу. Но молодой палач нажал на гашетку, и отца Виктора прошла свинцовая очередь, он упал, и стальная громада переехала бездыханное тело. Вот так буквально исполнилось требование писателя и члена Государственной думы Юрия Черниченко: раздавили...

\* \* \*

В 1995 году слуги и пропагандисты ельцинского режима, чтобы оправдать октябрьское кровопролитие, издали громадную семисот-страничную книгу «Москва. Осень-93. Хроника противостояния».

Я, как очевидец останкинских событий, первым же делом перелистал страницы, их касающиеся, и сразу понял: книга эта замешена не только на крови, но и на лжи.

«К 19.00 подъехали несколько десятков грузовиков с вооруженными защитниками Белого дома... Они были вооружены автоматами» (стр. 381).

Ложь. Свидетельствую: кое-кто был вооружен омовскими щитами и дубинками, отобранными у защитников мэрии. Автоматов ни у кого не было.

«Один из боевиков Макашова произвел выстрел из гранатомета по ГТЦ...» (стр. 383).

«Два оглушительных взрыва прогремело возле самых дверей, и сразу же с обеих сторон заговорили автоматы» (стр. 385).

«Прорезав толпу, два “Урала” стали попеременно таранить стеклянный холл здания» (стр. 384).

Ложь и в большом и в малом.

До сих пор неизвестно, что за провокатор («боевик Макашова») произвел единственный выстрел из гранатомета; автоматы заговорили лишь с одной стороны – со второго этажа телецентра, где, словно бы ожидая гранатометного сигнала, сидели наизготовку спецназовцы из «Витязя»; и «Уралов» было не два, а один...

Я понимаю, каков был заказ составителям и авторам этого сборника: убедить общество, что в «Останкино» был настоящий многочасовой бой с могучими, до зубов вооруженными «профессионалами-боевиками», а не просто хладнокровный расстрел безоружной толпы.

«Выйдя на “переговоры”, нападавшие открыли огонь из-под белого флага» (стр. 388).

«Около семи вечера Александр Шашков, готовивший выпуск “Вестей”, сообщил, что начался обстрел здания телецентра, вокруг вооруженные гранатометами боевики, разбиты окна концертного зала» (стр. 389).

«А вокруг шел бой» (стр. 392).

Все неправда. Однако, чтобы выдать ложь за правду, дополнительно к профессиональному лгуну Шашкову приводится мнение «профессионала».

«Из докладной записки зам. командующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенанта П. В. Голубца»(стр. 405–415):

«Мятежники готовятся к штурму... Они убрали отсюда безоружных людей, на площади остались одни боевики».

«О том, что действуют профессионалы, я понял сразу: по выбору объекта, интенсивности огня и настойчивости штурма». (А на стр. 384 читаем нечто противоположное: «По их осанке и оснащению было видно – непрофессионалы» – совсем запутались в своей мелкой лжи!)

«Нами были отбиты три атаки. Поймите, состоялась не просто короткая перестрелка, а три атаки». (Свидетельствую: не то что трех атак – даже «короткой перестрелки» не было. – *Ст. К.*)

«Тремя выстрелами из гранатометов (на стр. 385 сказано, что было два, на самом же деле один. – *Ст. К.*) был дан сигнал для начала штурма».

А вот как излагает генерал историю гибели французского журналиста Ивана Скопана, который оказался «в толпе штурмующих» (да, я видел, как он упал, когда «витязи» осыпали толпу автоматными очередями), а потом, когда его, раненого, выносили с площади, откуда-то раздалась прицельная очередь, по поводу которой Голубец «профессионально» заключает: «Мятежники его добились». Вот вам и «честь имею»! Получил орден «За личное мужество». Еще бы, так расписать геройство частей, которыми он командовал: «...мужество наших ребят, которые два с лишним часа выдержали жестокий огневой бой» (стр. 413).

«Под огнем лежали два часа. И просто чудом не были поражены, ведь огонь был сумасшедшим. Как эти люди остались целы, это просто счастье. Бог спас» (стр. 415).

Еще бы не чудо: в окрестностях телецентра осталось лежать более сорока трупов. Но как «хорошо подготовленные профессионалы, вооруженные автоматами и гранатометами», не нанесли никакого урона спецназовцам и бэтээровцам, которые расправлялись с ними, как с цыплятами?! Эх, генерал, генерал, «три атаки» отбил, звездочку очередную получил на погоны, орден «За личное мужество»... Да за такую ложь – погоны срывать надо!

В заключение хочу только добавить, что эта книга, вышедшая двумя изданиями (тираж 100 тысяч), была за баснословные гонорары составлена несколькими журналистами и одним известным литератором Валентином Оскоцким. А чего холуям было осторожничать, когда их пахан Ельцин, не стесняясь, лгал в «Записках президента» (стр. 381, 130) о том, что «боевики, в арсенале которых были гранатометы, бронетранспортеры», «захватили два этажа телецентра “Останкино” и Дом звукозаписи и радиовещания на улице Качалова».

...На другой день был сыгран последний акт российской трагедии – расстрелян парламент.

Министр МВД Ерин «за мужество и героизм» получил звание Героя Российской Федерации, генералы Грачев и Кобец – ордена «За личное мужество», но ближе всех в эти роковые дни к Ельцину были, наряду с Гайдаром и Лужковым, его верные опричники Коржаков и Барсуков.

Через три года после октябрьской трагедии я приехал по приглашению тульского губернатора Василия Стародубцева на Куликово поле. После наших выступлений перед многотысячной толпой по знаку губернатора его свита и гости двинулись в направлении небольшой рощицы на краю поля, вошли в нее и очутились возле громадной армейской палатки, внутри которой на простых, вкопанных в землю дощатых столах стояла водка, лежали хлеб, колбаса и огурцы. Продрогшие на поле под порывами сентябрьского ветра, мы стоя (ни стульев, ни лавок

в палатке не было) выпили из пластмассовых стаканчиков за защитников России всех времен, и вдруг представитель президента по Тульской области предложил тост за здоровье своего хозяина. Многие демонстративно отодвинули пластмассовые стаканы, а я, обратившись к своему соседу – рыжеусому человеку средних лет, сказал:

– Наверное, здесь есть местный фээсбэшник, и представитель президента, зная это, поднял лакейский тост, чтобы в Москве о нем доложили...

Рыжеусый усмехнулся:

– Да, вы правы, и местный фээсбэшник здесь – это я. – И, не дав мне времени удивиться, видимо, для того, чтобы показать, каких он убеждений, добавил:

– Видите рядом со Стародубцевым генерала и полковника? Так вот эти суки из Тульской ВДВ Белый дом Ельцину помогали расстреливать...

### *Из литературного дневника тех времен*

Свежий номер еженедельника «Литературные новости» открывается горестной и сногсшибательной сенсацией: над портретом Булата Окуджавы напечатан следующий абзац: «40 миллионов погибших – вот страшный вывод совместной российско-американской комиссии по оценке потерь в Великой Отечественной войне. Соотношение с потерями врага 10:1. Вот цена победы».

Поскольку официальная цифра немецких потерь, всех – и военных, и среди мирного населения, и умерших от ран и бомбежек, – общепринятая в Европе, приблизительно равна 8 миллионам, то, по логике «Литературных новостей» (десять к одному), мы должны потерять не сорок миллионов, господа журналисты, а восемьдесят. То есть ровно половину населения тогдашнего Советского Союза.... И не стыдно вам врать-то? Ну хотя бы бывшие фронтовики, члены редколлегии, тот же Окуджава или Нагибин, пристыдили своих присяжных борзописцев. Ну хотя бы Артем Анфиногенов, который на этой же полосе объявлен



«честным летописцем фронтового братства», сказал своим молодым мерзавцам: «Ребята, побойтесь Бога. Мы и так понесли тяжелейшие потери – двадцать с лишним миллионов... Неужели вам этого мало? Неужели вы так ненавидите Россию и победоносный Советский Союз, что со сладострастным садизмом хотите, чтобы погибших было не двадцать миллионов, а сорок или, еще лучше, – восемьдесят?!»

Стыдно, господа! Но вам ведь, как говорит народная пословица, «хоть ... в глаза – все божья роса!»

Недавно праздновали юбилей Окуджавы – бесчисленные передачи, затмившие День Победы, радио с утра до вечера гоняло окуджавские песенки, газеты пестрели его портретами, а я глядел на все это и думал: «Нет, все-таки талантливый человек! Как умеет перевоплощаться! Когда нужен был патриотический шлягер, когда за патриотизм хорошо платили – написал знаменитую песню к фильму “Белорусский вокзал”: “А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим”. Помню, как со слезой пел ее покойный Евгений Леонов... А когда мода на патриотизм прошла, когда за “антипатриотизм” стали платить больше, тот же Окуджава быстро сформулировал, что патриотизм, мол, никчемное чувство, что “чувство патриотизма есть даже у кошки”, и потому незачем гордиться этой модой.

А кровавая бойня третьего-четвертого октября? В сущности, она была гражданской войной в миниатюре. А ведь тот же Окуджава когда-то пел знаменитые строки: “Я все равно паду на той, на той единственной гражданской...” Вспоминал я эти строки в часы октябрьской бойни и думал: “Где Окуджава? В ряду головорезов Ерина, а может быть, рядом с Руцким и Хасбулатовым? Вроде звездный час его наступил, гражданская война, обещал пасть на ней, последний шанс: не упустил бы” ...Ан нет! Недооценил я талант поэта, способность его гениальную к перевоплощению. Посмотрел он на все происходящее по телевизору и заявил на всю страну, что для него эта трагедия была как захватывающий душу детектив и что он с нетерпением ждал развязки, чем это кончится...

Нет, что ни говори, удивительно талантливый человек!»

\* \* \*

В книге «Москва. Осень-93» есть много исторических фотографий. В одну из них я вглядывался особенно пристально. Ночь с 3-го на 4 октября, брусчатая площадь перед собором Ивана Великого. Над землей плотный слой мрака, который по мере восхождения к небу рассеивается, и на небесном фоне, словно бы вырастая из тьмы, восстает знаменитая колокольня.

На переднем плане вертолет и три мужские фигуры, лица которых высвечены фотовспышками: Ельцин, Коржаков и Барсуков, породистые мрачные мужики в плащах и костюмах с иголки, в модных галстуках, сверкающих ботинках...

Их лица, выступающие из мрака, предельно сосредоточенны. Еще бы! Решалась судьба каждого из них. К вечеру следующего дня Коржаков и Барсуков пришли доложить Ельцину об окончательной победе над парламентом и его защитниками. А у президента уже шло пиршество: «Торжество в честь победы началось задолго до победы... Мы с Мишей Барсуковым умылись: вода была черная от копоти, ружейного масла и пыли... Гулять начали с четырех часов, когда мы самую неприятную работу делали» (Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 198–199).

Барсуков, удостоверившись, что спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» не желают штурмовать парламент, вел себя особенно подло: «Тактика у Барсукова была простая: пытаться подтянуть их как можно ближе к зданию, к боевым действиям. Почувствовав порох, гарь, окунувшись в водоворот выстрелов, автоматных очередей, они пойдут и дальше вперед» (Ельцин Б. Записки президента. С. 11–12).

...Через полтора года, весной 1995-го, в необъятном зале за громадным полированным столом человек двадцать русских писателей встретились с Михаилом Барсуковым.

Барсуков – во главе стола, на председательском месте под портретом Ельцина. Над входом в кабинет висел портрет Феликса. Дзержин-

ский и Ельцин глядели в глаза друг другу, и Феликс с иезуитской тонкой усмешкой как бы говорил Борису:

– Зачем памятник снес? Ведомство, созданное мною, тебе понадобилось... А памятником в угоду черни пожертвовал? И не стыдно?

Отвлекаясь от этого безмолвного разговора, я вслушался в слова Барсукова:

– Новолипецкий металлургический комбинат стоит 3,5 млрд долларов. Акции его скуплены за 50 миллионов, за 3 процента истинной стоимости! Коллектив завода вначале владел 51 процентом акций, сейчас у него всего лишь 3 процента. Мы вынуждены были начать операцию в Чечне, поскольку шел захват чеченской мафией Краснодарского и Ставропольского края, туапсинского нефтяного терминала, сорок восемь миллионов тонн нефти ежегодно пропадало в Чечне... План создания Великой Ичкерии – не химера. Чеченские беженцы – составная часть этого плана. Двести тысяч чеченцев переместились в Дагестан, они выживают с родных мест аварцев и кумыков. Под Волгодонском их живет двадцать тысяч, под Волгоградом – более тридцати. Идет ползучее завоевание России, вытеснение русских со Ставрополя, из Краснодарщины. А в Москве что творится? Чеченский рейнджер Ходжа Нухаев контролирует семь казино! Сколько денег через эти казино идет на вооружение Чечни – даже мы не знаем. (Напоминаю: все это произносилось открытым текстом в кабинете шефа службы госбезопасности. – С. К.)

Я, озадаченный, оглядел своих товарищей, все сидели, не понимая, почему министр госбезопасности столь рискованно, откровенно и серьезно докладывает нам, писателям, факты и цифры, о которых он должен бы информировать президента, премьер-министра, Совет безопасности.

Зачем мы ему? С какой целью? Как будто бы он у нас просит понимания и помощи? Да еще полтора года назад, во время октябрьского восстания, он вместе с Гайдаром и Чубайсом прижимался к Ельцину, а сейчас говорит почти как Зюганов или даже Анпилов... Что случилось?

А Барсуков продолжал:

– Экономическая политика приватизации – главная причина чеченской войны. Поглядите на карту – вам не страшно чувствовать, как сжимается вокруг России южный мусульманский пояс – Чечня, Абхазия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Турция? Целостность России – сегодня на карте...

В стране процветает региональный финансовый эгоизм, разрывающий ее. На Юге России средняя зарплата 128 тысяч рублей, а в Тюменском крае у нефтяников и газовиков – 5 миллионов. Там работают вахтовики, среди которых многие не являются гражданами России. Деньги, заработанные ими, уходят из России. Но главные каналы бегства денег за рубежи России – это наши коммерческие банки. Их сейчас – две тысячи шестьсот, полторы тысячи из них – банки типа «Чара». Они неизбежно должны лопнуть, западный капитал захватит их, и Россия будет банкротом. Никакого контроля за вывозом денег через эти банки, которые в основном находятся в руках еврейской финансовой мафии, нет...

Я ушам своим не верил: руководитель службы безопасности сознательно бросает вызов – и кому? Еврейской финансовой мафии! На это можно решиться лишь в двух случаях: если в государстве созрели все условия для ее свержения и внутреннего переворота или... если ты проиграл в тайной схватке с нею, завтра тебя вышвырнут из кабинета, а ты на прощанье принял решение так хлопнуть дверью, чтобы весь мир услышал! Или от полной русской самонадеянности...

А Барсуков уже совсем закусил удила:

– В МВД у нас сегодня два с половиной миллиона человек, в армии меньше двух, денег не хватает ни тем, ни другим. Долг перед армией – десять триллионов. Почему? Да потому, что налоги собираются всего лишь на сорок три процента. Разгосударствление жизни – вот главная причина наступившей катастрофы. Записки нашего ведомства о ее причинах и методах борьбы с нею, которые мы посылаем в правительство, возвращаются назад... Думаете, мне легко наблюдать все это? – Голос Барсукова задрожал, неожиданная драматическая нота личной боли по-

явилась в нем. – Я же из крестьянской семьи, из липецкого села, я сам до двадцати лет косу из рук не выпускал, приезжаю на родину, вижу – все хозяйство на боку лежит. А Запад? Он радуется. Еврейские деньги разрушили Советский Союз, и надежды на западную помощь – нам надо давно зарыть. Клинтон – наполовину еврей, его преемник Альберт Гор – еврей в чистом виде... А наших воров надо сажать! – И, словно бы продолжая заочный спор с кем-то, добавил: – Но Чубайса оставьте мне...

Я обвел взглядом кабинет Барсукова. Чуть поодаль от него спокойно сидели два генерала, слушая все, что говорит начальник, как само собой разумеющееся. У дверей помощник – бравый офицер, который и приглашал всех нас на встречу с министром. Перехватив мой взгляд, он подмигнул мне. Мы с ним знакомы по архивным делам, когда с сыном писали книгу о Есенине...

...Через год общими усилиями Березовского, Гусинского, Чубайса и еврейских банкиров Барсуков вместе с Коржаковым были вышвырнуты из своих кабинетов и лишены всякой власти... Особую роль тарана при этой операции сыграл русский человек Александр Лебедь. Вот так и идет наша история: руками русских усмиряется русский бунт 3–4 октября 1993 года, а через три года русские Грачев, Барсуков и Коржаков русскими руками Лебеда изгоняются из власти. Жалкие пешки! У Барсукова перед концом карьеры то ли пелена с глаз спала, то ли совесть проснулась, чему свидетелями были мы, русские писатели. Спыхватился Михаил Иванович, да поздно. Использовали его, а когда что-то понял и взбунтовался, выпустили на телеэкран Чубайса, Лебеда да энтэвэшника-энкавэдэшника Евгения Киселева – и «ату его!».

Плохо читали в школе Барсуков с Коржаковым «Тараса Бульбу». Там о русском предательстве наперед до конца света все сказано. О породистом красавце Андрее: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»; «И пропал казак!» О хитром Мосии Шило, который в плену, чтобы войти в доверие к туркам, отказался от веры православной, «вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо зна-

ли, что если свой предаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом». Не в бровь, а в глаз многим сегодняшним ренегатам русским! А разве можно забыть вещие слова Гоголя – его прозрение самых темных глубин русской души, непонятной для рационального западного человека: «Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».

Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься... Начал было каяться Михаил Барсуков. Анатолий Куликов – министр МВД, замаранный кровью 93-го, через два года собрался с духом и отверг попытку Кремля втянуть его в очередное преступление. Вывернул наизнанку всю грязную подноготную жизни своего хозяина «верный Личарда» Александр Коржаков. Тоже хотя и уродливое, но своеобразное покаяние. Где-то на дачах, в охотничьих домиках, в саунах, в номерах фешенебельных гостиниц, в губернаторских особняках с безотчетным ужасом ждут пробуждения совести «последние, – говоря словами Тараса Бульбы, – подлюки» – генералы Ерин, Грачев, Лебедь. И те, кто поменьше калибром – Полторанин, Шумейко, Черномырдин.

Задумаешься, перечитывая Гоголя, над грядущими судьбами нынешних, живущих в силе и власти, русских (о евреях – что говорить, с них спрос, как с Янкеля), сидящих в Кремле, в Белом доме, на Лубянке, и мороз по коже – нет-нет да и пробежит...

Днем 4 октября 1993 года я не выходил на улицу. Не мог оторваться от экрана, на котором кумулятивные снаряды влетали в окна Белого дома, охваченного смрадным пламенем и чернеющего на глазах. Когда все было кончено, я достал бутылку коньяка, подаренного мне год тому назад к шестидесятилетию Леонидом Бородиным, выпил ее в два приема и погрузился в тяжелый сон...

Через несколько дней в редакции, обдумав очередной ноябрьский номер журнала, мы поняли, что, поскольку введена цензура, он, судя по его содержанию, может не увидеть света. В это время лишать читателей журнала ой как не хотелось.

– Гена, – попросил я своего заместителя, – у нас ведь сейчас есть главный цензор, защитник «свободы печати» Михаил Лесин. Созвонись с ним, поговори...

Гусев дозвонился до Лесина, приехал к нему, и тот с циничной прямотой ответил ему:

– Сколько у вас тираж? Сорок тысяч? Это не страшно. Печатайте что хотите. Вот если бы миллион – мы бы вас помотали так, что мало не покажется...

### *Из литературного дневника тех времен*

Одним из самых оголтелых писателей-демократов, призывавших в октябре «всенародно избранного» к «решительным мерам», история запомнит Юрия Нагибина. Он подписал позорное письмо 42-х, он заявил, что «брезгливое неучастие в политике – это такая же низость, какой в прежние годы было участие». Он и после расстрела не раз одобрил все содеянное властью. Его «Воспоминания», вышедшие вскоре после 93-го года, прояснили мне все, что произошло с ним.

«Новая семья сильно русифицировала меня. Я научился не пить, а осаживаться водкой, научился опохмеляться так основательно, что это нередко переходило в новую пьянку... Были важные открытия. Одно из них: пьяный русский человек не отвечает за свое поведение во хмелю... Один пукнул в лицо домработнице, помогавшей ему надеть ботинки; другой кончил на единственное выходное платье нашей приятельницы, когда та ему позволила ночью прилечь к ней на диван; третий наблевал в ванну, потому что в уборной блевал другой гость; кто-то вынул член за столом и пытался всучить малознакомой соседке; сестра тещи обмочилась во время пляски...»

Это из воспоминаний о своих близких. И написано не Юзиком Алешковским, не Виктором Ерофеевым, даже не Эдиком Лимоновым, а певцом русской природы, тонким лириком пришвинско-паустовской школы, беллетристом, издавшим к 1984 году восемьдесят книг рассказов и повестей, написавшим множество пьес и сценариев, в том числе к фильмам «Чайковский», «Председатель».

Человек, воспевший в фильме «Председатель» подвиг послевоенного крестьянства, в новом времени, потребовавшем новых песен, стал пробавляться заявлениями о том, что знаменитая трактористка Паша Ангелина была лесбиянкой.

Но Бог с ней, с Ангелиной. Выворачивая всю интимную изнанку жизни, мемуарист, вспоминая сексуальные возможности близкой ему женщины, пишет: «Мы занимались любовью там, где нас застало желание: в подворотнях, подъездах, на снежном сугробе, на угольной куче, на крыше, на дереве, в реке, в машине, в лесу, на лугу, в городском саду, где всегда играет духовой оркестр, просто на улице, у водосточной трубы... И каково же было мое потрясение, когда оказалось, что она еврейка».

В мемуарах Нагибина похотливость щедро смешана с политикой и с пресловутым еврейским вопросом. Бедный автор! В каких сумасшедших комплексах – сексуальных, национальных, политических – протекла его долгая жизнь! «Мы гуляем по улицам Кохмы, и слово “жид” преследует меня. Жид! Жид! Жид! – кричат прохожие, уличные мальчишки, собаки с потными грязными языками, козы в огородах, шальные кусты акаций, рослые вязы, кирпичные стены Ясюнинской фабрики, где служит отец. Конечно, никто не кричит, но что мне до этого, если это слово кричит во мне...» (типичная паранойя! – *Ст. К.*). А «потные грязные языки» у собак – невероятно! Но, возможно, художник слова хочет дать понять, что это русские собаки.

На протяжении своих мемуаров автор долго, тщательно, мучительно выясняет, кто же он на самом деле – еврей или русский. То внутренний голос кричит ему, что он «жид», и страдания Юрия Марковича ста-



новятся невыносимыми. То, выяснив, что его отец-еврей, возможно, и не настоящий отец, а настоящий отец русский, автор впадает в другую шизофреническую фазу и стонет: «Боже мой, почему я не могу быть евреем, как все»... Словом, причин для раздвоения личности и впадения в маразм у Нагибина сколько угодно.

Десятки книг написал беллетрист в свое время, прославляя нашу армию-победительницу, в том числе и солдат, защитивших от немецкого агрессора Москву, и вдруг на старости лет он заявляет: «Вскоре подъем, испытанный оставшимся в Москве населением в связи со скорым приходом немцев и окончанием войны – никто же не сомневался, что за сдачей столицы последует капитуляция, – сменился томлением и неуверенностью. Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы... Многие оставшиеся в городе ждали немцев, но боялись признаться друг другу в этом и потому городили несусветную чушь, чтобы объяснить, почему не эвакуировались...»

Нет, такого еще не было в нашей военной мемуаристике! Счастье автора, что ополченцы, погибшие под Москвой, не смогут прочитать эти мародерские откровения.

Мемуары Нагибина – богатый материал для психиатра и психоаналитика. Только специалисты смогут установить, на чем свихнулся человек – то ли на русско-еврейском вопросе; то ли на осознании того, что по большому счету никакого писателя Нагибина не существует, есть удачливый, ловкий беллетрист и драмодел; то ли на ненависти к России; то ли – и это скорее всего – душевное заболевание автора имеет под собой сексуально-патологическую почву.

Вокруг Есенина в Америке крутился в свое время беллетрист подобного же масштаба по фамилии Рындзюк (еврей), издавший на Западе книгу «Записки мерзавца», в которой вывернул наружу все свое вонючее нутро. Мемуары Нагибина, хотя и называются скромно «Тьма в конце туннеля», очень похожи на откровения Рындзюка.

Вот такого рода психопаты требовали в дни октябрьских событий расправы над писателями-патриотами.

\* \* \*

...Начал я эту главу встречей с Юрием Карякиным у памятника Достоевскому на Рязанской земле и заканчивать приходится так же, вспоминая его.

Зимой девяносто третьего в Москву приехал Андрей Синявский, осудивший в широко известном по тем временам письме вместе с Владимиром Максимовым и Петром Егидесом октябрьскую бойню.

«Литературка» пригласила к себе Синявского, и Юрий Карякин с Мариэттой Чудаковой стали воспитывать бывшего диссидента.

Чудакова, незадолго до октябрьских событий на «встрече Ельцина с интеллигенцией» призывавшая его «действовать решительно» («Мы ждем от вас решительности», «не нужно бояться социального взрыва», «нужен прорыв!», «Действуйте, Борис Николаевич!» – ЛГ. 22 сентября 1993), на этот раз с пеной у рта доказывала Синявскому, что расстрел парламента был необходим («применение силы в октябрьской ситуации было неизбежно»), Карякин покорно вторил демократической фурии и убеждал Синявского поддержать письмо 42 «сторонников решительных мер»: «Мы не должны позволять себе ссориться сегодня».

Синявский, зажатый в угол, защищался как мог: «Призывы интеллигенции к президенту формально ничем не отличаются от известного афоризма “Добро должно быть с кулаками” – по Куняеву». Услышав мою фамилию, Чудакова истерично взвизгнула: «В октябре защищали, в сущности, демократию от Куняева!» (Литературная газета. 2.03.1994).

Кто-кто, а Синявский знал, как Александр Сергеевич в «Скупом рыцаре» изобразил сатанинскую силу Золотого тельца, да и Карякин мог бы вспомнить, что Настасья Филипповна бросила в камин пачку асигнаций на глазах у несчастного Ганечки, который повредился умом, почти как Германн в «Пиковой даме».

А гневный Блок, презиравший рыночную Европу:

Ты пышных Медичей тревожишь,  
Ты топчешь лилии свои,  
Но воскресить себя не можешь  
В пыли торговой толчеи!

Да и Марина Цветаева была их родной сестрой по русской музе, когда клеймила все «демократические и рыночные ценности» в пророческих стихотворениях «Хвала богатым», «Стол», «Читатели газет»...

Сергей Есенин, Владислав Ходасевич, Осип Мандельштам – каждый по-своему опрокидывали «столы меновщиков» и выгоняли «продающих и покупающих в храме».

А русский народ был с ними, поскольку жил согласно своим пословицам и поговоркам: «От трудов праведных не наживешь палат каменных», «В аду не быть – богатства не нажить», «Богатому черти деньги куют», «Не жили богато – нечего и начинать».

Поистине, у страха глаза велики. Преувеличила Чудакова мое участие в трагедии. В ней я был всего лишь навсегда негодующим, печальщимся и пристрастным свидетелем и летописцем. А защищали вы «демократию, рыночную экономику и свободу слова» в октябре 1993-го не от меня, а от Пушкина, Достоевского, Есенина, от русского народа и от всей русской истории.

Поздней осенью я уехал в Калугу, к реке, к бору, к родовому погосту, к родным стенам. Отлежаться и прийти в себя.

Зябко трепещут ивы  
в береговом ветру...  
Господи, дай мне силы  
перемолоть беду.  
Лавры уничиженья  
я не хочу стяжать,  
воздухом пораженья  
я не могу дышать.

\* \* \*

И еще один сюжет, связанный с октябрем 1993 года. Правда, его интрига завязывалась гораздо раньше, лет за десять до нашего поражения. Однако начну излагать все по порядку.

Я нередко вижу этого молодящегося, лощеного чиновника на телеэкране, встречаю его фамилию в газетных репортажах об открытии выставок и фестивалей, а однажды столкнулся с ним в фойе консерватории, на концерте, посвященном памяти Георгия Васильевича Свиридова. Наши взоры на мгновение встретились, но мы тут же сделали вид, что незнакомы друг с другом. Хотя познакомились еще при советской власти на освящении церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что уже шесть с лишним веков стоит в селе Городня на высоком берегу Волги.

Мои друзья, художники Алексей Артемьев и Искра Бочкова, которые расписывали церковь, пригласили меня на торжественную церемонию освящения. Конечно, с согласия настоятеля храма отца Алексея Злобина...

– Церковь старинная! В ней еще при Дмитрие Донском молебны служили по пути на Куликово поле. Митрополит Таллинский на освящение приедет, Володя Солоухин обещал, они друзья с отцом Алексеем. Отец Алексей тебя ждет и стихи твои любит!

– Да у меня как раз двадцать седьмого ноября день рождения.

– Ну и что? Там отпразднуем! – простодушно обрадовался Алексей Артемьев. – Даже хорошо – в день обновления храма!

Алеша с Искрой уехали в Городню днем раньше, а мы с художником Сергеем Харламовым отправились в Тверскую землю на моей машине утром двадцать седьмого ноября.

В Городне все началось по-церковному торжественно и домашнему тепло: и сверкающий благолепием храм, и встреча со знакомыми и незнакомыми русскими людьми – священниками, художниками, семинаристами, местными прихожанами, и необычное для

меня застолье в просторной горнице отца Алексея. Вдоль стен горницы стояли ряды столов, художники с писателями устроились поближе к дверям, чтобы легче было выйти перекурить, а напротив, по диагонали, в красном углу под иконами разместились вокруг митрополита Таллинского Алексея епископы и духовенство Тверской епархии. Однако рядом с митрополитом занял место молодой человек в модных очках с тонкой оправой, в дорогом костюме, с внешностью и манерами комсомольского работника брежневской эпохи. В соседней же комнате устроились человек двадцать то ли иподьяконов, то ли семинаристов, – помню только, что они были из Троице-Сергиевой лавры. Вели они себя в меру шумно и весело, в то время как в нашей горнице царило чинное спокойствие и иерархический порядок. Но вскоре после первых возлияний за отца Алексея, за матушку Любу, за реставраторов-художников, за местное начальство и в наших стенах то тут, то там стали возникать очаги непринужденного общения, постепенно размывшие атмосферу первоначальной чинности.

Вот тут-то я и решил, как мне помнится – по просьбе Искры и Леши, прочитать одно стихотворение, приличествующее празднику, встал, естественно, со стопкой в руке и обратился к иерархам, сидевшим в белых подризниках в красном углу:

– Мне было необычно легко и радостно на сегодняшней службе, – сказал я. – Дай Бог здоровья всем, кто замыслил и завершил это святое дело. Я вот вспоминаю мою Калугу. В ней до революции было сорок церквей. Писатель Сергеев-Ценский в романе «Севастопольская страда» описывал, как в Севастополе праздновали во время его обороны в 1855-м какую-то небольшую победу, и заметил, что по этому поводу «колокольный звон стоял как в Калуге на Пасху». А сейчас что в моем родном городе? Всего лишь две действующие церкви, остальные либо снесены, либо превращены в склады, в кинотеатры, в спортзалы. Приезжаю на родину, брожу по улицам, смотрю на каменные скелеты, на обесчещенные без крестов купола – и горько до слез... Слава Богу, что на вашей Тверской земле дела обстоят лучше. А стихотворение о моих

калужских храмах я написал давно, почти двадцать лет тому назад, в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году...

Церковь около обкома  
приютилась незаконно,  
словно каменный скелет,  
кладка выложена крепко  
ладною рукою предка –  
простоит немало лет.

Переделали под клуб –  
ничего не получилось,  
то ли там не веселилось,  
то ли был завклубом глуп.  
Перестроили под склад –  
кто-то вдруг проворовался,  
на процессе объяснялся:  
«Дети. Трудности. Оклад...»

Выход вроде бы нашли –  
сделали спортзал, но было  
в зале холодно и сыро,  
результаты не росли.

Плюнули, и с этих пор  
камни выстроились в позу –  
атеистам не на пользу,  
верующим не в укор.

Только древняя старуха,  
глядя на гробницу духа,  
шепчет чьи-то имена,

помнит, как сияло золото,  
как с причастья шла когда-то  
красной девицей она...

Тишина во время моего чтения стояла полная, я, чувствуя, как меня слушают, некоторые строки произносил чуть ли не полусшепотом, еще внимательнее заставляя гостей вслушиваться в каждое слово. Закончив чтение, под бурные восторги слушателей я выпил и хотел было сесть, но увидел, как митрополит Алексей поднял бокал с шампанским и пригласил меня жестом подойти к нему. Кто-то из сидевших рядом тут же снова наполнил мою стопку, я пересек горницу и почтительно склонил голову перед митрополитом, который поздравил меня со стихами, сказал какие-то одобрительные слова и даже пригубил, чокнувшись со мной, глоток шампанского.

Но когда я воротился на свое место, то неожиданно для всех сосед митрополита, молодой человек в очках с золотой оправой, с искусно подвитыми в парикмахерской кудрями, встал во весь рост под иконами:

– Я вот послушал стихи поэта и не согласен с ним. Партия и правительство везде заботятся об интересах верующих, все храмы, если даже они и не действуют, охраняются государством. Во всех областях есть люди, ответственные за соблюдение норм религиозной жизни... Так что наш поэт либо плохо знает то, о чем пишет, либо клеветает на советскую действительность...

Кровь бросилась мне в лицо. Я приподнялся было, чтобы ответить прилизанному демагогу, но почувствовал на своих плечах ладони матушки Любы, шептавшей мне на ухо:

– Станислав Юрьевич, дорогой, промолчите, мы так зависим от этого человека. Он у нас в области большой начальник, не отвечайте ему, Бог терпел и нам велел...

А тут еще подоспел отец Алексей:

– Станислав, митрополит спрашивает – напечатаны ли где-нибудь эти стихи. Если напечатаны – подари ему книжку!

Ну как мне было не внять их душевным увещаниям! Я сел, налил себе очередную стопку, с молчаливым презрением прослушал речь своего коллеги – поэта Алексея Маркова, который ни с того ни с сего, видимо перепугавшись, решил обнародовать свою лояльность властям и заявил, что он не разделяет моих взглядов и что он вообще из «другой команды»...

Словом, Алеша опростоволочился, но это уже не особенно расстроило меня. У входа в гостиницу стоял оживленный шум. Я поднял глаза и увидел нескольких молодых бородастых иподьяконов-семинаристов, которые всяческими одобрительными знаками приглашали меня выйти в коридор. Я вышел, и они чуть ли не на руках затащили меня в свою компанию, заседающую в соседней по коридору комнате:

– Станислав Юрьевич, читайте нам стихи!

После каждого стихотворения подвыпившие молодцы в двадцать луженых глоток пели мне «многая лета», да так, что крыша у дома чуть ли не приподымалась, а в главной горнице вздрагивали иконы, висевшие в красном углу над головой партийно-советского функционера из города Калинина. Словом, компенсацию за свой моральный ущерб я получил многократную: и с семинаристами многожды чокнулся и, когда в доме появился однокашник отца Алексея по учебе, уже весьма известный в те годы Александр Мень, я и с ним познакомился и даже по самонадеянности своей ввязался с прославленным проповедником в какие-то богословские споры...

Однако часам к трем ночи гости начали расходиться, хозяева валились с ног от усталости, и до меня дошло, что надо уезжать в Москву. Адреналина в крови было хоть отбавляй, на меня всегда во время предельного возбуждения алкоголь почти не действует, и я, как ни уговаривала нас чета Злобиных переночевать, решил вместе с друзьями-художниками возвращаться в Москву.

Мы сели в машину, и она ринулась в сырую ночь, разрезая фарами тьму и освещая дорогу, усыпанную желтыми листьями, плавающими в мокроснежной слякоти...



Я вроде бы достаточно быстро отрезвел, и все было бы хорошо, если бы километров через семьдесят на полдороге к Москве на каком-то шоссе перекрестке не совершил мелкого нарушения. Сотрудник с жезлом возник передо мною как из-под земли. К своему ужасу, я почувствовал, что у меня почти нет сил, чтобы выйти из машины. Бдительный сержант заподозрил неладное, открыл дверцу машины, помог мне вылезти. Мы побрели через дорогу к его скворечнику, куда надо было подыматься по многоступенчатой металлической лестнице. В скворечнике было светло и даже уютно. За стеклами шумели листья, сыпался мокрый снег, а сержант и его напарник стали определять степень моего опьянения. Когда я дунул в ихнюю трубку, то с отчаяньем увидел, что в прозрачном сосуде, куда вошло мое отравленное дыхание, образовались завитки черного дыма, которые, как я читал, должны были быть всего лишь навсего светло-зелеными.

Гаишники покачали головами и, заглядывая в мои права и техпаспорт, начали составлять протокол. Они не торопились, до утра было еще далеко, на шоссе в такую непогоду не было никакого движения, и ребята откровенно скучали. Я попытался воспользоваться этим обстоятельством.

— А рассказать вам, как все произошло? — в отчаянье начал я свою исповедь, понимая, что никуда отсюда уже не уеду и что придется мне и моим друзьям коротать время в машине до утра, а потом кое-как добираться до Москвы, и что водительских прав я лишусь — и надолго. Отчаянье придало мне вдохновения, и я весьма живописно, кое-что приукрашивая, рассказал им, как был на обновлении церкви, как прочитал стихотворение, за что был привечен митрополитом (которого, правда, я тогда, оговорившись, назвал патриархом!), с которым не посмел не выпить, как был оскорблен советским чиновником, как в мою честь несколько раз хор иподьяконов исполнял «многая лета»... И все это в день своего собственного рождения!

— Ну как после всего, что произошло, ребята, я мог остаться трезвым как стеклышко? — картинно разводя руками, оправдывался я.

– А какое стихотворение ты прочитал? – спросил меня сержант. Градус вдохновенья в моей душе моментально поднялся, и я продекламировал в милицейском скворешнике «Церковь около обкома» с таким чувством, которого не испытывал никогда.

Ребята переглянулись и задали мне тот же вопрос, что и митрополит:

– А оно напечатано?

И тут, словно молния, меня осенило – вот он шанс на спасение!

– Ну конечно же напечатано! Книжка у меня в бардачке! Сейчас принесу!

На совершенно трезвых ногах я скатился по мокрой железной лесенке, подбежал к машине, вытащил из бардачка тощенькую книжицу и как на крыльях взлетел в скворешник.

– Смотрите! Напечатано! Только одно слово цензура заставила переделывать – «Церковь возле гастронома»!

– Ну дари, подписывай!

Сержант протянул мне шариковую ручку, а пока я писал что-то размашистое и сентиментальное, он на моих глазах демонстративно разорвал уже составленный протокол и протянул мне права и техпаспорт.

– Держи, поэт! Езжай осторожно, дорога скользкая! Впереди еще один наш пост. Мы туда позвоним, чтобы тебя не задерживали, не беспокойся. А когда переедешь в Московскую область – то молись, чтобы пронесло. На Московской земле нашей власти нету. С днем рождения!

До Москвы мы доехали благополучно.

Лет через десять после этой ночи я, уже главный редактор «Нашего современника», вместе с Распутиным и Крупиным удостоился приема у Святейшего Патриарха всея Руси Алексия II, бывшего митрополита Таллинского. Мы готовили пасхальный номер журнала, который собирались открыть словом Патриарха к верующим читателям нашим.

После душевной и довольно длительной беседы мы стали прощаться с Патриархом, и я осторожно напомнил ему:

– А мы, Ваше Святейшество, встречались в прежние времена в день обновления храма в Городне.

Алексий II внимательно посмотрел на меня и спокойно, но строго произнес:

– Да, я помню...

Что же касается лощеного чиновника, о котором одна из центральных газет в 1991 году писала, что он нечист на руку и замешан в грязных делах, связанных с хищением икон в Тверской губернии, то он, естественно, превратился из напыщенного партийного идеолога в ярого демократа, был замечен Ельциным, который сделал его начальником Останкинского телецентра, и сыграл весьма подлую роль в проведении кровавой октябрьской провокации 1993 года. Честный английский журналист, заведующий корпунктом английской газеты «Гардиан» в Москве Джонатан Стил так писал о нем в своей газете 13 ноября 1993 года: «Председатель телецентра Вячеслав Брагин, выдвигенец Ельцина, приказал прекратить передачу новостей из “Останкино”. Они возобновились позже вечером, но из другого телецентра. Этот перерыв в передачах имел целью раздувание несуществующей опасности атаки “Останкино” в глазах россиян, которые следили дома за развитием событий. А последовавшие за этим репортажи контролируемого правительством радио и телевидения давали извращенную картину того, что происходило, словно бы сражение за “Останкино” с непредсказуемым результатом длилось многие часы...»

В роковые дни 3–4 октября 1993 года все главные действующие лица того далекого и светлого праздничного вечера в Городне были словно бы некой сверхчеловеческой волей задвинуты в эпицентр исторической катастрофы. И каждый из них занимался своим делом.

Вячеслав Брагин осуществлял сценарий останкинского кровавого спектакля.

Я, приехавший на телецентр, чтобы выступить в «Русском доме» в день рождения Сергея Есенина, когда началась стрельба, укрылся за каменным бордюром и с ужасом глядел, как вокруг мечутся и падают

люди, как звенят и поскокивают на бетонных плитах автоматные гильзы, летящие со второго этажа.

Отец Алексей Злобин, депутат Верховного совета России, на другой день, как и положено русскому православному священнику, причащал, крестил и исповедовал мужественных смертников Белого дома в коридорах, наполненных дымом и кровавым смрадом.

Патриарх в эти роковые сутки молился за Россию, раздумывая о том, кто первый пролил русскую кровь на камни Москвы и кого предать анафеме...

Мне остается лишь добавить, что Брагин ныне (1998) является заместителем министра культуры Российской Федерации. Четверо министров сменилось при нем.

Министры приходят и уходят, а такие, как он, остаются несменяемыми ренегатами всех режимов, вечными талейранами, фуше, яковлевыми. Бывали хуже времена, но не было подлей.

## «ОРДНУНГ» – ТО ЕСТЬ ПОРЯДОК

*Восточная Германия 1982 года. Дрезденская крыса. Два музыкальных безумия. На берегах Мезени и Эльбы. Зосима Мегорский и бабка Евлампия. Бесовщина потребления – путь в Маутхаузен*

Наконец-то, наконец-то мы с женой выехали в Европу. Я не особенно жаждал поглядеть ее святые камни, у себя на Родине забот полон рот, но ради любимой жены чего не сделаешь. Бродим по немецким городам, восхищаемся, спорим... ругаемся чуть ли не на каждом шагу. А все потому, что к комфорту разное отношение.

Дрезден. Замок саксонских королей на берегу Эльбы, блестящей, черной, в которой колышутся красные и синие отблески рекламных

огней. Черная колокольня. Стена с черными окнами, остов кирпичи. Следы знаменитой бомбардировки 1944 года оставлены для истории. Глыбы, заросшие бурьяном. Педантичные немцы любят свою историю. Даже такую. Дворец какого-то Августа. Стена, на которой изображен парад местных князей. Родоначальники племен, племенные вожди в звериных шкурах на плечах вместо плащей, с коронами на головах, с мечами на мясистых бедрах. За каждым из них – представители народа. Ближе к нашему времени курфюрсты – в бархате, кружевах, на гривастых тяжеловозах в парче и железе. Еще ближе к нашему времени в камзолах, треуголках, со шпагами. Альберт Георг – 1873 год – уже в лосинах. А на последних кадрах каменной киноленты – буржуа со знаменами в руках и с бумажными хартиями, в современной штатской одежде, в благопристойных тройках и котелках, под ногами у них снуют маленькие медхены в кринолинах и башмачках, с распущенными кудряшками... Надписи в стихах о том, что народ всегда будет верен старым добрым традициям «немецкой верности». Даже в безвременье.

«Это княжеский род, героические деяния которого доходят до наших дней. Он зародился в седой древности вместе с преданиями нашего народа. О древний род, обновляйся постоянно и оставайся в ряду благородных князей, как во все времена твой народ посвящает тебе свою древнюю германскую верность!»

...Небольшая площадь перед обугленным черным остовом кирпичи. Синий вечерний сумрак. Вдруг мохнатый комок выкатывается из-под развалин и замирает перед железными воротами... Крыса! Жена бледнеет:

– Не могу, не могу я на них смотреть...

А это непростая крыса, оставшаяся со времен бомбардировки Дрездена. В ее генах воспоминания о страшной ночи, когда рушились стены с изречениями о старой немецкой верности. Гибель Помпеи...

На стенах кирпичи копоть. Подъезжает автобус с группой русских туристов. Осматривают кирпичу. Гид, отвечая на вопрос, почему стены

черные, говорит о том, что камень со временем темнеет. Да нет уж, время тут ни при чем, это копать Второй мировой! Часы на кирхе остановились на четверти десятого и вот уже тридцать семь лет показывают застывшее время. И что же, вечно эта кирха с мертвыми часами будет торчать здесь, на берегу Эльбы? Ведь разрушаться когда-нибудь начнет. Неужели педантичные немцы будут целую вечность поддерживать ее вот в таком полуразрушенном виде? А что, они все могут...

Устав от мрачных и величественных развалин, жена потащила меня в продуктовый магазин с вывеской «Деликат фон деликатес» (деликатесы из деликатесов).

– Ой, смотри, что это за пузырьки: перец, корица, соя... А это, гляди, лимоны нарисованы, ананасы – должно быть, концентраты – напитки делать, а вот кальмары в банках. А конфеты, конфеты... С ромом, с коньяком! Почему у нас этого нет?

Не желая размышлять на эту тему, а то дело кончится ссорой, я забормотал вполголоса:

Россия, нищая Россия,  
мне избы серые твои,  
твои мне песни ветровые –  
как слезы первые любви!

Но жена все равно расслышала:

– Да ну тебя, надоело! Как тяжело русской женщине жить с вами...

– Ты что, мать, только на этом и держимся!

– На чем мы держимся?

– На том, что комфорта у нас нет, орднунга нет, то есть порядка. Откуда ему взяться? Когда никто никогда не желал этих «деликат фон деликатес»? На таких просторах живем! Если чего не понравилось дома – так не будет русский человек улаживать, терпеть, склеивать... Он лучшую жизнь искать пойдет – на Дон, либо в Сибирь, либо на Север, на реку Мегру, где я каждый год рыбачу. Не понравились

отец с матерью, помещик, жена, время – да гори они все гаром! Там где-нибудь ждут его реки молочные и берега кисельные... Беловодье ждет. А комфорт создать нужны десятки поколений, да на одном месте чтобы сидели, жизнь налаживали. Знаешь, англичанина однажды спросили, почему у него такой ровенький зеленый газон. Он отвечает: «Ничего особенного делать для этого не надо, только стричь траву еженедельно лет триста, а лучше четыреста...»

Жена с досадой махнула рукой:

– Иди ты со своей Мегрой! Надоел!

Мои разглагольствования мешали ей рассматривать внутренности магазина «Деликат фон деликатес». А посмотреть было на что. Это тебе не Мегра, это Орднунг.

Торты фруктовые, пироги с яблоками, яблоки в шоколаде, и все блистает в золотой и серебряной фольге, шуршит целлофаном, красными, голубыми и зелеными обертками, коробки позолоченные по углам, ряды чая в синих, розовых, желтых жестяных коробочках, герметически закупоренных, произведенных и расфасованных фирмами, ведущими свою родословную чуть ли не с шестнадцатого века... Мускат, кунжут, ваниль – слова-то какие! Музыка, а не слова.

Кстати, о музыке. В церкви Святого Фомы в Лейпциге (XII век), где похоронен Бах, слушали хор мальчиков, который был создан также несколько сотен лет тому назад. Звуки неслись в стреловидные готические своды, отражались от них, возвращались к земле, к вытертым за столетия каменным плитам пола. Музыка ярче всего проявляет безумие, по-своему живущее в каждом народе, особенно если он музыкален и полон физической мощи. Бах, Бетховен, Вагнер, Адриан Леверкюн – герой Томаса Манна...

А в мегорской церкви музыки нет, вернее есть, но иная: северный ветер свищет в черных отверстиях алтарных окон, да обетные кресты чернеют на высоких берегах, да листовенные сваи торчат на месте рухнувшего храма, да в маленькой раскольничьей часовенке, где когда-то деда и прадеды, выходявшие на опасный промысел, молились об

успешном возвращении, нынче мой друг Самсон, укрывшись от ледяного полуночника, греется бормотухой... Две музыки, две стихии, два безумия – каждое значительно по-своему.

У них свой ум и свое безумие. У нас тоже все свое. Как-то само собой, невольно я стал вспоминать вымирающую поморскую деревню на берегу черной, вытекающей из болот ледниковой реки.

\* \* \*

Деревянная шатровая церковь. Нижние венцы подгнили. В прошлом году приехали два реставратора. Один спился, другой женился. Древнее кладбище с громадными серыми или почти серебристыми от времени лиственничными крестами, рядом исполинские ветряные мельницы с обломанными крыльями. Лесная дорога на берегу Мезени, мимо трехметрового распятия, увешанного вышитыми полотенцами. На полотенцах красные, синие, черные вышитые кресты, большие и малые. Это благодарственные молебствия, мужские и женские, во здравие и за упокой, за ребенка, за излечение от недуга.

Крест и распятие целиком вырезаны из тяжелого лиственничного комля; выпуклая фигура Христа покрашена белой масляной краской. С Мезени тянет ледяной ветер, и обетные полотенца трепещут на ветру, шелестят, извиваются. Между берегом и бугром, на котором стоит распятие, сколочен из старых досок и листов ржавого железа сараюшко с крохотным окном. Рядом – огород с несколькими кустами пожухлой картошки. В огороде копается старуха в заплатанной кацавейке, в опорках и черном платке. Она поднимает от земли темное опухшее лицо и молча глядит на нас...

– Бродяжка! – спокойно объясняет сопровождающий нас бригадир. – Откуда-то пришла, да вот тут и поселилась...

Воротясь в деревню, мы зашли в дом Татьяны Паюсовой. Ее мать, девяностолетняя крупная и сухая старуха, совершенно слепая, сидела на кровати. Я поговорил с Татьяной Паюсовой, чтобы она показала нам



другой их дом, в котором они когда-то жили, а ныне пустующий, и, когда мы уходили, слепая старуха произнесла два слова:

– Кто был?

Дочь ответила:

– Гости!

С повети по лестнице спустился толстый пятидесятилетний мужчина в очках с мальчишечьим лицом, вернее, с тем выражением лица, которое свойственно идиотам. Психически больной. Посмотрел на нас, не сказал ни слова и прошел к столу. Когда-то он учился в университете, заболел, лечился пять лет в разных психбольницах и вернулся к матери.

Старый дом свекра и свекрови. Два этажа. Со взвозом, с крытым двором, где мастерили карбасы. Срублен в 1891 году. Мы поднялись на желтую лестницу, опираясь на отполированные руками многих поколений перила. Хозяйка загремела замками:

– Запираю! Взломали недавно дверь, окно выставили, две иконы и крест унесли.

– Кто же это?

– Да, говорят, туристы.

Все самодельное: буфеты, сундуки, окованные жестью, тяжелые стулья... Все ладно выточенное, покрашенное в разные цвета – коричневый, голубой, зеленый – масляными красками. Рама для зеркала тоже самодельная, с резными виньетками и набалдашниками. Печь по верхнему краю оправлена старым, отполированным деревом. Перед окном швейная машинка «Зингер» – целое богатство по тем временам. На втором этаже четыре комнаты, и в каждой угол с божницей, в которой тускло сияют иконы; святой Георгий, Богоматерь, Николай Угодник, медные складни, кресты с эмалью. Чистота, как в прибранном склепе. В горнице стол. На нем учебники, линейки, таблицы логарифмов. Хозяйка грустно улыбается:

– Сын, глупенький, учится у меня здесь.

Листаю тетрадь: изучает сопротивление материалов. Наверное, ему кажется, что он продолжает учиться в институте или готовится к всту-

питательным экзаменам. У хозяйки, несмотря на годы, лицо со следами былой красоты, большие светлые глаза, правильные черты лица, взгляд спокойный, добрый, грустный...

– У меня еще трое детей. Да живут больно далеко. Дочь на Кубани, сын в Сибири, и другой служит майором на границе китайской. Редко когда приезжают, вот и осталась я на старости лет с младшеньким, с глупеньким...

Вырастил дом людей, а теперь умирает, отдав свое тепло, силы, копившиеся в нем целый век, всей земле громадной, а сам стоит, как домовина, и долго еще простоит, покинутый людьми...

А когда-то в нем жили ее свекор и свекровь, у которых было шестеро детей. Промышляли зверя, рыбу, сеяли хлеб, делали карбасы. На повети висит десяток полусгнивших тяжелых сетей и неводов с грузами и поплавками, каменный ручной жернов, который я едва смог повернуть за рукоятку. Лежат заготовленные братьями ее мужа десятилетия назад доски для карбасов, так и не построенных... И вдруг лодочный мотор.

– Это мой глупенький – говорит, мать, купи мотор да купи, что я, не мужик, что ли! Ну, купила мотор, поставил его на лодку, да чего-то в первый же раз сломалось, вот с тех пор семь лет уже и лежит на повети.

До войны в деревне жило шестьсот человек, а сейчас сто восемьдесят стариков. Школу закрыли, учителей нет, детей мало. В основном временно живущие внуки.

Инесса Арманд, в свое время сосланная в Мезень, жаловалась на отсутствие революционности у местного населения и захолустность нравов, а того понять не могла, что несколько поколений вложили в эту землю все силы, кое-как обжили леса и болота, тонкую пленку жизни нарастили едва-едва, наладили добычу хлеба насущного, а ей, видите ли, мало – еще и революционность подавай! Вот она, наглядная разница двух мыслей: охранительной и разрушительной. Одна говорит: созидание, посев, житнетворение, закон... Другая: разрушение, свобода, политическая активность, борьба за власть на уже возделан-

ной чужими руками материальной ниве, сдобренной чужим потом и кровью... Вот и вымирает когда-то могучее село, как зверь, так и не понявший, откуда пришла на него немочь черная, хворь, порча...

На повети набор черных, отполированных рубанков, фуганков, топорищ. Металл заржавел, а дерево блестит. Ящик из-под чая с этикеткой на всю стенку: «Кузнецов и К<sup>о</sup>. Торговля оптом». На обеих половинах дома печи на деревянных фундаментах... Все как оставлено несколько десятилетий тому назад – так и лежит, нетронутое, словно в заколдованном царстве.

\* \* \*

В лейпцигской церкви Святого Фомы тоже вечность – но другая. Отполированные темные резные скамьи, чтобы с комфортом слушать проповедь; на обратных сторонах сидений крючки, чтобы вешать хозяйственные сумки тем, кто зашел в кирху из магазина. Наши бабки никогда не пойдут в церковь с сумками, по пути... Они душевно приготавливаются, принарядятся, никакие резные лавки им не нужны, разве что совсем немощным и калекам какая-либо табуретишка... Нет, только когда на колени встанут – тогда лишь ноги отдохнут маленько. А так – надо именно «отстоять всюнощную». Что-то в этом было от терпения и аскетизма древних русских монахов и основателей монастырей, от тысячи поклонных обетов, от Даниила Заточника и Симеона Столпника... И дошло аж до двадцатого века. А немки – все на ходу, деловито, или как в театре – с комфортом.

По реке Ильм, вдоль которой тридцать лет подряд гулял Гёте, плавают дикие утки, в прибрежных кустах шуршат ондатры, кролики... Немцы любят диких животных – зоопарки, аллеи, поляны... Но бродячих кошек не видно. Из них шьют женские манто и шапки.

Как сумел тайный советник Гёте тридцать пять лет прожить в Веймаре безвыездно? Поистине олимпиец. Вот «орднунг» так «орднунг»! Как тут не быть «деликатам фон деликатесам»!

Вечером в гостинице нам до трех часов ночи не дают спать наши разгулявшиеся туристы. От «Подмосковных вечеров», исполняемых подвыпившими голосами, нет спасения. Они буквально врываются во все щели тонкостенной третьеразрядной гостиницы, женский хохот, перемежаемый визгом, кружится в коридорах, где то и дело с пушечным эхом хлопают утлые немецкие двери.

– Дай мне снотворного! – стонет жена в сознании полной своей правоты. – Русские свиньи. Никакого порядка!

Но я бросаюсь грудью на защиту национальной чести:

– Ну, веселятся люди, завтра на Родину уезжают. Надоело им тут. Зато помнишь, какой идеальный порядок был в Бухенвальде? – Орднунг!

– Замолчи, не занимайся демагогией! – Жена гасит свет, да и голоса в коридорах и номерах мало-помалу смолкают. Приморились богатыри... А завтра утром мы переезжаем в Австрию. Вот где я натерплюсь. Закрываю глаза и вспоминаю свою весеннюю поездку на Север...

\* \* \*

...Зосима догнал меня на моторе возле порога.

– Цепляй свою лодку! В зимовье ночевать будем. Ночью снег пойдет!

Зимовье встретило нас не приветливо. Чугунная печка, которая еще в прошлом году стояла здесь, исчезла.

– Геологи, наверно, увезли, мать их так! – пробормотал Зосима. – Ну ничего!

Он выкатил из кустов двухсотлитровую железную бочку из-под солярки, взял топор в свою медвежью лапу и за полчаса вырубил из нее новую печку с дверцей и поддувалом, с дырой для трубы, а пока он рубил, я любовался ладными его движениями, как будто в ладонях Зосимы была не ржавая бочка и топор, а консервная банка и ножницы.

Поставив печку, он побежал куда-то в лес, откуда вскоре послышались звонкие удары топора. Через полчаса он вернулся:

– Ель завалил для карбаса. Что-то ослаб, что ли? Стащить к воде не могу, пойдем, поможешь...

В комле елка была чуть ли не метрового диаметра, и сил дотащить ее до реки нам не хватило.

– Да... – горевал Зосима вечером за рюмкой, когда мы раскалили его печку докрасна. – А вот Ваня Лобанов в Архангельске, так тот бы эту лесину уволок! Он как-то избу за угол поднял, кепочку положил под венец – попробуй кто вытащи!

– А на что тебе лесина-то?

– Да мы с них доски на карбаса пилим вручную продольной пилой.

Из разговора я узнал, что он всю неделю был на тоне, заколотил в морское дно сто пятьдесят шестов для ловушек – громадной колодушкой с мощной железной стремянки, в субботу на моторе выходил за дровами – тяжелые сутунки надо наловить в море, сбить в плот, привезти в деревню, выкатить на деревянный настил, чтобы сохли... Потом спать повалился – рук отмыть сил не было. Отлежался, завел мотор и помчался в верховья реки к озерам: пока большая вода, щук надо заготовить бочки две. Посреди ночи я проснулся от холода – за окном было бело, выпал снег. Зимовье выстудило. Я глянул на Зосиму, спавшего на соседних нарах. Он, весь слеппенный из мускулистых комков и жгутов, голый, в черных сатиновых трусах, лежал прямо на досках и храпел богатырским сном. Тяжелая челюсть, свалывшийся клоч волос, медное лицо и черные ладони человека, который рубит топором миллиметровое железо, как консервную желье.

На другой день вечером мы уже были в Мегре, где продавщица Глафира, когда я похвалил ее дом, срубленный из отборного лиственника, неожиданно рассказала:

– А это брату моего деда немка построила, она на устье жила. У них, говорят, любовь была, она ему лес и подарила... А муж ее все

повторял: «Моя Вильгельмина себе ничего плохого не позволит». У ней четверо детей было. Они концессию держали в двадцатых годах, лес сплавляли, нанимали наших мужиков, а жили в верховье, возле Мегорских озер.

Так вот что за полусгнивший двухэтажный сруб видели мы в прошлом году, когда поднимались на веслах к озерам! Мощные полуметровые листовки. Рыжая гниль. Верхние венцы превратились в ржавую труху. Нижние еще стоят. Косяки окон и дверей серебрятся от старости. Внутри – труха: туда падали стропила, крыша, перекрытия. А дом крышей держится, как крыша потекла – сразу гниль. Рядом развалины бани. В углу груда крупных камней, покрытых мохом, – каменка... Остатки немецкого «орднунга», устоявшего перед стихией и беспорядком...

А на чердаке у Глафиры Николаевны громадная икона в медном окладе.

– Иван Воин! С ним раньше по деревне ходили. Спасла, когда церкву рушили...

\* \* \*

Неровная, рваная улица домов. Низкое серое небо, с одной стороны – море, с другой река. Во время отлива на малой воде – она уходит далеко от берега – лодки ложатся на блестящее илистое дно.

Ветер. Песок. На холме черный силуэт деревянной церкви, безголовый, с пустыми квадратами окон.

Возле покосившейся стайки старуха пилила двуручной пилой дрова.

– Здравствуйте, бабушка! Бог помощь. Давайте помогу...

– Ну, помоги, милоч, старухе...

Распилили несколько чурок. Разогнулись передохнуть.

– Лет-то сколько, бабушка?

– Да без году восемь десятков!

– А что дрова одна пилишь – ай помочь некому?

Два синих глаза на изрезанном морщинами круглом лице озорно блеснули:

– Одна пилю, одна колю, одна поленницу кладу. Пошли чайку попьем!

Мы подошли к ее громадному дому, стоявшему прямо на берегу реки. Его парадная стена выгнулась, словно кто надавил на нее изнутри, окошки перекошились, крыша, обросшая зеленым мхом, кое-где провалилась, взвоз со стороны улицы обрушился...

Евлампия Вячеславовна перехватила мой недоуменный взгляд.

– Одна живу, помочь-то некому. Одна пилю, одна колю... А кого позовешь – бутылку купить надо. Пять тридцать, а вся пенсия тридцать восемь рублей...

За самоваром она рассказала мне всю свою жизнь.

– Мужа-то угнали в сентябре сорок первого. А в феврале он погиб. Вон мы с ним – красивая пара была, в тридцатом году поженились. Кудрявый был мой Василий, да и я ничего...

Со стены с большой фотографии в черной самодельной рамке смотрели молодые – скуластая крепкая девушка и чубатый парень.

– Так после Василия одна и живу. Ни с кем не связалась. Не дал Бог сыру, а сывороткой не нахлебашься... Пензию-то мне колхозную дали поперва восемнадцать рублей. Ну, думаю, плохи твои дела, Евлампия. Пошла к морякам прачкой – восемь годов стирала, потом уборщицей в клубе пять годов, вот справок и набрала на тридцать восемь рубликов! – Евлампия улыбнулась, победно блеснув крепкими зубами. – Да ишшо картошку сажаю, летось колхозу сдала шесть мешков по семь копеек за кило. Жить-то надо! Государыня взыщет, а помощи не пришлет! Избу мне токо надо поправить. Хоть бы крышу перекрыли. В чашку текет, засну – на рожу текет, перевернусь – на спину текет... Председатель приходил – давай, говорит, Евлампия, тебя в комнату сельсоветовскую переселим! А я никуда со своей избы не пойду, пусть задавит меня. По-

можете горюшку вылезти на волюшку из завалинки своей. Стенку клеенками обила и живу. Сама живу и скотинку держу. Был кот Фомка, по девкам пошел и пропал – на шапку попал. А кошка Машка взамен родила мне Ваську – глядишь, принесет счастье...

Кошка Машка с котенком Васькой возились на кровати с никелированными блестящими набалдашниками. Над кроватью висела фотография: человек тридцать мужиков в кепках, дешевых пиджаках, в сапогах – худые, скуластые, обветренные лица. «25.07.1933 г. Советание капитанов зверобойного промысла».

Глядя на фотографию, Евлампия погрузилась:

– Вон там в середине в первом ряду Василий мой сидит...

Запив бражку чаем, мы вышли допилить дрова. Ветер усилился, принося со стороны моря песок и соленую влагу. Вечерело. Черный силуэт церкви торчал на песчаном холме, разрезая надвое полосу красного заката.

– А церковь-то давно порушили, Евлампия Вячеславовна?

– А как раз в ту пору, когда мы поженились. С области полномочные приехали да наших дураков тут нашли. Марфу да Клавдию, парамоновскую невестку – первые дуры были в мире. Какие девки – жёнки! Так что удумали: на иконах с горы кататься. Бог потом их наказал – одна раком заболела, когда хоронили, только кости да шкура от нее остались, а Клавдия – та умом лишилась, спилась с ненцами. Пьяная спать завалилась с папирсой, да ватник и затлел на ней... Сгорела. Хоронили, как головешку, черную...

А ишло был Яков Захарыч. Так тот по крестам стрелял, смелый был. А на фронт пошел да и сдзертировал. Сам себе яму выкопал – и в нее его свои же порешили...

Мы взвалили на козлы сутунок. Пила шла тяжело. Раза три пришлось передохнуть, распрямиться, поглядеть на закат, на ключья пены в реке – вода прибывала с моря. «Вода заживала» – начинала жить.

– Листвяк! – с восхищением глядя на сутунок, сказала Евлампия Вячеславовна. – Болонь-то сгнила, а сердце цело. Пилишь – не распилишь...



Жива ли ты, Евлампия Вячеславовна? Греют мне душу глаза твои синие, невыцветшие, белозубая улыбка и грусть, которую ты всю жизнь носишь в крепком, как сердцевина лиственницы, сердце на неуютной земле, где шумит море, свистит на ветру песок, «заживает вода» и пламенеют в редкие тихие вечера тревожащие душу закаты.

«Не дал Бог сыру, а сывороткой не нахлебашься...»

«Помогите горюшку вылезти на волюшку...»

«Одна пилю, одно колю, одна поленницу кладу...»

\* \* \*

После лицецерения австрийских витрин, магазинов мне плохо, как после тяжелой пьянки или блуда. Усталость. Муки совести, душевное жжение в груди, где-то в области солнечного сплетения, располагающее к язве. Что делается! Все богатства мира – машины, колбасы, магнитофоны, костюмы, вина – все брошено для того, чтобы вытеснить своей сверкающей массой из человека его маленькую призрачную душу. Все доступно, все на глазах, все твое... Позабудь про душу, включись в погоню за благами мира, и они – твои!

Чувства работают вхолостую, не насыщаясь, изнашивая тебя. Чувствую себя как отец Сергей, но не отрубивший себе палец, а павший перед соблазном. Горе тому, кто соблазнит малых сих! Пьешь потребительский наркотик и напиток им не можешь – жажда все сильнее. Поглощаешь глазами платиновые кольца с бриллиантами, разноцветную обувь с золотыми клеймами, вдавленными в мягкую кожу, плотные твидовые пиджаки в клетку, эмаль, никель, кафель, развалы парного красного мяса, горы ноздреватого сыра, фигурные бутылки темного стекла, маленькие лукошки душистой парниковой земляники, пьешь и чувствуешь, как с каждым глотком все пьянее голова и все меньше, все слабее, все беспомощнее душа... Забивается куда-то в угол, как загнанный зверек, сжимается, как пружина, и вдруг – взрывается, не в силах переносить дальнейших унижений!

Вот она, лощеная морда всемирной бесовщины! Вот что завоевало мир – не сила, не идея, не вера, а жажда потребления, живущая в каждом «из малых сих». С ужасом я пытался избавиться от наваждения, закрыл глаза, представил себе мой любимый песчаный обрыв на черной северной реке, старенькое остожье возле заросшего душистой черемухой наволока, звон лебединых голосов с Черного озера... Но на этом рубеже я продержался недолго, и снова в глазах заплясали «филипсы», витрины с копчеными угрями, сверкающие лунным блеском куртки... Взмолившись, я мысленно вызвал на помощь невинные мордашки своих любимых внуков, но и они помогли ненадолго – чуть-чуть помаячили и исчезли под нажимом витрины то ли с охотничьими ножами, то ли со свитерами из шотландской шерсти. Но ведь красиво – ничего не скажешь! Да, красиво, иначе бы не соблазняло. Так почему страшно? Потому что красота хищная, бездушная, доступная всем, продажная, кричащая: присягни Золотому тельцу, и я отдаюсь тебе, всю жизнь будешь жить мною, мечтать обо мне, наслаждаться мною, работать для меня, ничего не жалеть, чтобы поменять мотоцикл на машину, лодку на яхту, яхту на личный самолет, квартиру на виллу. Я – твоя! Но и ты – мой...

Кислые осадки – смесь облаков и промышленного дыма – падают на вечные Альпы и на старые города Европы, уничтожают нежные ткани древесных листьев и трав, съедают кислород, но одновременно наполняют улицы мохнатыми твидовыми блейзерами, лакированными «мерседесами», шуршащими магнитофонными пленками. Призраки всеобщего счастья. Я лежал в маленьком уютном отеле на окраине Гра с колотьем в груди, не зная, как от него избавиться.

– Помоги, Господи! – вырвалось из моих запекшихся уст. Может быть, перекреститься? Я вытащил руку из-под мохнатого чистошерстяного одеяла и с трудом вспомнил, что крестное знамение по православному обряду сначала кладется на правое, потом на левое плечо, и несколько раз торопливо ткнул себя в лоб, в грудь и в плечи... Да разве

поможет! Столько бродил по великим готическим соборам, глядел на Деву Марию с Младенцем, на распятого Спасителя в лучшем случае с холодным любопытством, а как заходил в рыбный магазин, где в эмалированных лотках лежали красные омары да куски розовой лосося, то сладостная слюна разом наполняла рот... Пропади ты пропадом! Еще раз осенил себя крестом и бессильно уронил руку на мягкое одеяло – нет, не поможет!

Внуков жалко. Рано или поздно человечество расплатится за разгул плотских страстей, но бескровно это не произойдет. Только безмерные страдания смогут разрушить миражи всемирного счастья. Кровью придется заплатить за разрыв с материальными призраками, за возвращение к суровой простоте жизни. А кровь – это война. Где-то неподалеку стоит, как страшный памятник, концлагерь Маутхаузен, люди приходят туда, молча озираются, читают всяческие надписи, вздыхают и уходят, не понимая, как полвека тому назад на этой благополучной земле выросла раковая опухоль...

В Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим замученным, есть особый памятник из белого камня: с окаменевшим лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидит пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?» А вокруг чугунные плиты, колючая проволока, люди, висящие на ней, воздетые к небу руки... целый лес памятников, стел, монументов. Каждому немецкому солдату, воевавшему на Восточном фронте, в случае победы был гарантирован кусок нашей земли... Они тоже несли в своих душах культ потребления.

Может быть, надеть спортивный костюм, кроссовки да побегать по ночному городу, разогнать наваждение? Но не было сил встать, одеться, и я остался лежать в темном номере под мохнатым одеялом, с бессильно сложенными на груди руками.

Мои внуки не переносят молока. Какие-то его части, вредные для них, накапливаются в маленьких телах. Один раз поел молоко, другой – на третий вырвало. Аллергия.

Так и меня рвало от пищи Золотого тельца. Восстать против него, убить, как Георгий дракона, – риск страшный, в наше время человек так сросся с тельцом, словно кентавр какой, что неизвестно, уцелеет ли сам, поразив чудовище.

Когда крестное знамение не помогло, я решил вспомнить стихи – какие-нибудь самые нетленные, самые неуязвимые для нечистой силы.

Умри, Флоренция, Иуда,  
Исчезни в сумрак вековой!  
Я в час любви тебя забуду,  
В час смерти буду не с тобой!

Хрипят твои автомобили,  
Твои уродливы дома,  
Всеевропейской желтой пыли  
Ты предала себя сама!

Отлегло маленько от страстного блоковского проклятья, нет, можно еще противостоять... Я зажег настольную лампу, вытащил из чемодана томик Есенина, открыл, как открылось:

Станный вы народ!  
Жили весь век нищими  
И строили храмы Божии...  
Да я бы их давным-давно  
Перестроил в места отхожие...

Что и говорить, места отхожие здесь замечательны: кафель, чистота, химические благовония. Отдашь монетку – и отдыхай... Станный

мы народ... Софию Киевскую построили, церковь Покрова на Нерли возвели, Кижы срубили, а на комфортабельные «места отхожие» – сил не хватило... Но все-таки стало полегче, боль в солнечном сплетении рассосалась, а когда незаметно для самого себя я вспомнил:

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

– то последние ее симптомы исчезли, я почувствовал себя спокойно и, понимая, что окончательно справился с наваждением, заснул сладким сном в удобной капиталистической кровати под мягким чистошерстяным одеялом...

1982

## ВЕЩИЙ СОН

*Мой напарник Сергей Козлов. Наше легкомыслие.  
Борьба за жизнь. Сон о Калуге. Чудесное спасение*

Боже мой, как необъятны и таинственны просторы Севера, если смотреть на них с высоты птичьего полета!

Сквозь могучие купы елей и сосен тускло мерцают ноздреватые, усыпанные хвоей залежи снега. Отдаляясь от речных и озерных берегов, боры редеют и постепенно уступают место великим болотам – рыжей, золотой парчовой равнине, с редкими островками чахлого сосняка, с извилистыми ручьями, по которым коричневая талая влага стекает в безымянные озера. А вот одно из них, окаймленное, как чаша, темно-зеленой еловой оправой... И на черной воде белые блески. Да это же лебединая стая! С двухсотметровой высоты взор

схватывает блеск оперенья, когда лебеди, опьяненные волей, разворачиваются, взрезают воду крыльями, и брызги вокруг них вспыхивают на солнце.

Вертолет, дрожа от напряжения железным нутром, наконец-то коснулся колесами земли и сел на протаявший обмысок, покрытый прошлогодней желтой травой.

Мы с Сергеем выпрыгнули из его чрева, а вслед за нами на землю полетели рюкзаки, спиннинги, коробки с продуктами и, самое главное, упакованная в два брезентовых мешка байдарка...

Мы должны собрать ее и сплыть по только что освободившейся ото льда реке километров на сто пятьдесят к северу, где на заброшенном деревенском покосе нас будут ждать двое наших товарищей по рыбалке – Колюн и Виташа, которые выглядывали в иллюминатор вертолета, что-то кричали, строили нам рожи, показывали, традиционными жестами упруго щелкая указательным пальцем по небритому кадыку, что, мол, нам пора выпить. А мы уже отползали в крупнозернистый вешний снег подальше от горячей машины, которая с ревом тяжело поднялась в небо, отбрасывая винтами тугую волну воздуха, прокатившуюся над нашими головами. Летчик сделал над озером круг и повернул к северу, в алую полосу холодного заката.

Мы обнялись, закурили, сели на рюкзаки, огляделись. Так рано, в середине мая, мы еще никогда не прилетали на Мегру. Но весна уже дышала в тайге. Ровный ветер слизывал с берегов тонкие пласты снега, птицы, захмелев от круглосуточного северного сияния, пели без умолку, на кустах волчьего лыка уже проступила пена сиреневых лепестков.

Мы развели костерок, сварили чаю, нарезали сала, выпили в меру и начали собираться в дорогу.

Мой напарник – знаменитый писатель-сказочник Сергей Козлов, по кличке Медведь, а попросту Мишка или Мишука, автор легендарных рассказов о Львенке и Черепахе, о Ежике в тумане – был человеком созерцательным и плохим помощником в таежных делах, поэтому байдарку мы собирали долго и бестолково. Но в конце концов скинули

ее на воду, загрузили шмотками и, поскольку к вечеру похолодало, решили еще маленько выпить, а потом сели за весла.

Черная, словно бы вспухшая от полной воды Мегра подхватила лодку и понесла по изгибам и протокам, мимо островов, заваленных валежником и гигантскими еловыми стволами, принесенными половодьем... На такой воде смотри в оба: как бы не налететь на камень, скрытый в бурунах, на дерево, рухнувшее с обрыва. Его корни вздымаются на берегу, а вершина уходит в воду аж до середины реки, и где-то там в глубине – сучья, как острые ножи, над которыми проносится уязвимое тело лодки. Медведь сидел в носу, а я на корме, поскольку от кормчего зависит быстрота маневра на бешеной стремнине, на крутом сливе, когда надо по команде непрестанно работать в два весла, да так, что спина исходит паром... Часам к двенадцати светлой полярной ночи мы почувствовали, что пора искать место для ночлега, тем более что Мишка что-то начал покашливать. «Грудь у него очищается, никотин выходит», – подумал я.

Пристали к берегу, заросшему березами, среди которых виднелись подернутые серебристой паутиной развалины громадного бревенчатого сруба. Это останки бывшей немецкой конторы по заготовке мезеньского леса. С двадцатых годов они дожили до нашего времени.

Мы вскипятили чаек, разогрели тушенку с вермишелью, выпили, и вдруг нам, усталым, промерзшим, захмелевшим от горячей еды и водки, так захотелось спать, что мы не стали налаживать палатку и просто бросили спальники под елку, рухнули на них в чем были – в телогрейках, в резиновых броднях – и погрузились в сон.

Не знаю, сколько мы спали, но я проснулся от стужи, которая, казалось, вошла в мои кости. Рядом, поджав колени к животу, лежал Медведь, время от времени он шевелился, заходилась кашлем, но не просыпался. Я растолкал его.

– Волчок, холодно, – пробормотал он посиневшими губами... Я раскочегарил потухший костер, плеснул ему и себе в эмалированные кружки ледяной водки, посмотрел на часы: два часа ночи. Самое хо-

лодное время суток. Солнце уже начинало подниматься из-за Северного полюса, но в истекший час – пока его не было, зима как бы возвратилась снова...

– Надо плыть, Мишук, – сказал я, с беспокойством прислушиваясь к его кашлю. – Скатываем спальники.

Когда мы их скатывали, я вздохнул сапогом желтый мох, на котором мы спали, и увидел подо мхом мерцающую кристаллами почву. Оказывается, мы несколько часов пролежали на льдистой земле...

Мы собрали посуду, подошли к реке, огибая громадные, чуть ли не в рост человека глыбы льда, вытесненные на берег недавним ледоходом, залезли в байдарку...

– Медведь, садись, как вчера, в нос. На, возьми ружье... Заряжено нулевкой на гусей...

Я оттолкнулся заиндепевшим дюралевым веслом от берега, черный поток с полосой белой пены на стрежне подхватил нас и бесшумно понес к Белому морю.

Через полчаса я почувствовал, что от работы на веслах тело разогрелось, даже стеганку распахнул. А мой впередсмотрящий между тем кашлял все громче, почти уже не греб, и голова его то и дело свешивалась на плечо в болезненной дреме.

– Миша, гуси!

Из-за поворота в сотне метров от нас показался пологий остров, заросший ивняком, из которого торчали на длинных шеях несколько гусяных голов. Гуси погагатывали, но не тревожно: то ли не видели нас, то ли не подозревали, что к ним приближается опасность.

Я осторожно выправил байдарку на струю, и мы подошли к ним, не шевеля веслами... Медведь, как во сне, медленно приподнял ружье к плечу и выстрелил, почти не целясь, метров с тридцати. Гуси истошно загоготали, с шумом взметнулись в небо, и вся стая стремительно рванула над рекой вниз по течению... Мой незадачливый стрелок уронил голову на плечо и опять зашелся в приступе кашля.



«Господи! Так промахнуться... Да он же болен!» – дошло до меня... Я подогнал байдарку к отмели, выскочил на песок, наклонился к Медведю... Он сидел в лодке с полужакрытыми глазами...

– Волчок! Ты прости меня за промах, в глазах все двоится...

Я приложил руку к его лбу и почувствовал, что у него жар.

– Волчок! Ты не знаешь, что я хроник. У меня каждый год воспаление легких...

Я похолодел от страха: вся наша аптечка осталась в вертолете у Колюна с Виташей! До ребят плыть еще двое суток... Ночевать в палатке с ним нельзя. Ночью заморозки. Надо без привала добраться до рыбацкой избы, что на полпути между нами... К теплу, к железной печке... Не медля!

Несколько часов подряд я греб, не жалея рук, выправлял лодку на стремнину, пронесился на поворотах, отчаянно отворачивал от мощных бурунов, вздымавшихся над валунами, с замиранием сердца бросал лодку на желтогривые гребни рокочущих сливов и шептал про себя: Господи, пронеси! Лишь бы не опрокинуться, лишь бы не зачерпнуть воды, лишь бы не разорвать днище!.. Два-три раза в течение дня я приставал к берегу, быстро заваривал крепкий чай, восстанавливал силы, поил из кружки Медведя, который уже начинал бредить от жара. Я не вытаскивал Мишука из лодки, понимая, как трудно будет его, едва стоящего на ногах, упаковывать обратно в утепленное, тесное байдарочное логово...

Наконец-то после очередного поворота река плавно вошла в пологие берега, заросшие чистым ленточным бором. Значит, до избы осталось полтора-два часа хода. А тут еще рябчики засвистели. «Хорошо бы бульон из рябчика больному Медведю сварить», – подумал я, подтянул к себе поближе «тулку» и стал вглядываться в древесные кроны. Ну да, во-он сидит, посвистывает. Надо стрелять с воды, чтобы времени не тратить, да и лодку рябчики подпускают близко! Но они свистели по правому борту, потому стрелять пришлось с правого пле-

ча, с одной руки. Я дважды промазал, но на третий раз все-таки сшиб с ветки краснобрового красавца с хохолком.

Через час мы причалили к тропе, ведущей в избу. Я вытащил Медведя из байдарки, довел его, шатающегося на ватных ногах, в избу, расстелил спальник на железной армейской кровати, затолкал в жерло железной печки бересту и сухих полешек, чиркнул спичкой... Пламя осветило темное нутро избы, дощатый стол, две табуретки, почерневшее, осунувшееся лицо моего спутника, похожего ликом на распятого Христа с картины Эль Греко. Из его груди и гортани вырывались клокочущие и хриплые звуки. «Да он же и помереть может, Господи! – дошло до меня. – Надо скорее рябчика варить!»

Я вышел на улицу, наломал хворосту, надрал бересты, но падающий из низкой тучи мокрый снег никак не позволял мне разжечь хороший костер. Я огляделся в поисках дров посуше, увидел крепкий лиственный чурбак, поставил его на удобное место, взял в руки топор, загадал: «Расколю с одного удара – выживет!» Чурбак со скрежетом располовинился, но не до конца, и лишь когда я вытащил топорнице из древесины, обе половинки повалились по сторонам. То ли раскол, то ли нет? Но на душе стало скверно.

Ощипать, опалить, разрезать на куски рябчика, почистить хариусов, насадить на рожны вокруг огня – все это заняло у меня минут пять. Когда я вошел в избу, в ней было, как в бане, раскаленная докрасна печка гудела. Медведь от жары распахнул спальник и лежал весь взмокший, волосы прилипли ко лбу, рубаха на груди темнела пятнами пота.

– Волчок, – пробормотал он. – Очень жарко. Сними с меня мокрую рубаху! – Я вытащил из рюкзака полотенце, вытер ему лицо и грудь, передел болящего в сухое, принес в избу кастрюлю с рябчиками, печеного хариуса, чай с брусничным листом... Но Медведь вяло проглотил две-три ложки бульона, полкружки чая, откинулся на спальник.

– Волченька! Не хочу... – И погрузился в забытие, прерываемое приступами кашля.

Я вышел перекурить под легкий снегопад и вдруг заметил на тропе затоптанное птичье тельце... То ли чирок, то ли кукша, сбитая, видимо, каким-то дурашливым охотником, ночевавшим в избе незадолго до нас... Я снова вернулся в избу... Мишка тяжело дышал. Я в очередной раз стащил с него мокрую – хоть выжимай! – рубаху, повесил ее возле печки сушиться, поглядел на его черные впавшие подглазья.

«Не может быть, чтобы в избе, где часто бывают браконьеры из Архангельска и Мезени, не было каких-нибудь таблеток!» Я обшарил кладовку, все подоконники, облазил на четвереньках полы, перетряс мешочки с лавровым листом, спичками, солью, висевшие на гвоздях по стенам. Ничего. Печка быстро прогорала, и я то и дело выбегал на волю, обламывал корни у вывороченных бурей сосен, рубал топором сучья, переодевала Медведя, вливал ему в рот чай, который тут же выходил потом, и рисовал в своем воспаленном воображении всяческие ужасные картины. Как он умрет у меня без лекарств от воспаления легких. Будучи сыном врача, я это знал. Как я уложу его отяжелевшее остывшее тело в байдарку и поплыву к ребятам. Как мы бросимся в путь к морю, в деревню – а это еще сутки! (Хорошо, что стоят холода!) Как дозвонимся до Архангельска, нам вышлют санитарный вертолет, а потом – в дорогу с телом до Москвы, где нас встретит его жена Таня по прозвищу Поросенок и с заплаканными глазами спросит меня: «Волк! Как все случилось? Почему ты не спас Сережу? Сережа ведь так тебя любил!» А что я скажу в ответ? Что я его любил тоже? После всех этих и других фантастических, но вполне возможных картин я выскакивал на воздух, глядел на мокрого дохлого чирка, выкуривал сигарету, возвращался к Медведю – и все шло по кругу: переодевал, поил, прикладывал ладонь ко лбу и проклинал себя за легкомыслие: аптечку забыл в вертолете, устроил ночлег на промерзшей земле. Да и вообще не того напарника себе выбрал... Все это продолжалось до утра, пока от усталости я не рухнул на свою кровать и не вырубился.

И приснился мне вещий сон.

Как будто мы с Сережей Козловым приехали в мою родную Калугу и прогуливаемся по Пушкинской улице, идем от Загородного сада к бывшей Одигитриевой церкви, давно уже превращенной в общежитие, проходим мимо дома моего покойного друга Андрея Федорова, и вдруг калитка во двор растворяется, из нее выглядывает Андрей и кричит: «Стасик, наконец-то ты приехал, заходи ко мне, у нас встреча друзей». «Да я не один, Андрюша», – говорю я ему. «А вы оба заходите, мы вас давно ждем...»

Андрей берет меня за руку, вводит во двор, закрывает на засов калитку, и мы заходим в дом.

Надо сказать, что Федоров был одним из самых популярных авторитетов в нашей мужской тринадцатой школе. Стройный, высокий, с курчавой шапкой волос над тонким породистым лицом, с легкой походкой, он первым из нас стал красиво одеваться, ходить на танцы, заводить романы, и вскоре над его головой как бы засиял венчик первого по всей округе сердцеда и донжуана... К тому же Андрей был лучшим рыбаком нашего загородносадского товарищества, а если еще вспомнить, что играл на скрипке и что не было ему равных в азартных играх в очко, в орлянку, в жожку... Даже в эту некрасивую игру, суть которой заключалась в том, кто большее число раз ударами стопы удержит в воздухе кусочек свинца, пришитый к клочку собачьей или овечьей шкуры, он играл с особым изяществом. Его жожка резко взлетала в воздух – много выше, чем у других, замирала в зените и потом, словно раскрывшийся парашют, распушив волосяное оперение, плавно опускалась к земле. А он в это время успевал улыбнуться, принять удобное положение и встретить ее снова уже не внутренней, а внешней стороной стопы или даже (чего никто не умел!) правой ногой, забрасывая ее сзади за левую... И все не торопясь, как бы без усилия, с улыбкой, пока мы, окружавшие его, в восхищении хором считали: пятьдесят пять... семьдесят четыре... девяносто два... И сапожки у него, которыми он вытворял все эти чудеса, были особенные: легкие, хромовые, почти танцевальные...

После школы Андрей закончил геодезический техникум, лет десять бродяжил как геодезист по всей России. Чуть ли не везде, где он работал сезонно, он заводил себе зазнобу, иногда женился в очередной раз, быстро спивался, на что жаловалась моей матушке ее подруга, мать Андрея – скрипачка и учительница музыки, красавица, от которой он и унаследовал свою статью...

Бывая в Калуге, я слышал о том, что он стал совсем плох, и не заходил к нему, разве что запоминал рассказы о его жизни от нашего общего друга Александра Калганихина:

– А с Федоровым мы встретились в кафе на днях. Руки у него с утра трясутся. Я говорю: «Что взять?» А он, гордый, все хорохорится: «Я да я!» Ну тогда я ему говорю: «Кончай ты гудеть в свой пехтерь, пей земляничное, я угощаю». А он свое: «У меня лотерейный билет выиграл, надо завтра получить!» – «Знаю я эти лотерейные билеты... пей земляничное!»

О его смерти в собственном доме, которая случилась в середине семидесятых, я написал в «Калужской хронике»:

...В сем дому мой друг  
тому назад уже лет десять  
с утра перестирал белье,  
пересмотрел житье-бытье  
и сам себя решил повесить.  
Красавец, женолюб, гусар,  
ну кто нанес тебе удар,  
ведь не какая-то гордячка,  
не подлый друг, не прокурор,  
а просто белая горячка  
и безысходности позор.  
Рубаху чистую надел,  
как выпускник десятилетки,  
точенный профиль в петлю вдел  
и спрыгнул в бездну с табуретки.

...Однако мой вещий сон продолжался. Мы с Медведем вошли в дом, заглянули в горницу, где за столами сидело человек пятнадцать шумного и пьющего народа. Кое-кто мне показался знакомым, но я придержал за плечо Мишуку, который хотел уже пристроиться к столу: «Погоди, давай постоим в дверях, покурим», – сказал я ему, чувствуя, что мне почему-то очень не хочется вливаться в компанию. Пока мы курили, я повнимательнее присмотрелся к гостям Андрея и вдруг с ужасом понял, что все сидящие за столом – покойники... Понял, почти как герой Николая Васильевича Гоголя, который в повести «Майская ночь, или Утопленница» разглядел в прозрачном теле одной из веселящихся девушек какое-то черное нутро.

– Мишка! – шепнул я Козлову. – Слушай меня и ни о чем не спрашивай. Тихонько поворачиваемся и уходим. За мной. Быстро! – Мы бесшумно отпрянули в сени, выскочили на крыльцо и вдруг услышали, как все гости под предводительством Андрея бросились за нами с криком: «Куда же вы! Мы так вас ждали! Вернитесь обратно!»

Мы бросились к калитке – а за нами вся толпа мертвяков с вытянутыми руками – и Андрей впереди! Однако я успел с грохотом поднять засов, распахнуть дверь, вытолкнуть на улицу Медведя и выскочить вслед за ним, уже вырываясь из цепких музыкальных пальцев Андрея, выскочил и тут же захлопнул калитку, повернув кованую железную ручку, которыми богатые домовладельцы в прежние времена украшали свои дома в нашей округе...

В обильном поту я проснулся, сбросил ноги на грязный пол. Печка давно прогорела, изба наполнилась холодом. В углу слышалось булькающее, хриплое дыхание...

«Умирает Медведь! – в отчаянии подумал я. – Не должно этого быть! Ведь мы же только что убежали от покойников. Как же я его домой повезу?!»

И вдруг меня самого обдало жаром – от стыда. Что со мной? Почему я впадаю в отчаянье не от того, что он – Медведь, Мишка, Мишука – помрет, а от тех жутких картин, от тех неприятностей, которые

мне рисует мое растленное воображение: бездыханное тело, погрузка, выгрузка, следователи, допросы... Тьфу! «Господи, – пробормотал я, – прости меня, грешного! Спаси и помилуй!»

Я склонился над его воспаленным лицом, увидел, как на бороду из уголка рта стекает струйка липкой слюны. Опять поменял ему рубаху (уж не в последний ли раз!), поднес ко рту кружку с отваром. Не открывая глаз, Сережа хлебнул, отвалился на спальник и что-то пробормотал: то ли «спасибо», то ли «спасите»... Я набил печку дровами, подошел к низкому тусклому окошку, протянул руку к свету – посмотреть время. Часы стояли. «Плохая примета, – подумал я, но тут же вспомнил: – А от покойников мы все-таки убежали». Должно быть, я просто залил часы водой, когда зачерпывал чайником воду из реки. Я снял часы, положил их на табуретку возле печки. В это время в печке вспыхнули дрова, осветили избу, и я увидел прибитую над окошком узенькую досочку и понял, что между доской и округлым бревном есть щель. Да, вот она. Просунул в щель палец, провел по всей длине щели и вдруг нащупал какой-то пакетик. Вытащил и прочитал на упаковке волшебное слово «эритромицин». Что было дальше, помню по минутам! Рывком посадил Сергея на кровати, засунул ему в рот одну за другой три таблетки, заставил выпить кружку отвара, вытер лицо мокрым полотенцем. Он в изнеможении откинулся и заснул. Через два часа я повторил процедуру. Схватил часы, чтобы посчитать пульс (они высохли – и пошли!). Пульс всего лишь сто! Слава Богу... Часа четыре тому назад было сто сорок. Температура падает. Однако у нас осталось всего лишь четыре таблетки. Надо, как это ни рискованно, плыть к ребятам на сенокос. Медведь очнулся, и я стал объяснять ему, что нам надо срочно идти вниз – к друзьям, к лекарством, к избе на покосах, куда довольно часто приходят на моторках деревенские браконьеры.

– Волчок! – взмолился Мишка уже вполне членораздельно. – Пожалей меня, дай отлежаться в тепле!

– Мишка! У нас осталось всего лишь четыре таблетки. А твое воспаление легких лишь чуть-чуть притушено. Я тебя усажу в лод-

ку, как ребенка, укутаю пуховыми спальниками, будешь посапывать, словно в берлоге, и сочинять сказку, как волк спас медведя от неминуемой гибели.

Сереза заулыбался: перспектива плыть и дремать в байдарке, как в берлоге, да еще сочинять сказку явно пришлась ему по душе.

На завтрак он-таки поел рябчика в бульоне, попробовал печеного хариуса и позволил упаковать себя так, словно мы готовились к походу на Северный полюс. Я обул Медведя в громадные подшитые валенки, найденные на чердаке, потихоньку свел его по тропе к берегу и кое-как втиснул в лодку. Он сидел на пуховом спальнике, укутанный вторым пуховиком. Над его головой я укрепил зонтик, чтобы он был защищен в дороге от снега или дождя. А сам, поскольку мне предстояло весь день грести, надел фланелевую рубашку и штормовку... Что оставалось? Засунуть ему в рот две таблетки, столкнуть лодку в черную воду и – вперед, к северу!

Ах, как ладно и размеренно работали мои плечи и руки во время этого броска, как легко и вдохновенно я огибал опасные места, вовремя выходил на струю, придававшую лодке ходу.

Медведь, сидевший, как китайский мандарин, под зонтиком, уже не свешивал голову на плечо, а крутил ею по сторонам... Время от времени лебеди звонко переговаривались над нашими головами, видимо, удивленные странным зрелищем, которое мы представляли. Зато разноцветные самцы-турухтаны на желтых травянистых обмысках вели петушинные бои за обладание серыми невзрачными самочками и не обращали на нас никакого внимания, их можно было разглядывать с десяти-пятнадцати метров. Желтые ручьи, вытекавшие из оттаявших болот, с шумом вливались в Мегру, образуя целые айсберги воздушной пузырчатой пены.

От этой непрерывной, но сладостной работы я взмок, пар шел от моей штормовки и тут же на глазах исчезал, съдаемый холодом. Дважды я делал короткие привалы, кипятил в кружке чай, засовывал Медведю в пасть последние таблетки и снова хватался за весло.



...Однако что это за наваждение? Громадный валун торчит посредине реки, там, где его никогда не было. Откуда бы ему взяться? Я направил байдарку прямо на него. Но когда до камня осталось метров семьдесят, он вдруг шелохнулся. Сохатый! Но почему он стоит в ледяной воде? Я бросил взгляд на левый берег и увидел, что по нему мечутся какие-то тени. Волки! Они загнали сохатого в воду и ждали, когда он перейдет реку, чтобы переплыть ее и броситься следом за добычей. А он, умница, стоял на стремнине, понимая, что в потоке ревущей воды стая бессильна и не сможет справиться с ним. Я схватил ружье и навскидку дуплетом шарахнул гусиной дробью по хищникам. Волки взвизгнули и бросились наутек, а лось раздвинул грудью реку, вышел на берег, повернул ко мне морду, благодарно фыркнул и пропал в еловом наволоке.

Через час я увидел на покосе огонек костра и вскоре под восторженные крики Виташи и Колюна причалил к берегу... Слава Богу, вместе с ними у костра сидел Ленька Хардаминов, бригадир из Мегры. Этим же вечером он посадил еще бессильного, кашляющего, но уже ожившего Сергея в просмоленный шитик, рванул стартер, и они помчались в деревню, к теплой избе, к русской печке, к фельдшерице Нине...

Через неделю наш сказочник вернулся вместе с Ленькой на той же лодке, розовощекий, с блестящими глазами, с ящиком «Стрелецкой» настойки, которую мы тут же начали выпивать за его чудесное спасение...

А холод все еще боролся с теплом. Третьего дня я, уставший от тесноты в палатке, лег спать на воздухе под елкой. Настелил лапника, залез в спальник, сверху целлофаном накрылся. На всякий случай, — если дождь. Утром проснулся от нежного шума — и что-то щеки покалывало. Открыл глаза — свистящие белые нити снега неслись вдоль черной стены леса... К утру проснулся занесенный снегом. А сегодня купы марьяна корня на берегах уж прут из влажной почвы, и над желтыми зарослями душистой вербы гудят тяжелые шмели.

2000

## «ЗА ГОРИЗОНТОМ СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ...»

*Цыганская венгерка на Поварской. Владимир Ермилов и домработница Нюра. Новый год с Рубцовым. Друзья и враги Вадима. Воскрешение Бахтина. Артистическое диссидентство. Слезы из «чаши бытия»*

Его имя, облик, речь, мысли, события, с ним связанные, настолько естественно живут, растворенные, как соль в воде, в книге моих воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», что мне в голову не приходило написать особую главу, ему посвященную. Может быть, такое случилось потому, что книга рождалась при его жизни, он читал ее главы, печатавшиеся в журнале, звонил, поздравлял, советовал кое-что уточнить, что-то убрать, а что-то дополнить или доказать более убедительно. Словом, работал над будущей книгой вместе со мной. Но 25 января 2001 года он умер. И после его смерти во мне постепенно разрасталось чувство незавершенности своих воспоминаний, наверное, потому, что образы людей в нашем сознании после разлуки с ними складываются по иным законам, нежели тогда, когда они живут рядом, звонят нам по телефону, говорят о разных житейских пустяках, забавляя или раздражая нас. Анна Ахматова не зря даже писала о том, что «когда человек умирает – изменяются его портреты». Изменяются, конечно, не портреты, а незримый облик, хранимый в душевной памяти.

\* \* \*

Не помню, кто познакомил нас, но было это жарким июньским днем 1960 года. Светловолосый, излучающий молодое дыхание жизни – ему еще не было и тридцати, – Вадим затащил нас с Передрее-

вым в какую-то светелку, которую он снимал в старинном московском особняке на бывшей улице Воровского. Он недавно ушел от своей первой жены и, празднуя холостяцкую свободу, буквально купался в череде мимолетных, но искренних романов, наслаждаясь декламацией стихов, брызгами шампанского, стихией цыганской венгерки, звуки которой так естественно вырывались из полукруглых окон бывшего дворянского гнезда. Цыганскую венгерку, которую я услышал в тот вечер, он разыгрывал самозабвенно, как бы воскрешая быт и нравы молодых московских славянофилов, живших столетием раньше в подобных особняках. Слушая его, я тогда подумал, что он, может быть, неосознанно, но страстно, глядя в потускневшее зеркало истории, ощущает себя таким молодым Аполлоном Григорьевым, когда с кожиновским обаянием, к восторгу нашему, буквально терзая дешевенькую ширпотребовскую гитару, восклицал волшебные заклинания, вот уже полтора века не выходящие из моды:

Басан, басан, басана,  
Басаната, басаната,  
Ты другому отдана  
Без возврата, без возврата!

Несколькими годами позже ленинградский поэт Александр Кушнер мрачно отзовется о знаменитой литературной гитаре, под аккомпанемент которой два века длится жизнь русской поэзии:

Еще чего – гитара,  
Засучивай рукав.  
Любезная отрава,  
Засунь ее за шкаф.

Пускай на ней играет  
Григорьев по ночам,

Как это подобает  
Разгульным москвичам.

А мы стиху сухому  
Привержены с тобой  
И с честью по-другому  
Справляемся с бедой.

Дымок от папиросы  
Да ветреный канал,  
Чтоб злые наши слезы  
Никто не увидал.

Стихи написаны в 1968 году и означают не только размежевание питерской и московской литературных школ, не только традиционную вражду западников и славянофилов. К тому времени в истории определилось нечто большее: противостояние диссидентского и патриотического сознания в русской интеллигенции.

В известном смысле их столкновение в конце 60-х годов XX века продолжило вечную традицию российской истории, впервые замеченную Александром Пушкиным в его размышлениях о «переметчике» Фаддее Булгарине: «В Москве родились и воспитывались, по большей части, писатели коренные, русские, не выходцы, не переметчики, для коих *ibi bene, ibi patria*\* , для коих все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское – были бы только сыты».

Я уверен, что стихотворение Кушнера написано о «разгульном москвиче» Вадиме. Кушнер, правда, забыл, что в ленинградской или, если хотите, питерской школе русских поэтов, кроме «суховатой», «никотиновой» ноты Кушнера, Сосноры, Бродского, выродившейся в конце концов в сухую диссидентскую злость, жива и московская ги-

---

\* Где хорошо, там и родина (*лат.*)

тарная стихия от Александра Блока до Глеба Горбовского, – «утреет, с Богом, по домам».

Да что там Кушнер! Нет, пожалуй, ни одного критика или публициста, о ком русские поэты 60–70-х годов написали и кому посвятили столько стихотворений, сколько Вадиму и о Вадиме. Кажется, первым, кто ввел его имя на поэтический Олимп, был Владимир Соколов.

У сигареты сиреневый пепел.  
С другом я пил, а как будто и не пил,  
Пил я Девятого мая с Вадимом,  
Неосторожным и необходимым.

Стихотворение замечательно тем, что при высокой простоте стиля оно почти документально и фотографически изображает быт и нравы нашего литературного содружества тех лет.

Дима сказал: «Почитай-ка мне стансы,  
А я спою золотые романсы,  
Ведь отстояли Россию и мы,  
Наши заботы и наши умы».

Мы вспоминали черты и детали,  
Мы Боратынского долго читали  
И поминали почти между строчек  
Скромную песенку «Синий платочек».

Стихотворение написано в лучшую пору жизни Соколова, когда он был рядом с нами. До той поры, пока его последняя жена, возжелавшая, чтобы в перестроечное время Володя обрел другой «имидж», не отдала его от нас. Вот тогда-то он по слабости характера и под давлением ренегатской эпохи постыдно переписал стихотворение, убрав из него

имя Вадима, и даже в одной из поэм зло и несправедливо назвал его «игрок на травке дедовских могил».

В те же шестидесятые годы чудный романс написал и посвятил Кожинovu Анатолий Передреев, а уж сам Вадим положил его на музыку, как и стихотворение Соколова.

Как эта ночь глуха, куда ни денься,  
Как этот город ночью пуст и глух,  
Нам остается, друг мой, только песня,  
Еще не все потеряно, мой друг.

А дальше следовала строфа со строчкой из Фета, потому что тогда Вадим жил его поэзией и вышибал из нас не «злые слезы», а слезы восторга исполнением двух романсов: «Сияла ночь» и «Только встречу улыбку твою...»

Настрой же струны на своей гитаре,  
Настрой же струны на старинный лад,  
В котором все в цветенье и разгаре,  
Сияла ночь, луной был полон сад.

Помню его рассказ о встрече и разговоре с кумиром тогдашней Москвы Евгением Евтушенко:

– Читаю я ему стихотворение:

Чудная картина, как ты мне родна!  
Белая равнина, полная луна.  
Свет небес высоких, серебристый снег  
И саней далеких одинокий бег.

Прочитал и спрашиваю:

– Чьи стихи?

А Евтушенко мне отвечает:

– Не знаю! Да и чего ты в них нашел хорошего? Так, пустячок какой-то... Фет? Ну и что! Каждый средний поэт может такое написать!

Когда Вадиму исполнилось семьдесят, «Наш современник» решил издать номер с поздравлениями юбиляру его друзей.

– А ты что-нибудь напишешь, Юра? – спросил я Кузнецова.

– Да видишь ли, я ко многим его дням рождения сочинял стихи. А кроме стихов у меня ничего не получается. В них вроде бы все сказано, – ответил Юрий Поликарпович.

На повороте долгого пути,  
У края поражения иль победы  
Меня еще успели вознести  
Орлиные круги твоей беседы.

Вадим Кожинов в стихах Кузнецова возникает как мудрец из стихотворения Пушкина «К вельможе», или как сам Пушкин из воспоминаний Смирновой-Россет, или как один из участников вечно длящейся «орлиной беседы» двух русских летописцев:

За горизонтом старые друзья  
Спились, а новым доверять нельзя.  
Твой дом парит в дыму земного шара,  
А выше Дионисий и гитара,  
И с книжной полки окликает Рим:  
– Мemento мори, Кожинов Вадим!

За несколько десятилетий у Юрия Кузнецова сложилась целая книжица стихотворений, не просто посвященных «другу Вадиму», а о явлении русской жизни под названием «Кожинов». Стихи одно серьезней другого, и я думаю, что автор вложил в них немало вдохновения, чтобы изобразить и разгадать тайну этого явления:

Смерть, как жена, к другому не уйдет,  
Но смерти нет, а водка не берет.  
Душа верна неведомым пределам,  
В кольце врагов займемся русским делом.

А русское дело к тому времени все глубже и глубже втягивалось в борьбу, и герой стихотворений Юрия Кузнецова был в ее эпицентре, одновременно как бы успевая глядеть на нее с далеких исторических окраин прошлого и рубежей будущего России. Но передовая этой борьбы проходила буквально сквозь него.

Сей день высок по духу и печали.  
Меж тем как мы сидим накоротке,  
Хазары рубят дверь твою мечами  
Так, что гремит стакан в моей руке.

Видать, копнул ты глубоко, историк,  
Что вызвал на себя весь каганат.  
Ты отвечаешь: этот шум не стоит  
Внимания. Враги всегда шумят.

Стихи написаны 4 июля 1987 года. На следующий день Кожинovu исполнилось пятьдесят семь лет...

Всех стихов о Кожинове не упомянуть. Их писали Борис Сиротин и Виктор Лапшин, Эдуард Балашов и Эрнст Портнягин. А в литературном объединении «Красная Пресня», на Трехгорке, которое почти четверть века вращивал один из выдающихся умов России, чуть ли не у каждого поэта есть стихи о нем.

И дело было не в том, что он всех, кого любил, опекал, многим помогал напечататься, благословлял своим словом начинающих и неизвестных, а нам, старым друзьям, посвящал целые главы, статьи и



предисловия. Мало ли во все времена было критиков, писавших о поэзии – Е. Сидоров, Лесневский, Рассадин, Чупринин, Сарнов, Турков, Аннинский, – но ни одному поэту в голову не пришла мысль вывести образ Чупринина или Рассадина в стихотворении. Это выглядело бы не то чтобы неприлично, но скорее смешно. Настолько не могли они быть объектами вдохновения. А Кожинов им был. Впрочем, его любовь к поэтам была весьма ревнива и разборчива. Любил избранных. Многих не любил. Но нелюбовь его выражалась не в осуждении и хуле, а в невнимании или даже равнодушии. Он как бы проходил мимо тех, кем не дорожил, хотя многие из них просто жаждали его признания. Но ничто в мире не могло заставить его поддержать прощательной похвалой какого-нибудь даже талантливое, но не задевшего его сердце литератора. Начинаящий он или известный и влиятельный – для Вадима не имело значения. Он был свободен и страстен в своем выборе. Слукавить, сказать полуправду, подладиться под обстоятельства ради корысти или дружбы он просто не умел, потому что никогда не писал без вдохновения.

Для него не существовало правила, по которому жили литературные лагеря тех лет: если этот человек по убеждениям «наш», то на него надо работать, его имя надо «раскручивать» и утверждать. Что, кстати, делали многие способные люди – Олег Михайлов, Игорь Золотусский, Виктор Чалмаев. Порой такого рода «щепетильность» Вадима доходила до смешного. Володя Фирсов – благополучный, успешно издававшийся в те времена поэт, поддерживаемый комсомольской верхушкой, искавшей все время альтернативу Е. Евтушенко, избалованный вниманием многих критиков, всегда входивший в обойму «упоминаемых поэтов», тем не менее мечтал о кожиновском признании, посылал ему сборники своих стихотворений, говорил комплименты, однако, к его огорчению, Вадим всегда внимательно слушал соискателя, но избегал прямых оценок: не ругал, но и не восхищался. Однажды они встретились где-то на юге – в Краснодаре или в Ростове – на каком-то писа-

тельском сборище. Кожинов так загулял, что быстро промотал командировочные деньги; в одно прекрасное утро вышел из номера, страдая от похмелья, и увидел Фирсова.

– Володя! – жалобно попросил он поэта, – похмели!

Счастливым от того, что Кожинов его о чем-то просит, Фирсов потащил Вадима в ресторан, заказал роскошный стол и два часа подряд, пока Вадим лечил свою голову и душу, читал ему стихи, веря, что наконец-то достучится до кожиновского сердца. Наизусть. Память у Фирсова была прекрасная. Когда он закончил, то посмотрел в просветленные, трезвые глаза Кожинова и решительно спросил:

– Ну как, Дима? Скажи, что я настоящий поэт!

Вадим покачал головой и печально произнес:

– Плохо, Володя, очень плохо! – И Фирсов заплакал.

...Но что это я все о других вспоминаю, а о себе молчу? Я ведь такой же, как все, и разве я не ждал каждый раз после того, как дарил ему свою очередную книжку, телефонного звонка, похвалы, нелицеприятного, а порой и горького слова? А какой гордостью переполнилась моя душа, когда я отдал ему на чтение, перед тем как отнести в издательство, рукопись нашей с сыном книги о Сергее Есенине! Около тысячи машинописных страниц – с ума сойти! И вдруг через три-четыре дня Вадим возвращает мне ее со словами:

– Стасик, я прочитал и ничем вам с Сергеем помочь не могу. Никаким дельным советом – вы знаете материал лучше меня.

Знать что-то лучше его – о, это признание дорогого стоило...

\* \* \*

Воспоминания – это как нерезкая фотография с плывущими очертаниями лиц, фигур, событий или, может быть, как два снимка одной и той же жизни на одном кадре. Один из снимков – подлинный исторический отпечаток происшедшего, другой – наше, может быть, неточное, но близкое и дорогое изображение, греющее нам душу до конца жизни.

В моих воспоминаниях есть, конечно, и то и другое. Так что не ловите меня на противоречиях или домыслах, они неизбежны.

...А может быть, я встретился с ним впервые на квартире в Лаврушинском, где он обосновался у своей второй жены – Лены и у тестя, известного идеологического критика и крупного литературного чиновника сталинской эпохи Владимира Владимировича Ермилова.

Очутившись в громадной по тем временам многокомнатной квартире, куда нас пригласил Вадим, чтобы немножко выпить и познакомиться со своим именитым тестем, я вышел в коридор покурить, да заблудился и попал на кухню, где гремела кастрюлями и тарелками домработница Ермиловых, бывшая тверская крестьянка Нюра. Она поглядела на меня неодобрительно и забормотала почти что в рифму:

– Подлый Гачев жил у нас на даче, ел,пил, жену соблазнил...

Потом мы со смехом выяснили, что Ермилов после смерти жены привел в дом свою аспирантку Ларису – рыжеволосую пышнотелую женщину. А Вадим Кожинов, ухаживая за дочкой Ермилова, приезжал к ним на дачу в Переделкино не один, но с компанией своих друзей – с Палиевским, Гачевым, Сергеем Бочаровым. Тут-то Георгий Гачев и закрутил роман с рыжей Ларисой. Нюре все это было не по душе, и каждого нового молодого человека, появлявшегося в доме, она встречала как заговорщика, покушающегося на честь новой хозяйки, и словно крестным знамением отгоняла его зловещим заклинанием: «Подлый Гачев жил у нас на даче...»

Нюра была из того «института» домашних работниц, которые вербовались в среде бывших крестьянок, хлынувших в города во время коллективизации, раскулачивания, голода двадцатых-тридцатых годов. Они, эти домработницы, попадали, как правило, в нэпмановские семьи (20-е годы), чуть позже – в квартиры обеспеченных советских чиновников, в еврейскую среду – медицинскую, научную, партийную, литературную, о чем вспоминают Межиров, Самойлов, Раиса Копелева-Орлова. Иметь домработницу было хорошим тоном. Да что далеко ходить! Мою мать, пятнадцатилетнюю крестьянскую девушку,

в начале нэпа бабка, спасаясь от нищеты и жизни впроголодь, была вынуждена отдать в няньки к ювелиру-еврею, сначала жившему в Калуге, а потом переехавшему в Мытищи.

Передреев, обладавший особым свойством угадывать сущность явлений (когда он прочитал поэму Межирова о няне со словами: «Родина моя Россия. Няня. Дуня. Евдокия», сухо сказал: «Ну вот, для них и Россия – домработница»), недаром в 60-е годы написал стихотворение о Нюре, пришедшей, подобно межировской Евдокии и моей матери, «из голодающей деревни» – в богатую столичную полуеврейскую семью:

Румянцем юности горя,  
Недолго место ты искала  
И домработницею стала,  
Прислужгой, проще говоря.  
В одной семье литературной  
Домашним занялась трудом  
И вместо Нюрки стала Нюрой,  
Оставшись прежней в остальном.  
Ты для семьи чужой старалась,  
Вжилась в нее, сроднилась с ней,  
Но всю сущностью осталась  
В деревне брошенной своей.

Сам Ермилов в эпоху «оттепели» был оттеснен от руководства литературной жизнью, как ортодокс, унижен и вычеркнут хрущевским идеологическим истеблишментом, как посредственный литературовед. Словом, пребывал в опале. Злые литературные языки долгое время уже после смерти Ермилова иронизировали над Кожиновым, изображая Вадима всего лишь зятем влиятельного человека. Но это все чушь. Кожинов на дух не выносил литературные и политические взгляды Ермилова, жестоко спорил с ним и к концу жизни последнего в какой-то степени обратил его в «свою» веру. Да и сам Ермилов был человеком не-

заурядным... Он приветливо встречал молодых поэтов у себя дома, щедро угощал и рассказывал много такого об эпохе, что, к сожалению, не осталось ни в рукописях, ни в людской памяти. Одна из таких историй запомнилась мне. Ее рассказал Ермилову писатель В. М. Кожевников...

«Наши войска в конце 1944 года вошли в Прибалтику и освободили где-то в Латвии концлагерь, заполненный местными евреями. Два раввина пришли к генералу – командиру дивизии, освободившей гетто, и потребовали, чтобы им дали транспорт, продовольствие, охрану и отправили в уже освобожденную Румынию, дабы оттуда на кораблях евреи смогли уплыть из проклятой Европы на родину предков, в землю обетованную. Генерал изумился: как?! Идут бои, немцы еще сильны, у армии неотложная задача развить наступление и ворваться в Пруссию, а тут... Генерал задохнулся от негодования, но раввины были непреклонны: “Евреи не хотят оставаться в Советском Союзе, они хотят в Палестину!” Тогда генерал пригласил к себе на помощь знаменитых военных корреспондентов, которые в эти дни шли с его армией на Запад – И. Эренбурга и В. Кожевникова. Эренбург, говоривший на идиш, вступил с раввинами в яростный спор, но те были непреклонны: “В Палестину!” Спор то разгорался, то затихал, потом начинался снова, и в конце концов Эренбург приказал раввинам выйти, о чем-то пошептался один на один с генералом, после чего генерал позвал офицера-особиста и трех солдат. Через минуту они вышли из штаба, отвели раввинов в липовый парк и расстреляли. Больше никто не приходил к генералу из гетто с просьбой об отправке в землю обетованную, и дивизия ушла на Запад».

Я не раз просил Вадима обнародовать в каком-нибудь сочинении рассказ Ермилова, он обещал, но так и не собрался исполнить обещанное.

\* \* \*

Когда Вадим составлял «Антологию современной поэзии» (она вышла в самом начале 80-х годов и сразу стала событием для читателей,

своеобразным эталоном отбора имен и стихотворений), то я из разных соображений просил его и даже настаивал, чтобы он включил в антологию стихи Игоря Шкляревского, Татьяны Глушковой и Валентина Сорокина. Я сам отобрал по десять-пятнадцать стихотворений у каждого и принес Вадиму. Он прочитал и без колебаний ответил мне:

– Стасик, не обижайся, я придаю слишком большое значение этой книге. Я хочу освободить сознание читателя от ложных кумиров. Стихи же твоего друга Шкляревского при всей внешней броскости инфантильны, а Сорокин – импровизирует, торопится, неряшлив в словах и мыслях, Глушкова – послушная ученица Ахматовой...

Многие из тех, кто жаждал его внимания и не дождался, отплатили ему несправедливыми поношениями – одни при жизни, другие после смерти. Сам Вадим, по-моему, ни разу в жизни не пошевелил пальцем, чтобы ответить своим хулителям, и лишь однажды, когда поэт Лев Котюков в статье «Демоны и бесы Николая Рубцова» с глумливой интонацией написал, что Кожинов высокомерно относился к Рубцову и «не открывал его как поэта» и что в квартире Кожинова ему «дальше прихожей» хода не было, Вадим как-то робко и даже растерянно попросил меня:

– Стасик! Ну ты же знаешь, как я относился к Рубцову. Ответ клеветнику. Мне неудобно. Он прежде мне частенько стихи приносил, выпрашивал моего одобрения. А они мне не нравились. Но что делать!

Вскоре состоялся вечер памяти Николая Рубцова, на котором мы выступали вместе со Львом Котюковым. И мне пришлось в переполненном зале сказать ему прямо в лицо, что негоже и стыдно сочинять и публиковать такую неправду. Позже я напомнил Котюкову, как Кожинов на самом деле относился к Николаю Рубцову, но об этом случае, свидетелем которого я был, с абсолютной точностью рассказал сам Вадим:

«В самом конце 1964 года Николай Рубцов приехал в Москву хлопотать о восстановлении его в Литературном институте (15 января 1965 года

он был восстановлен, но, увы, только на заочном отделении). Однако все эти неурядицы были чем-то не таким уж существенным, – они походили на то, что произошло у нас со встречей Нового, 1965 года.

Было решено встречать этот год в доме моих родителей, где Николай Рубцов еще не бывал. Случилось так, что я запоздал, и Николай явился раньше меня. Был он одет, как бы это сказать, по-дорожному, что ли, и на моего отца, который встречал гостей, произвел очень неблагоприятное впечатление.

Мы с Передреевым приехали около двенадцати и застали Николая на улице у подъезда. Меня страшно возмутило нарушение обычая, который я считаю священным: к новогоднему столу приглашается любой нежданно появившийся гость. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелись с собой вино и какая-то снедь; но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская улица была совсем пуста – ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уж далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния, Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до “общаги”. Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи – разве только всегда восторженную улыбку замечательного абхазского поэта Мушни Ласуриа, улыбку, с которой он угощал нас знаменитой мамалыгой. Но эта ночь была – тут память нисколько мне не изменяет – одной из самых радостных новогодних ночей для всех нас. Нами владело ощущение неизбежного нашего торжества, преодолевающего самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили

моему отцу, чтобы как-то “отомстить” ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему, и т.д.

– Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, – отвечал я. – Все равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой».

Осенью 2001 года «Литературная Россия» опубликовала воспоминания В. Сахарова о Юрии Селезневе. В них есть соображения, из-за которых якобы В. Сахаров и Юрий Селезнев не смогли стать настоящими друзьями, потому что «...за спиной Селезнева стоял могущественный и непростой покровитель – Вадим Валерианович Кожинов, человек хитрый, скрытный и недоброжелательный, чья чрезвычайно смелая и подчеркнута шумная, но неизменно безнаказанная деятельность по руководству “правым” славянофильским лагерем и журналом “Наш современник” и тогда вызывала у меня весьма интересные соображения и сопоставления, что сразу было замечено и обошлось мне дорого: я был изгнан из “Нашего современника” и других “славянофильских” изданий».

Вот еще один пример того, куда заводит зависть. Я прекрасно помню, что, когда В. Сахаров начинал печататься, Вадим проявлял к нему некоторый интерес. Но со временем выяснилось, что Сахаров человек вроде бы из патриотов, но пишет скучновато, мыслит неталантливо – и Кожинов, естественно, охладел к нему. Из «Нашего современника» Сахарова никто не изгонял, принес он к нам в 90-е годы одну-две статьи, но были они академически тусклыми, и мы их отклонили. Вот и все. Я сказал об этом Вадиму, как члену редколлегии, помня, что когда-то он все-таки опекал Сахарова, но Вадим даже не захотел поглядеть забракованные труды и еще раз сказал о заурядности всего, что выходит из-под пера почтенного ученого. О себе В. Сахаров пишет так: «Я все же чистый критик, несмотря на докторскую степень и академические звания». Напомню, что Вадим Кожинов до конца жизни оставался всего-навсего кандидатом филологических наук. Вот где собака зары-



та. Задним числом самолюбивая посредственность намекает на некую провокаторскую загадку Вадима («смелую и подчеркнута шумную, но неизменно безнаказанную деятельность»). А как бы ты хотел, чтобы его наказывали? Изгнали из Института мировой литературы? Да ни один директор не согласился бы уволить яркого и талантливое сотрудника. Негласно запретить публиковать его работы? Это было в восьмидесятых годах после нескольких рискованных статей Вадима в «Нашем современнике». Кожинова невозможно было никак отлучить от литературы, потому что он, в сущности, всю жизнь вел себя как вольный художник, не боялся никаких запретов и взысканий. Не надо обладать семью пядями во лбу, чтобы понять: говоря о «безнаказанности», Сахаров намекает на якобы тайные связи Кожинова с Лубянкой. Но Вадим никогда не скрывал и многим друзьям при мне рассказывал, что в 60–70-е годы его два раза приглашали на Лубянку для разговора. А в 1983 году, когда генсеком стал Андропов и Вадим заинтересовался его национальностью, пришлось ему побывать на ковре у самого Ф. Бобкова. Я-то полагаю, что ребята из этого ведомства, видимо, понимали его влияние на общественную жизнь и надеялись хотя и осторожно, но все-таки управлять им. Он каждый раз отвечал, что ценит усилия Комитета по охране государства, но сам, как русский патриот и государственный, всегда будет выбирать свой личный путь в борьбе за русские таланты и историческую истину. Вежливо отказывался от сотрудничества, получал пропуск, прощался и с облегчением выходил на просторную Лубянский площадь. Так что не надо бы Сахарову со злорадством намекать на то, что он уже тогда понял тайную суть кожиновского влияния, что якобы «сразу было замечено и обошлось мне дорого: я был изгнан...». Боже мой, какое болезненное самомнение! Да кому в те времена было нужно замечать и разгадывать «проницательные открытия» какого-то второстепенного сотрудника ИМЛИ, да еще «изгонять» его из всех ««славянофильских» изданий», как фигуру крупную и опасную!

«...За спиной Селезнева стоял могущественный и непростой покровитель...», «хитрый, скрытный, недоброжелательный...» – и возникает

образ этакого надсмотрщика, идеологического диктатора, «ловца душ человеческих». Не дай Бог, кто поверит такому портрету Кожина, нарисованному рукой завистливого клеветника. Но Селезнев здесь ему не союзник, потому что молодой, еще никому не известный в Москве краснодарский литератор, мечтая о том, чтобы «Вадим Валерианович» стал его наставником и другом в московской жизни, писал ему из Краснодара такие письма: «...Наше знакомство было настолько кратковременным, что я не имею права надеяться на то, что Вы примете участие в моей судьбе... И если я пишу Вам все это, так только по той причине, что поверил в Вас как в единственную возможность для себя работать по-настоящему с настоящим ученым. Что Вы – тот единственный человек, который мне нужен... К несчастью (я это прекрасно понимаю), Вы не можете быть убеждены в том, что я – один из тех, кто нужен Вам... Если же Вы снова великодушно скажете “да”, клянусь, я сделаю все, чтобы Вы никогда не пожалели об этом. Я заранее согласен на все Ваши условия и требования» (конец 1970 года).

И отрывок из другого письма того же времени: «...Вы себе представить не можете, как дороги мне были Ваши слова в письме, как благотворно они подействовали на меня...»

Поистине в наше корыстное время едва ли можно встретить такое трепетное и благоговейное отношение ученика к учителю. Судьба через десять лет как бы наградила Вадима бескорыстным и восторженным учеником за то, что он сам когда-то был таким же по отношению к Бахтину... Закон сохранения любви и добра в мире, видимо, так же непреложен, как и закон сохранения энергии и материи.

Я не знал и не знаю до сих пор в литературной среде человека более открытого, бесхитростного, прямодушного и доброжелательного, нежели Кожин. Он был натурой легковоспламеняющейся, страстной к любой искорке чужого таланта. И гораздо чаще он переоценивал людей, нежели недооценивал их. В начале восьмидесятых годов он однажды позвонил мне и полчаса расхваливал повесть молодого ленинградца Николая Коняева «Гавдарея». Потом заставил меня про-

читать ее, пытался несколько раз пристроить в какой-нибудь журнал – не получалось: повесть изображала столь суровую и трудную жизнь русской провинции, что это пугало редакторов. И лишь через пять-шесть лет, когда я возглавил «Наш современник», Вадим сразу же вытащил из груды чужих рукописей, вечно хранящихся в его кабинете, несчастную «Гавдарею», и мы напечатали ее. С этого началась настоящая литературная судьба Николая Михайловича Коняева, только что издавшего книгу о своем полном тезке Рубцове в серии «Жизнь замечательных людей», как бы продолжив дело Кожина, бывшего автором первой книги о поэте. А в какой поистине юношеский восторг пришел Вадим, когда прочитал опыты Дмитрия Галковского.

– Стасик! Ты только подумай, – кричал он мне посреди ночи в телефонную трубку, – я уже решил, что русская мысль, русская философия иссякла, захирела и вдруг – Галковский!

Он сразу же приволок в журнал тексты Галковского, тщательно отобранные им самим, со своим же предисловием, потом привел самого автора и уговорил меня взять его на работу. Правда, Галковский проработал недолго, но сочинил по просьбе Кожина целый многостраничный обзор-размышление о сильных и слабых сторонах журнала «Наш современник».

Вот в чем был секрет могущества Кожина, а не в каких-то якобы тайных связях с сильными мира сего.

Бывало, что Вадим и разочаровывался в своих избранниках и учениках, но ведь для этого сначала надо было очароваться! А делать это он умел как никто другой.

Ну кто до него знал, что уже немолодой человек, Николай Тюрин, замечательно исполняет под гитару русские романсы и народные песни? Вадим узнал, вывел его на телевидение, прославил на страницах популярнейшего тогда журнала «Огонек», устроил Тюрину несколько концертов в залах Москвы и провинции, и тот хоть на склоне лет, но получил известность и зажил более-менее по-человечески. А Вадим, увлекшись им и его друзьями-гитаристами, написал в конеч-

ном счете замечательное исследование о великих русских гитаристах двух столетий.

Для меня и для многих моих друзей первое знакомство с княжной русской народной песни Татьяной Петровой состоялось благодаря Кожинову. Он уговорил нашего друга, покойного ныне Вячеслава Шугаева, у которого была своя программа на телевидении, посвятить ей целую передачу, сам сидел рядом, размышляя о русском голосе, русском репертуаре и всей русской стати ныне знаменитой певицы.

Сейчас мало кто помнит, что несколько стихотворений Рубцова в свое время весьма удачно положил на музыку непрофессиональный композитор, никому не известный майор милиции Сергей Лобзов. Вадим сделал все, чтобы его имя стало известно всем почитателям поэта.

Да, он умел создавать репутации, но безо всякой личной корыстной или мелко-прагматической цели. Просто из любви к истине и искусству. И рука в этих делах у него, слава Богу, была легкая. И на подъем во все свои годы он был легок, и все, что знал сам, он как бы считал своим естественным долгом передать любому человеку, который в ту минуту был рядом. Никогда не забуду забавную сцену. Вадим частенько на правах старшего упрекал нас в ребячестве, но сам иногда с удовольствием впадал в него. Однажды по просьбе Георгия Васильевича Свиридова я привез к нему на дачу Кожинова, они сразу же разговорились, как будто были давно знакомы. Сидели рядом друг с другом, как два античных мудреца-стоика, особенно Свиридов – серебряноголовый, с римским профилем. Свиридов расспрашивал Кожинова о поэтах, Вадим увлеченно читал композитору стихи Юрия Кузнецова, Алексея Прасолова, Анатолия Передрева, а потом вдруг решил спеть несколько песен на слова Рубцова и Тряпкина. Я обомлел от такой дерзости – без гитары, без аккомпанемента! Ну не будешь же предлагать великому Свиридову сесть за рояль. Но тому очень понравилось простодушное предложение Вадима, он тоже развеселился, как ребенок, слушая кожиновское исполнение, а я смотрел на них и вспоминал «Моцарта и Сальери» Пушкина, сцену, когда

уличный музыкант исполняет Моцарту его собственную мелодию и тот радушно смеется. Правда, третьим при этом был я, как бы играющий роль Сальери, но ведь при этой сцене безмолвным соглядатаем был и сам Пушкин...

\* \* \*

Осенью 1960 (или 1961?) года мы с Передреевым провожали его в Саранск, к Михаилу Бахтину, о котором слышали от него впервые. Да что мы! Ровесники Бахтина, московские интеллектуалы и знаменитые писатели – Эренбург, Федин, Леонов, Шкловский, Пинский, Эльсберг и прочие ровесники века напрочь к тому времени забыли и вычеркнули из своей памяти это имя. Вадим же сделал невозможное: приехал в глухую Мордовию вместе с Гачевым и Сергеем Бочаровым и открыл для России, казалось бы, утраченное навсегда (с 1929 года Бахтин жил в ссылках и забвении) имя великого русского человека. Впрочем, предоставлю слово самому Вадиму Валериановичу из его скупых воспоминаний о Бахтине:

«Не скрою, что нынешний всемирный триумф Бахтина вызывает у меня особенное личное удовлетворение. Сорок лет назад, в конце 1950-х годов, я изучил книгу Бахтина о Достоевском, вышедшую в свет в 1929 году (уже после ареста ее автора). Книга произвела на меня громадное, ни с чем не сравнимое впечатление, и я стал разыскивать ее исчезнувшего за тридцать лет до того творца... Узнав наконец, что он “никому не известный” преподаватель Саранского (Мордовского) пединститута, я написал ему (в ноябре 1960 г.) от имени нескольких своих коллег, но, конечно, прежде всего от самого себя, и, в частности, сказал о его, бахтинском, поколении: “мы ясно сознаем, какое поистине всемирное культурное значение имеет научная мысль этого поколения...”»

С этого письма началось воскрешение Бахтина в русской истории, а одновременно – и окончательное становление Кожина как мыслителя, историка, философа и даже как православного человека:

«...Помню, как еще в 60-х годах в Саранске он в течение нескольких часов, затянувшихся далеко за полночь, говорил мне о Боге и Мироздании, говорил так, что я ушел в гостиницу в буквальном смысле слова потрясенный и не мог уснуть до утра, пребывая в никогда не испытанном духовном состоянии, похожем на то, описание которого я впоследствии нашел в сочинении Нила Сорского...»

Вадим вспомнил о Ниле Сорском не случайно, потому что через несколько лет после встречи с Бахтиным он путешествовал по северным районам Вологодской области и узнал, что неподалеку от Ферапонтова монастыря находится другой великий монастырь, превращенный в больницу для душевно неизлечимых людей, – пустынь Нила Сорского (1433–1508). Он загорелся мыслью попасть туда, пришел к секретарю местного райкома партии и попросил, чтобы ему дали машину и краевода для поездки в лесную глушь.

Секретарь удивился: зачем москвичу, известному литератору, интересоваться каким-то давным-давно забытым Нилом Сорским, но Вадим нашелся:

– Представьте себе, – сказал он секретарю райкома, – что Нил Сорский для своего времени был великим идеологом, считайте, по нынешним меркам – членом Политбюро, кем-то вроде Суслова той эпохи!

Ошеломленный такой постановкой вопроса, секретарь тут же распорядился выполнить его просьбу.

...Вернувшись из Саранска, Кожин поставил целью издание трудов Бахтина. Первой было решено издать книгу о Рабле. Я помню это издание, толстый том в желтом переплете, которой не без усилия, а иногда и с интересом я прочитал под прямым давлением Вадима. А начал он с того, что составил текст письма о необходимости издания книги, собрал подписи тогдашнего председателя Союза писателей К. Федина, академика В. В. Виноградова, переводчика Рабле Н. М. Любимова и 23 июня 1962 года опубликовал его в «Литературной газете». Однако один из руководителей издательства «Художественная литература» воспротивился изданию «Рабле», и тогда Вадим, как он пишет сам: «2 августа

1963 года я в очередной раз прорвался к труднодоступному Федину, и в довольно курьезных обстоятельствах он подписал приготовленное мною весьма резкое письмо к директору издательства».

Надо заметить, что к этому времени Бахтин еще жил в Саранске и еще не был реабилитирован. Но тут же возникли очередные сложности, связанные с самим автором. Книгу о Рабле «...Бахтин никак не хотел отдавать в издательство, уверяя, что она еще требует доработки, и автору этих строк пришлось вырвать рукопись из его рук (вырвать в прямом смысле слова буквально – что может засвидетельствовать присутствовавший при этой странноватой сцене литературовед Д. М. Урнов), ибо из-за задержки она могла “выпасть” из издательского плана, и ее выход в свет был бы надолго отсрочен...»

Ко всему этому можно добавить, что весной 1962 года Кожин опубликовал две статьи о творчестве М. М. Бахтина, а первый том новой Литературной энциклопедии (тираж 100 тысяч) вышел со справкой о жизни и творчестве ученого, составленной Вадимом. После этого в Саранск началось настоящее паломничество молодых философов, литературоведов, культурологов... Связь времен, прерванная на тридцать лет, наладилась, и саранский затворник был счастлив.

Кроме разговоров о Божественном промысле в земных судьбах, о православии Михаил Бахтин, с первой встречи поверивший в своего молодого друга, сделал мужественную попытку образовать его в роковом вопросе мировой истории.

Во время первого свидания с Бахтиным, когда Вадим любопытствовал, кого из русских мыслителей надо прочитать в первую очередь, мудрый старик не раздумывая сказал ему: Розанова. А через год, снова возвратившись из Саранска, Кожин восторженно рассказал нам, что когда он спросил Бахтина – а как же понимать антисемитизм Розанова? – то Михаил Михайлович ответил: «Пусть вас это не смущает, все крупнейшие русские писатели – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов – были, каждый по-своему, близки Василию Васильевичу во взглядах на еврейский вопрос».

В конце жизни Кожинов, вспоминая эти разговоры, откровенно писал: «Без всякого преувеличения скажу, что тогда, в 1962 году, Михаил Михайлович был единственным в мире человеком, который мог убедить меня изменить давно внедрившееся в мое сознание представление об этом предмете...»

Я хорошо понимаю эти слова Кожинова, потому что он много раз повторял в наших разговорах, что начиная с юности и до тридцати лет он жил и вращался в такой среде, которая внушала ему убеждение, что настоящими интеллигентами в России могут быть только евреи.

Бушин не раз в своей лживой работе «Упертый и прозревший» вспоминал о Кожинове – о его якобы двойной бухгалтерии в национальном вопросе, о том, что его другом будто бы был «Мэтлок, посол США у нас», с глумливой иронией именовал его «наш патриот», а дойдя до Бахтина, обнаружил свое полное невежество, заявив: «Кожинов впал в лютое диссидентство после бесед с Бахтиным».

Бывая у Бахтина, который к тому времени поселился на первом этаже писательского кооперативного дома, в подъезде, где жил и я, Вадим иногда после свиданий со стариком заглядывал ко мне, пересказывал, о чем шел у них разговор, а однажды рассказал анекдот 20-х годов, который только что услышал от Бахтина:

– Проходил в Москве съезд Коминтерна, и на него прибыли представители многих коммунистических партий со всех концов света: китайцы, индусы, бразильцы, арабы, только вот от зулусской партии никто не приехал. А знаете, почему? Да потому что ни один еврей не решился намазать лицо сажей, проткнуть себе ноздри и вставить в них кольцо...

– А когда я отсмеялся, – закончил Вадим, – Михал Михалыч посе- рьезнел и сказал, как бы продолжая наш давний саранский диалог: «Не следует забывать и о том, что они все-таки Христа распяли...»

В своих кратких воспоминаниях о Бахтине Вадим очень откровенно объясняет, почему в то время он прислонился к Бахтину, а не к Алексею Федоровичу Лосеву, тоже великому русскому человеку... Дело в том, что Лосев, живший в Москве, в те времена уже не страдал от одиночества.



«Будучи человеком далеко не молодым, я не склонен был обольщаться своими поступками, не исключено, что мой “выбор”, – пишет Кожин, – пусть даже бессознательно, определила гордыня: я не хотел присоединяться к уже сложившемуся кругу чьих-либо поклонников и помощников. Но вообще-то я осознавал свои отношения с Бахтиным так: я рядом с ним, потому что это необходимо».

Отправляясь в Саранск, Вадим чувствовал, что судьба ведет его к человеку, который властно определит его собственный путь в жизни. В Саранск он поехал, ну, как Гоголь и Достоевский в Оптину пустынь к старцу Амвросию. Но ведь сколько раз, легкий на подъем, он, загоревшись жаждой предстоящего открытия, мог разом собрать всех нас и убедить, что надо, скажем, ехать в Тверскую губернию в село Лотошино, где живет почти никому не известный, но изумительный русский поэт Николай Тряпкин, или к Виктору Лапшину в город Галич – «...стихи талантливые прислал, нигде не печатался, но стихи такие, что надо ехать...»; или – уже в девяностые годы вдруг обзванивает нас и требует, чтобы мы пошли на концерт только что открытого им русского барда Александра Васина – «изумительно поет под гитару романсы на слова Толи Передреева». С какими только людьми я не сталкивался во всех домах, где жил Вадим Кожин – в Лаврушинском, на Мясковского, на Большой Молчановке, – за эти сорок лет!

Как бы чувствуя изъяны своего московского воспитания, он с особой жадностью тянулся к русским людям из провинции. Благодаря им он расширял свое познание России. Недаром чаще, нежели москвичей, я встречал в его доме Василия Белова, Федора Сухова, Бориса Сиротина, Юрия Селезнева. Возможно, что и его дружба с Рубцовым, с Передреевым во многом была следствием того же интереса.

В шестидесятые годы у него часто сживал бородатый великан, похожий на оперного Ивана Сусанина. Это был председатель колхоза из глухой костромской деревни по фамилии Старостин, который писал современные былины и привозил их на суд к Вадиму. Старостина сменял сотрудник истринской прокуратуры, пишущий стихи и тоже

жаждавший кожиновского признания. Он был интересен Вадиму своими рассказами о жизни и нравах хорошо знакомого ему уголовного мира... Сидишь, бывало, у Вадима, слушаешь рассказы истринского прокурора – вдруг очередной звонок в дверь, входит Виталий Канашкин, только что приехавший из Краснодара. Вадим сразу же знакомит нас, просит меня, чтобы я написал Канашкину рекомендацию для вступления в Союз писателей, и начинается обстоятельный разговор о том, как оживить литературную жизнь в Краснодаре, каким должен быть журнал «Кубань», тут же передает Виталию какую-то свою статью, кому-то звонит по телефону, выводит Канашкина на новых авторов... Словом, дело крутится-вертится, и все как-то легко, без лишних усилий, как колесо под горку.

А на другой день в его кабинете уже сидит японский профессор, интересующийся творчеством Василия Белова. Вадим объясняет японцу, что такое Белов, и, не довольствуясь этим, звонит Василию Ивановичу в Вологду, договаривается с ним, что японец через неделю приедет к Белову и что профессора надо обязательно свозить на родину Белова в деревню Тимонику, вот тогда, возможно, гость из Страны восходящего солнца поймет и творчество Белова, и Россию узнает... Все так и происходит.

Времени на такого рода подвижнические заботы он не жалел, тратя его щедро, безоглядно и бескорыстно.

Иногда у него в гостях бывал молчаливый русский человек со странным именем Адольф, из Переславля-Залесского...

Однажды Кожинов с женой приехал в старинный русский город. Вышли поглядеть на озеро и на берегу встретили человека, копавшегося в лодочном моторе. Попросили, чтобы он прокатил их по озеру. Адольф с ветерком прокатил москвичей, от денег отказался, и растроганный Вадим пригласил его к себе в гости, где мы и встретились.

Вскоре зимой веселой компанией – Толя Передреев, Вадим и я с женами навестили Адольфа в Переславле то ли на Рождество, то ли на Новый год.

...Синий холод, очертания древних соборов, впечатанных в темное небо, невесть откуда взявшиеся из снежной ночи сани с мохнатой лошадежкой, фыркающей заиндевелыми ноздрями, пахнувшей потом и теплым навозом. Мы, слегка хмельные, валимся в душистое, колючее сено, Галя с Леной визжат, лошадежку правит сам Адольф, покрикивает, размахивает кнутом, понукает вожжами. На одном из поворотов сани почти опрокидываются, и мы с хохотом вылетаем в глубокие придорожные сугробы...

Потом в избе Адольфа, краснолицые, молодые, счастливые, пьем холодную водку, закусываем домашним салом и жареными красноперыми окунями. Адольф – рыбак, по совместительству рыбинспектор, но в этот вечер он начинает рассуждать о чем-то мудреном – то ли о кино, то ли о стихах. Передреев с добродушной усмешкой говорит ему:

– Адольф, а ведь ты – дурак!

Адольф, ничуть не смущаясь, соглашается с ним:

– А мы, русские, все дураки...

И тут Передреев, которому вовсе не была свойственна никакая хольность, опускается перед Адольфом на колени.

\* \* \*

А когда я стал главным редактором журнала, сколько идей Вадим внес в нашу работу, сколько авторов ввел в наши двери!

Благодаря его авторитету, его воле и настойчивости в журнале в 90-е годы стали печататься «старики» – академик Н. Моисеев, филолог Александр Викторович Михайлов, профессор-экономист Марк Галанский, знаменитый историк Лев Николаевич Гумилев, философ Юрий Мефодьевич Бородай, академик Никита Ильич Толстой.

Его любовь к истине и справедливости, его полное бескорыстие особенно проявлялись, когда он со счастливым лицом приносил в журнал стихи никому не известного в России, умершего десять лет тому назад в Омске бездомного человека Аркадия Кутилова со сво-

им предисловием, или когда привез из Вологды стихи бывшего беспризорника, прошедшего через послевоенную уголовную лагерную жизнь Михаила Сопина, с которым в Вологде до того, как его открыл Вадим, никто не хотел считаться.

Пусть эти публикации были, так сказать, одноразовыми, но они, по убеждению Вадима, свидетельствовали о способности русского человека жить неким идеалом, творить, чувствовать и выражать себя в самых нечеловеческих условиях.

– Такой народ, Стасик, – постоянно повторял он, – пропасть не может!

Каждое открытие подобного рода помогало ему жить, укрепляло его веру в Россию.

Ну кто еще в наше смутное, хищное, эгоистическое время был способен на подобные бескорыстные движения души? Кого открыли, кому помогли в наши подлые дни яростные и завистливые хулители Кожина – Татьяна Глушкова, Владимир Бушин, Всеволод Сахаров? Вот так-то, господа...

А скольких молодых людей он буквально втащил – кого в литературу, кого в жизнь «Нашего современника»! Иные из них стали сотрудниками журнала – Александр Сегень, Андрей Писарев, Марина Белянчикова, ну а Сашу Казинцева он вырастил еще во времена Сергея Викулова. Многие стали просто авторами журнала – Павел Горелов, Евгений Стариков из Тулы, Андрей Паршев, с легкой руки Кожина сделавшийся знаменитым после книги «Почему Россия не Америка?».

А ведь все их рукописи, как правило, приходившие к нему на дом, нужно было прочесть, обдумать, а то и отредактировать. И это в одно и то же время, когда он создавал труды, которые, надеюсь, навсегда войдут в фундамент русской исторической мысли XX века: книга о Тютчеве, «История Руси и русского Слова», «Загадочные страницы истории XX века», «Черносотенцы и революция», «Судьба России: вчера, сегодня, завтра». Ведь, в сущности, он совершил чудо – занявшись историей в самом точном смысле слова почти в шестьдесят лет,

стал историком высочайшего класса, без книг которого грядущие поколения вынуждены были бы изучать эпоху по лживым сочинениям Д. Волкогонова, А. Яковлева, Р. Медведева. Вадим спас честь исторической науки в смутное время. В восемьдесят девятом или девяностом году он мне сказал:

– Дабы понять, что произойдет и происходит, надо немедленно заняться историей. Иначе мы проиграем нашу борьбу.

Его собранность и чувство цели были феноменальны. Никакой разгульный образ жизни, никакие дружеские застолья не сумели разрушить его цепкую и широкую память и железную волю. Всякий раз, когда мне нужно было узнать какие-нибудь факты из жизни Пушкина, Тютчева, Гоголя, уточнить, когда произошло то или иное событие, проверить, как звучит необходимая мне стихотворная строфа, или спросить о чем угодно – о Вешенском восстании, о масонстве, о Сталинградской битве, – он или отвечал сразу, или, что было реже, просил подождать минуту-другую, копался в словарях, в справочниках, в первоисточниках и почти всегда выдавал исчерпывающий ответ. Универсал, энциклопедист, любомудр – в такие минуты я просто восхищался им.

Тютчевская премия, учрежденная брянской администрацией, была его единственной официальной наградой за все труды. Но зато, получая ее, он имел право, отвечая на вопрос корреспондента брянской газеты о том, что ему помогало жить, произнести слова, полные истинного достоинства: «Меня, если хотите, поддерживают и люди, которые давно умерли. И не только в нашем веке, но и в прошлом».

Была еще в его натуре одна особенность, редкая для людей нашего поколения, о которой он сам писал так: «Позволю себе не вполне, быть может, скромное признание: я с давних пор готов отстаивать свободу приверженцев любых – в том числе совершенно чуждых мне – взглядов, хотя никогда не объявлял себя “демократом”, в отличие от великого множества нынешних авторов, на деле-то готовых задушить каждого своего решительного оппонента...»

Он ради выяснения истины никогда не уклонялся от разговора с любым противником своих взглядов, не торопился ставить крест на людях, отдаляющихся от него, до последнего не решался резко разрывать отношения, постоянно искал какие-то общие связи, зацепочки, контакты и с русскими националистами, и с еврейскими либералами, и с сионистами, и с монархистами, и с демократами, и, конечно же, с коммунистами. Он с охотой вступал в дискуссии со Львом Аннинским, с Бенедиктом Сарновым, с Михаилом Агурским, с Андреем Нуйкиным. Однако, блистательно выиграв у последнего спор по телевидению в программе Александра Любимова, совершил весьма нелегкий для себя поступок: в завершение диалога не пожал Нуйкину руку, как того хотел ведущий, сказав, что рука Нуйкина, как одного из идеологов октябрьского расстрела 1993 года и подписанта «письма 42-х», запятнана кровью...

Думаю, что эта особенность его характера происходила из того, что уже в шестидесятые годы он понял: для того чтобы победить или, по крайней мере, не потерпеть окончательного поражения и доказать правоту своих взглядов, русскому человеку надо сознательно и упорно культивировать объективную широту и терпимость по отношению к людям других убеждений, бороться не с людьми, а с идеями – таков был его девиз. Потому в стенах кожиновского кабинета я встречался и с Давидом Самойловым, и с Андреем Битовым, и с Михаилом Агурским, и с Александром Межировым. Злые русские языки за такую «всеядность» в те времена частенько трепали его имя. Одна из самых остроумных шуток на его счет, ходившая по Москве в 60-е годы, принадлежала, как говорят, его университетскому другу Петру Палиевскому: «У Вадима первая жена еврейка, вторая полукровка, любовница у него сейчас русская, но ее сына зовут Марик».

Когда в дни августа 1991 года в Москве умер Михаил Агурский, Вадим убедил меня, что в журнале нужно дать некролог о нем. Во-первых, потому, что в одном из номеров был напечатан его, Вадима, разговор с Агурским о сионизме, а во-вторых – и это он считал крайне важным, – тем самым мы подчеркнем, что последовательные и настоящие сиони-

сты, вроде Жаботинского и Агурского, не столь опасны для России. Гораздо опаснее для нее ассимилянты, в которых неизбежно живет разрушительный и провокаторский ген еврейства, о чем они сами до поры до времени не подозревают...

Но готов он был разговаривать со всеми евреями – всех мастей, и эта готовность обезоруживала его противников, за что они по-своему уважали и ценили его. Александр Межиров, уже находясь в Америке (сделал выбор), в одной из своих ностальгических поэм даже написал:

Таня мной была любима,  
Разлюбить ее не мог,  
А еще любил Вадима  
Воспаленный говорок.

Умный Межиров не зря вклеил оба эти имени в одну строфу. Таня – это Татьяна Михайловна Глушкова, чьи отношения с Вадимом достойны особого разговора.

\* \* \*

Моя попытка подружить их закончилась полным поражением. А цель была соблазнительной: объединить олимпийский, стратегический ум Кожинова со страстным характером Татьяны, с ее способностью вьедливо и глубоко расчлнить любое литературное явление, обнаружить в нем то, что не видит поверхностный ум, выстроить неопровержимую систему доказательств. Как блестяще – и Вадим был с этим согласен – она в восьмидесятые годы заново прочитала и «осовременила» «Моцарта и Сальери», как глубоко и точно провела русскую национальную ноту в статье «Традиция – совесть поэзии», которую печатала с моей помощью в журнале «Литературное обозрение», как беспощадно и неотразимо угадала генетическую псевдонародность поэм Давида Самойлова... Эх, сблизить бы эти незаурядные умы! Я привел Татья-

ну Михайловну к Вадиму, познакомил их, мы просидели целый вечер, размышляя о грядущем сотрудничестве, но по каким-то почти неуловимым шероховатостям и заусенцам, возникавшим в разговоре, я чувствовал, что осуществиться моим надеждам будет непросто.

Глушкова не без оснований подозревала, что Кожинов холодно относится к ее стихам. Честно говоря, я тоже избегал говорить с ней о ее поэзии, но уравнивал это невнимание тем, что по ее просьбам писал полезные внутренние рецензии на ее рукописи, сочинял как секретарь Московской писательской организации официальные письма в издательства с просьбами поставить ее имя в планы, благодаря чему книги выходили, и она дарила их мне с трогательными надписями: «Дорогому Стасику, Волку с великим множеством чувств, с признанием, с любовью». «Дорогому Волку – мою любимую книгу от автора – Муравья. 15 апр. 88». «Дорогому Волку (серому, белому и красному кардиналу этой книжки) от благодарного сухопутного Муравья. 5 июля 81». «Дорогому Волку от бессмертного Муравья с благодарностью, невыразимой “здешними” словами, с любовью – и с Новым годом! 2 янв. 93 г.» И так далее.

Но она жаждала большего: публичного признания с нашей стороны (Кожина, Передреева, ну, и моей, конечно) высоких достоинств ее стихотворных книг. Мы же, понимая до болезненности эгоистическую сущность ее лирики, ее почти механические перепевы раннеахматовских интонаций, никоим образом не могли оправдать надежды поэтессы. В лучшем случае признавали важные достоинства ее статей, но о стихах молчали, что, видимо, терзало ее самолюбие. Долго так продолжаться не могло. Ее фрейдистский бунт случился неожиданно. Она была у меня в гостях и вдруг, когда мы вышли на балкон покурить, завела резкий разговор о заурядности Кожинова, о пошлости его литературных взглядов, о его приспособляемости к еврейскому диктату в литературной жизни и в связи с этим о жене-полукровке. Я обомлел и буквально закричал:



– Вы, Таня, Вадима не понимаете и, видно, своим самолюбивым умом никогда не поймете. Уходите. Вот вам Бог, а вот порог!

Она хлопнула дверью, и мы расстались года на три. К сожалению, наука не пошла мне впрок. Через три года в Доме литераторов меня, как волка, с двух сторон взяли в оборот Лариса Баранова и Дмитрий Ильин:

– Стасик! Вам надо обязательно помириться. Ваш разлад просто невыносим для русского дела. Таня сидит на веранде, мы с ней обо всем поговорили, она готова помириться с вами, но вам надо сделать благородный жест и извиниться перед нею. Ведь все-таки вы ее выгнали из дому, ну пожертвуйте своей обидой, вы же мужчина!

Уговорили (к несчастью), потому что такие натуры, как Татьяна Михайловна, не забывают и не прощают ничего.

Кончилось наше перемирие, как и следовало ожидать, плачевно. Когда на одном из «круглых столов» (Наш современник. 1993. № 4) Кожинов всего лишь напомнил Глушковой о ее «патриотическом неофитстве», оскорбленная Татьяна потребовала от меня, чтобы я дал ей свести счеты с обидчиком на страницах журнала по полной программе. Я отказал ей в этой прихоти, и тут пришел полный конец нашим отношениям, и началась ее мучительная, бесплодная и беспредельно вредная для русского дела тотальная война с Вадимом, объявленным ею в 1993–1995 годах на страницах нескольких номеров журнала «Молодая гвардия» «историком смердяковщины», «маленьким литератором», «Сальери», «политическим спекулянтom», «адвокатом диссидентства»... Словом – предателем советского периода нашей истории.

В этой односторонней войне она была несправедлива по-черному, хотя бы потому, что Вадим много раз говорил мне и писал, что спасение мировой цивилизации от хищнических самоистребительных инстинктов, живущих и в отдельных людях и в народах, от инстинктов потребления, умерщвляющих землю, воздух, воду, заключено только в социализме, который эти инстинкты ограничивает и укрощает.

– Хотим мы или не хотим этого, – не раз повторял он, – мировое будущее за социализмом, несмотря на все его изъяны и недостатки! Все, что с нами произошло в эпоху социализма – надо понять и оправдать несмотря ни на что!

Мы с ним как-то разговаривали об Олеге Васильевиче Волкове, нашем старейшем писателе, авторе романа «Погружение во тьму», который умер почти столетним стариком, отбыв в сталинских лагерях более двадцати лет. Вадим Валерианович тогда вспоминал:

– Знаешь, что Волков сказал перед смертью? Он сказал: «Я всю жизнь не принимал советскую власть, я двадцать лет скитался по лагерям и ссылкам, но если б я знал, что произойдет после ее крушения, я бы согласился еще двадцать лет отсидеть, лишь бы этого не случилось...»

В 1993 году, не выдержав поношений кожиновских убеждений и взглядов, что появлялись тогда чуть ли не в каждом номере «Молодой гвардии» за подписью Глушковой, я сделал отчаянную попытку защитить его литературное, да и человеческое достоинство и напечатал в «Литературной России» небольшой, но весьма резкий и аргументированный ответ Татьяне под названием «Блеск и клевета кожиноведки». Словом, опять взял огонь на себя.

Не выдерживает русская идея и русская душа страшных испытаний в роковые для России времена. Впадает в истерику, в конвульсии, в духовную эпилепсию. Еще раз хочу напомнить, что Вадим Кожинов нигде и ни разу в печати не произнес о Татьяне Глушковой ни одного плохого и несправедливого слова.

А сейчас их нет обоих на свете – ни Вадима, ни Татьяны. Они умерли в один год, и вместе с ними как бы ушла эпоха отчаянного и мучительного русского поиска, безнадежных попыток объединения русских сил перед дыханием исторического небытия, которое каждый из нас все явственней чувствует сегодня.

Не во всем, конечно, мы были с ним единомышленны. Я иногда доверял ему составлять мои книги, и он порой включал в них, на мой взгляд, второстепенные стихи и не вставлял лучшие; он не оценил

мое письмо в ЦК о еврейском засилье в нашей жизни, счел его ненужной авантюрой – и лишь много лет спустя признался, что был не прав; думаю, что он слишком доверчиво относился ко многому, что публиковали Солженицын и Шафаревич, ему долго мешал какой-то изначальный пиетет к тому, что выходило из-под пера обоих. В моих воспоминаниях для него явилось неожиданным то, что собственную судьбу можно сделать объектом исследования и рассматривать ее как факт истории. Будучи настоящим историком, он не сразу смирился со странностью такого взгляда.

А как я огорчился, когда на мои предложения поехать со мной на Север, на рыбалку и охоту, в стихию жизни, ему неведомую, забыть на время о книгах, он каждый раз со скептической улыбкой на тонких губах отвечал мне:

– Ну, Стасик, это не для меня!

А на лице его было такое выражение: «Как можно тратить жизнь и силы на черт знает что, на какие-то легкомысленные пристрастия!»

Конечно, меня всегда удручали его «погружения в небытие». В отличие от Передреева, он выпадал из жизни бесшумно, незаметно для друзей, не требуя к себе никакого внимания. Его спасали опытные врачи. Но когда я узнавал об этих черных полосах его судьбы, то в отчаянье думал: «Боже мой, какой сильный и светлый ум, какая редкая для русского человека целеустремленность! Если бы не эта слабость, он был бы идеальной натурой!» Корил его, иногда прямо в глаза, но Вадим отшучивался: «Стасик, у тебя счастливый организм, ты не знаешь, что такое похмелье». Несколько раз в молодые годы Вадим, находясь в сумеречном состоянии, звонил мне и читал по телефону свое стихотворение, единственное – других я не знаю. Оно начиналось так: «Брат мой русский, а может, и нет нас?...»

Мы иногда не то чтобы ссорились, но бывали недовольны друг другом, но что бы там ни было, недавно, перебирая его книги с дарственными надписями мне, я нашел одну из них на книге «Черносотенцы и революция», необычайно объемную, эмоциональную и даже

высокопарную, что было ему, в общем-то, несвойственно: «Милый Стасик! Как раз исполнилось 35 лет с того момента, как мы пошли по жизни плечом к плечу, и поверь мне, – я знаю, – что твои мудрость, мужество и нежность, воплощенные в твоих словах и деле, останутся как яркая звезда на историческом небе России!

Обнимаю тебя и, конечно, твоих Галю и Сережу. Дима. 17 октября 95 года».

Это единственный раз, когда он, конечно же, преувеличив все мои достоинства, так открыто признался мне в своих чувствах.

\* \* \*

Владимир Бушин, опираясь на две-три фразы самого Кожинова, пытается доказать, что в молодости тот был диссидентом и антисоветчиком. Так ли это? Да, действительно, в одной из своих работ 1993 года («Печатное, но чистосердечное послание правительству России») Кожинов писал: «Так уж сложилось, что еще тридцать с лишним лет назад я обрел достаточно полные представления о прискорбнейших и прямо-таки чудовищных явлениях и событиях, имевших место в России после октября 1917 года, и встал на путь самого решительного и тотального “отрицания” всей послереволюционной действительности».

Но одно дело самоощущение человека, самохарактеристика своего собственного мировоззрения, другое – его общественная или публичная жизнь. Кухонные застольные разговоры, остроумные антисоветские анекдоты, белогвардейские песни и романсы, но в дружеском кругу! Да, это было. Когда же будет издано полное собрание сочинений Вадима Валериановича Кожинова, то в нем не будет ни одной страницы, наполненной антисоветскими размышлениями, потому что страниц этих просто не существовало в природе. Он, к счастью, не успел «оформить» свои диссидентские настроения еще и потому, что они очень быстро прошли. Так, он пишет в том же «послании правительству», что в 1965

году «я уже пришел к прочному убеждению, что бороться надо не против сложившегося в России строя, а за Россию».

А в этом своем «послании правительству» он как бы продолжал традицию Пушкина, написавшего в свое время для Николая I записку «О народном образовании», Гоголя в «Письмах калужской губернаторше», размышлявшего о чиновническом долге, Тютчева, который в провидческой статье «Россия и революция» напоминал властям об ответственности России перед мировой историей...

Каждый из этих авторов был по-своему и прозорлив, и наивен. Кожин, к примеру, в начальный период правления Ельцина осторожно надеялся, что в нем и в русской части его окружения должен проснуться государственный инстинкт, самолюбие, осознание того, что они правят великой страной, – словом, все то, что произошло с большевиками, когда их интернациональные утопические взгляды переродились в советский патриотизм.

Когда он увидел, что этого не происходит, – то огорчился как ребенок, разводил руками, растерянно повторял: «Да, Стасик, черт знает что творится!»

Да, я знал, как Вадим в начале 60-х годов жадно следил за всякой самиздатовской литературой. Появился еврейско-либеральный журнал «Синтаксис» – он тут же раздобыл его, то ли у Алика Гинзбурга, то ли у Сережи Чудакова. С интересом изучал первые выпуски. Помню, даже с пафосом прочитал мне стихотворение Станислава Красовицкого «Парад не видно в Шведском тупике». Прочитал на память, которая всю жизнь была у него великолепной. Но как-то скоро он забыл о «Синтаксисе», и уже в его руках появился журнал противоположного, русского национального направления – «Вече», который издавал Владимир Николаевич Осипов с друзьями. Они о чем-то беседовали, но Вадим не рассказывал нам об этих беседах подробно, возможно, оберегая легкомысленных поэтов от опасных контактов. Однако сам внимательно присматривался к диссидентским изданиям обоих флангов, сам изучал людей, стоявших за ними, сам разочаровывался в них и продолжал сам

отыскивать собственный путь. Были на этом пути и озорные, может быть, даже кощунственные зигзаги. Однажды мы четверо – Вадим, я, Передреев и Владимир Дробышев (опять же году в шестидесятом) вышли с переделкинской дачи прогуляться и дошли до кладбища. Поклониться могиле Пастернака. Недалеко от пастернаковской могилы набрали на могильные плиты, под которыми были похоронены старые большевики, революционеры-интернационалисты из ленинской гвардии. Вадим взгляделся в надписи на плитах и вдруг, впад в веселое неистовство, стал буквально приплясывать среди надгробий, вздымая руки к небу и восклицая: «Вот он, отработанный пар истории!» Но когда мы вернулись на дачу, посерьезнел и поведал нам о том, что в тридцатые-сороковые годы в Переделкино был какой-то дом призрения для одиноких престарелых революционеров, где в одной из палат умирала Розалия Самуиловна Землячка (Залкинд), прославившаяся в свое время кровавыми расправами в Крыму над белыми офицерами, отвергнувшими эмиграцию, поскольку им была обещана амнистия. Эта старая революционная фурия якобы лежала парализованная в своей палате, но вела себя по отношению к санитаркам настолько по-барски, что ее ненавидел весь низший медицинский персонал, и потому она умирала в грязи, в собственных испражнениях и в полном забвении. Не знаю, правда ли это. Но то, что сию историю нам тогда поведал Вадим – говорит о многом.

А как однажды созорничал Сережа Семанов – ныне солидный историк и член редсовета «Нашего современника». Когда литературно-комсомольская делегация летела в конце шестидесятых годов после посещения Шолохова из Ростова в Москву, он вдруг вытянулся в салоне самолета по стойке «смирно» и скомандовал:

– Господа! Мы пролетаем над местом гибели генерала Корнилова! Приказываю всем встать!

Это было именно озорством, но не диссидентством. И я иногда выкидывал подобные штуки. Однажды заседал у нас партком, и была на повестке дня какая-то тема о классовый борьбе, о красных и белых, о

двух культурах. Длинную и скучную речь произносил новомировский функционер Александр Дементьев, который укорял наших «почвенников» Кожина, Семанова, Палиевского за то, что они пренебрегают «классовым подходом» (потом весь список фамилий «из Дементьева» переписал А. Н. Яковлев в своей поганой статейке «Против антиисторизма»). Мне стало скучно, и в одну из пауз после перечисления Дементьевым моих друзей я громко крикнул на весь зал: «Да это они Шолохова начитались!» Аудитория взорвалась от хохота, а я вышел, хлопнув дверью, но успел заметить брошенные мне вслед неодобрительные взгляды Феликса Кузнецова и Евгения Сидорова.

Говоря о некоем кратком диссидентском периоде жизни Кожина, нельзя упускать из виду, что был он натурой артистической, и пока его «не требовал к священной жертве Аполлон», то есть пока он не ставил перед собой какую-то мировоззренческую цель, пока не преисполнялся ответственности перед историей, он мог и дурачиться, и противоречить сам себе, и надевать в дружеском кругу самые разные маски. Ну разве можно забыть его вдохновенное театрализованное исполнение под гитару одного из самых ритуальных гимнов революции:

Белая армия, черный барон  
шли от шестнадцати разных сторон.  
Но от тайги до британских морей  
Красная армия всех сильнеей.

Вадим пел так, что казалось, будто мы сидим в каком-нибудь двадцатом году в замерзающем Петрограде и морозный январский ветер мировой революции шевелит наши волосы. Его несильный от природы голос звенел железными звуками марша, под который красные солдаты в линялых гимнастерках шли, сопровождаемые дребезжащими звуками меди, навстречу черным каппелевским шеренгам. А «певец во стане русских воинов» резкими, почти оркестровыми аккордами раскручивал

нас столь увлекающе, что и я, и Передреев, и даже кроткая душа Коля Рубцов начинали грозными голосами подпевать ему:

Так пусть же Красная  
сжимает властно  
свой штык мозолисто-о-й рукой!

А уж на последней музыкальной фразе наши голоса сливались в одно жертвенное русло:

И все должны мы  
неудержима-а-а  
идти в последний смертный бой!

Почти по тридцать лет нам всем было, но, исполняя мрачную революционную сагу, мы становились юношами. Однако Вадим не задерживался на патетической ноте и в какое-то неуловимое для нас мгновение выворачивал трагический пафос наизнанку:

Мы раздуем пожар мировой,  
церкви и тюрьмы сравняем с землей.  
И на развалинах царской тюрьмы  
новые тюрьмы построим мы.

Он озорно и вдохновенно сверкал глазами, откидывал прядь волос со лба и как ни в чем не бывало продолжал:

Так пусть же Красная!

Но этот выворот, как я понимаю, шел от разгульного залихватского желания поиграть сакральными понятиями, ради красного словца щегольнуть широтой, подразнить гнилую эпоху хрущевской «оттепели».



От «мирового пожара» Вадим легко переходил к одесскому фольклору и с не меньшим вдохновением исполнял «Веселый день у дяди Луя», а потом и Алешковского вспоминал, но, когда заканчивал валять дурака, утешал душу Николаем Рубцовым или Антоном Дельвигом. Романс на слова Дельвига был его заветным номером, от которого наши сердца начинало сладко щемить.

Когда еще я не пил слез  
Из чаши бытия,  
Зачем тогда в венке из роз  
К теням не отбыл я.

Он исполнял Дельвига так, что каждый из нас в эти минуты переживал всю прошедшую жизнь, каждому казалось – это обо мне, и слова, и музыка, и бесконечная печаль – о моей несбывшейся любви, о моей судьбе, о моей смерти.

Не нарушайте ж, я молю,  
Вы сна души моей  
И слова страшного «люблю»  
Не повторяйте ей.

Но когда я в упоенье однажды воскликнул: «Даже у Пушкина нет таких стихов!» – Вадим смахнул с лица нечаянную слезу и покачал головой:  
– У Пушкина есть все.  
А Передреьев, сидевший с ним рядом, строго добавил:  
– Ну, это ты уж, Стасик, слишком!

\* \* \*

Наши жены в те молодые времена хоть и корили нас за разгульную жизнь, но иногда их женские голоса сливались с нашими или

даже продолжали их... Вадим, завершая «Коробушку», лихо ударил по струнам и выдохнул:

Распрямись ты, рожь высокая,  
Тайну свято сохрани!

А его жена Лена вдруг продолжила, завершая песенную игру:

Муж приедет с торгу пьяненький,  
Накормлю и уложу,  
Спи, пригожий, спи, румянький,  
Больше слова не скажу...

Передреев улыбнулся своей белозубой, почти гагаринской улыбкой.  
– Вадим, это же о тебе!

А однажды в минуту внезапной и редкой тишины в нашем кругу возник голос блоковской девушки, певшей в церковном хоре. Но пел этот ангельский голос на слова Тютчева:

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора,  
Весь день стоит как бы хрустальный,  
И лучезарны вечера...

Это неожиданно для меня и для всех нас запела моя жена Галя. Мы замерли, открыв рты, и над нашими головами как бы прошелестело дуновенье вечной жизни, в которой все сплелось воедино – Тютчев, молодость, предчувствие «первоначальной осени».

С тех пор, когда нам удавалось собраться вместе, Вадим всегда просил: «Галя, спой “Есть в осени”...» Последний раз он попросил ее об этом на своем семидесятилетии. Она отнекивалась и смущалась, потому что и голос был уже не тот, да и дружеский круг наш поредел,

и стопка в руке Вадима дрожала как никогда, и все-таки он упросил Галю и в последний раз услышал примиряющие нас с судьбой слова: «И льется тихая и теплая лазурь на отдыхающее поле»... Вадим закрыл глаза – и о чем в это время думал: о полях вокруг Овстуга, о прошедшей жизни, а может быть, вспоминал другой свой любимый романс, который для него был почти молитвой, – от первой строки «Вот иду я вдоль большой дороги» до последних слов: «Вот тот мир, где жили мы с тобою».

Был ли Вадим человеком верующим? Этот вопрос приходил в голову не одному мне. 16 июля 2001 года я получил письмо из города Струнино от человека, не раз бывавшего у Кожина в прежние времена.

«Здравствуйте, многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Прослушал сейчас Ваше выступление по “Народному радио” и захотелось напомнить о себе.

1975 год. По Вашей рекомендации еду к Вадиму Валериановичу Кожину. Он отмечает день рождения. Ему 45, то есть он на семь лет моложе меня сегодняшнего.

– Это ничего, что я пьян?

– О, это еще и лучше!

Я достаю бутылку коньяка, его жена подает русские пельмени. Мы читаем стихи, спорим о поэзии вообще и о Ю. Кузнецове в частности.

Но вот В. В. берет гитару.

– Вы любите Станислава Куняева?

Это прозвучало просто и естественно, как, например, “вы любите Пушкина”? И он начинает петь Ваши стихи, сам себе аккомпанируя на гитаре. Я что-то неловко подпеваю...

Прошло четверть века. Прошла жизнь.

И вот его не стало. И хочется мне, разделяя Вашу скорбь, сказать как другу его: все эти годы (а мы немножко и переписывались) я испытывал к В. В. самые добрые, самые почтительно-уважительные чувства. Одно меня смущало. Это отстраненность его от Церкви и Бога.

Но, может быть, я ошибаюсь. Кстати, как он умер? Со священником? С исповедью и Причастием? Расскажите, пожалуйста, о его последних минутах, о его последних словах...

Да помянет Господь душу раба Своего Вадима в селении праведных. Я молюсь за него.

Искренне Ваш  
Игорь Федоров».

Итак, был ли Вадим Валерианович человеком верующим? Не знаю, несмотря на его собственные признания о разговорах с Бахтиным. Утверждать не могу. На мой взгляд, скорее он был стойким, убежденным в том, что религиозное призвание человека – в постоянном исполнении своего земного долга. Несмотря ни на какие враждебные человеческой судьбе обстоятельства жизни. Много раз при мне он повторял:

– Что делать, Стасик, человек смертен, его жизнь – неизбежная трагедия, но надо до конца бороться с судьбой.

В этом смысле он был человеком, скорее, тютчевского склада:

Боритесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна! –  
Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.

Пушкин для Кожина был Богом, небожителем, Тютчев же, в семье сына которого жил домашним учителем дед Кожина, понимался им как пращур, как своеобразный покровитель кожиновского рода. И недаром великую книгу о Тютчеве написал именно Вадим Валерианович.

Незадолго до смерти в одной из статей он прямо подтвердил свою причастность к людям героической породы: «Тот, кто не желает

или не имеет мужества осознать трагедийность человеческой судьбы, представляющей собой шествие к смерти, не может быть истинно счастливым».

Его редчайший стоицизм выплеснулся с последним вздохом из земной плоти, когда, как вспоминают свидетели последних дней его жизни, он произнес слова, достойные человека античной эпохи: «Все аргументы исчерпаны...»

Конечно, не только болезнь, но и время убило его, однако и он нанес подлому времени немало ран, которые оно никогда не залечит.

Я мечтаю о том, чтобы к столетию со дня его рождения, а лучше бы пораньше, какой-нибудь «грядущий юноша веселый», такой же московский любомудр, каким был он, написал о Вадиме Валериановиче Кожинове книгу и чтобы она вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

...Когда в морозную ночь с 24 на 25 января 2001 года его жена Лена позвонила мне в Калугу и сказала: «Стасик, Вадим умер...» – я в отрешенном состоянии подошел к столу, и моя рука вывела на белом листе бумаги неизвестно откуда взявшиеся слова:

Умер Вадим – я остался один...

*Калуга, 1–10 ноября 2001 года*

## ЛЕЙТЕНАНТЫ И МАРКИТАНТЫ

Тяжелая резная дверь отворилась со скрипом, и на пороге появился человек низенького роста, в махровом халате, в домашних шлепанцах, с выпученными веселыми глазами.

Его крупная облысевшая голова была обрамлена рыжеватым венчиком волос, и весь он излучал приветливость.

– Заходите, Станислав! Слуцкий мне хвалил ваши стихи. Давайте знакомиться. Я буду вас называть Стахом, а вы меня – Дезиком...

Дезик Самойлов – впоследствии я обнаружил, что его никто почему-то не звал по отчеству – жил в громадном доме, видимо, выстроенном в начале XX века для того, чтобы сдавать квартиры внаем. Дом стоял на площади, именуемой Александровской, а в те времена, когда я пришел к Дезику, она именовалась площадью Борьбы.

Квартира Самойловых, в которую я вошел в сопровождении радужного и слегка хмельного с утра хозяина, показалась мне необъятной – многокомнатной, с высоченными, потемневшими от времени потолками, украшенными то ли виньетками, то ли барельефами. Много лет спустя, уже после смерти Самойлова, в книге его воспоминаний «Перебирая наши даты» (М., 1999) я нашел особую главу, которую автор так и назвал: «Квартира».

«Квартира на Александровской площади досталась нам вот таким образом.

С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображен упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталонах – мои двоюродные брат и сестра.

Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле *fin de siècle*, досталась нам. Отец, как врач при действующей армии, получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.

С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы».

Вот таким образом заселялась Москва после революции, крушения «черты оседлости» и Гражданской войны.

Еврейская родня Дезика, естественно, была не единственной, перелетевшей в Москву 20-х годов. В сущности, вся «одесская школа» русскоязычных литераторов перекочевала в столицу, не отставали от одеситов и киевляне, и харьковчане, и прочие деловые люди из западных и юго-западных местечек. Картина людских потоков была по своим масштабам грандиозной. Вот как об этом «переселении народа», начавшемся во время Первой мировой войны, пишет А. Солженицын:

«За счет беженцев, высленцев, но и немалых добровольных переселенцев – война значительно изменила расселение евреев по России, образовались большие еврейские колонии в городах дальнего тыла... да не меньше того в столицах. Тянулись в них к родственникам или покровителям, уж давно осевшим на новых местах. В случайных мемуарах прочтем о петербургском зубном враче Флакке: квартира в 10 комнат, лакей, горничная и повар – таких основательных жителей евреев было немало, и в годы войны при крайнем жилищном стеснении... они открывали возможность вселения для приезжающих евреев» («Двести лет вместе»).

После революции ситуация с заселением Москвы «малым народом» стала просто катастрофической.

«Сотни тысяч евреев переселились в Москву, Ленинград и другие крупные центры», «в 1920-м в Москве проживало около 28 тыс. евреев, в 1923-м – около 86 тыс., по переписи 1926 года – 131 тыс., в 1933 – 226, 5 тыс.» (Краткая Еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1976–2001 гг. Т. 1. С. 235, 477–478).

Миллионы евреев после страшных западноевропейских погромов Средневековья, Реформации и Возрождения, изгнанные из Англии, Испании, Франции и Германских княжеств (словом, после первого Холокоста XII – XVI веков), сгрудились в Восточной Европе – в Галиции, Австро-Венгрии, Польше. В начале XX века, в эпоху, о которой Осип Мандельштам писал:

Европа Цезарей! С тех пор, как в Бонапарта  
Гусиное перо направил Меттерних,

Впервые за сто лет и на глазах моих  
Меняется твоя таинственная карта,

– они хлынули, окрыленные социалистическими идеями, в пошатнувшуюся Россию.

Александр Межиров в 60-х годах так вспоминал о своих родителях, прошедших этот маршрут:

Их предки в эпохе былой,  
Из дальнего края (! – *Ст. К.*) нагрянув,  
Со связками бомб под полой  
Встречали кареты тиранов.

Впрочем, в те времена подобные действия назывались не «международным терроризмом», а «борьбой за освобождение рабочего класса» или «национально-освободительным движением». Однажды, разглядывая какую-то подробную карту Восточной Европы, я наткнулся на обозначение маленького городка в Галиции – «Межиров» и сразу понял, откуда, из какого «дальнего края» «нагрянули» в Россию и Москву предки Александра Пинхусовича Межирова. А недавно – в январе 2006 года в какой-то телевизионной передаче известная писательница-феминистка Мария Арбатова рассказала, что во время Первой мировой войны оба ее прадедушки перекочевали в Москву – один из Литвы, а другой из Польши и, естественно, поселились на Арбате. Отсюда, видимо, у потомков и пошла первая «географическая» фамилия Арбатовы. Так же как у Шкловского из Шклова, у Пинского из Пинска, у Варшавера из Варшавы, у Ржевской – из Ржева и т.д. и т.п. Да и поэма Павла Антокольского также неслучайно называлась «Переулочек за Арбатом», как и роман Рыбакова «Дети Арбата». Место, так сказать, «намоленное»...

Столица перенаселялась, стремительно разбухла от потока, провавшего черту оседлости, уплотнялись многокомнатные квартиры,



становившиеся коммуналками, на строительство новых жилищ у государства средств не было, и к концу 20-х годов в Москве образовалась громадная разветвленная метастаза, называемая квартирным вопросом, который, по словам Михаила Булгакова, «испортил москвичей».

Но в то давнее посещение дезиковской квартиры (а было это в июне 1960 года) я ничего еще не знал о великом переселении семей и племен и с интересом слушал Дезика, который, в халате и тапочках, похожий на героя одного из полотен русских художников (по-моему, «Свежий кавалер») с пафосом читал мне свои стихи о судьбе поэта, об одиночестве, о позднем признании, о стоицизме и терпении:

Телеграфные столбы,  
Телеграфные столбы,  
В них, скажу без похвальбы,  
Простота моей судьбы.

Однако простота эта, как я понял много позже, была ролью, которую разыгрывал всю жизнь Давид Самойлов. На самом же деле его жизнь была далека от аскетического идеала, нарисованного им в этом стихотворении.

\* \* \*

В конце 20-х годов прошлого века мой отец и его брат Николай стояли в бесконечных очередях на бирже труда и перебивались случайными заработками на волжских пристанях Нижнего Новгорода. Им было уже по двадцать лет. Парни в расцвете сил. Время беспризорщины, наступившее после смерти обоих родителей от тифа, слава Богу, они пережили. Но в нэповскую эпоху у них, как и у многих молодых людей, не было будущего. Биржа труда – и все. При нэпе индустриализация страны, без которой невозможно было дать работу и хлеб десят-

кам миллионов безработных, была невозможна. Участники не хотели (да и не могли) вкладывать деньги в чуждые им планы.

А в материнской Калуге дела обстояли не лучше. Неграмотная бабка, вчерашняя крестьянка, после смерти моего второго деда от того же тифа в 20-м году не знала, что станет с ее детьми. Слава Богу, старшая дочь Поля выучилась на портниху и вышла замуж, следующая по возрасту, Дуся, пристроилась какой-то мелкой сошкой в управление железной дороги. Младший сын – дядя Сережа, будущий сталинский ас-летчик, бомбивший в 1941 году Берлин и награжденный в октябре 1941 года (!) орденом Великой Отечественной войны II степени, – чтобы прокормиться, в 13 лет начал сапожничать, и лишь моя энергичная и волевая мать, благодаря калужским почетным грамотам за спортивные успехи, поступила после рабфака в один из первых советских вузов в Москве – в Институт физкультуры. Да и то без бабкиных деревенских гостинцев – пирогов и бутылок с молоком – ей было бы трудно прожить в первые времена общежитской московской жизни.

Я рос в кругу своих родных как дитя городского простонародья и до сих пор ношу на себе болезненные печати того полуголодного быта, которым мы все жили до середины тридцатых годов, до отмены продовольственных карточек. Я родился в разгар коллективизации. У матери вскоре пропало молоко, и бабка выкормила меня, как выкармливали деревенских детей в голодные времена: пережевывала хлеб в тягучую клейкую массу, заворачивала в марлю – это была моя младенческая соска, к которой добавлялось разбавленное коровье молоко и сладкий холодный чай. Как тут было не заболеть ребенку разными недугами, следы которых я ношу на своем теле всю жизнь! Так что я с малых лет узнал цену куску хлеба и чугунку картошки, и до сих пор помню, с каким восхищением году в 36-м, после отмены карточной системы, попробовал первые лакомства – белый хлеб с маслом, шипучее ситро, чашку холодного густого кефира.

Иная жизнь была у настоящего баловня нэпа – Дезика, сына врача-венеролога и матери – сотрудницы Внешторгбанка. Вот как он вспоминает о своем детстве:

«Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит громадные торты и плетеные коробки с пирожными. У папы лечится рыбник. Жирные свертки с икрой остаются в передней после его посещений. Приносят сало, ветчину, виноград, оливки, телятину, цветную капусту... Я испытываю отвращение к еде».

Жаль, что воспоминания Дезика о том, как он жил и что он ел в голодную эпоху 20-х годов, уже не прочитают его соратники по военному поколению – Михаил Алексеев и Виктор Кочетков, жившие в вымиравших от голода во время коллективизации поволжских селах, деревенские парни из «раскулаченных семей» – Виктор Астафьев, Федор Сухов, Сергей Викулов, Федор Абрамов, выросшие в беспаспортной колхозной жизни.

Но почему при таком роскошном питании Дезик вырос маленьким и тщедушным? Наследственность, что ли? Или городская жизнь с грязным воздухом? Да нет, была у них и прекрасная загородная дача, о которой Самойлов вспоминает:

«27-й год. На открытой террасе, выходящей прямо в поле, уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог – синоним белизны, слоистый и тоже душистый, похожий на слоистые облака. Все было неповторимого вкуса и запаха».

Это похоже на гастрономические грезы Генриха Гейне из его «Мыслей, заметок, импровизаций», а может быть, даже и посильнее:

«Я человек самого мирного склада. Все, чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежие молоко и масло, перед окном цветы...» Даже Гейне только мечтал о такой жизни, которой жил Самойлов.

Я несколько раз бывал и на другой самойловской даче, построенной в модном дачном поселке Мамонтовка тестем Дезика врачом-кардиологом Лазарем Израилевичем Фогельсоном. Думаю, что эта дача была не хуже, чем дача Кауфманов, на которой у Дезика прошло безмятежное гастрономическое детство. Приехав в Мамонтовку в первый раз (кажется, в том же 1960 году), я поразился обширному саду, архитектуре и изысканности самой дачи, обильности угощения, которым хозяева встречали гостей, и главное, атмосфере – смеху, веселью и какому-то особенному устоявшемуся пониманию друг друга, конечно, с полуслова, а также обилию разнообразной выпивки, множеству анекдотов и изощренному фрондерству, которое лилось рекой:

– Итак, выпьем же, братья, за партию, – вдохновенно провозглашал Дезик и, поднимая к подслеповатым глазкам вырезку из газеты «Вечерняя Москва», с восторгом добавлял, вглядываясь в текст какой-то информации: – За партию лимонов, доставленную к нам из солнечной Грузии!

В ответ, конечно же, раздавался гомерический хохот, и все дружно выпивали – и Павлик Антокольский с очередной пассией, и Боря Грибанов – крупный издательский работник, и будущий уполномоченный по правам человека в Госдуме Владимир Лукин, и молоденький Юлий Ким, и чтец-декламатор Яков Смоленский, и поэт Виктор Урин с Вероникой Тушновой, а также полузабытое или почти забытое мною множество довольных жизнью представителей еврейской творческой интеллигенции.

Конечно, такие застолья, сохранившиеся несмотря на все тяготы эпох, можно было устраивать, имея немалые деньги и прочнейшие гастрономические традиции, корнями уходящие в нэповские времена...

...К середине дня народ разбрелся по участку – кто на волейбольную площадку, кто к настольному теннису, кто в беседку, увитую хмелем... Ближе к вечеру часть гостей разъезжалась, а все отяжелевшие от общения располагались ночевать в комнатах и на террасах, чтобы утром снова сесть за стол, уже прибранный и вновь накрытый трудолюбивой русской домработницей Марфой Тямкиной.

\* \* \*

В 60-е годы я еще не был столь суров и ожесточенно требователен к своим товарищам-современникам. Историческая трагедия, в которой мы живем начиная с 80-х годов, еще не просматривалась на горизонте, а всякие частные разногласия? – да, они были, но чтобы из-за них отворачиваться друг от друга, не видеть в упор, презирать, обличать... О том, что такое время наступит, я даже подумать не мог\*...

В эти баснословные времена Андрей Синявский с Марией Розановой захаживали в гости к Кожинovu, и Розанова дала Вадиму за шрам на переносице шутовское прозвище «штопаный нос», к нему прилипшее. В эти времена Николай Рубцов, работавший в Ленинграде на Кировском заводе, встречался с завсегдатаями питерской богемы Кузьминским и Юппом, ныне живущими в Америке, писал стихи, посвященные Глебу Горбовскому и Эдику Шнейдерману, который через полвека отплатил ему страницами воспоминаний, полными ядовитой зависти к посмертной рубцовой славе. Глеб же Горбовский вместе с компанией Евгения Рейна и Оси Бродского навещал Ахматову. Да и сам я без всяких душевных колебаний застольничал в Тбилиси в кругу грузинских поэтов рядом с Евтушенко, вместе с ним летал в северные края на Бобришный угор к могиле Александра Яшина, где, впрочем у нас уже произошла первая серьезная размолвка.

\* \* \*

– Стах! – Дезик встает из-за стола в Доме литераторов и радушно распахивает объятья... – Я поэму закончил. Хочешь прочитаю? Садись! Валя, еще триста граммов коньячку и по бутерброду с осетринкой. Я буду Стаху поэму читать!

---

\* В те годы я подарил одному молодому человеку свой стихотворный сборник «Метель заходит в город», который выставлен на стенде, посвященном Иосифу Бродскому, в ленинградском музее Анны Ахматовой на Фонтанке, с надписью: «Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем книжку, совершенно чуждую ему. Станислав Куняев».

Мы со вкусом выпиваем и в предвкушении чтенья раскрасневшийся, вдохновенный Дезик склоняется ко мне и таинственно шепчет:

– Поэма называется «Струфиан!»

Откинувшись, он оценивает эффект, произведенный волшебным названием, и начинает чтение:

Дул сильный ветер в Таганроге –  
Обычный в пору ноября.  
Многообразные тревоги  
Томили русского царя.  
Он выходил в осенний сад  
От неустройства и досад.

Он читает, самозабвенно жестикулируя, счастливый от слов и звуков, от того, что написал, как ему кажется, нечто выдающееся, да еще и слушателя благодарного нашел. А поэма – о русской истории, загадочной смерти императора Александра Первого в Таганроге, о слухах, витавших вокруг этой якобы смерти, и, конечно, не мог Дезик обойтись без обаятельного ерничанья, когда, похохатывая, подошел к финалу, где речь шла о том, что император на самом деле и не умер, не скрылся в Сибири, а его похитили какие-то инопланетяне и увезли в космическом корабле под названием «Струфиан».

С лукавым пафосом, щедро пересыпанным высокопарной иронией, Дезик прочитал «крещендо»: «А неопознанный объект летел себе среди комет» – и тут же потребовал выпить за успех своей гениальной выдумки.

Я благосклонно хвалю поэму, разыгрываю искреннее удивление – поэты ведь не могут жить без похвалы, особенно Дезик, который первую книжечку стихов издал в сорок лет. Мне приятно его общество, и ежели выскажу нечто желчное, то потеряю обаятельного собеседника. И все-таки я чуть-чуть нарушаю правила нашей игры:

– Русская история посленаполеоновской эпохи, если верить «Струфиану», становится игровым абсурдом и обаятельным поэтическим фарсом, после которого о ней и рассуждать всерьез совершенно необязательно, – вот что я говорю Дезику. Говорю мягко, раздумчиво...

Он удивляется:

– Всякая история, Стах, достойна лишь иронии!

– Не всякая, Дезик, а русская – особенно.

– Ну прочитай что-нибудь антиироническое, – поддразнивает он меня.

Я читаю:

Россия, ты смешанный лес,  
Приходят века и уходят,  
то вскинешься до небес,  
то чудные силы уводят  
бесшумные реки твои,  
твои роковые прозренья  
в сырые глубины земли,  
где дремлют твои поколенья.

Дезик на мгновение опускает глаза, задумывается и подводит черту под нашим осторожным спором:

– Ну ладно... Давай лучше, Стах, выпьем!

В очередную встречу он был настолько возбужден, что сразу прижал меня к стойке буфета:

– Стах, слушай! – И развернул предо мной картину своего детства.

Я изобразил из себя само внимание, и стихи стоили того:

Помню – папа еще молодой,  
Помню выезд, какие-то сборы,  
И извозчик – лихой, завитой.  
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

Помню – мама еще молода,  
Улыбается нашим соседям,  
И куда-то мы едем. Куда?  
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.  
Суматоха Охотного ряда.  
А потом – купола, купола.  
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь  
О булыжник в каком-то проезде.  
Куполов угасает огонь,  
Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода.  
Конь горяч. И пролетка крылата.  
И мы едем незнамо куда, –  
Все мы едем и едем куда-то.

Пафосные стихи редко удавались Дезику, он по натуре был печальный шут, талант вольтеррианского склада, скептик, иронист, но это стихотворенье тронуло меня. Какими-то эпическими, почти величественными интонациями: лихой, завитой извозчик, горячий, звонко цокающий копытами конь, огонь и золото куполов, крылатая пролетка. И конечно, красивая пара – родители. А главное – таинственность езды – «незнамо куда», в какое-то сказочное прекрасное будущее... Романтические стихи! И мне так захотелось в ответ прочитать Дезику стихотворенье о своем детстве, недавно написанное и не читанное еще никому:

Свет полуночи. Пламя костра.  
Птичий крик. Лошадиное ржанье.



Летний холод. Густая роса.  
Это – первое воспоминанье.

В эту ночь я ночую в ночном,  
Распахнулись миры надо мною,  
Я лежу, окруженный огнем,  
темным воздухом и тишиною.

Где-то лаяли страшные псы,  
А луна заливала округу,  
И хрустели травой жеребцы,  
И сверкали и жались друг к другу.

Дезик удивленно спрашивает:

– А что, Стах, ты жил в деревне?

– Да, детство прошло в калужской деревне, а отрочество – в эвакуации, в костромской...

Потом, прочитав новую стихотворную книгу Дезика, я понял его удивление: «Я учился языку у няnek, у молочниц, у зеленщика». Все как у Ходасевича: «Не матерью, но тульской крестьянкой я вскормлен был».

...Я был рад, что ему понравилось мое стихотворенье. Мы тут же выпили за оба наших шедевра и расстались довольные друг другом. К этому времени я уже знал, что можно читать Дезику, а что – нельзя. «Кони НКВД», где мелькает еврейская фамилия полковника Шафировва, – нельзя. «Реставрировать церкви не надо» – о разорении церковей в 20–30-е годы – тоже лучше не читать, как и стихи об еврейском исходе – с последней строчкой «вам есть где жить, а нам, где умирать». Не хотелось прерывать нашу увлекательную и почти искреннюю игру в ученика и учителя...

Много лет спустя, когда вышла посмертная книга воспоминаний Самойлова «Перебирая наши даты», в которой было несколько фото-

графий, я взгляделся в одну из них. 1927 год. Дезик с отцом и матерью. «Папа молод и мать молода» – летучая, вдохновенная строка. А на фотографии на вид немолодая толстая еврейка, сотрудница Внешторгбанка. Рядом такой же толстенький, короткорукий папа – врач-венеролог, стоят, словно пара пингвинов, и мальчик, упитанный, безмускульный, узкоплечий, на тоненьких слабых ножках с развернутыми в стороны ступнями. Такой чарличаплинской походкой – носки в сторону – Дезик и проходил всю жизнь, словно коверный в цирке. Никакой сказочности, никакой лихости, никакого полета на горячем коне и крылатой пролетке в таинственное будущее. Все – нэповское, заурядное, вышедшее из дореволюционного местечкового быта, но облагороженное до неузнаваемости стихотворной фантазией Дезика. Земля эстонская ему пухом... Лучше бы я не видел этой фотографии.

По прошествии нескольких лет наши отношения с Дезиком изжили себя, истрепались, но поскольку он не мог пребывать в одиночестве, то окружил себя свитой молодых учеников – Сережа Поликарпов, Вадим Ковда, Алена Басилова, Олег Хлебников, да разве всех упомнишь! Он с наслаждением витийствовал в их кругу, читал стихи на bis, чаще других – «Пестель, поэт и Анна» или «Не верь ученикам, они испортят дело», непрерывно хохмил, острил и дотягивал время до закрытия ресторана, когда его, маленького, обмякшего, красноносого, свита выводила на улицу, сажала в такси, и кто-нибудь из особенно преданных учеников отвозил его, но уже не на площадь Борьбы, а на Красноармейскую улицу или в его последнюю московскую квартиру – в Безбожный переулок.

Борис Слуцкий, как правило, проходил мимо этого шумного поэтического улья не задерживаясь. Его раздражало легкомыслие Дезика, он фыркал в усы и не подсаживался к застолью, несмотря на театральные жесты и призывы старинного друга.

Чаще других мэтром номер два в этом кругу появлялся Юра Левитанский, который после двух-трех рюмок по просьбе Дезика и всей

прилипшей к нему молодежи, к их восторгу, читал свои знаменитые пародии. С особенным вдохновением вот эту:

А это кто же? – Слуцкий Боба,  
А это кто? – Самойлов Дезик,  
И рыжие мы с Бобой оба,  
И свой у каждого обрезик.

Дальше – не помню, помню только восторги самойловского семинара и усатого Левитанского, который раскланивался и благодарил слушателей, как дама – сочинительница романов из чеховского рассказа «Ионыч».

\* \* \*

«Сороковые, роковые» – благодаря именно этой буквальной цитате из Блока, до блеска замусоленной апологетами самойловского творчества, Дезик в истории советской поэзии, во всех учебниках и антологиях аттестуется как один из главных поэтов Великой Отечественной. Однако и в его военной судьбе есть немало странностей.

Ближайший друг Дезика из довоенной юности Борис Грибанов, вспоминая о своих ифлийских друзьях\*, писал: «Среди них был и пулеметчик, фронтовой разведчик Давид Кауфман. Как подшутил один из его друзей в те годы, когда шла оголтелая борьба за мир: вы, главное, берегите Дезика, а то он однажды вышел из дома и дошагал до Берлина»...

«До Берлина», конечно, Дезик «не дошагал» и вообще его «военные дороги» были совсем не такими прямыми и героическими, какими их изобразил журналист Грибанов.

---

\* ИФЛИ – Институт философии, литературы, истории, куда в 1938 году поступил учиться Давид Кауфман (Самойлов).

16 октября 1941 года, в роковой, в самый панический и позорный день бегства населения Москвы от наступающей на город немецкой армии, когда все московские обыватели были уверены, что город вот-вот падет, 22-летний студент, вполне здоровый молодой человек Давид Кауфман уплывает по Москве-реке пароходом на восток, в глубокий тыл.

Из книги Д. Самойлова «Перебирая наши даты»:

«Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Прогулочный пароход, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала и наконец отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тетка, Л. с офицером и мачехой и, наконец, В. с теткой и другом детства Женей...»

...Я помню нашу эвакуацию из Ленинграда в августе 1941 года, помню в 1944 году обратный путь со станции Шарья на запад. Залезть в вагон с вещами было невозможно. А с детьми и подавно. Хорошо, что помогли офицеры, увидевшие женщину с двумя детьми на перроне. Избежать в то время мобилизации было непросто. Моя мать в 1941–1942 годах работала врачом в призывных комиссиях при военкоматах – в первый месяц войны под Кингисеппом в Эстонии, а после эвакуации в костромском селе Пыщуг. Меня ей не с кем было оставить, и я порой сутками был при ней и ночевал на диванах, обтянутых коричневым дерматином рядом с призывниками, спавшими вповалку на полу на призывных пунктах. До сих пор помню, что всем более или менее здоровым молодым мужикам на этих медосмотрах ставился только один диагноз: «Годен»... Как за несколько первых тяжелейших месяцев войны Дезика не призвали в армию – можно только удивляться.

Да и погрузиться на «прогулочный пароход» для громадной семьи с вещами, «заранее связанными» в дни всеобщей паники, тоже было делом чрезвычайным и сказочным. Мы с беременной на шестом месяце матерью бежали из-под Кингисеппа в Ленинград, когда услышали, что немцы уже в двадцати километрах, бросив все имущество, «в чем мать родила». Точно так же уезжали в эвакуацию из Ленинграда с

одним чемоданчиком – больше в последний эшелон, битком набитый детьми и женщинами, брать не разрешалось. И пропустили нас в этот последний эшелон только потому, что мать была «в положении». Но вернуться к Самойлову.

По пути в сторону от фронта впечатлительное нэповское дитя, видимо, насмотревшись на ужасы эвакуации, заболевает нервной горячкой настолько серьезно, что остается на лечение в Куйбышеве и догоняет после выздоровления отца с матерью и остальных родственников даже не в Ташкенте, а еще дальше от фронта – в Самарканде\*. И это в то время, когда все его ровесники или уже были на передовой или тряслись в воинских эшелонах, громыхающих на фронт.

Из воспоминаний Давида Самойлова:

«Мы прибыли в Куйбышев, и там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли “нервной горячкой”»; «недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше – в Самарканд». «В Ташкенте неожиданно встретил Исаака Крамова...»

Вот где встречаются молодые 22-летние «ифлийцы», мечтавшие в стихах «умереть в бою» и «дойти до Ганга» – в глубине советской Азии. Поневоле, читая это, вспомнишь стихи Константина Симонова:

Хоть шоры на память наденьте!  
А все же поделишь порой  
Друзей – на залегших в Ташкенте  
И в снежных полях под Москвой.

О своем тыловом периоде жизни Самойлов пишет в воспоминаниях так: «Полгода в Самарканде оказались для меня большим ве-

\* Когда я писал эти строки в Калуге, по «Радио России» шла передача – беседа поэта Андрея Дементьева с композитором Оскаром Фельцманом. Я отвлекся от текста и услышал, как Фельцман рассказывает о страшной осени 1941 года и о своей судьбе, столь похожей на судьбу моего героя: «Но тут началась война, и я уехал в Новосибирск, где вскоре в свои 26 лет стал председателем Союза композиторов Новосибирска. Меня показали Шостаковичу, я познакомился с Колмановским, Утесовым, Фрадкиным, Дунаевским и понял, что мое призвание – оперетта».

зением», «вся моя жизнь сплошное везение». В Самарканде он поступил в пединститут, быстро нашел близких по духу людей, из которых и в этой глубочайшей эвакуации образовалась дружеская компашка – художник Тышлер, еврейский поэт Моргентай, литераторша Надежда Павлович... Но уйти от войны полностью не удалось военкомат все-таки обязал студентов пединститута поступить в офицерское училище, и, недоучившись в нем, Дезик через полтора года после начала войны, осенью 1942-го, наконец-то попал в действующую армию под Тихвин. Как он сам пишет: «Самые напряженные месяцы войны я провел на “тихом” фронте в болотной обороне». В этой «болотной обороне» в марте 1943 года он и получил легкое ранение в руку, после которого попал в Красноуральский госпиталь, а выздоровев, обретается в Горьком, служит писарем в Красных Казармах, выпускает стенгазету, сочиняет стенгазетные стихи, фельетоны и передовицы под псевдонимом «Семен Шило». Стряпает стихотворные концерны для праздников в Доме Красной армии, встречается то с друзьями, то с родственниками, даже к своим эвакуированным однокашникам-ифлийцам приезжает повидаться в Свердловск. Все это изображено им самим в воспоминаниях, и об этом периоде его жизни Солженицын с иронией написал в «Новом мире», что Самойлов был «отправлен на Северо-Западный фронт рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем – полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944-го по фиктивному “вызову” от своего одноклассника, сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений), и вмешательством Эренбурга был направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где стал комиссаром и делопроизводителем разведроты (“носил кожаную куртку” – тоже традиционный штрих)».

Таким образом, этот «везунчик» дожил до нового, 1944 года, потом навестил Москву, встретился с родителями, благополучно вернувшись из эвакуации в свою роскошную квартиру, и предался в их доме гастрономическим утехам, как в баснословные времена нэпа –

(«и уже мне несет довоенные блинчики и наливочку, и еще что-то жарят, пекут... бесконечные расспросы, я солдат-фронтовик со шрамом на левом предплечье»).

Вскоре Самойлов встречается с Семеном Гудзенко, который ведет его к самому Эренбургу в гостиницу «Москва», где они пьют коньяк, закусывают трюфелями и где одновременно решается дальнейшая фронтовая судьба «везунчика» Дезика Самойлова.

На встрече со всемогущим Эренбургом следует остановиться особо, поскольку она проясняет мысль Грибанова о том, как Дезик «вышел из дома и дошагал до Берлина». Проницательный и расчетливый, Эренбург спрашивает своего юного соплеменника, сознавая, что вечно такое волонтерство длиться не может – и на передний край загреметь недолго: «Ну что ж. Ведь вы туда проситесь, а не обратно, но куда именно вы хотели бы поехать?» (прямо как во время студенческого распределения. – *См. К.*).

Дезик готов к ответу: «У меня при себе было письмо, где товарищ мой Лев Безыменский прислал нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Белорусского фронта. Я попросился туда» (желчный Солженицын назвал эту бумажку «фиктивным вызовом»). – *См. К.*)

«Эренбург снял трубку и запросто поговорил с начальником Главразведуправления Генерального штаба генералом Кузнецовым»... Вот что такое связи, вот что такое «кому война, а кому мать родна». Что же случилось в итоге?

Из воспоминаний Самойлова: «Вздохнув, возвращаюсь в февраль 1944. Эренбург мне помог (! – *См. К.*) уехать на фронт. В разведотдел штаба фронта».

Из воспоминаний Самойлова о жизни весной и летом 1944 года:

«Штаб фронта в ту пору представлял собою большое слаженное учреждение, располагавшееся километров в ста, а то и больше от передовой.

Дня три я прожил в полном безделье. Валялся на койке, читая Гоголя, и поедал шоколад из домашних посылок запасливого Лёвы Безымен-

ского», «организовал самодеятельность, начал писать стихи...». «До лета 1944 года жили мы в прекрасном лесу среди сосен и орешников, вместо занятий дремали полдня на полянках в отдалении от войны».

Оставшиеся несколько месяцев войны поэт вместе со штабом фронта двигался на запад в ста километрах от передовой и докатился не до Берлина, конечно, а до Польши и Восточной Германии. Но его «нэповское», или «ифлийское» «инфантильное» состояние, в котором он прожил всю войну, за исключением нескольких месяцев «болотного сиденья» на Волховском фронте, наложило неизгладимую печать на все стихотворное наследие, посвященное войне. Этот отпечаток, это ощущение не «великой всенародной беды», а личного «веселья», некоего праздника жизни – «война гуляет по России, а мы такие молодые», «да, это я на белом свете худой, веселый и задорный», «и я с девчонкой балагурю» – позволило Татьяне Глушковой пронизательно заметить:

«“Гуляет”, “гуляешь”, “гулянье” – слова веселые. Они сопрягаются в русской речи и русском сознании с праздником, радостью, молодечеством, торжествующей раскованностью вольною, удакою силою... в них звучит увлечение, некое восхищение тем, кто “гуляет”, – и потому вряд ли приложимы к “священной войне” – как сурово пел народ о Великой Отечественной, ведь тут “смертный бой”, а не “простор жизни”».

Об этой суровой, но справедливой статье Самойлов отозвался в дневниках с крайним раздражением: «Статья Глушковой против меня. Глупо, бездарно. Грязное воображение...»

Но Глушкова была права, потому что каждым своим новым поэтическим свершением Самойлов подтверждал тезисы ее статьи.

В самой значительной своей поэме «Ближние страны» герой Самойлова с таким же «весельем» и «балагурством», так же «гуляючи» вслед за частями, взявшими город штурмом, входит в него и, как хозяин, диктует свою волю местным обывателям, крутит романы с немками, особенно податливыми, поскольку у победителя есть и «тушенка», и «водка», и «папиросы»... «Инге нравится русская водка». Роман развивается



на глазах у жениха Инги – букиниста из Потсдама, Ингина тетка просит «один бабироса» – «Папироса! – цежу я с ухмылкой»; «мы сидим с женихом, словно братья»... Но герой поэмы ухмыляется над глуповатым женихом, который очарован коварным хлебосольством «победителя», покупающего «фрейлину» разгромленного народа за банку тушенки и рюмку водки... А что записывает победитель в альбом барышне, услужливо преподнесенный ему? – нечто глумливое: «Фроляйн Инге! Любите солдат, всех, что будут у Вас на постое»...

Именно в этой поэме, написанной в 1954 году, у Самойлова окончательно прояснились подлинные черты его любимого героя, облик которого он в полный рост нарисовал в стихотворении «Маркитант», написанном в середине 70-х годов.

Фердинанд, сын Фердинанда,  
Из утрехтских Фердинандов,  
Был при войске Бонапарта,  
Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,  
Трубачи глядят сурово,  
Позади плетутся фуры  
Маркитанта полкового.

Бонапарт диктует венским,  
И берлинским, и саксонским,  
Фердинанд торгует рейнским,  
И туринским, и бургундским.

Бонапарт идет за Неман,  
Что весьма неблагородно.  
Фердинанд девицу Нейман  
Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, бог ли  
Бонапарта покарали.  
На обломанной оглобле  
Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.  
Снег валит в пустую фуру.  
Ах, порой в себе я чую  
Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,  
Не мечтаю о геройстве.  
Я б хотел быть маркитантом  
При огромном свежем войске.

Фердинанд имел реального прототипа. В своих воспоминаниях, рисуя родословное древо Кауфманов, поэт писал: «За прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступал с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного рода»...

Но стихи – убедительней воспоминаний. Стихотворение «Маркитант» отозвалось в литературной судьбе Самойлова неожиданным образом и определило его взаимоотношения и с миром, и с Юрием Кузнецовым.

Вначале Самойлов принял появление Кузнецова с восхищением и опаской: «Стихи Ю. Кузнецова в “Новом мире”. Большое событие. Наконец-то пришел поэт. Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Но что-то и темное, мрачное» (1975).

Помню, как однажды, прочитав стихотворение Кузнецова «За дорожной случайной беседой», он в цэдээловском ресторане, схватив

Юрия Поликарповича за грудки, начал чуть ли не со слезами на глазах уговаривать последнего:

– Юра, не пытайтесь быть сверхчеловеком!

Но у Кузнецова, к тому времени знавшего самойловское стихотворение «Маркитант», уже была написана отповедь всей философии и практике «маркитантства».

Чтобы не цитировать стихотворение целиком, напомним, что речь в нем идет о том, как сблизилась на равнине два войска, ведомые лейтенантами («маркитанты в обозе»), как с обеих враждебных сторон на встречу друг другу тайно вышли разведчики-маркитанты, посланные на разведку лейтенантами:

Маркитанты обеих сторон,  
Люди близкого круга,  
Почитай, с легендарных времен  
Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах  
К носу нос повстречались,  
Столковались на совесть и страх,  
Обнялись и расстались.

Воротился довольный впотьмах  
Тот и этот крапивник\*.  
И поведал о темных местах  
И чем дышит противник.

А наутро, как только с куста  
Засвистала пичуга,

---

\* «Крапивник», «крапивное семя» – «ярыжка», «приказной крючок» (словарь Даля), – мелкий делопроизводитель, писарь, составитель кляуз; сюда же можно отнести и «желтых» журналистов, наемных газетчиков, «папарацци» и т.д.

Зарубили и в мать и в креста  
Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,  
Что погибли геройски.  
Поделили добро пополам  
И расстались по-свойски.

Ведь живые обеих сторон –  
Люди близкого круга,  
Почитай, с легендарных времен  
Понимают друг друга.

То, что в стихах Самойлова было водевилем, то под пером Юрия Кузнецова стало всемирно-исторической драмой. Этого толкования Дезик простить Юрию Кузнецову не мог, и несколько его дальнейших записей, сделанных в дневнике, – тому свидетельство:

«Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорей всего это буду я» (1979).

«Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня в альм. “Поэзия”. Комплексы. Сальеризм”» (1981).

«Кажется, большего, чем он написал, не напишет» (1983).

Но как бы то ни было, если перевести родовую фамилию Дезика «Кауфман» на более понятный язык, то она будет звучать как «торговец», «рыночник»...

Да и, честно говоря, в предвоенные годы ифлийцы больше «играли в войну» в своих стихах и песнях о «флибустьерах и авантюристах», нежели были готовы к настоящим, а не выдуманым войнам. Вот почему они не выдержали первого испытания финской войной.

Из воспоминаний Самойлова, написанных в 80-е годы:

«В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас (выделено мной. – *Ст. К.*) в смущение. Это было в начале

незнаменитой финской войны. Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона. Почему не пошел Павел (Коган. – *Ст. К.*), чья храбрость ярко проявилась в большой войне. Не пошел и Кульчицкий...»

«Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось»; «Я поздно созрел для войны», – честно напишет о себе Самойлов. А об ифлийце Михаиле Львовском говорит еще круче: «А он не созрел никогда». Михаил Львовский был автором многих военных песен. Писать восторженные оды грядущим боям оказалось легче, нежели принять общенародную судьбу как свою. Эту судьбу сумели без лишних слов возложить на юношеские плечи призывники из простонародья, в основном из крестьянства, а не ифлийцы, которые по какому-то естественному отбору становились военными журналистами (Л. Безыменский), военными юристами (Б. Слуцкий), агитаторами (Л. Копелев), комсоргами при штабе фронта (Д. Самойлов) и т.д. Именно о таких, как они, Александр Твардовский в письме к Л. Разгону писал: «Терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят: “Я воевал” – и т.п.»

\* \* \*

В 1987 году я опубликовал в журнале «Молодая гвардия» статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где оспаривал книжные романтические схемы «земшарной республики советов», абстрактно понятого интернационализма. Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:

Но мы еще дойдем до Ганга,  
но мы еще умрем в боях,  
чтоб от Японии до Англии  
сияла Родина моя.

*П. Коган*

Я – романтик разнаипоследнейших атак...

*М. Кульчицкий*

Выхожу двадцатидвухлетний  
и совсем некрасивый собой,  
в свой решительный и последний  
и предсказанный песней бой.

*Б. Слуцкий*

(песня – это «Интернационал», сущность которого выдохлась с первого же дня Великой Отечественной), я доказывал, что именно такие агрессивно-романтические формулировки, унаследованные «ифлийцами» от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять характер начавшейся войны как Отечественной, «народной», «священной».

После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан «артиллерийский залп».

Я писал о том, что в стихах Кульчицкого «Не до ордена – была бы родина с ежедневными Бородино» меня коробит слово «ежедневными», как-то не укладывалась в моем уме эта лихость: ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: «Для того чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведет речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их “ифлийцами”, все время говорит об “ифлийском братстве”, “ифлийской молодежи”, “ифлийцах старшего поколения”, даже об “ифлийстве” как о некоем идейно-художественном направлении»... Критик правильно понял мою мысль.

Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлийка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье «Старинная удача», опубликованной в «Новом мире», № 11 за 1988 год.

«Что такое ИФЛИ? Произнесенная вслух одна лишь аббревиатура сигналист, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они оттуда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: иллюзия – один из самых важных фактов бытия.

Мне кажется, ИФЛИ – это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И еще: ИФЛИ – это дух времени, само протекание которого было историей».

По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели мое истолкование.

За истекшие 20 лет сущность ИФЛИ настолько раскодирована и разгадана, что все тайное, на что намекала Ржевская «посвященным», давно уже стало явным.

Из воспоминаний Д. Самойлова 80-х годов:

«ИФЛИ был задуман как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения. Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный (сложившийся в 20-е годы. – *Ст. К.*) подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак...»

Туманно выразился Д. Самойлов. С одной стороны, национальный признак не учитывался в том смысле, что об этом не принято было говорить. С другой стороны, он на деле присутствовал, поскольку добрая половина ифлийцев были еврейского происхождения. Об этом Самойлов с присущей ему толерантностью даже в дневниках не стал говорить открытым текстом, а написал так: «Компанию сейчас кое-кто называет “ифлийцами” (думаю, что он имел в виду меня. – *Ст. К.*), вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни».

А вот уже совершенно открыто, без всяких намеков, пишет об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала «Знамя» за 2006 год загадочный друг Давида Самойлова Борис Грибанов (1920–2005):

«Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что, когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд.

Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским лицеем. Впрочем, возможно, что такая параллель мелькала в мозгах тех немногих образованных людей, стоявших у власти, которым была поручена организация этого института. Это были единицы в толпе малограмотных вождей, у которых за плечами было в лучшем случае два-три класса церковно-приходского училища...»

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле «малограмотного вождя» (Сталина. – *Ст. К.*). Но по чьей? Может быть, по чертежам «образованных» профессиональных революционеров – Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?

Как бы то ни было, с первых же лет институт стал необычайно популярным.

Из воспоминаний Бориса Грибанова:

«Место для института нашли не в центре, а за городом, за Сокольниками, был отобран первоклассный профессорско-преподавательский состав – из числа тех, кто не был расстрелян в годы Гражданской войны и не уехал в эмиграцию [...] (о любимом профессоре ифлийцев Л. Пинском Самойлов пишет в своих воспоминаниях так: «В старину он стал бы знаменитым раввином, где-нибудь на хасидской Украине». – *Ст. К.*) Была в ИФЛИ еще одна отличительная черта – обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководи-



лей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров».

А дальше Грибанов говорит вроде бы странные вещи – институт, созданный для воспитания государственной элиты, правящего сословия, вдруг начинает уничтожаться самой властью: «Расплата не заставила себе долго ждать. Родители исчезали в черной дыре Лубянки, а детям оставалась постыдная участь: подниматься на трибуну 15-й аудитории ИФЛИ, где проходили главные лекции и комсомольские собрания, и отрекаться от своих отцов и матерей».

Кто же были эти «отцы и матери» и каким детям приходилось отрекаться от них? Об этом вспоминает еще одна ифлийка, которую я знал по писательской жизни 60–70-х годов, Раиса Либерзон-Орлова, чьим последним мужем был известный публицист Лев Копелев. Их обоих уже нет на этом свете. Пламенные ифлийские революционеры 30-х годов, ставшие эмигрантами в 80-х, нашли успокоение в немецкой земле. Но их книги, недавно вышедшие в России, проясняют многое из жизни ифлийства.

«В ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов – Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Муза Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Агнесса Кун, Олег Трояновский. Для сегодняшних читателей скажу без подробностей, что это были дети высших деятелей Коминтерна, наркомов, дипломатов». А еще Орлова-Либерзон вспоминает Чаковского, Самойлова, Солженицына.

Самойлов в своих воспоминаниях дополняет этот список именами Юрия Левитанского, Елены Ржевской, Исаака Крамова, Семена Гудзенко, Григория Померанца, Льва Осповата, Александра Крейна, Льва Копелева, Павла Когана, Игоря Черноуцана и тем самым подтверждает свое же наблюдение о том, что при наборе в ИФЛИ «почти не учитывался национальный признак», что можно понимать лишь таким образом: русских студентов в ИФЛИ или почти не было (по крайней мере в «самойловском» списке), или они представляли в нем крохотное нацменьшинство.

«У нас, – вспоминает Раиса Орлова-Либерзон, – царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение “свой”. Сближались мгновенно, связи тянулись долго»...

«Необъяснимо, чем влекли слова “флибустьеры”, “веселый Роджерс”, “люди Флинта”. Они перекликались с Гумилевым, Грином, Кипплингом, но все это про нас».

Поразительно, что ифлийцы жили Кипплингом и Грином, но не вспоминали ни о Шолохове, ни о Есенине, ни о Булгакове, ни о Платонове. Словно инопланетяне. Даже Блок и Ахматова, даже Клюев с Мандельштамом не интересовали их. Более того, как откровенничает Самойлов:

«У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов, но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились свои». (Вот так-то. Даже Симонова, видимо, за его «государственничество», ифлийцы не считали своим.)

«Марк Бершадский был принципиальным носителем ифлийского вкуса. В прозе это были Бабель, Олеша, Ильф и Петров, и Хэмингуэй. В поэзии – Пастернак»... «В ИФЛИ знание Пастернака было обязательным признаком интеллигентности».

\* \* \*

Выбор работы и условий жизни даже после 1937 года для уцелевших ифлийцев был просто роскошным.

Из воспоминаний Р. Орловой-Либерзон:

«Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы – работа искала выпускников. Я заполняла анкеты в десяти учреждениях, среди них ЦК, Наркоминдел, Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора».

Условия жизни нэповского детеныша Самойлова не были для ифлийской элиты какими-то исключительными. Семья Раисы Орловой-Либерзон жила не хуже – в одном из лучших по тем временам домов

Москвы (ул. Горького, д. № 6, напротив телеграфа). По словам Орловой, квартира была в «сто квадратных метров», несколько комнат. В одной из них, естественно, жила русская няня-домработница.

«Звали ее классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто “няня”. Она прожила у нас 20 лет».

Конечно, обихаживать стометровые квартиры и дачи, накрывать яствами столы в Москве и за городом, а во время нашествия гостей с утра до вечера мыть посуду, что делала на моих глазах в Мамонтовке женщина в белом платочке, – было непосильным делом для матерей Дезика Кауфмана или Раисы Либерзон. А потому еврейские состоятельные семьи той эпохи обязательно имели домашних работниц. Их можно было выбирать из женщин, толпящихся в очередях на биржах труда, они сами бродили по городу, стучались в двери хороших домов и, выброшенные, вытесненные из своих деревень железной метлой коллективизации, голодом 1931–1932 года, напрашивались на любую работу, даже за харчи... Да и многие девушки из дворянских фамилий, лишённые прав из-за классового происхождения, готовы были на все и становились няньками, кухарками, экономками, содержанками сначала нэповской, а потом и вообще советской чиновничьей знати. (Читайте роман «Побежденные» И. В. Римской-Корсаковой.)

Отец самой Раисы Орловой-Либерзон был крупным издательским чиновником. Ездил в 20–30-е годы для переговоров к Горькому на Капри, потом работал во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей (знаменитом ВОКСе), куда к нему после окончания ИФЛИ пришла в сотрудники дочь. У него, как вспоминает она, «был пистолет», «в период хлебозаготовок, куда его посылали, он получил право на владение оружием». Последний муж Орловой Лев Копелев так же, как и еще один ифлиец, Александр Чаковский, «раскулачивал» русское крестьянство и тоже «имел право владеть личным оружием» (Р. Орлова). Чувства вины перед своими собратьями по перу из раскулаченных семей – Михаилом Алексеевым, Александром Яшиным, Виктором Астафьевым – Копелевы и Либерзоны никогда не ис-

пытывали, ни до XX съезда партии, ни в «оттепель», ни в 60-е годы, ни в перестройку.

Честная исследовательница советской истории еврейка Соня Марголина в книге «Конец лжи: Россия и еврейство в XX веке» писала об этой трагедии так: «В конце 20-х годов впервые немалая часть еврейских коммунистов выступила в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея как ненавистного врага крестьян – даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели»\*.

«Раскрестьянивая» крестьянство, эти «комиссары коллективизации» вольно или невольно создавали армию беженков из русской деревни, которые и становились их бесправными домработницами. Одной из них была и моя мать Александра Никитична Железнякова, оставившая мне в наследство после своей смерти несколько страничек воспоминаний.

«Моему сыну Станиславу.

Это было трудное время. Первые годы после революции. 1920 год. У нас умер отец от сыпного тифа, а мать переболела им и стала разъезжать по России, и менять одежду и вещи на хлеб. Даже в Ташкент ездила. Нас было четверо детей. Мне в это время было 12 лет. Жили в Калуге. И вот однажды к нам приходит еврейка, молодая женщина, и просит мать отдать меня к ней в няньки. Эта еврейка была женой бывшего владельца кожевенного завода, Кусержицкая Евгения Александровна. Муж ее Яков Захарович уезжал из Калуги часто по каким-то делам в Москву. Моя мать обрадовалась, что меня не надо кормить дома, так как мы голодали, голодала вся страна, а у Кусержицких я за хлеб стала нянькой. Девочке Розе было три года, а Рите что-то около года, она еще не умела ходить. Мне приходилось рано вставать и бежать к Кусержицким, заниматься с детьми.

Кормили меня отдельно от детей, но я была и этим довольна, так как дома, когда мать уезжала на долгое время, у нас кроме картошки ничего

---

\* Sonja Margolina. Das End der Lügen. Rusland und die Juden im 20 Jahrhundert. S. 84.

не было. У Кусержицких же я даже узнала вкус сыра. Очень черствого, но вкусного. Я ходила с Розой к равнину, когда резали кур, но самое неприятное было в том, что Евгения Александровна всегда заставляла меня караулить квартиру из трех комнат, хорошо обставленную мягкой мебелью, с большими зеркалами, с очень красивыми кроватями, с подушками в кружевах. Она, видимо, боялась, что кто-нибудь залезет к ним, и потому я почти не гуляла по улице, а сторожила квартиру, сидя на большом сундуке, покрытом ковром. Иногда летом мне очень хотелось на улицу, и тогда я, забрав Розу и Риту, отправлялась к себе домой, там мы играли во дворе вместе с моим братом Сергеем и двоюродным братом Васькой. Так продолжалось больше двух лет. За все это время я только завтракала и обедала у Евгении Александровны. Никакой платы она за меня моей матери не платила. В 1924 году они уехали в Москву. Яков Захарович был каким-то акционером. Евгения Александровна и я с тремя детьми (у них родился сын Илья) жили на даче в Мытищах. Занимали дом с мезонином из четырех комнат с террасой и садом. Иногда из Москвы приезжал Яков Захарович с какими-то мужиками, хорошо одетыми, и долго о чем-то совещались, спорили. Я с Розой и Ритой занимала комнату, куда каждый вечер Евгения Александровна приносила большую шкатулку, очень тяжелую, и ставила ее на мою постель под подушку. Мне было неудобно спать, и я передвигала шкатулку выше подушки к стенке кровати. Но Евгения Александровна сердилась и говорила, чтобы я не трогала шкатулку.

Утром она убирала шкатулку в свою комнату. Однажды Роза, которой уже было около шести лет, открыла шкатулку, и я увидела в ней очень много золотых монет, цепочек, браслетов и колец. Откуда все это у них было – я не знаю. В Калуге этой шкатулки не было. И все же кто-то знал, что они живут богато. Однажды ночью к нам забрались жулики, украли из буфета все столовое серебро, что-то украли из комнаты Якова Захаровича. Вот тогда я поняла, под какой угрозой находилась моя жизнь. Ведь если бы жулики проникли в нашу комнату, то, конечно бы, могли найти шкатулку с золотом, которая находилась

в моей кровати. После ограбления Евгения Александровна меня, девочку, не знавшую дороги в Москву, послала на станцию Перловка, откуда я дала по ее записке телеграмму Якову Захаровичу в Москву. Но никаких украденных вещей они не нашли, а в сентябре месяце собрались уезжать в Германию и начали уговаривать меня поехать с ними, обещая меня учить и сделать членом своей семьи. Я разревелась – соскучилась по Калуге, по своим домашним и отказалась ехать в Германию. Тогда Яков Захарович велел жене меня собрать, дал мне какое-то платье Евгении Александровны, несколько пар чулок, резиновый мяч – вот и все, и меня отвезли на Киевский вокзал, откуда я добралась до Калуги.

В 1928 году Кусержицкие вновь приехали в Калугу и сняли первый этаж из шести комнат на Смоленской улице.

Я уже была студенткой Института физкультуры. Они пришли к нам и опять начали уговаривать мою мать, чтобы мне ехать в Германию. Мать, конечно, отказала им, сказав, что я уже большая и учусь в институте, получаю стипендию и сама зарабатываю во время каникул деньги. Евгения Александровна стала мне рассказывать, как хорошо они живут в Германии, что Яков Захарович имеет собственную фабрику, но я была уже комсомолкой, и меня совершенно не интересовали ихние собственные фабрики в Германии. Прожив около одного года в Калуге, когда нэп пошел на убыль, Кусержицкие уехали в Германию, и я о них уже ничего не слышала. А вот откуда у них было столько золота в шкатулке – черт их знает. Видимо, оно осталось у них с дореволюционных времен, их совершенно не коснулись голод и разруха, которые испытывали в эти годы рабочие и интеллигенция России. И понятно, почему они сразу же после прекращения нэпа уехали в Германию. Те люди, которые приезжали к ним в Мытищи на дачу, по-моему, тоже были богаты. Они были хорошо одеты, с кольцами на руках, с золотыми цепочками и часами на жилетах. Помню, как однажды эти господа приехали даже на автомобиле. К сожалению, я

не понимала, на каком языке они разговаривали, так как я кроме русского языка никакого другого не знала».

\* \* \*

Однако «ифлийство» не было ни партией, ни масонской ложей. Оно было кастой. Когда Сталин узнал, что осенью 1941 года в «запасной столице» СССР – Куйбышеве для эвакуированных школьников из семей столичного бомонда организуются такие же особые школы, как в Москве, он в сердцах произнес: «Каста проклятая!»

А между прочим, до 1937 года и даже после него «каста проклятая» надеялась, что власть рано или поздно естественно и автоматически перейдет к ней. Особые школы, особый «красный» лицей – все, казалось, было «на мази», но закончилось, по словам Елены Ржевской, «неосуществившейся иллюзией».

Эти потенциальные управители государства во второй половине 30-х годов проглядели плавный поворот истории. Сталинская верхушка без громких деклараций отказалась от курса на мировую революцию, вполне резонно сообразив, что вместо «красной» Европы, во многом сочувствовавшей нам в 20-е годы, она, эта Европа, постепенно превращается в «коричневый» материк и готовится к «дранг нах Остен». А потому ставка на коминтерновскую часть советского истеблишмента бесполезна и даже опасна, учитывая, что она, эта часть, тайно молится на Троцкого. Отсюда следовало, что и дети «пламенных интернационалистов», сгрудившихся в ИФЛИ, лишены политического будущего. Когда политические процессы 1936–1937 годов вызревали в чреве истории, Сталин в это время уже запустил механизм по созданию новой государственной элиты из простонародья и сделал ставку на людей дела – Жукова, Чкалова, Шолохова, Стаханова, Косыгина, Байбакова, Судоплатова и им подобных. Надежды ифлийцев на то, что они скоро получат рычаги управления идеологией в свои руки,

рухнули. А надежды эти были, ими питались даже такие неполитизированные люди, как Давид Самойлов:

«Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение».

Далее Дезик перечисляет «неудачников» – Твардовского, Исаковского, Симонова, Смелякова, Павла Васильева. О Мартынове, Прокофьеве, Тихонове и даже Заболоцком – он не вспоминает. Ифлийцы не любили советских поэтов с русской национальной прививкой: «Все они для нас были одним мирром мазаны, – продолжает Самойлов свои воспоминания. – Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой».

Нам казалось, что государство ищет таланты, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе. Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну»... «В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:

– Я хочу писать для умных секретарей обкомов».

Конечно, эта программа уже была иной, нежели когановская – «Но мы еще дойдем до Ганга». Но тот же Слуцкий, написавший в 50-х годах: «готовились в пророки товарищи мои», вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: «товарищи» готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать. Они, в сущности, жили теми же чувствами, что и предшествующее поколение, о котором Аделина Адалис в 1934 году с восторгом писала: «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, “интеллектуальное пиршество” фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы дей-



ствительно стали “управителями”, “победителями”, “владельцами” шестой части земли”<sup>\*</sup>.

Одним словом, самые «продвинутые» ифлийцы готовы были строить социализм в отдельно взятой стране, но с условием, чтобы этот социализм был только для них. Идея «дойти до Ганга» зашла в тупик, куда ее совершенно сознательно направил опытный стрелочник. А если кто-то из ифлийцев (к примеру, Кульчицкий) еще приветствовал присоединение к СССР Прибалтики («Ведь на карте, оставленной Сталиным, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк»), то выглядела подобная картина историческим абсурдом. Место Троцкого в стихах Кульчицкого занял... Сталин: «Так встанут над обломками Европы прямые, точно Сталина доклад, конструкции, прозрачные, как строфы, из неба, стали, мысли и стекла». Вот какими иллюзиями жили ифлийцы! Если не до Ганга, то хоть до Таллина дошли. Однако когда самые умные из них поняли, что произошло, что Таллин – это не факт «мировой революции», то Сталину за подмену коминтерновской идеи идеей патриотической они отомстили задним числом всеми средствами, которые остались у побежденных.

\* \* \*

Конечно, у вождя, как и у всех смертных, были слабые места. Какие? Об этом даже Иисус Христос сказал: «Враги человеку близкие его». Но понимать это надо в том смысле, что самые близкие человеку люди настолько отягощают человека своим кровным родством, что не дают ему осуществлять его высшее личное призвание в жизни.

Сталин, как человек, изучавший в духовной семинарии и Новый, и Ветхий Заветы, знал эту истину. Но что он мог поделать, этот владыка

---

<sup>\*</sup> Однако в ту эпоху среди еврейства находились мыслители, на дух не принимавшие такого рода формулировки: «Все охамившиеся евреи, заполнившие ряды коммунистов, – все эти фармацевты, приказчики, коммивояжеры, недоучившиеся студенты, бывшие экстерны и вообще полуинтеллигенты – действительно причиняют много зла России и еврейству» (Пасманик Д. Русская революция и еврейство. Париж, 1923. С. 198–199).

полумира, если ни жена, ни дети не понимали его? Светлана Сталина, учившаяся в Московском университете, где я не раз встречал ее в коридорах филфака, всем своим складом натуры, привычками и образом жизни была близка «ифлийству». К тому же в начале войны ИФЛИ объединили с Университетом, ифлийские нравы обрели новую территорию и новых неофитов. Наверное, и роман 16-летней принцессы с сорокалетним режиссером Каплером завязался на этом фоне. Уязвленный отец после ссылки Каплера в Воркуту прилагал немало усилий, чтобы устроить семейную жизнь дочери, выдал ее за сына Жданова, но она уже была поражена «вирусом порчи» и тянулась к светской жизни в «ифлийском» кругу. Там однажды она ненадолго нашла себе мужа – соплеменника Каплера по фамилии Мороз, сына начальника одного из лагерей ГУЛАГа, но вскоре разошлась с ним. Дальше события развивались по законам детективного жанра...

Однажды – это были уже 70-е годы – Дезик в застолье прочитал мне несколько стихотворений, объединенных одним женским именем:

«А эту зиму звали Анна, она была прекрасней всех», «Как тебе живется, королева Анна, в той земле во Франции чужой?» «Как живется, Анна Ярославна, в теплых странах? А у нас зима...»

Когда я вопросительно поглядел на него, маленький красноносый Дезик с самодовольной блудливой улыбкой уточнил, кто такая Анна:

– Светлана Сталина... Когда-то у меня с ней был роман.

Именно тогда я понял, как эти немолодые сердцееды, соблазняя некрасивую рыженькую дочку вождя, подхихикивали над ним, мстя ему за крах своих ифлийских иллюзий, за «дело врачей», за гонения на космополитов, мстили, радуясь бессилию всесильного человека. Наверное, они думали, что он из-за любви к дочери не посмеет взбунтоваться и поневоле смирится с унижением... Но они плохо знали его. А подробности этого романа я узнал лет через тридцать после вышеупомянутого разговора с Дезиком, когда прочитал воспоминания Бориса Грибанова о Самойлове (Знамя. № 9, 2006). Грибанов рассказывает о том, как невестка Анастаса Микояна, с которой он работал в издатель-

стве «Детская литература», пригласила его с Дезиком на семейный праздник в Дом на Набережной. Именно там Самойлов и познакомился с «принцессой». Грибанов повествует о том, что минут через 15 после знакомства и Дезик и Светлана уже были влюблены друг в друга, не обращая внимания на Микояна, они уже «целовались в засос», потом Грибанов уехал, а дальше я цитирую отрывок из его воспоминаний, поскольку пересказывать такие откровения неловко:

«На следующее утро не успел я войти в свой кабинет, как раздался телефонный звонок, и я услышал хихикающий голос Дезика:

– Боря, мы его трахнули! (Дезик употребил другое слово, более емкое и более принятое в народе.)

– А я-то тут при чем? – возмутился я.

– Нет, нет, не спорь, я это сделал от имени нас обоих!»

Все это происходило в конце 50-х годов. Сталин уже несколько лет как покоился в могиле. Бояться было некого. Дезику было лет под сорок, его новой пассии чуть меньше. Что бы ни писал Грибанов, трудно поверить в истинность и стихийность вечерних чувств со стороны ифлийца Дезика, если утром он докладывает своему другу, тоже ифлийцу и убежденному антисталинисту: «Боря, мы его трахнули... Я это сделал от имени нас обоих...» Дезик мог бы еще добавить: и от имени всего нашего еврейского народа, поскольку ситуация копировала зеркально ветхозаветную историю о том, как еврейская девушка Эсфирь соблазняет персидского тирана Артаксеркса, чтобы тот раздавил антиеврейский заговор своего министра-антисемита Хамана, что и произошло, если верить Ветхому Завету. Но в этом сюжете роль соблазнительницы Эсфири играет поэт Дезик Кауфман, роль соблазненного царя Артаксеркса – «принцесса» Светлана Сталина. А роль грозного Антисемита – врага еврейского народа – сам Сталин, уже лежащий в могиле, или тень его... Мечь совершилась. «Мы его трахнули» – хоть посмертно, но отомстили, докладывает Дезик-Эсфирь своему народу... Не только ее соблазнили, но через нее – ему отомстили.

В разведках всего мира есть агенты, которые работают «по женщинам». Соблазняют их, чтобы куда-либо внедриться, крутят романы, чтобы вызнать вражеские тайны. Вот так один наш знаменитый чекист по фамилии Эйтингон закрутил в 30-е годы роман с некой испанкой Каридад – матерью Раймона Меркадера, будущего убийцы Льва Троцкого. Потом он докладывал своему начальству о том, что задание выполнено. Акция возмездия – завершена. Так и Давид Кауфман доложил своим: символическое возмездие тирану свершилось. На другой день об этом знала вся еврейская Москва. Михаил Светлов глуповато шутил в рифму: «Трудно любить принцесс, ужасно мучительный процесс». То, что Самойлов на другой день после своей победы доложил о ней (не пощадив женской чести) друзьям-соплеменникам, было его личным делом. Но знаменательно другое: окружение поэта восприняло его победу как общее торжество. Свидетельством тому был литературный вечер Самойлова, прошедший в Москве в конце 60-х годов. Когда один из выступавших (кажется, тот же Грибанов) сказал, что у Дезика в любовницах были три генеральские дочери и одна дочь Генералиссимуса, сидевший в президиуме Зиновий Гердт («печальный и умный», по словам Дезика) вскочил, как на пружинках, и бросил в зал торжествующую и, с его точки зрения, остроумную реплику: «Этим генералиссимусом был отнюдь не Чан Кайши!» И зал, наполненный в основном «малым народом», конечно же, взорвался аплодисментами... Пошлая сущность этого сюжета особенно стала явственна для меня, когда в воспоминаниях Самойлова я прочитал, как поэты двурушничали в начале 50-х годов – еще при жизни Сталина: «Подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал (?) политические композиции типа: “народы мира славят вождя”. Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой “Сталин с нами” Алекса Чачи»...

Ну, у Самойлова дар артистического цинизма был естествен, а Слуцкого жалко. У него была репутация честного и неспособного на циническую иронию человека.

В апологетических воспоминаниях Грибанова о Самойлове кроме достоверных сведений содержится, к сожалению, немало пошлостей, а порой и просто глупостей. Женой Самойлова в то время была ифлийка Ляля Фогельсон, дочь известного московского кардиолога Лазаря Израилевича Фогельсона. Этот брак породил две известные медицинские семьи Москвы – кардиологов и венерологов, но Борису Грибанову дал пищу для следующих размышлений:

«В любви Дезика к Ляле присутствовал некий налет тщеславия: смотрите, какая у меня красавица жена! А может быть, где-то в подсознании мелькали тени Пушкина и Натальи Гончаровой? Отношение Давида Самойлова к Пушкину вообще требует особого разговора. Это были отношения сугубо личные, доверительные. Между ними всегда существовала духовная, поэтическая близость»...

Самойлов не раз амикошонски примерял себя к Пушкину – в стихах «Пестель, поэт и Анна», где Анна была одновременно и королевой Анной, чье имя перекликалось с именем «Светлана»; а вспомним еще его известное изречение о себе и своих друзьях, что они все «из поздней пушкинской плеяды»; есть у него и стихотворение о том, как Державин не желает никого рукоположить в «новые Пушкины» и думая, кому передать лиру, присматривается к некоему безымянному пулеметчику («с пулеметом я лежал своим»).

Это были все не такие уж безобидные шутки, коль его друзья начинали всерьез сравнивать Лялю Фогельсон с Натальей Николаевной Гончаровой... Но я, цитируя эти смешные пошлости, отвлекся от сюжета. О племяннике Лазаря Израилевича Фогельсона и, следовательно, двоюродном брате Ляли, «не уступавшей в красоте Наталье Гончаровой», Грибанов слагает целую оду как о «человеке необычном, образованном, крупном строителе, возглавлявшем трест по намывке плотин и получившем за это Сталинскую премию, что было в те годы явлением исключительным, учитывая его еврейскую национальность».

Если бы Борис Грибанов был жив, я бы позвонил ему и сказал: «Боря! Ну, зачем ты так унижаешь еврейскую нацию! Ничего исклю-

чительного в том, что Сергей Борисович Фогельсон получил Сталинскую премию в эпоху борьбы с космополитизмом, дела врачей и ликвидации антифашистского еврейского комитета нет, поскольку в 1949–1952 годах, то есть во время “разгула антисемитизма” лауреатами Сталинской премии стали писатели-евреи: П. Антокольский, А. Барто, Б. Брайнина, М. Вольпин, Б. Горбатов, Е. Долматовский, Э. Казакевич, Л. Кассиль, С. Кирсанов, М. Маклярский, С. Маршак, Л. Никулин, В. Орлов (Шапиро), М. Поляновский, Н. Рыбак, А. Рыбаков (Аронов), П. Рыжей, Л. Тубельский, А. Чаковский, Л. Шейнин, А. Штейн, Я. Эльсберг... Их число составляло почти одну треть сталинских лауреатов, пишущих на русском языке. Сюда же надо прибавить режиссеров, получивших в те же «антисемитские годы» (1949–1952) те же Сталинские премии: Г. Раппапорт, М. Ромм, Р. Кармен, Л. Луков, Ю. Райзман, Г. Рошаль, А. Столпер, А. Файнциммер, Ф. Эрмлер. А если вспомнить, что Эрмлер получил четыре Сталинские премии, Ромм – пять, Райзман – шесть, – то лучше не поднимать разговора о том, что Сталинская премия еврею в ту эпоху была “исключительным явлением”».

\* \* \*

Многие мои идейные противники в споре об ифлийстве пытались обвинить меня в том, что я зачисляю в эту семью литераторов, которые учились до войны в других вузах и не были студентами ИФЛИ. Но я всегда считал ифлийство не принадлежностью к знаменитому институту, а особым мировоззрением молодого поколения второй половины тридцатых и начала сороковых годов.

Александр Межиров (1924 года рождения), конечно, до войны не мог по возрасту учиться в ИФЛИ, но по мировоззрению он типичный ифлиец. Во-первых, он всегда боготворил пламенных рыцарей мировой революции. Даже в начале 80-х годов прошлого века Александр Петрович все еще клялся в преданности представителям этого клана:

Но сегодня Соня Радек,  
Таша Смилга снятся мне...  
Слава комиссарам красным,  
Чей тернистый путь был прям...  
Слава дочкам их прекрасным,  
Их бессмертным матерям.

Стихи органически вписывались в кровавое романтическое полотно, на котором красовались окуджавские «комиссары в пыльных шлемах», палач казачества евтушенковский Якир, протянувший в будущее «гранитную руку» из прошлого\*, где в дымке времени «маячила на пороге» целая когорта комиссаров – Левинсон из «Разгрома», Коган из «Думы про Опанаса», Штокман из «Тихого Дона», Чекистов-Лейбман из «Страны негодяев».

Да и светский быт предвоенной молодежной Москвы был у Межирова такой же, что у Самойлова, у Орловой-Либерзон, у Льва Копелева – кастовый, то есть «ифлийский». Об этом свидетельствует стихотворное воспоминание Межирова «Предвоенная баллада» с эпиграфом из Самойлова: «Сороковые роковые...» Вечеринка московской молодежи, своеобразного истеблишмента («на квартире замнаркома»), «рояль», «полумгла», «шелковые блузки десятиклассниц», «цыганский анапест» Ляли Черной, упоительный вальс Штрауса. И прямо с этого праздника жизни «под вальс веселой Вены» дети Арбата или Дома на Набережной отправляются:

Шаг не замедляя свой,  
Парами в передвоенный  
Роковой сороковой.

И на войну межировский герой уходит от ипподромных страстей, от ифлийско-эпикурейского образа жизни («меня писать учили Тулуз-

\* Е. Евтушенко аж в 1988 году, в разгар перестройки, еще писал: «Продолжится революция, и продолжится наш комиссарский род» (в стихотворной книге, вышедшей в Петрозаводске).

Лотрек, Дега», «изучен покер, преферанс и фрапп»), от отца с нэповскими привычками:

Отец ворчал, что отрок не при деле,  
Зато колода в лоск навощена.  
И папироски в пепельницах тлели  
Задумчивым огнем... как вдруг война.

Разве не маркитантство (под статью самойловскому рассказу о «солдатах на постое») живет в так называемых военных стихах Межирова:

Мы на Верхней Охте квартируем,  
Две сестры хозяйствуют в дому,  
Самым первым в жизни поцелуем  
Памятные сердцу моему.  
Очерк сердца зыбок и неловок,  
А стрела перната и мила –  
Даты первых переформировок,  
Первых постояльцев имена.  
.....  
«Поселились. Пили. Веселились».  
Вот и все. И больше ничего.

Картина эта полностью копирует сцену из поэмы Самойлова «Дальние страны», где герой соблазняет молодую немку «водкой», «папиросами», «тушенкой»... Да и подобно ифлийцам, у Межирова была няня, и стихи о ней, выросившей в 20-е годы маленького зайку и сына юриста, весьма знаменательны:

Все, что знала и умела,  
Няня делала бегом  
.....



Родина моя Россия.  
Няня. Дуня. Евдокия.

Улавливавший в стихах даже самую малую фальшь, Анатолий Передреев, прочитав это стихотворение, холодно заметил:

– Россия-няня? Ну слава Богу, что еще не домработница.

Фальшивый романтизм, определявший перед войной и в самом ее начале характер нашей военной поэзии, быстро, чуть ли не в первые месяцы войны потерял свой пафос, иссяк, и лишь отдельные его вкрапления иногда встречаются у поэтов самого последнего военного призыва. Любопытно, что Окуджава, лишь в конце 50-х годов дополнивший «обойму» поэтов фронтового поколения, качнулся в сторону этого романтизма, когда тот уже стал глубокой историей:

Но если вдруг когда-нибудь  
мне уберечься не удастся,  
какое новое сраженье  
ни покачнуло б шар земной,  
я все равно паду на той,  
на той далекой на гражданской,  
и комиссары в пыльных шлемах  
склонятся молча надо мной.

С течением истории становится все яснее, что гражданская война не менее страшна и губительна для народа, нежели любая другая. Стихи написаны в 1957 году, а кажется – по словам, интонации, настроению, – будто они родились в предвоенное время. Поэт явно опоздал примкнуть к ифлийскому братству, но заменил его похожим понятием – «арбатство», посвятив, в сущности, своей малой родине – Арбату – все стихи о войне, в которых основательно смягчил духовный максимализм старших братьев. Его мальчишки с Арбата, трогательные и чуть-чуть водевильные, уходят на войну иначе, нежели целеустремленные, поглощен-



Для Окуджавы война не расширила понятие родины. Он остался верен своему Арбату, его замкнутому братству и после войны:

Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество...

Любопытно сравнить обстоятельства, при которых уходят на войну герои Слуцкого, Самойлова, Межирова, Окуджавы, с проводами новобранца из стихотворения Федора Сухова. Уходит он на войну не от азартного наслаждения покером и преферансом, не от ипподромных страстей и арбатской радиолы... Нет, он прощается с другим миром:

Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали.  
На село я прощально взглянул,  
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,  
Если б я невзначай разрыдался, —  
Я прощался с родной стороной,  
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!  
Лето в полном цвету медовело.  
Собирались косить клевера,  
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,  
Наливалась густая пшеница,  
И овес, что так быстро подрос,  
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,  
Все сказала своими ладами,  
И платок с голубою каймой  
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,  
Весь закат был в зловещем пожаре...  
Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали...

Здесь мы видим совершенное иное отношение к жизни и войне: никакого энтузиазма, никакого лихорадочного возбуждения, никакой романтической жертвенности, никакого инфантилизма. Юноша словно бы генами всех живущих в нем поколений ощущает, что от полнокровной жизни, от счастливого труда на родной земле его оторвала сверхчеловеческая сила, несущая только гибель и горе. За душой у него нет никаких иллюзий, никаких теорий, которые помогли бы ему в страшный час разлуки с родиной, невестой, матерью. «Я прощался с родной стороной, сам с собою, быть может, прощался», «губы мои задрожали», и зарево войны для него никакой не отблеск мировой революции, а «зловещий пожар».

Ну что с них было взять, с питомцев нэпа и певцов Мировой Революции! Крестьянские же их ровесники, выжившие во время поволжского голода 1921–1922 годов и последующего голода эпохи коллективизации, нервным горячкам подвержены не были, но шли, послушные долгу, на призывные пункты, а оттуда, уже мобилизованные, нестройными рядами вливались в действующую армию.

Всю войну Федор Сухов отвоевал как истребитель немецких танков: сначала с противотанковым ружьем, а потом как наводчик противотанкового орудия. Больше двух-трех месяцев, по статистике, эти смертники на фронте не жили. Сухову повезло: он дожил до победы.

А картина его ухода на войну – естественна и правдива, в отличие от высокопарных заклинаний ифлийцев.

Очень точно изложил суть стихотворения Ф. Сухова Вадим Кожинов:

«В чем тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами не “картина”, а цельное огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все слилось. Но если взглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: “Губы мои задрожали” и “Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался...” Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга – гармонь, которая “все сказала своими ладами”. И девушка, ибо, конечно, именно она подарила “платок с голубою каймой”. И, наконец, рожь, пшеница – то богатство, то добро и красота, в которые веками укладывались и труд, и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка, – а возраст героя отчетливо выражается в этих “вдруг задрожавших губах”, – прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет на прощание показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт и не соблюдает “форму”. Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, “попрощался сам с собою”».

Это – юноша другой походки, другой породы, нежели герой самойловской либо окуджавской лирики. Откликнется ли сердце окуджавского солдата на слова песни, от которой до сих пор, когда звучит трагическая и величественная мелодия, по спине идут мурашки.

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой.

Вспоминаю 60-е годы, московские вечера поэзии, где выступал Булат Окуджава («Булатик», как называла его Белла Ахмадулина). Он вы-

ходил на сцену с гитарой на груди и объявлял с тонкой, иронической улыбкой: «Песенка американского солдата»!

Возьму шинель и вещмешок и каску,  
В защитную окрашенные краску.  
Иду себе, играя автоматом,  
как славно быть солдатом, солдатом.

Совсем другая у него походка, нежели у крестьянских парней – артиллериста Федора Сухова, командира зенитной батареи Сергея Викулова, истребителя танков Михаила Борисова, сержанта пехоты Виктора Кочеткова и многих-многих других тружеников и смертников войны, которые в сумеречный снежный день 7 ноября 1941 года прошли тяжелой, гулкой поступью по Красной площади, навстречу непобедимой доселе фашистской армаде...

Булатик извлекает из гитары аккорды и поет хриплым тенорком на подмостках Политехнического музея:

А если что не так – не наше дело,  
как говорится, родина велела.  
Иду себе, играя автоматом...

Вроде бы симпатичный солдат из какого-нибудь иностранного легиона. Помню на этих поэтических вечерах лица «детей XX съезда» – улыбки, перемигивания, восторженные взгляды – «Во как врезал наш Булатик этому милитаризованному чудовищу, этим роботам! И молодец, что цензуру обманул: песенка американского солдата! Но мы-то понимаем, о ком он поет, кого в виду имеет!»

\* \* \*

А вот судьба еще одного классического стопроцентного ифлийца.

В 2006 году я вычитал из «Еврейской газеты» (№ 45–46) о том, что в Германии произошло «знаковое» литературное событие: католическому пастору из Швейцарии Хансу Кюнгю была вручена международная премия с девизом «За мир и права человека» имени Льва Копелева. В этой же заметке сообщалось, что существует «Форум Льва Копелева»... Эх, знали бы немецкие правозащитники автобиографию Льва Залмановича, увековеченную им же самим в книге «Хранить вечно»!

В конце 20-х годов наш будущий европейский правозащитник распространял в Москве листовки, «протоколы и резолюции подпольного центра (троцкистской) оппозиции, проекты воззваний, шифры, списки арестованных» («Хранить вечно», с. 267).

Попал в ОГПУ, поскольку был молод – не осудили, отпустили. Во время коллективизации уже проводил «сталинскую линию партии» и раскулачивал русскую деревню. Перед войной поступил в ИФЛИ. В годы войны служил майором в политуправлении фронта в десятках километров от передовой и, как «германист», сочинял опять же листовки, призывающие немцев сдаваться в плен, а когда мы вошли в Германию, ездил на агитмашине. В конце войны стал ярым поклонником Эренбурга, призывающего уничтожать «немецких самок», а после победы разрабатывал меры отмщения немцам: «расстрелять придется, может быть, миллиона полтора» («Хранить вечно», стр. 223). Во время наступления наших войск в Германии вел себя как классический «маркитант» из стихотворения Самойлова: «пили с какими-то бойкими паненками», «Все эти дни и ночи мы пировали, пели, танцевали» (до окончания войны было еще несколько месяцев!); «горел костер, благоухало жареное мясо... На столике теснились разнообразные бутылки – вина, коньяки, шнапс, – коробки и банки консервов... Мы пировали не спеша», «мы ели до отвала, подолгу спали» («Хранить вечно», стр. 183). А в перерывах между гульбой и застольями наш маркитант и специалист по германской литературе немного мародерничал: в немецких особняках «обнаружил великолепную библиотеку... Часть библиотеки погрузил в кузов».

Будущий гуманист и правозащитник, имени которого сейчас в Германии существует международная премия, обнаружив весной 1945 года в одном из взятых нашими войсками поселков тяжело раненную немецкую женщину, и не подумал о том, чтобы помочь ей разыскать медиков... Нет, он начинает осуществление своего плана по расстрелу «полутора миллионов» немцев. Ну конечно же, как политработник, чужими руками, и отдает приказ своему подчиненному: «Сидорыч, пристрели! – Это я сказал. Приказал от бессилья». Таков автопортрет гуманиста, поклонника Гете и Шиллера, выпускника «Красного лица» – ИФЛИ... Так что когда Самойлов писал о своих ифлийских товарищах, «мы в сорок первом шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом», – он по отношению к себе и Копелеву неточен: в сорок первом в солдаты он не пошел, а в какие гуманисты «в сорок пятом» пошел его друг Копелев – судите сами.

Кстати, так же как и Копелев, идеями и лозунгами Троцкого и его соратников в конце 20-х годов был увлечен настоящий мученик и страдалец эпохи Варлам Шаламов. Но, в отличие от молодого Копелева, «ифлийца» из Шаламова не вышло, – в 1929 году его посадили всерьез и надолго. Три года лагерей и пять лет ссылки. Сам Шаламов об этом вспоминал так: «Приговор был громовый, оглушительный, неслыханный по тем временам – Агранов и Черток решили не стесняться с “посторонним”... Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь».

Нет сомнений, что под словом «посторонний» Шаламов подразумевает слово «русский», потому что он знал, что все его «подельники» – молодые троцкисты «еврейского происхождения» (вроде Копелева) – через полгода после процесса вернулись в Москву. И тем лживее воспринимаются кадры из недавно показанного по ТВ 12-серийного фильма «Завещание Ленина» о судьбе Шаламова, когда мы видим, что все его мучители: следователи, конвойные, инспектора ГУЛАГа – русские садисты, бьющие сапогами в лицо священников, насилующие женщин, расстреливающие в затылки заключенных... словом – воло-



годский конвой, куда ни глянь, русские держиморды. Один только на его лагерном пути встретился хороший начальник – Эдуард Берзинь – да и тот латыш. Да еще один симпатичный зэк встречается Шаламову в лагере, конечно же, еврей. А то, что «постороннему», то есть русскому Шаламову два еврейских чекиста, стоявших на вершинах карательной власти, Агранов и Черток, припаяли три года лагерей и пять лет ссылки, с чего и начались его круги ада, – об этом в сценарии, написанном сегодня их соплеменником Арабовым, конечно, ни слова.

Кстати, перед демонстрацией фильма в июне 2007 г. телевидение устроило встречу съемочной группы, куда был приглашен друг Самойлова по ИФЛИ Григорий Померанц, профессиональный диссидент. Так вот, на этой встрече престарелый ифлиец громогласно на всю Россию заявил, что при Сталине сидело в лагерях 19 миллионов человек и 7 миллионов политических было расстреляно.

Все историки, изучавшие сталинскую эпоху после того, когда были обнародованы документы, касающиеся деятельности ЧК-ОГПУ-НКВД, организации ГУЛАГа, сходятся во мнении, что с 1921 по 1956 год было арестовано и сослано в лагеря по политическим мотивам не более 2, 5 миллиона граждан и что за этот период было вынесено около 700 тысяч смертных приговоров, но и они не все были приведены в исполнение.

Можно лгать, но не так чудовищно, преувеличивая число заключенных в семь раз, а число расстрелянных – в десять!

Когда я услышал этот ифлийско-диссидентский бред Григория Померанца, то подумал: евреи придумали в Европе закон, по которому все, кто ставит под сомнение сакральную цифру Холокоста, – 6 миллионов уничтоженных в Европе евреев, – и пытается (порой весьма убедительно) доказать, что их было не 6 миллионов, а пять или три, все эти историки подлежат уголовному преследованию. И несколько таких процессов в Европе уже прошло. Нельзя, оказывается, исказить численность еврейских потерь во времена европейского фашизма и европейского антисемитизма.

А чем мы хуже? Мы тоже можем принять похожие законы, по которым за куда более чудовищное искажение цифр, обозначающих наши советские, российские и даже русские потери, должно преследовать клеветников и фальсификаторов. Прецедент – европейский закон о Холокосте, есть. Так почему же нам не воспользоваться этой юридической нормой? Но тогда на скамью подсудимых надо сажать «ифлийцев» Померанца и Солженицына, целую армию лжеисториков и журналистов, кучу шестидесятников...

\* \* \*

Раиса Орлова-Либерзон в своей книге «Воспоминания о непрошедшем времени» с восхищением вспоминает, что, когда началась финская война, имеющая лишь одну цель: отодвинуть перед грядущей страшной войной с объединенной фашистской Европой границу от Ленинграда – второй столицы страны, она в какой-то компании встречала новый 1940 год, и молодая девушка (имя ее Орлова не называет) подняла тост «за наше поражение!». Орлова восхитилась: «е (эту девочку. – *Ст. К.*) воспитала собственная трезвая мысль, зрячие глаза, способность задавать вопросы».

Такого рода настроения не были исключительными в кругах тайной антисталинской касты. Известная революционерка Анна Берзинь, с чьим уголовно-политическим делом я познакомился, работая над книгой о Есенине, уже в 1935–1937 годах на сборищах «касты», происходивших на квартире у нее и ее мужа, польского еврея Бруно Ясенского, шла много дальше.

Из дела А. Берзинь:

«Как видно из агентурных данных, обвиняемая вела резкую пораженческую антисоветскую пропаганду. Она говорила: “Нет, уж лучше открыть фронт фашистам, чем воевать”, “я воспринимаю эту власть как совершенно мне чуждую. Сознаюсь, что я даже злорадствую, ког-

да слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... За существующий режим я воевать не буду”, “В свое время, в гражданскую войну, я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мне воевать не за что... Все мои товарищи по фронту арестованы, а я буду воевать? Нет, уж лучше открыть фронт фашистам...” “Мы сами, это мы сами во всем виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране... В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь – “мы русский народ”. “Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем”».

Неслучайно Р. Орлова в своей книге воспоминаний пишет об А. Берзинь:

«В 1956 году у меня возникли кратковременные приятельские отношения с Анной Берзинь – вдовой Бруно Ясенского, вернувшейся тогда из лагеря».

Люди этого склада – независимо от того, какие поколения они представляли, – безошибочно находили друг друга.

Мысли Раисы Орловой-Либерзон порой почти дословно перекликаются со словами Анны Абрамовны Берзинь. И как бы продолжают их, хотя в 30-е годы они не знали друг друга:

Из воспоминаний Р. Либерзон-Орловой-Копелевой:

«В годы войны закончился процесс, начатый раньше. СССР становился Россией – великой державой. Были введены погоны, офицерские звания, отдельное обучение, новый закон о браке, распущен Коминтерн, “Интернационал” заменен новым гимном... Гасли последние отблески костров семнадцатого года. Большинство людей, как-либо воплощавших революционные порывы, были еще раньше уничтожены во время большого террора».

А после войны в Общество культурных связей с заграницей, где работала Орлова, по ее словам, «пришли мужчины самоуверенные, невежественные, украшенные (?! – *Ст. К.*) боевыми орденами», «начальники новой формации». «Они Европу завоевали, что им захуда-

лый ВОКС», – иронизирует благополучная ифлийская функционерка... Да что там Орлова! И в наше время бывшие ифлийцы, сегодня 90-летние старики, даже побывавшие на фронте, до сих пор плачут, словно евреи на реках вавилонских, об утрате ифлийского счастья и о том, что после войны места, им предназначенные, начали занимать тупые, грубые, малообразованные аборигены, то есть русские. 23 февраля 2005 года я услышал по радиостанции «Свобода» беседу корреспондента с А. Черняевым – самойловским однокашником по московской элитной школе и бывшим помощником М. С. Горбачева. Передача была посвящена Дню Советской Армии (защитника Отечества) и будущему 60-летию Победы.

Вот что я успел записать за «ифлийцем», закончившим войну, естественно, в крупной должности:

«Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник... Школа у нас была особая. Из 15 человек нашего класса трое было на войне: Дезька – будущий гениальный поэт, Лева Безыменский – великий журналист и я – заместитель начальника штаба. Остальные работали в тылу. (Не слабо! – *Ст. К.*)

Пришло пополнение, ребята с волжских берегов из мещанской среды, невежественные. Я не воспринимаю 9 Мая как национальный праздник, это сплошной пиар.

Таких, как наша, – три спецшколы было в Москве, мы в вузы поступали без экзаменов».

Вот так относились ифлийцы к победившему народу и к людям простонародья. Это брезгливое нэповское барство в мировоззрении Давида Самойлова высмеял его ровесник и однокашник по ИФЛИ (заканчивал его экстерном) Александр Солженицын, после того как прочитал посмертную книгу поэта «Перебирая наши даты». Самойлов, по словам А. Солженицына, «очень обозлен на русских “почвенников”, часто пользуется бессмысленной кличкой “руситы”»: они “из города может быть, из провинциального, захолустного”, и именно там

они “трагедии (1937 года?) пересидели”. (Много же знает Самойлов о трагедии малых городов России за большевистское время. Сунься-ка туда, “пересиди”) “В 37-м году к власти рванулся хам, уже достаточно к тому времени возросший полународ”».

«И особенно выделяет именно “ответственность за 37-й год” (не сопоставляя ответственность за 1929–1933), после которого утверждает, что “власть у нас народная” и “народ лучше всего сохранился” (жирно выделенные фразы в этом отрывке принадлежат Самойлову).

Защищает Солженицын от злых и завистливых самойловских оценок В. Шукшина:

«Например, о В. Шукшине можем прочесть такое: “злой, завистливый, хитрый (?), не обремененный культурой” (поживи его жизнью), отчего и “не может примкнуть к высшим духовным сферам города”.

Особенно возмутило Солженицына следующее рассуждение Давида Кауфмана о русском человеке:

«Мужик нынешний... спекулировать и шабашить готов и... делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он [...] научится уважать интеллигенцию».

Этот самыйловский высокомерный тон привел Солженицына в ярость:

«Мимоходом о словечке “шабашить”. Столичный интеллигент, служа в любом идеологическом тресте, получал солидное в сравнении с мужиком вознаграждение – и это никогда не называлось “шабашить”. Но стоит простолодину искать заработать что-нибудь выше колхозных палочек или коммунальному слесарю попросить у хозяина квартиры троячок – это уже “шабашить”. Так вот, ныне “духовное начало” в изобилии извергается нам из телевидения – и, кажется, не “мужики” всю эту мерзость совершают. И не они убеждали нас в спасительности гайдари-чубайсовского грабежа. И не мужики, большей частью, создавали коммерческие банки, гнали миллиарды долларов за границу, а сами – на Канарские острова отдыхать. Так кто же это – шабашит?»

Немало неправды наговорил за свою длинную жизнь Александр Исаевич, но в данном случае спасибо ему, что заступился он, нынешний русский барин, за простонародье, оболганное Самойловым.

В конце своих размышлений о судьбе и творчестве Д. Самойлова Солженицын не оставляет камня на камне от его дилетантских размышлений о народе:

«Народ, утратив понятия, живет сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы», – пишет Самойлов, а Солженицын комментирует: «(Вот тут он сильно промахнулся: народ живет инстинктом устойчивого порядка жизни, а инстинктом свободы, “свободы вообще”, живет только интеллигенция)».

На протяжении всей жизни Самойлов сохранил глубоко вошедшее в его мировоззрение «нэпманско-ифлийское» отношение к простонародью, к почвенникам, к деревенской прозе... Из осторожности он не высказывался на эти темы при жизни, и мы ничего не знали о такого рода его убеждениях, но в 2004 году вышла его переписка с Лидией Корневной Чуковской, которая проясняет многое.

В письме от 24.07.1977 Чуковская сообщает Самойлову свое впечатление о романе Валентина Распутина «Живи и помни»:

«Да ведь это морковный кофе, фальшивка с приправой дешевой достоевщины. Я никогда не была на Ангаре, но чуть не на каждой странице мне хотелось кричать: “Не верю!” – по Станиславскому.

Книга столь же мучительно безвкусна, как сочетание имени с фамилией автора: изысканного имени с мужицкой фамилией. Он, видите ли, *Valentin!* [...] пейзажи ломаются на сцене с фальшивыми монологами».

В ответном письме Самойлов – не только соглашается с Чуковской, но продолжает и по-своему дополняет ее «антираспутинские» заклинания:

«Это литература “полународа”», «часть Вашего письма о Распутине читал нескольким друзьям. Они в восторге». Фамилии друзей разбросаны на страницах писем: Копелевы, А. Якобсон, Вл. Корнилов. Конечно, эти – были в восторге...

«Об этой прозе, о “деревенщиках”, я сейчас много думаю. И, кажется, приближаюсь к Вашей точке зрения. Что-то с их правдой не так» (февраль 1978).

«Никто – ни Зощенко, ни Олеша, ни Бабель, ни Булгаков – не мог бы угадать, что лет через тридцать у нас возобладает литература “деревенская” и теперь уже “реакционно-романтическая”».

Последняя фраза как будто бы взята из печально знаменитой статьи Александра Яковлева «Против антиисторизма»...

Лично у меня с Дезиком отношения были почти дружескими. Работая в 1960–1963 годах в журнале «Знамя», я напечатал цикл его стихотворений, а в «Юности» – рецензию на книгу «Второй перевал», и этот поступок Дезик оценил с благодарностью, тем более что велеречивых эпитетов я не пожалел: «Самойлов – один из тех поэтов, которые пытаются найти в окружающем мире гармонические связи и сопротивляются распаду и бессмысленности жизни». Такие вот были в рецензии красивые фразы. Дезик знал, что я увлечен стихами Слуцкого и благодарен ему за помощь в издании моей второй книги «Звено», редактором которой был Борис Абрамович. Однако Дезик тем не менее предложил мне игру, которая заключалась в том, чтобы увести от Слуцкого его способного ученика, то есть меня, к нему, к Дезику. Мы, похохатывая, обсуждали этот план нашей «измены» Борису Абрамовичу, и когда последний узнал об этом, то, улыбаясь в усы, подписал мне свою очередную книжку: «Поэту Станиславу Куняеву – отпускная (согласно прошению), Борис Слуцкий».

До этого все свои книги Слуцкий подписывал мне одинаково: «В надежде славы и добра».

Дезик же, узнав, что я избавился от «крепостной зависимости», обрадовался и на книге «Весть» поставил автограф: «Стасику – от учителя, который не испортил дела» (перефразировав свою строку: «не верь ученикам, они испортят дело»). А книгу «Равноденствие» сопроводил шутливой надписью: «Стаху с Галей эту книжку непринужденную без излишку. С любовью. Д. Самойлов».

\* \* \*

Как мне помнится, на еврейские темы мы с Дезиком всерьез ни разу не говорили. Видимо, оберегая наши отношения. Я не знал, как он отнесется к такому разговору. В стихах его, в отличие от стихов Слуцкого, почти не было каких-либо прямых мыслей из этой сферы. И лишь сейчас, когда вышли книги, мною вышеупомянутые, многое проясняется. Весьма важны воспоминания Дезика о еврействе его отца:

«Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей – министр или военачальник казались ему явлением скорее неестественным, чем естественным. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве должны править русские, что это естественно и претендовать на это не стоит».

Одним словом, старорежимный умный еврей Самуил Кауфман при царе жил «по Розанову», который считал, что евреям в Российском государстве можно находиться лишь у подножия трона, но ни в коем случае не претендовать на него и на высшие государственные должности.

Дезик, видимо, понимал эту историческую реальность и по-своему даже осуждал соплеменников, ставших то и дело во время и после революции нарушать этот неписанный закон:

«Тут были и еврейские интеллигенты, или тот материал, из которого вырабатывались... многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, одуренных властью... Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали».

Здравые суждения. Но в поэзии этой темы Давид не касался. Солженицын был прав, когда написал: «Еврейская тема – в стихах Самойлова отсутствует полностью». Однако из совершающейся вокруг тебя истории, из окружения не выскочишь, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», как говорил классик. И конечно же, Самойлов не мог то ли в силу давления среды, то ли из-за особенностей своей легкомысленной натуры обладать убеждениями отца. С



волками жить – по-волчьи выть. Законы стаи, компашки, среды властно давили на гибкую психику поэта.

\* \* \*

И тем не менее остаться в истории литературы русским поэтом Дезик жаждал. В середине 90-х годов я получил по почте из Америки книгу мемуаров моего бывшего знакомого литератора Давида Шраера-Петрова «Москва златоглавая». Я его помнил по 70-м годам и был с ним если не в дружеских, но и не во враждебных отношениях, и «Москву златоглавую», посвященную цэдээловской писательской жизни, прочитал с интересом. Поэтом Давид Петров был никудышным, но тщеславным, и сущность его воспоминаний заключалась в том, что советская власть не давала ему выразить полностью его еврейство и тем самым душила как поэта... В главе о Давиде Самойлове он подробно вспоминает, как пытался разжечь в душе Дезика огонек еврейского национального самосознания, как Дезик отчаянно сопротивлялся его оголтелому натиску и как в конце концов дело кончилось их полным разрывом и отъездом Петрова в Америку, где его «национальное самосознание» расцвело пышным цветом. А отношения Шраера с Самойловым в «Москве златоглавой» изображены так:

«Я заговорил с ним о реальной возможности писать и публиковать в предполагаемом русскоязычном еврейском журнале стихи и прозу русских писателей еврейского происхождения... Самойлов сделался грустен и все оглядывался на Пушкина, хотя мы были почти у Никитских ворот. Я не унимался: “Ведь у каждого из нас, начиная с Маршака, Сельвинского, Алигер, Слуцкого, есть такие стихи...” “У меня нет таких стихов, Давид”, – сказал он и поспешил к остановившемуся троллейбусу...»

А когда Петров в 1979 году подал документы на выезд из СССР и его книгу вычеркнули из планов издательства, у него потребовали вернуть писательский билет и лишили права покупать книги в писатель-

ской лавке, то он бросился за помощью и советом к Самойлову. Но Дезик холодно сказал ему: «А на что вы рассчитывали, Давид? Вы разорвали с системой. Система не прощает...» Он проводил меня до порога».

Настоящий же момент истины в их отношениях произошел незадолго до отъезда Шраера на Запад. Он приехал попрощаться с Дезиком в Пярну, где в этот день проходил поэтический вечер Самойлова, после вечера они случайно встретились.

«В этот момент из кафе выкатился Самойлов в сопровождении актера Михаила Козакова. Я кивнул Самойлову, не желая останавливаться, потому что он был в тяжелом подпитии. Но, предупредив этот маневр, Дезик схватился за мой рукав и окликнул Козакова: “Миша, ты знаком с Петровым-Шраером?” Козакову было стыдно, он не хотел скандала. Мы были знакомы, хотя и шапочно: “Мы знакомы, Дезик”, – уводил он Самойлова подальше от греха. “Вы знакомы? Прекрасно, Миша, может быть, ты знаешь, что этот поэт собирается печатать стихи в Израиле или Америке. Мало ему было России! Но поверь мне, Миша, у него и там не будет успеха! Слышите, Давид, у Вас ничего не выйдет, ни в Америке, ни в Израиле, как не вышло в России!” Козаков с трудом увел разбушевавшегося Дезика».

Но Дезик оказался прав. Ничего не вышло. Шраер был помешан на том, что искал у всех своих знакомых, по-человечески приветливо относящихся к нему, имевших неосторожность похвалить его стихи (порой просто из вежливости), каплю еврейской крови. А уж ассимилированных и желавших искренне вписаться в русскую литературу поэтов еврейского происхождения Шраер-Петров бесцеремонно пытался полностью окрестить в еврейскую веру, сделать отказниками и даже убежденными сионистами. Мало того что он решил поработать над подобным перевоспитанием Дезика, как явствует из его мемуаров, Шраер даже во мне заподозрил присутствие семитской крови только лишь потому, что моя мать – чисто русская женщина, дочь крестьянки из калужского села Лихуны Дарьи Щеголевой и отца из деревни Петрово Никиты Железнякова, показалась ему по внешнему виду еврейкой, и он

даже воспел ее чуть ли не библейскую красоту в своей книжечке «Москва златоглавая», а меня осудил за то, что я после смерти матери «освободился» от ее «влияния»: «Со смертью матери оборвалась его связь с чем-то очень важным», «она лежала в гостиной на тахте, темноволосая, пожелтевшая, с красивым, четких линий лицом, похожая чем-то на мать Василия Аксенова... Умирала от рака».

Здесь все – большие фантазии Шраера. Красавицей моя мать не была; в Москве лежала в моей квартире после того, как сломала шейку бедра; на мать Аксенова Евгению Гинзбург она ничуть не была похожа, и не от рака она умерла, а потому, что в Калуге мыла распахнутые окна, упала по неосторожности из окна со второго этажа и сильно разбилась. А что касается ее якобы еврейского происхождения, в чем уверен Шраер, то пусть он прочитает лучше, как калужская девочка служила домработницей в богатой еврейской семье во времена нэпа.

Но Петров-Шраер рвет на себе волосы с горя: как это Стасик, у которого мать похожа «на мать Аксенова», выступил на дискуссии «Классика и мы»: «Весь ЦДЛ гудел. Он выступил с шовинистических позиций. Я встретил Куняева через несколько дней в коридоре секретариата СП СССР.

“Стас, что ты такое там говорил! До чего ты дошел! Вспомни о своей матери!” – закричал я. “Вы не понимаете моей позиции, – ответил мне Стасик, – пришиваете мне вульгарный антисемитизм, а это – защита русской литературы”. – “От кого?” – “От тех, кто ее разрушает вот уже 60 лет!” – “Ты был лучше защитил ее от цензоров”, – закричал я...»

По глупости своей Шраер переживал случившееся горько и безутешно.

\* \* \*

Но отвергнуть притязания Шраера Самойлову было легче, нежели стать подлинно русским поэтом, хотя он многое понимал умом, о чем свидетельствует одна из его дневниковых записей.

«Сионисты или космополиты со своим эгоцентризмом в сто раз честнее, чем наши еврей-диссиденты со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей.

Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу...»

Однако ум умом, а кровь кровью и окружение окружением.

Вот как он вспоминает о своем школьном дружеском окружении 30-х годов:

«Феликс Зигель, Лиля Меркович», «У Лили бывал Юра Шаховской, Люся Талалаева, Илья Нусинов, заходила красивая и очень большая Мила Польстер, Анна Пользен, заглядывал Лева Безыменский».

Предвоенный круг самойловских товарищей-ифлийцев я приводил выше. На его фоне русский Сергей Наровчатов и украинец Михаил Кульчицкий выглядели как две белые славянские вороны.

После войны состав самойловского окружения в силу естественных причин сменился. Не сменились только главные принципы – национальный подбор кадров и кастовая замкнутость.

Дезик с нежностью перечисляет несколько обновленный состав «ифлийцев», которому не удалось в полной мере осуществить довоенную программу единения с властью: известный радиожурналист Юра Тимофеев с женой поэтессой Вероникой Тушиновой; драматурги А. Зак и Исай Кузнецов, писавшие дуэтом. Был еще один дуэт – Коростелев и Михаил Львовский. «Обе эти пары насмешливый Борис Слуцкий называл полудраматургами». В радушной богемной квартире Юры Тимофеева завсегда были старые друзья – издатель Борис Грибанов с женой Эммой, переводчик Леон Тоом, тоже с женой Натальей Антокольской, дочерью поэта, в просторечии именуемой просто Кипсой. Вся эта тусовка собиралась в центре Москвы, рядом со снесенной сейчас закусочной «Эльбрус» и Литературным институтом. Из «арийцев» был один эстонец – Леон Тоом, который вскоре покончил жизнь самоубийством. Об этой тусовочной компашке Дезик вспоминает так: «В годы

разобщения она была островом дружбы и доверительности» для деморализованной ифлийской касты.

Мы пели из солдатской лирики,  
и величанье лейб-гусар –  
что требует особой мимики.  
«Гирлим-бом-бом», потом – «по маленькой».  
Тогда опустошались шкалики;  
мы пели из блатных баллад  
(где про шапчонку и халат)  
и завершали тем домашним,  
что было в собственной компании  
полушутя сочинено...

Конечно, туда заходил и мэтр – Павел Антокольский, высоко ценимый средой своих почитателей. Самойлов выделяет его как одну из опор их духовной жизни.

«Он был умен, высоко одарен, открыт, щедр, прост. Он являл собой удивительный тип интеллигента, уцелевшего в самые страшные годы».

Не знаю, лукавил Дезик или не знал, что Павел Антокольский вложил свой весомый вклад в создание атмосферы еще более страшных для ифлийцев годов – 37-го и 38-го, когда издал книгу стихотворений «Ненависть».

В ней что ни стих – то «антиифлийский» политический перл: Сталин произносит клятву над гробом Ленина, Сталин – лучший друг пионеров, Сталин – избранник народа, и все это завершается поэмой «Кощей», в которой поэт объясняется в любви к НКВД, в ненависти к врагам народа и требует:

Чтобы прошел художник школу  
Суда и следствия и вник

В простую правду протокола,  
В прямую речь прямых улик,  
Чтоб о любой повадке волчьей  
Художник мог сказать стране,  
И если враг проходит молча  
Иль жметя где-нибудь к стене,  
Чтоб от стихов, как от облавы (! – *Ст. К.*)  
Он побежал, не чуя ног,  
И рухнул на землю без славы,  
И скрыть отчаянья не мог.

Не мог этого Дезик не знать, но, как водится, корпоративно-племенные отношения оказались сильнее принципов, и то, что еврейские интеллектуалы не прощали Грибачеву, Софронову или Кочетову, то всегда сходило с рук Симонову, Антокольскому или какому-нибудь Арону Вергелису. Одному только человеку своей крови Дезик не мог простить прегрешения. Я-то думал, что Самойлов не любит эту известную поэтессу М. как тип местечковой экстремистки. Однако дело было в другом. Она увела его друга Леона Тоома от Кипсы Антокольской. Ну увела и увела – дело обычное. Но Тоом вскоре погиб, и о его гибели Дезик вспоминает так:

«Тоом откровенно рассказал мне о себе...

– Я никогда не был так несчастен... – несколько раз повторял он.

Похороны его были немногочисленны... Никто не произносил речей. Не было и поминок. Погиб он, упав из окна своей квартиры, при неясных обстоятельствах. Слуцкий собирался опросить свидетелей его смерти. Но Наталья Павловна (первая жена Тоома. – *Ст. К.*) просила этого не делать».

Самойлов не написал в дневниках ничего больше о смерти Леона, но однажды в минуту хмельной откровенности рассказал мне, что Тоом незадолго до смерти был совершенно измучен тем, что был должен то и дело доставать для своей новой жены очередную дозу нар-

котиков, а это в советской Москве было делом и безумно дорогим и просто преступным. Не всегда это удавалось Леону, но тогда молодая жена не давала ему пощады. Многие думали, что из-за этого он и покончил с собой. Вот так попрощался Дезик с одним из редких своих друзей-неевреев и возненавидел свою одноплеменницу.

Увидев в ресторане ЦДЛ ее сутулую фигуру с горбоносым профилем, обрамленным гривой прямых черных волос, Дезик всегда отворачивался от нее и с ужасом, чуть не плача шептал:

– Ты, Стах, держись от этой ведьмы подальше! Она и поэтесса плохая. И стихов ее не читай!

И все-таки для него друзья-литераторы из своей кровной компашки были ближе, дороже, роднее, нежели «не свои» – талантливые русские люди, в которых он всегда отмечал какую-нибудь червоточинку.

Вот характеристики из его дневниковых записей и писем:

«Приятный умный Эйдельман»; «Клейнер читает хорошо. Он вообще один из самых лучших чтецов у нас, если не самый лучший»; «приезжал Кома. Славный разговор с взаимопониманием», «Копелев переводит гениально»; «Лева Адлер... умный, хороший, думающий человек»; «Марк Бершадский был талантливый, обещающий юноша, добрый, обаятельный, храбрый»; «Гердт печален и умен»; «умер Наум Гребнев. Большое огорчение. Это был умный одаренный человек. Он жил закрытой ненавистью и, кажется, никогда не мог подняться над антисемитизмом»; о Л. Я. Гинзбург: «Она очень умная»; о Ю. Дикове: «Он очень мил и любит, кого надо, и не любит, кого надо»; о Михаиле Козакове: «умен, незлобив, интеллигентен»; о Л. Чуковской: «Какая она хорошая, точная, умная и наивная»; о Науме Коржавине: «Говорили тепло. Он милый»; об Иосифе Бродском: «Скрупулезен в мелочах, иногда в них пронзителен и гениален»; «славный мальчик Леонид Фельдман»; «А. Володин – очень талантливый драматург»...

Подобные выписки «о своих» можно продолжать без конца.

А вот что писал Самойлов в дневниках о нас, русских: о Кожинове: «Он энергичный, честолюбивый ненавистник... Всегда ощущение

от его высказываний, что за ними таится еще что-то грубое, корыстное, тревожное и непрошибаемое».

Вадим Кожин, находившийся с Дезиком в нормальных человеческих и литературных отношениях, незадолго до смерти обнаружил, что со стороны последнего отношение к нему было фальшивым. Кожин написал послесловие к сборнику «Свет двуединый», составленному поэтами М. Грозовским и Е. Витковским из стихотворений еврейских поэтов о России, в котором была такая запись:

«Дезик в свое время преподнес мне свою лучшую, на мой взгляд, книгу “Дни” с поразившей меня надписью: “Вадиму – человеку страстей, что для меня важней, чем человек идей, – с пониманием (взаимным). Где бы мы ни оказались – друг друга не предадим. 1.03.71. Д. Самойлов”.

Но прошли годы, и мне показали публикацию “поденных записей” Дезика, где именно 1.03.71 начертано:

“Странный темный человек Кожин”... И еще одна – не датированная запись: “фашист – это националист, презирующий культуру... Кожин, написавший подлую статью об ОПОЯЗе – фашист”» (Д. Самойлов. Памятные записи. М., 1995. С. 431)».

Кстати, благожелательная дарственная запись Кожину, которую Самойлов оставил на книге «Дни», была сделана при мне в квартире Вадима, где мы по приглашению хозяина выпивали, закусывали и дружески рассуждали о литературе... А ночью после этого Дезик пишет о Кожине как о фашисте. Тут поневоле согласишься заповедям «Шулхана Аруха» о том, что гоям можно говорить неправду, обманывать их и что это для еврея не грех...

Приведу еще несколько записей Дезика о русских писателях: «чалмаевщина» – ну это абсолютная терминология ренегата Александра Яковлева; «балалаечники (Тряпкин, Фокина)»; «печенег (Глушкова, Куняев)», об Александре Блоке: «человек он был страшноватый»; «Перечитываю “Дневник писателя за 1876 год”, никак не могу полюбить эту книгу, хотя мыслей там уйма. “Мальчик на елке”, “Марей” и “Сто-



летняя” уж очень натужны, как вообще наиграна у Достоевского вера в бога и любовь к народу»; «“Карантин” В. Максимова. Книга пестрая и невежественная»; «Палиевский, Куняев и Кожинов выкинули фортель на обсуждении темы “Классика и современность”. Честолюбцы предлагают товар лицом. Люди они мелкие. Хотят куска власти. Интеллигенты негодуют и ждут конца света. Стасик прислал мне книгу с трогательной надписью».

Я помню, что сделал это сознательно, не без оснований надеясь, что Самойлов внимательно отнесется к дискуссии «Классика и мы» и поймет ее сущность. Однако, судя по дневниковой записи, сделанной по горячим следам, рассчитывать на понимание у него мне не приходилось. Правда, в письме от него, полученном мной после дискуссии, он обо всем высказался гораздо дипломатичнее, мягче, нежели в дневниковой записи тех времен:

«Дорогой Стасик!

Спасибо тебе за книгу, за добрую надпись и за письмо.

Я думаю, что между нами ничего дурного не происходит и ничего дурного не произойдет. Просто, по российской привычке все путать, мы путаем мировоззрение и нравственность. Французы уже это превзошли во времена Гюго.

Может быть нравственный обскурант и безнравственный либерал. Я это хорошо понимаю, и в своих отношениях с людьми исхожу из нравственного, а не из мировоззренческого.

А нравственное, по-моему, состоит в неприятии крови. Слишком много ее пролилось за последние десятилетия. И ради чего угодно нельзя допустить новых кровопролитий.

Кровь ничего не искупает. Она противна культуре. Только тот, кто участвовал в кровопролитии, может это понять.

Свою единственную задачу я вижу именно в этом: утверждать терпимость, пускай я это делаю без должного таланта и понимания искусства. Бог с ним, с искусством.

Призываю и тебя быть терпимее и не возбуждать себя до крайностей.  
Будь здоров. Привет Гале.

Твой Д. Самойлов»

Я-то думал, что он, гуманист и философ, поймет мой бунт против Багрицкого, осудит вместе со мной страшные идеи местечковых чекистов: «Но если век скажет “солги” – солги, но если век скажет “убей!” – убей». Нет, Дезик ничего не сказал о кровопролитии, которое воспевал и прославлял Багрицкий-Дзюбин:

Их нежные кости сосали грязь.  
За ними захлопывались рвы.  
И подпись под приговором вилась,  
Струей из простреленной головы.

Дезик промолчал о той крови, как будто ее и не было. Но осудил меня за то, что якобы мое выступление на дискуссии призывает к кровопролитию.

А в дневнике он сделал совсем уж nepотpeбную запись: «Апокалиптические слухи. Письмо Куняева, письмо Рязанова. Возбуждение и растерянность, экстремисты требуют крови, и она будет. Провинция прет на Москву, а там некому сопротивляться, кроме узкого круга “столичной интеллигенции”» (Запись от 11.02.1981). Он тогда же написал стихотворение, строки из которого процитировал Давид Шраер-Петров в своей книге: «А все ж дружили и служили, и жить мечтали заново. И все мечтали. А дожили до Стасика Куняева».

Постепенно Дезик терял способность к поиску истины, к мужественной мысли, к настоящему спору. Его дневник стал фиксировать всякую мелочь, касающуюся его или его единомышленников:

«Поносная статья Куняева в “Нашем современнике” против Чуприна», «выпады против меня и Левитанского», «М. Алексеев в «Москве» отказался печатать поносную статью Глушковой против меня».

(А между прочим, эта статья – одна из самых умных и глубоких, написанных о творчестве Д. Самойлова.)

«Приходил Мезенцев, рабочий из Северодвинска, одержимый поклонник Высоцкого. Ненавидит Куняева, презирает “Наш современник”» (1987 г. 17.05).

«Статья Глушковой против меня. Глупо. Бездарно. Грязное изображение. Против жидомасонства – шизомасонство».

Года за два до смерти, от страха что ли, когда наши СМИ и ТВ запугивали еврейских обывателей скорыми погромами, у Дезика совершенно явно ожили все еврейские комплексы и в истерической форме выплеснулись на страницы дневника:

«Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: “Шма исроэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!” Единственное, что я запомнил из своего еврейства» (4.08.1988). В переводе – начало еврейской молитвы: «Слушай, Израиль! Господь – наш Бог, Господь один!» Существуют воспоминания, что начальник сталинской охраны Паукер рассказывал Сталину, будто бы когда Зиновьева повели на расстрел, то он читал на древнееврейском слова этой молитвы... Бедный Дезик...

Все последние годы жизни он был тесно окружен идейными диссидентами. Многие из них позже уехали из Советского Союза: Копелев с Орловой – в Германию, Дина Каминская и Константин Симис – его старейшие друзья – в Америку, Анатолий Якобсон, которого Дезик почему-то считал чуть ли не первой фигурой нашей литературной критики, – в Израиль.

Но выше всех друзей своей второй, «теневого жизни», Дезик ценил Юлия Даниэля.

«31.01.1989 г. (дневниковая запись в Пярну. – *Ст. К.*):

По радио услышал о смерти и похоронах Даниэля. Большое горе. Юлика привел ко мне Андрей Синявский в самом начале 60-х – послушать стихи. Даниэль сразу мне понравился. Юлик был наделен умом,

дарованием и обладал приятным нравом. Но главное его свойство – умение точно и безошибочно поступать, как будто без размышлений и колебаний, не вдаваясь в подробности, не мучась сомнениями. Это было нечто вроде абсолютного слуха на нравственный поступок. Я всегда прибегал к его советам по сомнительным вопросам. Он отвечал кратко и сразу: “Я бы так не сделал” или “Я бы сделал так”. Это всегда было просто, убедительно и исполнимо. [...] Стихи его не казались мне талантливыми, но всегда были нравственно точны, как и его поступки и все поведение.

Во время процесса Синявского и Даниэля я подписал письмо в их защиту [...] После лагеря он переводил стихи под псевдонимом Петров. Делал и негритянскую работу. Под моим именем напечатана переведенная им поэма Кайсына Кулиева и “Уманские истории” Бажана...»

Нинель Воронель, которую я хорошо помню по 60-м годам, обретшая известность в литературных кругах после перевода «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда, была близко знакома и с Дезиком, и с Юликом. В своей книге «Без прикрас», вышедшей в Москве в 2003 году (изд. «Захаров»), она опубликовала целую главу с названием «Дезик и Юлик». И вообще книга любопытна для понимания нравов всей нашей «диссидентуры», внутри которой вращалась Нинель Воронель. К Дезику в Опалиху, где он жил с новой семьей, она приехала по делу.

«Неожиданно – уже не помню, по чьей инициативе, – он предложил мне стать его “негром”: то есть писать под его именем халтурные сценарии для радиопьес [...] Для переговоров об этом мы с Сашей и поехали в Опалиху, где у Дезика тогда был собственный дом».

Оказывается, у переводческой мафии в те времена было обычным делом набирать в издательствах огромное количество заказов, распределять их «своим неграм», подписывать переводы своим именем, получать гонорары, видимо, какой-то процент гонорара оставлять себе и т.д. Этим занимался не только Дезик, но и Тарковский, и Аркадий Штейнберг, да и, наверное, многие популярные переводчики.

После таких признаний и даже судебных разбирательств, случившихся, как мне помнится, между Арсением Тарковским и Аркадием Штейнбергом, трудно быть уверенным, что переводы Самойлова или Межирова, Гребнева или Козловского принадлежат именно им, а не их «литературным неграм». Но речь о другом. В своих дневниках Самойлов восхищается «абсолютным слухом» Юлия Даниэля «на нравственный поступок». Однако Нинель Воронель, нынешняя гражданка Израиля, с упоением рассказывает в своей книге о нравах, бытовавших в доме Даниэля и его жены Ларисы Богораз. Впрочем, это, видимо, вообще были нравы всей тогдашней диссидентуры, в том числе и героев похода на Красную площадь, совершенного в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Из книги Н. Воронель «Без прикрас»:

«Дом его заполнили толпы какого-то проходящего мимо народа, – собеседников, собутыльников, сексотов, соглядатаев и переменных подружек. Временами начинка его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых бутылок спиртного, которых становилось все больше, напоминала мне видения из картин Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно валялись на полу, свисали со столов и диванов и сплетались в гирлянды. Стайка харьковских поэтов и поэтесс игриво проплывали из дверей в окна, совокуплялись по пути то друг с другом, то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им без разбора Юлик читал свои крамольные повести, опубликованные за границей» (с. 222).

Вот такой «нравственной» жизнью жил похотливо-тщеславный герой дневников Давида Самойлова.

Неслучайно, конечно, в годы либерально-еврейского реванша, именуемого перестройкой, были предприняты отчаянные усилия, чтобы реанимировать и героизировать ИФЛИ и его питомцев, «вживить» эту касту в общественное сознание, изобразить ифлийцев предшественниками не только либералов-шестидесятников, но и демократов. Не где-

нибудь, но именно в «Еврейской газете» (№ 47–48 за 2006 год) на полосе под названием «Еврейская улица» была опубликована статья Ларисы Белой «Жил Александр Григорьевич» о литературном критике, ифлийце Александре Когане, посвятившем чуть ли не половину своей жизни созданию сборника об истории «Красного лица».

«Тридцать пять лет из-за издательской осторожности застойной поры прошло от замысла до выхода в свет книги “В том далеком ИФЛИ”», «Александр Коган, – пишет автор статьи, – говорил, как заклинание: не умру, пока не выпустим ИФЛИ. Книга в 1999-м вышла в свет».

Состоит она, как сообщает «Еврейская газета», из «собрания замечательных документов эпохи – воспоминаний, писем, фотографий, стихов и прозы ифлийцев». К сожалению, я не знал об этом издании, но другую книгу, возможно, не менее интересную, изучил внимательно. Называется она «Поэтический пантеон победной войны» (изд. 2005). Стихи в этот пантеон собрал и переложил своими статьями и размышлениями Петр Алексеевич Николаев. На страницах сборника сказано, что он «фронтовик», «литературовед», «заслуженный профессор МГУ», «член-корреспондент РАН», «вице-президент Российской академии словесности», «вице-президент Международной ассоциации профессоров», «секретарь Союза писателей СССР» и т.д. Я же помню его скучнейшие лекции по истории литературы, с которых в 1952–53 годах мы, студенты 1-го и 2-го курсов филфака МГУ, сбегали из Коммунистической аудитории целыми группами, и оставалось нас от всего курса слушать лекции «Петруши» – как мы его звали – не больше, чем остается депутатов в нынешней Госдуме во время самых никчемных и пустых ее заседаний.

Однако карьеру при полном отсутствии способностей выходец из мордовской провинции Николаев сделал удивительную. Цитирую из предисловия к книге: «По многим своим качествам – соединению интереса к прошлому и настоящему, широкой эрудиции, блестящей памяти он близок академику Д. С. Лихачеву, которого называли со-

вестью нации. Именно Д. С. Лихачев рекомендовал в свое время П. А. Николаева в состав Российской академии наук. Сегодня Петр Алексеевич продолжает многие научные и просветительские проекты выдающегося ученого, лидера русской культуры в 80–90-е годы XX века: руководит изданием многотомной антологии “Шедевры русской литературы”, является главным редактором многотомного энциклопедического словаря “Русские писатели, 1800–1917 гг.”. П. А. Николаев – автор 620 печатных работ, в том числе 18 книг; читал лекции в 48 университетах мира. [...] сближает двух великих русских ученых (Д. Лихачева и П. Николаева – *Ст. К.*) и острое чувство причастности ко всему происходящему». Читал я этот панегирик и глазам своим не верил: вот в кого вырос наш скучнейший аспирант Петруша – в нового Ломоносова, в советского Белинского, в фигуру под стать гигантам эпохи Возрождения! Как же это произошло? – Но, перелистав книгу до конца, я понял, что помогло Петру Алексеевичу. Конечно, он мог бы сделать вполне приличную карьеру после того, как в начале 80-х выступил в газете «Правда» и показал «идейную порочность» взглядов Юрия Селезнева, а потом проделал ту же операцию с Михаилом Лобановым, опираясь на принципы соцреализма и требования «Коммунистической партии... в активном формировании нового человека» (статья «“Освобождение” от чего?» // ЛГ. 5.1.1983). Но такого рода шельмование честных русских писателей было делом рутинным, больших дивидендов не давало, и Петр Николаев нашел для карьеры более крупные козыри: выгодную женитьбу и любовь к ИФЛИ. О первом факторе Николаев пишет с редким, мягко говоря, простодушием, а вернее, с той простотой, которая, по русской пословице, «хуже воровства»:

«Известно, что в 1920–30-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жен с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила на Дору.

Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит свое русское имя» («Политический пантеон», стр.75).

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика сталинской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, как русской жене министра путей сообщения, притворяться еврейкой, с этим у нее все было в порядке. Недаром ее Петруша еще до необыкновенных карьерных успехов в профессорских, академических и прочих сферах уже в 29 лет, как пишет сам «великий российский ученый», «участвовал в заседании Центрального Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался вопрос с ошеломляющим названием “О трагическом состоянии советского кино”. Мне было 29 лет, я уже работал председателем сценарной коллегии Министерства кинематографии и потому был приглашен на это высокое собрание». Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Государственном комитете по печати СССР, и все у Николаева было в ажуре, когда бы не одно горестное обстоятельство послевоенных лет:

«И вдруг однажды все переменялось (может быть, дружба с Гитлером и одинаковые эстетические вкусы: в окружении Гитлера и Сталина писали одинаково – как под копирку – статьи о социалистическом реализме), вместо поклонения всему еврейскому в 1940-е годы в общественном сознании стало внедряться сверху, разумеется от вождя, антисемитское воззрение на мир».

Забыл Петр Алексеевич, сколько он сам налудил статей о соцреализме. Да и о «дружбе» Сталина с Гитлером, уже раздавившем в мае 1945 году во рту ампулу цианистого калия, могут всерьез писать лишь олигофрены. Но поразительнее другое: наш второй Лихачев сокрушается о том, что в 40-е годы «вместо поклонения всему еврейскому» начинает «внедряться сверху... антисемитское воззрение на мир». Скуднейший и вреднейший был этот литературный функционер, но чтобы верить, будто «поклонение всему еврейскому» в России будет продолжаться до Страшного Суда – это уж слишком...



Впрочем, этих глупостей в его «пантеоне» не счесть: «У нас в общезнании каждую ночь арестовывали по несколько человек. Начали с тех фронтовиков, кто имел больше всех орденов. Было такое чувство, что Сталин хотел избавиться от всех участников войны»; «Сталин был трусом, боялся героев войны, победителей»; «Русская литература XX века страдает комплексом неполноценности... Ни одна строка Пушкина, касающаяся Полтавской битвы, или строки Лермонтова о Бородине не могут даже претендовать на сравнение со строками, созданными поэтами – участниками войны в 40-е годы XX века» (естественно, это в первую очередь строки Самойлова, Левитанского, Окуджавы, Евтушенко); «Сталинская эра была эпохой культа безличности» (Сталин, по его мнению, личностью не был. – *Ст. К.*). «Успели же карательные органы отыскать в Ленинграде более 50 тысяч немцев, родившихся и проживающих в городе и возле него. Большинство из них было вывезено за Урал и потоплено в Иртыше»; «Николай II был гораздо умнее Сталина и советского руководства: в 1914 году он призвал в русскую армию немцев, родившихся в России, и даже назначал их командирами дивизий»; «Решение Сталина выслать всех евреев на Дальний Восток... было продолжением политики царской власти в отношении гонимой нации»; «Генералы везли вагонами немецкий фарфор и другие трофейные ценности и понастроили гигантское количество дач, куда и поместили этот фарфор» и т.д.

Естественно, что чуть ли не на каждой странице книги прославляется «Красный лицей»: «До войны она училась в знаменитом МИФЛИ», «среди погибших поэтов, как уже отмечалось, были немало студентов МИФЛИ. Образ защищаемой Родины выступал в образе их любимого института».

Родина – «в образе любимого института», история которого прославляется на страницах «Еврейской газеты»... Это нечто новое в литературоведении (это сильнее, чем у Вознесенского: «Политехнический – моя Россия»). Да и весь идейно-эстетический багаж наше-

го академика – ифлийский. И ненависть к Сталину – ифлийская, и «поклонение всему еврейскому» – ифлийское, и любимые строки о войне – «война гуляет по России, а мы такие молодые» (Самойлов) или «мы все войны шальные дети» (Окуджава) – у него ифлийское, то есть залихватски-маркитанское, «флибустьерское», «прогулочное»... Да и Отечественную войну, в которой он сам участвовал, наш мордовский шабесгой сомневается, можно ли называть Великой...

\* \* \*

Последние 15 лет своей жизни Дезик с семьей прожил в эстонском городе Пярну. Как высокопарно пишет о его литературной судьбе вдова поэта Г. Медведева, в это время «кончился моцартианский период жизни и творчества» (с кем сравнить Д. Самойлова? Разве что с Пушкиным или Моцартом! – *См. К.*). Поэт осваивает дневниковую прозу, жанр воспоминаний. «Образцом, с постоянной поправкой на недостижимость, – по словам Медведевой, – служили “Былое и думы”».

Как Герцена в лондонской эмиграции, его навещают только свои: диссиденты эпохи 70–80-х годов, будущие «демократы», отказники, будущие эмигранты. Круг его общения крайне сужается, говоря современным языком, до «тусовки». Он теперь питается только слухами: «Приехал Феликс Зигель. Рассказывал о русском фашизме».

Иногда Дезик делает робкие шаги в сторону активных и настоящих врагов советской жизни, но каждый раз останавливает себя, комплексует, ему и власть уязвить охота, и страшно чего-то лишиться. Словом, «и хочется, и колется», а сидеть на двух стульях трудно.

«Меня, кажется, лишают квартиры за общение с А. Д. Сахаровым» (роскошную пятикомнатную квартиру он получил через четыре месяца. – *См. К.*), «много говорят о моем вечере на телевидении», «не сказать ли мне на вечере речь, после которой меня закроют» и т.д. Вот красноречивые примеры этих комплексов.

Приняв на себя роль маленького эстонского Герцена, он постепенно утрачивает трезвый взгляд на историю, справедливую оценку прошлого, то есть многое из того, что у него было до эстонского периода жизни, когда, к примеру, он мог записать в дневнике: «Диктатура Сталина в известной мере сдерживала претензии “нового класса”». Или о том, как Сталин остановил волну мстительного кровопролития, к которому призывал Эренбург, когда наши войска вошли в Германию: «Тут только один Сталин мог удержать нас огромным своим авторитетом». Или запись о диссидентах-отказниках, объявивших голодовку: «Плевать им на историю. Сталину было не плевать. Он знал, как с ней обращаться». А через десять лет как будто совсем другой человек пишет: «Ясно, что страной управлял маразматик. Но страна этого не знала».

Отшатнувшись от меня, Кожинова, Палиевского, он не то чтобы впал в «русофобию» – но как будто прививка «русскости» в его существовании «рассосалась». Ни одного русского поэта не осталось рядом с ним. Даже о Чухонцеве Дезик сделал несправедливую запись: «Его слегка русопятит. Как бы совсем не срусопятился». Не срусопятился...

Валентин Курбатов, к которому по пути в Пярну он часто заезжал в Псков, стал ему тягостен: «Думал Курбатову писать серьезно. А потом понял, что это бесполезно. “Самородки” сейчас самая безнадежная часть литературы».

И Рубцова, как «самородка», он тоже не понял и писал о нем в дневнике с неизменной и, возможно, завистливой иронией: «Его тоже верстают в гении», «У нас классиками будут Бажов или Рубцов».

...Умер он в 1990 году в Пярну на вечере, посвященном поэзии культового поэта всех ифлийцев Бориса Пастернака, среди своих, на глазах у «прекрасного Гердта», умер в звании «заслуженного деятеля культуры Эстонии». Будучи одновременно принятым незадолго до смерти в Пен-клуб.

Дезик любил иронизировать над судьбой, а она подшутила над ним: убегая от «русского фашизма» в эстонскую эмиграцию, он ока-

зался похороненным в одной из самых фашизированных стран современной Европы.

«Родина – это не там, где хорошо или плохо, а без чего нельзя жить», – писал он в лучшие для себя времена. Но не получилось остаться в России. Не устоял в истине.

Так же как Александр Межиров, который однажды неосторожно пообещал мне в письме: «Я прожил жизнь и умру в России». Доживает он жизнь в Америке, где и будет похоронен. Впрочем, все это «обыкновенная история», как говорил Гончаров. То же самое произошло и с Бродским: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать». Поклялся, забыв, что в Священном Писании сказано: «не клянись»... Три клятвы. Трое поэтов, над которыми подшутила судьба, выбравших место для последнего успокоения в Италии, в Эстонии, в Америке, в эпоху, когда маркитанты победили лейтенантов. Надолго ли?..

2005–2007

## УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

(Речь, произнесенная на немецко-российском форуме)

### Оклахома

«Умом Россию не понять?» О ком идет речь? Кому не понять? Нашим историческим врагам? Нашим союзникам? Нашим партнерам? Западному миру? Или нам самим? Правда, в другом стихотворении Тютчев уточнил эту мысль. «Не поймет и не заметит *гордый взор иноплеменный* красоты, что тайно светит в наготе твоей смиренной». И все-таки понять очень непросто. Не понять подвиги и взлеты России, но не понять и бездны и глубины ее падения. Почему, имея великую,

более чем тысячелетнюю полноценную универсальную цивилизацию, русские элиты разных эпох на протяжении всей истории не раз отрекались от родных устоев, впадали в тупиковые соблазны, в чужебесие и недостойное представителей великого народа обезьянничанье, становились сословием денационализированной черни? Примеров тому много. Ересь жидовствующих XV века; соблазны Смутного времени, во время которых наша боярская и часть клерикальной интеллигенции готова была ополячиться и окатоличиться; страшные зигзаги петровской эпохи, когда раболепие перед европейскими формами жизни, перед голландским протестантизмом и немецким орднунгом принимало не только бытовой, но почти религиозный характер; французомания начала XIX века (вспомним салон Анны Павловны Шерер из «Войны и мира»), от которой нас частично сумело излечить варварское нашествие французов и двенадцати других европейских языков (словом, наполеоновской антанты).

Это российское обезьянничанье Пушкин не пощадил, сказав о русской образованщине XIX века, которая зачитывалась коммерческой литературой, хлынувшей к нам в посленаполеоновскую эпоху с Запада: «Явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями, но мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы и Современницы. Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клейменного каторжника, журналы наполнились выписками из Видока, поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи. Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явится, и к стыду нашему скажет, что успех его “записок” кажется несомнителен».

А вспомним германофильство середины XIX века и англomанию той же эпохи в умах и в быту русских аристократов, сегодня пародийно выродившихся чуть ли не в 250 тысяч семей, живущих в самых престижных районах Лондона.

А культ Америки в начале 20-х годов XX века (вспомним лозунг – русский революционный размах + американская деловитость), культ,

повторившийся в нашей «образованщине» через 70 советских лет в самых что ни на есть чудовищно-безобразных формах.

В конце 90-х годов я вместе с небольшой группой друзей-писателей участвовал в выборах губернатора Красноярского края. Нашим кандидатом был Сергей Юрьевич Глазьев. Край громадный, денег на вертолет у Глазьева не было, и нам приходилось вместе с ним выезжать из Красноярска для выступления и возвращаться обратно, порой одолевая в день по несколько сот километров.

Однажды мы заехали в таежный городок Лесосибирск, провели несколько встреч с населением, измученным бедностью и безработицей, а поздно вечером нас повезли ужинать в лучшую, по словам местных патриотов, забегаловку с национальной сибирской кухней: омуль, пельмени, брусника...

Когда мы подъехали к избе, сложенной из красноватых смолистых листовничных бревен, то я увидел на фасаде горящие неоновые буквы: «Оклахома».

Закусочная называлась по имени одного из пятидесяти американских штатов, где живут в резервации остатки индейских племен. Мне стало плохо – то ли от усталости, то ли от отчаяния. Ну разве можно было себе представить, чтобы в американской глубинке подобное заведение называлось «Ангара», «Енисей» или «Бирюса»?

– Леонид Иванович, – обратился я к Бородину. – Бесполезна наша агитация, Глазьев выборы проиграет...

Так оно и случилось. Губернатором Красноярского края стал «западник» Хлопонин...

С той поры слово «Оклахома» стало для меня символом нашего национального лакейства, нашей российской смердяковщины.

Поистине умом *такую жалкую и раболепную Россию*, такую «оклахомскую» родину трудно понять даже нам самим. На протяжении последних трех или даже четырех веков Россия, словно баба во хмелю, лезла в постель к другим цивилизациям, что можно объяснить лишь духовным помрачением или психическим заболеванием ее интеллиген-

ции – боярской, дворянской, монархической, чиновничьей, революционной, советской, антисоветской.

Казалось бы, Пушкин все, что мог, объяснил будущим поколениям в завещании, рассыпанном по всему творчеству: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»; «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству»; «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, сколь и неблагодарна».

Ан все равно российской интеллигентщине нейдет. Вспомним письма Капицы Сталину после войны относительно лакейского низкопоклонства нашей интеллигенции перед Европой. Победа! Торжество! Россия в славе! Но опять они пошли лебезить и лакействовать перед прагматичным Западом, настолько потеряв чувство меры, что даже Капица, столько лет проживший на Западе, возмутился и, естественно, добился лишь одного – жестокой кампании против космополитизма, поскольку вождь был прагматичен не менее западных людей и в своих идеологемах не входил в тонкости, которые имел в виду Капица, а упрощал все до предела. Впрочем, так поступали и Черчилль, и Гитлер, и Рузвельт.

Но все-таки, если говорить серьезно, чужебесие, низкопоклонство, измена своей истории есть болезненные крайности, изуродованные, извращенные формы русской всечеловечности, которую воспел Достоевский в речи о Пушкине.

Двадцатый век внес поправки в формулу о русской всечеловечности, отчеканенную Достоевским. Вот они, эти поправки из творчества русского поэта нашего времени Юрия Кузнецова.

Для того, кто по-прежнему молод,  
Я во сне напоил лошадей.

Мы поскачем во Францию-город  
На руины великих идей.

Мы дорогу найдем по светилам,  
Хоть светила сияют не нам.  
Пропылим по забытым могилам,  
Прогремим по *священным камням*.

Нам чужая душа – не потемки  
И не блеск Елисейских полей.  
Нам едино, что скажут потомки  
*Золотых* потускневших людей.

Только русская память легка мне  
И полна, как водой решето.  
Но чужие *священные камни*,  
Кроме нас, не оплачет никто.

Выделенные слова – есть «цитаты» из романа «Подросток» Достоевского, из монолога главного героя романа Версилова.

И вновь Юрий Кузнецов:

### ***Память***

– Отдайте Гамлета славянам! –  
Кричал прохожий человек.  
Глухое эхо за туманом  
Переходило в дождь и снег.

Но я невольно обернулся  
На прозвучавшие слова,



Как будто Гамлет шевельнулся  
В душе, не помнящей родства.

И приглушенные рыдания  
Дошли, как кровь, из-под земли:  
– Зачем вам старые преданья,  
Когда вы бездну перешли?!

Смысл стихотворения в том, что Россия есть последняя надежная наследница западной культуры. Это дерзкое продолжение «Скифов»: «Нам внятно все – и жар холодных числ, и дар божественных видений», но с окисью, со сверхисторическим опытом народа, «перешедшего бездну». А что касается «плача над священными камнями» Европы, то столько мы этих слез пролили – благодатных, горьких, яростных, желчных, что пора бы иссякнуть потокам этой мутной влаги, имея в виду духовные и материальные дефолты последнего времени. Но дефолты бывали и раньше.

### **Дефолт имени маркиза Астольфа де Кюстина**

«Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ».

«Вся Россия – та же тюрьма, и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы».

«Вообразите полудикий народ, который милитаризовали и вымуштровали, – и вы поймете, в каком положении находится русский народ».

И такие сгустки ненависти – на каждой странице этой по-своему уникальной книги. Кто же пишет? На первый взгляд – революционер, какой-нибудь Герцен или Бакунин, террорист-народоволец польско-еврейского происхождения или один из фанатиков, делавших революцию 1917 года. Нет, это пишет добропорядочный французский ари-

стократ, маркиз Астольф де Кюстин, в книге «Николаевская Россия в 1839 году».

При петербургском дворе Кюстина приняли с распростертыми объятиями. Все-таки роялист, чьи отец и дед были казнены на гильотине революционерами-якобинцами. Уж этот-то поймет и оценит великий смысл российского самодержавия! Наивные люди. Они не понимали того, что и монархисты, и революционеры, и демократы Европы мазаны одним миром, одним низменным страхом, одной лакейской и одновременно высокомерной дрожью перед Россией. Что они все – люди Запада. Об этом Кюстин сказал прямо и недвусмысленно. Так же как немецкие рабочие во времена Гитлера были с фашистским Западом, а не с «пролетарской Россией», так же и аристократ Кюстин за сто лет раньше был в одном стане с «революционерами» всех наций. Лишь бы против России. Он даже в любви к декабристам объяснился: «Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма». Ну прямо-таки говорил как Ленин или как Троцкий с Луначарским, а не как французский консерватор и аристократ!

Да если бы только о политике или о государственном или общественном устройстве речь шла в этом памфлете! Нет, тут все на каком-то генетическом, иррациональном, на неземном уровне. Как будто не человек арийской расы и христианин приехал к нам, а какой-нибудь гость из межпланетного пространства, с Марса или Сатурна, существо внечеловеческой, не белковой, а углеродной или просто inferнальной цивилизации.

Его русофобия в книге настолько тотальна, что объемлет все: русскую природу, русскую песню, русскую историографию, русскую литературу, русскую архитектуру, русскую Церковь, русскую женщину.

«Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем... Он заимствовал свои краски у новой европейской школы... Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом».

«Мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного».

«Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно, речитатив без ритма...»

«Их внешность (это о русских женщинах. – *Ст. К.*), рост, все в них лишено малейшей грации», «Не видно было ни одного красивого женского лица», а большинство отличается «исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью».

Не будем вспоминать о том, что у многих понимающих толк в красоте людей Запада (Пикассо, Ромен Роллан, Вальтер Шубарт, Фернан Леже, Сальвадор Дали) жены были русскими. Женофобство Кюстина, наверное, будет понятно, если вспомнить, что он был педерастом, как и Дантес с Геккерном (везло же николаевской России на французских аристократов!).

«Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись низменно-византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная».

О Москве: город «без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства», «Кремль – сердце этого чудовища», «Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического», «сатанинский памятник зодчества», «Кремль, который не удалось взорвать Наполеону»...

Ах, вот где собака зарыта! Как жаль французскому аристократу, что революционер Наполеон не стер с лица земли Россию, что не превратил в прах ее святыни, что не вытряхнул из русских храмов, подобно троцкистским эмиссарам, чудотворное золото и серебро усыпальниц!

«Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной отделки. Ее осеняет серебряный балдахин... Французам досталась бы здесь хорошая добыча», – плото-

ядно сожалеет о несбывшихся возможностях маркиз. Внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я в свое время предположил, что лермонтовская «Родина» является как бы полемическим предвидением взглядов, изложенных французским маркизом.

В чем поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к ее природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Все, что Лермонтов любит, вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порожденную этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет ее одним словом «люблю», которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:

Но я люблю – за что, не знаю сам –  
Ее степей холодное молчанье,  
Ее лесов безбрежных колыханье,  
Разливы рек ее, подобные морям...

Вот это «за что, не знаю сам» – и есть предтеча тютчевского «умом Россию не понять».

Может быть, я пристрастен, но эти строки представляются мне как бы загодя данным ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: «От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах... Зима и смерть, чудится вам, бессмысленно парят над этой страной».

В России, как считал маркиз, «нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края».

Очевидно, что это впечатления путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.

Михаил Лермонтов тоже глядит из кареты на русские пустынные равнины и проселки и всматривается в них, «насколько хватает глаз»; но у него рождаются совершенно противоположные чувства:

Проселочным путем люблю скакать в телеге  
И, взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,  
Дрожащие огни печальных деревень.

Маркиз де Кюстин удивляется, глядя на подвыпивших туземцев, веселящихся совсем не так, как французы или немцы: «Напившись, мужики становятся чувствительными и вместо того, чтобы угощать друг друга тумакнами, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация!»

Лермонтов тоже не проходит мимо этой хотя и колоритной, но и весьма обычной для русской деревенской жизни картины:

И в праздник вечером росистым  
Смотреть до полночи готов  
На пляску с топотом и свистом  
Под говор пьяных мужиков.

### Культ души

Из писем Сергея Есенина Ан. Мариенгофу из Европы 1922 г.

«Раньше подогревало, что при всех российских лишениях, что вот, мол, “заграница”, а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно... И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют.

Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксенова. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки».

«Родные мои! Хорошие!

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину».

А вот ответ Есенина российским революционерам 20-х годов, восхищавшимся «американской деловитостью»:

«Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америку. Америка – это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба немного выросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова...»

«Гордому иноплеменному» уму всегда был чужд культ души, рожденный русской жизнью. Редкие умы Запада понимали, что слово «душа» проводит границу между нашими цивилизациями. В Европе их можно перечислить по пальцам: Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби, Вальтер Шубарт, Райнер Мария Рильке, Вирджиния Вульф.

Из статьи под названием «Русская точка зрения» (1925), принадлежащей перу Вирджинии Вульф: «Именно душа – одно из главных действующих лиц русской литературы... Она остается основным предметом внимания. Быть может, именно поэтому от англичанина и требу-

ется такое большое усилие... Душа чужда ему. Даже антипатична... Она бесформенна... Она смутна, расплывчата, возбуждена, не способна, как кажется, подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии... Против нашей воли мы втянуты, заверчены, задушены, ослеплены – и в то же время исполнены головокружительного восторга».

Она же о романе «Идиот» Достоевского: «Мы открываем дверь и попадаем в комнату, полную русских генералов, их домашних учителей, их падчериц и кузин и массы разношерстных людей, говорящих в полный голос о своих самых задушевных делах. Но где мы? Разумеется, это обязанность романиста сообщить нам, находимся ли мы в гостинице, на квартире или в меблированных комнатах. Никто и не думает объяснять. Мы – души, истязаемые несчастные души, которые заняты лишь тем, чтобы говорить, раскрываться, исповедоваться».

Если хорошо подумать – можно все-таки догадаться, почему так называемый цивилизованный мир не любит Россию и боится ее. Нелюбовь родилась задолго до русского коммунизма. Она была при Иване Грозном и при Петре Великом, при Александре Первом и при Николае Втором...

Страх перед военной и материальной мощью? Да, но это не все. Мы терпим поражения то в Крымской войне, то в японской, то в перестройке; мощь проходит, а неприязнь остается. Мистический ужас перед географической беспредельностью? Неприятие чуждого Западу православия? Да, все это так... Но главная причина в чем-то другом...

Бродил я недавно по калужскому базару и разгадывал эту загадку. И вдруг полуспившийся мужичок с ликом кирпичного цвета, небритый, в засаленной куртяшке, помог мне додумать мои мысли... Он стоял в окружении нескольких помятых жизнью пожилых друзей, они торговали гвоздями, гайками и болтами и ждали, когда откроется палатка, чтобы сдать рюкзак стеклотары.

А он, чтобы повеселить душу, играл на аккордеоне... Каждый из компании – поговори с ним – личность, философ, характер, – а перед музыкой все люди равны, соборны. Я прислушался... Сначала мой зем-

ляк сыграл музыку военных лет – «Синенький скромный платочек», потом отступил лет на сорок и довольно сносно и с чувством исполнил вальс «На сопках Маньчжурии», а заодно и какой-то жестокий романс начала века выплеснул в зябкое мартовское утро, а потом вдруг перешагнул на несколько столетий назад и, самозабвенно растягивая меха, выдохнул из бессмертного ямщицкого репертуара: «Вот мчится тройка почтовая...»

Вот тебе и калужский бомж, в душе которого живут несколько веков культуры и музыки... Видел я в Америке внешне похожих на этого мужика бомжей – все дебилы и все неграмотные. Да, с точки зрения Запада мы народ нецивилизованный, но я это понятие перевожу как народ «сложный», «природный», «неупрощенный» и не желающий упрощаться ни за какие коврижки... За это нас и не любят, наша сложность – вечный укор их уступкам перед жизнью. Сложностью можно только гордиться. А на том же калужском рынке стоит женщина, бедно одетая, продает петуха – наглого, крупного, с большим алым гребнем и грязным, но могучим хвостом, держит его, как ребенка, на руках и говорит соседке: «Петька у меня хороший, молоденький, девять месяцев ему. В хорошие руки отдать надо. А то утром пришли корейцы, стали торговать Петьку на зарез, а я не отдала... На зарез Петьку моего!..» И поцеловала петуха в гребешок...

Ну разве с таким народом западный рынок построишь? Умом – не понять. Ей «петуха на зарез» продать жалко, а европейские варвары-протестанты несколько миллионов прекраснейших созданий природы – бизонов истребили, чтобы индейские племена лишились пропитания, зачахли, вымерли или ушли на крайний Запад, освободив земли для расселения белого человека с его бизнесом.

А у нас Есенин: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове» или: «Милый, милый, смешной дуралей, и куда, и куда он гонится, неужели не знает, что живых коней победила стальная конница?.. По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбужен-



ный скрежетом плес, и за тыщи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз».

Джек Лондон или Сетон-Томпсон наделяют животных чертами компаньонов или конкурентов по жизненной борьбе, характером когда достойных, а когда коварных соперников.

А у нас – Му-Му, Каштанка, Малек-Адель – конь из тургеневского рассказа «Чертопханов и Недопюскин», у нас Серая Шейка и «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка. Словом, отношение к живому миру – это стена между традиционным и рыночным обществом.

Из сочинений Вальтера Шубарта: «Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил его души... В отличие от Европы Россия приносит в христианство азиатскую черту – широко открытое око вечности, но преимущество России перед европейцами и азиатами – в ее мессианской славянской душе. Поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род...»

## Антирасизм

Европейского расизма, который является главной причиной непонимания Европой России, в средневековой Европе почти не было. Он сложился в эпоху великих географических открытий, то есть в эпоху так называемого Просвещения, маскировавшего практику зарождающейся колониальной системы. Теоретически же этот научный расизм был обоснован позже в трудах Рикардо, Дизраэли, Мальтуса, Гобино, Ницше и других мыслителей и политиков Запада. Сущность этого расизма не в линчевании негров, не в геноциде цыган или евреев, а в абсолютной уверенности в том, что человечество делится на низшие и высшие расы.

Я в молодости восхищался Уитменом, думал, что он поэт всемирной, гуманной, всечеловеческой демократии, но недавно перечитал его.

Друзья мои загорелые,  
Стройно, шагом друг за другом,  
Приготовьте ваши ружья.  
С вами ли ваши пистолеты и острые топоры?  
Нам надо идти в поход, мои любимые,  
Мы молодые, мускулистые, и весь мир без нас погибнет.  
Пионеры! О пионеры!  
Мы бросаемся отрядами  
Напролом в атаку, грудью завоевать и сокрушить.  
С нами знамя, наше знамя.  
Поднимите наше знамя, многозвездную владычицу.  
Все склонитесь перед нею,  
Боевая наша мать, грозная во всеоружии,  
Ее ничто не сокрушит.  
Пионеры, о пионеры,  
Все смести, снести с пути!

Но это же американский «Хорст Вессель», это же гитлерюгенд, это же марш юберменшей!

Разве человек такого склада сможет понять Россию и русского человека Пушкина, призывавшего не завоевывать и сокрушать, а любить и восхищаться:

Слух обо мне пройдет по все Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык –  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгус...

Разве Уитмен способен был сказать, что его будет читать какой-нибудь гурон или могиканин?!

Тунгус – это якут, по происхождению кровный брат североамериканских индейцев, которых призывал «сокрушать» Уитмен... А что пи-

сал Есенин? «Край мой любимая Русь и Мордва»; или Достоевский из «Мертвого дома»: «У них вера такая»... – о молящихся татарах так говорили русские преступники с уважением и особым тактом.

А вспомним есенинского «Пугачева», сцену, когда генерал Траубенберг требует от казаков, чтобы они догнали сбежавших от императорских войск калмыков со своими стадами (угнали скот, нанесли ущерб государству). Генерал требует «наказать монгольскую мразь, пока она Китаю не передалась», а казаки отвечают ему:

Он ушел, этот смуглый монголец,  
Дай же Бог ему добрый путь,  
Хорошо, что от наших околиц  
Он без боли сумел повернуть.

В начале колонизации третьего мира, в эпоху так называемого, как бы в насмешку над здравым смыслом, Просвещения в XVI веке на Западе произошел теологический спор, связанный с отношением к индейским племенам Нового Света. Католики установили, что у индейцев все-таки есть душа, что они не животные, а полноценные люди. Англосаксонские же протестанты посчитали, что индейцы – низший вид человечества и что души у них, видимо, нет, поскольку они не способны освоить ценности рационального мышления, и потому на них не должны распространяться права человека. Это не был схоластический спор: поскольку Ватикан и инквизиция пришли к выводу, что индейцы – люди по образу и подобию Божьему, то испанцы начали жениться на индианках, дав начало новой расе креолов; протестанты же провели этническую чистку Северной Америки от индейцев, уничтожив 80% ее аборигенов.

Да, Россия часто впадала, к сожалению, в западные соблазны, но, насколько ей это удавалось, она «одушевляла» их. Да, она увлеклась в XIX веке дарвинизмом, но выбросила из него идею мальтузианства. Наш революционер-анархист и стихийный социалист князь Петр Кропоткин

писал: «Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов – инстинкт взаимопомощи – является наиболее сильным».

Но через 100 лет после Кропоткина, после опыта Второй мировой войны Фридрих фон Хаек – духовный гуру наших либералов – так возразит Кропоткину от имени гражданского общества: «Люди должны изжить некоторые естественные инстинкты, прежде всего инстинкт сострадания и солидарности». Нет, как гласит русская пословица, «черного кобеля не отмоешь добела».

И никакие наши Цхинвалы западным людям не пример.

За что же тогда Запад осудил вождей гитлеровского рейха в Нюрнберге? Ведь они в основном проводили в жизнь на практике основные взгляды фон Хаека?

А наши соседи и вроде бы славяне – поляки, что думали на этот счет?

Из польского повстанческого манифеста 1831 года: «Не допустить до Европы дикой орды Севера». Но в ответ на польское оскорбление русскому народу по иронии истории поляки через столетие получили той же монетой от немцев. Из Геббельса: «Полякам вполне возможно внушить чувство расовой неполноценности по сравнению с немцами. В Польше уже начинается Азия». И еще: «Сибирь начинается от Вислы».

Из школьного учебника кайзеровской эпохи, 1908 год: «Русские – это полуазиатские племена. Рабление, продажность, нечистоплотность – это чисто азиатские черты характера».

Сразу же после речи Черчилля в Фултоне состоялось совещание промышленных магнатов США (1946). Вот выдержки из их резолюции: «Россия – азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и терроризме». Чтобы заблокировать Россию, это совещание призывало Америку разместить свои атомные бомбы «во всех регионах мира и без всяких колебаний сбрасывать их везде, где это целесообразно».

И это сказано о союзниках, которые лишь полутора годами ранее спасли англо-американские войска от разгрома в Арденнах! Но, в сущ-

ности, сливки американской элиты лишь повторили все, что до них сказал Гитлер: «Все народы азиатского типа подлежат уничтожению». Вот такая цепочка любопытная – от маркиза де Кюстина к полякам, потом от Гитлера к американской элите.

Все это повторяется мыслителями и нашего времени. Из книги лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша «Родина – Европа»: «Московия была страной варваров, с которой как с татарвой вели на окраинах войны». А в журнале «Новая Польша» (№ 5. 2007) мало того, что проект северного российского газопровода сравнивается с «пактом Молотова – Риббентропа», но и комментарий дается «средневековый»: «Путин старается присоединить дикую страну к Европе».

Но предоставлю слово еще одному русскому человеку, который, как никто другой из русских, знал Запад, полжизни прожил там, там и похоронен: «Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте... Мы очень довольны тем, что в наших жилах есть и финская и монгольская кровь. Это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как только тоном оскорбительного презрения».

Это сказал Александр Герцен, западник, полукровка...

### **Культ народа**

«Гордому иноплеменному взору» – была непонятна Россия, потому что кроме стихийного культа личной души в ней всегда жил культ души народной, или, проще говоря, культ народа, поскольку народ всегда «выправлял» все исторические вывихи правящего интеллигентного сословия и в той или иной степени возвращал историю страны в ее традиционное русло. Это было и в 1612 году, и в 1812-м, и в 1917-м, и в 1941–1945-м.

Культ народа формировала вся великая русская литература – Пушкин с «Капитанской дочкой», Тургенев в «Записках охотника», Гоголь

в «Тарасе Бульбе», Некрасов всем своим творчеством, Блок стихами о России... О Есенине и Клюеве чего уж говорить. Они – плоть от плоти... И главное то, что почти неграмотный русский народ всегда ставился нашими классиками выше европейской образованной черни. Вспомним Достоевского: «Самые наиболее гуманные и европейские развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности, эти любители всегда презирали народ. Они верили: главное, что он – раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб все-таки отвратителен. Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство: было рабство, но не было рабов».

Западным умам невозможно было понять еще одну нашу особенность: «Есть идеи невысказанные, бессознательные и только сильно чувствуемые... К числу таких, скрытых в русском народе, идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастьем, преступников – несчастными» (Достоевский).

Эта пророческая мысль Достоевского, конечно же, была невыносима и кощунственна для правового, юридического мышления людей Запада. Но до Есенина докатилась эта пророческая догадка и выразилась в таких стихах:

Затерялась Русь в Мордве и Чуди.  
Нипочем ей страх,  
И идут по той дороге люди,  
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,  
Как судил им Бог.  
Полюбил я грустные их взоры  
С впадинами щек.

Виктор Астафьев в своих воспоминаниях о войне словно бы подтверждает правоту Достоевского: «...И на фронте, бывало, смотришь после боя на страшное поле и думаешь, только что сам на краю смерти стоял, сколько побито народа своего, а на мертвого врага смотришь, и будто это даже и не враг, а просто заблудившийся человек».

Запад, который избавился к XX веку от понятия совести и греха, конечно, своим юридическим и правовым умом не мог освоить этой мысли. Со времен Достоевского прошло полтора столетия, со времен Есенина почти век – и несмотря на громадные изменения (я избегаю лживого слова «прогресс») во всех областях жизни, люди Запада уходят все дальше и дальше от Достоевского и Есенина, а значит, от понимания России.

Иногда наше взаимонепонимание приобретает просто комические формы. Помню, как однажды в гости к Вадиму Кожинову приехал профессор-славист из ГДР. Он неплохо говорил по-русски, был антифашистом и коммунистом, и вот однажды, во время вечернего застолья у Вадима, который «угощал» немца собственными романсами на слова Рубцова, Соколова, Передреева, гость попросил нас исполнить русскую народную песню. А мы как раз созрели для того, чтобы спеть «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах» – песнь о бродяге. Исполнили с душой. И посмотрели на гостя, естественно, ожидая одобрения. А он сидит хмурый.

– Что с тобой, Дитрих? – спросил Вадим. – Тебе не понравилось наше исполнение? Ну прости, конечно, мы пели кто в лес, кто по дрова!

Мало того, что нам пришлось долго растолковывать немцу смысл этой поговорки, но когда он ее понял, то совсем огорошил нас:

– Странно! Почему вы так восторгались, когда пели, героем этой песни? Вот он к Байкалу подходит и «рыбацкую лодку берет». А ведь лодка-то чужая! Он к тому же сбежал с каторги и опять за воровство принялся. Он же – рецидивист! Мало того! Навстречу ему «выходит родимая мать» и говорит, что брат его тоже в Сибири, «давно

кандалами звенит»! Ведь вся семья у них криминальная! Чем же тут восторгаться?

Ну как не вспомнишь тут слова Бердяева о немцах: «Мы с немцем о понятии “свобода” никогда не договоримся. На вольном воздухе он ощущает на себе давление хаоса, немец чувствует себя свободным лишь в казарме».

А еще вспоминаю, как в громадных сибирских крестьянских дворах, с высокими из тесаных плах стенами, – всегда в этих стенах было выпилено окошечко и дощатая подставка, на которой лежал хлеб и какая-нибудь немудреная еда: для того, чтобы если будет мимо, даже ночью, проходить «рецидивист», бродяга, он мог бы утолить голод.

Культ народа, народного понимания жизни безукоризненно выражен в коротком стихотворении одного из самых аристократических поэтов XIX века Е. Боратынского.

Старательно мы наблюдаем свет,  
Старательно людей мы наблюдаем  
И чудеса постигнуть уповаем.  
Какой же плод науки долгих лет,  
Что наконец подсмотрят очи зорки?  
Что наконец поймет надменный ум (опять  
как у Тютчева! – *Ст. К.*)

На высоте всех опытов и дум?  
Что? точный смысл народной поговорки.

### **О культуре денег**

Вспоминаю сцену из нашей поездки по Америке в 1990 году. В зале, спроектированном и по интерьеру и по размерам для узкого круга людей, серьезные, лощенные специалисты прочитали нам не то чтобы несколько лекций, а, скорее, несколько правил, на которых зиждется со дня основания финансовая мощь Америки. Главным пра-



вилом было, по их словам, благоговейное, почти религиозное отношение к доллару, как к иконе. Голос человека, рассказывавшего о том, что изображено на долларе – и всевидящее ветхозаветное око ревнивого Бога Израиля, и вершина пирамиды, олицетворяющая власть над миром, и лики пророков золотого тельца: Джексона, Франклина, Вашингтона, – подрагивал от волнения он читал нам не лекцию, а произносил проповедь, служил своеобразную литургию, зачитывал наизусть «священное писание»...

Ну конечно, я, как всегда, не удержался и испортил впечатление от этой «песни песней» в честь золотого тельца, когда попросил слово и сказал нечто совершенно бестактное, вроде того, что в России никогда деньгам не поклонялись и, видимо, никогда не будут, а потому нам такого рода изыскания чужды и ничего дать не могут... Возмездие наступило быстро.

В городе Феникс, когда мы собирались из гостиницы ехать в аэропорт, укладывая чемоданы и выбрасывая в мусорную корзину ненужные, накопившиеся в дорожной сумке бумаги, я случайно выбросил авиабилет. Пропажу я обнаружил в аэропорту перед посадкой... Все уже пошло к самолету, а мы с переводчицей Татьяной Ретивовой все выясняли отношения с администрацией аэропорта. Я горячился:

– Ведь билет был заранее заказан на мою фамилию, посмотрите в компьютере – там все должно быть, вот мой паспорт, никто по этому билету, кроме меня, полететь не сможет, так что вы вполне можете пропустить меня на посадку. Вот, кстати, компьютер и мое место выдает на экране!..

Но строгий худой администратор был неумолим. Аргументы его были железными и абсолютно непонятными для меня:

– Вы потеряли билеты, а это значит, что вы потеряли деньги! – Тут он начинал волноваться и негодовать, не в силах объяснить мне, что потеря денег – своего рода нарушение высших моральных и религиозных догм общества. Больше всего, как я теперь понимаю, его возмущали мои легкомысленные оправдания происшедшего: «Ну потерял, и что

такого! Все равно же я в компьютере, а значит, можно посадить меня и без билета...» Такие речи, в его сознании, были издевательством над высшими ценностями жизни, над здравым смыслом, над верой в сверхчеловеческую силу денег...

Пришлось мне второй раз брать билет и снова заплатить двести долларов. Когда аэропортовый администратор добился этого, на его лице выразилось полное удовлетворение, как будто он принудил грешника к раскаянию и спас его заблудшую душу.

Свидетелем нашей мировоззренческой схватки был Леонид Бородин, с которым бок о бок я прожил целый месяц нашего путешествия.

– Станислав Юрьевич! – сказал он мне. – Ты их не переубедишь. Они не понимают, о чем ты говоришь, да не просто говоришь, а богохульствуешь...

Антибуржуазная закваска русского мировоззрения не позволяла Европе понимать Россию. Опять же у нас все от Пушкина. Вот что сказал он о знаменитой в начале XIX века французской литературе: «Легкомысленная, невежественная публика была единственной руководительницей и образовательницей писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию и деньги! В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ», – и это о литературе Гюго, Мериме, Бальзака, Альфреда де Мюссе и т.д.

\* \* \*

Любимая книга моего детства о Томе Сойере чем заканчивается? Итог, венчающий все приключения, – счет в банке на его имя в несколько тысяч долларов с шестью процентами годовых. Он сразу становится уважаемым человеком в своем городке.

Индеец Джо умирает, как животное, лишенное души. Но вопрос на засыпку: а может ли Том Сойер, когда вырастет, понять сцену из «Идиота», где Настасья Филипповна бросает пачку банкнот в камин и Ганечка, духовный брат пушкинского Германна из «Пиковой дамы», конечно, не сходит с ума, как Германн, но не выдерживает такого кошмара Натальи Филипповны и падает в обморок?

Из дневников Г. Свиридова: «Нет, я не верю, что Русский поэт навсегда превратился в сытого конферансье-куплетиста с мордой, не вмещающейся в телевизор, а Русская музыка превратилась в чужой подголосок, лишенный души, лишенный мелодии и веками сложившейся интонационной сферы, близкой и понятной русскому человеку. Я презираю базарных шутов, торгующих на заграничных и внутреннем рынках всевозможными Реквиемами, Мессами, Страстями, Фресками Дионисия и тому подобными подделками под искусство, суррогатом искусства. Они напоминают мне бойких энергичных “фарцовщиков”, торгующих из-под полы краденными иконами из разоренных церквей».

Подумать только: через 150 лет после Пушкина Георгий Свиридов горюет о тех же позорных увлечениях русской либеральной черни и клеймит ее почти пушкинскими словами. О русская судьба! Которую не понять никаким умом...

Можно, конечно, антибуржуазность русской литературы в XX веке списать на советское идеологическое давление, на соцреализм, на диктат коммунистической партии. Но что тогда делать с антибуржуазными сочинениями великих антисоветчиков – Бунина с его «Господином из Сан-Франциско», Ходасевича с книгой «Европейская ночь» – о фашистской Европе; со стихами Марины Цветаевой о людях Запада: «читатели газет, глотатели пустот»? Глядя на вырождение Европы, она пишет: «Пора-пора-пора Творцу отдать билет». Вспомнила Достоевского! Советские патриоты и вышвырнутая с Родины «анти-советская сволочь» в 30-е годы думали и чувствовали одинаково. Ну как после этого умом понять Россию!

## Непонимание на уровне быта

Взаимное непонимание России и Европы существует на всех срезах жизни: в этике, в эстетике, в быту и даже на кладбище.

Помню, как в глубинной провинциальной Америке я бегал трусцой среди фермерских имений. Однажды добежал до провинциального кладбища – где на зеленом ровном травяном поле торчали из земли одинаковые стелы из серого гранита, на стелах были выбиты стандартные короткие надписи: «Блейк – 1831–1900», «Кларк – 1842–1910», «Джон – 1856–1919»... Никаких там сантиментов вроде «Любимому мужу от скорбящей жены и детей» или «Зачем ты нас так рано покинул?». Кладбище чистое, без всяких православных излишеств, без оград, без изысков с каменными бордюриками и цветниками, без склонившихся к надгробию ангелов, без самодельных стихотворений и переведенных на фарфор фотографий, каких так много на надгробных камнях Пятницкого кладбища в моей родной Калуге.

Трава, гранитные прямоугольники, похожие на противотанковые надолбы, фамилии и даты. Все рационально, упрощенно, деловито, аккуратно до последнего предела.

Великий русский мыслитель Константин Леонтьев, кстати, как и Тютчев, будучи дипломатом, долго живший за границей, жестоко высмеивал рационалистическую бессовестность европейских нравов в знаменитой статье «Наши новые христиане»: «Молодой граф Ростов, когда в “Войне и мире” молодцом один-одинешенек поколотил мужиков, бунтовавших против беззащитной и, заметим, некрасивой княжны Болконской (которую он даже и видел в первый раз), обнаружил больше христианской любви, чем, например, французский живописец Давид, когда он на вопрос доброго, слабого, уже развенчанного и униженного Людовика XVI: “Когда вы окончите мой портрет?” – отвечал: “Я буду писать портрет тирана только тогда, когда голова его будет предо мной на эшафоте”. Каждый умный православный простодушник поймет Ростова и назовет его не без сочувствия “лихим

барином”! А Давиду стоило бы за эти слова дать несколько десятков великорусских прежних плетей!»

А в какую сакральную, священную категорию западное мышление переводит низменную бытовую проблему туалетов, проще говоря, сортиров. Помните у Есенина в «Стране негодяев» – революционер Чекистов, западник, политэмигрант, попавший во время Гражданской войны в пугачевские оренбургские степи, витийствует:

Я ругаюсь и буду упорно  
проклинать вас, хоть тысячу лет,  
потому что хочу в уборную,  
а уборных в России нет.  
Странный вы народ:  
всю жизнь строили храмы Божии,  
да я бы давно их перестроил в места отхожие.

Интересно, что Андрей Кончаловский заклинился на той же почти фрейдистской проблеме, пожив в Голливуде, то есть получив американскую прививку, и в фильме «Куричка Ряба» – повторил устами главной героини те же заклинания об отсутствии в России комфортных сортиров. А вот еще пример. Однажды американские спецы по ракетам по приглашению Горбачева приехали на Байконур, где их поразили не столько красавицы-ракеты, сколько деревянные уборные с дырой в доске. Это все и не смешно, потому что подобные очаги комфорта для западной элиты наполнены чуть ли не сакральным смыслом. Недаром на Западе и в западном сознании существует мечта о золотом унитазе как о высшей точке жизненного успеха. И не зря Ленин, желая десакрализировать, дезавуировать эту мечту, говорил о том, что при победе коммунизма в мировом масштабе священный металл золото будет настолько обесценен и предан поруганию, что победивший пролетариат будет из него делать унитазы. То есть вождь революции

как бы уравнивал разрушение религии с унижением другого западного божества – золотого тельца.

Когда западные люди гордились передо мной достопримечательностями своих особняков, они всегда подчеркивали, что их жилища имеют два, а то и три туалета, и это было похоже, что гордятся наличием двух, а то и трех красных, то есть священных, углов, домашних иконостасов.

Помню, как я расхохотался, когда в одном из ресторанов Марбурга пошел в туалет и увидел на его облицованных кафелем стенах изображения корзин с фруктами, подносов с мясными блюдами, с рыбой и прочими соблазнительными яствами. И это – в отхожем месте.

\* \* \*

И в заключение еще один пример рокового непонимания умом.

В середине 20-х годов, во времена нэпа, пока еще Европа не обрела коричневый цвет и не наступила еще в СССР мобилизационная эпоха, вся наша творческая интеллигенция – литературная, киношная, театральная, научная, торговая, военная и прочая – на полную катушку до начала 30-х годов пользовалась свободами выезда в капиталистический мир. Театр Станиславского проехал с гастрольями по всей Европе. Триумф был полный. В Берлине в конце гастролей труппа Станиславского встретилась с немецкими режиссерами и актерами. В конце беседы Станиславский, отвечая на обычный вопрос: «Над чем вы работаете?» – с вдохновением стал рассказывать немецким коллегам, что он мечтает поставить спектакль по «Идиоту», в котором есть сцены, где Рогожин, измученный страстью к Настасье Филипповне, отвергнутый ею, напился до полусмерти, утром очнулся и стал жаловаться князю Мышкину, что не помнит, как провел ночь, и какой ужас он испытал, когда очнулся и понял, что его «объели собаки». Немецкие режиссеры были поражены сценой и возмущенно заявили, что поставить ее невозможно. «Почему?» – удивился Станиславский. – «Да как же собаки могут объесть человека, – ответили немцы, – они же в намордниках!»

Так что умом не то что русских людей, но даже и русских собак понять невозможно. У нас не то что люди – даже собаки, по сравнению с немецкими, свободные существа.

А в завершение вспомню разговор с охотником Романом Фарковым на берегу Нижней Тунгуски – Угрюм-реки. Фарков – участник войны, побывал в плену, бежал, закончил войну в Вене. Я достаю на берегу фэ-эргевскую фиберглассовую складную удочку, налаживаю ее, дед берет удилище в руки, восхищается им и говорит:

– Да, головастые мужики. – Потом на чуть-чуть задумывается и добавляет: – Но все равно мы их побили!

Мировой историей правят мифы. Даже в наше время на их фундаменте возникают целые государства. Вспомним, что сказал Хаим Вейцман, обосновывая право евреев на создание Израиля: «Библия – наш мандат на Палестину». Поэтому я остаюсь с Тютчевым, с Пушкиным, с Достоевским, с Вальтером Шубартом. Я хочу жить в мире мифов и умереть среди них, чтобы воскреснуть в день Второго Пришествия и Страшного Суда, ибо только после него прервется великая и животворная мифология истории.

## СОДЕРЖАНИЕ

На берегах Оки и Волги .....	5
На закате великой эпохи .....	71
«За доблесть в труде и за честность» .....	108
«Образ прекрасного мира» .....	136
Наш первый бунт .....	184
Русский человек Степан Фарков .....	233
Русско-еврейское Бородино .....	281
Жизнь и смерть в небесных горах .....	353
«Отойди от меня, сатана!» .....	415
Воздух поражения .....	458
«Орднунг» – то есть порядок .....	500
Вещий сон .....	517
«За горизонтом старые друзья...» .....	530
Лейтенанты и маркистанты .....	573
Умом Россию не понять .....	652



Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

---

Редактор Д. В. Орлов  
Корректор Г. А. Островская  
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков  
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 10.12.2015 г. Формат 70 x 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Гарнитура «Times». Объем 29,4 изд. л.  
Печать офсетная. Заказ №  
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

# ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация ( <i>вышел</i> )	Русская икона и религиозная живопись в двух томах ( <i>вышли</i> )
Русское Православие в трех томах ( <i>вышли</i> )	Русская архитектура и скульптура
Русское государство ( <i>вышел</i> )	Русская живопись
Русский патриотизм ( <i>вышел</i> )	Русский театр
Русское мировоззрение ( <i>вышел</i> )	Русская музыка
Русский образ жизни ( <i>вышел</i> )	Русская наука
Русская география	Русская школа
Русское хозяйство ( <i>вышел</i> )	Русское воинство
Международные отношения	Памятники Отечества
Национальные отношения	Русские за рубежом
Русская литература ( <i>вышел</i> )	Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершённым сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: [www.rusinst.ru](http://www.rusinst.ru).

## **ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:**

### **СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»**

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.  
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.  
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.  
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.  
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.  
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.  
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.  
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.  
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.  
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.  
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.  
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.  
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.  
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.  
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.  
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.  
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.  
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.  
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.  
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.  
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.  
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.  
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.  
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.  
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.  
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.  
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.  
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.  
Иван Грозный. Государь, 400 с.  
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.  
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.  
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.  
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.  
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.  
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.  
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.  
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.  
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.  
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.  
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.  
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.

Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.  
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.  
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.  
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.  
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.  
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.  
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.  
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.  
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.  
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.  
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.  
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.  
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.  
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.  
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.  
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.  
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.  
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.  
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.  
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.  
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.  
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.  
Кожин В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.  
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.  
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.  
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.  
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.  
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.  
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.  
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.  
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.  
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.  
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.  
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.  
Повесть Временных Лет, 544 с.  
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.  
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.  
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.  
Домострой, 448 с.  
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.  
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.  
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.  
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.  
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.  
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.  
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.  
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.

Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.  
Русская доктрина, 1056 с.

### **СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»**

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.  
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.  
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.  
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.  
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.  
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.  
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.  
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.  
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.  
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.  
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.  
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.  
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.  
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.  
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.  
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.  
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.  
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.  
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.  
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.  
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.  
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.  
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.  
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.  
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.  
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.  
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.  
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.  
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.  
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.  
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.  
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.  
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.  
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.  
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.  
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верю разумеваем, 704 с.  
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.  
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.  
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.  
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.  
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.

Аверьянов В. В. Наш дух не сломен, 688 с.  
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

### **СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»**

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.  
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.  
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.  
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.  
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.  
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.  
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.  
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.  
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.  
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.  
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.  
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.  
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.  
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.  
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.  
Шергин Б. В. Отцово знание. Поморские были и сказания, 704 с.  
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.  
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.  
Русские люди XVIII века, 784 с.  
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.  
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.  
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.  
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.  
Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозерцания у белорусов, 160 с.  
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.  
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

### **РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах,  
т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.  
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.  
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.  
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.  
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.  
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.  
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.  
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.  
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.  
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.  
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.  
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с.

## **СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»**

- Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.  
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.  
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.  
Каплин А. Д. Мироззрение славянофилов, 400 с.  
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.  
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.  
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.  
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.  
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.  
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.  
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.  
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.  
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.  
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.  
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.  
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.  
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.  
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.  
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.  
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.  
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.  
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.  
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.  
Очерки истории русской иконы, 592 с.  
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.  
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.  
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.  
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.  
Русский государственный календарь, 728 с.  
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.  
Русская артель, 672 с.  
Русская община, 1376 с.  
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.  
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.  
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.  
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.  
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.  
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.  
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.  
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.  
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.  
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.  
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.

Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.

Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.

В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.

### **СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»**

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.

Платонов О. История царевубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.

Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

### **ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ**

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.

Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)